Д.Н.МАМИН
СИБИРЯК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК

ТОМ ТРЕТИЙ

ГОРНОЕ ГНЕЗДО
ДИКОЕ СЧАСТЬЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954

Подготовка текста и примечания
М. И. САМОЙЛОВОЙ

ГОРНОЕ ГНЕЗДО

Роман

«Вот приедет барин —
Барин нас рассудит...»

Некрасов.

I

— Афанасья, пошли сейчас рассылку за Родионом Антонычем... Да слышишь: скорее!!.

В подтверждение своих слов Раиса Павловна притопнула ногой и сдвинула вылезшие белые брови. Она была в утреннем дезабилье и нервно держала правую руку, в которой качался исписанный листик почтовой бумаги. Письмо застало Раису Павловну еще в постели; она любила понежиться часов до двенадцати. Но этот лоскуток исписанной бумаги заставил ее вскочить в неуказанное время с такой же быстротой, с какой электрическая искра подбрасывает спящую кошку. Первой мыслью, когда она пробежала письмо, было послать за Родионом Антонычем.

Горничная вышла, осторожно затворив за собой дверь. В большие окна врывались пыльными полосами лучи горячего майского солнца; под письменным столом мирно похрапывала бурая легавая собака. В соседней комнате пробило девять часов. Нет, это было невыносимо!.. Раиса Павловна дернула за сонетку.

— Ну? — крикливо спросила она появившуюся Афанасью своим сиповатым, неприятным голосом.

— Сейчас будут-с.

— Видно, в курятнике своем сидит?

— Точно так-с. У них курица вторых цыплят выводит...

Раиса Павловна сердито плюнула и торопливо зашагала по кабинету. Горничная нерешительно продолжала оставаться в дверях.

— Ты чего тут торчишь чучелом гороховым? — сердито оборвала ее взволнованная барыня.

— Когда прикажете подавать одеваться?

— Ах, да... Некогда мне... Принеси пока оренбургский платок.

Горничная исчезла, как тень. Раиса Павловна опустилась в кресло и задумалась. Она была очень некрасива в настоящую минуту: желтое, сморщенное лицо, с мешками под глазами, неприятно выкаченные серые глаза, взбитые клочьями остатки белокурых волос на голове и брюзглая полнота, которая портила ей шею, плечи и талию. Около рта и вокруг глаз залегли тонкие морщины, которые появляются у женщин под пятьдесят лет. «Ведьма... Нет, хуже: старая баба», — думала иногда Раиса Павловна, когда смотрелась в зеркало. А между тем она когда-то была очень и очень красива, по крайней мере мужчины находили ее такой, чему она имела самые неопровержимые доказательства. Но красивые формы и линии заплыли жиром, кожа пожелтела, глаза выцвели и поблекли; всеразрушающая рука времени беспощадно коснулась всего, оставив под этой разрушавшейся оболочкой женщину, которая, как разорившийся богач, на каждом шагу должна была испытывать коварство и черную неблагодарность самых лучших своих друзей. Может быть, это последнее обстоятельство и придало желтоватому лицу Раисы Павловны вызывающее и озлобленное выражение.

— Оставь! — капризно проговорила Раиса Павловна, когда горничная, накинув ей на голые плечи платок, мимоходом поправила сбившуюся юбку. — Да сейчас же послать за Родионом Антонычем второго рассылку. Слышишь?

Прошло мучительных десять минут, а Родион Антоныч все не приходил. Раиса Павловна лежала в своем

кресле с полузакрытыми глазами, в сотый раз перебирая несколько фраз, которые лезли ей в голову: «Генерал Блинов честный человек... С ним едет одна *особа,* которая пользуется безграничным влиянием на генерала; она, *кажется,* настроена против вас, а в особенности против Сахарова. Осторожность и осторожность...»

Кабинет, где теперь сидела Раиса Павловна, представлял собой высокую угловую комнату, выходившую тремя окнами на главную площадь Кукарского завода, а двумя в тенистый сад, из-за разорванной линии которого блестела полоса заводского пруда, а за ним придавленными линиями поднимались контуры грудившихся гор. Посередине комнаты стоял громадный письменный стол, заваленный книгами, планами и тысячью дорогих безделушек, беспорядочной кучей занимавших центр стола. Под ногами лежала попорченная молью медвежья шкура. Расписанный потолок и бархатные синие обои придавали комнате отпечаток роскоши, хотя и с казенной ноткой, сквозившей во всей обстановке. От этой казенной нотки Раиса Павловна, несмотря на все свои старания, никак не могла избавиться и, наконец, помирилась с ней. В простенках висело несколько картин хорошей работы; на внутренней стене, над широким оттоманом, помещались оленьи рога с развешанным на них оружием. Воздух был пропитан дымом хороших сигар, окурки которых валялись по окнам и на столе. Словом, это был кабинет главного управляющего Кукарских заводов, а все главные управляющие, поверенные и доверенные не любят стеснять себя обстановкой.

В ожидании Родиона Антоныча Раиса Павловна в третий раз пробежала полученное письмо. Оно было из Петербурга, от Прохора Сазоныча Загнеткина, главного бухгалтера при петербургской конторе заводовладельца Лаптева. Прохор Сазоныч редко писал, но зато каждое его письмо всегда было интересно той деловой обстоятельностью, какой отличаются только люди очень практические. Даже в этом мелком и убористом почерке, каким писал Прохор Сазоныч, чувствовалась

твердая рука настоящего дельца, каким он и был в действительности.

Занимая довольно видный пост в конторе и пользуясь своим столичным положением, где во-время и под рукой всегда и все можно было разведать и разузнать, Загнеткин служил Раисе Павловне самым исправным корреспондентом, извещая ее о малейших изменениях и колебаниях в служебной атмосфере. Правда, писал он неровно, с отступлениями и забеганиями вперед, постоянно боролся — и не в свою пользу — с орфографией, как большинство самоучек, но эти маленькие недостатки в «штиле» выкупались другими неоцененными достоинствами. Загнеткин для Раисы Павловны был тем же, чем для садовника служит в оранжерее термометр. Закулисная сторона всякой частной службы, в особенности заводской, представляет собой самую ожесточенную борьбу за существование, где каждый вершок вверх делается по чужим спинам. Схематически изобразить то, что, например, творилось в иерархии Кукарских заводов, можно так: представьте себе совершенно коническую гору, на вершине которой стоит сам заводовладелец Лаптев; снизу со всех сторон бегут, лезут и ползут сотни людей, толкая и обгоняя друг друга. Чем выше, тем давка сильнее; на вершине горы, около самого заводовладельца, может поместиться всего несколько человек, и попавшим сюда счастливцам всего труднее сохранить равновесие и не скатиться под гору.

Раиса Павловна, как жена главного управляющего Кукарских заводов, пережила и переживает все случайности своего высокого положения и поэтому умеет ценить всякую сильную руку, которая помогает ей сохранить за собой выдающуюся позицию. Такой рукой и был Прохор Сазоныч Загнеткин. Как женщина, Раиса Павловна относилась ко всему, что происходило вокруг нее и с ней самой, с большой страстностью, и в ее глазах вся путаница творящихся в заводском мире событий окрашивалась слишком ярко. Такая яркая окраска считается при научных исследованиях громадным недостатком, но на практике она приносит несомненную пользу. Может быть, этой своей особенности

Раиса Павловна отчасти и была обязана тому, что, несмотря на все перевороты и пертурбации, она твердо и неизменно в течение нескольких лет сохранила власть в своих руках. И теперь, перечитывая письмо Загнеткина, она сильно волновалась, как старый боевой конь, почуявший пороховой дым. Вот что ей писал Прохор Сазоныч:

«Я уже писал вам, что Евгений Константиныч (заводовладелец) очень сблизился с генералом Блиновым, и не только сблизился, но даже совсем подпал под его влияние. Блинов служил профессором, юрист, человек не глупый и вместе глупый. Сами увидите, что за птица. Теперь занят проектом финансовых реформ, которые должны быть произведены на заводах. Что это за проект — пока неизвестно, но Блинову удалось убедить Евгения Константиныча отправиться нынче же на Урал, а это что-нибудь значит, и вы можете судить по этому, насколько сильно влияние генерала. Нужно сказать вам, что сам по себе Блинов, пожалуй, и не так страшен, как может показаться, но он находится под влиянием одной особы, которая, кажется, предубеждена против вас и особенно против Сахарова. Предупредите его, и пусть примет соответствующие меры к приезду Евгения Константиныча. От себя пока сказать ничего не могу об этой особе, которая теперь вертит Блиновым, но есть кой-какие обстоятельства, которые оказывают, что эта особа уже имеет сношения с Тетюевым. Значит, можно так рассуждать, что вся поездка Евгения Константиныча есть дело тетюевских рук, а может быть, заодно с ним орудуют Вершинин и Майзель, на которых никогда нельзя надеяться: продадут... Еще скажу я вам, Раиса Павловна, что вы все-таки не опасайтесь: господь милостив! А вы спросите меня о Прейне, как он? — скажу одно, что попрежнему, как флюгер, вертится по ветру. Но все-таки, если на кого и можно и следует надеяться, так это на Прейна: с ним Евгений Константиныч никогда не расстанется, а генерал Блинов сегодня здесь, а завтра и след простыл. Знаю, что вам интересно бы узнать, что эта за особа, которая вертит генералом, —разузнавал и пока узнал только то, что она живет с генералом в граждан-

ском виде, очень некрасива и немолода. Постараюсь разузнать все подробнее и тогда опишу.

Главное, нужно приготовиться к приему Евгения Константиныча, которого вы хорошо знаете, и также знаете и то, что нужно вам делать. Майзель и Вершинин не ударят лицом в грязь, а вам только остальное. Много вам будет хлопот, Раиса Павловна, но страшен сон, да милостив бог... С своей стороны буду стараться извещать вас о всем, что здесь будет делаться. Может, Евгений Константиныч и раздумает ехать на заводы, как не мог собраться съездить туда в течение двадцати лет раньше этого. А еще скажу вам, что в зимний сезон Евгений Константиныч очень были заинтересованы одной балериной и, несмотря на все старания Прейна, до сих пор ничего не могли от нее добиться, хотя это им стоило больших тысяч».

За Родионом Антонычем был послан третий рассылка. Раиса Павловна начинала терять терпение, и у ней по лицу выступили багровые пятна. В момент, когда она совсем была готова вспылить неудержимым барским гневом, дверь в кабинет неслышно растворилась, и в нее осторожно пролез сам Родион Антоныч. Он сначала высунул в отворенную половинку дверей свою седую, обритую голову с щурившимися серыми глазками, осторожно огляделся кругом и потом уже с подавленным кряхтением ввалился всей своей упитанной тушей в кабинет.

— Вы... что же это вы делаете со мной?! — с крикливыми нотками сдержанного гнева заговорила Раиса Павловна.

— Я? — удивился Родион Антоныч, поправляя на себе летнее коломянковое пальто.

— Да, вы... Я посылала за вами целых три раза, а вы сидите в своем курятнике и ничего на свете знать не хотите. Это бессовестно, наконец!!.

— Виноват, Раиса Павловна. Ведь еще десятый час на дворе.

— Вот полюбуйтесь! — сунула под нос Родиону Антонычу рассерженная Раиса Павловна смятое письмо. — Вы только и знаете, что свой десятый час...

— От Прохора Сазоныча-с... — в раздумье проговорил Родион Антоныч, вооружая свой мясистый нос черепаховыми очками и сначала рассматривая письмо издали.

— Да читайте... тьфу!.. Точно старая баба с печи слезает...

Родион Антоныч вздохнул, далеко отодвинул письмо от глаз и медленно принялся читать его, строчка за строчкой. По его оплывшему, жирному лицу трудно было угадать впечатление, какое производило на него это чтение. Он несколько раз принимался протирать очки и снова перечитывал сомнительные места. Прочитав все до конца, Родион Антоныч еще раз осмотрел письмо со всех сторон, осторожно сложил его и задумался.

— Ну?..

— Нужно будет с Платоном Васильичем посоветоваться...

— Да вы сегодня, кажется, совсем с ума спятили: *я буду советоваться с Платоном Васильичем...* Ха-ха!.. Для этого я вас и звала сюда!.. Если хотите знать, так Платон Васильич не увидит этого письма, как своих ушей. Неужели вы не нашли ничего глупее мне посоветовать? Что такое Платон Васильич? — дурак и больше ничего... Да говорите же, наконец, или убирайтесь, откуда пришли! Меня больше всего сводит с ума эта особа, которая едет с генералом Блиновым. Заметили, что слово *особа* подчеркнуто?

— Точно так-с.

— Вот меня это и бесит... Прохор Сазоныч не будет даром подчеркивать слова.

— Нет, не будет... Ох, не будет! — каким-то плаксивым голосом заговорил Родион Антоныч. — И обо мне есть: «настроены против Сахарова в особенности»... Ничего не разберу!..

— Если бы Лаптев ехал только с генералом Блиновым да с Прейном — это все были бы пустяки, а тут замешалась особа. Кто она? Что ей за дело до нас?

Родион Антоныч сделал кислую гримасу и только поднял кверху свои покатые, жирные плечи.

В кабинете водворилось тяжелое молчание. В саду

весело заливалась безыменная птичка; набегавший ветерок гнул пушистые верхушки сиреней и акаций, врывался в окно пахучей струей и летел дальше, поднимая на пруду легкую рябь. Солнечные лучи прихотливыми узорами играли на стенах, скользя яркими искрами по золотому багету и разливаясь мягкими световыми тонами на массивных узорах обоев. С тонким жужжанием влетела в комнату какая-то зеленая мушка, покружилась над письменным столом и поползла по руке Раисы Павловны. Та вздрогнула и очнулась от своего раздумья.

— Ну?

— Это Тетюев да Майзель механику подводят, — проговорил Родион Антоныч.

— И опять глупо: этакую новость сообщил! Кто же этого не знает... ну, скажите, кто этого не знает? И Вершинину, и Майзелю, и Тетюеву, и всем давно хочется столкнуть нас с места; даже я за вас не могу поручиться в этом случае, но это — все пустяки и не в том дело. Вы мне скажите: кто эта особа, которая едет с Блиновым?

— Не знаю.

— Так узнайте! Ах, господи! господи! Непременно узнайте, и сегодня же!.. От этого все зависит: мы должны приготовиться. Странно, что Прохор Сазоныч не постарался разузнать о ней... Вероятно, какая-нибудь столичная выжига.

— Вот что, Раиса Павловна, — заговорил Родион Антоныч, снимая очки, — ведь Блинов-то учился, кажется, с Прозоровым...

— Ну?..

— Так вот от Прозорова и можно будет узнать.

— Ах, действительно... Как это мне не пришло в голову? Действительно, чего лучше! Так, так... Вы сейчас же, Родион Антоныч, сходите к Прозорову и стороной все разузнайте от него. Ведь Прозоров болтун, и от него все на свете можно узнать... Отлично!..

— Нет уж, к Прозорову будет лучше вам самим сходить, Раиса Павловна... — с кислой гримасой заговорил Родион Антоныч.

— Это почему?

— Да так... вы ведь знаете, что Прозоров меня ненавидит...

— Ну, это вздор... Он и меня ненавидит, как ненавидит весь свет.

— Все-таки вам удобнее, Раиса Павловна. Вы бываете у Прозорова, а я...

— Ну, черт с вами, убирайтесь в свой курятник! — сердито оборвала Раиса Павловна, дергая сонетку. — Афанасья! Одеваться... да живее!.. Вы зайдите часика через два, Родион Антоныч!

«Ох, дрянь дело», — думал Родион Антоныч, вылезая из кабинета.

Его оплывшее лицо, блестевшее жирным загаром, теперь сморщилось в унылую улыбку, как у доктора, у которого только что умер самый надежный пациент.

II

Через полчаса Раиса Павловна спускалась с открытой веранды в густой и тенистый господский сад, который зеленой узорчатой прорезью драпировал берег пруда. На ней теперь было надето платье из голубого альпага, отделанное дорогими кружевами; красиво собранные рюши были схвачены под горлом бирюзовой брошью. В волосах, собранных в утреннюю прическу, удачно скрывалась чужая коса, которую носила Раиса Павловна очень давно. И в костюме, и в прическе, и в манере себя держать — везде сквозила какая-то фальшивая нота, которая придавала Раисе Павловне непривлекательный вид отжившей куртизанки. Впрочем, она это знала сама, но не стеснялась своей наружностью и даже точно нарочно щеголяла эксцентричностью костюма и своими полумужскими манерами. То, что губит в общественном мнении других женщин, для Раисы Павловны не существовало. На остроумном языке Прозорова эта особенность Раисы Павловны объяснялась тем, что «подозрение да не коснется жены Цезаря». Ведь Раиса Павловна была именно такой женой Цезаря в маленьком заводском мирке, где вся и все преклонялось пред ее авторитетом, чтобы вдоволь

позлословить на ее счет за глаза. Как умная женщина, Раиса Павловна все это отлично понимала и точно наслаждалась развертывавшейся пред ней картиной человеческой подлости. Ей нравилось, что те люди, которые топтали ее в грязь, в то же время заискивали и унижались перед ней, льстили и подличали наперерыв. Это было даже пикантно и приятно щекотало расшатавшиеся нервы жены Цезаря.

Чтобы пройти к Прозорову, который в качестве главного инспектора заводских школ занимал один из бесчисленных флигелей господского дома, нужно было миновать ряд широких аллей, перекрещивавшихся у центральной площадки сада, где по воскресеньям играла музыка. Сад был устроен на широкую барскую ногу. Оранжереи, теплички, клумбы цветов, аллеи и узкие дорожки красиво пестрили зеленую полосу берега. В воздухе пахучей струей разливался аромат только что распустившихся левкоев и резеды. Сирень, как невеста, стояла вся залитая напухшими, налившимися почками, готовыми развернуться с часу на час. Подстриженные щеткой акации образовали живые зеленые стены, в которых там и сям уютно прятались маленькие зеленые ниши с крошечными садовыми диванчиками и чугунными круглыми столиками. Эти ниши походили на зеленые гнездышки, куда так и тянуло отдохнуть. Вообще садовник хорошо знал свое дело и на пять тысяч, которые ему ежегодно ассигновало кукарское заводоуправление специально на поддержку сада, оранжерей и теплиц, делал все, что мог сделать хороший садовник: зимой у него отлично цвели камелии, ранней весной тюльпаны и гиацинты; огурцы и свежая земляника подавались в феврале, летом сад превращался в душистый цветник. Только несколько отдельных куп из темных елей и пихт да до десятка старых кедров красноречиво свидетельствовали о том севере, где цвели эти выхоленные сирени, акации, тополи и тысячи красивых цветов, покрывавших клумбы и грядки яркой цветистой мозаикой. Растения были слабостью Раисы Павловны, и она каждый день по нескольку часов проводила в саду или лежала на своей веранде, откуда открывался широкий вид на весь сад,

на заводский пруд, на деревянную раму окружавших его построек и на далекие окрестности.

Вид на Кукарский завод и на стеснившие его со всех сторон горы из господского сада, а особенно с веранды господского дома, был замечательно хорош, как одна из лучших уральских панорам. Центр картины, точно налитое до краев полное блюдо, занимал большой заводский пруд овальной формы. Направо широкой плотиной связаны были две возвышенности; на ближайшей красовалось своей греческой колоннадой кукарское главное заводоуправление с господским домом, а на противоположной качался мохнатыми вершинами редкий сосновый гребень. Издали эти две возвышенности походили на ворота, в которые выливалась горная река Кукарка, чтобы дальше сделать колено под крутой лесистой горой, оканчивавшейся утесистым пиком с воздушной часовенкой на самом верху. Между этими возвышенностями и по берегу пруда крепкие заводские домики выровнялись в правильные широкие улицы; между ними яркими заплатами зеленели железные крыши богатых мужиков и белели каменные дома местного купечества. Пять больших церквей красовались на самых видных местах.

Сейчас под плотиной, где сердито бурлила бойкая Кукарка, с глухим вздрагиванием погромыхивали громадные фабрики. На первом плане дымились три доменных печи; из решетчатых железных коробок вечно тянулся черным хвостом густой дым, прорезанный снопами ярких искр и косматыми языками вырывавшегося огня. Рядом стояла черной пастью водяная лесопильня, куда, как живые, ползли со свистом и хрипеньем ряды бревен. Дальше поднимались десятки всевозможных труб и правильными рядами горбились крыши отдельных корпусов, точно броня чудовища, которое железными лапами рвало землю, оглашая воздух на далекое расстояние металлическим лязгом, подавленным визгом вертевшегося железа и сдержанным ворчанием. Рядом с этим царством огня и железа картина широкого пруда с облепившими его домиками и зеленевшего по горам леса невольно манила к себе глаз своим про-

стором, свежестью красок и далекой воздушной перспективой.

Флигелек Прозорова стоял в северном углу сада, куда совсем не хватало солнце. Раиса Павловна вошла в открытую дверь полусгнившей, покосившейся террасы. В первой комнате никого не было, как и в следующей за ней. Эти маленькие комнатки с выцветшими обоями и сборной мебелью показались ей сегодня особенно жалкими и мизерными: на полу оставались следы грязных ног, окна были покрыты пылью, везде царил страшный беспорядок. Откуда-то тянуло затхлой сыростью, точно из погреба. Раиса Павловна поморщилась и презрительно съежила плечи.

«Это какая-то конюшня...» — брезгливо подумала она, заглядывая в следующую узкую, полутемную комнату.

Она в нерешительности остановилась в дверях, когда из глубины до ее слуха долетел речитатив Мефистофеля:

Красотка-то немножко устарела...

— Это вы, Виталий Кузьмич, на мой счет упражняетесь? — весело спросила Раиса Павловна, переступая порог.

Старчески-фальшивый голос смолк, и в ответ послышался тихий, с детскими нотками смех.

— Царица Раиса! какими судьбами!.. — заговорил небольшого роста худощавый господин, поднимаясь с прорванного клеенчатого дивана.

— Здравствуйте, великий человек... на малые дела! — развязно отозвалась Раиса Павловна, протягивая руку чудаку-хозяину. — Вы тут что-то такое пели сейчас?

— Да, да... — торопливо заговорил Прозоров, поправляя сбившийся на шее галстук. — Действительно, пел... Узрел сии голубые одежды, сию накладную косу, сие раскрашенное лицо — и запел!

— Если все остроумие заключается у вас сегодня в местоимении *сей,* то это немного скучно, Виталий Кузьмич.

— Что делать, что делать, голубушка! постарел, поглупел, выдохся... Ничто не вечно под луной!

— Где у вас тут присесть можно? — спрашивала Раиса Павловна, напрасно отыскивая глазами стул.

— А вот, пожалуйте на диван! Располагайтесь. Однако какими это судьбами занесло вас, царица Раиса, в мою берлогу?

— По старой памяти, Виталий Кузьмич... Когда-то и вы писывали стишки для женщины в голубых одеждах.

— О, помню, помню, царица Раиса! Дайте ручку поцеловать.... Да, да... Когда-то, давно-давно, Виталий Прозоров не только декламировал вам чужие стихи, но и сам парил для вас. Ха-ха... Получается даже каламбур: пáрил и парúл. Так-с... Вся жизнь состоит из таких каламбуров! Тогда, помните эту весеннюю лунную ночь... мы катались по озеру вдвоем... Как теперь вижу все: пахло сиренями, где-то заливался соловей! вы были молоды, полны сил, и судеб повинуясь закону...

Ты помнишь чудное мгновенье;
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Прозоров припал своей седевшей головой к руке Раисы Павловны, и она почувствовала, как на руку закапали крупные слезы... Ей сделалось жутко от двойного чувства: она презирала этого несчастного человека, отравившего ей жизнь, и вместе с тем в ней смутно проснулось какое-то теплое чувство к нему, вернее сказать, не к нему лично, а к тем воспоминаниям, какие были связаны с этой кудрявой и все еще красивой головой. Раиса Павловна не отнимала руки и смотрела на Прозорова большими остановившимися глазами. Это узкое лицо с козлиной бородкой и большими, темными, горячими глазами все еще было красиво какой-то беспокойной, нервной красотой, хотя кудрявые темные волосы уже давно блестели сединой, точно серебристой плесенью. Такой же плесенью был покрыт и живой, остроумный мозг Прозорова, разлагавшийся от собственной работы.

— А теперь, — заговорил Прозоров, прерывая тяжелую паузу, — я смотрю на развалины моей Трои,

которая напоминает мне о моем собственном разрушении. Да, да... Но я еще нахожу капельку поэзии:

Тихо запер я двери,
И один, без гостей,
Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей...

«Кабинет» Прозорова, занимавший узкую проходную комнату, что-то вроде коридора, был насквозь пропитан дымом дешевых сигар и запахом водки. Ободранный письменный стол, придвинутый к внутренней стене, был завален книгами, которые лежали здесь в самом поэтическом беспорядке. Тут же валялись листы исписанной бумаги и пустая бутылка из-под водки. В углу комнаты помещался шкаф с книгами, в другом — пустая этажерка и сломанное кресло с вышитой цветными шелками спинкой. Измятый, небрежный костюм хозяина соответствовал обстановке кабинета: летнее пальто из парусины съежилось от стирки и некрасиво суживало и без того его узкие плечи; такие же брюки, смятая сорочка и нечищенные, порыжевшие сапоги дополняли костюм. Раиса Павловна готова была пожалеть этого жалкого старика, который уже заметил это мимолетное движение, и по его худощавому лицу скользнула презрительно-нахальная улыбка, которая Раисе Павловне была особенно хорошо знакома.

— А я зашла к вам за Лушей... — деловым тоном заговорила Раиса Павловна, испытывая маленькое смущение.

— Знаю, знаю... — торопливо отозвался Прозоров, взбивая на голове волосы привычным жестом. — Знаю, что за делом, только не знаю, за каким...

— Я же сказала вам.

— Ах, да... Верую, господи, помоги моему неверию. За Лушей... Так.

— А ведь она у вас совсем большая. Необходимо о ней позаботиться...

— Совершенно верно!

Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом!

— Особенно таким отцом, каким судьба так несправедливо наградила бедную Лушу.

— Да, но я только отрицательным образом несправедлив к моей дочери, тогда как вы своим влиянием прививаете самое положительное зло.

— Именно?

— Именно, набиваете ей голову тряпками и разной бабьей философией. Я по крайней мере не вмешиваюсь в ее жизнь и предоставляю ее самой себе: природа — лучший учитель, который никогда не ошибается...

— И я так же рассуждала бы, если бы не любила вашей Луши.

— Вы? Любили? Перестаньте, царица Раиса, играть в прятки; мы оба, кажется, немного устарели для таких пустяков... Мы слишком эгоисты, чтобы любить кого-нибудь, кроме себя, или, вернее сказать, если мы и любили, так любили и в других самих же себя. Так? А вы, кроме того, еще умеете ненавидеть и мстить... Впрочем, я если уважаю вас, так уважаю именно за это милое качество.

— Благодарю. Откровенность за откровенность; бросьте этот старый хлам и лучше расскажите мне, что за человек генерал Блинов, с которым вы учились.

— Блинов... генерал Блинов... Да, Мирон Блинов.

Прозоров остановился и, взглянув на Раису Павловну с своей ехидной улыбкой, проговорил:

— Так вот зачем вы пожаловали ко мне!

— Что же из этого?

— А для чего вам понадобился Блинов? Опять какая-нибудь мудреная комбинация в области политики...

— Если спрашиваю, значит мне это нужно знать, а для чего нужно — дело мое. Поняли? Бабье любопытство одолело.

— Я так спросил... Так вам, значит, нужно выправить через меня справку о Мироне Геннадьиче? Извольте... Во-первых, это очень честный человек — первая беда для вас; во-вторых, он очень умный человек — вторая беда, и, в-третьих, он, к вашему счастью, сам считает себя умным человеком. Из таких умных и

честных людей можно веревки вить, хотя сноровка нужна. Впрочем, Блинов застрахован от вашей бабьей политики... Ха-ха!..

— Я не нахожу ничего смешного в том, что Мирон Геннадьич находится под сильным влиянием одной особы, которая...

— ...Которая безобразна, как гороховое чучело, — подхватил Прозоров удачно подброшенную реплику, — стара, как попова собака, и умна, как дьявол.

— А вы не знаете, кто эта особа сама по себе?

— Н-нет... Кажется, из девиц легкого чтения или из кухарок, но вообще не высокого полета. Ха-ха!.. Представьте же себе такую комбинацию: Блинов — профессор университета, стяжал себе известное имя, яко политико-экономом и светлая финансовая голова, затем, как я уже сказал вам, хороший человек во всех отношениях — и вдруг этот самый генерал Блинов, со всей своей ученостью, честностью и превосходительством, сидит под башмаком какого-то урода. Я еще понимаю такую ошибку, потому что когда-то сам имел несчастье увлечься такой женщиной, как вы. Ведь и вы меня любили когда-то, царица Раиса...

— Я? Никогда!..

— Немножко?

— А вы видели эту особу, которая держит генерала под башмаком? — перебила Раиса Павловна этот откровенный вопрос.

— Издали. Про нее можно сказать словами балаганных остряков, что издали она безобразна, а чем ближе, тем хуже. Послушайте, однако, для чего вы меня исповедуете обо всем этом?

— А вы до сих пор не можете догадаться, что это секрет, — с улыбкой ответила Раиса Павловна, — а секретов вам, как известно, доверять нельзя.

— Да, да... Все разболтаю: язык мой — враг мой, — согласился Прозоров с полукомическим вздохом.

Раиса Павловна просидела в каморке Прозорова еще с полчаса, стараясь выведать у своего болтливого собеседника еще что-нибудь о таинственной особе. Прозоров в таких случаях не заставлял себя просить и принялся рассказывать такие подробности, которые

даже не позаботился сколько-нибудь прикрасить для вероятности.

— Ну, вы, кажется, уж того... — заметила Раиса Павловна, поднимаясь с места.

— Убей меня бог, если вру!

Чтобы придать своим рассказам оттенок действительности, Прозоров углубился в воспоминания собственной юности, когда он еще студентом занимал вместе с Блиновым крошечную каморку в 17-й линии Васильевского острова. Славное было время, хотя Блинов был один из самых тупых студентов. Решительно не подавал никаких надежд, зубрил напропалую, вообще являлся дюжинной натурой и самой жалкой посредственностью. После их дороги разошлись, а теперь Блинов — видный ученый и превосходительная особа, тогда как Прозоров заживо тонет в водке.

— Кто же вам велит пить? — строго проговорила Раиса Павловна, стараясь не глядеть на своего собеседника.

— Кто меня заставляет? — спросил Прозоров, запуская обе руки в свои седые кудри.

— Да, вас...

— Эх, царица Раиса... Зачем вы меня спрашиваете? — застонал Прозоров. — Вы ведь очень хорошо знаете всю эту историю: душа болит у Виталия Кузьмича, вот он и пьет. Думал когда-то гору своротить, а запнулся о соломинку... Знаете, у меня на днях блеснула очень хорошая теория, которую можно назвать *теорией жертв*. Да, да... Всякое движение вперед и во всякой сфере требует своих жертв. Это железный закон!.. Возьмите промышленность, науку, искусство — везде казовые концы, которыми мы любуемся, выкупаются целым рядом жертв. Каждая машина, каждое усовершенствование или изобретение в области техники, каждое новое открытие требует тысяч человеческих жертв, именно в лице тех тружеников, которые остаются благодаря этим благодеяниям цивилизации без куска хлеба, которых режет и дробит какое-нибудь глупейшее колесо, которые приносят в жертву своих детей с восьми лет... То же самое творится и в области искусства и науки, где каждая новая истина, всякое

художественное произведение, редкие жемчужины истинной поэзии — все это выросло и созрело благодаря существованию тысяч неудачников и непризнанных гениев. И заметьте, эти жертвы не случайность, даже не несчастие, а только простой логический вывод из математически верного закона. Вот я и сопричислил себя к лику этих неудачников и непризнанных гениев: имя нам легион... Единственное утешение, которое осталось нам на долю, когда рядом генералы Блиновы процветают и блаженствуют, — есть мысль, что если бы не было нас, не было бы и действительно замечательных людей. Да-с...

Прозоров остановился перед своей слушательницей в трагической позе, какие «выкидывают» плохие провинциальные актеры. Раиса Павловна молчала, не поднимая глаз. Последние слова Прозорова отозвались в ее сердце болезненным чувством: в них было, может быть, слишком много правды, естественным продолжением которой служила вся беспорядочная обстановка прозоровского жилья.

— И заметьте, — импровизировал Прозоров, начиная бегать из угла в угол, — как нас всех, таких межеумков, заедает рефлексия: мы не сделаем шагу, чтобы не оглянуться и не посмотреть на себя... И везде это проклятое я! И понятное дело! Настоящего, определенного занятия у нас нет, — вот мы и копаемся в собственной душонке да вытаскиваем оттуда разный хлам. Главное, я сознаю, что такое положение самое распоследнее дело, потому что создается скромным желанием оправить себя в глазах современников. Ха-ха!.. И сколько нас, таких артистов? Есть даже такие счастливцы, что ухитряются целую жизнь пользоваться репутацией умных людей. Благодарю бога, что я не принадлежу к их числу по крайней мере... Выеденное яйцо — вернее, болтун — и дело с концом.

— О чем же у вас душа болит?

— Ах, да... Душа-то?.. А болит она, царица Раиса, о том, что я мог выполнить и не выполнил. Самое тяжелое чувство... И так во всем: в общественной деятельности, в своей профессии, особенно в личных делах. Идешь туда — и, глядишь, пришел совсем в другое место; хочешь принести человеку пользу — получается

вред, любишь человека — платят ненавистью, хочешь исправиться — только глубже опускаешься... Да. А там, в глубине души, сосет этакий дьявольский червяк: ведь ты умнее других, ведь ты бы мог быть и тем-то и тем-то, ведь и счастье себе своими руками загубил. Вот тут и приходит мат, хоть петлю на шею!

— Я вас за что люблю? — неожиданно прервал Прозоров ход своих мыслей. — Люблю за то именно, чего мне недостает, хотя сам я этого, пожалуй, и не желал бы иметь. Ведь вы всегда меня давили и теперь давите, даже давите вот своим настоящим милостивым присутствием...

— Я ухожу.

— Еще одно слово! — остановил Прозоров свою гостью. — Моя песенка спета, и обо мне нечего говорить, но я хочу просить вас об одном... Исполните?

— Не знаю, какая просьба.

— Исполнить ее вам ничего не стоит...

— Обещать, не зная что, по меньшей мере глупо.

Прозоров неожиданно опустился перед Раисой Павловной на колени и, схватив ее за руку, задыхавшимся шепотом проговорил:

— Оставьте Лушу в покое... Слышите: оставьте! Я встретился с вами в несчастную минуту и дорого заплатил за это удовольствие...

— И я, кажется, не дешево!

— Но моя девочка не виновата ни душой, ни телом в наших ошибках...

— Перестаньте ломать комедию, Виталий Кузьмич, — строго заговорила Раиса Павловна, направляясь к выходу. — Достаточно того, что я люблю Лушу гораздо больше вашего и позабочусь о ней...

— Неужели вам мало ваших приживалок, которыми вы занимаете своих гостей?! — со злостью закричал Прозоров, сжимая кулаки. — Зачем вы втягиваете мою девочку в эту помойную яму? О, господи, господи! Вам мало видеть, как ползают и пресмыкаются у ваших ног десятки подлых людей, мало их унижения и добровольного позора, вы хотите развратить еще и Лушу! Но я этого не позволю... Этого не будет!

— Вы забываете только одно маленькое обстоя-

тельство, Виталий Кузьмич, — сухо заметила Раиса Павловна, останавливаясь в дверях, — забываете, что Луша совсем большая девушка и может иметь свое мнение, свои собственные желания.

Прозоров остановился, что-то подумал, махнул рукой и каким-то упавшим голосом спросил:

— Скажите по крайней мере, для чего вы меня исповедовали о генерале Блинове?

Раиса Павловна только пожала плечами и презрительно улыбнулась. Она вздохнула свободнее, когда очутилась на открытом воздухе.

— Дурак!.. — энергично проговорила она, шагая по черемуховой аллее к центральной площадке.

III

Возвращаясь по саду домой, Раиса Павловна перебирала в уме только что слышанную болтовню Прозорова. Что такое генерал Блинов — она почти поняла, или по крайней мере отлично представляла себе этого человека; но относительно особы она мало вынесла из своего визита к Прозорову. Эта особа так и оставалась искомым неизвестным. Прозоров рисовал слишком густыми красками и, наверно, любую половину приврал. Раису Павловну смущало больше всего противоречие, которое вытекало из характеристики Прозорова: если эта таинственная особа стара и безобразна, то где же секрет ее влияния на Блинова, тем более что она не была даже его женой? Что-нибудь да не так, особенно если принять во внимание, что генерал, по всем отзывам, человек умный и честный... Конечно, бывают иногда случаи.

Занятая своими мыслями, Раиса Павловна не заметила, как столкнулась носом к носу с молоденькой девушкой, которая шла навстречу с мохнатым полотенцем в руках.

— Ах, как ты меня испугала, Луша!

— Куда это вы ходили, Раиса Павловна? — весело спрашивала девушка, целуя Раису Павловну звонким поцелуем.

— К вам ходила... С папенькой твоим беседовали чуть не целый час. Даже голова заболела от его болтовни... Ты что это, купалась?

— Да.

Девушка показала свои густые мокрые волосы, завернутые толстым узлом и прикрытые сверху пестрым бумажным платком, который был сильно надвинут на глаза, как носят заводские бабы. Под навесом платка беззаботно смеялись бойкие карие глаза, опушенные длинными ресницами; красивый с горбиком нос как-то особенно смешно морщился, когда Луша начинала смеяться. Это молодое лицо, теперь все залитое румянцем, было хорошо даже своими недостатками: маленьким лбом, неправильным овалом щек, чем-то бесхарактерным, что лежало в очерке рта. Раиса Павловна любила это лицо и теперь с особенным удовольствием осматривала девушку с ног до головы: положительно, Луша унаследовала от отца его нервную красоту. С материнской улыбкой она осматривала теперь новенькое платье Луши. Это была дорогая обновка из чечунчи, и девушка в первый раз надела ее, чтобы идти купаться. Нет, в этой девчонке есть именно то качество, которое сразу выделяет женщину из тысячи других бесцветных кукол.

— Луша, я скажу тебе очень интересную новость...— заговорила Раиса Павловна, обнимая девушку за талию и увлекая ее за собой. — К нам едет Евгений Константиныч...

— Лаптев?

— Да. Только это пока секрет. Понимаешь?

— Понимаю, понимаю...

— С ним, конечно, едет Прейн, потом толпа молодежи... Превесело проведем все лето. Самый отличный случай для твоих первых триумфов!.. Да, мы им всем вскружим голову... У нас один бюст чего стоит, плечи, шея... Да?.. Милочка, женщине так мало дано от бога на этом свете, что она своим малым должна распорядиться с величайшей осторожностью. Притом женщине ничего не прощают, особенно не прощают старости... Ведь так... а?..

При последних словах Раиса Павловна накинулась на девушку с такими ласками, от которых та принуждена была защищаться.

— Ах, какая ты недотрога!.. — с улыбкой проговорила Раиса Павловна. — Не нужно быть слишком застенчивой. Все хорошо в меру: и застенчивость, и дерзость, и даже глупость... Ну, сознайся, ты рада, что приедет к нам Лаптев? Да?.. Ведь в семнадцать лет жить хочется, а в каком-нибудь Кукарском заводе что могла ты до сих пор видеть, — ровно ничего! Мне, старой бабе, и то иногда тошнехонько сделается, хоть сейчас же камень на шею да в воду.

— А Лаптев долго пробудет у нас?

— Пока ничего не знаю, но с месяц, никак не более. Как раз пробудет, одним словом, столько, что ты успеешь повеселиться до упаду, и, кто знает... Да, да!.. Говорю совершенно серьезно...

Луша тихо засмеялась теми же детскими нотками, как смеялся отец; ровные белые зубы и ямочки на щеках придавали смеху Луши какую-то наивную прелесть, хотя карие глаза оставались серьезными и в них светилось что-то жесткое и недоверчивое.

— Вы меня уж не за Прейна ли прочите? — проговорила Луша, делая гримасу.

— Нет. Прейн никогда не женится. Но это ему не мешает быть еще красивым мужчиной, конечно, красивым для своих лет. Когда-то он был замечательно хорош, но теперь...

— Мне он кажется просто отвратительным.

— Да? А между тем от него еще недавно женщины сходили с ума... Впрочем, ты еще была совсем крошкой, когда Прейн был здесь в последний раз.

— Все-таки я отлично его помню: зубы гнилые и смотрит так... совсем особенно. Я всегда боялась, когда он начинал смеяться.

— Дурочка!.. Что же мы здесь шатаемся с тобой, пойдем ко мне кофе пить.

— Я схожу переодеться сначала.

— Вздор! Можешь у меня переодеться. Афанасья уберет тебе волосы.

Они пошли от пруда по направлению к главному зданию господского дома. Солнце было уже высоко и подобрало ночную росу с травы и цветов. Только кой-где, под прикрытием кустов, оставались еще темнозеленые полосы мокрой зелени, точно сейчас покрытой лаком. Из этих тенистых уголков так и обдавало свежестью, которая быстро исчезала под наплывом сгущавшегося летнего зноя. Легкое грозовое облачко, точно вскинутый кверху ворох темных кружев, круто поднималось над далекими горами, оставляя за собой длинную тень, скользившую по земле широким шлейфом.

С веранды дамы прошли прямо в уборную Раисы Павловны, великолепную голубую комнату с атласными обоями, штофными драпировками и ореховой мебелью в стиле которого-то Людовика. Мраморный умывальник, низкая резная кровать с балдахином над изголовьем, несколько столиков самой вычурной работы, в углах шифоньерки — вообще обстановка уборной придавала ей вид и спальни и будуара. Тысячи безделушек валялись кругом без всякой цели и порядка, единственно потому только, что их так бросили или забыли: японские коробки и лакированные ящички, несколько китайских фарфоровых ваз, пустые бонбоньерки, те специально дамские безделушки, которыми Париж наводняет все магазины, футляры всевозможной величины, формы и назначения, флаконы с духами, целый арсенал принадлежностей косметики, и т. д. Приготовленное Афанасьей платье ждало Раису Павловну на широком атласном диванчике; различные принадлежности дамского костюма перемешались в беспорядочную цветочную кучу, из-под которой выставлялись рукава платья с болтавшимися манжетами, точно под этой кучей лежал раздавленный человек с бессильно опустившимися руками. Раиса Павловна любила щеголять в пестрых костюмах, особенно летом.

— Афанасья, прибери голову Луше, — лениво проговорила Раиса Павловна, усталым движением опускаясь на кушетку. — А я подожду...

Афанасья, худая и длинная особа, с костлявыми руками и узким злым лицом, молча принялась за дело. Девушка с удовольствием поместилась к дамскому уборному столику, овальное зеркало которого совсем пряталось под кружевным пологом, схваченным наверху короной из голубых и белых лент. Раиса Павловна несколько минут следила за работой Афанасьи и нахмурилась. Верная служанка, видимо, была недовольна своей работой и сердито приводила в порядок рассыпавшуюся по плечам Луши волну русых волос; гребень ходил у ней в руках неровно и заставил девушку несколько раз сморщиться от боли.

— Оставь... — проговорила Раиса Павловна, когда Афанасья принялась заплетать тяжелую косу. — Можешь идти.

Афанасья что-то проворчала себе под нос и вышла из комнаты.

— Настоящая змея! — с улыбкой проговорила Раиса Павловна, вставая с кушетки. — Я сама устрою тебе все... Сиди смирно и не верти головой. Какие у тебя славные волосы, Луша! — любовалась она, перебирая в руках тяжелые пряди еще не просохших волос. — Настоящий шелк... У затылка не нужно плести косу очень туго, а то будет болеть голова. Вот так будет лучше...

С ловкостью камеристки Раиса Павловна сделала пробор на голове, заплела косу и, отойдя в сторону, несколько времени безмолвно любовалась сидевшей неподвижно Лушей. Когда та хотела встать, она остановила ее:

— Погоди, у меня есть одна штучка, которая к тебе очень пойдет.

Вытащив из шифоньерки какой-то длинный футляр, Раиса Павловна торопливо достала из него несколько ниток красных кораллов с золотой застежкой и надела их на Лушу.

— Вот теперь хорошо! — довольным голосом заметила она. — Красные кораллы идут ко всякой коже...

Луша покраснела от удовольствия; у нее, кроме бус из дутого стекла, ничего не было, а тут были настоящие

кораллы. Это движение не ускользнуло от зоркого взгляда Раисы Павловны, и она поспешила им воспользоваться. На сцену появились браслеты, серьги, броши, колье. Все это примеривалось перед зеркалом и ценилось по достоинству. Девушке особенно понравилась брошь из восточного рубина густого кровяного цвета; дорогой камень блестел, как сгусток свежезапекшейся крови.

— Не правда ли, хорошо? — спрашивала Раиса Павловна и потом вдруг расхохоталась.

Девушка смутилась и начала торопливо срывать с себя чужие сокровища, но Раиса Павловна удержала ее за руку.

— Знаешь, над чем я хохочу? — шептала она, вздрагивая от смеха. — Если бы твой папа увидел теперь нас, он просто приколотил бы и тебя и меня... Ведь он ненавидит все, что нравится женщинам. Ха-ха... Он хотел сделать из тебя мальчика — да? Но природа перехитрила его. Разве мы виноваты, если эти безделушки делают нас не красивее, а заметнее. Женщина — пассивное существо; ей, особенно в известном возрасте, поневоле приходится прибегать к искусству... Но это к тебе не относится: ты слишком хороша сама по себе, чтобы портить себя разным дорогим хламом. Какая-нибудь лента, несколько живых цветов — вот все, что для тебя теперь необходимо. Так?.. Только не следует забывать, что всякая красота, особенно типичная, редкая красота, держится недолго и ее приходится поддерживать. Вот об этом всякой женщине следует подумать заблаговременно. Женщина всегда останется женщиной, что бы там ни говорили... Будь ты умна, как все семь греческих мудрецов, но ни один мужчина не посмотрит на тебя, как на женщину, если ты не будешь красива. Заметь, что даже самой красивой девушке не всегда будет семнадцать лет... Время — наш самый страшный враг, и мы всегда должны это помнить, ma petite [1].

Этот разговор был прерван появлением Афанасьи с кофе. За ней вошел в комнату высокий господин в

[1] моя маленькая *(франц.)*.

круглых очках. Он осмотрелся в комнате и нерешительно проговорил:

— Раиса Павловна, вы слышали новость?

— Какую?

— Евгений Константиныч едет к нам...

— Неужели?

— Да, да... Все говорят об этом. Получено какое-то письмо. Я нарочно зашел к тебе узнать, что это такое?..

— Можешь успокоиться: Лаптев действительно едет сюда. Я сегодня получила письмо об этом.

— Здравствуйте, Платон Васильич... — заговорила Луша.

— Ах, да... Виноват, я совсем не заметил тебя, — рассеянно проговорил Платон Васильич. — Я что-то хуже и хуже вижу с каждым днем... А ты выросла. Да... Совсем уж взрослая барышня, невеста. А что папа? Я его что-то давно не вижу у нас?

— Виталий Кузьмич сердится на тебя, — ответила Раиса Павловна.

Платон Васильевич постоял несколько минут на своем месте, рассеянным движением погладил свою лысину и вопросительно повернул сильно выгнутые стекла своих очков в сторону жены. На его широком, добродушном лице с окладистой седой бородой промелькнула неопределенная улыбка. Эта улыбка рассердила Раису Павловну. «Этот идиот невыносим», — с щемящей злобой подумала она, нервно бросая в угол какой-то подвернувшийся под руку несчастный футляр. Ее теперь бесила и серая летняя пара мужа, и его блестевшие очки, и нерешительные движения, и эта широкая лысина, придававшая ему вид новорожденного.

— Ну? — сердито бросила она свой обычный вопрос.

— Я — ничего... Я сейчас иду в завод, — заговорил Платон Васильевич, ретируясь к двери.

— Ну и отправляйся в свой завод, а мы здесь будем одеваться. Кофе я пришлю к тебе в кабинет.

Когда Платон Васильевич удалился, Раиса Павловна тяжело вздохнула, точно с ее жирных плеч ска-

тилось тяжелое бремя. Луша не заметила хорошенько этой семейной сцены и сидела попрежнему перед зеркалом, вокруг которого в самом художественном беспорядке валялись броши, браслеты, кольца, серьги и колье. Живой огонь брильянтов, цветные искры рубинов и сапфиров, радужный, жирный блеск жемчуга, молочная теплота большого опала — все это притягивало теперь ее взгляд с магической силой, и она продолжала смотреть на разбросанные сокровища, как очарованная. Воображение рисовало ей, что эти брильянты искрятся у ней на шее и разливают по всему телу приятную теплоту, а на груди влажным огнем горит восточный изумруд. В карих глазах Луши вспыхнул жадный огонек, заставивший Раису Павловну улыбнуться. Кажется, еще одно мгновение, и Луша, как сорока, инстинктивно схватила бы первую блестевшую безделушку. Девушка очнулась только тогда, когда Раиса Павловна поцеловала ее в зарумянившуюся щечку.

— А... что?.. — бормотала она, точно просыпаясь от своего забытья.

— Ничего... Я залюбовалась тобой. Хочешь, я подарю тебе эту коралловую нитку?

Действительность отрезвила Лушу. Инстинктивным движением она сорвала с шеи чужие кораллы и торопливо бросила их на зеркало. Молодое лицо было залито краской стыда и досады: она не имела ничего, но милостыни не принимала еще ни от кого. Да и что могла значить какая-нибудь коралловая нитка? Это душевное движение понравилось Раисе Павловне, и она с забившимся сердцем подумала: «Нет, положительно, эта девчонка пойдет далеко... Настоящий тигренок!»

IV

Известие о приезде Лаптева молнией облетело не только Кукарский, но и все остальные заводы.

Интересно было проследить, как распространилось это известие по всему заводскому округу. Родион Антоныч не сказал никому о содержании своего разговора с Раисой Павловной, но в заводоуправлении видели,

как его долгушка не в урочный час прокатилась к господскому дому. Это — раз. Когда служащие навели необходимые справки, оказалось, что за Родионом Антонычем рассылка из господского дома бегала целых три раза. Вот вам — два. А это уж что-нибудь значило! После таких экстренных советов Раисы Павловны с своим секретарем всегда следовали какие-нибудь важные события. Когда служащие вкривь и вкось обсуждали все случившееся, в заводскую библиотеку, которая помещалась в здании заводоуправления, прибежал Прозоров и торопливо сообщил, что на заводы едет Лаптев. Он сам не слыхал об этом, но дошел до такого заключения путем чисто логических выкладок и, как мы видим, не ошибся. В библиотеке в это время сидели молодой заводский доктор Кормилицын и старик Майзель, второй заводский управитель.

— Что же тут особенного: едет — так едет! — жидким тенориком заметил доктор, поправляя свою нечесаную гриву.

— А па-азвольте узнать, Виталий Кузьмич, от кого вы это узнали? — спрашивал Майзель, отчеканивая каждое слово.

— Все будешь знать, скоро состаришься, — уклончиво ответил Прозоров, ероша свои седые кудри. — Сказал, что едет, и будет с вас.

Майзель презрительно сжал свои губы и подозрительно чмокнул углом рта. Его гладко остриженная голова, с закрученными седыми усами, и военная выправка выдавали старого военного, который постоянно выпячивал грудь и молодцевато встряхивал плечами. Красный короткий затылок и точно обрубленное лицо, с тупым и нахальным взглядом, выдавали в Майзеле кровного «русского немца», которыми кишмя-кишит наше любезное отечество. В манере Майзеля держать себя с другими, особенно в резкой чеканке слов, так и резал глаз старый фронтовик, который привык к слепому подчинению живой человеческой массы, как сам умел сгибаться в кольцо перед сильными мира сего. К этому остается добавить только то, что Майзель никак не мог забыть тех жирных генеральских эполет, которые уже готовы были повиснуть на его широких

плечах, но по одной маленькой случайности не только не повисли, но заставили Майзеля выйти в отставку и поступить на частную службу. Рядом с Майзелем, вылощенным и вычищенным, как на смотр, доктор Кормилицын представлял своей длинной, нескладной и тощей фигурой жалкую противоположность. В нем как-то все было не к месту, точно платье с чужого плеча: тонкие ноги с широчайшими ступнями, длинные руки с узкой, бессильной костью, впалая чахоточная грудь, расшатанная походка, зеленовато-серое лицо с длинным носом и узкими карими глазами, наконец вялые движения, где все выходило углом. Прозоров бойко и насмешливо посмотрел на своих слушателей и проговорил, обращаясь к Майзелю:

— Итак, драгоценнейший Николай Карлыч, дни наши сочтены, и воздастся коемуждо по делом его...

— Что вы хотите этим сказать?..

— Ха-ха... Ничего, ничего! Я пошутил...

— И очень глупо!..

— Нет, кроме шуток: с Лаптевым едет генерал Блинов, и нам всем достанется на орехи.

Последняя фраза целиком долетела до ушей входившего в библиотеку бухгалтера из Заозерного завода. Сгорбленный лысый старичок тускло посмотрел на беседовавших, неловко поклонился им и забился в самый дальний угол, где из-за раскрытой газеты торчало его любопытное старческое ухо, ловившее интересный беглый разговор.

Этого было достаточно, чтобы через полчаса все заводские служащие узнали интересную новость. Майзель торопливо уехал домой, чтобы из первых рук сообщить все слышанное своей Амалии Карловне, у которой — скажем в скобках — он нес очень тяжелую фронтовую службу. Тем, кто не был в этот день на службе, интересное известие обязательно развез доктор Кормилицын, причем своими бессвязными ответами любопытную половину человеческого рода привел в полное отчаяние. Через два часа новинка уже катилась по дороге в Заозерный завод и по пути была передана ехавшему навстречу кассиру из Куржака и Мельковскому заводскому надзирателю. Словом, полученное

утром Раисой Павловной известие начало циркулировать по всем заводам с изумительной быстротой, поднимая на всех ступеньках заводской иерархии страшнейший переполох. Как это часто случается, последним узнал эту интересную новость главный управляющий Кукарских заводов Платон Васильич Горемыкин. Он с механиком дожидался отливки катальных валов, когда старик дозорный, сняв шапку, почтительно осведомился, не будет ли каких особенных приказаний по случаю приезда Лаптева.

— Что-нибудь да не так, — усомнился Горемыкин.

— Нет, они едут-с... — настаивал дозорный. — Вся фабрика в голос говорит.

— Вы разве ничего не слыхали, Платон Васильич? — с удивлением спрашивал механик.

— Нет.

— Странно... Все решительно говорят о приезде Евгения Константиныча на заводы.

— Гм... Нужно будет спросить у Раисы Павловны, — решил Горемыкин. — Она знает, вероятно.

Главный виновник поднявшегося переполоха, Прозоров, был очень доволен той ролью, которая ему выпала в этом деле. Пущенным наудачу слухом он удовлетворил свое собственное озлобленное чувство против человеческой глупости: пусть-де их побеснуются и поломают свои пустые головы. С другой стороны, этому философу доставляло громадное наслаждение наблюдать базар житейской суеты в его самых живых движениях, когда наверх всплывали самые горячие интересы и злобы. Подавленная тревога Майзеля, детское равнодушие доктора, суета мелкой служительской сошки — все это доставляло богатый запас пищи для озлобленного ума Прозорова и служило материалом для его ядовитых сарказмов. Побродив по заводоуправлению, где в четырех отделениях работало до сотни служащих, Прозоров отправился к председателю земской управы Тетюеву, который по случаю летних вакаций жил в Кукарском заводе, где у него был свой дом.

— Слышали новость, Авдей Никитич? — крикливо спрашивал Прозоров еще из передней небольшого верт-

лявого господина в синих очках, который ждал его в дверях гостиной.

— Да, слышал... Только это нас не касается, Виталий Кузьмич, — отвечал председатель, протягивая свою короткую руку. — Для земства это совершенно безразлично.

— Ой ли?

— Конечно, безразлично... Хотя бы три дня шел дождь Лаптевыми, скажу словами Лютера, до земства это не касается... Земство должно держать высоко знамя своей независимости, оно стоит выше всего этого.

Прозоров засмеялся.

— Вы чему смеетесь?

— Да так... Скажу вам на ушко, что всю эту штуку я придумал — и только! Ха-ха!.. Пусть их поворочают мозгами...

— В таком случае, я могу вас уверить, что Лаптев действительно едет сюда. Я это знаю из самых наидостовернейших источников...

— Вот те и раз! Значит, иногда можно соврать истинную правду.

— Вы, конечно, знаете, какую борьбу ведет земство с заводоуправлением вот уже который год, — торопливо заговорил Тетюев. — Приезд Лаптева в этом случае имеет для нас только то значение, что мы окончательно выясним наши взаимные отношения. Чтобы нанести противнику окончательное поражение, прежде всего необходимо понять его планы. Мы так и сделаем. Я поклялся сломить заводоуправление в его нынешнем составе и добьюсь своей цели.

— Война алой и белой розы?

— Да, около того. Я поклялся провести свою идею до конца, и не буду я, если когда-нибудь изменю этой идее.

— Враг силен, Авдей Никитич...

— Чтобы я когда-нибудь перешел на сторону Лаптева?! Нет, Виталий Кузьмич, наплюйте мне в лицо, если заметите хоть тень чего-нибудь подобного.

Плотная, приземистая фигура Тетюева, казалось, дышала той энергией, которая слышалась в его словах.

Его широкое лицо с крупными чертами и окладистой русой бородкой носило на себе интеллигентный характер, так же как и простой домашний костюм, приспособленный для кабинетной работы. Вообще Тетюев представлял собой интересный тип земского деятеля, этого homo novus [1] захолустной провинциальной жизни. Отец и дед Тетюева служили управителями в Кукарском заводе и прославились в темные времена крепостного права особенной жестокостью относительно рабочих; под их железной рукой стонали и гнулись в бараний рог не одни рабочие, а весь штат заводских служащих, набранных из тех же крепостных. Авдей Никитич только чуть помнил это славное время процветания своей фамилии, а самому ему уже пришлось пробивать дорогу собственным лбом и не по заводской части. Полученное им университетское образование, вместе с наследством после отца, дало ему полную возможность не только фигурировать с приличным шиком в качестве председателя Ельниковской земской управы, но еще загибать углы такой крупной силе, как кукарское заводоуправление. В последнем случае одною из побудительных причин, поддававшей Авдею Никитичу неиссякаемый прилив энергии, служило самое простое обстоятельство: он не мог никак примазаться к заводам, куда его неудержимо тянуло в силу семейных традиций, и теперь в качестве земского деятеля солил заводоуправлению в его настоящем составе.

— А я вот «Лоэнгрина» здесь штудирую... — объяснял Тетюев, усаживая гостя на диван. — Чертовски трудная эта вагнеровская музыка.

— Ага!

— Знаете, такие оригинальные музыкальные фразы попадаются, что бьешься-бьешься над ними...

— Ага! Ага, ворона!

— Да вот я вам лучше сыграю, сами увидите!

Тетюев подбежал к щегольскому роялю и бойко заиграл какую-то сцену из второго акта «Лоэнгрина». Поместившись на диване, Прозоров старался вслу-

[1] нового человека (*лат.*).

щаться в шумные аккорды музыки будущего; музыкальная тема была слишком растянута и расплывалась в неясных деталях. Старик предпочитал музыку прошедшего, где все было ясно и просто: хоры так хоры, мелодия так мелодия, а то извольте-ка выдержать всю пьесу до конца. Играл Тетюев порядочно и страстно любил музыку, которой отдавал все свое свободное время. В нем была артистическая жилка, которая теперь сближала этих антиподов. В сущности Прозоров не понимал Тетюева: и умный он был человек, этот Авдей Никитич, и образование приличное получил, и хорошие слова умел говорить, и благородной энергией постоянно задыхался, а все-таки, если его разобрать, так черт его знает, что это был за человек... Собственно, Прозорова отталкивала та мужицкая закваска, какая порой сказывалась в Тетюеве: неискренность, хитрость, неуловимое себе на уме, которое вырабатывалось под давлением крепостного режима целым рядом поколений. Прозорову хотелось верить в Тетюева, но эту веру постоянно подмывала какая-то холодная и фальшивая нотка.

Обстановка большого председательского дома отличалась пестрой смесью старой крепостной роскоши с требованиями нового времени. Почерневшие кресла из красного дерева с тонкими ножками и выгнутыми спинками простояли в этом доме целых полвека и теперь старчески-неприязненно смотрели на новую венскую мебель, на пестрые бархатные ковры и на щегольской рояль. Старик Тетюев был крепкий человек и не допустил бы к себе в дом ничего легковесного: каждая вещь должна была отслужить minimum сто лет, чтобы добиться отставки. Но старика Тетюева не стало, и в его дом вместе с новыми легковесными людьми ворвался целый поток разной дребедени. Звуки вагнеровской оперы дополняли картину, наполняя стены, выстроенные крепостным трудом, мелодиями музыки будущего. Прозоров слушал «Лоэнгрина» и незаметно позабылся, погрузившись в воспоминания своего тревожного прошлого, где вставало столько дорогих сердцу лиц и событий.

— Ну-с, как вы находите? — спрашивал хозяин, поднимаясь из-за рояля.

— А... что?

Тетюев немного обиделся. Невнимание к его игре задело его за живое, как артиста.

— Вот что, — прибавил он. — Соловья музыкой будущего не кормят... Так? Адмиральский час на дворе, и пора закусить.

От закуски Прозоров не отказался, тем более что Тетюев любил сам хорошо закусить и выпить, с теми специально барскими приемами, какие усваиваются на официальных обедах и парадных завтраках. За бутылкой рейнвейна Прозоров разболтался, и Тетюев много и долго говорил о процветании Ельниковского земства, о народном образовании, а особенно о том, что Кукарские заводы в стройном земском концерте являются страшным диссонансом, который необходимо перевести в гармонические комбинации. Развивая свою мысль, он доказывал, как дважды два четыре, что заводы должны быть обложены вчетверо больше, чем теперь, что должны быть обеспечены на счет заводовладельца все искалеченные на заводской работе, изработавшиеся и сироты, что он притянет заводовладельца по поводу профессионального образования и т. д. Прозоров, слушая все это внимательно, пил и не возражал, улыбаясь блаженной улыбкой довольного пьяницы. В заключение Тетюев не без ловкости принялся расспрашивать Прозорова о генерале Блинове, причем Прозоров не заставлял просить себя лишний раз и охотно повторил то же самое, что утром уже рассказывал Раисе Павловне.

— Так, так... — мягким грудным баритоном поддакивал Тетюев, рассматривая охмелевшего Прозорова через очки. — А я, знаете, несколько иначе думал об этом генерале Блинове...

— Да что вам дался этот генерал Блинов? — закончил Прозоров уже пьяным языком. — Блинов... хе-хе!.. это великий человек на малые дела... Да!.. Это... Да ну, черт с ним совсем! А все-таки какое странное совпадение обстоятельств: и женщина в голубых одеждах при-

ходила утру глубоку... Да... чер-рт побери... Знает кошка, чье мясо съела. А мне плевать.

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз, —

декламировал старик, склоняясь на подушку дивана.

— Отдохните здесь, Виталий Кузьмич.

— И то добре... «Звезды сияют во мраке их глаз»... Недурно сказано... Чисто восточная форма сравнения, а в этом анафемском «сияют» — настоящая музыка! Хе-хе!.. Когда-то и у царицы Раисы сияли звезды, а теперь! фюить...

И погибнет священная Троя,
И град копьеносца Приама священный...

V

Отдыхать у Тетюева Прозоров, однако, не остался, а побрел домой, «под свою смоковницу», как он объяснил своим заплетавшимся языком.

— Блинов едет... Великий человек едет!.. Ха-ха... — думал вслух Прозоров, нетвердой походкой приближаясь к своему жилищу. — Светило науки, финансист... Х-ха!.. Лукреция?

— Опять нализался?.. — сердито встретила отца Луша, помогая ему добраться до своего кабинета.

— М-мы завтракали, Лукреция... Авдей Никитич — хороший челаэк... Он... он задаст перцеазра с горошком царице Раисе. Х-ха... А Майзель — дурак... солдафон!..

Пошатываясь на месте, Прозоров изобразил дочери надутую фигуру русского немца. В следующий момент он представил вытянутую и сутуловатую «натуру» доктора и засмеялся своим детским смехом.

— А что, Лукреция, Яшка Кормилицын все еще ухаживает за тобой? Ах, бисов сын! Ну, да ничего, дело житейское, а он парень хороший — как раз под дамское седло годится. А все-таки враг горами качает:

Мой совет: до о-обрученья
Две-ерь не отворя-ай!
Две-ерь не от-воо-ря-аай... —

хрипло пропел Прозоров арию Мефистофеля.

— Ты слышал, папа, что сюда едет Лаптев? — перебила Луша пьяную болтовню старика.

— Слышал... Его тащит сюда на буксире генерал Блинов... Царица Раиса нарочно прибегала ко мне утром выведать кое-что о Блинове. Уж я ей врал-врал... Потом Тетюев тоже стороной выпытывал, и тому врал сторицей. Вот, Лукреция, поучайся житейской философии: когда-то Блинов... Ну, да что об этом говорить: плевать!.. Наше время другое было: идеалисты были, эстетики... На хороших словах помешались... Вам это даже слушать скучно, а мы обливались кровью над разными красивыми благоглупостями. Посвящали себя служению истине, добру и красоте, а вместо того вышло — распивочно и на вынос... Ха-а!.. Лукреция:

На щеках, как в жаркое лето,
Румянец, пылая, горит...
А сердце морозом одето,
И зимний там холод стоит.

— Будет, папа, ложись и выспись сначала. Твои стихи давно и всем надоели...

— Нет, постой, это Гейне стихи. Шалишь... Ты слушай:

Верь, милая! время настанет,
Время придет,
И солнце в сердечко заглянет,
И щечки морозом зальет!..

Гейне... О! это была такая шельма, Лукреция... это... это... ну, в ваше архиреальное время никто не напишет таких стихов! — болтал старик, обращаясь в пространство.

Девушка прошла в свою комнату, которая выходила в сад, села к окну и заплакала. Болтовня пьяного отца переполнила чашу. Разговоры Раисы Павловны привели Лушу в самое возбужденное состояние, и она ушла из господского дома в каком-то тумане, унося в душе жгучую жажду иной жизни, о какой могла только мечтать. Действительность слишком мало отвечала этим мечтам; напротив, она шла вразрез с теми идеальными постройками, какие сложились в голове семна-

дцатилетней девушки. Жажда богатства, наслаждений, веселья — вот что теперь сладко кружило голову Луши, а тут полугнилой флигель, нищенская обстановка, позорная бедность в каждом углу, полусумасшедший пьяница-отец и какой-то идиот-поклонник, в лице доктора Кормилицына. Тут было от чего заплакать... Луша теперь ненавидела даже воздух, которым дышала: он, казалось ей, тоже был насыщен той бедностью, какая обошла флигелек Прозорова со всех сторон, пряталась в каждой складке более чем скромных платьев Луши, вместе с пылью покрывала полинялые цветы ее летней соломенной шляпы, выглядывала в отверстия проносившихся прюнелевых ботинок и сквозила в каждую щель, в каждое отверстие.

Стоило ли жить так, как она жила? — думала девушка. Это какое-то прозябание, хуже — медленное разложение, как гниет где-нибудь в сыром углу плесень. И в то же время Раиса Павловна наслаждается всеми благами жизни, царствует в полном смысле этого слова. Кораллы, которые Раиса Павловна утром предлагала Луше, еще раз подняли в ней всю желчь; молодая гордость заколотила у нее в душе. Разве она нищая, чтобы принимать подарки от Раисы Павловны? Разве ей нужны эти безделушки? Нет, она задыхалась под наплывом не таких желаний: уж если роскошь — так настоящая роскошь, а не эти лохмотья роскоши, которые хуже ее бедности. В Луше теперь с страшной силой заговорил тот разлагающий элемент, который шаг за шагом незаметно привила к ней Раиса Павловна.

«А тут еще Яшка Кормилицын... — со злостью думала девушка, начиная торопливо ходить по комнате из угла в угол. — Вот это было бы мило: madame Кормилицына, Гликерия Витальевна Кормилицына... Прелестно! Муж, который не умеет ни встать, ни сесть... Нужно быть идиоткой, чтобы слушать этого долговолосого дурня...»

Подойдя к зеркалу, Луша невольно рассмеялась своей патетической реплике. На нее из зеркала с сдвинутыми бровями гневно смотрело такое красивое, свежее лицо, от недавних слез сделавшееся еще краше,

как трава после весеннего дождя. Луша улыбнулась себе в зеркало и капризно топнула ногой в дырявой ботинке: такая редкая типичная красота требовала слишком изящной и дорогой оправы.

Чтобы понять странные мысли Луши, мы должны обратиться к самому Прозорову.

Это был замечательный человек в том отношении, что принадлежал к совершенно особенному типу, который, вероятно, встречается только на Руси: Прозорова заело красное словцо... С блестящими способностями, с счастливой наружностью в молодые годы, с университетским образованием, он кончил тем, что доживал свои дни в страшной глуши, на копеечном жалованье. Из богатой, но разорившейся помещичьей семьи по происхождению, Прозоров унаследовал привычки и замашки широкой русской натуры. Еще ребенком он поражал учителей своим светлым, бойким умом; в университете около него группировался целый кружок молодежи; первые житейские дебюты обещали ему блестящую будущность. «Прозоров далеко пойдет» — было общим мнением учителей и товарищей. Внимание женщин сопровождало каждый шаг молодого счастливца, который был так умен, находчив, остер и с таким редким талантом читал лучших поэтов. Прозоров готовился к университетской кафедре, где ему пророчили судьбу второго Грановского. Только один старичок профессор, к которому молодой магистрант иногда обращался за разными советами по поводу своей магистерской диссертации, в минуту откровенности прямо высказал Прозорову: «Эх, Виталий Кузьмич, Виталий Кузьмич... Хороший вы человек, и мне вас жаль!» — «Что так?» — «Да так... Ничего из вас не выйдет, Виталий Кузьмич». Этот профессор принадлежал к университетским замухрышкам, которые всю жизнь тянут самую неблагодарную лямку: работают за десятерых, не пользуются благами жизни и кончают тем, что оставляют после себя несколько томов исследования о каком-нибудь греческом придыхании и голодную семью. Товарищи-профессора относятся к таким замухрышкам с сдержанным чувством ученого презрения, студенты свысока, — и вдруг именно такой замухрышка делает

Виталию Прозорову, будущему Грановскому, такое обидное предсказание. В первый момент вся кровь бросилась в голову Прозорову, но он сдержал себя и с принужденной улыбкой спросил: «На каком же основании вы заживо меня хороните, N. N.?» — «Да как вам сказать... Одним словом, вы принадлежите к людям, про которых говорят, что в них бочка меду, да ложка дегтя».

Вся дальнейшая карьера Прозорова служила точно оправданием этого глупого пророчества. Началось с того, что Прозоров для первого раза «разошелся» с университетским начальством из-за самого ничтожного повода: он за глаза сострил над профессором, под руководством которого работал. Профессор смолчал, но вступились товарищи и провалили магистерскую диссертацию будущего Грановского по всем правилам искусства. От такой неожиданности Прозоров сначала опешил, а потом решился идти напролом, то есть взять магистра с бою, по рецепту Тамерлана, который учился своим военным успехам у «мравия», сорок раз втаскивавшего зерно в гору и сорок раз свалившегося с ним, но все-таки втащившего его в сорок первый. Но, как на грех, в это время ему подвернулась одна девушка из хорошего семейства, которая отнеслась с большим сочувствием к его ученому горю. В отношениях с женщинами Прозоров держал себя очень свободно, а тут его точно враг попутал: в одно прекрасное утро он женился на сочувствовавшей ему девушке, точно для того только, чтобы через несколько дней сделать очень неприятное открытие, — именно, что он сделал величайшую и бесповоротную глупость... Он даже не любил своей жены, как припомнил после, а просто женился на ней от неожиданного огорчения.

К счастью Прозорова, жена ему попалась умная и с твердым характером. Она очень много поддерживала мужа, но все-таки не могла его дотянуть до профессорской кафедры. Как все бесхарактерные люди, Прозоров во всех своих неудачах стал обвинять жену, которая мешала ему работать и постепенно низвела его с его ученой высоты до собственного среднего уровня. В течение десяти лет Прозорову привелось переменить

больше десятка служебных мест. Сначала он обыкновенно легко осваивался с своим новым положением и новыми товарищами, а потом неожиданно возникало какое-нибудь препятствие, и Прозоров, в счастливом случае, когда его не выгоняли со службы, сам убирался подобру-поздорову. Таким образом, Прозоров успел послужить учителем в трех мужских гимназиях и в двух женских, потом был чиновником министерства финансов, из министерства финансов попал в один из женских институтов и т. д. И везде Прозоров был прежде всего сам виноват, то есть непременно что-нибудь сболтнет лишнее, посмеется над начальством, устроит каверзу. В конце концов он решил, что служить на коронной службе не стоит и, не долго думая, перешел на частную. Тут уж ему пришлось совсем плохо, тем более что никакой подходящей профессии он не мог себе подыскать и бестолково толкался между крупными промышленниками. В это тяжелое время он получил свою дурную привычку утешаться в холостой компании, где сначала пили шампанское, а потом спускались до сивухи.

Жена Прозорова скоро разглядела своего мужа и мирилась с своей мудреной долей только ради детей. Мужа она уважала как пассивно-честного человека, но в его уме разочаровалась окончательно. Так они жили год за годом с скрытым недовольством друг против друга, связанные привычкой и детьми. Вероятно, они так дотянули бы до естественной развязки, какая необходимо наступает для всякого, но, к несчастью их обоих, выпал новый случай, который перевернул все вверх дном.

В один из самых тяжелых моментов своего мудреного существования, когда Прозоров целых полгода оставался без всяких средств и чуть не сморил семью голодом, ему предложили урок в очень фешенебельном аристократическом семействе, — именно: предложили преподавать русскую словесность скучавшей малокровной барышне, типичной представительнице вырождавшейся аристократической семьи. Здесь Прозоров развернулся и по обыкновению показал товар лицом: его приличные манеры, остроты, находчивость и декламация

открыли ему место своего человека и почти друга дома. Аристократическая обстановка богатого барского дома совсем опьянила увлекающуюся натуру Прозорова, тем более что для сравнения с ней вставало собственное полунищенское существование. Сделавшись почти своим человеком в доме, где он был совсем на особых правах, Прозоров позабыл, что он семейный человек и не в шутку увлекся одной барышней, которая жила у его патронов воспитанницей. Это и была Раиса Павловна, или, как ее там называли, Раечка. Стихи и самая непринужденная французская болтовня настолько сблизили молодых людей, что белокурая Раечка первая открыла чувства, какие питала к Прозорову, и не остановилась перед их реальным осуществлением даже тогда, когда узнала, что Прозоров не свободный человек. Умная, пылкая, с пикантным оттенком гривуазности, она очертя голову отдалась Прозорову и быстро забрала его в свои бархатные руки. Эти интимные отношения, конечно, открылись; Раечку кое-как пристроили за инженера Горемыкина, а Прозорову пришлось вернуться к своим пенатам.

Как это нередко случается, жена Прозорова узнала последняя о разыгравшемся романе. Эта женщина слишком много перенесла в жизни, чтобы простить мужу ничем не заслуженное оскорбление, и разошлась с ним. Прозоров и здесь сыграл самую жалкую, бесхарактерную роль: валялся в ногах, плакал, рвал на себе волосы, вымаливая прощение, и, вероятно, добился бы обидного для всякого другого мужчины снисхождения, если бы Раиса Павловна забыла его. Но эта женщина хорошо помнила свою первую любовь и не выпускала Прозорова из вида. Явившись к Прозоровой, она сама объяснила ей все и устроила окончательный разрыв между супругами. Расставшись с мужем, жена Прозорова несколько лет перебивалась в столице уроками и кончила свою незадавшуюся жизнь скоротечной чахоткой. Прозоров страшно горевал о жене, рвал на себе волосы и неистовствовал, клялся для успокоения ее памяти исправиться, но не мог никак освободиться от влияния Раисы Павловны, которая не выпускала его из своих рук. Это были самые

странные отношения, какие только можно себе представить: Раиса Павловна ненавидела Прозорова и всюду тащила его за собой, заставляя опускаться все ниже и ниже. Неудачный декламатор очутился в положении самого тяжелого рабства, которое он не в силах был разорвать и которое он всюду таскал за собой, как каторжник таскает прикованное к ноге ядро. Когда Горемыкины поехали на Урал, Прозорову было приказано ехать туда же, где для него специально было создано место инспектора заводских школ. Раиса Павловна не умела прощать и заживо похоронила свою первую любовь в гнилом флигельке кукарского господского дома.

У Прозорова после жены осталась маленькая дочь, Луша, которая вместе с отцом переживала все невзгоды его цыганского существования. Это был восприимчивый, впечатлительный ребенок, к своему несчастью унаследовавший от отца его счастливую наружность и известную дозу того дегтя, каким был испорчен отцовский мед. Прозоров, несмотря на все свои недостатки, отлично понимал сложный характер подраставшей девочки и решился переломить природу воспитанием. Свою педагогическую деятельность он начал с того, что переодел девочку мальчиком, точно в женском костюме таились все напасти и злобы, какими была отравлена жизнь Прозорова. Затем, с четырех лет он принялся проделывать на Луше все входившие в моду педагогические новинки: читать Луша училась по звуковому методу, играла по Фребелю, развивала свои умственные и нравственные силы по Песталоцци и т. д. Недостаток прозоровского воспитания заключался в том, что он не мог выдержать характера в своих занятиях: то надсаживался и лез из кожи, то забывал о дочери на целый месяц. Девочка, пока была маленькой, мирилась с своим мужским костюмом, но с Фребелем и Песталоцци повела самую упорную, партизанскую войну, какую умеют вести только дети. А когда она подросла, Прозоров, к своему ужасу, убедился в той печальной истине, что его Лукреция увлеклась бантиками и ленточками гораздо больше тех девочек, которые всегда ходили в женских платьях.

Интересно проследить взаимные отношения между Лушей и Раисой Павловной. В первый момент, когда Раиса Павловна увидала маленькую девочку-сиротку, она почувствовала к ней почти органическую ненависть. Ребенок искал матери и с детской наивностью несколько раз ласкался к единственной женщине, которая напоминала ему мать. Но Раиса Павловна грубо и почти цинически отталкивала от себя эти доверчиво тянувшиеся к ней детские руки: она ненавидела эту девочку, которая для нее являлась всегда живым укором. Луша, как многие другие заброшенные дети, росла и развивалась наперекор всяким невзгодам своего детского существования и к десяти годам совсем выровнялась, превратившись в красивого и цветущего ребенка. Самая красота подраставшей Луши бесила Раису Павловну, и она с удовольствием по целым часам дразнила и мучила беззащитную девочку, которая слишком рано для своего возраста привыкла скрывать все свои душевные движения.

— Какая ты, Лукерка, упрямая, — удивлялась иногда Раиса Павловна. — Настоящая дикарка!

Девочка отмалчивалась в счастливом случае или убегала от своей мучительницы со слезами на глазах. Именно эти слезы и нужны были Раисе Павловне: они точно успокаивали в ней того беса, который мучил ее. Каждая ленточка, каждый бантик, каждое грязное пятно, не говоря уже о мужском костюме Луши, — все это доставляло Раисе Павловне обильный материал для самых тонких насмешек и сарказмов. Прозоров часто бывал свидетелем этой травли и относился к ней с своей обычной пассивностью.

Луше было двенадцать лет, когда в ее жизни произошел крупный переворот: раньше она бежала от преследований Раисы Павловны, теперь должна была бежать от ее ласк. Это случилось как-то вдруг. Раз летом, когда Раиса Павловна делала свой обычный предобеденный моцион по саду, она случайно забрела в самый глухой конец сада, куда редко заходила. На повороте одной аллеи она услышала чей-то шепот и сдержанный смех. Это, конечно, ее заинтересовало, а в следующий момент Раиса Павловна уже подкрадывалась

к тому таинственному зеленому уголку, где ожидала вспугнуть влюбленную парочку. Действительно, разговаривали два голоса: один — детский, другой — женский. Раздвинув осторожно последний куст смородины, Раиса Павловна увидела такую картину: в самом углу сада, у каменной небеленой стены, прямо на земле сидела Луша в своем запачканном ситцевом платьице и стоптанных башмаках; перед ней на разложенных в ряд кирпичах сидело несколько скверных кукол. Девочка разговаривала за всех разом, подавала реплики и впересыпку вставляла свои собственные замечания. Она ухитрилась даже сохранять интонацию всех действующих лиц. На сцене фигурировало четверо: папа, мама, Раиса Павловна и сама Луша.

— Я не люблю папу, потому что он боится Раисы Павловны, — говорила кукла Луша. — Когда я вырасту большая, я откушу вам нос, Раиса Павловна! У меня будут хорошие платья, много, много лент и такой же браслет, как у Раисы Павловны. Какая она злая... папа зовет ее старой крымзой... Ххи-ххи-и!.. Ну, старая крымза, сиди смирно, пока я тебе не откусила нос. И коса у тебя фальшивая, и зубы фальшивые, и глаза подведены. Ах! как я тебя не люблю! А когда вырасту большая, поеду к маме... мама ведь добрая, не такая, как папа. Мамочка, я приеду к тебе в гости... Ты обрадуешься мне... да?.. Не будешь смеяться надо мной, как Раиса Павловна? Славная ты моя, голубушка... Мы тогда прогоним Раису Павловну и будем жить вместе. Я выйду замуж за офицера с черными усами.

Вся эта детская беззаботная болтовня, как в фокусе, сосредоточивалась в одном магическом слове: мама... От него уже лучами расходились во все стороны детские грезы, воспоминания, радости и огорчения. В этом лепете звучало столько любви, чистой и бескорыстной, какая может жить только в чистом детском сердце, еще не омраченном ни одним дурным желанием больших людей. Так блестит алмазной яркой искрой капля ночной росы где-нибудь в густой траве, пока не сольется с другими такими же каплями и не попадется в ближайший мутный ручеек...

Раиса Павловна не помнила, сколько прошло времени, пока она слушала маленькую глупую девочку. От этого детского лепета у ней точно что оборвалось и растаяло в груди. Домой она вернулась бледная и взволнованная, с красными глазами. Целую ночь затем ей снился тот зеленый уголок, в котором притаился целый детский мир с своей великой любовью. «Злая... ведьма...» — стояли у ней в ушах роковые слова, и во сне она чувствовала, как все лицо у ней горело огнем и в глазах накипали слезы. Она хотела обнять эту маленькую девочку, но та ловко скрывалась и убегала. Этот сон повторился, и Раиса Павловна не могла избавиться от него наяву. Что-то такое новое, хорошее, еще не испытанное проснулось у ней в груди, не в душе, а именно — в груди, где теперь вставала с страшной силой жгучая потребность не того, что зовут любовью, а более сильное и могучее чувство... Оно подавляло ее своей необъятностью, все остальное казалось таким жалким и ничтожным. Под наплывом этих ощущений Раиса Павловна сделала первый шаг к сближению с Лушей и сразу получила молчаливый, но глухой отпор. Луша с светлым инстинктом детства отстаивала неприкосновенность своего крошечного мирка, может быть слишком рано выкроившегося из пестрой смеси самых разнообразных впечатлений. Эта маленькая девочка каким-то чутьем разгадала истинные отношения своего отца к Раисе Павловне и почувствовала к ней непреодолимое отвращение, хотя в то же время, по странному психологическому процессу, в присутствии этой женщины каждый раз испытывала какое-то болезненное влечение к ней.

Если бы маленькая девочка с первого раза сдалась на ласки Раисы Павловны, тогда, по всей вероятности, это увлечение так же скоро прошло бы, как оно родилось. Но упорство Луши и ее недоверчивость только сильнее разжигали Раису Павловну: она, перед которой ползали и заискивали сотни людей, она бессильна перед какой-нибудь девчонкой... Самолюбивая до крайности, она готова была возненавидеть свою фаворитку, если бы это было в ее воле: Раиса Павловна, не

обманывая себя, со страхом видела, как она в Луше жаждет долюбить то, что потеряла когда-то в ее отце, как переживает с ней свою вторую весну. Это чувство являлось результатом очень сложной душевной комбинации, составные нити которой проходили через целую жизнь.

Вот молодость Раисы Павловны, молодость в чужом богатом доме, где она испытала все прелести существования из милости. А между тем она была молода, хороша собой, умна, энергична. Случай с Прозоровым выкинул ее прямо на улицу, если бы не подвернулся Горемыкин, за которого она вышла замуж. Мужа она никогда не любила, а смотрела на него только как на мужа, то есть как на печальную необходимость, без которой, к сожалению, обойтись было нельзя. Платон Васильич был честный и хороший человек, но он слишком был занят своей специальностью, которой посвящал почти все свое свободное время. По всей вероятности, ему, как многим другим труженикам, никогда не привелось бы играть никакой выдающейся роли. Таких «черноделов» много во всяких специальностях. Но Раиса Павловна не могла помириться с такой скромной долей и собственными силами потащила мужа в гору. Это была трудная работа, сопровождавшаяся неудачами и разочарованиями на каждом шагу. Стараясь при помощи разных протекций и специально женских интриг составить карьеру мужу, Раиса Павловна случайно познакомилась с Прейном, который сразу увлекся белокурой красавицей, обладавшей тем счастливым «колоритным темпераментом», какой так ценится всеми пресыщенными людьми. О любви тут, конечно, не могло быть речи, но Раиса Павловна была молода, полна сил и переживала опасный душевный момент, когда настоящее было неизвестно, а будущее темно. Что происходило и произошло ли что-нибудь серьезное между ними — сказать трудно, но это знакомство совпало как раз с эмансипацией, и Горемыкин получил место главного управляющего Кукарских заводов. Много прошло времени с тех пор. Раиса Павловна успела утратить одно за другим все свои женские

достоинства, оставшись при одном колоритном темпераменте и беспокойном, озлобленном уме, который вечно чего-то искал и не находил удовлетворения. Полнота окончательно погубила и то последнее, что сохраняется красивыми женщинами от счастливой молодой поры. Но Прейн, несмотря на самые очевидные доказательства этих геологических переворотов, продолжал сохранять прежние дружеские отношения к Раисе Павловне, хотя успел за этот длинный период времени подарить своими симпатиями десятки других красивых женщин.

— Все эти мужчины, все до одного — подлецы! — таков был общий знаменатель, к которому пришла Раиса Павловна.

В Луше, таким образом, для Раисы Павловны сосредоточивались и подавленная жажда неудовлетворенного чувства и чисто материнские отношения, каких она совсем не испытала, потому что не имела детей. Когда прямая атака не удалась, Раиса Павловна пошла к своей цели обходным движением: она принялась исподволь воспитывать эту девочку, платившую ей самой черной неблагодарностью за все хлопоты. Капля за каплей она прививала девочке свой мизантропический взгляд на жизнь и людей, стараясь этим путем застраховать ее от всяких опасностей; в каждом деле она старалась показать прежде всего его черную сторону, а в людях — их недостатки и пороки. Такая политика, конечно, принесла самые быстрые плоды: Луша бессознательно копировала во всем свою воспитательницу и удивляла отца своими резкими выходками и недевичьей проницательностью. Только в одном ученица и воспитательница расходились диаметрально: это было непреодолимое тяготение Луши к богатству. Но и этот недостаток в глазах Раисы Павловны вполне выкупался тем, что девушка была далеко от сорочьей жадности обыкновенных людишек. Ее трудно было купить теми блестящими безделушками, за которые продаются женщины. Сама Раиса Павловна любила не богатство, а власть.

VI

Все время, пока Родион Антоныч возвращался в своей зеленой тележке из господского дома домой, он вздыхал, делал кислые гримасы и морщился. Он был так удручен волновавшими его мыслями, что даже не замечал попадавшихся навстречу знакомых служащих и снимавших шляпы рабочих. В таком прескверном настроении Родион Антоныч миновал главную заводскую площадь, на которую выходило своим фасадом «Главное кукарское заводоуправление», спустился под гору, где весело бурлила бойкая река Кукарка, и затем, обогнув красную кирпичную стену заводских фабрик, повернул к пруду, в широкую зеленую улицу.

«Уж Прохор Сазоныч недаром помянул про меня в письме к Раисе Павловне, — с горечью думал Родион Антоныч, когда тележка мягко подкатилась к большому двухэтажному каменному дому, упиравшемуся тенистым садом прямо в пруд. — Ох, недаром... «Она настроена в особенности против Сахарова», — повторил про себя Родион Антоныч слова письма. — Вот не было печали, а тут на, расхлебывай... И чего ей понадобилось от меня? Ох-хо-хо!.. Да и какая там особа... Шлюха какая-нибудь примазалась к этому генералу Блинову и теперь всем и вертит. Ох-хо-хо!.. Горе душам нашим...»

Старичок дворник торопливо распахнул перед зеленой тележкой крепкие ворота, и она мирно подкатилась к раскрашенному деревянному подъезду, откуда как угорелый выскочил великолепный белый сеттер с желтыми подпалинами. Собака с радостным визгом металась около хозяина и успела выбить у него изо рта сигару, пока он грузно вылезал из своей тележки.

— Ох, не до тебя, Зарез... отстань! — стонал Родион Антоныч, хозяйским всевидящим оком оглядывая усыпанный желтым песочком и чисто подметенный широкий двор, конюшни, где торчала лошадиная голова, и ряд хозяйственных пристроек.

— Архипушка, ты бы замесил жеребеночку мешанинки, — проговорил он, обращаясь к дворнику. — Да тележку-то смазать надо, а то заднее левое колесо все

поскрипывает... Ох, ничего вы не смотрите, погляжу я, все скажи да все укажи!.. Курочкам-то, курочкам-то задали ли корму даве, как я уехал?

— Обыкновенно, Родион Антоныч, все как следует, — каким-то убитым голосом ответил Архипушка, жмурясь и моргая. — Курочки любят овес-от...

— Любят, любят... И ты вот тоже любишь его, Архипушка. Любишь ведь? Половину курочкам, а половину себе... Ох, за всеми за вами глаз да глаз нужен!

Архипушка только переминался на одном месте и почесывал в затылке, пока Родион Антоныч не прикрикнул на него:

— Ну, чего ты статуем-то торчишь передо мною? Вон и кучер, глядя на тебя, тоже вытаращил глаза. Откладывайте лошадку да к столбу и привяжите. Пусть выстоится!

После этого нравоучения Родион Антоныч поднялся к себе наверх, в кабинет, бережно снял камлотовую крылатку, повесил ее в угол на гвоздик и посмотрел кругом взглядом человека, который что-то потерял и даже не может припомнить хорошенько, что именно. «Ах, да... едет Лаптев на заводы», — мелькнуло в голове Родиона Антоновича, когда он принялся раскуривать потухшую сигару. Эта мысль завертелась опять в его голове, как жестяное колесо в вентиляторе. Собственно Лаптева Родион Антоныч нисколько не боялся и даже был рад его видеть, а вот эта особа, которая едет с генералом Блиновым... О, чтоб пусто было всем этим бабам!.. Родион Антоныч с тоской посмотрел на расписной потолок своего кабинета, на расписанные трафаретом стены, на шелковые оконные драпировки, на картину заводского пруда и облепивших его домиков, которая точно была нарочно вставлена в раму окна, и у него еще тяжелее засосало под ложечкой. На стене, у которой стояла удобная кушетка, было развешано несколько хороших охотничьих ружей: пара бельгийских двустволок, шведский штуцер, тульская дробовка и даже «американка», то есть американский штуцер Пибоди и Мартини. Этот арсенал был красиво гарнирован различной охотничьей сбруей — ягдташами,

патронницами, пороховницами, кожаными мешками с дробью, сумками и сумочками — вообще всякой охотничьей дрянью, назначение которой известно только записным охотникам.

«А я еще обещал на неделе ехать с Ильей Сергеичем за дупелями, — думал Родион Антоныч, взглянув на свои ружья, — вот тебе и дупеля... Ох-хо-хо!..»

По обстановке кабинета трудно было определить профессию его хозяина. О его секретарской деятельности говорил только стеклянный шкаф, плотно набитый какими-то канцелярскими делами, да несколько томиков разных законов, сложенных на письменном столе в пирамиду. Стеклянная старинная чернильница с гусиными перьями — Родион Антоныч не признавал стальных — говорила о той патриархальности, когда добрые люди всякой писаной бумаги, если только она не относилась к чему-нибудь божественному, боялись, как огня, и боялись не без основания, потому что из таких чернильниц много вылилось всяких зол и напастей. Чернильница Родиона Антоныча тоже могла бы многомного рассказать о своей деятельности. Сначала она стояла в заводской конторе, куда попал Родион Антоныч крепостным писцом на три с полтиной жалованья; потом Родион Антоныч присвоил ее себе и перенес на край завода, в бедную каморку, сырую и вонючую. Дальше эта чернильница видела целый ряд метаморфоз, пока не попала окончательно в расписной кабинет, где все дышало настоящим тугим довольством, как умеют жить только крепкие русские люди. В крепостное время из этой чернильницы выходило много головомоек управителям и служащим, но тогда она не имела самостоятельного значения, а только служила орудием неистовавшего старика Тетюева. Настоящее дело для нее наступило с эпохой освобождения, когда на месте Тетюева водворилась Раиса Павловна, и Родион Антоныч обязан был представлять массу докладных записок, отдельных мнений, проектов, соображений и планов.

Вот из этой же чернильницы велись подкопы под Тетюева-сына, когда он, в пику кукарскому заводоуправителю, занял пост председателя земской управы,

чтобы донимать заводы разными новыми статьями земских налогов. Да, эта чернильница много испортила крови Авдею Никитичу, а теперь Авдей Никитич всем животы подвел: выписал какого-то генерала Блинова да еще и с «особой»... «И ведь прямо, бестия этакая, на меня указал, — раздумывал Родион Антоныч. — А то откуда этой шлюхе знать о каком-то Сахарове... Конечно, это Авдей Никитич всю механику подвел. Его работа...»

«И ведь как все вдруг случилось: трах — и всему конец. Уж, кажется, Раиса ли Павловна не крепко сидит на своем месте, и вот нашлась же и на нее гроза». Сахаров крепко задумался. Целую жизнь он прожил в качестве маленького человека за чужой спиной и вдруг почувствовал, как стена, на которую он упирался столько лет, начинает пошатываться и того гляди рухнет да еще и его задавит. А чем он виноват? Он маленький человек и целую жизнь только и знал, что творил волю пославшего. Конечно, крепко солил Тетюеву и не раз ему подставлял ножку, но ведь это он делал не для собственного удовольствия, а потому, что так хотела Раиса Павловна. Ведь Тетюев...

— Зарежет вас с Раисой Павловной этот Тетюев! — шептал какой-то предательский голос.

Как для всех слишком практических людей, для Сахарова его настоящее неопределенное положение было хуже всего: уж лучше бы знать, что все пропало, чем эта проклятая неизвестность. Ну, Тетюев так Тетюев... Чем он хуже Раисы Павловны? Нужно же и ему пожить, не век мыкаться председателем управы. И Тетюев не пропадет, и Раиса Павловна тоже, а вот он, Родион Антоныч, чем виноват, что им стало тесно жить на белом свете! Припоминая свои подходы под Тетюева, Родион Антоныч теперь от чистого сердца скорбел о том, что не принял заблаговременно во внимание переменчивости человеческого счастья... И как было не подумать: вчера Раиса Павловна, сегодня Раиса Павловна, все это хорошо! — вдруг послезавтра Авдей Никитич Тетюев. «Ох, не ладно! — застонал про себя Родион Антоныч. — Сморит он, если крылья отрастут. В батюшку, видно, пошел, хоть и не с того конца. А кто бы мог

подумать? И Раиса Павловна тоже говорила: «Тетюев — болтун, Тетюев — недоносок...» Ох, Раиса Павловна, Раиса Павловна!»

Целый день Родиона Антоныча был испорчен: везде и все было неладно, все не так, как раньше. Кофе был пережарен, сливки пригорели; за обедом говядину подали пересушенную, даже сигара, и та сегодня как-то немного воняла, хотя Родион Антоныч постоянно курил сигары по шести рублей сотня.

— Да что ты на всех сегодня кидаешься, точно угорел! — заметила, наконец, Родиону Антонычу жена, когда он своему любимцу Зарезу дал здорового пинка.

— Я-то не угорел... гм... — опомнился Родион Антоныч, начиная гладить напрасно обиженную собаку. — Вот как бы мы все не угорели, матушка. Тетюев-то...

— Что Тетюев?

— Ах, отстань. Не твоего бабьего ума дело...

Мысль о Тетюеве и генерале Блинове просто давила Родиона Антоныча, и он напрасно бегал от нее по своему расписанному дому. Везде было хорошо, уютно, светло, но от этого Родиону Антонычу делалось еще тяжелее, точно пред ним живьем вставала та темнота, из которой возникало настоящее великолепие и довольство. Да и было от чего застонать: место под дом Родиону Антонычу подарил один подрядчик, которому он устроил деловое свидание с Раисой Павловной. Давно приглядывался к этому местечку Родион Антоныч — ах, хорошее было местечко: с садом у самого пруда! — а тут сам бог и нанес подрядчика; камень и кирпич поставил при случае другой подрядчик, когда пристраивали флигель к господскому дому. И подрядчик не в накладе остался, да и Родион Антоныч даром получил материал; железо на крышу, скобки да гвоздики были припасены еще заранее, когда Родион Антоныч был еще только магазинером, — из остатков и разной заводской «ветхости»; лес на службы и всякое прочее обзаведение привезли сами лесообъездчики тоже ни за грош, потому что Родион Антоныч, несмотря на свою официальную слепоту, постоянно ездил с Майзелем за дупелями. Дом

клали из даровых кирпичей, штукатурили, крыли крышей, красили, украшали — все это делалось при случае разными нужными людьми, которые сами после приходили благодарить Родиона Антоныча и величали его в глаза и за глаза благодетелем. А разве кого Родион Антоныч притеснил, обидел? Все сами делали... Еще Родион Антоныч не успел подумать, а нужный человек уж говорит: «Родион Антоныч, вам бы крышку-то малахитцом покрасить... Оно бы в лучшем виде, потому как там течь и всякое прочее!» Глядишь, крыша и выкрашена даром, да еще нужный же человек и благодарит, что ему позволили испытать такое удовольствие. Все делалось как-то само собой — каждый гвоздь сам собой лез в стену, песочек, глинка, известочка и прочая строительная благодать тоже сама собой тащилась с разных сторон к дому, — и вдруг все это начнет расползаться в разные стороны — тоже само собой. Родион Антоныч живо видел все каверзы и проделки, при которых созидал свое настоящее; он считал их давно похороненными и забытыми, и вдруг какая-нибудь пройдоха примется раскапывать всю подноготную! При одной мысли о такой возможности Родиона Антоныча прошибал холодный пот, хотя в душе он считал себя бессребренником, что выводилось, впрочем, сравнительно: другие-то разве так рвали, да сходило с рук! Хотя бывали примеры и другого рода. Недалеко ходить, взять хоть того же старика Тетюева: уж у него-то был не дом — чаша полная, — а что осталось? — так, пустяки разные: стены да мебелишка сборная. Разве Авдей Никитич поправит... Ох, этот Авдей Никитич! Из каждой щели теперь смотрел на Родиона Антоныча этот страшный призрак, заставляя его вздрагивать.

— Что же, я ограбил кого? украл? — спрашивал он самого себя и нигде не находил обвиняющих ответов. — Если бы украсть — разве я стал бы руки марать о такие пустяки?.. Уж украсть так украсть, а то... Ах ты, господи, господи!.. По́том да кровью все наживал, а теперь вот под грозу попал.

Что ни делал Родион Антоныч, он никак не мог успокоиться. Даже в курятнике, куда он зашел по привычке, все было не по-старому: все эти кохинхинки, куропаточ-

ные «галанки», бойцовые сегодня точно сговорились вывести его из терпения. Драка, беспорядок, отчаянное кудахтанье. В этом птичьем гаме Родиону Антонычу все слышались роковые звуки: «Тетюев — Тетюев — Тетюев — Тетюев... Блинов — Блинов — Блинов — Блинов»... Точно в самое ухо забрался какой-то безголовый дьячок и долбит поминанье за поминаньем, как в родительскую субботу. Великолепный брахмапутровый петух, гордость и сладость Родиона Антоныча, выглядел сегодня совсем плохо и только глупо моргал глазами, точно его оглушили. «Уж не окормил ли его кто-нибудь солью?» — подумал Родион Антоныч, но сейчас же спохватился и, махнув рукой, фатально проговорил:

— Все к одному пошло...

Даже ночью, когда Родион Антоныч лежал на одной постели со своей женой, он едва забылся тревожным тяжелым сном, как сейчас же увидал самый глупейший сон, какой только может присниться человеку. Именно, видит Родион Антоныч, что он не Родион Антоныч, а просто... дупель. Как есть, настоящий дупель: нос вытянулся, ноги голенастые, все тело обросло перышками пестренькими. Видит Родион Антоныч, что ходит он по болоту и копает носом вязкую тепловатую тину, и так ему хорошо: в воздухе парит, над ним густая осока колышется, всякая болотная мошка гудит-гудит... И вдруг, его собственный Зарез шасть в это самое болото и давай нюхать. Да ведь как взялся-то, разбойник! картину с него пиши! Вот ближе, ближе... На след напал, вот уж слышно, как он обнюхивает кочки и бултыхает лапами по воде. Дупель припал за кочку и даже закрыл глаза от страху... Ближе, ближе... Собака остановилась над ним и сделала молодецкую стойку! Родион Антоныч хочет взлететь, но никак не может подняться, открывает со страху глаза и вскрикивает: вместо Зареза над ним стоит та особа, о которой писал Загнеткин, а в сторонке покатывается со смеху Тетюев.

Родион Антоныч несколько раз просыпался в холодном поту, судорожно крестил свое толстое, заплывшее лицо, охал и долго ворочался с боку на бок.

VII

Округ Кукарских заводов занимал собой территорию в пятьсот тысяч десятин, что равнялось целому германскому княжеству или даже маленькому европейскому королевству. На этом громадном пространстве было разбросано семь заводов: Логовой, Исток, Заозерный, Мельковский, Баламутский, Куржак и Кукарский. Центр заводской тяжести распределялся по заводам, конечно, не одинаково. Главным заводом в административном отношении считался Кукарский, раз — потому, что это был самый старый и самый большой завод, во-вторых, потому, что он занимал центральное положение относительно других заводов. За ним, вторым по важности, следовал Баламутский завод. Он занимал лесной, богатый топливом район и поэтому с каждым годом все шире и шире развивал свои операции. Остальные заводы служили дополнениями этих двух, переделывая черновое железо с Баламутского завода в сортовое. Заозерный существовал только благодаря богатому запасу воды, которая служила неистощимой двигающей силой, а Куржак вырос около богатого железного рудника.

Кукарский завод являлся, таким образом, во главе всех других заводов, их душой и административным сердцем, от которого радиусами разбегались по другим заводам все предписания, ордеры, рапорты и рапортички. Служить на Кукарском заводе, на виду у начальства, считалось завидной честью, о которой мелкая служительская сошка с других заводов иногда напрасно мечтала целую жизнь. Насколько громадное значение имел Кукарский завод, достаточно сказать только то, что во всех заводах, вместе с селами, деревнями и «половинками», считалось до пятидесяти тысяч рабочего населения. В крепостное время из Кукарского завода особенно много налетало напастей по окрестностям: главный управляющий тогда пользовался неограниченной властью и гнул в бараний рог десятки тысяч безответных людей. Кукарского завода боялись и сами приказчики мелких заводов, потому что это был крепостной, подневольный народ. Случалось нередко так,

что приказчики попадали «в гору», то есть в железный рудник, что тогда считалось равносильным каторге. Какой-нибудь Тетюев пользовался княжескими почестями, а насколько сильна была эта выдержка на всех уральских заводах, доказывает одно то, что и теперь при встрече с каждым, одетым «по-городски», старики рабочие почтительно ломают шапки. Только людям «оборотистым», каким был, например, Родион Антоныч, Кукарский завод был настоящей обетованной землей, где можно было добиться всего.

Сын какого-то лесообъездчика, Родион Антоныч первоначальное свое бытие получил в кукарской заводской конторе в качестве крепостного писца, которому выдавалось жалованья три с полтиной на ассигнации в месяц, то есть на наш счет — всего один рубль. Счастье для Сахарова заключалось в том, что он служил в Кукарском заводе и поймал случай попасть на глаза к самому старику Тетюеву. В свое время Тетюев был гроза и все заводы держал в ежовых рукавицах. Под его железной лапой задохлось много даровитых и умных людей, которые не умели подслуживаться и подличать. А для покладистого Родиона Антоныча такой человек был истинным кладом. Точкой сближения послужило пустое обстоятельство, которое, впрочем, в доброе старое время многих вывело в люди: это обстоятельство — красивый почерк. Нынче уже мало так пишут, что зависит, может быть, оттого, что стальным пером нельзя достичь такого каллиграфического искусства, как гусиным, а может быть, и оттого, что нынче меньше стали ценить один красивый почерк. Одним словом, как-никак, а Сахарова заметили — этого уже было достаточно, чтобы сразу выделиться из приниженной, обезличенной массы крепостных заводских служащих, и Сахаров быстро пошел в гору, то есть из писцов попал прямо в поденные записчики работ, — пост в заводской иерархии довольно видный, особенно для молодого человека.

Но здесь же Сахаров и получил первый жестокий урок за свое излишнее усердие: чтобы выслужиться, он принялся нажимать на рабочих и довел их до того, что

в одну темную осеннюю ночь его так поучили, что он пролежал в больнице целый месяц.

— Эх, братец, ты не тово... — весело заметил старик Тетюев, когда выздоровевший Сахаров пришел к нему за приказаниями. — Не везде нужно смаху брать, а ты потихоньку да исподволь тяни...

— Я, Никита Ефремыч, всегда буду исподволь и потихоньку...

— Ну, вот так-то лучше: все люди — все человеки. Мало ли я что вижу, а другой раз и смолчу. Так-то...

Этот урок глубоко запал в душу Родиона Антоныча, так что он к концу крепостного права, по рецепту Тетюева, добился совершенно самостоятельного поста при отправке металлов по реке Межевой. Это было тепленькое местечко, где рвали крупные куши, но Сахаров не зарывался, а тянул свою линию год за годом, помаленьку обгоняя всех своих товарищей и сверстников.

— Хочешь, я тебя приказчиком сделаю в Мельковском заводе? — говорил ему в веселую минуту старик Тетюев. — Главное — ты хоть и воруешь, да потихоньку. Не так, как другие: назначишь его приказчиком, а он и давай надуваться, как мыльный пузырь. Дуется — дуется, глядишь, и лопнул...

Сахаров отказался от такой чести, раз — потому, что караванное дело по части безгрешных доходов было выгоднее, а второе — потому, что не хотел хоронить себя где-нибудь в Мельковском заводе.

— Ну, тебе лучше знать... — согласился нравный старик, благодушествовавший после горячей бани. — Ты и так не пропадешь.

— Я по письменной части больше, Никита Ефремыч...

— Вот и вышел дурак: хочешь околеть с голоду с своей письменной частью! Убирайся с глаз долой!..

Когда Родион Антоныч считал себя совсем на линии, освобождение крестьян чуть не размыло его благополучия вплоть до самого основания.

Погром пошел сверху донизу. Крепостные порядки кончились, и на их место пошли новые. Даровой крепостной труд нужно было заменить трудом наемным, оставляя цифру владельческих доходов нетронутой.

Старик Тетюев был совсем негоден для выполнения такой сложной задачи и прочил передать свое место сыну Авдею. Но случилось не так: сам Тетюев неожиданно получил чистую отставку, хотя и с приличным пенсионом, а на его место, по протекции всесильного Прейна, был назначен Горемыкин. Рассказывали интересный анекдот о том, как выжили Тетюева с места. Отказать заслуженному старику прямо не решались, нужно было подыскать предлог. Специально за этим на заводы выехал Прейн и прожил целое лето, напрасно выжидая, что старый Тетюев догадается и сам подаст в отставку. Может быть, Прейн так и уехал бы в Петербург с пустыми руками, а Тетюев остался бы опять царствовать на заводах, но нашелся маленький служащий, который научил, что нужно было сделать. Именно, Прейн назначил внезапную ревизию заводоуправления и послал за Тетюевым как раз в тот момент, когда старик только что сел обедать — самое священное время тетюевского дня. Тетюева взорвало, он наотрез отказался идти в контору и тут же, не выходя из-за стола, подал в отставку. Гордый старик не перенес такого удара и прожил в отставке всего несколько месяцев: его хватил кондрашка. За Тетюевым полетели с своих мест все другие приказчики, за исключением двух-трех, которые удержались на своих местах каким-то чудом. Родион Антоныч тоже потерял свое место и некоторое время находился совсем не у дел. Реформы, как все реформы, начались с сокращений и урезок: сократили количество служащих, урезали всем жалованье, прибавили работы и т. д. Впрочем, сам Горемыкин в этом случае не был виноват ни душой, ни телом: всем делом верховодила Раиса Павловна, предоставившая мужу специально заводскую часть. Вместо старых крепостных приказчиков везде были понасажены управителями люди, получившие специальное образование, потому что Горемыкин хотел пополнить все ущербы, понесенные отменой крепостного права, расширением заводской производительности. Как специалист-техник и честный человек, он был незаменим. Но в практическом отношении ему недоставало многих качеств. Так, он не умел

выбирать людей и часто попадал под влияние очень сомнительных личностей.

— Что же, это очень естественно, что я в каждом прежде всего стараюсь видеть честного человека, — оправдывался иногда Горемыкин.

— Очень убедительно для всех, кто привык, чтобы его везде водили за нос, — замечала Раиса Павловна с своей стороны.

Чтобы пробить себе дорогу при новом порядке вещей, Сахаров поступил сначала в счетное отделение, которое славилось тем, что здесь служащие, заваленные письменной работой, гибли, как мухи. Конечно, Сахаров мечтал не о такой письменной части и очень скоро попал на настоящую дорогу. Нужно было составлять уставную грамоту, которая для заводов являлась вопросом самой капитальной важности. В это смутное время еще не выяснилось хорошенько, где будут самые больные места совершавшегося акта. Неразрывные до тех пор интересы заводовладельца и мастеровых теперь раскалывались на две неровных половины, причем нужно было вперед угадать, как и где встретятся взаимные интересы, что необходимо обеспечить за собой и чем, ничего не теряя, поступиться в пользу мастеровых. Для решения массы возникших недоразумений и вопросов были устроены еженедельные съезды новых управителей, которые и выработали после усиленных хлопот проект уставной грамоты. Вот этот-то проект и дал случай Родиону Антонычу после разгрома крепостного права не только вынырнуть из неизвестности, но встать на такую высоту, с которой его уже трудно было столкнуть. Прочитавши проект уставной грамоты, выработанный управительскими съездами, он по поводу его составил собственную докладную записку, в которой очень подробно и основательно разобрал все недостатки выработанного проекта. К докладной записке был приложен собственный проект Родиона Антоныча. Вся эта «история» при помощи хорошего человека была партикулярным путем передана в руки самой Раисы Павловны.

Когда эта умная женщина, достаточно умудренная в изворотах и петлях внутренней политики, прочла

докладную записку Родиона Антоныча, то пришла положительно в восторженное состояние, хотя такие душевные движения совсем были не в ее натуре.

— Это Мазарини... Нет, Ришелье!.. — воскликнула она несколько раз, перечитывая записку Родиона Антоныча. — Так все предусмотреть и предугадать, — нет, это положительно Ришелье... И какая дьявольски тонкая работа, какая проницательность!..

Первым делом Раисы Павловны было, конечно, сейчас же увидать заводского Ришелье, о котором, как о большинстве мелких служащих, она до сих пор ничего не знала. Непрезентабельный вид Родиона Антоныча и особенно его рабья манера держать себя несколько поохладили восторги Раисы Павловны. Ее аристократическую выдержку сильно шокировали стоны и вздохи вновь явленного Ришелье, который морщился и стонал, как раздавленный. Жирная физиономия и заискивающе-покорные взгляды Родиона Антоныча тоже были не в его пользу, но Раиса Павловна была, как многие умные женщины, немного упряма и не желала разочароваться в своей находке. Она взяла Ришелье таким, каким он явился к ней на выручку в критический момент. В этом случае она поддалась чисто женской слабости, хотя сама же первая смеялась над ней в других людях.

— Как это вы до сих пор пропадали в неизвестности с такой головой? — откровенно удивлялась Раиса Павловна прямо в глаза Родиону Антонычу.

— Темное время было, сударыня-с...

— Зачем вы говорите: «сударыня-с»... Зовите меня по имени.

— Буду стараться, Раиса Павловна-с.

Это «с» немного покоробило Раису Павловну, но с такой маленькой частичкой можно было и помириться.

— При Никите Ефремыче трудно было, суд... Раиса Павловна, особенно, ежели кто был расположен к письменной части. Они самую эту письменную часть, можно сказать, совсем ни во что ставили...

— Да... Но теперь другое время... Извините, все забываю: как вас зовут?

— Родион Антонов.

— Ах, да, Родион Антоныч... Что я хотела сказать? Да, да... Теперь другое время, и вы пригодитесь заводам. У вас есть эта, как вам сказать, ну, общая идея там, что ли... Дело не в названии. Вы взглянули на дело широко, а это-то нам и дорого: и практика и теория смотрят на вещи слишком узко, а у вас счастливая голова...

Умиленный этими похвалами, Родион Антоныч даже пощупал свою «счастливую» голову, которая до сих пор шла за самую обыкновенную.

— А так как вы питаете такое пристрастие к письменной части, то вам и книги в руки: мужу необходим домашний секретарь — вот вам на первый раз самое подходящее место. А вперед увидим...

Составленный Родионом Антонычем проект уставной грамоты действительно был chef-d'oeuvre'ом в своем роде. Он обеспечил за Кукарскими заводами такие преимущества, которые головой выдавали десятки тысяч заводского населения в руки заводовладельца. Даже сомнительные статьи, которые, кажется, трудно было обойти, были так неясно редактированы и опутаны такими хитросплетенными условиями, что можно было только удивляться великой творческой силе приказного крючкотворства. Во-первых, по этой уставной грамоте совсем не было указано сельских работников, которым землевладелец обязан был выделить крестьянский надел, так что в мастеровые попали все крестьяне тех деревень, какие находились в округе Кукарских заводов. Затем, все мастеровые, по новой грамоте, пользовались выгоном, покосами, росчистями и лесом «на прежних основаниях», пока заводовладелец не изменит их по собственному усмотрению и пока мастеровые работают на его заводах. В виде особенной милости заводовладельца мастеровые получили от него *в дар* свои дома и усадьбы. Оговорено было даже то, что содержание церквей, школ и больниц остается на том же усмотрении заводовладельца, который волен все это в одно прекрасное утро «прекратить», то есть лишить материального обеспечения. Но центр тяжести всей уставной грамоты заключался в том, что уставная грамота

касалась только мастеровых и давала им известные условные гарантии только на том условии, если они будут работать на заводах. Все остальное население, которое не принимало непосредственного участия в заводской работе, совсем не шло в счет. Так что в результате на стороне заводовладельца оставались все выгоды, даже был оговорен оброк за пользование покосами и выгонами с тех мастеровых, которые почему-либо не находятся на заводской работе. Помещикам, наградившим своих бывших крепостных кошачьими даровыми наделами, во сне никогда не снилось ничего подобного, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что Лаптев был даже не заводовладелец в юридическом смысле, а только «пользовался» своими полумиллионами десятин богатейшей в свете земли на поссессионном праве. Благодаря проекту Родиона Антоныча кукарское заводоуправление брало не только со всех посторонних, но даже со своих собственных мастеровых за пользование *казенной* землей в свою выгоду очень почтительный оброк — пятьдесят копеек и дороже за каждую десятину. Спорный юридический вопрос о правах поссессионных владельцев *на недра земли,* в случае нахождения в них минеральных сокровищ, тоже был выговорен уставной грамотой в пользу заводовладельца, так что мастеровые не могли быть уверены, что у них не отберут для заводских целей даже те усадебные клочки, которые им принадлежат по закону, но которые, по проекту уставной грамоты Родиона Антоныча, великодушно были подарены им заводовладельцем. Словом, в юридическом отношении проект Родиона Антоныча составлял выдающееся явление.

Раиса Павловна со своей стороны осыпала всевозможными милостями своего любимца, который сделался ее всегдашним советником и самым верным рабом. Она всегда гордилась им как своим произведением; ее самолюбию льстила мысль, что именно она создала этот самородок и вывела его на свет из тьмы неизвестности. В этом случае Раиса Павловна обольщала себя аналогией с другими великими людьми, прославившимися уменьем угадывать талантливых исполнителей своих планов.

Родион Антоныч, конечно, быстро освоился в своей новой обстановке и быстро забрал в свои руки все кругом. Погром, произведенный 19 февраля, оставил в его душе неизгладимый горький след, который заставлял его постоянно морщиться и стонать. Он так сросся душой и телом с крепостными порядками, что не мог помириться ни с чем новым, даже ради той сторицы, какую теперь получил. Его постоянно сосал какой-то червь, который не давал покоя. Неисправимый крепостник в душе, Родион Антоныч давил и гнул все новые порядки и всех новых людей, насколько хватало сил. Это был своего рода крепостной фанатизм, и в этом отношении у Родиона Антоныча была родственная черта с замашками великих французских кардиналов, хотя, конечно, это были величины несоизмеримые. Достаточно сказать, что ни одного дела по заводам не миновало рук Родиона Антоныча, и все обращались к нему, как к сказочному волшебнику. Его влияние отражалось на всех сферах заводской жизни и деятельности.

Но интереснее всего было то, как расправлялся Родион Антоныч с теми, кто ему не поддавался. Первым таким делом было то, что несколько обществ, в том числе и Кукарское, не захотели принять составленной им уставной грамоты, несмотря ни на какие увещания, внушения и даже угрозы. Глупые мужики уперлись и стояли на своем. Отыскались неизвестные законники, которые сумели растолковать им, какой паутиной опутывала их уставная грамота. Мировой посредник, становые, исправник выбивались из сил, стараясь привести стороны к соглашению: мужичье стояло на своем. Тогда взялся за эту распрю Родион Антоныч и покончил ее в несколько дней: подыскал несколько подходящих старичков, усовестил их, наобещал золотые горы, и те подмахнули за все общество. Этого было достаточно на первый раз, а там пусть дело гуляет по судам да палатам. Как упрямые мужики ни артачились, как ни хлопотали, дело оставалось в том положении, в какое его поставил Родион Антоныч, а сельские общества только несли убытки от своих хлопот да терпели всяческое утеснение на заводской работе.

— Еще бабушка-то надвое сказала, — говорил Родион Антоныч жалившимся общественникам. — Вы бы мирком да ладком лучше старались...

В этом случае он хотел показать заводскому населению, обрадовавшемуся «воле», что крепостное право для него еще не миновало. Ему доставляло громадное наслаждение давить этих свободных мастеровых на всех пунктах, особенно там, где специально заводские интересы соприкасались с интересами населения.

Другим подвигом, прославившим имя Родиона Антоныча, была его упорная борьба с Ельниковским земством, другими словами — с Авдеем Никитичем Тетюевым. Но здесь Родиону Антонычу пришлось некоторым образом идти даже против самого себя, потому что перед самой фамилией Тетюевых, по старой привычке, он чувствовал благоговейный ужас и даже полагал некоторое время, что Авдей Никитич в качестве нового человека непременно займет батюшкино местечко. Но вышло не так, — одолела Раиса Павловна, и ему пришлось идти против заветного имени. Но в этом случае Родион Антоныч утешал себя тем, что начал поход против Тетюева не по собственной инициативе, а только творил волю пославшего. Борьба между земством, с одной стороны, и заводоуправлением, с другой, велась не на живот, а на смерть. Оно и понятно... Как! когда заводы на Урале в течение двух веков пользовались неизменным покровительством государства, которое поддерживало их постоянными субсидиями, гарантиями и высокими тарифами; когда заводчикам задаром были отданы миллионы десятин на Урале с лесами, водами и всякими минеральными сокровищами, только насаждай отечественную горную промышленность; когда на Урале во имя тех же интересов горных заводов не могли существовать никакие огнедействующие заведения, и уральское железо должно совершать прогулку во внутреннюю Россию, чтобы оттуда вернуться опять на Урал в виде павловских железных и стальных изделий, и хромистый железняк, чтобы превратиться в краску, отправлялся в Англию, — когда все это творилось, конечно, притязания какого-то паршивого земства, которое ни с того ни с сего принялось обкладывать заводы налогами,

эти притязания просто были смешны. Но Тетюев не дремал, и в первый же год существования земства Кукарские заводы были обложены пятьюдесятью тысячами налога.

— Родион Антоныч, я ничего не пожалею, чтобы сломить Тетюева! — заявила Раиса Павловна. — Это бессовестно: пятьдесят тысяч... Раньше заводы не несли никаких налогов и пользовались даровым трудом крепостных, а теперь и то и другое.

— Можно будет постараться, Раиса Павловна. Только мы будем подводить свою линию под Авдея Никитича исподволь да потихоньку... Дело-то вернее будет!..

— Как хотите, так и делайте... Если хлопоты будут стоить столько же, сколько теперь приходится налогов, то заводам лучше же платить за хлопоты, чем этому земству! Вы понимаете меня?

Политика Родиона Антоныча приводилась в действие, и результаты не замедлили себя показать: сначала были изъяты из обложения земскими налогами золотые промысла, потом железный рудник, фабрики и т. д. Ходатайства, докладные записки и прошения дождем сыпались в Петербург, где разные нужные человечки умели во-время их представить куда следует. Каша заварилась вкрутую, и политика Родиона Антоныча много испортила крови Тетюеву. Например, гора Куржак, целиком состоявшая из магнитного железняка и по приблизительным вычислениям заключавшая в себе до тридцати миллиардов богатейшей в свете железной руды, приносила земству всего-навсего два рубля семнадцать копеек дохода, как любая усадьба какого-нибудь мастерового. Тетюев рвал на себе волосы, когда заходила речь о Куржаке, но поделать с последовательной политикой Родиона Антоныча ничего не мог. Когда все законные способы ограничения земской дерзости были исчерпаны, Родион Антоныч вкупе с Раисой Павловной решились нанести этому ненавистному учреждению самый роковой удар его же собственным оружием: неисповедимыми путями в Ельниковское земское собрание большинство гласных были избраны заводские приспешники и клевреты управителя, поверенные,

разная мелкая служащая сошка и, наконец, сам Родион Антоныч, который сразу организовал большинство голосов в свою пользу. Сам губернатор был на стороне Родиона Антоныча и назначал председателями земских собраний тех лиц, на которых указывало кукарское заводоуправление. Таким образом, с каждым годом, по мере того как возрастала земская сумма налогов, Кукарские заводы платили меньше и меньше, слагая свою долю на крестьянское население. Тетюев был совсем прижат к стене, и, казалось, ему ничего не оставалось, как только покориться и перейти на сторону заводов, но он воспользовался политикой своих противников и перешел из осадного положения в наступающее. Поездка Лаптева в сопровождении генерала Блинова служила самым блестящим ответом с его стороны Родиону Антонычу и Раисе Павловне за всю их политику против него. Стороны теперь встали окончательно лицом к лицу, чтобы нанести друг другу последний и самый решительный удар.

Усложняющим обстоятельством в этой крупной игре являлись интриги и происки Майзеля с другими управителями, которые, как это свойственно человеческой природе, желали сами занять место повыше. Но Родион Антоныч относился к этим случайным людям с достойным презрением. Что они такое были сами по себе? Мыльные пузыри, не больше. Всплывет, покружится, поиграет и рассыплется радужной пылью... Этим людям везде скатертью дорога; где больше дадут — там они и покорные слуги. Это уж совсем не то, что Раиса Павловна, Авдей Никитич или сам Родион Антоныч. Для них троих заводы составляли все, они к ним приросли, вне их ничего не желали знать. Тот же Авдей Никитич, легко сказать, тянет второе трехлетие председателем управы и глазом не моргнет. Все крепкий, ухватистый народ, хотя и не без недостатков. Родион Антоныч, например, когда строил свой дом, то прежде чем перейти в него, съездил за триста верст за двумя черными тараканами, без которых, как известно, богатство в доме не будет держаться. Он же лечился хрусталем, когда у него болели глаза. Доктор Кормилицын пришел в ужас, когда узнал рецепт этого хрустального лечения.

Именно: Родион Антоныч взял толстый хрустальный стакан, истолок его в порошок и это толченое стекло выпил преблагополучным образом. Раиса Павловна верила в сны и разные другие приметы, а Тетюев занимался спиритизмом.

VIII

Мы уже видели, как Родион Антоныч принял известие о приезде Лаптева на заводы. Он был трус по натуре и, как всякий трус, после первого припадка отчаяния деятельно принялся отыскивать путь к спасению. Прежде всего в нем поколебалась вера в Раису Павловну, которая не сегодня-завтра слетит с своей высоты. Раиса Павловна с свойственной ей проницательностью давно изучила заячью душу своего Ришелье и сейчас же угадала истинный ход его мыслей. Это обстоятельство ее не особенно огорчило, потому что она бывала и не в таких переделках и выходила суха из воды. Как все великие психологи-практики, она умела больше всего воспользоваться дурными сторонами и слабостями других людей в свою пользу. Так и теперь она решилась воспользоваться страхом Родиона Антоныча перед Тетюевым.

В господском доме шел ужаснейший переполох по случаю приезда барина, который не бывал на заводах с раннего детства. Для его приема готовили главный корпус господского дома, где на скорую руку переклеивали обои, обивали мебель, лощили полы, подкрашивали и замазывали каждую щель. Прейн был не особенно прихотливый человек и довольствовался всего двумя комнатами, которые сообщались с половиной Раисы Павловны и с кабинетом самого владельца. Для такого важного гостя, как сам заводовладелец, нужно было устроить княжеский прием. Не хватило тысячи самых необходимых вещей, которых в Кукарском заводе и в уездном городишке Ельникове не достанешь ни за какую цену, а выписывать из столицы было некогда.

— Как же мы будем? — спрашивал Родион Антоныч.

— А Прейн? — отвечала удивленная Раиса Павловна. — Ах, как вы просты, чтобы не сказать больше... Неужели вы думаете, что Прейн привезет Лаптева в пустые комнаты? Будьте уверены, что все предусмотрено и устроено, а нам нужно позаботиться только о том, что будет зависеть от нас. Во-первых, скажите Майзелю относительно охоты... Это главное. Думаете, Лаптев будет заниматься здесь нашими делами? Ха-ха... Да он умрет со скуки на третьи сутки.

— А Блинов?

— Ну, это еще бабушка надвое сказала: страшен сон, да милостив бог. Тетюев, кажется, слишком много надеется на этого генерала Блинова, а вот посмотрите... Ну, да сами увидите, что будет.

— Увидим, все увидим, — уныло соглашался Родион Антоныч, терявший последние признаки своей бодрости при одном имени барина.

— Да вы не трусьте; посмотрите на меня, ведь я же не трушу, хотя могла бы трусить больше вашего, потому что, во-первых, главным образом все направлено против меня, а во-вторых, в худом случае я потеряю больше вашего.

Родион Антоныч щупал свою голову, вздыхал и даже тряс ушами, как понюхавшая дыму собака.

— Я давно хочу вам сказать, Раиса Павловна, одну вещь... — нерешительно заговорил Сахаров. — Нельзя ли будет войти в какое-нибудь соглашение-с...

— С Тетюевым? Никогда!.. Слышите, никогда!.. Да и поздно немного... Мы ему слишком много насолили, чтобы теперь входить в соглашения. Да и я не желаю ничего подобного: пусть будет что будет.

Стороны взаимно наблюдали друг друга, и Родиона Антоныча повергло в немалое смущение то обстоятельство, что Раиса Павловна, даже ввиду таких критических обстоятельств, решительно ничего не делает, а проводит все время с Лушей, которую баловала и за которой ухаживала с необыкновенным приливом нежности. К довершению всех бед черные тараканы поползли из дома Родиона Антоныча, точно эта тварь предчувствовала надвигавшуюся грозу.

Действительно, Раиса Павловна, кажется, совсем не желала видеть, что делается кругом, как торопливо белили заводские здания, поправляли заборы, исправляли улицы, отовсюду убирали щепы и мусор. Особенное внимание было обращено на фабрики, где внутренний двор теперь был усыпан песком и каждая машина, при помощи песку и разных порошков, чистилась и охорашивалась, точно невеста под венец. Облупившаяся штукатурка, отставшие доски, проржавевшее железо — все одинаково подвергалось поправкам. Заводский надзиратель, плотинный, уставщики — все лезли из кожи, чтобы привести фабрику в настоящий форменный вид. Доменные печи были выкрашены заново розовой краской, механический корпус — бледносиреневой, катальная фабрика — желтой и т. д. Пробоины в крышах и стенах заделывались, выбитые стекла вставлялись, покосившиеся двери навешивались прямо, даже пудлинговые, отражательные, сварочные и многие иные печи не избегали общей участи и были густо намазаны каким-то черным блестящим составом.

Платон Васильевич почти не выходил из фабрики, где ставилось громадное маховое колесо для сортовой катальной. Раньше в Кукарском заводе приготовляли только болванку, которая переделывалась в мелкое сортовое железо уже на других заводах. Мельковский славился своим листокатальным производством, Заозерный — полосовым и проволокой, Баламутский — рельсами и т. д. Горемыкин задался целью расширить производительность заводов в качественном отношении, чтобы не тратить напрасно денег на перевозку металлов с завода на завод. Другая стальная болванка, из каких делаются рельсы, прогуливалась из Кукарского завода в Баламутский и обратно раз до шести, что напрасно только увеличивало стоимость готовых рельсов и набивало карманы разных подрядчиков, уделявших, конечно, малую толику кое-кому из влиятельных служащих. Разные безгрешные доходы процветали в полной силе, и к ним все так привыкли, что общим правилом было то, чтобы всяк сверчок знал свой шесток и чтобы сору из избы не выносил. Горемыкин, несмотря на свои физические немощи и плохое зрение, всегда сам наблю-

дал за производившимися работами, а теперь в особенности, потому что дело было спешное. Он ходил домой только есть, а все остальное время проводил на фабрике. В этом царстве огня и железа Горемыкин чувствовал себя больше дома, чем в своей квартире в господском доме. Для него было наслаждением по целым часам наблюдать торопливую фабричную работу, которая кипела кругом. Это была настоящая работа гномов, где покрытые сажей человеческие фигуры вырывались из темноты при неровно вспыхивавшем пламени в горнах печей, как привидения, и сейчас же исчезали в темноте, которая после каждой волны света казалась чернее предыдущей, пока глаз не осваивался с нею. Старик на время забывал о своих недостатках: при ослепительном блеске добела раскаленного железа он отчетливо различал подробности совершавшейся работы и лица всех рабочих; при грохоте вертевшихся колес и стучавших чугунных валов говорить можно было, только напрягая все свои голосовые средства, и Горемыкин слышал каждое слово. Когда он выходил из фабрики на свежий воздух, предметы опять сливались в его глазах, принимая туманные, расплывавшиеся очертания — обыкновенный дневной свет был слаб для его глаз. Точно так же и ухо не могло уловить обыкновенного разговора, и он делал какое-то сосредоточенно-глупое лицо, стараясь не выдавать своей глухоты. Вообще Горемыкин жил полной, осмысленной жизнью только на фабрике, где чувствовал себя, как и все другие люди, но за стенами этой фабрики он сейчас же превращался в слепого и глухого старика, который сам тяготился своим существованием. За минуту одушевленное лицо, точно омытое волной свежих впечатлений, быстро теряло свой жизненный колорит и получало вопросительно-недоумевающее выражение.

Кроме своего заводского дела, во всех других отношениях Горемыкин был чистейшим ребенком. Его душа слишком крепко срослась с этими колесами, валами, эксцентриками и шестернями, которые совершали работу нашего железного века; из-за них он не замечал живых людей, вернее, эти живые люди являлись в его глазах только печальной необходимостью, без которой,

к сожалению, самые лучшие машины не могут обойтись. Старик мечтал о том, как шаг за шагом, вместе с расширением производства, живая человеческая сила мало-помалу заменяется мертвой машинной работой и тем самым устраняются тысячи тех жгучих вопросов, какие создаются развивающейся крупной промышленностью. С этой именно точки зрения он и смотрел на все те общественные и экономические вопросы, которые создавались жизнью специально заводского населения. В них он видел только механическое препятствие, вроде того, какое происходит от трения колеса о собственную ось. В будущем, вместе с развитием промышленности и усовершенствованием техники, они падут до своего естественного минимума. Это была слишком своеобразная логика, но Горемыкин вполне довольствовался ею и смотрел на работу Родиона Антоныча глазами постороннего человека: его дело — на фабрике; больше этого он ничего не хотел знать. Машины, машины и машины, — чем больше машин, тем меньше живых рабочих, которые только тормозят величественное движение промышленности. Горемыкин проводил у семейного очага очень немного времени, но и оно не было свободно от заводских забот; он точно уносил в своей голове частицу этого двигавшегося, вертевшегося, пилившего и визжавшего железа, которое разрасталось в громадное грохотавшее чудовище нового времени. Перед этим чудовищем все отступало на задний план, действительность представлялась в самом миниатюрном масштабе, а действующие лица походили на пигмеев. Железный братец Антей каждым своим движением давил кого-нибудь из пигмеев и даже не был виноват, потому что пигмеи сами лезли ему под ноги на каждом шагу.

— Я уверен, — говорил Горемыкин жене, — что Евгению Константинычу стоит только взглянуть на наши заводы, и все Тетюевы будут бессильны.

— Ты думаешь? Ха-ха... Да Евгений Константиныч и не заглянет к вам на фабрики. Очень ему нужно глотать заводскую пыль...

— А вот увидишь.

Раисе Павловне ничего не оставалось, как только презрительно пожать своими полными плечами и еще

раз пожалеть о том обстоятельстве, что роковая судьба связала ее жизнь с жизнью этого идиота. Что такое этот Платон Васильич, если его разобрать? Сумасброд, ничтожность. Своим настоящим выдающимся положением он обязан ей — и только ей одной. Она создала его точно так же, как создала Родиона Антоныча и как теперь создавала Лушу. И ей же приходится испить всю чашу предстоящих испытаний исключительно из-за мужа... Ну как она покажет его Евгению Константинычу, с его глухотой и слепыми глазами? Предстоявший позор вперед заливал краской ее обрюзгшие, полные щеки. Мерзавец Тетюев хорошо рассчитал удар: если он ничего и не выиграет, то чего будет стоить Раисе Павловне эта новая победа над Тетюевым. У ней просто начинала кружиться голова от одолевавших ее планов, и она невольно припоминала ту лису, которая с своей тысячью думушек попала к старухе на воротник.

Первые неприятности уже дали себя почувствовать Раисе Павловне.

В господском доме были заведены Раисой Павловной официальные завтраки по воскресеньям. На этих завтраках фигурировал прежде всего заводской beau monde[1], который Раиса Павловна держала в ежовых рукавицах, а затем разный заезжий праздношатающийся люд — горные инженеры, техники, приезжавшие на сессию члены судебного ведомства, светила юридического мира, занесенные неблагоприятной фортуной артисты, случайные корреспонденты и т. д. Здесь Раиса Павловна являлась настоящей царицей: недаром Тетюев называл господский дом «малым двором», в отличие от большого двора, группировавшегося около самого Лаптева. Люди солидные расточали любезности ее увядшим прелестям, люди средних лет удивлялись уму и великосветским непринужденным манерам, молодежь — ее ласковому приему, отдававшему веселой пикантной ноткой. Вообще все приезжие оставались необыкновенно довольны этими завтраками и следовавшими за ними обедами, слава о которых попадала даже в столичную прессу, благодаря услужливости разных

[1] высший свет, *(франц.)*

литературных прощелыг. Раиса Павловна умела принять и важное сановное лицо, проезжавшее куда-нибудь в Сибирь, и какого-нибудь члена археологического общества, отыскивавшего по Уралу следы пещерного человека, и всплывшего на поверхность миллионера, обнюхивавшего подходящее местечко на Урале, и какое-нибудь сильное чиновное лицо, выкинутое на поверхность безличного чиновного моря одной из тех таинственных пертурбаций, какие время от времени потрясают мирный сон разных казенных сфер, — никто, одним словом, не миновал ловких рук Раисы Павловны, и всякий уезжал из господского дома с неизменной мыслью в голове, что эта Раиса Павловна удивительно умная женщина. Старичок сановник, сладко закрывая глаза, несколько раз рассказывал себе пикантный анекдот, которым его угостила Раиса Павловна; археолог бережно завертывал в бумагу каменный топор, который Раиса Павловна пожертвовала ему из своей коллекции; миллионер испытывал зуд во всем теле от комплиментов Раисы Павловны; сильное чиновное лицо долго нюхало воздух, насквозь прокуренный Раисой Павловной самым великосветским фимиамом. Когда никого не было из чужих, воскресные завтраки принимали более интимный характер, и Раиса Павловна держала себя, как мать большой семьи. Весь зависевший от главного управляющего люд съезжался на эти завтраки с благоговейным трепетом: здесь постоянно разыгрывались те бескровные драмы, какими полна жизнь, и кипели вечные интриги. Раиса Павловна любила развлекаться этой бурей в стакане воды, где все подкапывались друг под друга, злословили и даже нередко доходили в азарте до рукопашной.

Чтобы дополнить картину этих семейных завтраков, нам остается сказать два слова о demoiselles de compagnie[1], которые вечно ютились под гостеприимной кровлей кукарского господского дома. Раиса Павловна, как многие другие женщины, совсем не создана была для семейной жизни, но она все-таки была женщина и в качестве таковой питала непреодолимую слабость

---

[1] компаньонках, *(франц.)*

окружать себя какими-нибудь компаньонками, недостатка в которых никогда не было. Эти компаньонки, набранные со всех четырех сторон, в глухие сезоны развлекали свою патронессу взаимными ссорами, сплетнями и болтовней, во время приездов служили танцевальным материалом и составляли partie de plaisir [1] для молодых людей и молодившихся старичков; но главная их служба заключалась в том, чтобы своим присутствием оживлять воскресные завтраки, занимать гостей. В настоящее время штат этих приживалок состоял всего из трех экземпляров: институтка Эмма, лимфатическая полная особа немецкого происхождения, какая-то безыменная дворяночка Аннинька, веселое и беспечное создание, и истерическая, некрасивая девица Прасковья Семеновна. Штат этих приживалок очень часто обновлялся. Раньше жила француженка m-lle Louise [2], до нее — красавица Лукина. Судьба этих приживалок была самая странная: они исчезали неизвестно куда, как и появлялись. Никто не замечал таких исчезновений, а сама Раиса Павловна не любила об этом рассказывать. Злые языки говорили, что такие обновления состава приживалок совпадали с приездами Прейна, который, как все старые холостяки, очень любил женское общество.

Из настоящего состава приживалок всего интереснее была судьба Прасковьи Семеновны. Она принадлежала к числу «заграничных», какие еще встречаются кое-где на заводах. Происхождение этого названия относится к первой четверти настоящего столетия, когда уральскими заводчиками овладела мания посылать молодых людей из своих крепостных за границу для получения специального образования по горной части. Из Кукарских заводов было послано двенадцать человек, выбранных из самых способных школьников при заводских училищах. Эти школьники прожили за границей лет десять, получая большое содержание. Они совсем освоились на новой почве и почти все переженились на иностранках. Вдруг их всех требуют в Россию, на

---

[1] Здесь в смысле — развлечение *(франц.)*.
[2] мадмуазель Луиза, *(франц.)*

заводы. Молодые парочки едут на Урал, где и узнают сначала, что они крепостные Лаптева, следовательно, попали в крепостные и их жены, все эти немки и француженки, а затем они из-под европейских порядков перешли прямо в железные лапы Никиты Тетюева, который возненавидел их за все: за европейский костюм, за приличные манеры, а больше всего за полученное ими европейское образование. Положение «заграничных» в Кукарских заводах было самое трагическое, тем более что переход от европейских свободных порядков к родному крепостному режиму ничем не был сглажен. Тетюев с своей стороны особенно налег на молодых людей, чтобы сразу выбить из них всю европейскую и ученую дурь. Загнанные и забитые, «заграничные» были рассованы по самым ничтожным должностям, на копеечное жалованье, без всякого выхода впереди. Чтобы усугубить кару, Тетюев устроил так, что механики получили места писарей, чертежники — машинистов, минералоги — в лесном отделении, металлурги — при заводских конюшнях. Понятное дело, что такая политика вызвала протесты со стороны «заграничных», и Тетюев рассчитывался с протестантами по-своему: одних разжаловал в простых рабочих, других, после наказания розгами, записывал в куренную работу, где приходилось рубить дрова и жечь уголья, и т. д. Самым любимым наказанием, которое особенно часто практиковал крутой старик, служила «гора», то есть опальных отправляли в медный рудник, в шахты, где они, совсем голые, на глубине восьмидесяти сажен, должны были копать медную руду. Эту каторжную работу не могли выносить самые привычные и сильные рабочие, а заграничные в своих европейских обносках были просто жалки, и их спускали в гору на верную смерть. Но Тетюев был неумолим. Вся эта чудовищная история закончилась тем, что из двенадцати заграничных в три года четверо кончили чахоткой, трое спились, а остальные посходили с ума. Положение заграничных женщин было еще ужаснее, тем более что некоторые из них каким-то чудом вынесли свою каторжную судьбу и остались живы с детьми на руках. Участь этих женщин, даже не умевших говорить по-русски, не привлекла к

себе участия заводских палачей, и они мало-помалу дошли до послѣдней степени унижения, до какого в состоянии только пасть голодная, несчастная женщина, принужденная еще воспитывать голодных детей. В чужом краю, среди общих насмешек и презрения, эти женщины являлись каким-то ужасным призраком крепостного насилия. Но и в самые черные дни своего существования они не могли расстаться с своим европейским костюмом, с теми модами, какие существовали в дни их юности... Трагедия переходила в комедию. Эта страшная кара перешла и на детей заграничных, которые явились на свет с тяжелыми хроническими болезнями и медленно вымирали от разных нервных страданий, запоя и чахотки. Прасковья Семеновна, дочь кассельской немки, с раннего детства осталась круглой сиротой и была счастлива по крайней мере тем, что не видала позора матери. Она с пяти лет страдала истерическими припадками и в качестве блаженненькой проживала по богатым купеческим домам. В разгар своей борьбы с Тетюевым Раиса Павловна обратила на нее свое внимание, взяла ее к себе в дом и принялась воспитывать. Это доброе дело нехорошо было только тем, что оно делалось с специальной целью насолить Тетюеву: пусть он, проповедник гуманных начал и земского обновления, полюбуется, в лице Прасковьи Семеновны, тятенькиными поступками... Прасковья Семеновна с годами приобретала разные смешные странности, которые вели ее к тихому помешательству; в господском доме она служила общим посмешищем и проводила все свое время в том, что по целым дням смотрела в окно, точно поджидая возвращения дорогих, давно погибших людей.

Итак, в господском доме совершался семейный завтрак. Посторонних никого не случилось, а сидел все свой народ: Прозоров, доктор Кормилицын, жена Майзеля, разбитная немка aus Riga[1], Амалия Карловна, управитель Баламутского завода Демид Львович Вершинин, Мельковского — отставной артиллерийский офицер Сарматов, Куржака — чахоточный хохол Буйко,

[1] из Риги, *(нем.)*

Заозерного — вечно общипывавшийся и охорашивавшийся полячок Дымцевич. В общей трапезе принимали участие старичок механик Шубин и молодой человек, служивший по лесной части, Иван Иваныч Половинкин или просто m-r Половинкин. Эта компания в своем составе представляла очень пеструю картину. Сарматов славился как отчаянный враль и самый бессовестный интриган; Буйко — своей бесцветностью; Дымцевич — глупостью. Самым видным лицом являлся Вершинин, всегда спокойный и неизменно остроумный, незаменимый собеседник за столом и величайший в свете артист устраивать официальные и полуофициальные обеды. На этом последнем поприще Вершинин был в своем роде единственный человек: никто лучше его не мог поддержать беглого, остроумного разговора в самом смешанном обществе; у него всегда наготове имелся свеженький анекдот, ядовитая шуточка, остроумный каламбур. Сказать спич, отделать тут же за столом своего ближнего на все корки, посмеяться между строк над кем-нибудь — на все это Вершинин был великий мастер, так что сама Раиса Павловна считала его очень умным человеком и сильно побаивалась его острого языка. В трудных случаях, когда нужно было принять какую-нибудь важную особу, вроде губернатора или даже министра, Вершинин являлся для Раисы Павловны кладом, хотя она не верила ему ни в одном слове. Среди этой заводской аристократии и козырных тузов m-r Половинкин являлся в роли parvenu[1], которому Раиса Павловна очень покровительствовала, задавшись целью женить его на Анниньке. Такие двусмысленные личности встречаются в каждом обществе, и им достается самая жалкая роль. Злые языки в m-r Половинкине видели просто фаворита Раисы Павловны, которой нравилось его румяное лицо с глупыми черными глазами, но мы такую догадку оставим на их совести, потому что на завтраках в господском доме всегда фигурировал какой-нибудь молодой человек в роли parvenu. Покровительствовать молодым людям, подающим надежды, было слабостью Раисы Павловны, которая вообще

[1] выскочки, *(франц.)*

любила устраивать чужое счастье. Механик Шубин замечателен был тем, что про него решительно ничего нельзя было сказать — ни худого, ни доброго, а так, черт его разберет, что за человек. Такие люди иногда встречаются: живут, служат, работают, женятся, умирают, от их присутствия остается такое же смутное впечатление, как от пробежавшей мимо собаки.

Приживалки, конечно, были все налицо. Прасковья Семеновна смотрела в окно, Аннинька шепталась и хихикала с m-r Половинкиным, который глупо и самодовольно улыбался, покручивая выхоленные усики. M-lle Эмма стоически выдерживала атаку с двух сторон: слева сидел около нее слегка подвыпивший Прозоров, который под столом напрасно старался прижать своей тощей ногой жирное колено m-lle Эммы, справа — Сарматов, который сегодня врал с особенным усердием. В течение десяти минут он успел рассказать, прищуривая один косой глаз, что на последней охоте одним выстрелом положил на месте щуку, зайца и утку, потом, что когда был в Петербурге, то открыл совершенно случайно еще не известную астрономам планету, но не мог воспользоваться своим открытием, которое у него украл и опубликовал какой-то пройдоха, американский ученый, и, наконец, что когда он служил в артиллерии, то на одном смотру, на Марсовом поле, через него переехало восьмифунтовое орудие, и он остался цел и невредим.

— Ах, виноват, — поправился Сарматов, придавая своей щетинистой, изборожденной морщинами роже серьезное выражение, — у меня тогда оторвало пуговицу у мундира, и я чуть не попал за это на гауптвахту. Уверяю вас... Такой странный случай: так прямо через меня и переехали. Представьте себе, четверка лошадей, двенадцать человек прислуги, наконец орудие с лафетом.

— Я слышал, что одним колесом вам придавило голову? — спокойно заметил Вершинин, улыбаясь в свою подстриженную густую бороду. — А планету вы уже открыли после этого случая... Я даже уверен, что между этим случаем и открытой вами планетой существовала органическая связь.

— Отстаньте, пожалуйста, Демид Львович! Вы все шутите... А я вам расскажу другой случай: у меня была невеста — необыкновенное создание! Представьте себе, совершенно прозрачная женщина... И как случайно я узнал об этом! Нужно сказать, что я с детства страдал лунатизмом и мог видеть с закрытыми глазами. Однажды...

Такие разговоры повторялись слишком часто, чтобы обращать на них внимание. M-lle Эмма слушала весь этот вздор с своей обычной апатией, не обращая внимания на Прозорова, который после неудачной атаки под столом принялся ей отчитывать самые страстные строфы из Гейне и даже Саади. Раиса Павловна, конечно, все это видела, но не придавала таким глупостям никакого значения, потому что сама в веселую минуту иногда давала подколенника какому-нибудь кавалеру-новичку, в виде особенной ласки называла дам свиньями и употребляла по-французски и даже по-русски такие словечки, от которых краснела даже m-lle Эмма. Но теперь ей было не до того: ее беспокоило поведение Вершинина и m-me Майзель, которые несколько раз обменялись многозначительными взглядами, когда разговор зашел на тему об ожидаемом приезде Лаптева на заводы. Очевидно, это был открытый заговор против нее, и где же? — в ее собственном доме... Это было уже слишком! Сарматов и Дымцевич тоже как будто переглядываются между собой... О! без сомнения, все они переметнулись на сторону Тетюева, и каждый дурак ждет, что именно его сделают главным управляющим. В Раисе Павловне забунтовала каждая жилка от непреодолимого желания отделать на все корки это собрание Иуд, а всех прежде — Амалию Карловну.

— M-r Половинкин, — обратилась m-me Майзель к parvenu, — будьте настолько добры, сходите за моей рабочей корзинкой. Я ее оставила дома...

M-r Половинкин съежился, не зная, как выпутаться из своего неловкого положения; от господского дома до квартиры Майзеля было битых полторы версты. Если не пойти — старик Майзель, под начальством которого он служил, сживет со свету, если идти —

Раиса Павловна рассердится. Последнее он хорошо заметил по лицу своей патронши.

— Ваша лошадь, кажется, у подъезда, Амалия Карловна... — пробормотал, наконец, m-r Половинкин. — Я с удовольствием, если позволите... оно скорее...

— Ах, нет... — с кислой улыбкой протестовала Амалия Карловна. — Лошадь устала, а вам пройтись немного, право, очень полезно... Уверяю вас!.. Ведь это всего в двух шагах — рукой подать.

— Я полагаю, Амалия Карловна, — отчетливо и тихо заговорила Раиса Павловна, переставляя чашку с недопитым кофе, — полагаю, что m-r Половинкину лучше знать, что ему полезно и что нет. А затем, вместе с своей рабочей корзинкой, вы, кажется, забыли, что у m-r Половинкина, как у всех присутствующих здесь, есть имя и отчество...

— Виновата, — жеманно ответила m-me Майзель, прищуривая свои ястребиные глаза, — если не ошибаюсь — Семен Семеныч...

— Нет, Иван Иваныч...

— Еще раз виновата, Иван Иваныч... — с расстановкой заговорила взбешенная Амалия Карловна, раскланиваясь с m-r Половинкиным. — Я уж лучше попрошу mademoiselle Эмму сходить за моей корзинкой. Ведь это недалеко: всего в двух шагах.

— Вам, Амалия Карловна, лучше всего обратиться к кому-нибудь из прислуги с вашей просьбой или к Демиду Львовичу... — отрезала m-lle Эмма, обладавшая большой находчивостью.

Эта глупая сцена сама по себе, конечно, не имела никакого значения, но в данном случае она служила вызовом, который Амалия Карловна бросила прямо в лицо Раисе Павловне. Приживалки притихли, ожидая бури; Вершинин с улыбкой гладил жирного мопса Нерона, который слезившимися, вылупленными глазами глупо смотрел ему в рот. Прозоров улыбался растерянной, пьяной улыбкой. Кормилицын препарировал ножку цыпленка, остальные напрасно старались изобразить из себя слушающую публику, которая была занята рассказом Сарматова, как он однажды в Бессарабии давал настоящий концерт на фарфоровой гитаре. Буря про-

неслась, и все понемногу успокоились, даже m-r Половинкин, который теперь с самым развязным видом старался рассмешить Анниньку. Сама Амалия Карловна как ни в чем не бывало продолжала доедать порцию холодного рябчика и аппетитно вытирала толстые губы салфеткой. С острым носом, с узкими черными глазками и с резкими, точно что-то хватавшими движениями, она всегда походила на птицу; это сходство увеличивалось еще пестрым барежевым платьем и кружевной наколкой на голове. Теперь Амалия Карловна, набивая рот рябчиком, рассказывала о необыкновенно красивой шляпке, которую m-me Тетюева на днях получила из Петербурга. Упоминать фамилию Тетюевых в присутствии Раисы Павловны было вообще дерзостью, но Амалия Карловна с самой ехидной искренностью, на какую только способны великосветские дамы, еще прибавила, обращаясь к Раисе Павловне:

— А вы ничего не ждете себе из Петербурга? Я хочу сказать, не выписали ли вы себе какую-нибудь новинку... на голову?

— Амалия Карловна, вы слишком много себе позволяетс!.. — вскипела, наконец, Раиса Павловна, бросая на тарелку вилку.

— Я?.. Я, кажется, ничего не сказала такого... — чистосердечно удивилась Амалия Карловна, обводя присутствующих удивленным взором.

— Нет, вы отлично понимаете, что хотели сказать. Я только могу удивляться вашей дерзости: явиться в мой дом... и...

— После этого моя нога никогда не будет в вашем доме!.. — величественно произнесла Амалия Карловна, торопливо проглатывая последний кусок рябчика.

— Мы не много от этого потеряем...

— Вы меня оскорбляете, Раиса Павловна!.. Николай Карлыч вызовет Платона Васильича на дуэль, если вы не извинитесь сейчас же...

— Дуэль? Ха-ха... Зачем дуэль, идите лучше и поцелуйтесь с вашим Тетюевым!..

Амалия Карловна ждала поддержки со стороны присутствовавших единомышленников, но те предпочитали соблюдать полнейший нейтралитет, как это и

приличествует посторонним людям. Этого было достаточно, чтобы Амалия Карловна с быстротой пушечного ядра вылетела в переднюю, откуда доносились только ее отчаянные вопли: «Я знаю все... все!.. Вас всех отсюда метлой выгонят... всех!..»

— Нерон, кусь!.. — уськнула вдогонку m-lle Эмма, и собака с громким лаем понеслась в переднюю.

Лицо Раисы Павловны горело огнем, глаза метали молнии, и в уютной столовой с дубовой мебелью и суровыми драпировками долго царило самое принужденное молчание. Доктор ковырял какую-то копченую рыбешку, Вершинин с расстановкой смаковал чайный ликер из крошечной рюмочки на тонкой высокой ножке, Дымцевич покручивал усики, толкая локтем Буйко. Прозоров и Сарматов разговаривали вполголоса, Анинька кормила хлебными шариками вернувшегося из погони Нерона. После приживалок Нерон пользовался у Раисы Павловны особенными привилегиями. Он мог делать решительно все, что ему вздумается, и Раиса Павловна от души хохотала над его остроумными собачьими проказами, когда он, например, с ловкостью записного эквилибриста бросался к лакею, разносившему кушанье, и выхватывал с блюда лучший кусок или во время завтрака взбирался на обеденный стол и начинал обнюхивать тарелки и чашки завтракавших. Собачья фантазия была неистощима, и Нерон по какому-то инстинкту особенно надоедал тем, кого Раиса Павловна почему-либо недолюбливала. Все, кто хотел угодить Раисе Павловне, прежде всего должен был заслужить расположение Нерона. В этих видах Родион Антоныч, m-r Половинкин и другие приспешники всегда носили в кармане что-нибудь съестное, и даже сам Вершинин гладил и ласкал злую и ожиревшую собачонку.

— А я на вашем месте просто дала бы ей в шею... — лениво заметила m-lle Эмма, нарушая общее молчание.

Все засмеялись. Раиса Павловна тоже улыбнулась. Эта m-lle Эмма молчит-молчит, а потом и скажет всегда что-нибудь такое смешное. Высказав свое мнение, девушка с забавной серьезностью вытянула губы и по-

смотрела вызывающе на Вершинина. Положительно, эта немочка была интересна, если бы окончательно не «потеряла фигуру» благодаря своей увеличивавшейся полноте. Раиса Павловна с ужасом смотрела на ее расплывавшийся бюст, точно под корсетом у m-lle Эммы была налита вода. Да и одеться к лицу она никогда не умела: немка — так немка и есть, все на ней кошелем. То ли дело Аннинька — и лицом хуже m-lle Эммы, а фигурка у нее точно на заказ выточена, стройная да гибкая.

— Нет, в самом деле, Раиса Павловна, я на вашем месте лихо смазала бы эту Амальку, — повторила m-lle Эмма, поощренная общим смехом.

— Ах, душечка, меня, вероятно, самое скоро в шею смажут в собственном доме, — ответила Раиса Павловна. — Если бы Амалька вцепилась мне в физиономию, я уверена, что ни один из присутствующих здесь не вступился бы за меня... Взять хоть Демида Львовича для примера.

— Я сначала подождал бы, Раиса Павловна, на чьей стороне останется победа, — грудным тенором ответил Вершинин, прищуривая глаза. — А потом уж пристал бы, конечно, не к побежденной стороне...

IX

От Загнеткина было получено уже несколько писем. Он подробно описывал все, что успевал разузнать о предстоящей поездке Лаптева на заводы. Каждое письмо Раиса Павловна подвергала самому тщательному анализу и все-таки оставалась в конце концов неудовлетворенной: в затеянной Тетюевым игре ей оставалось много неясного. Что такое этот генерал Блинов — прежде всего? Получалось самое смутное, расплывавшееся в подробностях представление: если он «ученый профессор» по преимуществу, то каким образом примазался к нему Тетюев с своими интригами? Если, затем, генералом так вертит эта таинственная особа, то что же смотрит Прейн? Если, наконец, генерал задался непременной целью произвести на заводах

необходимые финансовые реформы, то отчего до сих пор ни в заводоуправлении, ни Платону Васильевичу не было решительно ничего известно? Получалась кружившая голову путаница, в которой невозможно было разобраться. Ясно было только то, что сама Раиса Павловна самым глупым образом попала между двумя сходившимися стенами: с одной стороны был Тетюев, завербовавший себе сильную партию Майзеля, Вершинина и др., с другой — генерал Блинов. Стоило только им сойтись вместе, и Раиса Павловна неизбежно будет похоронена под развалинами недавнего своего величия. Главное, теперь решительно ничего нельзя было предпринять для рассеяния сгущавшейся мглы, а нужно было ждать, ждать и ждать... Из тумана выступали пока совсем неопределенные фигуры генерала Блинова с его особой и какой-то балерины Братковской, из-за которой Лаптев откладывает свою поездку на Урал день за днем. Сам хитроумный и на все оборотистый Родион Антоныч решительно ничем не мог помочь Раисе Павловне и только нагонял на нее тоску своими бесконечными охами и вздохами.

— Уж вы лучше бы мне на глаза не показывались! — откровенно высказывалась ему Раиса Павловна.

Приживалки, которых Прозоров называл галками, бесцельно слонялись по всему дому, как осенние мухи по стеклу, или меланхолически гуляли по саду. Делать им было решительно нечего, и единственным развлечением являлся только m-r Половинкин, который держал себя с галками настоящим денди.

— Душечка, ты постарайся меньше кушать, — уговаривала Раиса Павловна m-lle Эмму, — а то ведь ты начинаешь совсем походить на индюшку... У тебя даже из-под пазух жир так и лезет складками!

Мадмуазель делала сердитое лицо и ничего не отвечала.

— Необходимо принять меры, голубчик, — продолжала Раиса Павловна. — Наконец, посоветуйся с доктором: есть такие средства, от которых такие толстушки делаются интересными девицами. Что же делать, если природа иногда несправедлива к нам...

Когда не было Раисы Павловны, девушки осторожно шушукались между собой, критикуя каждый шаг своей патронши.

— Я решительно не понимаю, — говорила m-lle Эмма, — чего *она* находит интересного в этой вертушке Лукерье? Прейн и не взглянет на нее. Очень ему нужно смотреть на всякую дрянь!

— У Луши носик хорошенький, с горбиком.

— Только и есть, что один носик, Анninька. Ну, да Прейну сойдет... для счета.

— Ты уж не ревнуешь ли ее к нему?

— Я?.. Очень мне нужно. Этот Прейн такой отвратительный, если бы ты знала. Он так умеет надоесть...

— Однако когда-то ты им была, кажется, очень заинтересована.

— Не больше, чем ты своим Иван Иванычем... Вот погоди, и ты не уйдешь от Прейна, Анninька. Ему была бы только юбка... Я была тогда глупа, когда он ухаживал за мной, и не умела забрать его в руки. Если он начнет проделывать с тобой такую же историю, я тебя научу, что нужно делать. Следовало бы его проучить... А все это наша Раиса Павловна! Я была еще совсем девчонкой, когда Прейн приехал сюда в первый раз. Ну, конечно, принялся ходить за мной, а Раиса Павловна сейчас с своими шуточками да анекдотами — проходу не дает. А потом... Помнишь из «Belle Héléne» [1]:

...но ведь бывают столкновенья,
когда мы нехотя грешим!..

— Что же, он скоро тебя бросил? — допытывалась Анninька.

— Да, у него все это скоро делается: через неделю, кажется... Мерзавец вообще, каких мало. А теперь Раиса Павловна будет ловить Прейна на Лукерью, только она не продаст ее дешево. Будь уверена. Недаром она так ухаживает за этой девчонкой...

— А знаешь, что я думаю, — говорила Анninька. — Не думает ли Раиса Павловна прельстить Лушей самого Лаптева.

[1] «Прекрасной Елены» *(франц.)*.

— Ну, уж ты очень далеко хватила: Лаптева!.. Дай бог Прейна облюбовать с грехом пополам, а Лаптев уже занят, и, кажется, занят серьезно. Слыхали про Братковскую? Говорят, красавица: высокого роста, с большими голубыми глазами, с золотистыми волосами... А сложена как богиня. Первая красавица в Петербурге. А тут какая-нибудь чумичка — Луша... фи!..

— Я не понимаю только одного, ведь Луша выходит за Яшу Кормилицына, давно всем известно, и сама же Раиса Павловна об этом так хлопотала.

— Тогда хлопотала, а теперь оставит Яшеньку с носом и только, — засмеялась m-lle Эмма. — Не дорого дано... Да я на месте Луши ни за что бы не пошла за эту деревянную лестницу... Очень приятно!.. А ты слышала, какой подарок сделал доктор Луше, когда она изъявила желание выйти за него замуж?

— Нет.

— Это потеха: какую-то глисту в спирте... Честное слово! Мне Вершинин под секретом рассказывал, и она его с этой глистой в три шеи.

— Значит, у них все дело рассохлось?

— А черт их разберет... Разве нашу Раису Павловну узнаешь, что она думает. Комар носу не подточит.

— Однако она сильно изменилась в последнее время, — задумчиво говорила Анниныка, — лицо осунулось, под глазами синие круги... Я вчера прихожу и рассказываю ей, что мы с тобой видели Амальку, как она ехала по улице в коляске вместе с Тетюевой, так Раиса Павловна даже побелела вся. А ведь скверная штука выйдет, если Тетюев действительно смажет нашу Раису Павловну. Куда мы тогда с тобой денемся, Эмма?

— Вздор!.. Наша Раиса всех в один узел завяжет — вот увидите, — уверенно отвечала m-lle Эмма, делая энергичный жест рукой. — Да если бы и смазали ее, невелика беда: не пропадем. Махнем в столицу, и прямо объявление в газетах: «Молодая особа и т. д.» Вот и вся недолга. По крайней мере можно пожить в свое удовольствие.

Эти рассудительные барышни очень обстоятельно обсудили все, что должно произойти по случаю приезда Лаптева. Конечно, будет несколько балов, потом разные

поездки в горы, пикники и просто parties de plaisir [1]. Майзель будет устраивать охоты с интересными превращениями, Вершинин — обеды, Сарматов — спектакли, и т. д. Интересно будет посмотреть, как Раиса Павловна будет мириться с Амалькой. Впрочем, это не первый случай между ними. Гораздо серьезнее будет встреча Раисы Павловны с той особой, которая едет с генералом Блиновым. Вот будет потеха, когда эти старые бабы встретятся и зафукают, как старые кошки!

Прасковья Семеновна в этих разговорах почти не принимала никакого участия, хотя в последнее время она чувствовала себя особенно хорошо: всеобщая суматоха и перестройка совпадали с ее душевным настроением, и она ходила из комнаты в комнату с самым довольным лицом. Девушка совершенно разумно рассуждала с рабочими, которые не выходили из господского дома. Она внимательно следила за каждым шагом вперед: где выкрасили, где переклеили новые обои, где покрыли лаком — все это, вместе взятое, служило самым верным доказательством приближающихся событий. Когда работы были кончены, Прасковья Семеновна заняла наблюдательную позицию в том окне, из которого виднелась трактовая дорога. Именно по этой дороге Лаптев и должен был приехать, и Прасковья Семеновна терпеливо ждала его по целым дням. Однажды она вбежала в комнату Анниньки и проговорила задыхающимся голосом:

— Едут!..

— Кто?

— Все едут.

Аннинька и m-lle Эмма бросились к окнам и должны были убедиться в справедливости этого известия.

Действительно, через площадь, мимо здания заводоуправления, быстро катился громадный дорожный дормез, запряженный четверней. За ним, заливаясь почтовыми колокольчиками, летели пять троек, поднимая за собой тучу пыли. Миновав заводоуправление, экипажи с грохотом въехали на мощеный двор господского дома.

---

[1] увеселительные прогулки *(франц.)*.

— Это Евгений Константиныч! — вскрикнула Аннинька, бросаясь предупредить Раису Павловну.

— Вздор, Аннинька! — решила рассудительная немка. — Лаптев так никогда не поедет. Это, вероятно, прислуга.

Любопытные барышни прильнули к окну и имели удовольствие наблюдать, как из дормеза, у которого фордэк был поднят и закрыт наглухо, показался высокий молодой человек в ботфортах и в соломенной шляпе. Он осторожно запер за собой дверь экипажа и остановился у подъезда, поджидая, пока из других экипажей выскакивали какие-то странные субъекты в охотничьих и шведских куртках, в макинтошах и просто в блузах.

— Музыканты... — шептала Аннинька, прижимаясь плечом к своей флегматической подруге, которая все время не сводила глаз с запертого дормеза.

— Что бы там такое было? — подумала вслух m-lle Эмма, не обращаясь ни к кому. — Уж не та ли особа, которая едет с Блиновым.

— Какой красивый!.. восторг!.. — восхищалась откровенная Аннинька, любуясь молодым человеком из дормеза, около которого теперь собрались все остальные.

На подъезд растерянно выскочил без фуражки швейцар Григорий и, вытянувшись по-солдатски, не сводил глаз с молодого человека в соломенной шляпе. Слышался смешанный говор с польским акцентом. Давно небритый седой старик, с крючковатым польским носом, пообещал кому-то тысячу «дьяблов». К галдевшей кучке, запыхавшись, подбегал трусцой Родион Антоныч, вытирая на ходу батистовым платком свое жирное красное лицо.

— Где нам остановиться? — обратился к нему молодой человек в ботфортах. — Я — домашний секретарь генерала Блинова, а это — венский оркестр.

— Отлично, отлично... — торопливо отвечал Родион Антоныч. — Для генерала Блинова приготовлено особенное помещение... Вы с ним остановитесь?

— О, это все равно... — с улыбкой проговорил молодой человек, глядя на кисло сморщившуюся физионо-

мию Родиона Антоныча своими ясными, голубыми, славянскими глазами. — Мне крошечную комнатку — и только.

— Найдется и комнатка... все найдется. А относительно оркестра... Позвольте... Да пожалуйте, сначала вас нужно поместить, а потом и господам музыкантам место найдем. Извините, не знаю вашего имени и отчества...

— Гуго Альбертович Могула-Братковский, к вашим услугам... А позвольте узнать...

— Меня, Гугу...

— Гуго...

— Да, да... меня, Гуго Альбертович, зовут просто Родионом Антонычем. Тоже домашний секретарь при главном управляющем всеми Кукарскими заводами, Платоне Васильевиче Горемыкине.

— Очень приятно, — баритоном протянул красавец поляк, заглядывая между прочим в окна, где виднелись лица Анниньки и m-lle Эммы.

— Так уж я сначала вам отведу квартиру, Гуго Альбертович... Эй, кучер, за мной!..

Поляк взъерошил свою красивую русую бородку, передернул широкими плечами и красиво зашагал по двору за торопливо семенившим Родионом Антонычем. Дормез покатился за ними, давя хрустевший под колесами речной хрящ, которым был усыпан весь двор, и остановился в следующем, где в сиренях и акациях кокетливо прятался только что выбеленный флигелек в три окна.

— Вот здесь... — проговорил Родион Антоныч с подавленным вздохом. — Григорий, ты вынесешь вещи, — обратился он к следовавшему в почтительном отдалении швейцару. — Или лучше я сам вытащу чемоданы...

— Нет, уж позвольте мне самому, — с утонченной вежливостью отказался Братковский. — У меня там очень капризные пассажиры сидят.

Молодой человек подошел к экипажу, отворил дверцу и на тонкой стальной цепочке вывел оттуда двух порядочных обезьян, из которых одна сейчас же оскалила свои большие белые зубы на онемевшего от изумления Родиона Антоныча.

— Это... это что же такое, Гуго Альбертович? — проговорил он, машинальным движением снимая перед обезьянами свою соломенную шляпу.

— Обезьяны Нины Леонтьевны...

— Гм... — промычал Родион Антоныч.

«У Раисы Павловны Нерон, а у Нины Леонтьевны обезьяны... Так-с. Ох, уж эти дамы, дамы!.. А имя, должно быть, заграничное! Нина... Должно быть, какая-нибудь черкешенка, черт ее возьми совсем. Злющие канальи, говорят, эти черкешенки!»

— Я теперь обойдусь без вашей помощи, Родион Антоныч, — предупредил Братковский, когда свел обезьян в комнату.

— Отлично, отлично... Я вам пошлю человека: платье вычистить с дороги, сапожки.

— Пожалуй, пошлите, — лениво согласился молодой человек, исчезая в дормезе, откуда выглядывали углы чемоданов и каких-то поставцев.

— Сейчас же...

Родион Антоныч раскланялся с дормезом, в котором сидел Братковский, и уныло побрел к господам музыкантам, размышляя дорогой, куда он денет эту бесшабашную ораву. Пожалуй, еще стянут что-нибудь... Все это выдумки Прейна: нагнал орду дармоедов, а теперь изволь с ними возиться, когда работы без того по горло.

Появление гостей подняло весь господский дом на ноги. Горничные шныряли из комнаты в комнату с рассказами об обезьянах, как мыши, побывавшие в муке. Родион Антоныч, конечно, рассказал все Раисе Павловне с неизменными охами и вздохами, причем догадкам и предположениям не было конца. Первой догадалась, что сделать, Аннинька: она торопливо надела шляпу и отправилась в сад, в ту аллею, которая проходила как раз под окнами занятого Братковским флигелька. Эта стратегика удалась ей — в окне сидел таинственный секретарь и курил сигару. Заметив проходившую девушку, он вежливо поклонился ей.

— Красавец... — рассказывала Аннинька, рдея румянцем. — Как сложен: кровь с молоком! А какие глаза, Эммочка, — чудо! голубые, большие... Просто расцеловала бы разбойника!..

Раиса Павловна тоже успела из-за гардины разглядеть таинственного молодого человека, которого сейчас и определила, поместив его в разряд крупных молодых людей. Это был не какой-нибудь выродок, как большинство нынешней молодежи, а настоящий молодой человек, сильный, здоровый и непременно веселый. Такие субъекты попадаются только в среде кавалеристов и обыкновенно сводят с ума вдовушек с богатырской комплекцией. Когда в дни своей молодости Раиса Павловна жила в аристократическом семействе, где познакомилась с Прозоровым, там часто бывали именно такие молодые люди. Все это был крайне развязный и остроумный народ, обращавшийся с женщинами с той особенной милой простотой, какая приобретается ранним знакомством с закулисной жизнью маленьких театров, загородных гуляний и цирков. От этих откровенных молодых людей всегда пахло лошадьми и конюшней, а в их преждевременной напускной серьезности слишком рано сказывались бессонные ночи и дорогие кутежи в обществе продажных красавиц. По человеческой логике казалось бы, что такие слишком опытные молодые люди не должны бы были пользоваться особенными симпатиями тепличных институтских созданий, но выходит как раз наоборот: именно на стороне этой золотой молодежи и сосредоточивались все симпатии восторженной и невинной юности, для которой запретный плод имел неотразимо притягательную силу. Раиса Павловна все это испытала на себе самой, и у ней невольно екнуло в груди ее сорокалетнее сердце при виде этого поляка-красавца, в котором все выдавало его кровное аристократическое происхождение.

— Да ведь это брат той балерины Братковской, о которой писал нам Загнеткин?!. — первая опомнилась Раиса Павловна. — Конечно, брат...

Родион Антоныч в ужасе развел руками и даже растворил рот: как это он сам не мог догадаться, когда молодой человек отрекомендовался ему! Вот тебе и началось: сестрица вертит Лаптевым, братец — секретарем у генерала Блинова, — нечего сказать, хорошенькая парочка. Значит, что захочет Нина Леонтьевна, ей стоит только передать Братковскому, тот — своей

сестре, а эта все и перевернет в барине вверх дном. Тонко придумано... Ай да Тетюев! Вот где зацепил ловко!.. И где же с таким человеком тягаться, когда он, Родион Антоныч, даже забыл спросить Братковского, когда приедет генерал Блинов? Пробовал он навести справки через господ музыкантов, но те про генерала ничего не знали и только на четырех языках просили водки.

— Ужо, я как-нибудь заверну к нему, Раиса Павловна, — предлагал Родион Антоныч. — А там под рукой и расспрошу о генерале, может и о сестричке что скажет...

— Нет, пожалуйста, этого не делайте: неделикатно надоедать незнакомому человеку, который, может быть, совсем и не желает видеть нас с вами.

Раиса Павловна говорила это, конечно, неспроста: она ждала визита от Братковского. Действительно, он заявился к ней на другой же день и оказался именно тем, чем она представляла его себе. Это был премилый человек во всех отношениях и сразу очаровал дамское общество, точно он был знаком сто лет.

«Вишь, какая приворотная гривенка, — думал про себя Родион Антоныч, наблюдая все время интересного молодого человека. — Небойсь о генерале да о своей сестричке ни гу-гу... Мастер, видно, бобы разводить с бабами. Ох-хо-хо, прости, господи, наши прегрешения».

М-г Половинкин совсем потерялся в обществе блестящего молодого человека и только жалко хлопал глазами, когда тот заставлял Анниньку хохотать до слез. В своей черной паре и белом галстуке Братковский был необыкновенно хорош: все на нем точно было вылито и могучие формы обрисовывало особенно эффектно. Когда он смеялся, Анниньке очень хотелось влепить ему самую отчаянную институтскую безешку. Эта беззаботная девушка в присутствии Братковского испытывала необыкновенно приятное волнение, обдававшее ее щекотавшим теплом, а когда он на прощание особенно внимательно пожал ей руку, она вся вспыхнула горячим молодым румянцем и опустила глаза.

— Что это с тобой, Аннинька? — спрашивала m-lle Эмма, когда они ложились вечером спать. — Ты какая-то странная сегодня, точно угорелая бродишь...

— Ах, не то, не то совсем, Эммочка... милая!.. — вскрикнула Аннинька, начиная целовать подругу самыми отчаянными поцелуями: на глазах у ней были слезы. — Я так... мне хорошо.

Mademoiselle Эмма сразу поняла, что творилось с Аннинькой, и только покачала головой. Разве для такой «галки», как Аннинька, первая любовь могла принести что-нибудь, кроме несчастья? Да еще любовь к какому-то лупоглазому прощелыге, который, может быть, уж женат. M-lle Эмма была очень рассудительная особа и всего больше на свете дорожила собственным покоем. И к чему, подумаешь, эти дурацкие восторги: увидала красивого парня и распустила слюни.

— Глупости, Аннинька... вздор! — сердито проговорила m-lle Эмма, снимая с своих круглых ног чулки.

Бедная галка ничего не отвечала; уткнувшись головой в подушку, она тихо рыдала. M-lle Эмма даже плюнула при виде таких телячьих нежностей и пообещала Анниньке немецкого черта.

Братковский бывал в господском доме и попрежнему был хорош, но о генерале Блинове, о Нине Леонтьевне и своей сестре, видимо, избегал говорить. Сарматов и Прозоров были в восторге от тех анекдотов, которые Братковский рассказывал для одних мужчин; Дымцевич в качестве компатриота ходил во флигель к Братковскому запросто и познакомился с обеими обезьянами Нины Леонтьевны. Один Вершинин заметно косился на молодого человека, потому что вообще не выносил соперников по части застольных анекдотов.

— А когда же ваш патрон приедет? — по сту раз на день спрашивали домашнего секретаря генерала Блинова.

— Ничего неизвестно, господа... Решительно — ничего! — уклончиво отвечал осторожный молодой человек.

Родион Антоныч в сообществе с Сарматовым надеялся споить крепкого полячка, авось пьяный развя-

жет язык, но Братковский пил крайне умеренно и совсем не думал пьянеть.

Пока малый двор исключительно был занят секретарем генерала Блинова, ежедневно прибывали новые гости: подкатил целый обоз с кухней и поварами, потом приехало несколько подвод специально с гардеробом, затем конюшня и экипажи, наконец привалила охота. Вся эта орда большей частью была «устроена» на нижнем дворе, где в тетюевские времена помещалась господская дворня. Егеря в голубых кунтушах, целый штаб из камердинеров, наездники, кучера, музыканты — все это смешалось в невообразимо пеструю кучу, точно на нижнем дворе остановился для нескольких представлений какой-нибудь громадный странствующий цирк.

— Ведь все они до последнего есть каждый день хотят!.. — восклицал Родион Антоныч, ломая в отчаянии руки. — А тут еще нужно кормить двадцать пять лошадей и целую свору собак... Извольте радоваться. Ох-хо-хо!..

X

Прошел май, а барин все не ехал.

В господском доме стояла страшная и томительная скука, какая овладевает человеком перед грозой. Даже самые трусливые, в том числе Родион Антоныч, настолько были утомлены этим тянувшим душу чувством, что, кажется, уже ничего не боялись и желали только одного, чтобы все это поскорее разрешилось в ту или другую сторону. Братковский держался попрежнему и чувствовал себя как рыба в воде; музыканты, егеря, кухня и наездники пьянствовали напропалую, не обращая никакого внимания на кислые гримасы Родиона Антоныча, оплакивавшего каждую бутылку водки.

Когда все таким образом привыкли к своему положению и даже начали говорить, что все равно — двух смертей не бывать, а одной не миновать, из Петербурга от Прохора Сазоныча прилетела, наконец, давно ожидаемая телеграмма, гласившая: «Сегодня Лаптев выез-

жает с Прейном и Блиновым. Заводных приготовьте пятнадцать троек».

— Ну, началось! — простонал Родион Антоныч, чувствуя, как у него подгибаются колени со страху.

— Пятнадцать троек! — думала вслух Раиса Павловна, перечитывая телеграмму. — Это целая орда сюда валит. От Петербурга до Москвы сутки, от Москвы до Нижнего сутки, от Нижнего до Казани — двое, от Казани по Волге, потом по Каме и по Белой — трое суток... Итого, неделя ровно. Да от Белой до Кукарского завода двести тридцать верст — тоже сутки. Через восемь дней, следовательно, все будут здесь. Слышите, Родион Антоныч?

— Ох, слышу, все слышу...

— У вас все будет готово?

— Все, все... Не знаю, как на других заводах, а у нас все...

— Да нам до других заводов дела нет: там свои управители есть, и пусть отдуваются. Да Лаптев едва ли и поедет от нас... Нам придется за всех здесь муку принимать.

— Точно так-с. Майзель уж собрал лесообъездчиков со всех сторон и мундиры им заказал... Около Куржака медвежью берлогу отыскали, матерая медведица с двумя медвежатами ходит. Под Заозерным оленей сказывают.

— Значит, отлично на первый раз. А как театр?

— Это уж Сарматов орудует...

— Главное: костюмы... понимаете? У Наташи Шестеркиной плечи хорошие, ну, ее декольтируем, а Канунникову в русском сарафане покажем. Я за этим сама наблюду.

— Вот я хотел вам сказать, Раиса Павловна, насчет Лукерьи Витальевны... Барышня совсем заневестилась и по всем статьям вышла. Вот бы показать на сцене-то.

— Молода еще она для сцены, сробеет... — уклончиво ответила Раиса Павловна, что-то обдумывая про себя.

— И даже нисколько не сробеют... Я их как-то видел: так и наливаются, вроде как малина! Ей-богу!

— Ну, это уж мое дело. Пусть ее наливается, а для сцены она не годится: совсем еще девчонка девчонкой... Плечи узенькие, тут (Раиса Павловна сделала выразительный жест рукой) ничего нет.

— Ватки бы подложить да пажиком бы и показать. Хе-хе. Они точно что из себя субтильные, а может это и нужно будет. Господская душа — потемки, сударыня. Ах, все я вам забываю доложить, — понизив тон, продолжал Родион Антоныч, — родитель-то Гликерии Витальевны...

— Запил?

— Даже весьма. Точно назло: все стараются, всякий по своей части из кожи лезут, а он мертвую закладывает. Приступа даже нет... А вдруг Евгений Константиныч захотят заводские школы осмотреть? «Где инспектор?» А у них даже костюма подходящего нет...

— Костюм нужно сшить, да приставьте к нему садовника Абрама, чтобы день и ночь караулил. Да еще не забудьте сказать доктору, чтобы прописал чего-нибудь: хлорала или нашатырного спирта.

— Слушаю-с.

Родион Антоныч хотел уходить, но вернулся и конфиденциально сообщил:

— А Вершинин-то, Раиса Павловна, с Тетюевым да с Майзелем хотят контру устроить Платону Васильичу... И Сарматов с Дымцевичем туда же.

— Подлецы! Ах, да все они на одну колодку выкроены. Тетюева видели? Доволен?..

— Издальки видел... Веселый такой едет на новой лошади. Серая, в яблоках...

— Ну, и пусть его повеселится, а вы тоже не печальтесь.

— Я, Раиса Павловна, не печалюсь: двух смертей не бывать...

— То-то и есть. Гусей по осени считают, и хорошо только то, что хорошо кончается... Так?

Восемь дней, оставшиеся до приезда Лаптева, промелькнули незаметно в общей, теперь уже бесцельной суматохе, какая овладевает людьми в таких исключительных случаях. Наконец, наступил и роковой восьмой день. С раннего утра весь завод был на ногах. По ули-

цам бродили праздные кучки любопытных, а на площади, перед зданием заводоуправления и особенно около господского дома, народ стоял стена-стеной, несмотря на отчаянные усилия станового и нескольких полицейских водворить порядок в этом галдевшем живом море. Мастеровые в новых зипунах и армяках, старики с палками, бабы в пестрых платках, босоногие ребятишки — все слилось в одну массу, которая приготовилась простоять здесь до самого вечера, чтобы хотя одним глазком взглянуть на барина. Загорелые, обожженные в огненной работе лица заводских рабочих выглядели сегодня празднично, с тем довольным выражением, с каким смотрит отдыхающий человек. Бабы трещали, как сороки, пощелкивая кедровые орехи; ребятишки совались меж ног, толкали всех и, как воробьи, рассыпались в мгновение ока при первом грозном слове какого-нибудь сердитого старика, с благоговением глядевшего в окна барского дома. Общее настроение толпы было самое торжественное. Ведь барин являлся чем-то вроде стихийной силы, которая слепо осыпает своими милостями и невзгодами; барин служил олицетворением возможного на земле могущества. Мужицкая фантазия терялась в перечислении всех необходимых атрибутов такого барина, каким был Лаптев. Он все может сделать, что захочет; казне нет счету, земле — конца-краю, и т. д.

Для человека нового эта пятитысячная толпа представлялась такой же однообразной массой, как трава в лесу, но опытный взгляд сразу определял видовые группы, на какие она распадалась естественным образом.

Основание составляли собственно фабричные рабочие, которых легко было отличить от других по запеченным, неестественно красным лицам, вытянутым, сутуловатым фигурам и той заводской саже, которой вся кожа пропитывается, кажется, навеки. Тут были простые поденщики, чернoделы и рабочая аристократия. Все эти люди, изо дня в день тянувшие каторжную заводскую работу, которую бойкий заводский человек недаром окрестил огненной, теперь слились в одно общее желание взглянуть на барина, для которого они жарились у

горнов, ворочали клещами раскаленные двенадцатипудовые крицы, вымогались над такой работой, от которой пестрядевые рубахи, после двух смен, вставали от потовой соли коробом. Фабрика рядом поколений выработала совершенно особый тип заводского фабричного, который в состоянии вынести нечеловеческий труд. Эти жилистые, могучие руки, эти красные затылки, согнутые спины и крепкая, уверенная поступь были точно созданы для заводской работы. Каждая фигура была сколочена из одних костей и мускулов и дышала чисто заводской силой. На первый раз могло поразить то, что самые здоровые субъекты отличались худобой, но это и есть признак мускульной, ничем не сокрушимой силы. Как рядовой солдатик-пехотинец, так и заводский мастеровой страдают жировым перерождением только в исключительных случаях. Красные рубахи, накинутые на плечи чекмени и лихо надвинутые на одно ухо войлочные шляпы придавали фабричным рабочим вид записных щеголей, которые умеют поставить последнюю копейку ребром.

Полным контрастом с заводскими мастеровыми являлись желтые рудниковые рабочие, которые «робили в горе». Изнуренные лица, вялые движения и общий убитый вид сразу выделял их из общей массы, точно они сейчас только были откопаны откуда-то из-под земли и не успели еще отмыть прильнувшей к телу и платью желтой вязкой глины. Работа «в горе», на глубине восьмидесяти сажен, по всей справедливости может назваться каторжной, чем она и была в крепостное время, превратившись после эмансипации в «вольный крестьянский труд». Конечно, «в гору» толкала этих желтых, выцветших людей самая горькая нужда, потому что там платили дороже, чем на других работах. Стоило только раз попасть рабочему в медный рудник, чтобы на веки вечные обречь следующие поколения на эту же работу. Это объясняется очень просто: молодых, здоровых рабочих толкает «в гору» возможность больших заработков, но самый сильный человек «израбливается» под землей в десять — двенадцать лет, так что поступает на содержание к своим детям в тридцать пять лет. Таким образом, детям рудниковых рабочих прихо-

дится слишком рано содержать не только самих себя и свои семьи, но и семью отца, а такой заработок может дать только одна «гора». Получается роковой круг, из которого вырваться могут только счастливцы: рудниковый рабочий органически связан со своей «горой», как устрица со своей раковиной. Вообще трудно сказать, что труднее — работать в «горе» или в огненной работе, но и те и другие рабочие являются настоящими гномами нашего «века огня и железа».

Между этими основными группами толкались черномазые углежоги, приехавшие поглядеть барина из дальних лесных деревень, «транспортные», прозванные за свою отчаянность «соловьями», и всякий другой рабочий люд, не имевший определенной специальности или менявший ее с каждым годом. Сюда же прибрели самые древние старики, вытянувшиеся еще на крепостном праве. Достаточно было взглянуть на эти согнутые в дугу спины, подгибавшиеся колени и дрожавшие корявые руки, чтобы сразу узнать бывших огненных и рудниковых рабочих. Они чинно держались в стороне от молодых рабочих, большинство было с длинными черемуховыми палками. Около них вертелись босоногие ребятишки, особенно те, которые еще не успели отведать заводской работы. И слабые детские руки тоже принимали участие в гигантской заводской работе, с десяти лет помогая семьям своим гривенником поденщины.

— Одначе долго-таки барин не едет! — говорил какой-то седой старик, поглядывая в окна господского дома. — Пора бы! с которого времени дожидаем...

— Уехали, слышь, встречать на Половинку: Платон Васильич с управителями, Родивон Антоныч, Николай Карлыч... На пяти тройках угнали, а лесообъездчики — на вершных. Так запалили, что страсть...

Когда вдали, по Студеной улице, по которой должен был проехать барин, показывалась какая-нибудь черная точка, толпа глухо начинала волноваться и везде слышались возгласы: «Барин едет!.. Барин едет... Вот он!..» Бывалые старики, которые еще помнили, как наезжал старый барин, только посмеивались в седые бороды и приговаривали:

— Он и есть, барин! Как есть, дураки! Разве барин так тебе и поехал! Перво-наперво пригонят загонщики, потом в колокола ударят по церквам, а уж потом и барин, с фалетуром, на пятерке. А то: барин! Только вот Тетюева не стало, некому принять барина по-настоящему. Нынче уж что! только будто название, что главный управляющий!

— Ноне народ вольный, дедушка, — заметил кто-то из толпы мастеровых. — Это допрежь того боялись барина пуще огня, а ноне что нам барин: поглядим — и вся тут. Управитель да надзиратель нашему брату куда хуже барина!

— Сравнял... Эх, вы-ы!.. Мало вас драли, вот и брешете. Кабы жив был старик Тетюев, да...

— Это ты верно говоришь, дедушка, — вступился какой-то прасол. — Все барином кормимся, все у него за спиной сидим, как тараканы за печкой. Стоит ему сказать единое слово — и кончено: все по миру пойдем... Уж это верно! Вот взять хошь нас! живем своей торговой частью, барин для нас тьфу, кажется, а разобрать, так... Одно слово: барин!.. И пословица такая говорится: из барина пух — из мужика дух.

— Уж это что говорить, знамо дело, что все барином дышим, — согласился за всех кто-то в толпе.

Во двор господского дома пускались только избранные: депутации от всех волостей, заслуженные мастеровые в дареных господских кафтанах, обшитых позументом, служащие, рыженький священник с причтом и т. д. В передней с раннего утра топталась степенная группа стариков. Это были коноводы той партии общественников, которые тягались с Родионом Антонычем из-за уставной грамоты. Теперь они пришли в господский дом с новой надеждой, что с приездом барина, наконец, уладится и их дело. В уверенном выражении этих серьезных лиц сказывалась непоколебимая вера в правоту своего дела и твердое желание послужить миру до последнего. Ведь барин сейчас приедет, все увидит, все разберет и все устроит.

— Что, старички? жалобу принесли барину? — спрашивала Раиса Павловна, проходя по передней.

— А уж что бог даст, Раиса Павловна. Мы ведь из вашей господской воли не выходим, только нам наше бы добыть.

— Напрасно вы с своими пустяками Евгения Константиныча хотите беспокоить, старички!

— Уж это как господь ему на душу положит.

В приемных комнатах господского дома в выжидательном молчании сидели старшие служащие. В громадной зале был сервирован стол для обеда, а на хорах гудела разноязычная толпа приезжих музыкантов, приготовившихся встретить гостей торжественным тушем.

Среди общего молчания раздавались только шаги Анниньки и m-lle Эммы: девицы, обнявшись, уныло бродили из комнаты в комнату, нервно оправляя на своих парадных шелковых платьях бантики и ленточки. Раиса Павловна сама устраивала им костюмы и, как всегда, осталась очень недовольна m-lle Эммой. Аннинька была хороша — и своей стройной фигуркой, и интересной бледностью, и лихорадочно горевшими глазами, и чайной розой, небрежно заколотой в темных, гладко зачесанных волосах.

XI

На фабрике часы пробили двенадцать, час, два, а барин все не ехал. Толпы все прибывали, заполнив морем голов всю площадь перед зданием заводоуправления и вытянувшись в длинный шевелившийся хвост мимо господского дома вдоль всей Студеной улицы. Чтобы как-нибудь не прозевать барина, большинство поступилось даже обедом. В господском доме выжидательное настроение давно уже отразилось в усталом выражении всех глаз, в побледневших лицах и в том особенном нервном состоянии, от которого у всех пересохло во рту. Раиса Павловна не знала, как ей убить мучительно тянувшееся время. Она нервно переходила из одной комнаты в другую, осматривала в сотый раз, все ли готово, и с тупым выражением лица останавливалась у окна, стараясь не глядеть в дальний конец Студеной улицы.

— Этот Платон Васильич больше, чем идиот, — говорила она Анниньке. — Ну что ему стоило послать из Половинки какого-нибудь лесообъездчика?.. Наконец, Родион Антоныч чего смотрит! Это можно с ума сойти!

— Раиса Павловна! — перебила эту горячую реплику появившаяся в дверях m-lle Эмма, — там... пришел Виталий Кузьмич...

— Ох, боже мой! Этого только еще недоставало! и, конечно, пьян?

— Да... сильно пошатывается.

— Что ему нужно? Скажи кому-нибудь, чтобы его прибрали подальше от глаз...

В этот момент толпа на улице глухо загудела, точно по живой человеческой ниве гулкой волной прокатилась волна. «Едет!.. Едет!..» — поднялось в воздухе, и Студеная улица зашевелилась от начала до конца, пропуская двух верховых, скакавших к господскому дому на взмыленных лошадях во весь опор. Это и были давно ожидаемые всеми загонщики, молодые крестьянские парни в красных кумачных рубахах.

— Сейчас выезжает с Половинки... — кричали они, спешиваясь у крыльца господского дома.

Не успели загонщики «отлепортовать» по порядку слушавшему их служащему, как дальний конец Студеной улицы точно дрогнул, и в воздухе рассеянной звуковой волной поднялось тысячеголосое ура. Но это был еще не барин, а только вихрем катилась кибитка Родиона Антоныча, который, без шляпы, потный и покрытый пылью, отчаянно махал обеими руками, выкрикивая охрипшим голосом:

— Тише!.. Ах, б-божже мой!.. Чертоломы вы этакие! чего напрасно глотку дерете?! Чему обрадовались?

— Ну? — спрашивала Раиса Павловна, выбегая навстречу к Сахарову.

— Ох, беда! Сорок лошадей загнали на восьми станциях... Семнадцать троек бежит... Видел *самого* и к ручке приложился! — высыпал Родион Антоныч привезенные новости.

— Да что вы так долго там, на Половинке, сидели?

— Чай пили...

— Отчего же вы меня не известили? Мы тут голову совсем потеряли, а они там чай распивают.

— Не мы, а *сам* чай пил.

— Так бы и послали сказать. А *ту* видели?

Родион Антоныч только махнул рукой и побежал в переднюю, где сейчас же накинулся на депутацию с хлебом-солью:

— В церковь ступайте... все в церковь!.. Да чтобы звонили, во вся звонили, как только покажется пыль на дороге.

Точно в ответ на эти слова на пяти заводских церквах загудели все колокола, и Родион Антоныч торопливо начал креститься. Через минуту он уже подымался на паперть главной церкви, которая стояла посреди базарной площади. Там уже ждало духовенство во всем облачении, и народ набожно снял шапки. Выстроив депутацию с хлебом-солью у паперти, Родион Антоныч, заслонив рукой глаза от солнца, впился в дальний конец Студеной улицы, по которой теперь, заливаясь колокольчиками, вихрем мчалась исправничья тройка с двумя казаками назади. За ней во весь карьер летел открытый дорожный дормез, заложенный пятеркой. В воздухе катилась целая буря отчаянных звуков, нараставших и увеличивавшихся с каждым шагом вперед, как катившийся под гору снежный ком. Когда дормез подъезжал к церкви, вся Студеная улица и площадь представляли собой настоящее море, которое кипело и бурлило каждым своим атомом. Гул колоколов и дружный крик тысяч людей слились в один протяжный стон. Общее внимание было приковано к катившемуся дормезу, в котором сидели трое в белых летних костюмах. Один из них время от времени снимал какую-то пеструю шапочку без козырька и раскланивался на обе стороны.

— Вотан, барин-от... Уррра-а-а-а!... — неистово орал какой-то мастеровой, в порыве энтузиазма хватаясь за колесо останавливавшегося экипажа.

— Голубчик ты наш! родименький! — подвывали в толпе бабы, вытягиваясь на носочки.

Дормез остановился перед церковью, и к нему торопливо подбежал молодцеватый становой с несколь-

кими казаками, в пылу усердия делая под козырек. С заднего сиденья нерешительно поднялся полный, среднего роста молодой человек, в пестром шотландском костюме. На вид ему было лет тридцать; большие серые глаза, с полузакрытыми веками, смотрели усталым, неподвижным взглядом. Его правильное лицо с орлиным носом и белокурыми кудрявыми волосами много теряло от какой-то обрюзгшей полноты.

— И к чему вся эта дурацкая церемония, генерал? — лениво по-французски протянул молодой человек, оглядываясь с подножки экипажа на седого старика с строгим лицом.

— Нельзя, Евгений Константиныч, такой обычай! — по-французски ответил старик, поднимаясь с места.

Шотландский костюм барина сначала немного смутил восторженную публику, но потом все решили, что, вероятно, так нужно, потому барин — значит, закон ему не писан. Баб ужасно заинтересовала клетчатая пестрая юбочка, а мужиков — отсутствие штанов. Пестрый плед, пестрая шапочка, с длинными лентами на затылке, и чулки на ногах тоже были, конечно, подвергнуты самой строгой критике и тоже получили свое объяснение: барин. Только голые колени барина немного смутили самых смелых, потому что решительно не находилось для них никакого подходящего извиняющего мотива. Зато генерал своей внушительной высокой фигурой и сердитыми седыми усами произвел на окружающих самое хорошее впечатление: настоящий генерал, хотя и штатский. Его длинное лицо, с резкими, точно обрубленными линиями, отдавало солдатской выправкой; только небольшие темные глаза смотрели добрым и открытым взглядом. Дорожный простой костюм старика и мягкая пуховая шляпа представляла рядом с пестротой шотландского костюма приятный контраст.

— Что же мне теперь делать? — с капризными нотками в голосе спрашивал Лаптев, когда генерал вышел из экипажа.

— Ничего больше, как только подняться на колокольню и оттуда раскланяться с народом, — отозвался

из экипажа сухонький подвижной господин неопределенных лет.

— Ах, мне не до шуток, Прейн! — усталым голосом проговорил Лаптев.

Сухощавое лицо Прейна с щурившимися бесцветными глазами и тонкими морщинами около породистого горбатого носа улыбнулось беспечной и вместе уверенной улыбкой. Небольшого роста, с сильной грудью и тоненькими ножками, Прейн походил на жокея в отставке или наездника из цирка. Слишком нервная натура сказывалась в каждом движении, особенно в игре личных мускулов и улыбающемся, пристальном взгляде. И одет Прейн был как жокей: коротенькая синяя куртка, лакированные сапоги, белые штаны, шляпа-котелок на голове. Его маленькая, тощая фигурка рядом с массивной, представительной фигурой генерала казалась особенно жалкой. Этот подвижный, юркий человек обладал неистощимым запасом какого-то бесшабашного веселья и так же весело и беззаботно острил, когда отправлялся на дуэль, как и сидя за стаканом вина.

Когда Лаптев, в сопровождении Блинова и Прейна, поднимался на церковную паперть, к церкви успели подъехать три следующих экипажа, из которых торопливо повыскакивали Горемыкин, Майзель, Вершинин и двое еще не известных лиц. Они рысцой вбежали на паперть, где теперь Лаптев, сняв свою шотландскую шапочку, прикладывался к кресту. Сахаров первым успел просунуть свою коротко остриженную голову и торопливо приложился к барской ручке, подавая пример стоявшим с хлебом-солью депутатам, мастеровым в дареных синих кафтанах и старым служащим еще крепостной выправки. Осанистый старик священник с окладистой седой бородой достал из-под ризы бумажку и хотел по ней прочесть приветственное пастырское слово, но голос у него дрогнул на первых строках, и он только бессвязно пробормотал какой-то текст из священного писания.

— Пожалуйста, увезите меня отсюда скорее! — взмолился Лаптев, когда на него со всех сторон посыпались рабьи поцелуи; кто-то в пылу энтузиазма

целовал даже его голое колено. — Это какие-то сумасшедшие!

Выбраться из толпы, которая была слишком наэлектризована этой торжественной минутой, было не так-то легко, и только при помощи казаков и личном усердии станового и исправника Лаптева, наконец, освободили от сыпавшихся на него со всех сторон знаков участия. Пришлось пробираться до экипажа через живую стену.

— Евгений Константиныч, куда же это вы? — кричал по-французски Блинов, стараясь пробиться через толпу, которая отделяла его от Лаптева. — Сейчас будет молебен, Евгений Константиныч...

— Оставьте его! — ответил Прейн из экипажа, в который он залез через облучок. — После отслужим... Валяйте, генерал, по моему примеру, через облучок: все дороги ведут в Рим.

У коляски Лаптева ожидало новое испытание. По мановению руки Родиона Антоныча десятка два катальных и доменных рабочих живо отпрягли лошадей и потащили тяжелый дорожный экипаж на себе. Толпа неистово ревела, сотни рук тянулись к экипажу, мелькали вспотевшие красные лица, раскрытые рты и осовевшие от умиления глаза.

— Что же это такое, наконец? — уже сердито обратился Лаптев к Прейну.

Прейн только пожал плечами и сквозь зубы проговорил:

— Пусть их везут, если им это доставляет удовольствие.

— Да я этого не хочу!.. Я лучше пойду пешком.

— Сейчас доедем, Евгений Константиныч, — успокаивал генерал. — Вон, кажется, и господский дом, если не ошибаюсь...

— Да, да... — подтверждал Прейн, — всего несколько шагов...

— Мне остается только поблагодарить вас, генерал, за этот даровой спектакль, — с иронией заметил Лаптев.

— Что делать! нужно потерпеть, Евгений Константиныч! Имейте терпение.

— Стоит для этого тащиться из Петербурга в такую даль.

Когда торжественная процессия приблизилась к господскому дому, окна которого и балкон были драпированы коврами и красным сукном, навстречу показалась депутация с хлебом-солью от всех заводов. Старик, с пожелтевшей от старости бородой, поднес большой каравай на серебряном блюде.

— Примите блюдо и поблагодарите, — шепнул Блинов смутившемуся заводовладельцу.

— Благодарю, господа... Я... очень доволен, хотя, право, это совсем лишнее, — развязно заговорил Лаптев, принимая блюдо от старика.

Чтобы предупредить давешнюю сцену народного энтузиазма, проход от экипажа до подъезда был оцеплен стеной из казаков и лесообъездчиков, так что вся компания благополучно добралась до залы, где была встречена служащими и громким тушем. Лаптев рассеянно поклонился служащим, которые встретили его также хлебом-солью и речью, и спросил, обратившись к Прейну:

— Вы заметили второе окно направо?

— О да... премилое личико! Вероятно, какая-нибудь интересная провинциалочка. Вам не мешает переодеться после дороги...

Прейн провел Лаптева в его уборную, где уже ждал англичанин-камердинер, m-r Чарльз. Лаптев точно обрадовался и даже осведомился, благополучно ли m-r Чарльз сделал последнюю станцию, причем детски-капризным голосом начал жаловаться на страшную усталость и на те церемонии, какими его сейчас только угостили. M-r Чарльз выслушал своего повелителя с почтительным достоинством, как и следует слуге высшей школы. Его упитанная, выхоленная фигура, красивое, бесстрастное лицо, безукоризненные манеры, костюм, прическа, произношение, ногти на руках — все было проникнуто одним сплошным достоинством, которому не было границ. Когда м-r Чарльз гулял для моциона пред обедом, его можно было принять за министра в отставке. Недаром один остряк сказал про Лаптева, что он уважает в свете только одного

человека — m-r Чарльза. Этот отзыв был близок к истине.

— Не угодно ли вам выбрать костюм для завтрака? — проговорил m-r Чарльз, предлагая вниманию своего повелителя две дюжины панталон, таковое же количество жилетов, визиток, галстуков и сорочек.

Лаптев ежедневно переодевался minimum четыре раза и теперь переменил свой шотландский костюм на светлосерую летнюю пару из какой-то мудреной индийской материи. M-r Чарльз, конечно, не надел бы такого костюма для парадного завтрака, но величественно и с достоинством промолчал.

XII

Пока совершался торжественный проезд Лаптева от церкви до господского дома, в этом последнем нервное напряжение достигло до последней степени. Раиса Павловна чувствовала, как у ней похолодели пальцы, а в висках стучала кровь. В своем шелковом кофейном платье, с высоко взбитыми волосами на голове, она походила на театральную королеву, которая готовится из-за кулис выйти на сцену с заученным монологом на губах. Анninька, m-lle Эмма и Прасковья Семеновна выглядывали на улицу из-за оконных драпировок, а Раиса Павловна стояла у окна вместе с Лушей, одетой в свое единственное нарядное платье из чечунчи. «Галки» с лихорадочным нетерпением переживали все перипетии развертывавшейся пред их глазами комедии. Анninька во всей этой суматохе видела только одного человека, и этот человек был, конечно, Гуго Братковский; m-lle Эмма волновалась по другой причине — она с сердитым лицом ждала того человека, которого ненавидела и презирала. Прасковья Семеновна смотрела вдоль Студеной улицы со слезами на глазах, точно сегодняшний день должен был окончательно разрешить ее долголетние ожидания. Теперь уж ждала не одна она, а все ждали — и Раиса Павловна, и m-lle Эмма, и Анninька. Раиса Павловна внимательно наблюдала Лушу и любовалась ею. Разве эта девушка нуждалась в бархате, кружевах и остальной мишуре, когда природа наделила

ее с такой несправедливой щедростью? В порыве чувства Раиса Павловна тихонько поцеловала Лушу в шею и сама покраснела за свою институтскую нежность, чувствуя, что Луше совсем не нравятся проявления чувства в такой форме.

Волна оглушительных криков, когда поезд с барином двинулся от церкви, захлестнула и во второй этаж господского дома, где все встрепенулось, точно по Студеной улице ползло тысячеголовое чудовище. Луша смотрела на двигавшуюся по улице процессию с потемневшими глазами; на нее напало какое-то оцепенелое состояние, так что она не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Вот и дормез, который катился по улице точно сам собой... Мелькнула шапочка Лаптева, его волнистые белокурые волосы; Прейн весело раскланялся с Раисой Павловной и, прищурившись, пристально взглянул на Лушу. Луше показалось, что и Лаптев тоже смотрит на нее, и она инстинктивно отскочила от окна в глубину комнаты.

— Приехал! приехал! — восторженно шептала Прасковья Семеновна, не утирая слез, катившихся у нее по щекам.

Пока Лаптев принимал хлеб-соль, к господскому дому подъезжала одна тройка за другой. Из экипажей выходил всевозможный человеческий сброд, ютившийся вокруг Лаптева: два собственных секретаря Евгения Константиныча, молодые люди, очень смахивавшие на сеттеров; корреспондент Перекрестов, попавший в свиту Лаптева в качестве представителя русской прессы, какой-то прогоревший сановник Летучий, фигурировавший в роли застольного забавника и складочного места скабрезных анекдотов, и т. д. Большинство составляло какие-то темные, потертые личности в отличных дорожных костюмах; кто они и что — вероятно, не открыть никаким химическим анализом, никаким самым тщательным микроскопическим исследованием. Эти господа смотрели свысока на всех, презрительно пожимали плечами и лениво перебрасывались шаблонными французскими фразами. Раиса Павловна достаточно насмотрелась на своем веку на эту человеческую мякину,

которой обрастает всякое известное имя, особенно богатое, русское, барское имя, и поэтому пропускала этих бесцветных людей без внимания; она что-то отыскивала глазами и, наконец, толкнув Лушу под руку, прошептала:

— Вот *она,* Луша...

— Кто?

— Да та каналья, которая едет с генералом в качестве его... ну, его метрессы.

Раиса Павловна в бинокль пристально рассматривала толстую, безобразную, небольшого роста даму, которая сидела в дорожной коляске генерала.

— Это какой-то орангутанг! — пропищала Анниныка, сдержанно хихикая. — Эммочка, голубчик! посмотри... Настоящая обезьяна в мешке!

— Жеваная котлетка... — коротко проговорила m-lle Эмма, лорнируя незнакомку. — Точно сейчас вынутый из банки со спиртом урод!

— Удивляюсь! — медленно протянула Раиса Павловна, поднимая кверху свои жирные плечи.

Галки тоже подняли свои плечи и удивились неприхотливому вкусу генерала Блинова. Суд был короток, и едва ли какой другой человеческий суд вынес бы такой строгий вердикт, как суд этих женщин.

Коляска генерала проследовала к генеральскому флигельку, где Нину Леонтьевну встретил пан Братковский, улыбавшийся и державший почтительно свою соломенную шляпу в руках.

— Настоящая чугунная болванка! — проговорила m-lle Эмма, когда Нина Леонтьевна вкатилась своей почти квадратной тушей в недра генеральского флигелька.

— Удивляюсь! — еще раз протянула Раиса Павловна и улыбнулась уничтожающей улыбкой, какая убивает репутацию человека, как удар гильотинного ножа.

— Видели? — сдержанным шепотом спрашивал Родион Антоныч, точно вынырнувший около Раисы Павловны из-под земли.

— Да, да... Поздравляю с находкой!.. Это какое-то гороховое чучело... монстр! Удивляюсь!!. А что Евгений Константиныч?

— Изволят одеваться, Раиса Павловна. Просто чистая беда... Отец Аристарх давеча хотел сказать приветственное слово и со страху только бородкой трясет... Ей-богу!.. А народ что делает! Видели, как лесообъездчики катили дормез-то! Как быки, так и прут!

— Что вы тут толчетесь? — оборвала его болтовню Раиса Павловна. — Посмотрите, все ли готово в столовой.

— Смотрел, все смотрел. Готово все-с. Только Евгений Константиныч выйдут из уборной, сейчас я вам прибегу сказать.

— Хорошо, хорошо... Mademoiselle Эмма, у вас пуговка у лифа расстегнулась. Анниныка, поправьте галстучек... А ты куда, Луша?

— Я домой, Раиса Павловна.

Раиса Павловна торопливо поцеловала свою фаворитку и отпустила ее восвояси. Луша, пошатываясь, вышла из комнаты, прошла через веранду и в каком-то тумане побрела к своему нищенскому углу. Глаза у ней горели, грудь тяжело поднималась, в горле стояли слезы. Никогда еще девушка не чувствовала себя такой жалкой и ничтожной, как в этот момент, и от бессильной злобы в клочки рвала какую-то несчастную оборку на своем платье. А июньское солнце светило таким благодатным светом, обливая дрожавшим и переливавшимся золотом деревья, траву, цветы и ряды волн, плескавшихся о каменистый берег. Ничего этого не видела Луша, придавленная и уничтоженная своей нищетой.

Раиса Павловна тревожно поглядывала на часы, считая минуты, когда ей нужно будет идти в столовую в качестве хозяйки и вывести за собой галок, как необходимый элемент, в видах оживления предстоящей трапезы. Прасковья Семеновна в счет не шла.

— Раиса Павловна! — прошептала Анниныка, показывая глазами на то окно, из которого можно было видеть генеральский флигелек.

Изумленным глазам Раисы Павловны представилась такая картина: Гуго Братковский вел Нину Леонтьевну под руку прямо к парадному крыльцу. «Это еще что за комедия?» — тревожно подумала Раиса Павловна, едва успев заметить, что чугунная болванка была одета с восточной пестротой.

— Прошли в господский дом... — как эхо повторила Анинька мысли своей патронши. — Вероятно, это чучело ошиблось подъездом.

Когда через пять минут в комнату вбежал встревоженный и бледный Родион Антоныч, дело разъяснилось вполне, с самой беспощадной ясностью для всех действующих лиц.

— Раиса Павловна! Раиса Павловна! — задыхаясь, шептал верный слуга. — *Она... та,* которая приехала с генералом, теперь в столовой и... и... всем распоряжается. Да, своими глазами видел!

— Не может быть, вы ошиблись? — заметила Раиса Павловна, выпрямляясь во весь рост.

— Нет, Раиса Павловна... Я слышал, как *она* сказала генералу, что желает быть здесь полной хозяйкой и никому не позволит угощать Евгения Константиныча обедом. Генерал ее начал было усовещивать, что настоящая хозяйка здесь вы, а она так посмотрела на генерала, что тот только махнул рукой.

В голове Раисы Павловны от этих слов все пошло кругом; она бессильно опустилась на ближайшее кресло и только проговорила одно слово: «Воды!» Удар был нанесен так верно и так неожиданно, что на несколько мгновений эта решительная и энергичная женщина совсем потерялась. Когда после нескольких глотков воды она немного пришла в себя, то едва могла сказать Родиону Антонычу:

— Передайте Прейну и Платону Васильичу, что я извиняюсь пред Евгением Константинычем, что не могу сегодня, по болезни, занять за столом свое место хозяйки дома...

Галки окружили Раису Павловну, как умирающую. Аннинька натирала ей виски одеколоном, m-lle Эмма в одной руке держала стакан с водой, а другой тыкала ей прямо в нос каким-то флаконом. У Родиона

Антоныча захолонуло на душе от этой сцены; схватившись за голову, он выбежал из комнаты и рысцой отправился отыскивать Прейна и Платона Васильевича, чтобы в точности передать им последний завет Раисы Павловны, которая теперь в его глазах являлась чем-то вроде разбитой фарфоровой чашки.

В столовой, где был сервирован обед, Родион Антоныч увидел Нину Леонтьевну, окруженную обществом милых бесцветных людей, ходивших за ней хвостом. Тут же толклись корреспондент Перекрестов и прогоревший сановник Летучий, ходившие по столовой под ручку и уже давно нюхавшие воздух.

— Когда я был в Сингапуре, нас капитан угостил однажды китайской рыбой...— повествовал Перекрестов, жидкий и вихлястый молодой человек, с изношенной, нахальной физиономией, мочальной бороденкой и гнусавым, как у кастрата, голосом.

Летучий был не лучше, хотя и в другом роде. Это был седой приличный субъект, с слезившимися голыми глазами старого развратника и плотоядной улыбкой на сморщенных, точно выжатых губах; везде, где только можно, у него блестело массивное золото без пробы и фальшивая бриллиантовая булавка в галстуке. Говорил он хриповатым баском и постоянно потирал свои большие руки, затянутые в безукоризненно-свежие лайковые перчатки. Когда-то Летучий был сановником, попечениям которого был вверен целый край, но колесо фортуны повернулось, и он очутился в приживалках у Лаптева, которого утешал своими анекдотами «из детской жизни». Перекрестов, рядом с этим вымирающим типом помпадурства, являлся настоящим homo novus; в качестве представителя русской прессы он не только из конца в конец обрыскал свое отечество, но исколесил Европу и даже сделал несколько кругосветных путешествий. Его гений не знал меры и границ: в Америке на всемирной выставке он защищал интересы русской промышленности, в последнюю испанскую войну ездил к Дон-Карлосу с какими-то дипломатическими представлениями, в Англии «поднимал русский рубль», в Черногории являлся борцом за славянское дело, в Китае защищал русские интересы и т. д. Единственным

плодом от этой кипучей деятельности остались только захватывающие воспоминания о том, что и как он, Перекрестов, ел в Яффе, в Сан-Франциско, в Шанхае, в Кадиксе, в Бостоне, в Каире, Биаррице, Ментоне, на острове Уайте и т. д. На Урал Перекрестов явился почти делегатом от горнопромышленных и биржевых тузов, чтобы «нащупать почву» и в течение двух недель «изучить русское горное дело», о котором он будет реферировать в разных ученых обществах, печатать трескучие фельетоны и входить с докладными записками в каждую официальную щель и в каждую промышленную дыру.

Среди этого сомнительного общества сомнительных людей Нина Леонтьевна являлась настоящим перлом. Небольшого роста, с расплывшимся бюстом, с короткими жирными руками и мясистым круглым лицом, она была безобразна, как ведьма, но в этом лице сохранились два голубых крошечных глаза, смотревших насквозь умным, веселым взглядом, и характерная саркастическая улыбка, открывавшая два ряда фальшивых зубов. В каком-то невозможном голубом платье, с огненными и оранжевыми бантами, она походила на аляповатую детскую игрушку, которой только для проформы проковыряли иголкой глаза и рот, а руки и все остальное набили паклей.

— Послушай, Нина, сейчас Прейн передал мне, что Раиса Павловна хочет сказаться больной, — говорил нерешительно генерал, покручивая усы. — Это выйдет очень неловко... Горемыкина — хозяйка в этом доме, и не пригласить ее просто неделикатно.

— Ты ошибаешься, — с тонкой улыбкой ответила Нина Леонтьевна, — предоставь это, пожалуйста, мне... Необходимо сразу показать ей, где ее настоящее место. К чему разводить эти никому не нужные нежности? Я такая же хозяйка здесь, и ты можешь выбирать между мной и ей...

— Ты забываешь, Нина, как к этому отнесется Прейн.

— О, это не ваша забота, Мирон Геннадич... Не лучше ли вам позаботиться о том, что Евгению Кон-

стантиновичу пора показаться к народу, который просто неистовствует на улице.

Действительно, под окнами господского дома время от времени точно закипала волна буруна, и в воздухе дымом поднимался тысячеголосый крик. Генерал только пожал плечами и направился в уборную. Теперь в приемных комнатах оставалась только приехавшая с Лаптевым челядь да избранники в лице заводских управителей. Вершинин, Майзель, Буйко, Дымцевич, Сарматов, доктор Кормилицын, Платон Васильевич и еще несколько человек заслуженных стариков сбились в одну плотную кучу и терпеливо выжидали, когда, наконец, покажется Евгений Константиныч. Малый двор чувствовал себя не совсем хорошо пред лицом большого двора, хотя Прейн успел со всеми поздороваться и всякому сказать бойкое приветливое слово. Генерал пока познакомился только с Платоном Васильичем и Майзелем, он не обладал счастливым даром скоро сходиться с людьми.

Отыскав Платона Васильевича и отведя его в сторону, он вполголоса расспрашивал о Прозорове и время от времени сосредоточенно покачивал своей большой головой, остриженной под гребенку. Горемыкин был во фраке и постоянно поправлял свой белый галстук, который все сбивался у него на сторону.

— Жаль, очень жаль... — говорил генерал, посматривая на двери уборной. — А какой был талантливый человек! Вы думаете, что его уже невозможно спасти?

— Трудно, ваше превосходительство...

— Так, так... Необходимо будет увезти его отсюда, — вслух думал генерал. — У него, кажется, была дочь, если не ошибаюсь?

— Да, теперь совсем взрослая девушка... и очень красивая. Виталий Кузьмич вообще ведет странный образ жизни и едва ли удержится на каком-нибудь другом месте.

Родион Антоныч, не теряя из виду управительского кружка, зорко следил за всеми, особенно за Братковским, который все время сидел в комнате, где была Нина Леонтьевна, и только иногда показывался в зале,

чтобы быть на виду у генерала на всякий случай. «Тонкая бестия эта шляхта, — думал про себя Родион Антоныч, утирая вспотевшее лицо платком и со страхом поглядывая на сердитого генерала. — Ох, всех подтянет, всех... Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!..» Когда генерал поворачивался в сторону Родиона Антоныча, он слегка наклонялся вперед и начинал улыбаться блудливой, жалкой улыбкой. Но главное внимание Родиона Антоныча было занято улицей, где гудела десятитысячная толпа и время от времени нестройными вспышками поднималось ура; он постоянно подбегал к окошку и зорко вглядывался в море голов, отыскивая кого-то глазами. Швейцару и лесообъездчикам строго-настрого было заказано не пускать близко к подъезду всяких «сумнительных» мужиков, которые могли принести за пазухой какую-нибудь «бумагу к барину», но все-таки осторожность не была лишней. Рабье сердце Родиона Антоныча было теперь преисполнено блаженным трепетом: барин был в двух шагах — он сейчас выйдет. У верного слуги даже щипало в горле от неиспытанного счастья лицезреть барина, который в течение двадцати лет являлся каким-то полумифическим существом.

Ожидание продолжалось уже целый час, а барин все не показывался. Прейн несколько раз наведывался в его комнату и успел уже переодеться два раза. Генералу тоже надоело ждать, и он тоже отправился в уборную, где и застал такую картину. Чарльз, вытянутый и важный, почтительно стоял у дверей, а сам Лаптев заставлял великолепного бланжевого пойнтера Брунгильду подавать поноску. Умная собака, стоившая несколько тысяч, сходила за брошенным платком раз десять, а затем, видимо, смутилась и, помахивая тонким хвостом, вопросительным умным взглядом смотрела на m-r Чарльза.

— Господи, что же это такое? — взмолился генерал, останавливаясь перед Лаптевым. — Евгений Константиныч! вас ждут целый час тысячи людей, а вы возитесь здесь с собакой! Это... это... Одним словом, я решительно не понимаю вас.

— Посмотрите, генерал, какая упрямая эта Брунгильда, — весело ответил Лаптев, — а я еще упрямее и непременно заставлю ее сделать по-своему. Вы сами увидите... Brunehaut, apporte!.. [1]

XIII

Когда Родион Антоныч сообщил о болезни Раисы Павловны, Прейн только поднял высоко брови и равнодушно проговорил:

— Ага!

— Она извиняется, что не может выйти к обеду, — продолжал Родион Антоныч, склоняя голову на один бок.

— Ага!

— Раиса Павловна просила передать свои извинения Евгению Константинычу.

— Ага!

У бедного Ришелье защемило на душе от этого «ага», которое черт его знает что значило.

За обедом о Раисе Павловне тоже не было сказано ни одного слова, хотя за столом сидели битых два часа, вплоть до самого вечера. Это был своего рода первый застольный турнир между малым и большим двором, на котором противники могли померяться силами. Большой двор, конечно, подавлял малый своими исключительными преимуществами, хотя все по возможности старались держать себя на равной ноге. Евгений Константиныч говорил мало и преимущественно обращался к Нине Леонтьевне, которая, видимо, пользовалась его особенным вниманием. Кроме других лакеев, за столом прислуживал и m-r Чарльз, который подавал кушанье только своему патрону, Прейну, генералу, Нине Леонтьевне и Платону Васильевичу. Последний все время сидел как на иголках: у бедного ходили круги в глазах при одной мысли о том, что его ждет вечером у семейного очага. Нина Леонтьевна в качестве хозяйки старалась поддержать самый непринужденный разговор, что

---

[1] Брунгильда, принеси!.. *(франц.)*

ей было не особенно трудно сделать при трогательных усилиях всех действующих лиц. Перекрестов рассказывал о всевозможной еде, какую он испробовал во всевозможных широтах и долготах, при самом разнообразном барометрическом давлении и всевозможных уклонениях магнитной стрелки. Сарматов, конечно, воспользовался таким удобным случаем и довольно развязно присоединил к этому повествованию свой скромный голос.

— Когда я служил с артиллерийским парком на Кавказе, — рассказывал он, стараясь закрыть свою лысину протянутым из-за уха локоном, — вот где было раздолье... Представьте себе: фазаны! Настоящие золотые фазаны, все равно как у нас курицы. Только там их едят не так, как у нас. Вообще записной охотник не дотронется до свежей дичи, а мы убитых фазанов оставляли на целую неделю на воздухе, а потом уж готовили... Получался необыкновенный букет!

— Ага! — протянул Прейн.

— Не много ли будет: неделя? — заметил Вершинин. — Температура на Кавказе высокая, и в неделю из ваших фазанов останутся одни перья.

— Ах, Демид Львович... В этом-то и шик! Мясо совсем черное делается и такой букет... Точно так же с кабанами. Убьешь кабана, не тащить же его с собой: вырежешь язык, а остальное бросишь. Зато какой язык... Мне случалось в день убивать по дюжине кабанов. Меня даже там прозвали «грозой кабанов». Спросите у кого угодно из старых кавказцев. Раз на охоте с графом Воронцовым я одним выстрелом положил двух матерых кабанов, которыми целую роту солдат кормили две недели.

Бесстрастное неподвижное лицо Лаптева обратилось к рассказчику, и на нем мелькнула едва заметная улыбка. Наклонившись к Прейну, он тихо спросил:

— Это кто?

— Штабс-капитан Сарматов, управитель Мельковского завода.

Этого было достаточно, чтобы до десятка лиц с скрытой завистью посмотрели на Сарматова, который был замечен Евгением Константинычем. Это была це-

лая карьера для «грозы кабанов». Летучий и Перекрестов переглянулись и блудливо заерзали на своих местах; неожиданный успех Сарматова задел их за живое. Бесцветные люди навели свои лорнеты и пенсне на «грозу кабанов». Прейн еще раз сказал свое «ага». Нина Леонтьевна потихоньку наблюдала представителей малого двора и особенно осталась довольна Вершининым и Майзелем, которые держали себя с достоинством и отвечали очень находчиво. Вершинин настолько освоился с большим двором, что раза два очень ядовито оборвал завравшегося Перекрестова, которого невзлюбил с первого раза, как соперника по застольному краснобайству. Между строк скоро выработалось то молчаливое соглашение, при помощи которого определяются взаимные отношения людей, видевших друг друга в первый раз. Генерал пытался было поднять серьезный разговор на тему о причинах общего упадка заводского дела в России, и Платон Васильевич навострил уже уши, чтобы не пропустить ни одного слова, но эта тема осталась гласом вопиющего в пустыне и незаметно перешла к более игривым сюжетам, находившимся в специальном заведовании Летучего. Нина Леонтьевна нимало не смутилась таким оборотом разговора и громко смеялась над остроумными анекдотами прогоревшего помпадура. Один m-r Чарльз оставался в этой компании невозмутимо спокойным и неподвижным, точно замороженный. Он смотрел на обедающих свысока, как сфинкс, которого никто не может разгадать. По всей вероятности, если бы m-r Чарльз имел право и возможность, он всей собравшейся здесь компании молча и замороженно показал бы на дверь.

После обеда, когда вся компания сидела за стаканами вина, разговор принял настолько непринужденный характер, что даже Нина Леонтьевна сочла за лучшее удалиться восвояси. Лаптев пил много, но не пьянел, а только поправлял свои волнистые белокурые волосы. Когда Сарматов соврал какой-то очень пикантный и невозможный анекдот из бессарабской жизни, Лаптев опять спросил у Прейна, что это за человек.

— Ага! Это штабс-капитан Сарматов, или «гроза кабанов»! — ответил Прейн, щуря свои бесцветные глаза.

Бесцветные молодые люди смеялись, когда смеялся Лаптев, смотрели в ту сторону, куда он смотрел, пили, когда он пил, и вообще служили громадным зеркалом, в котором отражалось малейшее движение их патрона.

Из-за обеда вся компания поднялась вместе с сумерками, когда в открытые окна со стороны сада потянуло свежей пахучей струей. Господский дом, здание заводоуправления, фабрика и сад были роскошно иллюминованы, а на пруду, на громадном плоте из бревен, затрещал и захлопал фейерверк. Для гудевшего на улице народа на балконе господского дома играла музыка, и ночной воздух при каждом хлопке взвивавшихся кверху огненными дугами ракет потрясался взрывами народного восторга. Появлялись пьяные и особенно усердно орали барину хриплую пьяную «уру». Евгений Константиныч выходил на балкон, и каждый раз его встречали оглушительными залпами самых восторженных криков. Генерал задумчиво смотрел на волновавшуюся тысячеголовую толпу, которая в его глазах являлась собранием тех пудо-футов, которые служили материалом для его экономических выкладок и соображений.

Все это трескучее торжество отзывалось на половине Раисы Павловны похоронными звуками. Сама она, одетая в белый пенюар с бесчисленными прошивками, лежала на кушетке с таким истомленным видом, точно только сейчас перенесла самую жестокую операцию и еще не успела хорошенько проснуться после хлороформирования. Галки сидели тут же и тревожно прислушивались к доносившимся с улицы крикам, звукам музыки и треску ракет.

Платон Васильич несколько раз пробовал было просунуть голову в растворенные половинки дверей, но каждый раз уходил обратно: его точно отбрасывало электрическим током, когда Раиса Павловна поднимала на него глаза. Эта немая сцена была красноречивее слов, и Платон Васильич уснул в своем кабинете, чтобы утром вести Евгения Константиныча по фабрикам, на

медный рудник и по всем другим заводским мытарствам.

Летняя короткая ночь любовно укутала мягким сумраком далекие горы, лес, пруд и ряды заводских домиков. По голубому северному небу, точно затканному искрившимся серебром, медленно ползла громадная разветвленная туча, как будто из-за горизонта протягивалась гигантская рука, гасившая звезды и вот-вот готовая схватить самую землю. Домики Кукарского завода на этой руке сделались бы не больше тех пылинок, которые остаются у нас на пальцах от крыльев моли, а вместе с ними погибли бы и обитатели этих жалких лачуг, удрученные непосильной ношей своих подлостей, интриг, глупости и чисто животного эгоизма.

Посмотрите, как крестится и шепчет торопливо молитву на сон грядущий Родион Антоныч; в голове кукарского Ришелье работает тысяча валов, колес и шестерен, перемалывая перепутавшиеся впечатления тревожного дня. У Родиона Антоныча тяжело на душе, а в ушах все еще отдается «ага» Прейна. Первый блин вышел комом, и старик напрасно ощупывает свою голову, точно подыскивая какое-то забытое утешение или ту крошечную надежду, за которую мог бы ухватиться придавленный неудачей мозг. Он теперь переживает в сотый раз нанесенное оскорбление Раисе Павловне и не видит выхода. Стоит ему сомкнуть глаза, как встает целый ряд обидных картин: вот торжествует Майзель с своей птицей — Амалькой, вот улыбается в бороду Вершинин, вот ликует Тетюев...

В генеральском флигельке наступившая ночь не принесла с собой покоя, потому что Нина Леонтьевна недовольна поведением генерала, который, если бы не она, наверно позволил бы Раисе Павловне разыгрывать совсем неподходящую ей роль. В своей ночной кофточке чугунная болванка убийственно походит на затасканную замшевую куклу, но генерал боится этой куклы и боится сказать, о чем он теперь думает. А думает он о своем погибающем друге Прозорове, которого любил по студенческим воспоминаниям.

— Посмотрим, как вы будете держать себя дальше... — грозно шипит чугунная болванка. — С своей

стороны могу сказать только то, что при первой вашей уступке *этой* женщине я сейчас же уезжаю в Петербург.

Генерал уверяет, что никаких уступок не последует с его стороны и что он должен честно выполнить взятую на себя задачу.

В убогом флигельке Прозорова мигает слабый свет, который смотрится в густой тени тополей и черемух яркой точкой. Сам Прозоров лежит на прорванном диване с папироской в зубах. Около него на стуле недопитая бутылка с водкой, пепельница с окурками, рюмка с обломанным донышком и огрызки соленого огурца.

— Набоб приехал... Ха-ха! — смеется он своим нехорошим смехом, откидывая волосы. — Народный восторг и общее виляние хвостов. О почтеннейшие подлецы с Мироном Блиновым во главе! Неужели еще не выросла та осина, на которой всех вас следует перевешать... Комедия из комедий и всероссийское позорище. Доколе, о господи, ты будешь терпеть сих подлецов?.. А царица Раиса здорово струхнула, даже до седьмого пота. Ха-ха!

Луша слышит эту болтовню, и ей делается страшно в своей комнате, где она напрасно старается углубиться в чтение романа, который ей принес на днях Яшка Кормилицын. Ей душно и тяжело. Эти стены ее давят. Хочется воли, простора, воздуха, чтобы хоть раз вздохнуть полной грудью, вздохнуть и... а там будет что будет! Она унесла в своей головке частичку той суеты, свидетельницей которой была давеча. У ней еще стоят в ушах крики тысячной толпы, волны музыки, и она все еще видит этот разноцветный дождь, который рассыпался над ней во время фейерверка. Она видит обрюзглого молодого человека, который смотрел на нее давеча из коляски, видит его волнистые белокурые волосы и переживает тяжелое, томительное чувство странной зависти за свое существование. Отчего она не была на этом обеде, где весело играла музыка, слышался смех и лилось дорогое вино? Воображение рисовало ей заманчивую картину: как она является царицей таких обедов, как все удивляются ее красоте и как все преклоняется пред ней, даже этот белокурый молодой человек с усталыми глазами. Сегодня подушка ей кажется

особенно тяжелой, а роман Яшки Кормилицына скучнее его самого. Воздуха! воздуха!

А в спальне Лаптева происходит в это время такая сцена. Евгений Константиныч сидит с папиросой в зубах и задумчиво смотрит в пространство.

— Альфред! ты видел этого молодого человека?.. — говорит он, обращаясь к Прейну, который маленькими шажками бойко бегал по кабинету.

— Секретаря генерала... Братковского? Да. Он обедал с нами.

— Я и говорю об этом. Такие же глаза, такие же волосы и такая же цветущая сильная фигура... Он очень походит на свою сестру. Как ты находишь, Альфред?

— Ага... — неопределенно мычит Прейн, вскидывая глаза на своего друга-повелителя. — Кажется... Гортензия Братковская... красавица?

— А что она теперь делает, по-твоему?

— Вероятно, где-нибудь на водах. Она собиралась ехать... Да, очень красивая и еще более упрямая девчонка. Знаете, что она имела в виду?

— ?

— Она мечтала быть madame Лаптевой.

Лаптев издает неопределенный носовой звук и улыбается. Прейн смотрит на него, прищурив глаза, и тоже улыбается. Его худощавое лицо принадлежало к типу тех редких лиц, которые отлично запоминаются, но которые трудно определить, потому что они постоянно меняются. Бесцветные глаза под стать лицу. Маленькая эспаньолка, точно приклеенная под тонкой нижней губой, имеет претензию на моложавость. Лицо кажется зеленоватым, изможденным, но крепкий красный затылок свидетельствует о большом запасе физической силы.

— Что мы будем здесь делать? — спрашивал Лаптев лениво.

— А генерал?

— Да-а...

— Потом необходимо съездить на другие заводы, побываем в горах, устроим охоту... Будет любительский спектакль и бал. Кстати, завтра будем осматривать завод, то есть собственно фабрику и рудник.

— А без этого нельзя обойтись, Альфред?

— Нет.

— А «гроза кабанов» будет завтра? Он смешно врет...

Лаптев лениво смеется, и, если бы бесцветные «почти молодые люди» видели эту улыбку, они мучительно бы перевернулись в своих постелях, а Перекрестов написал бы целый фельетон на тему о значении случайных фаворитов в развитии русского горного дела.

Через полчаса, при помощи m-r Чарльза, Евгений Константинович отходит ко сну, напрасно стараясь решить, что теперь делает Гортензия Братковская. Ночь покрывает и этого магната-заводчика, для которого существует пятьдесят тысяч населения, полмиллиона десятин богатейшей в свете земли, целый заводский округ, покровительственная система, генерал Блинов, во сне грезящий политико-экономическими теориями, корреспондент Перекрестов, имеющий изучить в две недели русское горное дело, и десяток тех цепких рук, которые готовы вырвать живым мясом из магната Лаптева свою долю. Да, хорошо спится людям с спокойной совестью и полным желудком, которых не тревожат тяжелые грезы и которые просыпаются с мыслью о новых удовольствиях и развлечениях!

XIV

На другой день по приезде Лаптева, по составленному генералом маршруту, должен был последовать генеральный осмотр всего заводского действия.

Евгений Константиныч проснулся довольно поздно, когда на фабрике отдали свисток к послеобеденным работам. В приемных комнатах господского дома уже толклись с десяти часов утра все главные действующие лица. Платон Васильич с пяти часов утра не выходил с фабрики, где ждал «великого пришествия языков», как выразился Сарматов. Прейн сидел в спальне Раисы Павловны, которая, на правах больной, приняла его, не вставая с постели.

— Мне остается только поблагодарить вас за внимание... — говорила Раиса Павловна, запуская своему другу шпильку.

— Что же мне было делать, когда эта свинья сама залезла за стол! — оправдывался Прейн. — Не тащить же было ее за хвост... Вы, вероятно, слышали, каким влиянием теперь пользуется генерал на Евгения Константиныча.

— Но ведь тут маленькая разница: генерал или его метресса...

Прейн только поднял брови и развел руками.

— Что она такое, если разобрать... — продолжала Раиса Павловна волнуясь. — Даже если мы закроем глаза на ее отношения к генералу, что она такое сама по себе?

— Это черт, а не женщина — вот она что такое! — проговорил Прейн. — Представьте себе, она *нравится* Евгению Константинычу. Понятно, нравится не как женщина, а как остроумный и ядовитый человек.

— Я это знала раньше вас и могла только удивляться, как вы могли допустить подобную вещь...

— Как Пилат, я могу умыть руки в этом деле с чистой совестью.

Раиса Павловна горько усмехнулась и с презрением посмотрела на Пилата.

— А в сущности все это пустяки, моя дорогая, — заговорил торопливо Прейн, посматривая на часы. — Могу вас уверить, что вся эта история кончится ничем. Увлечение генералом соскочит с Евгения Константиныча так же скоро, как наскочило, а вместе с ним улетит и эта свинушка...

Надеждам и обещаниям Прейна Раиса Павловна давно знала настоящую цену и поэтому не обратила на его последние слова никакого внимания. Она была уверена, что если слетит с своего места по милости Тетюева, то и тогда Прейн только умоет руки во всей этой истории.

— Вы напейтесь кофе у меня, — предлагала Раиса Павловна, дергая сонетку.

— Мне, собственно, некогда... — завертелся Прейн, вынимая часы. — Евгений Константиныч проснулся и сейчас отправляется осматривать фабрики.

— Ничего, пусть подождет. У меня есть кое-что передать вам...

Пока Прейн пил чашку кофе с поджаренными сухариками, Раиса Павловна рассказала ему о происках Тетюева и компании, причем сделала предположение, что и поездка Лаптева на заводы, по всей вероятности, дело тетюевских рук. Прейн слушал ее внимательно, как доктор слушает рассказ пациента, и, прихлебывая из чашки кофе, после каждой паузы повторял свое неизменное «ага». Когда этот длинный рассказ был кончен, Прейн на минуту задумался и, повертев пальцем около лба, проговорил:

— Это для меня новость, хотя, собственно говоря, я и подозревал кое-что. Если это устроил Тетюев, то он замечательно ловкий человек, и чтобы разбить его, мы воспользуемся им же самим... Ха-ха!.. Это будет отлично... У меня есть свой план. Вот увидите.

— А я не могу узнать ваш план?

— Отчего же, с большим удовольствием! План самый простой: я постараюсь дать полный ход всем замыслам Тетюева, буду ему помогать во всем — вот и только.

Раиса Павловна онемела от изумления, а Прейн засмеялся своим неопределенным смехом.

— Я решительно ничего не понимаю... — проговорила она, стараясь угадать, не шутит ли Прейн. — Вы говорите серьезно?

— О, совершенно серьезно. Это будет замечательная комедия...

— Комедия, в которой дурой останусь я одна?

— Да нет же, говорят вам... Право, это отличный план. Теперь для меня все ясно, как день, и вы можете быть спокойны. Надеюсь, что я немножко знаю Евгения Константиныча, и если обещаю вам, то сдержу свое слово... Вот вам моя рука.

— Честное слово?

— Самое честное слово!.. Честное слово старого друга... Однако мне пора идти, меня ждут.

Поцеловав руку Раисы Павловны, Прейн быстро направился к двери, но вернулся с дороги и с улыбкой проговорил:

— А как насчет живности, моя дорогая? Ведь это один из самых капитальных вопросов, а то мы можем соскучиться...

— Какие вы глупости говорите, Прейн! — улыбнулась Раиса Павловна уже с сознанием своей силы. — Mademoiselle Эмма, которую вы, кажется, немного знаете, потом Анниныка!.. и будет! У меня не воспитательный дом.

— Это какая Анниныка? Не та ли самая, которая стояла с вами в окне, когда мы въезжали на ослах?

Раиса Павловна ничего не ответила, а только загадочно улыбнулась неисправимому старому грешнику.

В это время прибежал лакей, разыскивающий Прейна по всему дому, и интересный разговор остался недоконченным. Евгений Константиныч кушали свой утренний кофе и уже два раза спрашивали Альфреда Осипыча. Прейн нашел своего повелителя в столовой, где он за стаканом кофе слушал беседу генерала на тему о причинах упадка русского горного дела.

— Насколько я успел познакомиться с горнозаводской промышленностью в Швеции... — перебивал несколько раз Перекрестов, седлая свой нос пенсне, но генерал не обращал на него внимания.

Летучий сидел уже с осовелыми, слипавшимися глазами и смотрел кругом с философским спокойствием, потому что его роль была за обеденным столом, а не за кофе. Почти молодые приличные люди сделали серьезные лица и упорно смотрели прямо в рот генералу и, повидимому, вполне разделяли его взгляды на причины упадка русского горного дела.

— Где это ты пропадал? — спросил лениво Лаптев, когда Прейн занял свое место за столом.

— Делал маленький моцион по саду, — соврал Прейн, не моргнув глазом. — Мы сейчас отправляемся в завод, генерал?

— Да, — коротко отвечал генерал.

Вершинин и Майзель сидели с самыми благочестивыми лицами, как те праведники, для которых разгневанный бог мог пощадить целый город грешников. Они тоже намерены были сопровождать своего повелителя по тернистому пути. Сарматов вполголоса рассказывал

Летучему какой-то, вероятно, очень скоромный анекдот, потому что сановник морщил свой тонкий орлиный нос и улыбался плотоядной улыбкой, открывавшей гнилые зубы.

До фабрики от господского дома было рукой подать, и Прейн предложил идти пешком, тем более что день был великолепный, хотя немного и жаркий. Когда вся компания вышла к подъезду, к ней присоединился Родион Антоныч, стерегший здесь свою позицию, чтобы кто не угостил барина проклятой «бумагой». Но ходоки от сельского общества были прогнаны казаками, и вся компания благополучно проследовала до ворот фабрики, где уже ждал Платон Васильич, взволнованный и бледный, с крупными каплями пота на лице. Фабричные корпуса и всевозможные печи выглядели сегодня по-праздничному, как и попадавшиеся рабочие и мелкие служащие. Все было на своем месте и при своем деле. Уставщики и надзиратели вытягивались в струнку, рабочие встречали барина без шапок. Даже вычищенные и смазанные машины, кажется, были готовы приветливо улыбнуться, если бы в них было устроено подходящее для такой цели колесо или вал.

— Вот мы и посмотрим все у вас, Платон Васильич, — тараторил Прейн, забегая вперед и весело здороваясь с рабочими. — Тут у меня много старых знакомых... Кум Елизарыч, Вавило да Гаврило, Спиридон...

Кум Елизарыч, осанистый, седой, плотный, с окладистой бородой старик, скоро был представлен вниманию Евгения Константиныча, который сказал ему несколько милостивых слов и спросил, сколько ему лет.

— Семьдесят, Евгений Константиныч! — ответил бодрый старик, перекладывая свое правило из руки в руку.

— А сколько лет служишь в заводе, кум Елизарыч? — допрашивал Прейн, похлопывая старика по плечу.

— Лет с шестьдесят наберется, Альфред Осипыч.

Кум Елизарыч был отчаянный плут и обдирал рабочих на каждом шагу, но, глядя на это старческое, открытое и убеленное благообразной сединой лицо, можно

было умилиться. У Родиона Антоныча с кумом Елизарычем были вечные дела, и они не оставались в накладе от взаимных услуг. Вавило и Гаврило были знаменитые катальные мастера, бросавшие двенадцатипудовую рельсовую болванку на катальной машине с вала на вал, как игрушку; Спиридон, первый силач, работал у обжимочного молота. Рабочие любили Прейна, который умел обращаться с ними. В свои побывки на заводы он часто приглашал лучших мастеров к себе и пил с ними чай, не отказывался крестить у них ребят и задавал широкие праздники, на которых сам пил водку и любил слушать мужицкие песни. Конечно, это было немного, но этого немногого было совершенно достаточно, чтобы Прейна, никогда не сделавшего никакого добра рабочим, все любили, а молчаливого и бесцветного Платона Васильича, по-своему хорошо относившегося к рабочим и делавшего для них все, что от него зависело, не только не уважали, но готовы были ему устроить всякую пакость.

— Ведите нас в катальную фабрику, — предложил Прейн затруднившемуся, с чего начать, Платону Васильичу; он заметил уже, что Евгений Константиныч морщится и бредет по заводу только из приличия.

Собственно завод занимал широкую квадратную площадь, ограниченную с одной стороны плотиной, а с трех остальных — длинными зданиями фабричной конторы, механической, амбарами и высокой каменной стеной. По самой средине пробегала пенившаяся Кукарка. На площади там и сям валялись кучки песку, свежего доменного шлака, громадные горновые камни и полузаросшие свежей зеленой травкой сломанные чугунные шестерни и катальные валы, походившие издали на крепостные пушки. В дальнем углу виднелось несколько дровосушных печей, около которых, среди беспорядочно наваленных дровяных куч, пестрела голосистая толпа поденщиц-дровосушек; эта чумазая и покрытая сажей толпа с жадным любопытством провожала глазами барина, который прошел прямо в катальную. Визг и звонкий девичий смех как-то не вязался с этой суровой обстановкой дымивших доменных печей и подавленного грохота катальных машин, являясь каким-то

диссонансом в этом царстве огня и железа. На дороге попалось несколько рабочих, очевидно только что кончивших свою смену. Расстегнутые вороты пестрядевых рубах, сожженные, покрытые потом лица, бессильно опущенные с напружившимися жилами руки, усталая походка — все говорило о том, что они сейчас только вышли из огненной работы. У входа в катальную их встретил рабочий с зажженным пуком березовой лучины. На первый раз трудно было что-нибудь разглядеть в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, обжимочный молот в одном углу, темные стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями, в которые весело глядело летнее голубое небо и косыми пыльными полосами врывались солнечные лучи. В глубине корпуса около низких печей, испускавших сквозь маленькие окошечки ослепительный свет, каким светит только добела накаленное железо, быстро двигались и мелькали фигуры рабочих; на всех были надеты кожаные передники — «защитки», на головах войлочные шляпы, а на ногах мягкие пеньковые пряденики. Со стороны водяного ларя тянула холодная струя сквозного воздуха; где-то глухо капала вода и с подавленным визгом вертелось колесо, заставляя вздрагивать даже чугунные плиты, которыми была вымощена вся фабрика.

— Сейчас будут прокатывать рельс, — проговорил Платон Васильич, когда по фабрике пронесся пронзительный свист.

Старик уставщик, сняв шапку, ждал у катальной машины.

— Пустите машину! — приказал Горемыкин.

Где-то глухо загудела вода, и за стеной грузно повернулось водяное колесо. Вся фабрика вздрогнула, и стальные валы катальной машины завертелись с неприятным лязгом и взвизгиванием. Сначала еще можно было различить их движения, а потом все слилось в одну мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, которое невольно заставляло думать, что вот-вот, еще несколько поворотов водяного колеса — и вся эта

масса вертящегося чугуна, железа и стали разлетится вдребезги. В глубине корпуса показался яркий свет, который разом залил всю фабрику. Лаптев закрыл даже глаза в первую минуту. Двое рабочих, нагнувшись, бойко катили высокую железную тележку, на которой лежала рельсовая болванка, имевшая форму длинного вяземского пряника. Вавило и Гаврило встали по обе стороны машины, тележка подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое отверстие, обсыпав всех белыми и синими искрами. Лаптев не успел мигнуть, как вяземский пряник мягким движением, как восковой, вылез из-под вала длинной красной полосой, гнувшейся под собственной тяжестью; Гаврило, как игрушку, подхватил эту полосу своими клещами, и она покорно поползла через валы обратно. Не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах невыносимо жгло и палило лицо. Нельзя было не залюбоваться артистической работой знаменитых мастеров, которые точно играли в мячик около катальной машины. Оба высокие, жилистые, с могучими затылками и невероятной величины ручищами, они смахивали на ученых медведей. В этом царстве огня и железа Вавило и Гаврило казались какими-то железными людьми, у которых кожа и мускулы были допущены только из снисхождения к человеческой слабости.

Перекрестов вытащил из бокового кармана записную книжечку и что-то царапал в ней, по временам вскидывая глазами на Вавилу и Гаврилу.

— Этакие медведи! — восхищался кто-то.

После катальной посмотрели на Спиридона, который у обжимочного молота побрасывал сырую крицу, сыпавшую дождем горевших искр, как бабы катают хлебы. Тоже настоящий медведь, и длинные руки походили на железные клещи, так что трудно было разобрать, где в Спиридоне кончался человек и начиналось железо.

— Молодец! — похвалил Прейн своего фаворита.

— Теперь пойдемте смотреть новый маховик, — предложил Горемыкин, когда совсем готовый рельс был сброшен с машины на пол.

Маховик помещался в новом деревянном корпусе. Молодой машинист в запачканной блузе, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки масло в медную подушку маховика, который еще продолжал двигаться, поднимая ветер. Уставщик распорядился пустить воду, чтобы показать во всей красоте работу этого чудовища в тысячу пудов. Эффект вышел действительно поразительный, и Горемыкин смотрел на это чугунное детище глазами счастливого отца. Лаптев не мог разделять этого чувства и наблюдал вертевшееся колесо своими усталыми глазами с полнейшим равнодушием.

После рельсовой фабрики были осмотрены кирпичные горны и молоты, пудлинговые печи, печи Мартена, или Мартына, как их окрестили рабочие; затем следовал целый ряд еще новых печей: сберегающая топливо регенеративная печь Сименса, сварочные, литейные, отражательные, калильные и т. д. Осмотрены были водяные турбины, которые приводили в движение воздуходувные меха, пять паровых машин, механический корпус, где работали вертикальные и горизонтальные токарные станки, строившийся паровой молот и даже склады чугуна в штыках и припасах, железо во всевозможных видах: широкополосное, брусковое, шинное, листовое и т. д. Но Лаптева ничто не могло расшевелить, и он совершенно равнодушно проходил мимо кипевшей на его глазах работы, создавшей ему миллионы. Только под доменной печью, где нарочно для него был сделан выпуск, он долго и внимательно следил за выплывавшей из отверстия печи огненной массой расплавленного чугуна, которая красными ручейками расходилась по чугунным и вырытым в песке формам, время от времени, когда на пути попадалось сырое место или какая-нибудь щепочка, вскидывая кверху сноп ослепительно ярких искр.

— Да, красиво... — проговорил он точно про себя, тыкая горячий шлак тросточкой. — Теперь, кажется, все? — обратился он к Платону Васильевичу, и когда тот ответил утвердительно, он точно обрадовался и даже пожал руку своему главному управляющему.

— Нет, еще не все, — отозвался Прейн. — Мы сейчас едем на Медный рудник и спустимся в шахту.

Генерал был того же мнения, но Лаптев протестовал против такого решения и повернул к выходу, а за ним повернули и все остальные соглядатаи и приспешники. Они все время лезли из кожи, чтобы выказать свое внимание к русскому горному делу: таращили глаза на машины, ощупывали руками колеса, лазили с опасностью жизни везде, где только может пролезть человек, и даже нюхали ворвань, которой были смазаны машины. Генерал ничего не понимал в заводском деле и рассматривал все кругом молча, с тем удивлением, с каким смотрит неграмотный человек на развернутую книгу.

— Домой! — проговорил Лаптев, торопливо направляясь к выходу.

— Ага! — ответил Прейн.

Сотни любопытных глаз следили все время, как барин осматривал фабрики, и можно было подумать, что все стены и щели имели глаза.

XV

Барин приехал. Что это был за человек — едва ли кто на Кукарских заводах знал хорошенько, хотя барину было уже за тридцать лет. На своих заводах Лаптев всего был раз, десятилетним мальчиком, когда он приезжал в Россию из-за границы, где родился, получил воспитание и жил до последнего времени. Впрочем, вся восходящая линия Лаптевых вела точно такой же образ жизни, появляясь в России наездом. Исключение представляли только первые представители этой семьи, которые основывали заводы и жили в них безвыездно. Это была крепкая мужицкая семья настоящих «расейских» лапотников: первым в родословном дереве заводовладельцев считался Гордей, по прозванию Лапоть.

Просматривая семейную хронику Лаптевых, можно удивляться, какими быстрыми шагами совершалось полное вырождение ее членов под натиском чужеземной цивилизации и собственных богатств. Хорошо

сохранили основной промышленный тип, собственно, только два поколения — сам Гордей и его сыновья; дальше начинался целый ряд тех «русских принцев», которые удивляли всю Европу и, в частности, облюбованный ими Париж тысячными безобразиями и чисто русским самодурством. В Париже, Вене, Италии были понастроены Лаптевыми княжеские дворцы и виллы, где они и коротали свой век в самом разлюбезном обществе всевозможного отребья столиц и европейских подонков. Здесь они родились, получали воспитание и женились на аристократических выродках или знаменитостях сцены и demi-monde'a [1], пускали семя и в крайнем случае возвращались на родину только умереть. Некоторые из представителей этой фамилии не только не бывали в России ни разу, но даже не умели говорить по-русски; единственным основанием фигурировать в качестве «русских принцев» были те крепостные рубли, которые текли с Урала на веселую далекую заграницу неиссякаемой широкой волной. Эти мужицкие выродки представляли собой замечательную галерею психически больных людей, падавших жертвой наследственных пороков и развращающего влияния колоссальных богатств. Были тут жуиры и прожигатели жизни pur sang [2], были меломаны, были чудаки по профессии, были меценатствующие «вельможи», антикварии, библиоманы и просто шалопаи. Единственная вещь, которую можно было бы поставить им в заслугу, если бы она зависела от их воли, было то, что все они догадывались скоро «раскланиваться с здешним миром», как говорят китайцы о смерти. За последние полтораста лет средняя цифра жизни этих магнатов не превышала сорока лет. Но и этого периода было совершенно достаточно, чтобы около каждого из Лаптевых выросла своя собственная баснословная легенда, где бессмысленная роскошь азиатского пошиба рука об руку шла с грандиозным российским самодурством, которое с легким сердцем перешагивало через сотни тысяч в миллионы рублей, добытые где-то там, на

---

[1] полусвета, *(франц.)*

[2] чистой крови, *(франц.)*

каком-то Урале, десятком тысяч крепостных рук... Едва ли в европейской хронике, богатой проходимцами и набобами всяких национальностей, найдется такой другой пример, как подвиги фамилии Лаптевых, которые заняли почетное место в скорбном листе европейских и всесветных безобразников.

Последний из Лаптевых — Евгений Константиныч — был замечателен тем, что к нему никак нельзя было примениться. Даже такие люди, как Прейн, у которого на руках вырос маленький «русский принц» — и тот не знал хорошенько, что это был за человек. Вероятно, в часы раздумья, если они только находили на него, Евгений Константиныч сам удивлялся самому себе, так все в его жизни было перепутано, непонятно и непредвидимо. Когда еще он был бойким, красивым мальчиком, приспешники и приживальцы возлагали на него большие надежды, как на талантливого и способного ребенка; воспитание он, конечно, получил в Париже, под руководством разных светил педагогического мира, от которых, впрочем, не получил ничего, кроме органического отвращения ко всякому труду и в особенности к труду умственному. Юношей он прошел школу всех молодых набобов и в двадцать лет выглядел усталым, пресыщенным человеком, который собственным опытом убедился в «суете сует и всяческой суете» нашей общей юдоли плача. Но ведь каждый человек вносит с собой хоть какую-нибудь микроскопическую особенность, по которой его можно было бы отличить от других людей. Такой особенностью Евгения Константиныча служила уже упомянутая нами взбалмошность: никто не мог поручиться за его завтрашний день. По природе он не был ни зол, ни глуп, но отчасти воспитание, отчасти обстановка, отчасти грехи предков сделали из него капризного ребенка с отшибленной волей. Единственное, что еще он любил и мог любить, — это была еда и, между прочим, женщины, как острая приправа к другим мудреным кушаньям.

Поездка и даже окончательное переселение в Россию у Евгения Константиныча случились как-то вдруг, почти само собой, когда его обругала какая-то бульварная парижская газетка. Дворцы и палаццо, рассован-

ные по разным укромным уголкам Европы, пошли с молотка вместе с фамильными редкостями, из которых можно было бы составить великолепный музей для назидания благодарного потомства. В числе распроданных редкостей, попавших в руки барышников и ростовщиков, находились такие замысловатые вещицы, как сахарница в пятнадцать тысяч франков, охотничья лядунка в двадцать тысяч, экран к камину в сорок и т. д.

Поселившись в России, которая для Лаптева заключалась в Петербурге, он неожиданно для всех задумал поездку на Урал.

«Большой двор», группировавшийся около заводовладельца, во главе имел всесильного Прейна, который из всех других достоинств обладал ничем незаменимым качеством — никогда не быть скучным. Кто он такой был сам по себе — трудно сказать, если только Прейн сам знал свою родословную. Впрочем, он никогда не чувствовал особенного пристрастия к историческим и генеалогическим изысканиям, вполне удовлетворяясь настоящим. Достаточно сказать, что у Лаптевых он был с детства своим человеком и забрал великую силу, когда бразды правления перешли в собственные руки Евгения Константиныча, который боялся всяких занятий, как огня, и все передал Прейну, не спрашивая никаких отчетов. Таким образом в руках Прейна сосредоточивались за последние двадцать лет все нити и пружины сложного заводского хозяйства, хотя он тоже не любил себя обременять усиленными занятиями. В качестве главноуполномоченного от заводовладельца Прейн года через три приезжал на заводы, проводил здесь лето и уезжал за границу. Он пользовался хорошей репутацией у служащих и у рабочих, хотя ни те, ни другие не видели от него большой пользы. Секрет заключался в том, что Прейн умел всех хорошо и ласково принять и наобещать гору. Заводские остряки по этому поводу говорили, что Прейна можно даже послать в лавочку за папиросами. Но вместе с тем, податливый на обещания, Прейн с дьявольской ловкостью умел отвернуться от их исполнения, и поймать его в этом случае было крайне трудно. Каким был Прейн при крепостном праве, таким остался и после воли. Враги называли его

глупым, друзья считали умным. Во всяком случае положительного зла он не делал никому, хотя смотрел сквозь пальцы на многое, что мог заметить, но «не заметил он». Время на заводах Прейн обыкновенно проводил на охоте. Вообще люди, близко знавшие Прейна, могли про него сказать очень немного, как о человеке, который не любил скучать, мог наобещать сделать вас завтра бухарским эмиром, любил с чаем есть поджаренные в масле сухарики, всему на свете предпочитал дамское общество... и только. Ко всевозможным переменам и пертурбациям в составе большого и малого дворов Прейн относился почти индифферентно, и его жизнь катилась вольно и широко, как плохая сама по себе, но дружно разыгранная на сцене пьеса.

Само собой разумеется, что в жизни большого двора Прейну принадлежала выдающаяся роль, хотя он и держался по возможности всегда в стороне от всяких происков и интриг. После него в состав большого двора входили служащие главной петербургской конторы, как стоявшие ближе других к особе заводовладельца, этому источнику заводского света: управляющий конторой, заведующий счетной частью и т. д. Далее, в состав большого двора в качестве «случайных» попадали всевозможные люди, удовлетворявшие минутным прихотям Лаптева и умевшие угодить его капризам. Это был странный сброд, вроде сановника не у дел Летучего, корреспондента Перекрестова и т. д. Под эту же рубрику подходили разные женщины, умевшие на время удержаться на покатой плоскости прихотливой барской натуры, как танцовщица Братковская и другие дамы и полудевицы этого разбора. Такие дельцы, как Раиса Павловна или Нина Леонтьевна, в силу своих физических особенностей уже не могли иметь прямого значения, а должны были довольствоваться тем, что выпадало на их долю из-за чужой спины.

Неожиданно для всех воссиявшая звезда генерала Блинова представляла собой в жизни большого и малого двора такое исключение, которое составляло неразрешимую задачу для большинства. Подозревали, что генерал был *создан* совместными усилиями Тетюева и Нины Леонтьевны, жаждавшими вкусить от заводского

пирога и спровадить Раису Павловну. Вообще вся интрига была задумана и приведена в исполнение с дьявольской ловкостью. Сам генерал во всяком случае не был виноват ни душой, ни телом в той роли, какую ему пришлось разыгрывать. Между тем все дело, как и многое другое на свете, объяснялось очень просто: Тетюев воспользовался теми недоразумениями, которые возникали между заводоуправлением и мастеровыми по поводу уставной грамоты, тиснул несколько горячих статеек в газетах по этому поводу против заводов, и когда Лаптев должен был узнать, наконец, об этом деле, он ловко подсунул ему генерала Блинова как ученого экономиста и финансовую голову, который может все устроить. Лаптев схватился за брошенную ему приманку и сейчас же решил ехать на Урал с генералом сам. Истинные свои цели Тетюев, конечно, скрыл от доверчивого генерала с большим искусством, надеясь постепенно воспользоваться им. Генерал с своей стороны очень горячо и добросовестно отнесся к своей задаче и еще в Петербурге постарался изучить все дело, чтобы оправдать возложенные на него полномочия, хотя не мог понять очень многого, что надеялся пополнить уже на самом месте действия.

На третий день своего приезда в Кукарский завод генерал через своего секретаря пригласил к себе Прозорова, который и заявился к однокашнику в том виде, в каком был, то есть сильно навеселе.

— Давненько мы с тобой не видались, Виталий Кузьмич... — говорил генерал, обнимая Прозорова.

— Да... давненько, ваше превосходительство... — ядовито отвечал Прозоров, оглядывая сановитую, представительную фигуру бывшего однокашника.

— Ты остался такой же занозой, каким был раньше, — ответил генерал на эту колкость. — Я надеюсь, что мое превосходительство нисколько не касается именно тебя: мы старые друзья и можем обойтись без чинов...

— Прикажете называть Мироном Геннадьичем?

— Я вообще не люблю приказывать кому-нибудь, а тебе в особенности... Перестань разыгрывать комедию, душа моя. Этакая у тебя дьявольская привычка!..

— Полюбите нас черненькими, Мирон Геннадьич...

Генерал пожал плечами и зашагал по кабинету. Он любил Прозорова, но теперь перед ним была только тень прежнего товарища. Обоим было одинаково тяжело. Генерал хотел выйти из затруднительного положения старым дружеским тоном, Прозоров — дерзостями.

— А я так рад был видеть тебя, — заговорил генерал после длинной паузы. — Кроме того, я надеялся кое-что разузнать от тебя о том деле, по которому приехал сюда, то есть я не хочу во имя нашей дружбы сделать из тебя шпиона, а просто... ну, одним словом, будем вместе работать. Я взялся за дело и должен выполнить его добросовестно. Если хочешь, я продался Лаптеву, как рабочий, но не продавал ему своих убеждений.

В коротких словах генерал передал Прозорову значение своей миссии и те цели, которых желательно было достигнуть; причем он не скрыл, что его смущает и в чем он нуждается.

— Ты, кажется, уж давненько живешь на заводах и можешь в этом случае сослужить службу, не мне, конечно, а нашему общему делу, — продолжал свою мысль генерал. — Я не желаю мирволить ни владельцу, ни рабочим и представить только все дело в его настоящем виде. Там пусть делают, как знают. Из своей роли не выходить — это мое правило. Теория — одно, практика — другое.

Прозоров все время осматривал кабинет генерала, напрасно отыскивая в нем что-то, что ему было нужно, и, наконец, проговорил:

— Вот что, Мирон Геннадич, прикажите-ка подать водочки... Тогда поговорим о разных разностях.

Генерал поморщился, но позвонил и велел лакею подать водки. Эта неделикатная выходка Прозорова задела его за живое, но он еще раз сдержал себя и заговорил размеренно-спокойным тоном, как говорил на кафедре:

— Я — поклонник Кэри и отчасти Мальтуса... Не будем говорить о тех абсурдах, которые стараются вывести из их систем, но возьмем только самую сущность. Нам приходится иметь дело именно с ними, когда

вопрос зайдет, с одной стороны, о покровительственной системе, и второе — когда мы коснемся рабочего вопроса. Да... важно иметь определенную, строго выработанную систему, от этого зависит все. По моему мнению, даже известные ошибки, как необходимая дань всякого практического применения теорий, могут иметь оправдание только в том единственном случае, если они явились как результат строго проведенной общей идеи.

После этого вступления генерал очень подробно развил основания своей собственной системы. «Кульминационный пункт, основная точка, операционный базис» этой системы заключался в виде капиталистического производства, которая должна строго преследоваться как во внутреннем строе, так и во внешней обстановке. Конечно, утопистам и мечтателям в принципе капитализма грезится призрак всепоглощающей привилегии, которая из трудящихся классов создает самый безвыходный пролетариат, но это несправедливо, если на дело взглянуть беспристрастно. Именно: один и тот же капитал, если он разделен между несколькими тысячами людей, почти не существует, как экономическая сила, тогда как, сосредоточенный в одних руках, он представляет громадную величину, которою следует только воспользоваться надлежащим образом. В данном случае именно по отношению к заводовладельцу было бы смешно остановиться на том выводе, что он воспользуется своей силой во вред своим рабочим. Наоборот, по коренному свойству человеческой природы можно предположить, что по мере увеличения силы заводовладельца будет возрастать благосостояние его рабочих, потому что именно здесь их интересы совпадают. Логика — самая простая: лучше заводам — лучше заводовладельцу и рабочим, тем более что с расширением производства будет прогрессировать запрос на рабочие руки. Кажется, ясно? Это — относительно, так сказать, внутренней политики; что же касается до внешних отношений, то здесь вопрос усложняется тем, что нужно говорить не об одном заводе, даже не о заводском округе, даже не об Урале, а вообще о всей нашей промышленной политике, которая

постоянно колебалась и колеблется между полной свободой внешнего рынка и покровительственной системой в строгом смысле слова. Можно сказать вполне утвердительно, что эти колебания во взглядах правительства до сих пор самым пагубным образом отражались на всей русской промышленности, а на горной в особенности. Строго проведенная покровительственная система является в промышленной жизни страны тем же, чем служит школа для каждого человека в отдельности: пока человек не окреп и учится, ясное дело, что он еще не может конкурировать со взрослыми людьми; но дайте ему возможность вырасти и выучиться, тогда он смело выступит конкурентом на всемирный рынок труда. Вот именно такой школы до сих пор и недоставало русской промышленности, и наша задача — ее создать. В этом случае нельзя не соглашаться с выводами Кэри, который отстаивает покровительственную систему.

— Да, а рабочим, по Мальтусу, будете рекомендовать нравственное воздержание? — спросил Прозоров прищурившись.

— До этого пока еще не дошло, но и это иметь в виду не мешает. Отчего мы можем воздерживаться от брака до того времени, пока не составим себе определенного общественного положения, а рабочий будет плодить детей с шестнадцати лет?

— По-моему, это проповедовать открытый разврат, хотя и теперь нравственность заводского населения стоит не особенно высоко. Я выпью еще, Мирон Геннадич?..

— Выпей. Только о Мальтусе я упомянул, Виталий Кузьмич, между прочим, собственно для выяснения своих взглядов — это еще вопрос далекого будущего, а теперь прежде всего необходимо самое существенное: развязаться с этой уставной грамотой, а потом освободить заводы от долгов. Ведь у нас все металлы заложены в государственный банк...

— Знаю, слышал... Только я хотел бы сказать тебе слова два о твоей системе.

Прожевывая ломтик балыка, Прозоров забегал по кабинету с своими обычными жестами. Генерал

смотрел на него с тем оттенком снисхождения, с каким умеют смотреть добрые русские генералы.

— Ты уж меня извини за откровенность, Мирон, — предупреждал Прозоров. — Я, конечно, пьяница и потерянный человек...

— Это, право, не относится к делу.

— Ну, хорошо, допустим, что не относится. А я тебе прямо скажу, что вся твоя система выеденного яйца не стоит. Да... И замечательное дело: по душе ты не злой человек, а рассуждаешь, как людоед.

— Именно?

— Очень просто: ты продал душу черту, то есть капиталистам, а теперь утешаешься разными софизмами. Ведь и сам чувствуешь, что совсем не то говоришь...

— Нет, я этого не чувствую.

— Тем хуже для тебя! Если я погибаю, то погибаю только одной своей особой, от чего никому ни тепло, ни холодно, а ты хочешь затянуть мертвой петлей десятки тысяч людей во имя своих экономических фантазий. Иначе я не могу назвать твоей системы... Что это такое, вся эта ученая галиматья, если ее разобрать хорошенько? Самая некрасивая подтасовка научных выводов, чтобы угодить золотому тельцу.

Генерал поморщился, но продолжал слушать это немножко откровенное возражение. Упомянув о значении капитализма, как общественно-прогрессивного деятеля, поскольку он, при крупной организации промышленного производства, возвышает производительность труда, и далее, поскольку он расчищает почву для принципа коллективизма, Прозоров указал на то, что развитие нашего отечественного капитализма настойчиво обходит именно эту свою прямую задачу и, разрушив старые крепостные формы промышленности, теперь развивается только на счет технических улучшений, почти не увеличивая числа рабочих даже на самый ничтожный процент, не уменьшая рабочего дня и не возвышая заработной платы. Ясное дело, что когда все кругом дорожает и, кроме того, наш курс все падает, фабричному рабочему приходится выводить на фабрику свою жену и детей. Если продолжать в этом

же направлении, впереди вырастут страшные промышленные кризисы, с одной стороны, а с другой — создастся русский пауперизм.

— Вот вам результаты прославленного наукой рационального разделения труда, — уже кричал Прозоров, страшно размахивая руками. — Вы забываете о рабочем и его будущности, а только думаете о том, чтобы при помощи всемирного рынка реализовать в пользу кучки крупных промышленников ту прибавочную стоимость, которая вам останется от труда сотен тысяч рабочих... Притом вы, во имя развития отечественной промышленности, стараетесь непременно занять привилегированное положение, что опять-таки всей своей тяжестью ложится все на того же рабочего: каждый нажитый вами этим путем рубль является дефицитом в народном хозяйстве, потому что рабочему он стоит десять рублей. Нет, батенька, все это гниль и чепуха...

Прозоров продолжал в том же роде; генерал слушал его внимательно, стараясь проверить самого себя.

— А впрочем, ну вас к черту со всем, со всей вашей ученой ерундой! — неожиданно закончил Прозоров, наливая себе рюмку водки.

— Расскажи что-нибудь о себе, Виталий Кузьмич! — проговорил генерал, опять рассматривая своего собеседника. — Ну, как ты живешь тут, что делаешь?..

— Что рассказывать: весь налицо... Хорош, нечего сказать. Ха-ха!.. Ну, да я не завидую твоему превосходительству, поверь мне. Так свиньей и останусь до конца дней...

— У тебя, кажется, дочь была?

— Да, была... И теперь оная имеется в наличности. Так, пустельга... Впрочем, ведь на таких людей и существует постоянный спрос. Я пробовал учить ее, тоже воспитывал, да ничего не вышло. В папеньку одним концом пошла, видно...

С каждой новой рюмкой Прозоров хмелел все сильнее и сильнее, пока совсем не свалился на диван, где и заснул...

«Действительно, настоящая свинья...» — с горечью подумал генерал.

XVI

У Майзеля на другой день приезда Лаптева на заводы был маленький деловой вечер с закуской. Жил Майзель, как все немцы, очень плотно. На подъезде картинно лежали два датских дога; на звонок из передней, как вспугнутый вальдшнеп, оторопело выбегал в серой официальной куртке дежурный лесообъездчик; на лестнице тянулся мягкий ковер; кабинет хозяина был убран на охотничий манер, с целым арсеналом оружия, с лосиными и оленьими рогами, с чучелами соколов и громадной медвежьей шкурой на полу. Везде мягкие ковры, бронза, мягкая дорогая мебель, шредеровский рояль в зале, горка с минералогической коллекцией, горка с серебром, горка с фарфором, несколько порядочных картин масляными красками и т. д. Воздух был всегда прокурен дымом дорогих сигар и вообще везде пахло тугим, чисто немецким довольством. Детей у Майзеля не было, поэтому царил во всем самый педантичный порядок, как в хорошем музее, где строго преследуют каждую пылинку. На половине Амалии Карловны немецкая чистота достигала своего апогея, так что сама хозяйка походила на кошку, которая целые дни моется лапкой. Даже Родион Антоныч в своей раскрашенной хоромине никогда не мог достигнуть до этого идеала теплого, уютного житья, потому что жена была у него русская, и по всему дому вечно валялись какие-то грязные тряпицы, а пыль сметалась ленивой прислугой по углам. Поэтому Родион Антоныч имел полное основание завидовать Майзелю и даже иногда жалел, зачем он, Родион Антоныч, не русский немец.

Сегодня у Майзеля был все свой народ: Вершинин, Дымцевич, Буйко, Сарматов и доктор Кормилицын. Ждали Тетюева, который обещал завернуть вечерком.

— Это какой-то идиот... — резко отчеканивая слова, говорил сам Майзель, когда речь зашла о Прейне. — И для чего он тащит на Урал всякую сволочь, вроде Летучего и этого прощелыги Перекрестова!

— Вы напрасно так думаете, Николай Карлыч, — мягко возразил Вершинин, разваливаясь в кресле. —

Прейн очень хорошо изучил привычки Евгения Константиныча и, вероятно, не ошибется в расчетах.

— Да и расчетов никаких нет, Демид Львович, а просто одна сплошная глупость... За кого он нас принимает, что нам приходится брататься со всякой швалью?

— Нет, а мне каково достается! — перебил Сарматов, хлопая себя по лысине. — Извольте-ка составить любительский спектакль буквально из ничего... Раиса Павловна помешалась на плечах Наташи Шестеркиной, а много ли сделаешь из одних плеч, когда она вся точно деревянная — ступить по-человечески не умеет.

— А Канунникова?

— Канунникова... Не спорю, господа, у Канунниковой и бюст, и талия, и прочее в надлежащем виде, но ее погубят ноги! Представьте себе настоящие гусиные лапы... Я даже сомневаюсь, нет ли у ней перепонок между пальцами.

— Чем труднее задача, тем приятнее победа, — заметил Вершинин. — Вам, Сарматов, как человеку, знакомому с небесными светилами, нетрудно уже примениться к земным планетам, около которых приходится теперь вам вращаться наперекор законам небесной механики.

— Тем более неприлично унывать артиллеристу, через которого переехало целое орудие... — прибавил Майзель.

— Нет, вы, господа, слишком легко относитесь к такому важному предмету, — защищался Сарматов. — Тем более что нам приходится вращаться около планет. Вот спросите хоть у доктора, он отлично знает, что анатомия всему голова... Кажется, пустяки плечи какие-нибудь или гусиная нога, а на деле далеко не пустяки. Не так ли, доктор?

— Я вас не понимаю, Сарматов, — отозвался доктор.

— Не понимаете? Пустяки, батенька, нечего прикидываться... Если бы я был на месте Прозорова, я прописал бы вам такую анатомию с физиологией вместе, что небо в овчинку бы показалось. Кто Луше подарил маринованную глисту?

— Совсем не маринованную... Зачем вы врете, Сарматов? Гликерия Витальевна интересовалась тогда сравнительной анатомией — ну, я ей и преподнес великолепный экземпляр taenia solum. Анатомические препараты никогда не сохраняются в уксусе, а только в спирте.

— Виноват, а я думал — в уксусе. Что же вам сказала тогда Гликерия Витальевна, когда вы разодолжили ее своей глистой?

— Ах, отстаньте, пожалуйста!.. Прогнала, и только...

Все засмеялись. Чудак-доктор тоже смеялся вместе с другими своим жиденьким дребезжавшим смешком, точно в нем порвалась какая-то струна. «Идиот! — со злобой думал Майзель, закручивая ус. — Пожалуй, еще все разболтает...» Он пожалел, что пригласил сегодня доктора на общий совет.

— Отчего вы, Сарматов, не пригласили Лушу к себе в труппу? — спрашивал Вершинин. — Девочка ничего себе...

— Не приказано... Высшее начальство не согласно. Да и черт с ней совсем, собственно говоря. Раиса Павловна надула в уши девчонке, что она красавица, ну, натурально, та и уши развесила. Я лучше Анниньку заставлю в дивертисменте или в водевиле русские песни петь. Лихо отколет!..

— A mademoiselle Эмма будет у вас участвовать?

У Сарматова вертелось на кончике языка ядовитое словечко относительно m-lle Эммы, но он удержался из уважения к русско-немецкому происхождению хозяина.

— А Раиса Павловна что-нибудь устроит, — говорил кто-то. — Дайте срок, только бы ей увидаться с Прейном.

— Ну, это еще Андроны едут, — сомневался Майзель. — Для первого раза Нина Леонтьевна ее порядочно смазала... А та рассчитывала разыгрывать роль хозяйки! Ха-ха...

Вершинин засмеялся деланным смехом из уважения к хозяину, как и другие. Он, на месте Нины Леонтьевны, не сделал бы так, потому что еще кто знает, что впереди; для чего было бравировать с первого шага. В каждом деле Вершинин прежде всего помнил золо-

тую пословицу, что своя рубашка к телу ближе, а здесь тем более: зверь был ранен, но он мог еще подняться на ноги. В жизни случаются превращения, каких не в состоянии предвидеть ни одна теория вероятностей. Старик Майзель, как рассерженный боров, теперь готов был лезть на стену, потому что Раиса Павловна смазала его несравненную Амальхен; но это еще плохое доказательство для того, чтобы другим надевать петлю на шею. В сущности собравшаяся сегодня компания, за исключением доктора и Сарматова, представляла собой сборище людей, глубоко ненавидевших друг друга; все потихоньку тяготели к тому жирному куску, который мог сделаться свободным каждую минуту, в виде пятнадцати тысяч жалованья главного управляющего, не считая квартиры, готового содержания, безгрешных доходов и выдающегося почетного положения. Без сомнения, Горемыкин висел на волоске, и предоставлялось каждому решить мудреный вопрос, кто займет его место. Вершинин и Майзель получали официальных пять тысяч, остальные по три — это было очень немного в сравнении с пятнадцатью тысячами жалованья главного управляющего. Собственно, возможными кандидатами представлялись Вершинин и Майзель, а затем Тетюев. Но это не мешало и остальным думать про себя: чем он хуже других. Дымцевич, Буйко и даже Сарматов ничего не имели против пятнадцати тысяч. Вершинин славился как административная голова и как самый ловкий интриган; Тетюев — как юрист и делец, а Майзель — как крепкая солдатская рука в ежовой рукавице. Все эти особенности давали их владельцам некоторые надежды и вместе поднимали между ними ту черную кошку, из-за которой люди делаются тайными врагами не на живот, а на смерть. И вместе с тем они чувствовали себя бессильными поодиночке и должны были соединиться, чтобы добиться цели. Кто же из них будет тем счастливцем, на которого милостиво взглянет капризная фортуна?

Майзель поджидал Тетюева с особым нетерпением и начинал сердиться, что тот заставлял себя ждать. Но Тетюев, как назло, все не ехал, и Майзель,

взорванный такой невнимательностью, решился без него приступить к делу.

— Господа, я надеюсь, что здесь собрался все свой народ и никто не вынесет сору из избы, — начал он, отчеканивая слова. — Я пригласил вас за тем, чтобы вместе обсудить, как нам поступить. Я уверен, что всем нам одинаково надоело плясать под дудку старой бабы. По крайней мере для себя лично я считаю это позором. Против Платона Васильича, конечно, трудно что-нибудь сказать, как против человека, который заслуживает только нашего сожаления. Да и что можно требовать от калеки, который ничего не видит и не слышит?

— Да, он совсем глух и слеп, — провозгласил Сарматов.

— Господа, кто-то, кажется, подъехал? — заметил Дымцевич, все время ощипывавшийся и охорашивавшийся, как курица перед дождем. — Это, наверно, Тетюев...

— Конечно, он...

В кабинет действительно вошел сам Тетюев, облеченный в темную синюю пару, серые перчатки и золотое пенсне. Он с деловой, сосредоточенной улыбкой пожал всем руки, извинился, что заставил себя ждать, и проговорил, сосредоточенно роняя слова, как доктор отсчитывает капли лекарства:

— Дела по горло, на части так и рвут. Едва успел вырваться из управы.

— Врешь, врешь и врешь! — перебил Сарматов. — Наверно, наигрывал на какой-нибудь дудке... Знаем твои дела!.. А мы без тебя тут чуть не составили целый заговор.

Майзель поморщился и сердито хрустнул пальцами; он еще раз пожалел, что пригласил на совещание доктора и Сарматова, хотя без них счет был бы не полон.

— Я догадываюсь, господа, о чем шла речь, — подхватил Тетюев брошенную реплику. — Да, нам необходимо соединиться во имя общей цели, хотя мое дело, собственно говоря, сторона.

— Ну, ну, Авдей Никитич, полноте притворяться, — заговорил Вершинин. — Кто заварил кашу, тому и красная ложка...

— Я, ей-богу, ничего... Я в первый раз слышу. Какая каша? Обо мне, право, много лишнего говорят.

— Однако будет, господа, толковать о пустяках, — остановил эти препирательства Майзель. — Приступимте к делу; Авдей Никитич, за вами первое слово. Вы уж высказали мысль о необходимости действовать вместе, и теперь остается только выработать самую форму нашего протеста, чтобы этим дать делу сразу надлежащий ход. Как вы полагаете, господа?

— Подадимте петицию на имя Евгения Константиныча, — предложил Сарматов. — Выскажемся в ней прямо: что так и так, уважая Платона Васильича и прочее, мы не можем больше оставаться под его руководством. Тут можно наплести и о преуспеянии заводского дела, и о нравственном авторитете, и о наших благих намерениях. Я даже с своей стороны предложил бы формулировать эту петицию в виде ультиматума...

— Я первый на это никогда не соглашусь, — заявил Вершинин, — потому что это по меньшей мере глупо... С какой стати ради Платона Васильича я буду рисковать своим местом?

— Я тоже, — заговорил Майзель. — Мы — люди семейные... Как вы думаете, господа?

Дымцевич и Буйко были, конечно, согласны с ним, потому что хотя были бы не прочь получать пятнадцать тысяч годовых, но лишаться своих трех тысяч тоже не желали. Доктор протестовал против такого решения, потому что уж если начинать дело, так нужно вести открытую игру.

— Что же нам прятаться, если наше дело справедливо? — своим жиденьким тенорком вытягивал доктор. — Нас много, а Платон Васильич один.

— Хорошо вам толковать, Яков Яковлевич, — вступился Вершинин, — когда у вас ни кола ни двора. Отказали от места, поступил на другое — и вся недолга. На докторов теперь везде спрос, а нашему брату получить место — задача не маленькая.

— Но ведь это, наконец, не честно, — горячился доктор. — Из-за своих личных, можно сказать, семейных расчетов вилять хвостом перед заводовладельцем...

— Ничего вы не понимаете! — оборвал Майзель. — Вы, Яков Яковлич, штанов-то не умеете застегнуть хорошенько, а еще толкуете о честности...

Яша Кормилицын позеленел от злости и, кажется, даже готов был вцепиться в солдатскую физиономию Майзеля, но это неожиданное и неприятное недоразумение было сейчас же устранено вмешательством Тетюева, который несколькими фразами потушил занявшийся пожар.

— Он меня оскорбил! — тоненьким голоском жаловался Кормилицын, размахивая руками, как манекен.

— Ну что ж из этого? — удивлялся Тетюев. — Николай Карлыч почтенный и заслуженный старик, которому многое можно извинить, а вы — еще молодой человек... Да и мы собрались сюда, право, не за тем, чтобы быть свидетелями такой неприятной сцены.

— Завтра дуэль учиним, Яша! — кричал Сарматов доктору. — На тридцати шагах стрелять, постепенно подходя к барьеру, пока один из вас не покончит земное странствие...

После этого маленького эпизода приступили к обсуждению имеющей быть кампании. Выпито было две бутылки шартреза, лица у все раскраснелись, голоса охрипли. Наконец, порешили представить Евгению Константинычу свои мотивы и соображения на словах, по той программе, которую разработает особая комиссия.

— А кто же возьмет на себя роль оратора, господа? — спрашивал Тетюев.

— Как кто? А вы-то на что? Да мы на вас, Авдей Никитич, надеемся, как на каменную стену...

— Помилуйте, господа, я-то тут при чем! — удивлялся Тетюев. — Я, конечно, сочувствую вам и готов помочь вам всеми силами, потому что настоящий цезаризм касается и меня как представителя земства. Я должен внести свою лепту в общее дело, но ведь теперь вы являетесь в качестве заводских служащих, как же я к вам пристану?

— Действительно, это не совсем удобно, — согласился Вершинин.

— Я могу представить проект от лица земства — это другое дело, — продолжал Тетюев. — Но в таком

случае мне лучше явиться на аудиенцию к Евгению Константинычу одному.

Еще немножко поспорили и согласились с доводами Тетюева.

— Это еще будет лучше, — соображал Сарматов. — Мы откроем действие с двух сторон разом. А все-таки, господа, кто из нас будет оратором? Я подаю голос за доктора...

— И я тоже, — отозвался Вершинин.

— И я тоже... — зараз посыпались голоса.

— Право, уж не знаю, как быть... — сомневался Яша Кормилицын, вытягивая шею и поправляя свою гриву. — Оратор-то я плохой; пожалуй, еще и перевру что-нибудь.

— Ничего, мы вам напишем всю речь, а вы ее выучите наизусть, — успокаивал Тетюев.

— Пустяки! пропустить две рюмки коньяку перед тем, как идти к Евгению Константинычу, — и вся недолга.

— Что ж, я, пожалуй, согласен! — вяло уступил доктор.

— Вот и отлично, Яша! — говорил Сарматов, хлопая доктора по плечу. — Послужи миру, голубчик... А нам как-то неловко: пожалуй, Евгений Константиныч еще подумает про всякого, что он именно и желает занять место Платона Васильича. Ведь так, Яшенька?

После этого соглашения приступили к разработке программы будущих действий и Яшиной речи, в частности. Тетюев стоял за то, чтобы не торопиться, а дать время хорошенько выясниться обстоятельствам.

— А если мы будем тянуть, да и пропустим Евгения Константиныча, — сомневались Буйко и Дымцевич. — Что ему стоит сесть, да и уехать?

— Не упустим, — уверенно говорил Тетюев, потирая руки. — Извините, господа, мне сегодня некогда... Дело есть. В другой раз как-нибудь потолкуем...

Взглянув на свой полухронометр, Тетюев с прежней улыбкой начал прощаться. Заговорщики выпили после него еще бутылку какого-то вина и тоже начали прощаться.

— До завтра... — коротко говорил Майзель, протягивая руку друзьям. — Завтра надеюсь опять видеть вас у себя. Для друзей у меня всегда найдется бутылка порядочного вина и горячий бифштекс.

Когда все убрались, Майзель медленно сделал налево кругом, как будто поворачивал целую роту, и тяжело, как матерой седой медведь, побрел на половину Амалии Карловны, которая встретила его в дверях спальни в одной кофточке, совсем готовая отойти ко сну.

— Ну, что? — спросила она, вытягивая свое птичье лицо.

— Ничего... дураки!

Майзель коротко засмеялся, награждая свою Амальхен русско-немецким «кюссхен».

— Кто дураки?

— Да все, Амальхен... И вдобавок еще настоящие русские свиньи! Представь себе, Вершинин и Тетюев мечтают занять место Горемыкина... Ха-ха-ха!..

Амальхен тоже засмеялась, презрительно сморщив свой длинный нос. В самом деле, не смешно ли рассчитывать на место главного управляющего всем этим свиньям, когда оно должно принадлежать именно Николаю Карлычу! Она с любовью посмотрела на статную, плечистую фигуру мужа и кстати припомнила, что еще в прошлом году он убил собственноручно медведя. У такого человека разве могли быть соперники?

— Свиньи все... — еще раз проговорил Майзель, облекаясь в расшитый шелками шлафрок. — Я им покажу всем, где раки зимуют, только бы...

Еще один кюссхен, и плотная чета предалась крепкому, счастливому сну.

XVII

У Тетюева действительно было серьезное дело. Прямо от Майзеля он отправился в господский дом, вернее, к господскому саду, где у калитки его уже поджидала горничная Нины Леонтьевны. Под предводительством этой особы Тетюев благополучно достиг до генеральского флигелька, в котором ему сегодня была назначена первая аудиенция.

— Пожалуйте сюда...— шепотом пригласила его горничная в полуосвещенную маленькую гостиную, окна которой были завешаны драпировками.

Оставшись в комнате один, Тетюев почувствовал невольное смущение. Его шокировало это обходное движение через господский сад и вообще вся таинственная обстановка, при которой приходилось вести дело. Но отступать было поздно. От нечего делать он принялся рассматривать тропические растения, которые топорщились из углов гостиной зелеными лапами. Воздух был пропитан запахом пудры и еще какими-то сильными духами, какие любят женщины зрелых лет. Но вот в соседней комнате зашуршало по полу шелковое тяжелое платье, и на пороге появилась квадратная, заплывшая жиром фигура Нины Леонтьевны. Она по обыкновению была расцвечена самыми пестрыми бантами, кольцами и перьями; на голове из кружев и лент образовалось что-то вроде радужного гребня. Первое впечатление, которое Нина Леонтьевна произвела на Тетюева, можно было сравнить только с тем, если бы в дверях показалась цветочная копна.

Дельцы окинули друг друга с ног до головы проницательными взглядами, как люди, которые видятся в первый раз и немного не доверяют друг другу. Нина Леонтьевна держала в руках серебряную цепочку, на которой прыгала обезьяна Коко — ее любимец.

— Вы опоздали на полчаса...— хрипло проговорила, наконец, Нина Леонтьевна, взглянув на свои золотые часы, болтавшиеся у ней на груди на брильянтовом аграфе.

— Виноват, меня задержали... — смущенно пробормотал Тетюев, совсем не ожидавший такого приема. — Я сейчас от Майзеля.

— Знаю.

— Там было маленькое совещание по нашему делу.

— Знаю.

«Это черт, а не баба», — подумал Тетюев, опять рассматривая свою собеседницу.

— Генерал весь вечер пробудет у Евгения Константиновича, и мы с вами можем потолковать на досуге, — заговорила Нина Леонтьевна, раскуривая сигару. —

Надеюсь, что мы не будем играть втемную... Не так ли? Я по крайней мере смотрю на дело прямо! Я сделаю для вас все, что обещала, а вы должны обеспечить меня некоторым авансом... Ну, пустяки какие-нибудь, тысяч двадцать пока.

Тетюев даже съежился от такой цифры и только промычал в ответ какую-то бессвязную фразу. Он теперь уже окончательно убедился, что действительно имеет дело с чертом, и потому решил, что нечего церемониться с этой цветочной копной.

— Видите ли, Нина Леонтьевна, — заговорил Тетюев с деловой вкрадчивостью, — ведь дело еще совсем не верное, и кто знает, чем оно может кончиться.

— Та-ак... А для кого же я везла сюда Евгения Константиныча, по-вашему?

— Так как вы высказали сейчас желание говорить откровенно, то я вам отвечу вопросом: разве вы что-нибудь проиграли от такой поездки?

— Это уж мое дело, милостивый государь.

— Вот именно это-то и хорошо, что вы ехали для своего дела, другими словами — для себя, а мое положение совсем неопределенное и почти безнадежное: я хлопочу, работаю, а плодами моих трудов могут воспользоваться другие...

— Что вы хотите сказать этим?

— А то, что даже в счастливом случае, когда нам удастся столкнуть Горемыкиных, кандидатами на их место являются Вершинин и Майзель... Извините, но за такое удовольствие платить двадцать тысяч по меньшей мере глупо.

— Но ведь без меня вам не добиться аудиенции у Евгения Константиныча? И кроме того, его нужно очень и очень подготовить к такой аудиенции.

— Все это так, но все это может кончиться в результате нулем. Я полагал, Нина Леонтьевна, что найду в вас сотрудника по общему делу, а вы ставите вопрос совершенно на другую почву.

— Благодарю за внимание... Но вы, как видите, ошиблись в своих расчетах, поэтому нам лучше расстаться сейчас же.

В первую минуту Тетюев онемел, но Нина Леонтьевна поднялась с вызывающим видом: значит, или двадцать тысяч, или уходи. На несколько мгновений Тетюев остановился, но потом сделал деловой поклон и молча направился к двери. Когда он надевал в передней свое пальто, Нина Леонтьевна окликнула его:

— Авдей Никитич, вернитесь!..

— Незачем, Нина Леонтьевна, — ответил Тетюев. — Я не могу дать вам и двадцати копеек... вперед.

— Ха-ха-ха!.. — залилась квадратная женщина. — Да вернитесь, говорят вам. Очень мне нужны ваши двадцать копеек... Я просто хотела испытать вас для первого раза. Поняли? Идите и поговоримте серьезно. Мне нужно было только убедиться, что вы в состоянии выдержать характер.

В уютной гостиной генеральского флигелька завязался настоящий деловой разговор. Нина Леонтьевна подробно и с обычным злым остроумием рассказала всю историю, как она подготовляла настоящую поездку Лаптева на Урал, чего это ей стоило и как в самый решительный момент, когда Лаптев должен был отправиться, вся эта сложная комбинация чуть не разлетелась вдребезги от самого пустого каприза балерины Братковской. Ей самой приходилось съездить к этой сумасшедшей, чтобы Лаптев не остался в Петербурге.

Потом Нина Леонтьевна очень картинно описала приезд Лаптева в Кукарский завод, сделанную ему торжественную встречу и те впечатления, какие вынес из нее главный виновник всего торжества. В коротких чертах были сделаны меткие характеристики всех действующих лиц малого двора. Тетюеву оставалось только удивляться проницательности Нины Леонтьевны, которая по первому взгляду необыкновенно метко очертила Вершинина, Майзеля и всех остальных, причем пересыпала свою речь самой крупной солью.

— Откуда все это вы могли узнать? — удивлялся Тетюев.

— Мало ли я что знаю, Авдей Никитич... Знаю, например, о сегодняшнем вашем совещании, знаю о том, что Раиса Павловна приготовила для Лаптева лакомую приманку, и т. д. Все это слишком по-детски,

чтобы не сказать больше... То есть я говорю о планах Раисы Павловны.

Этот разговор с умной женщиной наполнил плутоватую душу Тетюева настоящим восторгом, так что он даже не допытывался, откуда Нина Леонтьевна могла все знать. Для него ясно было, что теперь он созерцает настоящего дельца, дельца высшей пробы, дельца из той заманчивой сферы, где счеты идут на сотни тысяч и миллионы. Эта сфера всегда неудержимо тянула к себе Тетюева, и он в минуты откровенности с самим собою иногда думал, что именно создан для нее, а совсем уж не за тем, чтобы пропадать где-то в медвежьей глуши. Пред Ниной Леонтьевной он почувствовал себя таким маленьким и ничтожным, как новичок, которого только что привели в класс. В самом деле, что могло быть печальнее председателя уездной земской управы, получающего годовых две с половиной тысячи, когда другие рвали десятки и сотни тысяч? Вот хоть эта самая Нина Леонтьевна, безобразная и старая баба — и больше ничего, а ведь умела же поставить себя, да еще как поставить! Ему, Тетюеву, нужно трубить в своем земстве десять лет, чтобы получить столько, сколько получит Нина Леонтьевна, если подготовит всего одно дело. А между тем, разве он, Тетюев, хуже других, если бы ему попал в руки хороший случай?

— А как вы думаете, Нина Леонтьевна, долго Евгений Константиныч пробудет у нас? — спрашивал Тетюев после наступившей тяжелой паузы.

— Это неизвестно, Авдей Никитич, никому неизвестно. Все будет зависеть от обстоятельств, как они сложатся... Во всяком случае я убеждена, что Евгений Константиныч не заживется здесь, и поэтому не следует даром терять времени...

В течение двух часов, которые пробыл Тетюев в генеральском флигельке, было переговорено подробно обо всем, начиная с обсуждения общего плана действий и кончая тем проектом о преобразованиях в заводском хозяйстве, который Тетюев должен будет представить самому Евгению Константинычу, когда Нина Леонтьевна подготовит ему аудиенцию.

Возвращаясь из генеральского флигелька опять по саду, Тетюев уносил в душе частичку того самого блаженного чувства, которое предвкусил в обществе Нины Леонтьевны, точно он поднимался неведомой силой кверху, в область широких начинаний, проектов, планов и соображений. На половине Раисы Павловны в двух окнах виднелся слабый огонек. Взглянув на него, Тетюев сладко улыбнулся про себя. В самом деле, как странно и нелепо устроен свет: даже если он, Тетюев, и не займет места Горемыкина, все-таки благодаря борьбе с Раисой Павловной он выдвинется, наконец, на настоящую дорогу. Это так же верно, как верно то, что завтра будет день...

В спальне Раисы Павловны действительно горел огонь в мраморном камине, а сама Раиса Павловна лежала на кушетке против огня, наслаждаясь переливами и вздрагиваниями широких огненных языков, лизавших закопченные стенки камина. Около Раисы Павловны сидела в кресле Луша. На полу валялась разогнутая французская книга, которую они только что читали. Раиса Павловна задумчиво смотрела на огонь, испытывая закачивавшее чувство дремы, уносившее ее в далекий мир воспоминаний; Луша ничего не испытывала, кроме своей обыкновенной тоски.

— Луша, ты видела *их?* — спрашивала Раиса Павловна, просыпаясь от своего забытья.

— Кого их?

— Ну, Евгения Константиныча, Прейна и компанию?

— Да, мельком.

Раиса Павловна опять задумчиво смотрела на огонь и как-то мягко, точно в полупросонье, заговорила:

— Голубчик, *это* все не то... Да. Я считала их гораздо выше, чем они есть в действительности. Во всей этой компании, включая сюда и Евгения Константиныча с Прейном, есть только один порядочный человек в смысле типичности — это лакей Евгения Константиныча, mister Чарльз.

Луша не понимала, зачем Раиса Павловна говорит все это, но сделала внимательное лицо и приготовилась слушать.

— Mister Чарльз — цельная, выдержанная натура, — продолжала Раиса Павловна, полузакрывая глаза. — Это порядочный человек в полном смысле слова, хотя и лакей... Я уверена, что Евгений Константиныч только и уважает его одного, потому что mister Чарльз единственный gentleman во всей компании. Даже сам Евгений Константиныч не дорос до такого gentleman'a, хотя и корчит из себя ультрафешенебельного денди во вкусе young Albion [1]. Это просто, как и Прейн, то, что венцы и берлинцы называют Lebemann'ом, то есть человеком, живущим во всю ширь. У него недостает характера, выдержки... Вернее назвать его просто русским набобом, да и то с оговоркой. Вообще я думала о нем лучше.

— А другие? — спрашивала Луша, глядя на пробегавшее в камине пламя и синие струйки газа.

— Другие? Другие, выражаясь по-русски, просто сволочь... Извини, я сегодня выражаюсь немного резко. Но как иначе назвать этот невозможный сброд, прильнувший к Евгению Константиничу совершенно случайно. Ему просто лень прогнать всех этих прихлебателей... Вообще свита Евгения Константиныча представляет какой-то подвижной кабак из отборнейших тунеядцев. Видела Летучего? Да все они одного поля ягоды... И я удивляюсь только одному, чего смотрит Прейн! Тащит на Урал эту орду, и спрашивается — зачем?

Раиса Павловна после этого немного патетического вступления перешла к jeunesse dorée [2] вообще и русской в частности. Такая молодежь в ее глазах являлась всегдашним идеалом, последним словом той жизни, для которой стоило существовать на свете порядочной женщине, в особенности женщине красивой и умной. Она с увлечением рассказывала о блестящей европейской клике, к которой русская jeunesse dorée присосалась только одним боком, никогда не достигая чистокровного дендизма. Из русской золотой молодежи Раиса Павловна отдавала предпочтение дипломатиче-

[1] Здесь в смысле — аристократической молодежи Англии *(англ.)*.

[2] золотой молодежи *(франц.)*.

ской и министерской фракциям, а всего выше ставила гвардейскую золотую молодежь. Получалась необыкновенно эффектная комбинация из дрессированных лошадей, модных кабаков, ужинов, устриц, пикников, avec de ces dames[1], шампанского, векселей и самых высоких понятий о чести мундира и т. д.

— Да, это совершенно особенный мир, — захлебываясь, говорила Раиса Павловна. — Нигде не ценится женщина, как в этом мире, нигде она не ценится больше, как женщина. Женщине здесь поклоняются, ей приносят в жертву все, даже жизнь, она является царицей, связующей нитью, всесильным центром.

XVIII

С самого первого дня появления Лаптева в Кукарском заводе господский дом попал в настоящее осадное положение. Чего Родион Антоныч боялся, как огня, то и случилось: мужичье взбеленилось и не хотело отходить от господского дома, несмотря на самые трогательные увещания не беспокоить барина.

— Уж ты, Родивон Антоныч, оставь нас, пожалуйста, оставь! — упирались мужики. — Не к тебе пришли...

— А-ах, б-боже м-мой!.. — отмахивался Родион Антоныч руками и ногами. — Разве я держу вас... а? А вы то рассудите: устал барин с дороги или нет?

Ходоки переминались с ноги на ногу, пыхтели, переглядывались, чесали в затылках и кончали тем, что опять начинали старую песню:

— Уж ты, Родивон Антоныч, не препятствуй... Дельце у нас до барина есть.

Какими-то неведомыми путями по заводу облетела весть, что генерал будет разбирать дело крестьян насчет уставной грамоты и что генерал строгий, но справедливый. К этому было прибавлено много посторонних соображений и своих собственных фантазий, так что около слова «генерал» выросла настоящая легенда.

---

[1] дам, *(франц.)*

Барин молод, не надеется на себя, а другие-то его обманывают, вот он и привез с собой генерала, чтобы все, значит, сделать на совесть, по-божескому, чтобы мужичков не изводить напрасно, и т. д. Ходоки особенно надеялись на генерала и, желая послужить миру, пробивались к барину во что бы то ни стало. У них были уже заготовлены на всякий случай две бумаги: одна барину, другая генералу. Родион Антоныч, конечно, все это знал и удвоил усилия, чтобы не пропускать мужиков. Расставлены были сотские и десятники, чтобы отгонять подозрительный народ от господского дома; даже приглашена была полиция на всякий случай, если бы мужичье вздумало бунтовать.

Из числа ходоков особенно выделялись два старика раскольника, которые добивались своей цели особенно настойчиво. Один, с косматой седой бородой и большим лысым лбом, походил на одного из тех патриархов, каких изображают деревенские богомазы; складки широкого армяка живописно драпировали его высокую, сгорбленную, ширококостную фигуру. Другой, толстый и слащавый, с сладкой заговаривающей речью, принадлежал к типу мужицких «говорков», каких можно встретить на каждом сельском сходе; раскольничья выдержка и скрытность придавали ему вид настоящего коновода. Первого звали Ермилом Кожиным, второго просто Семенычем. Выдавался еще третий говорок, испитой, чахоточный мужик с широким горлом, по фамилии Вачегин. Люди этого типа составляют истинное несчастье на всех сельских сходах, где горланят и кричат за четверых. В сущности Вачегин был глупый и несуразный мужик, но его общество выбрало впридачу Кожину и Семенычу на том основании, что Вачегин уж постоит на своем, благо господь пастью его наградил. Другие ходоки были набраны больше для «числа», чтобы придать вес «бумаге», которая должна была быть подана барину. Большинство принадлежало к тем волостным «старичкам», которые особенно падки на даровое мирское винцо. Толку от них, конечно, было мало, но все-таки главным говоркам как-то было веселее выступить под этим прикрытием. Оно там, как-никак,

а все-таки страшно идти к барину, и только кровные мирские интересы заставляли забывать страх.

Нужно сказать, что все время, как приехал барин, от господского дома не отходила густая толпа, запрудившая всю улицу. Одни уходили, и сейчас же заменялись другими. К вечеру эта толпа увеличивалась и начинала походить на громадное шевелившееся животное. Вместе с темнотой увеличивалась и смелость. Поднимался крик и гвалт. Все желали непременно видеть барина и ни за что не хотели уходить от господского дома. Чтобы разогнать толпу, генерал уговаривал Евгения Константиныча выйти на балкон, но и эта крайняя мера не приносила результатов: когда барин показывался, подымалось тысячеголосое ура, летели шапки в воздух, а народ все-таки не расходился по домам. Родион Антоныч с ужасом видел, как из моря голов поднимались чьи-то руки с колыхавшимися листами писаной бумаги, и сейчас же посылал казаков разыскивать буянов. Руки с бумагами на время исчезали. Только раз чуть-чуть не перехитрили Родиона Антоныча, именно, лист такой бумаги подняли на длинной палке к самому балкону, и, по всей вероятности, Лаптев принял бы это прошение, если бы лихой оренбургский казак во-время не окрестил нагайкой рук, которые держали шест с прошением. Опасность счастливо миновала, но виновный, как и в предыдущих случаях, не был отыскан.

Бунтовщики не удовольствовались этим, а какими-то неисповедимыми путями, через десятки услужливых рук, добрались, наконец, до неприступного и величественного m-r Чарльза и на коленях умоляли его замолвить за них словечко барину. В пылу усердия они даже пообещали ему подарить «четвертной билет», но m-r Чарльз с величественным презрением отказался как от четвертного билета, так и от ходатайства перед барином.

— Я хорошо знаю свои обязанности и никогда не мешаюсь в дела Евгения Константиныча, — сухо ответил gentleman, полируя свои ногти каким-то розовым порошком. — Это мое правило...

Когда мужики начали кланяться этому замороженному холопу в ноги, m-r Чарльз величественно пожал плечами и с презрением улыбнулся над унижавшейся перед ним бесхарактерной «русской скотиной».

Эта игра кончилась, наконец, тем, что ходоки как-то пробрались во двор господского дома как раз в тот момент, когда Евгений Константиныч в сопровождении своей свиты отправлялся сделать предобеденный променад. В суматохе, происходившей по такому исключительному случаю, Родион Антоныч прозевал своих врагов и спохватился уже тогда, когда они загородили дорогу барину. Картина получилась довольно трогательная: человек пятнадцать мужиков стояли без шапок на коленях, а говорки в это время подавали свою бумагу.

— Что вам нужно? — спросил Лаптев поморщившись.

Он надевал перчатки и уже занес было ногу на подножку экипажа. Эта маленькая остановка неприятно подействовала на его нервы.

— Мы к тебе, батюшка-барин! — голосили старички, кланяясь в землю. — Вот прими от нас бумагу, там все прописано.

— Насчет наделу, батюшка-барин, — прибавил голос одного из ходоков. — Обезживотили нас без тебя-то... На тебя вся надёжа!

— Хорошо, хорошо... В чем дело? — проговорил лениво Лаптев, принимая измятую «бумагу».

Мельком взглянув на заголовок прошения, он опять поморщился и передал «бумагу» генералу.

— Это, кажется, по вашей части... — прибавил он.

— Да, мы рассмотрим после, — проговорил генерал, обращаясь к стоявшим на коленях просителям. — Встаньте... Приходите ко мне послезавтра, тогда разберем ваше прошение, а теперь, как сами видите, барину некогда.

«Бумага» от генерала перешла в руки его секретаря, у которого и исчезла в изящном портфеле. Экипаж быстро унес барина с его свитой, а старички остались на коленях.

— Ах, вы, ироды, ироды!.. — ругался Родион Антоныч, наступая на ходоков по-петушиному. — Не нашли другого времени... а? Уж я говорил-говорил вам, а вот теперь и пеняйте на себя. Лезут с бумагой к барину, когда тому некогда...

— Родивон Антоныч, уж ты, право... Ах, какой ты! Мы тебе добром говорили: пусти... а?

Толпа старичков уныло побрела с господского двора. Десяток корявых рук чесался в мужицком затылке, выскребая оттуда какие-то мудреные соображения. Кожин шагал, сосредоточенно опустив голову; он позабыл надеть шапку и бережно нес ее в той руке, которая еще так недавно держала бумагу. У Семеныча заскребло на душе, когда генерал передал бумагу какому-то стрикулисту, а тот ее спрятал. Дойдет или не дойдет бумага до барина? — вот роковой вопрос, который клином засел в крепкой мужицкой голове. А если бы дошла бумага, барин своими глазами увидел бы, что их дело совсем правое... Ведь Родивон Антоныч прижимку им сделал в уставной грамоте, а барину зачем прижимать! барин все разберет, потому ему — своя часть, нам — своя. Семеныч думал то же самое, что думал Кожин и что думали другие, с той разницей, что его начинало разбирать то чувство неуверенности, в каком он боялся сознаться самому себе. «А-ах, неладно маненько вышла наша бумага!» — думал Семеныч, дергая плечом.

— А ведь он тово... — проговорил, наконец, Семеныч, нарушая общее молчание.

— Чево: тово?

— Да наш Родивон-то Антоныч...

— Ну?..

— Просолим, пожалуй, нашу бумагу. Кабы неустойка не вышла...

— А генерал?

— Генерал, оно, конешно... Уж тут что говорить: генерал заправский. Да, уж оно обнаковенно...

Кожин сердито посмотрел на Семеныча и даже плюнул. Это были два совершенно противоположные характера. Они мало в чем сходились между собой, но не могли обойтись один без другого, когда дело

заходило о том, чтобы послужить миру. Кожин слишком был тяжел и по уму и по характеру, но это был железный человек, когда добивался своей цели; Семеныч был мягче, податливее и часто мучился «сумлениями» и любил обходные пути, когда не находил прямой дороги. В трудную минуту Семеныч умел разогнать тоску своим балагурством и шуточками, и теперь, после налетевшего сумления, он добродушно проговорил:

— А я, братцы, так полагаю, што мы подведем животы Родьке нашей бумагой... Недаром он бегает, как очумелый. Уж верно!.. Заганули ему таку загадку, что не скоро, брат, раскусишь. А бумагу генерал обещал разобрать послезавтра... Значит, все ему обскажем, как нас Родька облапошивал, и всякое прочее. Тоже и на них своя гроза есть. Вон, он какой генерал-от: строгой...

Родион Антоныч действительно почувствовал себя крайне плохо, когда роковая бумага, наконец, попала в руки генералу, который сейчас же назначил мужичью и время для объяснений. Это проклятое «послезавтра» теперь было точно приколочено к мудрой голове Родиона Антоныча двухвершковым гвоздем, и он со страхом думал: «Вот когда началось-то...» Теперь он чувствовал себя в положении человека, которого спускают в глубокий колодезь. Что-то будет, и удастся ли ему еще раз вынырнуть из медленно поглощавшей его бездны... Ох, недаром он видел себя во сне дупелем! Сон вышел в руку. В довершение всех бед Раиса Павловна приняла известие о поданной мужиками бумаге с самым обидным равнодушием, точно это дело нисколько ее не касалось. На поверку выходило так, что хватило бы! А теперь вот и расхлебывай кашу за всех, одной своей головой. И зачем было этой Раисе Павловне тягаться с Тетюевым, точно места для двоих не хватило бы! А теперь вот и расхлебывай кашу за всех, да еще не смей пикнуть ни о чем, что могло бы бросить тень на Раису Павловну. Родион Антоныч чувствовал себя тем клопом, который с неуклюжей торопливостью бежит по стене от занесенного над его головой пальца— вот-вот раздавят, и поминай, как звали маленького человека, который целую жизнь старался для других.

— Что за беда, если вам придется объясниться с генералом! — говорила Раиса Павловна. — Ну, возьмем крайний случай, что он покричит на вас, даже если выгонит... Мне тоже не сладко достается!

— Я готов претерпеть за правду, Раиса Павловна.

— Тем лучше. Я могу уверить вас только в том, что наше дело еще не проиграно. Генерал, конечно, пользуется громадным авторитетом в глазах Евгения Константиныча, но и Альфред Осипыч...

— Ох, Альфред Осипыч... Альфред Осипыч! — стонал Родион Антоныч, хватаясь за голову.

— Главное, не забывайте, что наше дело совсем правое, мы отстаиваем заводские интересы, а Тетюев разводит фантазии.

Настало и роковое «послезавтра». Партия старичков с раннего утра расположилась на крыльце генеральского флигелька в ожидании, когда генерал проснется. Ермило Кожин был настроен особенно угрюмо, Семеныч испытывал некоторое сумление, а Полуехт Вачегин находился, как всегда, в неопределенном настроении духа. Другие старички вздыхали, чесали поясницы и торопливо вскакивали, когда из флигелька выходил кто-нибудь. Братковский прошел мимо них уже несколько раз, но генерал все еще спал. Июньское горячее солнце было уже высоко и начинало порядком допекать ходоков, но они не чувствовали жара в ожидании предстоявшего объяснения с генералом. Этим скоробленным, зачерствевшим на господской работе людям мерещились те покосы, выгоны и леса, которые у них оттягал Родька Сахаров и которые они должны получить, потому что барину стоит сказать слово... Вот ужо генерал все разберет!..

Наконец, генерал проснулся. Лакей провел ходоков прямо в кабинет, где генерал сидел у письменного стола с трубкой в руках. Пред ним стоял стакан крепкого чая. Старички осторожно вошли в кабинет и выстроились у стены в смешанную кучу, как свидетели на допросе у следователя.

— Читал я ваше прошение, мужички, — заговорил генерал, пуская клубы дыма. — Да вы садитесь.

Генерал указал на кушетку и несколько венских стульев, но мужички отказались наотрез, «свои ноги есть, постоим, ваше высокопревосходительство...» Ходокам нравилось солдатское лицо генерала, потому строгий генерал, справедливый, выходит. Громкий голос и уверенные манеры тоже говорили в его пользу.

— На тебя вся надежда... — заговорили ходоки, бухая в ноги.

— Встаньте, встаньте! Я не бог, чтобы мне кланяться в землю.

— На тебя вся надежда! — галдели мужики, подымаясь с полу.

— Я постараюсь сделать для вас все, что от меня зависит. Но я должен предупредить вас, что для меня одинаково дороги как ваши интересы, так и интересы заводовладельца...

— Уж это известно... на совесть...

Генерал заговорил об уставной грамоте и о тех недоразумениях, какие возникли по поводу ее между заводским населением и заводоуправлением. По мнению генерала, обе стороны по-своему были правы и не правы. Чтобы выяснить свою мысль, он начал объяснения с того, что такое заводы, заводовладелец и заводский рабочий. Заводы не походят на другие частные предприятия и ремесла, в которых большею частью связаны интересы очень ограниченного числа лиц. На заводах же переплелись в крепкий узел интересы тысяч людей, поэтому говорить о моем и твоем здесь нужно особенно осторожно. Если польза заводовладельца тесно связана с благосостоянием десятков тысяч, то его убытки еще теснее связаны с их судьбой, поэтому нужно быть справедливым одинаково к обеим заинтересованным сторонам. Что такое заводовладелец по существу? Это человек, который на свой страх ведет миллионное предприятие, которое не только должно давать работу десяткам тысяч рабочих и доход ему лично, но еще должно приносить пользу всему государству. Это раз. Что такое заводский рабочий? Человек, который трудом своих рук снискивает себе пропитание на заводской работе. Отсюда: от благосостояния заводов одинаково зависит и участь заводовладельца и

участь рабочих. Заводское дело — живое дело, в котором рука руку моет, а заводы являются живым связующим звеном между фамилией заводовладельца и целым рядом поколений рабочих. Отсюда понятно, что заводы одинаково дороги всем, и в общей громадной работе не пропадает бесследно ни одна крупица труда.

— Я сам работаю теперь для заводов, — продолжал генерал, отхлебывая чай из стакана. — И я горжусь своей работой потому, что в виду имеется польза десятков тысяч рабочих. Но мне кажется, что между рабочими и заводоуправлением по поводу уставной грамоты возникло просто недоразумение, стороны не выяснили своих взаимных отношений. Вы добиваетесь расширения своих земельных наделов, забывая, что главная задача заводского рабочего — работа на заводской фабрике, в руднике или курене. Так ли я говорю?.. Чтобы выяснить, что вы можете требовать, я сейчас определил вам понятия завода, заводовладельца и заводского рабочего.

От этих общих понятий и определений генерал перешел к частностям, то есть принялся разбирать пункт за пунктом все спорные вопросы уставной грамоты и те требования, какие были изложены в «бумаге». Пока речь генерала вертелась на общей почве, мужички кряхтели, вздыхали и потели, не понимая десятого слова из этой лекции, но когда он заговорил о кровных мужицких интересах, ходоки навострили уши и отлично поняли все, что им было нужно. Генерал пока ничего еще определенного не высказал, но, видимо, он был уже против некоторых требований, так как они шли вразрез с интересами заводов.

— Нет, это ты, ваше превосходительство, неправильно говоришь, — отрезал Ермило Кожин, когда генерал кончил. — Конечно, мы люди темные, не ученые, а ты — неправильно. И насчет покосу неправильно, потому мужику лошадь с коровою первое дело... А десятинки две ежели у мужика есть, так он от свободности и пашенку распашет — не все же на фабрике да по куреням болтаться. Тоже вот насчет выгону... Наша заводская лошадь зиму-то зимскую за двоих робит, а летом ей и отдохнуть надо.

— Да ведь это все оговорено в уставной грамоте?

— Оно оговорено... это точно, что оговорено, ваше высокопревосходительство, — заговорил Семеныч, давая Кожину передохнуть, — только нам тошнехонько от этой грамоты. Ведь ее писал Родивон Антоныч.

— Какой Родион Антоныч?

— Ну, секлетарь у Платона Васильича, выходит... Он все и наладил. Такую сухоту напустил нам всем... Потому как он сам заводский и все знает; знает, где и мужика прижать... Разе мы от работы заводской отпираемся, — никогда!.. А ты нам дай угодье — мужик будет справный, вдвое сробит барину-то. А теперь, бают, все от конторы пойдет, по уставной-то грамоте: захочет контора — даст тебе покос, не захочет — шабаш. Уж это не порядок, ваше высокопревосходительство... Когда мы господские-то были, так барину не рука была нас обижать, а теперь мы — отрезанный ломоть. Сами должны промышлять о своей голове.

Генералу хотелось узнать из первых рук, чего добиваются рабочие, чтобы оценить по достоинству их требования. Но пока он убедился только в том, что, несмотря на все усердие ходоков, понять их было очень трудно. Они путались, перебивали друг друга и совсем не могли связно и последовательно развивать отдельные мысли. Необходимо было сначала привыкнуть к мужицкой терминологии, а потом уже толковать с ними. Первое впечатление из двухчасовой беседы както двоилось: с одной стороны — мужики как будто были и правы, а с другой — как будто не правы. Очевидно было только то, что свои интересы они будут отстаивать из последнего, следовательно, необходимо дело вести крайне осторожно, чтобы не подавать повода к лишним надеждам и новым недоразумениям.

— Теперь я слышал от вас сам, что вы желаете, — говорил генерал, — читал ваше прошение. Мне нужно еще недели две, чтобы хорошенько разобрать ваше дело, а там опять побеседуем... Могу пока сказать только одно: что барин вас не обидит.

Мужички опять всей гурьбой повалились в ноги и заговорили:

— На тебя вся надёжа, ваше высокоблагородие... Не оставь нас своей милостью, ослобони от прижимки.

— Хорошо, хорошо... Только я не люблю, когда в землю кланяются: я не бог.

— А ты, ваше высокоблагородие, не слушай Родивона-то Антоныча — от него вся прижимка вышла... Уж он нам такого сахару насыпал!

Генерал, чтобы успокоить мужичков, записал в памятную книжку фамилию секретаря Платона Васильича и еще раз пообещал разобрать дело по-божески, а потом представить его на усмотрение самому барину, который не обидит мужичков, и т. д.

Вечером этого же дня генерал послал за Родионом Антонычем, который и явился в генеральский флигель с замирающим сердцем. Генерал принял его сухо, даже строго. Наружность Родиона Антоныча произвела на него отталкивающее впечатление, хотя он старался подавить в себе это невольное чувство, желая отнестись к секретарю Горемыкина вполне беспристрастно.

— Не желаете ли вы дать некоторые объяснения по составлению уставной грамоты, — приступил генерал прямо к делу. — Я уже говорил с мужиками.

«Началось», — подумал Родион Антоныч, делая кислую гримасу.

— Я должен вам объяснить, что недоразумения, вызванные уставной грамотой, вызвали и настоящую поездку Евгения Константиныча на заводы. Он требует, чтобы это дело было покончено раз навсегда и чтобы на его имени не было ни одного пятна. Я должен предупредить вас, что вообще все это дело об уставной грамоте мне крайне не нравится. Чтобы не быть голословным, я объясню, почему. Во-первых, оно всегда могло быть кончено путем взаимных уступок, миролюбиво; затем, поведение кукарского заводоуправления вызвало недоверие и враждебное к себе отношение рабочих; наконец, вся эта история слишком дорого стоит как рабочим, так и заводовладельцу. Надеюсь, что я выражаюсь достаточно ясно... А главное, чего я никак не могу себе объяснить, — кукарское заводоуправление точно поставило себе задачей постоянно раздражать рабочих и этим подготовляло те взаимные

недоразумения, какие на официальном языке носят название бунтов. С своей стороны я глубоко убежден, что ни вы, ни кто другой из участников в редакции уставной грамоты не давал себе отчета в той громадной ответственности, какую вы так самоуверенно, — чтобы не сказать больше, — возлагали на себя... Вероятно, вы слыхали, чем кончаются такие бунты? Несколько погубленных жизней, громадные материальные убытки для обеих сторон — и никому пользы... Это самый ложный и глубоко несправедливый путь, и я могу сказать вам от имени Евгения Константиныча, что он никогда и ничего подобного не желал, не желает и не может желать. В настоящем случае я буду действовать от его имени, со всеми полномочиями.

Такое грозное вступление не обещало ничего доброго, и Родион Антоныч совсем съежился, как человек, поставленный на барьер, прямо под дуло пистолета своего противника. Но вместе с тем у него мелькало сознание того, что он является козлом отпущения не за одни свои грехи. Последнее придавало ему силы и слабую надежду на возможность спасения.

— Ваше превосходительство! я, конечно, маленький человек... даже очень маленький, — заговорил дрогнувшим голосом Родион Антоныч, — и мог бы сложить с себя всякую ответственность по составлению уставной грамоты, так как она редактировалась вполне ответственными по своим полномочиям лицами, но я не хочу так делать, потому что, если что и делал, так всегда старался о пользе заводов... В этом вся моя вина, ваше высокопревосходительство. И я могу желать только одного: чтобы вы отнеслись вполне беспристрастно к делу. Вы желаете пользы заводам и должны убедиться, что рабочие ошибаются, предъявляя ни с чем несообразные требования.

Генерал внимательно слушал эту не совсем правильную речь и про себя удивился уму Родиона Антоныча, относительно которого он уже был предупрежден Ниной Леонтьевной, а также и относительно той роли, какую он играл у Раисы Павловны. Этот кукарский Ришелье начинал его интересовать, хотя генерал не мог преодолеть невольного предубеждения против него.

Игра втемную началась. Каждая сторона старалась сохранить за собой все выгодные стороны своей позиции, и генерал скоро почувствовал, что имеет дело с очень опытным и сильным противником, тем более что за ним стояла Раиса Павловна и отчасти Прейн. Из объяснений Родиона Антоныча он вынес на первый раз очень немного, потому что дело требовало рассмотрения массы документов, статистического материала и разных специальных сведений.

— Если позволите, я вам представлю по этому делу подробную докладную записку, ваше высокопревосходительство, — говорил Родион Антоныч.

— А это не затянет наших занятий? — спросил генерал, пытливо глядя на своего противника.

— Никак нет-с... — ответил Родион Антоныч, вынимая из бокового кармана своего сюртука довольно объемистую рукопись. — Я заранее приготовил ее, ваше превосходительство...

Перекинув несколько листов четко переписанной докладной записки, генерал сухо проговорил:

— Хорошо, мы еще увидимся с вами.

XIX

По исстари заведенному порядку заводовладелец давал официальный бал, на котором он обыкновенно знакомился со всем заводским обществом. Все приготовления к балу были кончены еще до приезда Лаптева; поэтому оставалось только назначить день, который и был выбран. Собственно, такие балы для слабой половины человеческого рода были единственным случаем, когда они имели возможность показать себя. Понятное дело, что главными действующими лицами здесь явились не жены и дочери мелких служащих, а представительницы заводского beau monde'а, более строгого и исключительного, чем всякий другой beau monde, что служит характеристической чертой провинциальных нравов вообще. В столичных центрах городская жизнь кипит ключом, разница общественного положения сглаживается по крайней мере в проявлениях

чисто общественной жизни, а в провинции таких нивелирующих обстоятельств не полагается, и перегородки между общественными группами почти непроницаемы, что особенно чувствуется женщинами, живущими слишком замкнутой жизнью, подобно тому как размещаются в музеях и зверинцах животные разных классов и порядков.

Понятное дело, что такое выдающееся событие, как бал, подняло страшный переполох в женском заводском мирке, причем мы должны исключительно говорить только о представительницах beau monde'a, великодушно предоставивших всем другим женщинам изображать народ, — другими словами, только декорировать собой главных действующих лиц. Если представители мужского beau monde'a, по деловым своим сношениям, по необходимости, становятся в близкие отношения к рядовым заводским служащим, не отмеченным перстом провидения, и принимают их у себя дома, как своих людей, то этого нельзя сказать относительно женщин. Здесь малейшее преимущество, каждый лишний рубль в жалованье мужа создает непроходимые преграды. Если, например, Родион Антоныч и другие заслуженные дельцы являлись своими в управительском кружке и появлялись даже на завтраках Раисы Павловны, то жене Родиона Антоныча, как существу низшего порядка, нельзя было и думать о возможности разделять общественное положение мужа.

Бал вызвал на сцену, кроме уж известных нам дам и девиц, целую плеяду женских имен: m-me Вершинина, тонкая и чахоточная дама, пропитанная бонтонностью; m-me Сарматова с двумя дочерьми, очень бойкая особа из отряда полковых дам; m-me Буйко, ленивая и хитрая хохлушка, блиставшая необыкновенной полнотой плеч и черными глазами; m-me Дымцевич, из польских графинь, особа с гонором; m-me Кашина с дочерью, представлявшая собой исключение в этой типичной группе как завзятая раскольница, находившаяся в периоде перерождения на дворянскую ногу управительского мирка, и т. д. Весь этот рой женщин, существование которого было совсем незаметно в мирное время, теперь выступил во всеоружии своих женских

желаний, надежд и домогательств. Они тоже имели право на самостоятельное существование и теперь заявляли это право в самой рельефной форме, то есть под видом новых платьев, дорогих кружев, бантов и тех дорогих безделушек, которые так красноречиво свидетельствуют о неизлечимом рабстве всех женщин вообще. Нужно ли говорить о том, какая борьба закипела на этом ограниченном поле сражения. M-me Дымцевич выписала себе специально платье для этого бала из Варшавы, m-me Буйко и m-me Тетюева ограничились Петербургом, m-me Вершинина — Москвою и т. д. Едва ли генералу Блинову были известны те сравнительные методы исследования, какие проявили кукарские дамы на изучение, распланировку и применение своих бальных костюмов. Никакой химик не достиг, вероятно, такой точности в своей работе, и величайшие математики позавидовали бы смелому полету воображения. Для философа оставался неразрешимым вопрос о том, для какой цели затрачивался такой громадный запас энергии, если в мировой системе не пропадает даром ни один атом материи, ни один штрих проявившейся тем или другим путем мировой силы... Зачем? куда? для чего? И все это с единственной целью покружиться несколько часов и унести с собой свои тряпицы, как уносит бабочка помятые крылья.

Между тем виновник этой суеты сует проводил время в обществе клевретов и приспешников самым загадочным образом, точно он серьезно подготовлялся к чему-нибудь решительному, набирая силы. Дело в том, что Прейн серьезно взялся за дело и повел его опытной рукой. У генерала было несколько серьезных разговоров с Евгением Константинычем, причем подробно обсуждались разные дела, а главным образом вопрос об уставной грамоте. Прейн принимал иногда участие в этих беседах и осторожно выводил линию Тетюева, то есть в этом случае соглашался с генералом, который, конечно, как и многие другие ученые мужи, совсем не подозревал, в какую игру он играет.

— Меня это дело начинает занимать, — говорил Лаптев. — И, как мне кажется, настоящий состав

заводоуправления не вполне удовлетворяет необходимым требованиям... Как вы думаете, генерал?

— Я полагаю, что вам лучше всего будет выслушать мастеровых лично, — отвечал генерал, — это будет спокойнее и для них.

— И, кроме того, можно выслушать мнение других лиц, компетентных в этом деле, — прибавил Прейн. — По моему мнению, Евгений Константиныч, следует составить маленькую консультацию, с участием людей посторонних, близко знакомых с этим делом, но не заинтересованных в нем.

Лаптев с удивлением слушал Прейна, который, против своего обыкновения, сегодня говорил серьезно, что с ним случалось крайне редко, так что его повелитель имел полное право удивляться. Генерал тоже имел свои основания не понимать Прейна, хотя и знал его сравнительно еще очень недавно. Но, вероятно, всех больше удивился бы и даже пришел бы в священный ужас наш уважаемый Родион Антоныч, если бы имел удовольствие слышать настоящий разговор, когда Прейн выдавал Раису Павловну вместе с ее Ришелье прямо на растерзание «компетентных, но не заинтересованных в этом деле лиц».

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Лаптев Прейна, обращаясь с ним на «вы», что можно было объяснить только его безграничным удивлением.

— Я уже сказал, что, по моему мнению, не дурно бы составить маленькую консультацию из специалистов, — повторил Прейн. — А на помощь к ним можно будет пригласить в качестве нейтрального элемента председателя здешней земской управы господина Тетюева... Он, кстати, кажется, теперь живет на заводах.

— Что-то знакомая фамилия? — спрашивал Лаптев. — Я точно где-то ее слышал...

— О, конечно, слышали сотни раз! Отец настоящего Тетюева был вашим главным управляющим до Горемыкина.

— Да, да... Горемыкин мне нравится, — в раздумье проговорил Лаптев. — Конечно, он почти слеп и плохо слышит, но он, кажется, честный человек... Как вы полагаете, генерал?

— Относительно Платона Васильича или господина Тетюева?

— Относительно обоих.

— О господине Тетюеве ничего не могу вам сказать, кроме того, что могу положиться на рекомендацию Альфреда Осипыча, который более меня знаком с заводами. А что касается Платона Васильича, я не отрицаю, что это безусловно честный человек, но в таком громадном предприятии, как заводское дело, кроме честности, нужно много кое-чего другого, чего, как я начинаю думать, Платону Васильичу недостает... Я скажу прямо, Евгений Константиныч: Платон Васильич, как все добрые люди, позволяет себя водить за нос разным пройдохам и доморощенным дельцам и смотрит на дело из вторых рук. Так что мы отчасти обязаны ему затруднениями и хлопотами по составлению уставной грамоты.

— Я тоже согласен с мнением генерала, — присоединил свой голос Прейн. — Если бы заменить Платона Васильича кем-нибудь другим, заводы много выиграли бы от этого, в чем я окончательно начинаю убеждаться.

Преследуя свою цель, Прейн забежал вперед генерала и предупредил то, что тот хотел высказать только после известной подготовки.

Этот серьезный разговор как раз происходил перед самым балом, когда Евгений Константиныч, одетый, завитой и надушенный, был уже совсем готов показаться в приемных залах господского дома, где с подавленным шорохом гудела и переливалась цветочная живая человеческая масса. Перед самым выходом к гостям генерал конфиденциально сообщил Прейну, что Нине Леонтьевне что-то сегодня нездоровится.

— Ага! — проговорил Прейн, делая нетерпеливый жест плечами.

— Она едва ли покажется вечером и просила меня извиниться за нее.

Прейн улыбнулся про себя. Нина Леонтьевна больна, значит, Раиса Павловна будет на балу... «О женщины, женщины!..» Известие о болезни Нины Леонтьевны не особенно огорчило Евгения Константиныча,

который желал теперь познакомиться с провинциальными красавицами.

Появление Лаптева, где собралось публики до двухсот человек, вызвало подавленную тишину, которая охватила все залы разом. Едва успел Евгений Константиныч сделать несколько шагов, как его засыпали рекомендациями. Мужья церемониальным шагом подводили своих жен, рекомендовали их, улыбались с смущенным достоинством и ретировались, уступая место другим парам, жаждавшим чести представиться самому «подателю светов». Таким образом продефилировали четы Майзелей, Вершининых, Дымцевич, Буйко и т. д. Евгений Константиныч с утонченной вежливостью подавал свою руку дамам и по-французски повторял стереотипные приветственные фразы, удивляясь их свежести, красоте, молодости и другим достоинствам. Сиреневое платье m-me Дымцевич, гранатное m-me Вершининой, небесно-голубое шелковое m-me Майзель, цвета свежескошенного сена m-me Буйко и какого-то необыкновенного канареечного цвета m-me Сарматовой произвели свой эффект, переливаясь в глазах Евгения Константиныча всеми цветами солнечного спектра. Девицы явились в самых бледных тонах, как слабое отражение своих maman, или совсем в белых платьях. Чадолюбивые мамаши, конечно, постарались обнажить все, что допускали общественные приличия, но Евгений Константиныч на своем веку видел столько голых плеч и рук, что его трудно было удивить. Прейн улыбался, сыпал любезностями и все что-то отыскивал глазами в переливавшейся кругом толпе.

— Моя жена, Раиса Павловна... — послышался голос Платона Васильича, который должен был представиться первым, но, по своей рассеянности, попал в последние.

— Очень рад, очень рад... — бормотал Евгений Константиныч, любезно подавая руку Раисе Павловне, которая остроумно и непринужденно извинилась за свою болезнь.

Прейн критически оглядел Раису Павловну и остался ею доволен. Вечером в своем платье «цвета медвежьего уха» она была тем, чем только может быть

в счастливом случае женщина ее лет, то есть эффектна и прилична, даже чуть-чуть более. При вечернем освещении она много выигрывала своей статной фигурой и смелым типичным лицом с взбитыми белокурыми волосами.

— Могу пригласить вас на вальс? — говорил Евгений Константиныч, обязанный открыть танцы.

Полилась с хор музыка, и пары полетели одна за другой, смешавшись в цветочный вихрь, где людей из-за волновавшейся разноцветной материи трудно было различить. Приличные «почти молодые люди» отличались особенным усердием, работая ногами с изумительным искусством. Прейн отыскал m-lle Эмму и кружился с ней, нашептывая что-то ей на ухо. Аннинька танцевала с Братковским, совсем распустившись у него на руках, «как подкошенный цветок». Она не танцевала, а летала по воздуху, окрыленная чувством, и смотрела на своего улыбавшегося уверенной улыбкой кавалера глазами, полными негой.

— Теперь я могу вас познакомить с нашими красавицами, — говорила Раиса Павловна, когда Евгений Константинович выводил ее из кружившейся толпы.

Раиса Павловна подвела своего кавалера к Наташе Шестеркиной и m-lle Канунниковой. Потом той же участи подверглись Аннинька и m-lle Эмма. По лицу Евгения Константиныча Раиса Павловна сразу заметила, что ее придворные красавицы не произвели на него никакого впечатления, хотя открытые плечи Наташи Шестеркиной могли выдержать самую строгую критику.

— Ах, чуть не забыла! я представлю вам еще одну молоденькую барышню, — спохватилась Раиса Павловна, проталкиваясь с своим кавалером в следующую комнату, где на голубом шелковом диванчике сидела Луша в обществе Кормилицына.

— Вот, Гликерия Витальевна... — равнодушно проговорила Раиса Павловна, чувствуя, что у ней за плечами улыбается довольной улыбкой Прейн.

Луша поднялась с своего диванчика и неловко подала руку Евгению Константинычу, который неподвижно, с застывшей улыбкой на губах, смотрел на ее

белое кисейное платье, на скромно открытые плечи, на несложившиеся руки с розовыми локтями, на маленькую розу, заколотую в темной волне русых волос. Девушка была хороша, она сознавала и чувствовала это и спокойно перенесла бесцеремонный, усталый взгляд. Ее молодое лицо было серьезно и тихо освещалось уверенным взглядом ее прекрасных карих глаз. Прейн, прищурившись, тоже смотрел на нее, как смотрели другие, и под этим перекрестным огнем удивленных взглядов она оставалась такой же спокойной и уверенной в себе, как в первый момент. Раиса Павловна задыхалась от волнения, чувствуя, как вся кровь хлынула ей в голову: этот момент был самым решительным, и она ненавидела теперь Прейна за его нахальную улыбку, за прищуренные глаза, за гнилые зубы.

Евгений Константиныч пригласил Лушу на первую кадриль и, поставив стул, поместился около голубого диванчика. Сотни любопытных глаз следили за этой маленькой сценой, и в сотне женских сердец закипала та зависть, которая не знает пощады. Мимо прошла m-me Майзель под руку с Летучим, потом величественно проплыла m-me Дымцевич в своем варшавском платье. Дамы окидывали Лушу полупрезрительным взглядом и отпускали относительно Раисы Павловны те специальные фразы, которые жалят, как укол отравленной стрелы.

— Ничего, вы хорошо ведете свои дела! — говорил Прейн, когда Раиса Павловна шла с ним под руку.

— Не понимаю.

— А я отлично понимаю! Чертовски красивая девочка, и я только могу удивляться, где вы могли отыскать такую.

— Еще раз не понимаю вас, — сухо ответила Раиса Павловна по-французски. — Чему вы улыбаетесь?

Прейн ничего не ответил, а только чмокнул губами. Раиса Павловна окончательно возненавидела этого человека, который совсем не хотел и не мог ее понять.

— А мы вас сегодня решили сменить, — с улыбкой заметил Прейн. — Только еще не решили, кого выбрать на место Платона Васильича. Генерал уважает

его как честного человека, но что-то имеет против него...

— Это старая новость.

— Да? Я с своей стороны предложил пригласить Тетюева в качестве консультанта.

— Вы с ума сошли, Прейн?!.

— О, совсем напротив... Я иду прямо к цели. Ага! посмотрите, как Евгений Константиныч идет на вашу удочку!

В это время мимо них прошел Лаптев; он вел Лушу, отыскивая место для кадрили. Девушка шла сквозь строй косых и завистливых взглядов с гордой улыбкой на губах. Раиса Павловна опять испытывала странное волнение и боялась взглянуть на свою любимицу; по восклицанию Прейна она еще раз убедилась в начинавшемся торжестве Луши.

— Что с вами? — удивился Прейн, взглянув на побледневшее лицо своей дамы.

— Так... пройдет. Вы не поймете меня...

— Тайна? — насмешливо спросил Прейн.

— Да... для вас.

Раиса Павловна издали все время старалась наблюдать за Лушей, пока шла первая кадриль. Танцевала Луша безукоризненно, с какой-то строгой грацией.

— На следующую кадриль я могу вас пригласить? — спрашивал Евгений Константиныч свою даму.

— Нет... Я танцую с доктором.

— А следующую за этой следующей?

— Хорошо.

Лаптев передал Лушу на руки Раисы Павловны, и они втроем болтали с полчаса на том же голубом диванчике, где Луша сидела с доктором. Лаптев заметно оживился, и на его дряблых щеках показался слабый румянец; он говорил комплименты, острил и постоянно обращался к Раисе Павловне, как к третейскому судье. Раиса Павловна пустила в ход все свои знания светской жизни, чтобы сделать незаметным то расстояние, которое разделяло Лушу от подержанного молодого магната. При ее помощи Луша могла показаться с своей лучшей стороны и отвечала на любезности своего кавалера с остроумной находчивостью.

— Знаете, Гликерия Витальевна, что я подумал, когда в первый раз увидел вас? — говорил Лаптев дружеским тоном. — Угадайте!

— Очень просто. Вы думали: какие эти провинциальные девицы скучные, не отличишь одну от другой.

— Ах, нет... Я подумал, что можно ли быть красивой так... так бессовестно!.. Ведь это несправедливо со стороны природы — наделить одну всеми дарами в ущерб остальным...

— Вы не обидитесь, Евгений Константиныч, если я скажу одну маленькую правду? — с лукавой улыбкой спросила Луша.

— Нет... Я никогда не мог бы рассердиться на вас.

— Зачем вы говорите со мной в таком тоне, как говорят пехотные офицеры, когда хотят рассмешить провинциальную барышню...

— О, вот вы какая злая!.. — засмеялся Лаптев.

Раиса Павловна незаметно удалилась, предоставив молодых людей самим себе. Теперь она была уверена за Лушу. А Луша в это время с оживлением рассказывала, с каким нетерпением все ждали приезда заводовладельца, и представила в самом комическом свете его въезд в господский дом.

— Вы не знаете, кто стоял тогда во втором этаже господского дома, второе окно слева? — спрашивал Лаптев. — О, я тогда же заметил вас... Ведь это были вы? Да?

Луша засмеялась и замолчала. Лаптев заложил ногу за ногу, начал жаловаться на одолевавшую его скуку, на глупые дела, с которыми к нему пристает генерал каждый день, и кончил уверением, что непременно уехал бы завтра же в Петербург, если бы не сегодняшняя встреча.

— Я опять начинаю говорить, как пехотный офицер, — смеялся Лаптев. — Но меня делает глупым неожиданное счастье.

— Слишком большое счастье вообще опасно; поэтому мне ничего не остается, как только оставить вас, Евгений Константиныч. Вон мой кавалер меня отыскивает.

— Доктор?

— Да.

— Вы позволите мне ему позавидовать? Он, кажется, пользуется особенными преимуществами...

— Да. Доктор — мой жених.

Лаптев с ленивой улыбкой посмотрел на подходившего Яшу Кормилицына и долго провожал Лушу глазами, пока она не скрылась в толпе, опираясь на руку своего кавалера.

— Каков бесенок? — спрашивал по-английски точно вынырнувший из-под земли Прейн.

— Странно, что она совсем не походит на других, — заметил Лаптев, зевая.

— Это воспитанница Раисы Павловны, — объяснил Прейн, засовывая руки в карманы.

— А вы не знаете, кто эта девушка?

— Гликерия Витальевна?

— Да. Дьявольски мудреное имя, нужно язык переломить пополам, чтобы выговорить его. Кто она такая?

— Дочь инспектора школ... Товарищ генерала по университету, по фамилии Прозоров.

— Ага!

Раиса Павловна не упускала Лаптева из вида все время, пока он разговаривал с Прейном. Она заметила, как m-me Дымцевич несколько раз прошла мимо них, волоча свой шелковый трен; потом то же самое проделали — m-me Майзель и m-me Вершинина. Ясное дело, что они добивались приглашения Евгения Константиныча и не получили его. «Этакие дурищи!» — со злостью думала Раиса Павловна, меряя своих врагов с ног до головы. Она торжествовала, упоенная успехом своей Луши, и не замечала, как Аннинька совсем прильнула к Братковскому, а m-lle Эмма слишком долго разговаривала в темном уголке с Перекрестовым.

Бал кипел. В комнатах подальше толпились мелкие служащие, наблюдавшие Лаптева только издали. Некоторые для смелости успели подвыпить, и женам стоило большого труда удержать их на месте, подальше от управителей. Мимо Раисы Павловны прошли Майзель и Вершинин и злобно посмотрели на нее, потом торопливо пробежал Родион Антоныч, походивший в своей

черной паре на хомяка. Он издали раскланялся с Раисой Павловной и молча указал глазами на Лаптева, который отыскивал Лушу. Да, это была крупная победа, и Раиса Павловна не могла удержаться, чтобы не подумать: «А, господа, что, взяли!..»

— Царица Раиса... несравненная из несравненных! — послышался около нее разбитый голос Прозорова, заставивший ее вздрогнуть.

— А вы как сюда попали? — сухо спросила его Раиса Павловна, не подавая руки. — И уж, кажется, готов... Господи! как от вас водкой разит.

— Это только одна внешность, царица Раиса! — бормотал Прозоров заплетавшимся языком. — А душа у меня чище в миллион раз, чем... Видели генерала Мирона? Ха-ха... Мы с ним того... побеседовали... Да-а!.. А где Луша?

— Она с доктором танцует.

— Ну, пусть ее срывает цветы удовольствия в свою долю... Яшка — славный парень... Царица Раиса! а мы с вами не пустимся в кадриль?

— Нет, благодарю вас... Наша кадриль давно протанцована. Ах, уйдите, пожалуйста! Сюда идет Евгений Константиныч...

Родион Антоныч заметил осадное положение Раисы Павловны и поспешил к ней на выручку. Он подхватил Прозорова под руку и потащил его в буфет.

— Родька, ведь ты настоящий Иуда Искариотский! — бормотал Прозоров. — И, наверно, тридцать сребренников в кармане у тебя шевелятся... Ведь шевелятся? Постой, это с кем Лаптев идет... Ведь это моя Лукреция!.. Постой, Иуда, я ее уведу домой... Раиса Павловна сказала, что она танцует с Яшкой.

Родион Антоныч загородил дорогу порывавшемуся вперед Прозорову и, мягко обхватив его в свои объятия, увлек к буфету. Прозоров не сопротивлялся и только махнул рукой. В буфете теперь были налицо почти все заговорщики, за исключением доктора и Тетюева. Майзель, выпячивая грудь и внимательно рассматривая рюмку с каким-то мудреным ликером, несколько раз встряхивал своей коротко остриженной седой головой.

— Я говорил, что нужно действовать быстро и решительно, — говорил Майзелю подвыпивший Сарматов. — Вот теперь и пеняйте на себя, что тогда меня не послушались...

— Ничего вы не говорили, — обрезал его сердито Вершинин. — Это у вас воображение разыгралось. Действительно, нам следовало предупредить Раису Павловну, но она оказалась значительно нас всех умнее...

— Погодите еще, гусей по осени считают! — процедил Майзель.

— Если нас принять за гусей, то можно сосчитать и теперь, — говорил Сарматов. — Я говорил, не хотели меня слушать.

Появившийся Прозоров нарушил эту интимную беседу. На него покосились, а Сарматов, схватив за руку, начал поздравлять с «милостью».

— Что-то плохо понимаю... — бормотал озабоченный Прозоров, но потом спохватился и побледнел как полотно.

— Лукерья Витальевна протанцевала уже две кадрили с Евгением Константинычем, — пояснил Сарматов, подмигивая Вершинину, и многозначительно прибавил: — А знаете, чем дело пахнет, когда сразу протанцуют три кадрили?

Прозоров взглянул на Сарматова какими-то мутными осоловелыми глазами и даже открыл искривившийся рот, чтобы что-то ответить, но в это время благодетельная рука Родиона Антоныча увлекла его к столику, где уже стоял графин с водкой. Искушение было слишком сильно, и Прозоров, махнув рукой в сторону Сарматова, поместился за столом, рядом с Иудой.

— Ну, иудейская закваска, наливай! — ласково шептал Прозоров, улыбаясь блаженной улыбкой. — Вот у меня какой характер: знаю, что ты из подлецов подлец, а не могу тебе отказать...

— Ах, какие вы слова говорите! — с ужасом шептал Родион Антоныч, оглядываясь по сторонам на разговаривавшие кучки служащих.

— Слова... Да, слова говорю... — в раздумье говорил Прозоров, хлопая две рюмки водки. — Тебя царица

Раиса приставила ко мне? Ну, не отпирайся... Она боится меня! Тебе, Иуда, никогда этого не понять...

— А я вам скажу одно, Виталий Кузьмич, — вкрадчиво шептал Сахаров, тоже вкушая единую от трудов праведных, — какая голова у вас, Виталий Кузьмич! Ах, какая голова!.. Если бы к этой голове да другой язык — цены бы вам не было...

— Так, змий-искуситель, так! язык мой — враг мой. Постой, что я тебе скажу... Ах, да... три кадрили...

Выпив рюмку, Прозоров впал в ожесточенное настроение, поправил лихорадочно свои волосы и опять направился было к разговаривавшим управителям.

— Виталий Кузьмич! Виталий Кузьмич!.. — шептал Сахаров, удерживая Прозорова за рукав. — Это дело нужно оставить... Ей-богу, так: оставить. Выпьемте лучше по рюмочке...

— Нет, я им покажу третью кадриль! — горячился Прозоров, пошатываясь на месте. — Эта артиллерийская лошадь добивается хлыста...

— Охота вам руки марать о таких людей, Виталий Кузьмич!

Эта выходка рассмешила Прозорова, и он несколько мгновений пытливо смотрел на своего дядьку.

— Я так полагаю, что умный человек прежде всего должен уважать себя, — продолжал Сахаров. — Особенно человек с высшим образованием... Я вам по совести говорю!

— А ведь у тебя ума палата, Родька! Право... Разбирая строго логически, это не ум, а хитрость, но если хитрость делается дьявольской, тогда ее можно назвать даже умом.

— Какой уж у нас ум, Виталий Кузьмич! Так, бродим в потемках — вот и весь наш ум. Если бы вот высшее образование, тогда другое дело...

Генерал Блинов присутствовал на бале, хотя и не принимал никакого участия в общем веселье, потому что был слишком занят своими собственными мыслями, которые были взбудоражены мужицкой бумагой. Он все время разговаривал с Платоном Васильичем, который среди этой кружившейся легкомысленной толпы чувствовал себя совсем чужим человеком. Поместив-

шись в уголке, эти люди не от мира сего толковали о самых скучнейших материях для непосвященного: о пошлинах на привозной из-за границы чугун, о конкуренции заграничных машинных фабрикантов, о той всесильной партии великих в заводском мире фирм с иностранными фамилиями, которые образовали государство в государстве и в силу привилегий, стоявших на стороне иностранных капиталов, давили железной рукой хромавшую на обе ноги русскую промышленность. Платон Васильич понимал все это дело, и генерал с удовольствием слушал, что он вполне разделяет его взгляды, хотя не мог помириться с Горемыкиным как с главным управляющим Кукарских заводов.

— Наша задача — выбить эти фирмы из их позиции, — глубокомысленно говорил генерал. — Мы устроим ряд специальных съездов в обеих столицах, где представители русской промышленности могут обсудить свои интересы и выработать программу совместного действия. Нужно будет произвести известное давление на министерства и повести отчаянную борьбу за свое существование.

К ним подсел Перекрестов и, вслушавшись в разговор, поспешил, конечно, выразить свое полное сочувствие этим планам и даже предложил свою посильную помощь, насколько он мог быть полезен в качестве представителя русской прессы, задачи которой, и т. д. Генерал заговорил о наших технических выставках, которые служили яркой иллюстрацией того печального положения русских заводов, которое создалось под влиянием сильной иностранной конкуренции. Необходимы были крутые меры и энергический отпор со стороны сплоченной массы русских заводчиков, чтобы вырвать зло с корнем. Все эти машиностроительные заводы из иностранного чугуна, все фабрики иностранных фирм и их склады должны исчезнуть сами собой, вместе с теми субсидиями и гарантиями, какими в настоящую минуту они пользуются от русского правительства.

— Я далек от мысли осуждать промышленную политику правительства вообще, — говорил генерал, разглаживая усы. — Вообще я друг порядка и крепкой

власти. Но вместе с тем интересы русской промышленности, загнанные иностранными капиталами в дальний угол, заставляют нас принять свои меры. Кэри говорит прямо...

Перекрестов соглашался, кивал головой и даже вытащил из кармана написанную корреспонденцию с Урала, в которой он вполне разделял взгляды генерала. Русская пресса слишком ценит интересы русского горного дела, чтобы не поднять своего голоса в их защиту. Генерал считал Перекрестова пустым малым вообще, но в этом случае вполне одобрял его, потому что, как хотите, а даже и русская пресса — сила. Он даже пообещал Перекрестову посвятить его в свои планы самым подробным образом, документально, как выразился генерал; Платон Васильич тоже обещал содействовать представителю русской прессы.

— Мы должны высоко держать знамя русских интересов! — патетически восклицал Перекрестов своим гнусавым голосом.

Можно было бы представить себе изумление этих двух простецов, если бы они знали, что Перекрестов — замаскированный агент тех иностранных фирм, в поход против которых собирался генерал Блинов вместе с своим излюбленным Кэри. Иностранное золото гоняло продажного корреспондента по всему свету, а теперь его миссия заключалась в том, чтобы проникнуть в планы генерала Блинова, поездка которого на Урал серьезно беспокоила немецких, французских и английских коммерсантов, снабжавших Россию железными изделиями. Теперь Перекрестов с удовольствием потирал руки, обдумывая трескучий фельетон в духе генерала, и в то же время он продавал этого генерала своим патронам. Обыкновенно думают, что беспардонные люди, вроде Перекрестова, только смешны — не больше, но это одно из общих печальных заблуждений: из таких маленьких пакостей складывается иногда громадное зло. Кроме разведки по части планов генерала Блинова, Перекрестов еще имел специальное поручение объехать весь Урал, чтобы навести справки о проектируемой здесь сети железных дорог, чтобы вперед обеспечить сбыт вагонов, локомотивов и рельсов иностран-

ного дела. Собранный этим путем материал потом пройдет через горнило передних, черных ходов и тех «узких врат», которыми входят в царство гешефтов князья и короли русской промышленности.

Раиса Павловна, может быть, одна из всех несколько понимала предательскую натуру Перекрестова и подозрительно следила за ним все время. Ее женский инстинкт досказал то, чего не мог проникнуть генерал с своими широкими финансовыми планами и всей эрудицией. Она пыталась подслушать этот интимный разговор, но Перекрестов уже заметил ее и не поддавался в ловушку. Он хорошо знал, что значат некоторые дамы в деловых сферах, и поэтому побаивался Раисы Павловны, о которой собрал необходимые сведения еще в Петербурге.

А музыка лилась; «почти молодые люди» продолжали работать ногами с полным самоотвержением; чтобы оживить бал, Раиса Павловна в сопровождении Прейна переходила от группы к группе, поощряла молодых людей, шутила с своей обычной откровенностью с молодыми девушками; в одном месте она попала в самую веселую компанию, где все чувствовали себя необыкновенно весело, — это были две беззаботно болтавшие парочки: Аннинька с Братковским и Летучий с m-lle Эммой. Последний был сегодня особенно в ударе и выгружал неистощимый запас самых пикантных анекдотов, заставлявших галок хихикать, краснеть и даже закрываться. Это было «немного слишком», но Раиса Павловна смотрела сегодня на все сквозь пальцы, наблюдая только одну Лушу. Она гордилась своим созданием и вынашивала теперь в своей душе самый отчаянный и несбыточный план, который испугал бы даже Прейна, если бы он мог подслушать истинный ход мыслей своей дамы.

— Бал удался... — подчеркивая слова, говорил Прейн. — Вы не можете на него пожаловаться, Раиса Павловна.

— Увидим.

— Посмотрите, какой фурор производит ваша Прозорова... Если бы я был моложе на десять лет, я не поручился бы за себя.

Раиса Павловна начала расспрашивать его о Гортензии Братковской, но Прейн так неловко принялся лгать, что дальнейший разговор продолжать в том же тоне было совершенно излишне.

Бал кончился только к четырем часам утра, когда было уже совсем светло и во все окна радостно смотрело поднимавшееся июньское солнце. Измученная публика потянулась к выходу, унося в душе смутное впечатление недавней суеты. Свечи догорали в люстрах и канделябрах, на полу валялись смятые бумажки от конфет и апельсинные корки, музыканты нагружались в буфете, братаясь с запоздалыми подкутившими субъектами, ни за что не хотевшими уходить домой. Из всей публики осталось только избранное общество, которое получило приглашение к ужину. Дамы были бледны и смотрели усталыми, покрасневшими глазами; смятые платья и разбившиеся прически дополняли картину. Женщины походили на толпу мух, побывавших в меду и запачкавших крылья. Легкомысленная молодость еще продолжала улыбаться, не отдавая себе отчета в происходившем кругом и жалея только о том, что балы не продолжаются вечно. Зато чадолюбивые мамаши сейчас же подвели итоги всему: галки остались незамеченными, Канунникова и Шестеркина тоже, Луша вела себя непозволительно и бессовестно вешалась сама на шею Евгению Константинычу, который танцевал, кроме нее, только с m-me Дымцевич и m-me Сарматовой. Когда у Луши в руках появился букет из чайных роз, негодование дам перешло все границы, и они прямо поворачивались к ней спинами. Раиса Павловна торжествовала, переживая лихорадочное состояние. Она ходила теперь по залам под руку с Лушей, поправляла ей волосы и платье и потихоньку несколько раз поцеловала ее. Сама Луша выглядела усталой, щеки у нее побледнели, но прекрасные глаза смотрели мягким, удовлетворенным взглядом. Раиса Павловна крепко прижимала ее маленькую руку к себе, чувствуя, как из вчерашней девочки возрождается чарующая красавица.

Ужин прошел весело. Сарматов и Летучий наперерыв рассказывали самые смешные истории. Евгений

Константиныч улыбался и сам рассказал два анекдота; он не спускал глаз с Луши, которая несколько раз загоралась горячим румянцем под этим пристальным взглядом. M-r Чарльз прислуживал дамам с неизмеримым достоинством, как умеют служить только слуги хорошей английской школы. Перед дамами стояли на столе свежие букеты.

Раиса Павловна была сегодня хозяйкой и вела себя с тактом великосветской женщины; она умела поддержать разговор и несколько раз очень ядовито прошлась насчет «почти молодых людей».

— Ну, что, мой ангел? — спрашивала Раиса Павловна свою любимицу, когда ужин кончился. — Весело тебе было, моя крошка?

— Сначала было весело... — уклончиво ответила Луша, лениво потягиваясь.

Этот ответ заставил улыбнуться опытную Раису Павловну: «мой ангел» хотел быть счастливым один... Желание настолько законное, против которого трудно было что-нибудь возразить.

XX

Через несколько дней после бала Евгений Константиныч сделал визит Раисе Павловне и Майзелю. Это было выдающееся событие, которое толковалось умудренными во внутренней политике людьми различно. Партия Тетюева была крайне недовольна сближением Евгения Константиныча с Раисой Павловной; от такого знакомства можно было ожидать всего, тем более что тут замешалась Луша. В действительности визит Лаптева к Раисе Павловне был самого невинного свойства, и она приняла его даже несколько холодно.

— А где эта... эта ваша родственница? — спрашивал Лаптев, когда по правилам вежливости ему оставалось только уйти.

— Какая родственница? — удивилась Раиса Павловна. — Анинька?

— Нет, не то... Еще такое длинное имя.

— Mademoiselle Эмма?

— Ах, не то.

— Наташа Шестеркина? Канунникова?

— Нет.

Прейн улыбнулся про себя, но предоставил своего высокого покровителя в жертву своему коварному другу.

— Ах, да... — равнодушно припоминала Раиса Павловна. — Вы хотите сказать о Гликерии Виталиевне?

— Да, да. Именно про нее: Гликерия... Гликерия...

— Она немножко больна, Евгений Константиныч. Бал расстроил ее нервы... Ведь она еще совсем девочка, недавно ходила в коротеньких платьицах.

— Отец у ней, кажется, служит на заводах?

— Да. Он тоже не совсем здоров...

Этим разговор и кончился. После Лаптева на Раису Павловну посыпались визиты остальных приспешников: явились Перекрестов с Летучим, за ними сам генерал Блинов. Со всеми Раиса Павловна обошлась очень любезно, памятуя турецкую пословицу, что один враг сделает больше зла, чем сто друзей добра.

После Раисы Павловны и Майзеля Евгений Константиныч отправился в генеральский флигелек навестить больную Нину Леонтьевну. Эта последняя приняла его очень радушно и засыпала остроумным разговором, причем успела очень ядовито пройтись относительно всего кукарского общества. Евгений Константиныч слушал ее с ленивой улыбкой и находил, что болезнь не отразилась на ее умственных способностях в дурную сторону, а даже напротив, как будто еще обострила этот злой мозг.

— Я убежден, — говорил Прейн, когда они возвращались из флигелька, — я убежден, что у этой бабы, как у змеи, непременно есть где-нибудь ядовитая железка. И если бы у ней не были вставные зубы, я голову готов прозакладывать, что она в состоянии кусаться, как змея.

— Но змея очень остроумная, — прибавил Евгений Константиныч, припоминая выходки остроумного урода.

— Да, да...

Сарматов лез из кожи, чтобы угостить набоба любительскими спектаклями и делал по две репетиции в

день. С артистами он обращался, как с преступниками, но претензий на директора театра не полагалось, потому что народ был все подневольный, больше из мелких служащих, а женский персонал готов был перенести даже побои, чтобы только быть отмеченным из среды других женщин в глазах всесильного набоба. Особенно доставалось Наташе Шестеркиной с ее наливными плечами; Сарматов обращался с ней, как с пожарной лошадью, так что это наивное создание даже плакало за кулисами.

— Пожалуйста, уберите коленки, Наталья Ефимовна! — кричал Сарматов на весь театр, представлявший собой большую казарму, в которой раньше держали пожарные машины. — Можно подумать, что у вас под юбками дрова, а не ноги...

Эта Наташа Шестеркина была очень симпатичная и миловидная девушка, хотя немножко и простоватая. Свежее лицо с завидным румянцем и ласковыми серыми глазами манило своей девичьей красой; тяжелая русая коса и точно вылепленные из алебастра плечи могли нагнать тоску на любого молодца, конечно, не из разряда «почти молодых людей», предпочитающих немного тронувшийся товар. Канунникова тоже была красивая девушка, только в другом роде. Такие типы встречаются в старых раскольничьих семьях. Высокая, с могучей грудью и серьезным лицом, она в русском сарафане была замечательно эффектна, хотя густые соболиные брови и строго сложенные полные губы придавали ей немного сердитый вид. Какая сила выдвинула этих русских красавиц на грязные театральные подмостки, где над ними ломался какой-нибудь прощелыга Сарматов? Имя этой силе — тщеславие... Раиса Павловна отлично умела пользоваться этой человеческой слабостью в своих целях и теперь с свойственным ей бессердечием подвергла двух юниц тяжелому испытанию.

После кровавой битвы с артистами и репертуаром Сарматов, наконец, поставил «Свадьбу Кречинского». В этой пьесе он сам играл Расплюева и, нужно отдать ему справедливость, играл хорошо, а роль Кречинского обязательно взял на себя Перекрестов. Вместо воде-

виля шла «Русская свадьба». В день спектакля зала театра, конечно, была битком набита. Набоб заставил себя подождать, и скептики уже начинали уверять, что он уехал на охоту, но были опровергнуты появлением Евгения Константиныча во фраке и белом галстуке. Во время спектакля он внимательно осматривал зрителей, отыскивая кого-то глазами.

— Раисы Павловны, кажется, нет? — спросил он, наконец, Прейна.

— Нет... Она немного больна, — ответил Прейн. — Нина Леонтьевна здесь.

Лаптев не досидел до конца спектакля и, послав Наташе Шестеркиной за ее плечи букет, уехал домой.

На следующий спектакль, когда шла «Бедность не порок», Раиса Павловна присутствовала, а Нина Леонтьевна была больна. Даже Евгений Константиныч не мог не заметить такого странного совпадения и спросил Раису Павловну:

— Меня несколько удивляет ваше здоровье, Раиса Павловна. Не отражается ли его состояние на других особах?

— Что вы хотите этим сказать, Евгений Константиныч? — вспыхнула Раиса Павловна, не понимая вопроса.

— О, успокойтесь... Я не имел в виду тех особ, которые поправляются, а тех, которые постоянно больны.

— Труднобольные, вероятно, найдут себе помощь в докторских советах... Я тут решительно ни при чем.

Этот ответ заставил Прейна улыбнуться.

— Вы очень зло отвечаете, — проговорил Лаптев после короткой паузы. — Я всегда уважаю докторов, за исключением тех случаев, когда они выходят из пределов своей специальности. Впрочем, в данном случае докторские советы должны принести двойную пользу, и мне остается только пожалеть, что я совершенно профан в медицине.

Разговор шел по-французски, и любопытные уши m-me Майзель не могли уловить его, тем более что эта почтенная матрона на русско-немецкой подкладке говорила сама по-французски так же плохо, как неподко-

ванная лошадь ходит по льду. Но имя доктора она успела поймать и отыскала глазами Яшу Кормилицына, который сидел в шестом ряду; этот простец теперь растворялся в море блаженства, как соль растворяется в воде, потому что Луша, которая еще так недавно его гнала, особенно после несчастного эпизода с «маринованной глистой», теперь относилась к нему с особенным вниманием. Доктор каждый день бывал в прозоровском флигельке и проводил там по нескольку часов. Он натащил туда своих любимых книжек и читал Луше тонким тенориком. Луша обыкновенно слушала его очень внимательно и только раз прервала эти занятия вопросом:

— А вы не знаете английского языка, Яков Яковлич?

Яков Яковлич с грехом пополам читал английские книжки, но не владел секретом английского произношения. Он только мог удивляться, зачем Луше понадобился английский язык. На душе у доктора лежало камнем одно обстоятельство, которое являлось тучкой на его небе, — это проклятый заговор, в котором он участвовал. По всей вероятности, он откровенно исповедался бы во всем Луше, но его удерживало то, что тут была замешана Раиса Павловна, которая распоряжалась Лушей, как завоеванной провинцией. Несколько раз доктор думал совсем отказаться от взятой на себя роли, тем более что во всем этом деле ему было в чужом пиру похмелье; он даже раза два заходил к Майзелю с целью покончить все одним ударом, но, как все бесхарактерные люди, терялся и откладывал тяжелое объяснение до следующего дня. Заговорщики, по настоянию Майзеля, должны были спешить протестом, но любительские спектакли мешали выбрать подходящий момент. Крайний срок был назначен после второго спектакля, и теперь Яша Кормилицын, сидя в шестом ряду, испытывал неприятные мучения совести, особенно когда в антрактах встречался с Раисой Павловной. Он в сотый раз начинал рассуждать на тему, зачем он согласился произнести протест перед Лаптевым, и в сотый раз находил, что поступил очень глупо.

На другой день после второго спектакля, рано утром, доктор получил записку от Майзеля с приглашением явиться к нему в дом; в post scriptum'е [1] стояла знаменательная фраза: «по очень важному делу». Бедный Яша Кормилицын думал сказаться больным или убежать куда-нибудь, но, как нарочно, не было под руками даже ни одного труднобольного. Скрепя сердце и натянув залежавшийся фрачишко, доктор отправился к Майзелю. Заговорщики были в сборе, кроме Тетюева.

— Господа, я, право, не знаю, сумею ли я... — начал было доктор, но его протест был заглушен взрывом общего негодования.

— По-ря-доч-ные ллюди так не ппо-сту-па-ют... — цедил Майзель, подступая к самому носу доктора. — Вы хо-ти-те продать нас или уже про-да-ли?..

— Я знаю причину, почему доктор изменяет нам, — заявил Сарматов, находившийся в самом игривом настроении духа. — Выражаясь фигурально, на его уста положила печать молчания маленькая ручка прекрасной юной волшебницы.

Это фигуральное выражение довело общее негодование до последних границ, и доктору ничего не оставалось, как только покрыть свой грех самым строгим исполнением долга.

В час дня, когда просыпался Евгений Константиныч, заговорщики уже были в приемных комнатах господского дома, во фраках, с вытянутыми лицами и меланхолически-задумчивым выражением в глазах. Особенно хорош был Майзель. Раздувая грудь, как турман, он в последний раз делал внушения доктору, который теперь должен действовать во имя заводов и пятидесятитысячного заводского населения. Вершинин и Сарматов принужденно улыбались, глядя на вялую, точно выжатую фигуру доктора, который глупо хлопал глазами. Дымцевич, как всегда, ощипывался, как воробей перед дождем, а Буйко глухо кашлял. Когда лакей заявил, что Евгений Константиныч встали и прини-

---

[1] приписке (*лат.*).

мают, Яша Кормилицын сделал инстинктивное движение к выходным дверям, но его схватила железная рука Майзеля и втолкнула в кабинет набоба. Общее изумление на мгновение всех заставило оцепенеть, когда в кабинете Евгения Константиныча, кроме самого хозяина и Прейна, заговорщики увидали... Прозорова. Да, это был сам Виталий Кузьмич, успевший каким-то чудом протрезвиться и теперь весело рассказывавший набобу что-то, вероятно, очень остроумное, потому что Евгений Константиныч улыбался. Как попал Прозоров в кабинет набоба и вдобавок попал в такое время дня, когда к Евгению Константинычу имели доступ только самые близкие люди или люди по особенно важным делам, — все это являлось загадкой. В глубине кабинета стоял m-r Чарльз, неумолимый и недоступный, как сама судьба; из-под письменного стола выставилась атласная голова Brunehaut, которая слегка заворчала на заговорщиков и даже оскалила свои ослепительно-белые зубы.

Кабинет Евгения Константиныча был меблирован почти бедно: письменный стол черного дерева, такой же диван, два кресла, кушетка, шкаф с бумагами и несколько стульев стоили всего пятьдесят тысяч. Прибавьте к этому маккартовскую голую красавицу на стене, великолепную шкуру белого медведя на полу и несколько безделушек на письменном столе — вот и все. Это была временная обстановка, потому что набоб жил, по выражению Прейна, на биваках. Для человека, имевшего пятьсот тысяч годового дохода, такой кабинет граничил с приличной бедностью.

— Чем обязан вашему посещению, господа? — спрашивал Лаптев, поднимаясь навстречу гостям.

Прейн, заложив руки в карманы, едва заметно улыбался, покуривая короткую венскую трубочку. Он знал о заговоре через Майзеля и сам назначил день, когда сделать нападение на набоба.

Доктор, подтолкнутый Майзелем, начал свою выученную заранее речь, стараясь не смотреть в сторону Прозорова. В маленьком вступлении он упомянул о тех хороших чувствах, которые послужили мотивом настоящего визита, а затем перешел к самой сущности дела,

то есть к коллективному протесту против диктатуры Горемыкина, который губит заводское дело и т. д. Евгений Константиныч слушал эту длинную речь очень рассеянно и все время занимался рассматриванием тощей фигуры доктора, его серозеленого лица и длинных, точно перевязанных узлами рук. Прозоров несколько раз улыбнулся и взъерошил себе волосы, а когда доктор кончил, он подумал про себя: «Чистый ты дурак, Яшка!»

— Как мне понять ваше заявление? — спрашивал Евгений Константиныч, обращаясь к оратору. — Как ваше личное мнение или как мнение большинства?

— Это наш общий протест, — разом заявили Майзель и Сарматов.

— Хорошо. Я на днях буду иметь объяснение с делегатами от заводских мастеровых, тогда приму во внимание и ваш протест. Пока могу сказать только то, что изложенные вами чувства и доводы совпадают с моими мыслями. Нужно сказать, что я недоволен настоящими заводскими порядками, и генерал тоже, кажется, разделяет это недовольство. Господа, что же это вы стоите? Садитесь...

Но господа наотрез отказались от такой чести и гурьбой пятились к двери.

— Ах, я чуть не забыл... — спохватился Лаптев, делая порывистое движение рукой. — Вот, по мысли Прейна, мы думаем составить маленькую консультацию, куда решились пригласить кого-нибудь из... из знающих дело по посторонним заводам. Так я говорю, Прейн?

— О, совершенно так... Пока выбор пал на Авдея Никитича Тетюева. Вы, господа, можете заявить сейчас же Евгению Константинычу, если что-нибудь имеете против этого выбора.

— Нет, мы ничего не имеем...

— Авдей Никитич совершенно постороннее лицо в этом деле, — процедил с своей стороны Майзель. — И мы доверяем ему, как незаинтересованному в нашем общем деле.

— А вы, доктор, ничего не имеете против Тетюева? — спросил Евгений Константиныч.

— Нет... мне все равно, — протянул тенориком доктор.

— Так как вы явились во главе депутации, — продолжал серьезно Евгений Константиныч, — то не могу ли я попросить вас остаться для некоторых переговоров?

Толпа заговорщиков переглянулась. Никто не ожидал такого оборота дела, но приходилось помириться с желанием набоба.

— Я также попросил бы остаться и господина Сарматова, — прибавил Евгений Константиныч. — А затем не смею вас больше задерживать, господа.

Заговорщики удалились, а доктор и Сарматов остались.

— Садитесь, господа, — пригласил Евгений Константиныч, с серьезным видом раскуривая сигару.

В кабинете наступила тяжелая пауза. Даже Прейн не знал, что за фантазия явилась в голове владыки и украдкой недоверчиво посмотрел на его бесстрастное лицо с полузакрытыми глазами.

— Доктор! мне нужно, собственно, поговорить с вами, — серьезно продолжал Лаптев. — Меня удивляет ваше поведение... Буду говорить прямо, без церемоний. Я понимаю, зачем приходили другие, но ведь вы, в качестве доктора, нисколько не заинтересованы в наших заводских делах. Затем, вы поднимаете руку... на кого же? Если Раиса Павловна узнает о вашем поведении, вас ожидает самая печальная участь. Кстати, и папаша Гликерии Витальевны налицо, и мы можем семейным образом обсудить ваш образ действий... Не правда ли, гроза кабанов?

— Со мной был точно такой же случай, Евгений Константиныч, — заговорил Сарматов, угадавший теперь, зачем набоб оставил их. — У меня была невеста, Евгений Константиныч... Совершенно прозрачное существо и притом лунатик. Раз я сделал донос на одного товарища, и она меня прогнала с глаз долой.

Все засмеялись, а вместе с другими засмеялся и доктор, немного опешивший в первую минуту.

— Прежде чем мы будем окончательно решать вашу участь, доктор, мы подкрепим свои силы, —

заговорил Лаптев, довольный своей выходкой. — Чарльз, мы здесь будем пить кофе.

Кофе был подан в кабинет, и Лаптев все время дурачился, как школьник; он даже скопировал генерала, а между прочим досталось и Нине Леонтьевне с Раисой Павловной. Мужчины теперь говорили о дамах с той непринужденностью, какой вознаграждают себя все мужчины за официальные любезности и вежливость с женщинами в обществе. Особенно отличился Прозоров, перещеголявший даже Сарматова своим ядовитым остроумием.

— Итак, мы кутим у вас на свадьбе, доктор? — говорил Лаптев, когда тема о женщинах вообще была исчерпана.

— Я, право, еще не знаю... — смущенно бормотал доктор.

— Ах, как он умеет притворяться! — удивлялся Прейн, хлопая доктора по плечу. — Гликерия Виталиевна гораздо откровеннее вас... Она сама говорила Евгению Константинычу, что вы помолвлены. Да?

— Ну, Яша, признавайся! — поощрял Прозоров.

Прозорова вытрезвил и притащил к Лаптеву не кто другой, как Прейн. Для чего он это делал — было известно ему одному. Прозоров держал себя джентльменом, точно он родился и вырос в обществе Прейна и Лаптева.

XXI

По вечерам в господском саду играл оркестр приезжих музыкантов и по аллеям гуляла пестрая толпа заводской публики. С наступлением сумерек зажигались фонари и шкалики. На таких гуляньях присутствовала вся свита Евгения Константиныча, а сам он показывался только в обществе Прейна, без которого редко куда-нибудь выходил. Само собой разумеется, что если гуляла Раиса Павловна, то Нина Леонтьевна делалась больна и наоборот. Провинциальная публика, как и всякая другая публика, падкая до всевозможных эффектов, напрасно ожидала встречи этих двух ненавидевших друг друга женщин.

Приезжий элемент незаметно вошел в состав собственно заводского общества, причем связующим звеном явились, конечно, женщины: они докончили то, что одним мужчинам никогда бы не придумать. Все общество распалось на свои естественные группы, подгруппы, виды и разновидности. Около m-me Майзель вертелся Перекрестов и Летучий, два секретаря Евгения Константиныча, которым решительно нечего было делать, ухаживали за Наташей Шестеркиной и Канунниковой, пан Братковский бродил с галками, «почти молодые люди» — за дочерями Сарматова, Прейн любил говорить с m-me Дымцевич и т. д. Сам набоб проводил свое время на гуляньях в обществе Раисы Павловны или Нины Леонтьевны, причем заметно скучал и часто грыз слоновый набалдашник своей палки. Когда устраивались танцы на маленькой садовой эстраде, он подолгу наблюдал танцующие пары, лениво отыскивая кого-то глазами. Все, особенно женщины, давно заметили, что набоб скучает, и по-своему объясняли истинные причины этой скуки.

Евгений Константиныч действительно скучал, и его больше не забавляли анекдоты Летучего и вранье Сарматова; звезда последнего так же быстро закатилась, как и поднялась. Теперь новинкой в обществе набоба являлся Прозоров, который, конечно, умел показать товар лицом и всех подавлял своим остроумием. Всего интереснее были те моменты, когда Прозоров встречался с Ниной Леонтьевной, этой неуязвимой женщиной в области красноречия. Происходили самые забавные схватки из-за пальмы первенства, и скоро всем сделалась очевидной та печальная истина, что Нина Леонтьевна начинала быстро терять в глазах набоба присвоенное ей право на остроумие. Пьяница Прозоров оказался умнее и находчивее в словесных турнирах и стычках, что, конечно, не могло не огорчать Нины Леонтьевны, которая поэтому от души возненавидела своего счастливого противника. Даже приспешники и прихлебатели встали сейчас же на сторону Прозорова, поддерживая его своим смехом; все знали, что Прозоров потерянный человек, и поэтому его возвышение никому не было особенно опасно. Если могли ревновать

к Сарматову, то за участь Прозорова были все совершенно спокойны; все его величие могло разрушиться, как карточный домик, от одной лишней рюмки водки. Даже Летучий и Перекрестов относились к Прозорову снисходительно, переваривая его неистощимое краснобайство. Злые языки, впрочем, сейчас же объяснили положение Прозорова самым нехорошим образом, прозрачно намекая на Лушу, которая после бала как в воду канула и нигде не показывалась. Нашлись люди, которые уверяли, что видели своими глазами, как Лаптев рано утром возвращался из прозоровского флигелька.

— Послушайте, Прозоров, где же ваша дочь в самом деле? — спросил однажды Лаптев, когда они сидели после обеда с сигарами в зубах.

— Сидит дома...

— Ага! А доктор часто бывает у вас?

Прозоров засмеялся и только махнул рукой.

Странное поведение Луши заинтересовало капризного набоба, за которым ухаживали первые красавицы всех наций. Как! эта упрямая девчонка смеет его игнорировать, когда он во время бала оказал ей такие ясные доказательства своего внимания. Задетое самолюбие досказало набобу остальное, хотя он старался не выдать себя даже перед Прейном. Это новое, почти незнакомое чувство заинтересовало пресыщенного молодого человека, и он сам удивлялся, что не может отвязаться от мысли о капризной, взбалмошной девчонке. Чтобы утешить самого себя, он старался раскритиковать ее в своем воображении, сравнивая ее достоинства по отдельным статьям с достоинствами целого легиона «этих дам» всех наций и даже с несравненной Гортензией Братковской. По необъяснимому психологическому процессу результаты такой критики получались как раз обратные: набоб мог назвать сотни имен блестящих красавиц, которые затмевали сиянием своей красоты Прозорову, но все эти красавицы теряли в глазах набоба всякую цену, потому что всех их можно было купить, даже такую упрямую красавицу, как Братковская, которая своим упрямством просто поднимала себе цену — и только. В нежелании Луши пока-

зываться Лаптев видел пассивное сопротивление своим чувствам, которое нужно было сломить во что бы то ни стало. Иногда набоб старался себя утешить тем, что Луша слишком занята своим доктором и поэтому нигде не показывается, — это было плохое утешение, но все-таки на минуту давало почву мысли; затем иногда ему казалось, что Луша избегает его просто потому, что боится показаться при дневном свете — этом беспощадном враге многих красавиц, блестящих, как драгоценные камни, только при искусственном освещении. Но все эти логические построения разлетались прахом, когда перед глазами Лаптева, как сон, вставала стройная гордая девушка с типичным лицом и тем неуловимым шиком, какой вкладывает в своих избранников одна тароватая на выдумки природа. Собственно говоря, набоб даже не желал овладеть Лушей, как владел другими женщинами; он только хотел ее видеть, говорить с ней — и только. Все ему нравилось в ней: и застенчивая грация просыпавшейся женщины, и несложившаяся окончательно фигура с прорывавшимися детскими движениями, и полный внутреннего огня взгляд карих глаз, и душистая волна волос, и то свежее, полное чувство, которое он испытывал в ее присутствии.

В душе набоба являлась слабая надежда, что он встретит Лушу где-нибудь — в театре, на гулянье вечером или, наконец, у Раисы Павловны. Но время бежало, а Луша продолжала упорно выдерживать свой характер и не хотела показываться решительно нигде. Прейн и Раиса Павловна делали такой вид, что ничего не понимают и не видят. То, чего добивался Лаптев, случилось так неожиданно и просто, как он совсем не предполагал. Раз утром он возвращался по саду из купальни и на одном повороте лицом к лицу столкнулся с Лушей, которая, очевидно, бесцельно бродила по саду, как это иногда любила делать, когда в саду никого нельзя было встретить. Молодые люди остановились и посмотрели друг на друга одинаково смущенным и нерешительным взглядом. Луша была в простеньком ситцевом платье и даже без шляпы; голова была

подвязана пестрым бумажным платком, глубоко надвинутым на глаза.

— Здравствуйте! — нерешительно протягивая руку, проговорил набоб.

— Здравствуйте!

Девушка сделала движение, чтобы продолжать свою прогулку, но набоб загородил ей дорогу и как-то залпом проговорил:

— Послушайте, Гликерия Виталиевна, зачем вы прячетесь от меня?

— Я и не думала ни от кого прятаться, это вам показалось...

— Пусть будет так... Какая же причина заставляла вас все время сидеть дома?

— Самая простая: не хотелось никуда выходить.

— Только?

Лаптев недоверчиво оглянулся, точно ожидая встретить, если не самого доктора налицо, то по крайней мере его тень.

— Да, только! — спокойно подтвердила Луша. — Кажется, достаточно; всякий человек имеет право на такое простое желание, как сидеть дома...

— Вы не искренни со мной...

Девушка улыбнулась. Они молча пошли по аллее, обратно к пруду. Набоб испытывал какое-то странное чувство смущения, хотя потихоньку и рассматривал свою даму. При ярком дневном свете она ничего не проиграла, а только казалась проще и свежее, как картина, только кто вышедшая из мастерской художника.

— Что вам от меня нужно? — спросила Луша, когда они подходили уже к самому пруду.

— Ничего... мне просто хорошо в вашем присутствии — и только. В детстве бонна-итальянка часто рассказывала мне про одну маленькую фею, которая делала всех счастливыми одним своим присутствием, — вот вы именно такая волшебница, с той разницей, что вы не хотите делать людей счастливыми.

— Как красиво сказано! — смеялась Луша. — Только интересно знать, которым изданием выпущена ваша «маленькая фея»?

— Клянусь вам, Гликерия Витальевна, что это самое первое...

— Сегодня?

— С вами невозможно говорить серьезно, потому что вы непременно хотите видеть везде одну смешную сторону... Это несправедливо. А нынче даже воюющие стороны уважают взаимные права.

— Обыкновенная жизнь — самая жестокая война, Евгений Константиныч, потому что она не знает даже коротких перемирий, а побежденный не может рассчитывать на снисхождение великодушного победителя. Трудно требовать от такой войны уважения взаимных прав и, особенно, искренности.

— Что вы хотите сказать этим?

Луша быстрым взглядом окинула своего кавалера и проговорила с порывистым жестом:

— Вы давеча упрекнули меня в неискренности... Вы хотите знать, почему я все время никуда не показывалась, — извольте! Увеличивать своей особой сотни пресмыкающихся пред одним человеком, по моему мнению, совершенно лишнее. К чему вся эта комедия, когда можно остаться в стороне? До вашего приезда я, по свойственной всем людям слабости, завидовала тому, что дается богатством, но теперь я переменила свой взгляд и вдвое счастливее в своем уголке.

— Следовательно, вы должны быть благодарны мне за этот урок?

— Нисколько!

Эта болтовня незаметно продолжалась в том же тоне, причем Луша оставалась одинаково сдержанной и остроумной, так что набоб еще раз должен был признать себя побежденным этой странной, капризной девчонкой.

— Надеюсь, что мы будем друзьями? — говорил Лаптев, когда девушка начала прощаться.

Луша с улыбающимся взглядом покачала своей красивой головкой.

— По крайней мере вы не будете прятаться? — продолжал набоб, делая нетерпеливое движение. — Я раньше думал, что вы так поступали по чужой инструкции...

— Именно?

— А Раиса Павловна?

— Я уважаю Раису Павловну, но это не мешает мне иметь свои собственные взгляды.

— В этом я убедился... Итак, мы еще увидимся?

— Не знаю...

Эта нечаянная встреча подлила масла в огонь, который вспыхнул в уставшей душе набоба. Девушка начинала не в шутку его интересовать, потому что совсем не походила на других женщин. Именно вот это новое и неизвестное и манило его к себе с неотразимою силой. Из Луши могла выработаться настоящая женщина — это верно: стоило только отшлифовать этот дорогой камень и вставить в надлежащую оправу.

Непосредственным следствием этой встречи было то, что в комнате Луши каждый день появлялся новый роскошный букет живых цветов, а затем та же невидимая рука приносила богатые бонбоньерки с конфетами. Только раз, когда Луша открыла одну из таких бонбоньерок и среди конфет нашла обсахаренную сапфировую брошь, она немедленно послала за Чарльзом и возвратила ему и бонбоньерку и запретный плод с приличной нотацией. Оставшись одна, она даже расплакалась и вышвырнула за окно последний букет. Эта армейская любезность возмутила ее до глубины души, хотя она никому ни слова о ней не сказала. Разве она какая-нибудь галка, чтобы делать ей такие глупые подарки? Если она позволяла дарить себе цветы и конфеты, то потому только, что они ничего не стоили.

Не успело еще улечься впечатление этого неудачного эпизода, как в одно прекрасное утро во флигелек Прозорова набоб сделал визит, конечно в сопровождении Прейна. Виталий Кузьмич был дома и принял гостей с распростертыми объятиями, но Луша отнеслась к ним довольно сухо. Разговор вертелся на ожидаемых удовольствиях. Предполагалась поездка в горы и несколько охотничьих экскурсий.

— Вы любите ездить верхом? — спрашивал набоб хозяйку.

— Да, очень люблю.

Прейн дурачился, как школьник, копируя генерала и Майзеля; Прозоров иронизировал относительно кукарских дам, заставляя Лаптева громко смеяться.

— Что же вы нас не пригласите напиться чаю? — напрашивался Прейн с своей веселой бессовестностью.

Девушка на мгновение смутилась, вспомнив свою разрозненную посуду, но потом успокоилась. Был подан самовар, и Евгений Константиныч нашел, что никогда не пил такого вкусного чаю. Он вообще старался держать себя с непринужденностью настоящего денди, но пересаливал и смущался. Луша держала себя просто и сдержанно, как всегда, оставаясь загадкой для этих бонвиванов, которые привыкли обращаться с женщинами, как с лошадьми.

— А где наш общий друг? — спрашивал Прейн, выставляя свои гнилые зубы.

— Какой друг? — удивилась Луша.

— А доктор? Это милый молодой человек, которого я полюбил от души...

— И я тоже, — прибавил Лаптев, делая серьезное лицо. — Мне остается только пожалеть, что в медицине я совсем профан.

Прозоров не упустил, конечно, случая и прошелся довольно ядовито насчет хорошего парня Яшки. Эта сцена не понравилась Луше, и она замолчала. Поболтав с полчаса, гости ушли; в прозоровском флигельке наступила тяжелая и фальшивая пауза. Прозоров чувствовал, что кругом него творится что-то не так, как следует, но у него не хватило силы воли покончить разом эту глупую комедию, потому что ему нравилась занятая им роль bel-esprit [1] и те победы, которые он одержал над Ниной Леонтьевной. Конечно, Лаптев ухаживает за Лушей и ухаживает слишком ясно, но ведь это избалованный дурак, а Луша умна; притом вся эта орда скоро уедет с заводов. На этих соображениях Прозоров совершенно успокаивался, предоставив Лушу самой себе.

В тот же день к прозоровскому флигелю была приведена великолепная английская верховая лошадь под

---

[1] остроумного человека *(франц.)*.

дамским седлом, но она подверглась той же участи, как и сапфировая брошь.

Знала ли Раиса Павловна, что проделывал набоб и отчасти Прейн? Луша бывала у ней попрежнему и была уверена, что Раиса Павловна все знает, и поэтому не считала нужным распространяться на эту тему. По удвоенной нежности Раисы Павловны она чувствовала на себе то, что переживала эта странная женщина, и начала ее ненавидеть скрытой и злой ненавистью.

— А ты, право, напрасно *это*... — нерешительно проговорила Раиса Павловна после эпизода с лошадью.

— Что «это»?

Раиса Павловна только посмотрела на свою любимицу улыбающимся, торжествующим взглядом, и та поняла ее без слов.

— Впрочем, тебе лучше знать, — продолжала Раиса Павловна, как о вещи известной.

«Да, я знаю, что ты меня хочешь повыгоднее продать, — думала в свою очередь Луша, — только еще пока не знаешь, кому: Евгению Константинычу или Прейну...»

Раиса Павловна поняла мысли Луши по ее сдвинувшимся бровям и горько улыбнулась: Луша была несправедлива к ней. В последнее время между этими женщинами установилось то взаимное понимание между строк, которое может существовать только между женщинами: они могли читать друг у друга в душе по взгляду, по выражению лица, по малейшему жесту. Иногда это было тяжело, но в большинстве случаев избавляло от напрасных объяснений. В открытых нотах Раисы Павловны проходила темой одна фраза: «я тебя люблю, люблю, люблю...», а в партии Луши холодно отзывалось: «а я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу...» Когда стороны начинали увлекаться, ноты разыгрываемой мелодии сливались, и их смысл терялся; такие недоразумения распутывались в более спокойные минуты.

— Знаешь, Луша, что сказал Прейн третьего дня? — задумчиво говорила Раиса Павловна после длинной паузы. — Он намекнул, что Евгений Констан-

тиныч дал бы тебе солидную стипендию, если бы ты вздумала получить высшее образование где-нибудь в столице... Конечно, отец поехал бы с тобой, и даже доктору Прейн обещал свои рекомендации.

Луша только улыбнулась, и в ее глазах засветилась мысль: «Раиса Павловна, как вам не совестно повторять такие глупости, которым вы и сами не верите? Ведь это та же засахаренная брошь...» Раиса Павловна в ответ на это звонко поцеловала Лушу, что в переводе значило: «Умница ты моя!»

XXII

На заводе шли деятельные приготовления к предстоявшей поездке набоба по всему округу, о чем было уже известно всем, а в особенности тем, кому о сем ведать надлежало. Управители оставили Кукарский завод и разъехались по своим гнездам: Сарматов — в Мельковский завод, Буйко — в Куржак, Дымцевич — в Заозерный и т. д. Главная остановка по маршруту предполагалась в Баламутском заводе, где царствовал Вершинин, а затем в Заозерном и Куржаке, где предполагалась охота.

В этот короткий промежуток времени Родион Антоныч успел уже два раза объехать все заводы; он лез из кожи, чтобы все и везде было форменно, в лучшем виде, главным образом, конечно, с внешней стороны. Главной целью этих поездок было кое-что подготовить генералу Блинову, который будет собирать сведения от заводских контор по разным статьям. Необходимо было предупредить генерала и напустить ему такого тумана, что сам черт ногу переломит. По пути Родион Антоныч собрал сведения относительно замыслов Вершинина и Майзеля: первый готовил ряд обедов и завтраков, а второй — охоту. Мимоходом Родион Антоныч завернул на прииски, где и делались приготовления к оленьей охоте, и даже забрался на Рассыпной Камень, самую высокую гору в округе Кукарских заводов, на вершине которой устраивалась главная стоянка. Рубили две избы и чистили дорогу на самую вершину горы.

— А... предтеча! — смеялся Вершинин, когда встретил Родиона Антоныча на своем заводе. — Как здоровье Раисы Павловны?

— Ничего, слава богу...

— А я слышал, что у ней сильный насморк.

Эти шуточки не особенно беспокоили Родиона Антоныча, потому что у Вершинина уж так была устроена голова; их смысл он понял только вечером, когда к нему прискакал особый нарочный с письмом от Раисы Павловны, которая извещала своего Ришелье об аудиенции заговорщиков у набоба. «Меня нисколько не удивляет их поведение, — писала она под первым впечатлением, — но представьте себе, что во главе депутации явился... кто бы вы думали? — Яшка Кормилицын! Скажите мне, ради бога, что этому младенцу нужно? Пишу вам все, что узнала от Прейна, который присутствовал на аудиенции; не верьте тем слухам, которые распускают наши враги. Меня все оставили... Если вы находите наше дело проигранным, я не удерживаю вас; может быть, и вы хотите примкнуть к партии Тетюева, из принципа, что всякому своя рубашка к телу ближе. Но я повторяю вам одно, что именно теперь, когда всё и все против меня, я глубоко убеждена, что вся эта кутерьма окончится в нашу пользу». Дальше следовало подробное описание аудиенции заговорщиков и ряд деловых соображений, советов и наставлений, пересыпанных крупной солью.

Родион Антоныч слишком далеко зашел, чтобы теперь думать о своей рубашке и, махнув рукой, решил лечь костьми за Раису Павловну: он еще веровал в нее, потому что за нее был всесильный Прейн.

Положение управителей на отведенных им заводах больше всего походило на положение удельных князьков древней Руси: здесь кипела вечная война из-за выгодных столов, составлялись остроумные комбинации и делались целые походы, вроде того, который теперь устроен был против Раисы Павловны. В мирное время управители-князьки были заняты мелкими междоусобиями, личными счетами и копеечными интригами; подкопаться под врага, подставить ножку при удобном случае своему приятелю, запустить шпильку, отплатить

за старую обиду, — из этих мелочей составлялся почти безвыходный круг, в котором особенно деятельное участие принимали женщины. Главным воротилой в этом исключительном мирке был Вершинин; он задавал тон и твердой рукой вел свою линию; другие управители плясали уже по его дудке, а в случае проявления самостоятельности подвергались соответствующей каре. На парадных завтраках Раисы Павловны, в обществе, в специально заводских делах — нигде не было спасения, и недругу Вершинина ничего не оставалось, как только искать спасения в бегстве. Заслужить нерасположение Вершинина равнялось чуть не смертному приговору. Бывали, впрочем, моменты, когда против него составлялась партия из мелких управителей. Было даже раза два так, что Вершинин сам висел на волоске, но всю эту путаницу он всегда умел распутать с дьявольской хитростью и всегда выходил сух из воды. Настоящий состав управителей мирился с этим генеральством Вершинина, за исключением Майзеля; Сарматов, Дымцевич, Буйко и другие были слишком мелки, чтобы открыто тягаться с Вершининым, и предпочитали скрывать свои настоящие чувства. Приезд Лаптева и борьба с Раисой Павловной слили воедино всех и на время заставили забыть личные дрязги, счеты и неприятности. Расчет был простой: если на место Горемыкина назначат Вершинина или Майзеля, тогда произойдет соответствующее повышение всех остальных; если будет Тетюев, тогда увеличат жалованье или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае никто не желал проигрывать, а рассчитывал на верный выигрыш. Несомненный успех первой аудиенции служил ручательством за успех всего дела; теперь оставалось только устроить счастливую поездку набоба по заводам — и дело в шляпе. В последнем случае задача несколько двоилась: нужно было показать плоды и успехи своих трудов и в то же время недостатки и упущения горемыкинской администрации. Это был очень скользкий путь, тем более что мелкие служащие были за Горемыкина. Словом, работы всем было по горло: все чистилось, прибиралось и принимало праздничный вид. Управители бесились,

ругались, топали ногами и были глубоко убеждены, что в этом именно и состоит настоящее заводское дело.

Маршрут, составленный Прейном, имел в длину около трехсот верст, захватывая все заводы. Из Кукарского завода сначала должны были проехать в Исток и Мельковский — в последнем рюмка водки и легкий завтрак; затем следовал Баламутский завод — обед и, может быть, ужин, смотря по обстоятельствам. Из Баламутского завода — в Заозерный, а из последнего, по озеру, на Рассыпной Камень — ночевка и кормежка. Последними в маршруте стояли заводы Логовой и Куржак. Раиса Павловна просмотрела этот маршрут вместе с Прейном и вполне одобрила его, за исключением ужина в Баламутском заводе.

— Везите его прямо на охоту, — советовала Раиса Павловна.

— Да ведь другой дороги нет к Рассыпному Камню? Наконец, нельзя же миновать наш главный завод... Если бы не генерал, тогда, конечно, мы прокатили бы Евгения Константиныча проселком — и делу конец. Но генерал, вот где загвоздка. Да ничего не выйдет из этого, если и заночуем у Вершинина.

Для поездки по заводам был снаряжен громадный поезд из тридцати троек. Охота и кухня были отправлены вперед другим обозом. Было известно, что поедет Нина Леонтьевна, значит — Раиса Павловна останется дома. Майзель с Перекрестовым уехали вперед, чтобы приготовить приличную встречу набобу в горах; впрочем, представитель русской прессы изменил Майзелю на третьей же станции: смущенный кулинарными приготовлениями Вершинина, он остался в Баламутском заводе. Участие в поездке Нины Леонтьевны решило капитальный вопрос о том, что в предполагаемой охоте могут принять участие и дамы; конечно, такой оборот взволновал прекрасную половину и прежде всего поднял вопрос о костюмах. Последнее особенно беспокоило дам. Охота не бал, приходилось самим «сочинять костюмы», следовательно, единственным основанием являлся только свой вкус; соперничество и желание блеснуть окончательно усложнили все дело. Модные журналы как-то упустили из виду возможность

такого случая; самые смелые дамы, как m-me Сарматова, некоторое время колебались даже пред мужским костюмом, но когда узнали, что в таком костюме едет на охоту Прозорова, то восстали против нее с презрением.

Луша действительно готовилась ехать в горы, и теперь, под руководством Прейна, училась стрелять в цель из монтекристо. Эти уроки шли, кажется, успешно. Веселый учитель, с французской складкой в характере, нравился Луше, потому что никогда не надоедал и во-время умел приходить и уходить. Между ними установились те дружеские отношения, которые незаметно сближают людей; Прейн вообще понимал хорошо женщин и без слов умел читать у них в душе, а Луше эта тонкость понимания особенно и нравилась в нем. Прибавьте к этому рыцарскую вежливость и уменье всегда принести жертву женскому тщеславию. Шуточки и остроты Прейна смешили Лушу до слез, и она шутя называла его дедушкой. В ответ на это звание Прейн целовал у Луши руки и беззаботно говорил:

— Учитесь у дедушки великой философии жизни, которая заключается всего в одном слове: никогда не скучать.

— Хорошо вам так рассуждать, — смеялась Луша, — а зашить бы вас в нашу девичью кожу, тогда вы запели бы другую песню с своей великой философией... Мужчинам все возможно, все позволительно и все доступно, а женщина может только смотреть, как другие живут.

— Совершенно справедливо, хотя и не без исключений. Умная и красивая женщина всегда сумеет поставить себя выше общественных условий... Но для этого она должна расстаться с некоторыми предрассудками...

— Вы смотрите на женщин хуже, чем на своих лошадей...

— О нет, вы ошибаетесь... Умная женщина может сделать из нас все — это страшная сила.

Лаптев попрежнему ухаживал за Лушей, посылал букеты и говорил свои армейские комплименты; но этот избалованный набоб не умел попасть в тон, и Луша всегда скучала в его обществе. Эта неподвижная,

апатичная натура, с чисто животными инстинктами, отталкивала ее, особенно по сравнению с Прейном, у которого ум вечно играл и искрился. Постепенно, шаг за шагом, этот великий мудрец незаметно успел овладеть Лушей, так что она во всем слушалась одного его слова, тем более что Прейн умел сделать эту маленькую диктатуру совершенно незаметной и всегда знал ту границу, дальше которой не следовало переходить. Чувство меры в нем было особенно развито, и он умел подладиться к невозможным обстоятельствам, от которых даже у самого терпеливого осла давно лопнуло бы терпение. Так Прейн добился того, что Луша перестала дичиться и даже начала брать под его руководством уроки стрельбы и верховой езды. Ездил Прейн, как жокей, и быстро посвятил Лушу во все тайны этого великого искусства. Это сближение, однакож, обеспокоило Раису Павловну, которая, собственно, и сама не могла дать отчета в своих чувствах: с одной стороны, она готовила Лушу не для Прейна, а с другой — в ней отзывалось старое чувство ревности, в чем она сама не хотела сознаться себе. Луша, с эгоизмом всех довольных людей, делала вид, что ничего не замечает.

— Тебе необходимо ехать в горы, — советовала Раиса Павловна, когда Луша раздумывала принять эту поездку. — Во-первых, повеселишься, во-вторых... ты поедешь вместе с отцом, следовательно, вполне будешь защищена от всяких глупых разговоров; а на наших заводских баб не обращай никакого внимания. Нам с ними не детей крестить.

— Мне все равно, Раиса Павловна, что будут говорить про меня.

— Есть одно обстоятельство... собственно пустяки, но я дала бы тебе, Луша, маленький совет.

— Именно?

— Будь осторожнее с Прейном...

Последние слова Раиса Павловна произнесла с опущенными глазами и легкой краской на лице: она боялась выдать себя, стыдилась, что в этом ребенке видит свою соперницу. Она любила Лушу, и ей тяжело было бы перенести слишком тесное сближение ее с Прейном, с которым, собственно, все счеты были давно кончены...

но, увы! — любовь в сердце женщины никогда не умирает, особенно старая любовь.

Давно ожидаемая поездка, наконец, совершилась в светлый июньский день, когда четырехместная коляска Лаптева стрелой полетела по дороге в Истокский завод; в коляске с набобом сидел один Прейн, а в ногах у них лежала ласково взвизгивавшая Brunehaut. Генерал ехал в следующем экипаже, вместе с Ниной Леонтьевной; за ним летела тройка, имевшая счастье везти самого m-r Чарльза, который теперь ехал в сопровождении собственного лакея. За m-r Чарльзом ехали собственные секретари Евгения Константиныча, потом Братковский с Летучим, а прочие экипажи были заняты остальной свитой. Тройки летели с бешеной быстротой восемнадцати верст в час; на половине станции были выставлены заводные лошади; но это не помогало, и непривычные к такой гоньбе тройки задыхались от жара. На первом же полустанке оказалось четыре загнанных тройки; покрытые пеной, лошади тяжело вздрагивали, точно дышали всем телом, опускали головы и падали в конвульсиях.

Набоб лениво смотрел по сторонам, где мелькал тощий лес, вырубленный на заводские надобности; попадались болота, небольшие горки, прятавшаяся в тальнике и лопушнике речка. Подорожная трава была теперь покрыта густым слоем пыли, которую оставляли за собой транспорты железа и чугуна. Дождя не было целую неделю, и зелень сильно «притомилась», как говорят мужики. Трава просила дождика. Даже березы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Из хвойного леса несло тяжелым смолистым запахом, кружившим голову. Небо было чисто, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облаков, точно свод небесный был обложен волнами белоснежного дорогого меха.

— Дело кончится тем, что я схвачу чахотку, — капризно говорил набоб, чихая от пыли.

— Что же, за отечество и умереть приятно, сказал какой-то мудрец...

Покуривая сигару, Прейн все время думал о той тройке, которая специально была заказана для Прозо-

рова; он уступил свою дорожную коляску, в которой должны были приехать Прозоров с дочерью и доктор.

Дорога вилась пыльной лентой по холмистой местности, огибая гряду лесистых горок, которые тянулись к востоку, где неправильной глыбой синел Рассыпной Камень. Через два часа езды выглянул своими крайними домиками Истокский завод; он залег на дне глубокой горной долины, где была запружена бойкая горная речонка. Несколько широких улиц вытянулись по берегам заводского пруда; на площади, заваленной дровами, белела церковь. Фабрика слабо дымилась у самой плотины. На небольших заводах летом работы приостанавливаются, потому что все население страдует, заготовляя сено; только такие громадные заводы, как Кукарский и Баламутский, работали насквозь целый год, потому что располагали десятками тысяч рабочих рук.

В Истоке только переменили лошадей, и набоб даже не вышел из экипажа, хотя был встречен колокольным звоном и хлебом-солью. Густая толпа народа не успела мигнуть, как барин уже был на дороге в Мельковский завод, где готовилась ему торжественная встреча. Характер местности быстро изменялся, и дорога начала забирать в гору; широкие лесные просеки, глубокие лога с перекинутым через речку мостиком, покосы с сочной густой травой, пестревшей бледными цветочками, — все кругом было хорошо своеобразной красотой скромного северного пейзажа. Мельковский завод был похож на Исток, как две капли воды, только чуть-чуть побольше, да церковь была выкрашена желтой охрой. Тот же колокольный звон, те же толпы народа и та же хлеб-соль. В квартире Сарматова был сервирован легкий завтрак, на который ехавшая за набобом челядь накинулась с той жадностью, с какой бросается публика на железных дорогах к буфету.

— Ну, как вы себя чувствуете, Сарматов? — говорил Лаптев, торопливо прожевывая кусок холодной телятины.

— А ничего... Живем, пока мыши головы не отъели.

— Как?

— Пока мыши головы не отъели.

— Ага! Вы, конечно, с нами поедете на охоту? Жаль, что на Урале нет кабанов.

Когда генерал предложил осмотреть фабрику, набоб отрицательно покачал головой и заметил, что фабрику можно будет осмотреть на обратном пути.

В Баламутский завод приехали к самому обеду. До него от Кукарского завода считалось девяносто верст; дорога делала большой выгиб, направляясь к северу, где синел Рассыпной Камень. Встреча барина в Баламутском заводе очень походила на такую же встречу в Кукарском, только в меньших размерах. Пятитысячная толпа запрудила все улицы и провожала коляску барина несмолкаемым ура. Рассыпав свои бревенчатые избы по каменистым уступам глубокой горной котловины, Баламутский завод был очень красив, особенно издали. Громадный узкий пруд был сдавлен в живописных крутых берегах; под плотиной курилось до десятка больших труб и две доменных печи; на берегу пруда тянулась заповедная кедровая роща, примыкавшая к большому господскому дому, походившему на дворец. Этот дом выстроил еще старик Тетюев, любивший Баламутский завод больше всех других. Две богатые церкви дополняли картину завода.

XXIII

В жизни Евгения Константиновича растительные процессы занимали первое место, поэтому понятно то нетерпение, с которым вся свита ожидала обеда в Баламутском заводе. Чем-то угостит Вершинин набоба? Конечно, у Вершинина был отличный повар, которого он нарочно посылал учиться в петербургский английский клуб, но все-таки... Первые два блюда прошли почти незаметно, но когда подали уху из живых харюзов [1], набоб просветлел; после двух тарелок этой ухи всем было ясно, что Вершинин одержал победу, и

[1] Кто-то и почему-то окрестил эту рыбу ученым именем — *хариус;* на Урале ее называют просто — *харюз,* и последнее название, по нашему мнению, больше отвечает складу русской речи. *Автор.*

Перекрестов поспешил сказать спич в честь знаменитой рыбы северных рек. Этими двумя тарелками все разъяснилось: набоб был доволен, следовательно, и Вершинин мог быть спокоен за свое будущее. В случае какого-нибудь затруднения стоило только сказать: «Евгений Константиныч, это тот самый Вершинин, у которого вы ели уху из харюзов...» Набоб вообще не отличался особенно твердой памятью и скоро забывал даже самые остроумные анекдоты, но относительно еды обладал счастливой способностью никогда не забывать раз понравившегося кушанья. Это была, если позволено так выразиться, гастрономическая память, потому что сосредоточивалась главным образом не в голове, а в желудке.

— А как харюз называется по-вашему, по-ученому? — спрашивал Евгений Константиныч вечером генерала.

— Salmo thymalis...

— Ага! Вершинин очень умный человек! как вы находите, генерал?

— Да... кажется.

Эта salmo thymalis испортила целую ночь старику Майзелю, который от души проклинал все горные речки, где водилась эта проклятая рыбешка. И нужно же было Вершинину подсунуть эту несчастную уху, когда ему, Майзелю, завтра придется угощать набоба охотничьим завтраком. Русский немец имел несчастье считать себя великим гастрономом и вынашивал целых две недели великолепный гастрономический план, от которого могла зависеть участь всей поездки набоба на Урал, и вдруг сунуло этого Вершинина с его ухой... Извольте-ка теперь удивить набоба? Майзель тревожно проворочался целую ночь и чем свет уехал из Баламутского завода к Рассыпному Камню, чтобы там встретить набоба во главе привезенной из Петербурга охоты и целой роты собственных лесообъездчиков.

— Вы сделали отличный ход, Демид Львович, — поздравлял Перекрестов утром Вершинина. — Ведь две тарелки сряду... Да!.. Вот я два раза вокруг света объехал, ел, можно сказать, решительно все на свете, даже

телячьи глаза в Пекине, а что осталось от всего? Решительно ничего... А вы своей ухой всех зарезали!

Прейн уехал из Баламутского завода вперед; он торопился в Заозерный завод, куда его вызывал через нарочного наш старый знакомец, Родион Антоныч. Заозерный завод в маршруте служил последней сухопутной станцией, дальше путь к Рассыпному Камню лежал по озеру — на заводском пароходе. Таким образом, Заозерный являлся сборным пунктом, где около набоба должно было сгруппироваться все общество. Посланная Сахаровым эстафета лаконически гласила: «Все здесь; ждем вас». На этого верного слугу было возложено довольно щекотливое поручение: конвоировать до Заозерного завода галок Раисы Павловны, потому что они среди остального дамского общества, без своей патронессы, являлись пятым колесом, несмотря на всесильное покровительство Прейна; другим не менее важным поручением было встретить и устроить Прозоровых, потому что m-me Дымцевич, царившая в Заозерном на правах управительши, питала к Луше вместе с другими дамами органическое отвращение. Чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения между дамами, Прейн полетел сам на выручку.

Заозерный завод, раскидавший свои домики по берегу озера, был самым красивым в Кукарском округе. Ряды крепких изб облепили низкий берег в несколько рядов; крайние стояли совсем в лесу. Выдавшийся в средине озера крутой и лесистый мыс образовал широкий залив; в глубине озера зелеными пятнами выделялись три острова. Обступившие кругом лесистые горы образовали рельефную зеленую раму. Рассыпной Камень лежал массивной синевато-зеленой глыбой на противоположном берегу, как отдыхавший великан.

— Хорошо ли вам здесь? — спрашивал Прейн, пожимая руку Луше. — Как доехали? Благополучно? Ага... А вы, доктор?

Известие об ухе из харюзов опередило Прейна, и Родион Антоныч глядел с печальной задумчивостью, как наблудивший кот. Недаром Раиса Павловна так беспокоилась за Баламутский завод: оно все так и вышло, как по-писаному. Теперь через этих харюзов и

Тетюев вылезет... Умудренный в изворотах, мелях и подводных камнях внутренней политики, Родион Антоныч, как никто другой, понимал всю важность совершавшихся событий и немедленно послал эстафету Раисе Павловне с нарочным: «Вершинин угостил ухой из харюзов: Евгений Константиныч скушали две тарелки. Известите с сим же нарочным, что делать».

Луша была недовольна поездкой и капризничала; Прейну стоило большого труда успокоить ее.

— Очень мне интересно смотреть на этих надутых дам, — говорила она. — И к чему вы навезли сюда этих галок?

— Все будет хорошо, — тараторил Прейн, — чем больше дам, тем лучше. Кашу маслом не испортишь... Меня Раиса Павловна просила о галках, не мог же я отказать ей!

В душе Прейн был очень доволен, что Луша начинала ревновать его к m-lle Эмме; старый грешник слишком хорошо знал все ходы и выходы женского сердца, чтобы ошибиться. Он не любил добычи, которая доставалась даром.

Галки тоже скучали и от нечего делать одолевали почтенного Родиона Антоныча самыми невозможными просьбами и птичьими капризами; этот мученик за идею напрасно делал кислые гримасы и вздыхал, как загнанная лошадь, — ничто не помогало. Храбрые девицы позволяли себе такие шуточки и остроты даже относительно самой наружности своего телохранителя, что Родион Антоныч принужден был отплевываться с выражением благочестивого ужаса на лице.

— Ваша прямая обязанность, Родион Антоныч, сейчас же съездить за Братковским, — серьезно говорила m-lle Эмма, — а то посмотрите, на что похожа сделалась Аннинька? Если ваша жена узнает...

— О господи, за что ты меня наказываешь? — стонал мученик-доброволец.

— Нет, в самом деле, я очень люблю всех домашних секретарей, — смеялась беззаботная Аннинька, — и дорогой чуть не поцеловала вас, Родион Антоныч, потому что вы ведь тоже секретарь...

— Федот, да не тот, — прибавила m-lle Эмма, хлопая Родиона Антоныча по плечу своей мягкой рукой.

С появлением Прейна шуткам над Родионом Антонычем не было конца, пока этот искус не закончился появлением в Заозерном загонщиков, возвестивших о благополучном отбытии набоба из Баламутского завода.

Небольшой плоскодонный пароход, таскавший на буксире в обыкновенное время барки с дровами, был вычищен и перекрашен заново, а на носу и в корме были устроены даже каюты из полотняных драпировок. Обитые красным сукном скамьи и ковры дополняли картину. В носовой части были помещены музыканты, а в кормовой остальная публика. До Рассыпного Камня по озеру считалось всего верст девятнадцать, но пароход нагружался с раннего утра всевозможной «яствой и питвой», точно он готовился в кругосветную экспедицию.

Набоб из экипажа прямо перешел на пароход, а за ним хлынула толпа дам; все старались занять место получше, то есть поближе к набобу. Собравшиеся прежде всего, конечно, сделали самый строгий осмотр друг другу, как слетевшиеся пчелы. Присутствие галок и Луши заставило их целомудренно сбиться в отдельную кучку, а маменьки даже прикрывали своих дочерей носовыми платками, точно в самом воздухе носилась какая-то зараза. Нина Леонтьевна презрительно рассматривала галок в лорнет, не переставая улыбаться двусмысленной улыбкой; остальные дамы поддерживали ее взглядами и принужденным молчанием. От взглядов и улыбок Нина Леонтьевна, по всей вероятности, перешла бы к более активным проявлениям своего возмущенного чувства, но ее останавливало присутствие Прозорова, который все время наблюдал за ней улыбающимися глазами. Костюмы дам носили меланхолический характер серых тонов; только одна m-me Сарматова явилась в платье «цвета свежепросольного огурца», как говорил Прозоров, что, по ее мнению, имело какое-то соотношение с предполагаемой

охотой. Набоб лениво окинул эту толпу дам и едва заметно улыбнулся, заметив около Прозорова съежившуюся Лушу, которая сегодня казалась совсем маленькой девочкой, точно вся она сжалась и ушла в себя. Она была одета в простенькое камлотовое платье с пелериной; дамы подозрительно осматривали этот скромный костюм, стараясь под ним отыскать мужское платье, о котором они слышали.

Пароход отвалил. Тихими аккордами полился какой-то торжественный старинный марш. На берегу живой стеной стоял провожавший барина народ: кто-то крикнул вдогонку ура, но оно замерло в шуме падавшей с пароходных колес воды. Неуклюжее судно точно задыхалось и с каким-то хрипеньем разгребало воду. Вода в озере чуть-чуть рябила; небо было чисто. В воздухе чувствовался наливавшийся летний зной... Луша еще в первый раз едет на пароходе и поддается убаюкивающему чувству легкой качки; ей кажется, что она никогда больше не вернется назад, в свой гнилой угол, и вечно будет плыть вперед под колыхающиеся звуки музыки. Вперед, вперед! Новое, такое хорошее и доброе чувство подхватывает ее, и она забывает о той ненависти, которая сосредоточивается на ней. Ведь здесь все ей враги, за исключением, может быть, Прейна... Она желала бы теперь остаться совсем одна. Пусть шумит вода, пусть плывут мимо лесистые, затянутые синеватой пленкой берега, пусть с неба льются волны теплого света. Почему-то Луша думает о смерти. В самом деле, почему? Хорошо умереть молодой и красивой, в цвете сил, умереть, как засыпает ребенок на руках матери. Что бы тогда сказали о ней все эти дамы и мужчины? Луша ненавидит их всех одинаково, ненавидит той ненавистью, которая, как полированная поверхность блестящего металла, отражает падающий на нее луч. Вон Евгений Константиныч разговаривает о чем-то с Ниной Леонтьевной, вон Братковский улыбается через плечо счастливой Анниньке, вон два зорких глаза наблюдают ее — это глаза старого Прейна, который любит ее и которого она тоже начинает любить... нет, не любить, а ей весело с ним, он такой славный!

— Раз со мной какой случай был, — рассказывал Сарматов, обращаясь к кружку мужчин. — Mesdames! [1] вы уж извините меня, если я немного...

— Ах, Сарматов, вы вечно приметесь рассказывать что-нибудь такое... — жеманно протестуют дамы, отсаживаясь подальше от рассказчика.

— Раз наш полк стоял в Саратовской губернии, — рассказывал Сарматов, складывая ногу на ногу, — дело было летнее, скучища смертная, хоть петлю на шею... Хорошо у меня ружьишко: дай, думаю, хоть за утками схожу. Выбрал денек поведреннее и ранним утром махнул к первому озеру. Походил-походил около воды, убил пару уток, а достать из воды не умею... Как быть? Отыскал шалашик, где рыбаки жили, и нанял лодочку с двумя гребцами. Поехали. Ну-с, убил я этак штук пятнадцать — не помню хорошенько, захотелось отдохнуть. Привалили к берегу, развели огонек, пару уток в золу — все по порядку... Устал я, а тут как выпил и закусил, сон меня так и клонит. Мои гребцы видят, что я спать располагаюсь, и просят меня: «Ваше высокородие, позволь нам насчет уток, пока почивать будешь». Думаю, отчего не позволить — ступайте на все четыре стороны. «Мы, говорят, ваше высокородие, тут неподалече в камышах постреляем...» Хорошо. Ружье с ними, обыкновенно, мужицкое: ложа расщеплена, замок привязан веревкой, все в этом роде. Остался я около огонька и смотрю, что будет. Вот один и говорит: «Ты, Бряков, ступай на ту сторону в камыши и загоняй уток, а я буду ждать на этом берегу в камышах. Как я тебе крикну: «мыряй!» — ты в воду, а стрелять буду я...» Мудрено что-то, думаю. Заинтересовало меня, как это Бряков мырять будет. Хорошо-с. Вот охотник с ружьем засел в кусты и ждет, а Бряков с другой стороны палочкой гонит целый выводок — уток там видимо-невидимо. Прямо на охотника так и гонит, а тот сидит в камышах и молчит. Бряков вышел из камышей и по колено в воде бредет. Осталось всего этак шагов тридцать, слышу: «Мыряй!» Мой Бряков в воду, вниз головой... Только не рассчитал, бедняга, что место мелкое, да и

[1] Сударыни! *(франц.)*

ружье у приятеля с запалом: пшш... Выстрел... Бряков: ай, ай... Выскочил из воды, как ошпаренный, и по берегу запластывает ко мне, а сам ревет благим матом и обеими руками держится... как бы это повежливее выразиться?..

— Это то самое место, — объяснил Прозоров, — в которое, по словам Гейне, маршал Даву ударил ногой одного немца, чем и сделал его знаменитостью на всю остальную жизнь...

— Вот это, по-моему, настоящие любители, — смеется Вершинин.

Мужская компания громко хохочет. За этим анекдотом посыпался ряд других. Тема оказалась бесконечной. А впереди уже выше и выше встает Рассыпной Камень, можно рассмотреть утесистую вершину-шихан и отдельные россыпи из камней, которые тянутся по бокам правильными полосами. На берегу устроена временная пристань, и ждут верховые лошади. Несколько экипажей для дам стоят в тени мелкого березняка, где курится огонек. Майзель издали машет серой охотничьей шляпой. От пристани в гору тянется свежая просека, которая нарочно устроена для этого случая.

Мужская компания берет верховых лошадей, а дамы садятся в экипажи. Исключение представляет m-me Сарматова в своем зелено-желтом платье и Луша; для них приготовлены лошади под дамским седлом. Прейн помогает им сесть в седло; Лаптев издали, разговаривая с Майзелем, следит за Лушей, которая, туго натягивая поводья, заставляет свою лошадь танцевать. От волнения все лицо у ней залито ярким румянцем, а глаза блестят лихорадочным влажным взглядом. Вот шагом потянулись в гору экипажи с дамами, тяжело переваливаясь с кочки на кочку и оставляя на траве измятый светлозеленый след; под ногами лошадей хлюпает и шипит вода. Место низкое, и кое-где лошади проваливаются.

— Посмотрите, как везут кислую капусту! — вполголоса шепчет Прейн Луше, указывая головой на экипажи с дамами.

— Я не знал, что вы такая наездница, — раздается за спиной Луши голос Лаптева.

Девушка краснеет от этой похвалы и мешает поводья. Длинная кавалькада вытягивается в гору. Озеро остается далеко внизу и точно отступает от берега. С каждым шагом вперед горизонт раздается шире и шире; из-за узорчатой прорези елового леса выступают гряды синих гор, которые тянутся к северу тяжелыми валами, точно складки обросшей зеленой щетиной кожи какого-то чудовища. Небо уходит вверх бездонным куполом; где-то далеко-далеко сверкает затерявшаяся в глубоком логу горная речонка. А там кучкой поломанных детских игрушек, рассыпанных без всякого плана и порядка, выделяется какая-то лесная деревенька.

Вершина Рассыпного Камня представляла собой слегка округленную плоскость тремя скалистыми гребнями. Самый высокий из них выходил к озеру; под ним гора крутым выгибом спускалась вниз, к воде. Около этого шихана и была выбрана охотничья стоянка, представлявшая самый живописный уголок по своей дикой красоте. Под скалами рос частый ельник. На маленькой площадке были поставлены две широкие избы. С площадки, кроме лесу и скал, ничего нельзя было рассмотреть; но стоило подняться на шихан, всего каких-нибудь десять сажен, и пред глазами открывалась широкая горная панорама, верст с сотню в поперечнике. Под ногами расстилалось длинное озеро с зелеными островами и Заозерным заводом в дальнем конце; направо, верстах в двадцати, как шапка с свалившимся набок зеленым верхом, поднималась знаменитая гора Куржак, почти сплошь состоявшая из железной руды. У ее подножья пестрели заводские домики и едва дымилась фабрика. Баламутский завод был прикрыт широкой горой; на горизонте расплывшимся пятном чуть виднелся Кукарский завод. К северу расстилалась настоящая зеленая пустыня; на ней едва можно было разобрать несколько приисков, прятавшихся по глубоким логам. Лес покрывал все кругом сплошным зеленым ковром, который в некоторых местах точно был починен новыми квадратными заплатами более светлых тонов. Это были курени, где жгли уголь и заготовляли дрова. Картина леса вблизи совсем являлась не тем, чем казалась сверху: настоящего леса, годного для заводов, оставалось

очень немного, потому что столетние лесные дебри сводились самым хищническим образом. Майзель умел хозяйничать так, что оставались нетронутыми только болота и поросли. Если бы вести правильно лесное хозяйство, то трехсот тысяч десятин, находившихся под лесом, достало бы заводам на веки вечные: но расчеты крупных подрядчиков не совпадали с требованиями лесного хозяйства: вырывались самые лучшие куски без всякого плана и порядка.

Общество, собравшееся на шихане, куда был подан завтрак и чай, менее всего интересовалось вопросами лесной техники и натянуто восхищалось далекой воздушной перспективой, игрой света и теней, зеленью леса, сливавшегося на горизонте с синевой голубого северного неба. Здесь дышалось так привольно и легко, в этой небогатой красками и линиями природе, полной своеобразной северной поэзии. Набоб мельком взглянул кругом и невольно сравнил этот родной вид с смелыми картинами заграничной природы. Его не расшевелили скромные красоты родины, которая теперь, летом, стояла пред ним, как бедная невеста, украсившая себя полинявшими цветочками и выцветшими лежалыми лентами. Не душе русского набоба понимать ту поэзию, которая веяла с этих придавленных низких гор, глухих хвойных лесов и бледного неба.

XXIV

Рано утром, на другой день, назначена была охота на оленя. Зверь был высмотрен лесообъездчиками верстах в десяти от Рассыпного Камня, куда охотники должны были явиться верхами. Стоявшие жары загоняли оленей в лесную чащу, где они спасались от одолевавшего их овода. Обыкновенно охотник выслеживает зверя по сакме [1] и ночлегам, а потом выжидает, когда он с наступлением жаркого часа вернется в облюбованное им прохладное местечко.

---

[1] Сакма — свежий след зверя на траве. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

Мужчины переоделись в охотничьи костюмы: серые куртки с зелеными отворотами и длинные сапоги. Оставались с дамами только Прозоров, Платон Васильич и домашние секретари. За охотниками двинулась орава лесообъездчиков и егеря. Собаки оставались на месте ночлега. Майзель с молодецкой посадкой ехал рядом с набобом, объясняя правила охоты, привычки зверя и разные охотничьи секреты. Евгений Константиныч лениво позевывал, раскачиваясь в седле; он был немножко не в духе, потому что не доспал. Летнее утро было хорошо, как оно бывает хорошо только на Урале; волнистая даль была еще застлана туманом; на деревьях и на траве дрожали капли росы; прохваченный ночной свежестью, холодный воздух заставлял вздрагивать; кругом царило благодатное полудремотное состояние, которое овладевает перед пробуждением от сна. Только поднимавшееся солнце да голоса распевавших птиц нарушали картину общего торжественного покоя. Лесная узкая тропинка повела охотников под гору, минуя каменистые россыпи. Кое-где попадались кедры; сплошными массами лесные породы залегали только по низким местам, а на горе рос смешанный лес. Если смотреть на Рассыпной Камень снизу, так и кажется, что по откосам горы ели, пихты и сосны поднимаются отдельными ротами и батальонами, стараясь обогнать друг друга. От них сторонится лепечущая нарядная толпа берез, лип и осин, точно бесконечный девичий хоровод. Нехорошо только одно, что вся картина точно застыла, охваченная заколдованным сном в самый горячий момент. Каждым поколением делается только один шаг, которым растение навсегда привязывается к почве.

Набоб ехал молча, припоминая про себя подробности вчерашнего дня. Днем он не имел возможности поговорить с Лушей, за исключением двух-трех случайно брошенных фраз; девушка точно с намерением избегала его общества и под разными предлогами ловко увертывалась от него. Только вечером, когда под шиханом горели громадные костры и вся публика образовала около них живописные группы, он заметил на

верху скалы неподвижную тонкую фигуру. Издали ее совсем трудно было отличить от беспорядочно нагроможденных камней, но инстинкт подсказал набобу, что этот неясный силуэт принадлежал не камню, а живому существу, которое тянуло его к себе с неудержимой силой. Удалившись незаметно от остальной компании, набоб осторожно начал взбираться на шихан с его неосвещенной стороны, рискуя на каждом шагу сломать себе шею. Но эта опасность придавала ему силы, и он видел только этот профиль женской фигуры, теперь ясно вырезывавшийся для него на освещенном фоне костров. Конечно, это была она, Луша. Набоб чувствовал, как кровь приливала к его голове и стучала в висках тонкими молоточками, а в глазах все застилало кружившим голову туманом. Чтобы не испугать любительницу уединения, набобу нужно было подвигаться вперед крайне осторожно, чтобы не стукнул под ногой ни один камень, иначе это воздушное счастье улетит, как тень, как те летучие мыши, которые с быстротой молнии пропадают в ночной мгле. Переползая с камня на камень, набоб оборвал и исцарапал руки и больно ушиб левое колено, так что даже стиснул зубы от боли, но цель была близка, а время дорого. Он чувствовал, что не перенесет, если она сейчас встанет и начнет спускаться со скалы. Вот уже несколько шагов... Набоба охватывала мягкая ночная сырость; из расщелин скалы тянуло гнилым острым запахом лишайника и разноцветного горного мха; с противоположной стороны шихана обдавало едкой струей дыма, щекотавшей в носу и щипавшей глаза.

— Это вы, Прейн? — тихо спросила Луша, заметив выплывавшую из ночной мглы человеческую фигуру.

Этот вопрос успокоил набоба. Он боялся, что девушка ждала своего несчастного доктора.

— Нет, это я... — тихо ответил он сдержанным шепотом, чувствуя, как у него все пересохло во рту, а глаза налились кровью.

— Кто? — еще тише спросила Луша, инстинктивным движением собирая около ног свои юбки и напрасно вглядываясь в подползавшую фигуру.

— Я... Человек, которого вы не ждете, но который из-за удовольствия видеть вас десять раз мог сломать себе шею.

Луша не вскрикнула, не испугалась, но сделала движение подняться с места.

— Ради бога, не поднимайтесь! — умолял набоб. — Одно слово — и я уйду.

Набоб подполз так, что его нельзя было заметить со стороны огней, и, скорчившись, сел у ног Луши, как самый покорный раб. Это смирение тронуло сердце Луши, и она молча ожидала первого вопроса.

— Вы ждали Прейна?

— Нет.

— Почему вы подумали, что это он, а не кто-нибудь другой?

— Потому что... потому что считала его одного способным на такую дикую выходку. Ведь он ловок, как кошка.

— Зачем вы ушли сюда?

— Мне было скучно внизу, а здесь так хорошо. Я иногда люблю подурачиться, особенно ночью... Посмотрите, как хорошо кругом.

На горах лежала непроницаемая мгла, из которой смутно выплывали неясные силуэты самых высоких гор, да кое-где белел туман, точно все низменности были налиты белой, тихо шевелившейся массой, вроде мыльной пены. Набоб не находил в этой картине ничего красивого, если бы не это звездное глубокое небо, наклонившееся над землей с страстным шепотом. В лихорадочном блеске мириадами искрившихся звезд чувствовалось что-то неудовлетворенное, какая-то недосказанная тайна, которая одинаково тяготит несмываемым гнетом как над последним лишаем, жадно втягивающим в себя где-нибудь в расселине голого камня ночную сырость, так и над венцом творения, который вынашивает в своей груди неизмеримо больший мир, чем вся эта переливающаяся в фосфорическом мерцании бездна.

— Луша... Вы позволите мне так называть вас?

Молчание.

— Луша! Зачем вы так упорно продолжаете избегать меня? Что я вам сделал? Что мне нужно сделать, чтобы заслужить ваше... ваше доверие?

— Очень немного: уйти отсюда с такою же ловкостью, с какой вы явились. Что вам нужно от меня? Что общего может быть между нами?

Благодаря исключительным условиям этой сцены разговор происходил отрывистыми фразами; сторонам представлялось самим перекидывать между ними те умственные мостики, которые делали бы связь между отдельными мыслями вполне ясной.

— Вы — странная девушка.

— Это очень скучная тема, и чтобы не повторять одно и то же десять раз, скажу вам, что я такая же обыкновенная девушка, как и тысячи других, которым вы повторяли сейчас сказанную вами фразу.

— Но это не мешает мне чувствовать то, что я говорю, чувствовать с того момента, когда я в первый раз увидал вас. Я боюсь назвать то чувство, которое...

— Я понимаю это чувство: имя ему — жажда разнообразия...

Луша тихо засмеялась, скрестив пальцы.

— А если я имею такие доказательства, которые должны убедить вас?

Пауза. Где-то шарахнулась ночная птица и пропала с мягким трепетом крыльев в ночной мгле. Набоб невольно вздрогнул; он только теперь почувствовал, что из его исцарапанных рук сочится кровь.

— Вот вам доказательство, — проговорил он, протягивая руку вперед. — Пощупайте, она в крови, которую я проливаю из-за вас...

— Очень трогательно... Позвольте я оботру ее вам. Это все, что я могу сделать.

Девушка торопливо вытерла своим платком протянутую мясистую ладонь, которая могла ее поднять на воздух, как перышко. Она слышала, как тяжело дышал ее собеседник, и опять собрала около ног распустившиеся складки платья, точно защищаясь этим жестом от протянутой к ней сильной руки. В это мгновенье она как-то сама собой очутилась в железных объятиях набоба, который задыхавшимся шепотом повторял ей:

— Ты будешь моя!... ты будешь моя!

— Никогда!.. Пустите... Иначе мы вместе полетим вниз.

На верху скалы завязалась безмолвная борьба. Луша чувствовала, как к ней ближе и ближе тянулось потное, разгоряченное лицо; она напрягла последние силы, чтобы оторваться от места и всей тяжестью тела тянулась вниз, но в этот момент железные руки распались сами собой. Набоб, схватившись за голову, с прежним смирением занял свою старую позицию и глухо забормотал прерывавшимся шепотом:

— Я вас убью... Простите меня... но я не могу... я...

Он сорвал с шеи галстук и замолчал, вздрагивая всем телом.

— Уходите, уходите! — гневно шептала девушка, закрывая лицо своими тонкими руками. — Я лучше умру сто раз, чем один раз отдамся вам. Уходите... Я сделаю то, о чем вас предупреждала.

Она угрожающе поднялась с места, но ее остановил отчаянный жест набоба, моливший о пощаде.

— Хочешь быть моей женой, Луша? — шептал потерявший голову набоб. — Я все тебе отдам... Вот все, что отсюда можно видеть днем. Это все будет твое... за одно твое ласковое слово.

Луша отрицательно покачала головой и засмеялась.

— Я не требую теперь вашего ответа... сейчас... Обдумайте, я умею ждать...

— Напрасный труд, Евгений Константиныч! Ради бога, уходите... Вас ищут там. Слышите голос Прейна?

— Не уйду, пока вы не дадите мне руки... Это будет доказательство, что вы меня простили и... и подумайте о моем предложении.

Девушка торопливо протянула свою руку и почувствовала, с странным трепетом в душе, как к ее тонким розовым пальцам прильнуло горячее лицо набоба и его белокурые волосы обвили ее шелковой волной. Ее на мгновенье охватило торжествующее чувство удовлетворенной гордости: набоб пресмыкался у ее ног точно так же, как пресмыкались пред ним сотни других, таких же жалких людей.

Когда Евгений Константиныч вернулся к пылавшим огням, он, к своему удивлению, увидал Лушу, которая, сидя на бухарском ковре, весело болтала о чем-то в обществе доктора, Прейна и Прозорова. Чтобы не выдать своего похождения, набоб натянул замшевые перчатки. Луша заметила этот маскарад и улыбнулась.

— Где это вы пропадали? — спрашивал Прейн, пытливо глядя на своего повелителя.

— Представьте себе, я чуть не заблудился... — весело ответил набоб, припоминая, как Луша вытирала его руки платком. — Еще четверть часа — и я, кажется, погиб бы в этой трущобе.

Посыпались вопросы и знаки участия; особенно взволновались дамы, которые в своей птичьей беззаботности и не подозревали, что погибель была так близка. Лаптев в тон общему настроению рассказал самую фантастическую историю своего путешествия в каких-то камнях, а потом в густом лесу. В заключение он взглянул на Лушу. Их глаза встретились. Набобу показалось, что он теперь понял эту странную девушку, точно между ним и ей исчезла какая-то завеса, разделявшая их до сих пор. Она смотрела на него с тем гордым чувством собственности, как смотрят любящие женщины. Он показал ей глазами на свои перчатки; она отвернулась, чтобы скрыть осветившую лицо улыбку.

Теперь, спускаясь с горы, набоб с удовольствием перебирал в своем уме подробности вчерашних похождений. Он переживал ту полноту и приятную напряженность чувства, каких не дают продажные женщины. Прейн ехал за ним и сосредоточенно насвистывал какую-то бравурную опереточную арию, что в переводе означало, что он о чем-то думает самым серьезным образом. От его зоркого взгляда не ускользнуло, что между Лушей и набобом произошло что-то очень важное: оба держали себя как-то неестественно, и Луша несколько раз задумчиво улыбнулась без всякой видимой причины. Старый грешник чувствовал себя непогрешимым в известного сорта делах. Рано утром, когда набоб еще спал, Прейн заметил следы крови на снятых перчатках; это обстоятельство навело его еще на большие сомнения.

План охоты на оленя заключался в том, чтобы егерям и лесообъездчикам сначала окружить зверя живой цепью, а потом выгнать его прямо на набоба. Круг из загонщиков растягивался верст на пять. Посланные вперед разведчики донесли Майзелю, что зверь встал от оводов в густую еловую заросль, которая тянулась сплошной гривою по одному из увалов Рассыпного Камня. За последнюю неделю был выслежен с математической точностью каждый шаг обреченного на погибель зверя. Это был великолепный десятирогий «бык», то есть самец, отдыхавший после весенних удовольствий любви. Можно было пожалеть только о том, что он за последнюю неделю, преследуемый оводом, заметно спал с тела.

Пока загонщики делали свое дело, устроен был легкий привал у безыменного горного ключика, сочившегося ледяной струей из крутого отвала горы. Чтобы прежде времени не встревожить зверя, было строго запрещено курить и разговаривать. Набоб, вытянувшись на траве во весь рост, безмолвно смотрел в голубое небо, где серебряными кружевами плыли туманные штрихи. В одном месте круглилось и надувалось белое грозовое облачко. Смешанный лес из сосен и берез то начинал шуметь ласковым шепотом, то сдержанно стихал. Солнце подобрало росу, и теперь в сочной зеленой траве накоплялся дневной зной, копошились букашки и беззаботно кружились пестрые мотыльки; желтые, розовые и синеватые цветы пестрили живой ковер травы, точно рассыпанные самоцветные камни. Кусты жимолости и вереска выбирали самые солнечные места, где почва накаливалась от зноя. В числе охотников был и Родион Антоныч, тоже облекшийся в охотничью куртку и высокие сапоги; выбрав местечко на глазах набоба, он почтительно сидел на траве, не спуская глаз с своего владыки, как вымуштрованный охотничий пес.

— Готово... — шепотом проговорил Майзель, когда на опушке ближайшего леса показался приземистый бородатый лесообъездчик, первый плут и лучший охотник.

Все поднялись и осторожно пошли через лес пешком. Лошади были оставлены. Евгений Константиныч

нес в руках короткий английский штуцер, заряженный самим Майзелем. Когда охотники были расставлены по местам, мертвая тишина охватила все кругом. Набоб стоял под прикрытием развесистого куста рябины; пред ним легла глубокая поляна, по которой должен был пробежать вспугнутый зверь. Время тянулось с ужасной медленностью. Где-то сухо треснул под ногой сучок. Комары лезли набобу в нос, в рот, даже в уши; он сначала отмахивался от них рукой, а потом покорился своей участи и только в крайнем случае судорожно мотал головой, как привязанная к столбу лошадь. Майзель стоял от него шагах в пятидесяти и чутким, привычным ухом ловил малейший шорох. Сначала ничего нельзя было разобрать, но потом он убедился, что зверь поднят: олень почуял опасность и осторожным шагом, нюхая воздух и насторожив уши, шел вдоль лесистой гривки. В одном месте «счакали» рога о дерево. Майзель, притаив дыхание, впился глазами в лесную чащу; зверь шел прямо на набоба и должен был пересечь лесную прогалину, которая была открыта для выстрела.

Красавец олень действительно шел по направлению к этой прогалине, делая легкие прыжки через поваленные стволы деревьев. Он чутко поводил ушами, откидывая рога на спину. Подозрительный шорох заставлял его вздрагивать; горячие большие глаза смотрели тревожно. Зверь почуял своего страшного врага — человека — и теперь старался выбраться из засады. Опасность грозила из каждого угла, олень чувствовал окруживших его людей с такой же отчетливостью, как мы можем только видеть. Вместе с тем он понимал, что единственное его спасение — это идти вдоль гривы. Но блеснувшая между деревьями прогалина заставила его остановиться на опушке, он почуял, что враг совсем близко, и хотел вернуться, но в это мгновение раздался сухой треск выстрела, и благородное животное, сделав отчаянный прыжок вперед, пало головой прямо в траву. Из-за рябины, где стоял набоб, взмыло кверху белое облачко дыма.

— Молодецкий выстрел! — кричал Майзель, первым подбегая к трепетавшему в агонии оленю. — Поздравляю, Евгений Константиныч... Могу сказать,

что это выстрел! двести шагов... Да, молодецкий выстрел!

Около убитой жертвы сошлись все охотники, торопливо делая оценку выстрелу.

— Теперь на коня! — скомандовал Майзель. — Господа, мы будем поздравлять Евгения Константиныча на привале...

Лесообъездчики явились с лошадьми; оленя взялся доставить Родион Антоныч, не знавший, чем выразить ему свое удивление пред искусством набоба.

— Что же ты меня не поздравляешь, Альфред? — обратился набоб к Прейну, который рассеянно смотрел на пеструю толпу сбежавшихся егерей и лесообъездчиков.

— Ага... ничего! — ответил Прейн. — Счастливый выстрел...

Майзель торжествовал и гордо закручивал свой седой ус; самое горячее желание исполнилось: набоб был доволен. Обратно охотники поехали другой дорогой и у подножья Рассыпного Камня, на одном повороте лесной тропы, неожиданно увидали перед собой громадный шатер, огни и все общество. Этот сюрприз был задуман тоже Майзелем, чтобы устроить чисто охотничий привал. Дамы наперерыв спешили поздравлять счастливого охотника и даже поднесли ему букет из полевых цветов. В общем взрыве радостного восторга не принимала участия только Луша.

— А вы, кажется, не разделяете общих чувств? — спрашивал ее набоб, улучив свободную минуту.

— Прикажете тоже поздравлять? Это очень забавно! убить оленя, которого лесообъездчики чуть не привязали за рога к дереву... Удивительный подвиг!..

— Я не видал вас со вчерашнего дня... — понизив голос, проговорил набоб.

— Не много от этого потеряли. Идите, пожалуйста, к дамам, а то они меня разорвут...

Привезенный олень явился апогеем торжества. Его освежевали, а мясо отдали поварам. Пир затевался на славу, а пока устроена была легкая закуска. Майзель с замиранием сердца ждал этого торжественного момента и тоном церемониймейстера провозгласил:

— Господа, прошу отведать хлеба-соли!

Набоб первым вошел в палатку, где на столе из свежерасколотых елей красовалась «маленькая» охотничья закуска, то есть целая батарея всевозможных бутылок и затем ряды тарелок, тарелочек и закрытых блюд с каким-то очень таинственным содержимым.

— Вот, могу вам рекомендовать, Евгений Константиныч, — с скромным достоинством проговорил Майзель, собственноручно подавая набобу лежавший на серебряном блюде предмет странной формы, что-то вроде передней половины разношенной калоши: — самое охотничье кушанье...

— Что это такое? — удивился набоб, осторожно пробуя вилкой темную губчатую массу.

— А вы попробуйте...

Отрезанный ломтик оказался необыкновенно тонкого вкуса. Удивленный этим сюрпризом, набоб съел второй ломтик и потом с отчаянием в голосе проговорил:

— Хоть убейте, не могу определить, что это за штука... А чертовски вкусная закуска! Прейн, попробуй!

— Это, Евгений Константиныч, позволю себе так выразиться, классическая охотничья закуска, — объяснил Майзель, даже покрасневший от щедрой похвалы, — маринованная верхняя губа сохатого...

— Благодарю и благодарю! — растроганно заявил набоб и торжественно облобызал старого охотника. — Раз — благодарю за отличную охоту, а второе — за эту закуску...

Нужно ли говорить, что торжество Майзеля отразилось острой болью на душе у всех остальных, особенно у Вершинина, который имел несчастие думать в течение целых двух суток, что никто не может придумать ничего лучше его ухи из живых харюзов. Вот тебе и харюзы! Даже Сарматов — и тот, обнюхивая микроскопический кусочек доставшейся на его долю классической охотничьей закуски и глубокомысленно вытаращив глаза, громко заявил, что действительно, когда он был командирован в Архангельскую губернию, то в течение трех лет питался одной маринованной губой сохатого. Родион Антоныч торжествовал: союзники те-

перь побивали друг друга... Отлично! Майзель никогда не простит Вершинину уху из харюзов, а Вершинин никогда не простит Майзелю маринованной губы.

«Отлично! — думал Родион Антоныч, потирая руки. — Вот так удружили... Ха-ха!.. Ах! нужно сейчас же послать Раисе Павловне эстафету».

В душе Ришелье затеплилась сладкая надежда, что все здание, с такой дьявольской хитростью воздвигнутое руками Тетюева, разлетится прахом от такой простой вещи, как встреча ухи с губой...

После трех рюмок водки у Майзеля совсем сделалось легко на душе, и он презрительно оглядывал всю остальную публику. Сарматов, прожевывая ломтик колбасы, рассказывал набобу самые удивительные случаи о своих охотничьих похождениях, а в том числе и о собаках.

— Представьте себе, Евгений Константиныч, — ораторствовал он, — у меня была одна собака... Кстати, я знаю отличное средство, если кто боится собак: ни одна не укусит. Если вы идете, например, по улице, вдруг — навстречу псина, четвертей шести, и прямо на вас, а с вами даже палки нет, — положение самое некрасивое даже для мужчины; а между тем стоит только схватить себя за голову и сделать такой вид, что вы хотите ею, то есть своей головой, бросить в собаку, — ни одна собака не выдержит. Честное слово... Я даже производил опыты с одним тигром в зверинце.

Сарматов показал пример, как нужно трясти головой, но мнения общества относительно заявленного средства разделились.

— Вздор! — решительно заявил Майзель.

— Честное и благородное слово, Николай Карлыч! Хотите пари?

— Извольте, но с условием: я положу свое пальто, на пальто положу свою собаку, — если вы возьмете из-под собаки пальто, вы выиграли.

— Идет!

Майзель торжественно разостлал на траве макинтош и положил на нем свою громадную датскую собаку. Публика окружила место действия, а Сарматов для храбрости выпил рюмку водки. Дамы со страху

попрятались за спины мужчин, но это было совершенно напрасно: особенно страшного ничего не случилось. Как Сарматов ни тряс своей головой, собака не думала бежать, а только скалила свои вершковые зубы, когда он делал вид, что хочет взять макинтош. Публика хохотала, и начались бесконечные шутки над трусившим Сарматовым.

— Это дрессированная собака, — оправдывался Сарматов, нимало не конфузясь. — Она только и умеет, что лежать на вашем пальто...

— Дорого бы я дал тому, кто подал бы мне мой макинтош! — хвастался Майзель, упоенный своими победами. — Господа, попробуйте!

В этот момент из толпы выделился Родион Антоныч, подошел к лежавшей собаке и прыснул на нее набранной в рот водой. Захваленный пес вскочил, поджал хвост и скрылся.

— Вот ваш макинтош, Николай Карлыч! — почтительно проговорил Родион Антоныч, подавая пальто Майзелю.

Старый охотник совсем опешил и не знал, что ему ответить. Публика тоже была очень смущена, но когда набоб засмеялся, взрыв дружного хохота был наградой находчивости Родиона Антоныча, который с застенчивой улыбкой вытирал себе лицо платком.

— Это нечестно! — отрубил, наконец, взбешенный общим хохотом Майзель.

— Успокойтесь, Майзель! — уговаривал расходившегося старика набоб. — Этот господин поступил очень находчиво — и только... А Сарматов жестоко проврался! Я думал, что он совсем оторвет себе голову... А как фамилия этого господина, который прогнал вашу собаку?

— Сахаров, — сердито ответил Майзель.

— Ага! Да, очень находчиво.

Поданный обед сгладил неприятные последствия этого маленького эпизода. На столе в разных видах фигурировал только что убитый олень. Все участвующие, конечно, наперерыв старались уверить друг друга, что в жизнь свою никогда и ничего вкуснее не едали, что оленина в жареном виде — самое ароматное и тон-

кое блюдо, которое в состоянии оценить только люди «с гастрономической жилкой», что вообще испытываемое ими в настоящую минуту наслаждение ни с чем не может быть сравниваемо и т. д. Выпитое за охотничьей закуской вино заметно оживило все общество, и даже генерал, видавший лес и охотников только на картинах, громко уверял Перекрестова, что и лес и охота — отличные вещи сами по себе. Секретари, занимавшие пост около галок, совершенно были согласны с генералом; пьяный Летучий, особенно близко познакомившийся в эту поездку с Прозоровым, подтвердил слова генерала неожиданно вырвавшейся икотой. Вообще все имели особенное расположение к веселящим напиткам. Прейн пил вместе со всеми, но не пьянел, а только заметно делался глупее, что ему и доказала самым очевидным образом Нина Леонтьевна, запустив ему шпильку. Впрочем, Прейн не очень огорчился выходкой Нины Леонтьевны — это была та необходимая доза житейской горечи, которая делает наше счастье настоящим счастьем. Он видел два чудные глаза, которые смотрели на него таким понимающим, почти говорящим взглядом и смотрели только на него одного, потому что все остальные люди для этой пары глаз были только необходимым балластом.

XXV

— Я уезжаю! — объявила Нина Леонтьевна генералу самым решительным тоном сейчас же после охотничьего завтрака.

Такой оборот дела поставил генерала в совершенный тупик: ему тоже следовало ехать за Ниной Леонтьевной, но Лаптев еще оставался в горах. Бросить набоба в такую минуту, когда предстоял осмотр заводов, значило свести все дело на нет. Но никакие просьбы, никакие увещания не привели ни к чему, кроме самых едких замечаний и оскорблений.

— Неужели, Нина, стоит обращать внимание на глупую болтовню такого человека, как Прозоров? — говорил генерал. — Обижаться его выходками — значит, слишком мало уважать себя...

— Оставимте этот разговор, — коротко высказала свою волю Нина Леонтьевна, — я теперь убедилась окончательно, насколько вы меня цените...

— Нина, ради бога, в какое ты ставишь меня положение?

— Вы сами себя ставите, а не я... — зашипела болванка. — Прозоров — ваш университетский товарищ, и вы так поставили себя с ним, что он совершенно безнаказанно может делать, что хочет.

С логикой кровно обиженной женщины Нина Леонтьевна обрушилась всей силой своего негодования не на Прозорова, а на генерала, поставив ему в вину решительно все, что только может придумать самая пылкая фантазия, так что в конце концов генерал почувствовал себя глубоко виновным и даже не решался просить прощения. Притом все дамы были за Нину Леонтьевну и тоже изъявили желание вернуться к покинутым домашним очагам, причем даже не трудились подыскать мало-мальски подходящих предлогов для такого коллективного протеста. M-me Дымцевич была величественна и неумолима, как фатум; m-me Сарматова держала своих юниц за руки с таким видом, точно их невинности грозил самый воздух.

— Мы вас во всяком случае оставляем в таком приятном обществе, — говорила Нина Леонтьевна генералу уже от лица всех дам, — что вы, вероятно, не особенно огорчитесь нашим отъездом... Здесь останутся три особы, которые имеют все данные, чтобы утешить вас всех...

— Нина, что ты говоришь? — взмолился генерал. — Опомнись... Бросать грязью в этих девушек просто несправедливо!

— Mesdames, вы слышали? — обратилась Нина Леонтьевна к своим сторонницам. — Я это знала вперед!

Момент получился критический, и интересы русского горного дела висели на волоске. Генерал колебался, оставаться ему здесь или последовать за Ниной Леонтьевной. То и другое решение могло иметь неисчислимые последствия. Но Нина Леонтьевна пересолила, и генерал, как это делают все бесхарактерные

люди, махнул на все рукой. Будь что будет, а он останется в горах, чтобы провезти Лаптева на обратном пути по всем заводам. От такого варварского решения с Ниной Леонтьевной сделалось дурно, хотя в душе она желала, чтобы генерал остался в горах, и вместе с тем желала сорвать на нем расходившуюся желчь.

— Что тут такое: революция? — вмешался Прейн, появляясь точно из-под земли.

— Да, мы хотим огорчить вас и... уезжаем, — с деланным смехом ответила Нина Леонтьевна. — Не правда ли, это убьет вас наповал? Ха-ха... Бедняжки!.. Оставлю генерала на ваше попечение, Прейн, а то, пожалуй, с горя он наделает бог знает что. Впрочем, виновата! генерал высказывал здесь такие рыцарские чувства, которые не должны остаться без награды...

Прейн отлично понял, что хотела сказать Нина Леонтьевна, но, прищурив свои бесцветные глаза, только развел руками.

— Вы нам испортите всю поездку, Нина Леонтьевна, — серьезно проговорил он, бросая окурок сигары в траву. — Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного... кроме того, что мы не желаем быть здесь лишними. Притом вам предстоит с генералом еще столько серьезных занятий... ха-ха! Нет, довольно, Прейн! я не желаю вас мистифицировать: мы едем просто потому, что в горах слишком холодно.

— Я передам Евгению Константинычу, а с своей стороны могу сказать только, что пароход сейчас ушел...

— Как ушел?

— Я уже сказал, что у вас происходит какая-то революция: половина общества уже уехала, а теперь вы покидаете нас...

Нина Леонтьевна побелела даже через слой румян и белил: Прейн предупредил и отправил девиц вперед. Он сейчас после завтрака передал m-lle Эмме, что им пора убираться восвояси, m-lle Эмма сама думала об этом и потащила за собой Анниньку. Перекрестов и Братковский вызвались их сопровождать. К этому веселому обществу присоединились Прозоровы и доктор.

Положение дам получилось довольно некрасивое, но им больше ничего не оставалось, как только выдержать характер до конца. Пароход вернулся через три часа, и все дамы, простившись с Евгением Константинычем, отправились к пристани.

— Вы войдите в мое положение, — говорил дамам на прощанье Евгений Константиныч, желавший остаться любезным до конца. — Ведь с вашим отъездом я превращаюсь в какую-то жертву в руках генерала, который хочет протащить меня по всем заводам...

В виде почетной стражи к удалившимся дамам были приставлены «почти молодые люди» и Летучий, который все время своего пребывания в горах проспал самым бессовестным образом. Генерал проводил дам до пристани, где еще получил в виде задатка несколько колкостей, как главный виновник всего случившегося.

— Славу богу, одним грехом меньше, — шепнул Прейн набобу, когда генерал вернулся в главную стоянку на Рассыпном Камне.

— Что такое случилось, — я решительно недоумеваю! — не понимал Лаптев.

— Самая обыкновенная история; по русской пословице: семь топоров лежат вместе, а два веретена врозь.

— Ага... Очень хорошая пословица. Семь топоров лежат врозь...

— Нет: вместе.

— Да, да... Семь топоров вместе... Очень остроумно сказано!..

Оставшись одни, все почувствовали себя свободными, особенно мужья. Присутствие женщин связывало общество, потому что самые лучшие анекдоты приходилось рассказывать вполголоса и, главное, постоянно быть настороже, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, а теперь все сняли с себя верхнее платье и остались в одних рубашках. Это было очень оригинально и приближало к простоте окружавшей природы; притом и пить приходилось очень много, потому что какое значение может иметь природа для цивилизованного человека, если она не вспрыснута дорогим вином. Даже генерал — и тот пил вместе с другими, чтобы разогнать тяжелое чувство ожидаемого возмездия. Вместе с тем,

поглядывая на Евгения Константиныча, генерал соображал, как он потащит на буксире этого барчука высшей школы по всем заводам, а главное — в Куржак, на знаменитый железный рудник. Майзель, Вершинин, Дымцевич и Сарматов заметно оживились и наперерыв старались блистать самым непринужденным остроумием. Под шиханом лесообъездчиками была устроена на высоких козлах трапеция, и на ней «господа» показывали свою ловкость: Прейн вертелся как клоун и поражал всех живостью и силой своего сколоченного жилистого тела. Остальные припомнили тоже кое-что из старины, и всякий в свою долю старался влезть по крайней мере на шест, чтобы не отстать от других. Набоб лежал на траве в одной рубашке и поощрял кувыркавшихся и потевших добровольцев, потому что любил упражнения этого рода. И сам он в былые времена тоже умел проделывать кое-что по части эквилибристики, но теперь зажирел и вообще сделался тяжел на подъем.

— А вы, Родион Антоныч, что не попробуете? — предлагал Прейн, когда все успели проделать свои номера.

— Я-с? Нет уж, Альберт Осипыч, увольте... — взмолился Родион Антоныч, отмахиваясь обеими руками. — Помилуйте, я уж старик, притом совсем почти слепой. С печи на полати едва перелезаю...

— Врет, все врет! — послышались голоса. — Какой он слепой! птицу в лет бьет! Нет, Родион Антоныч, пожалуйте!..

В общем хоре особенно энергично настаивал Майзель, который не мог простить Родиону Антонычу его выходки с собакой. Набоб смеялся над смутившимся Ришелье и тоже упрашивал его попытать счастья на трапеции.

— Не могу-с, Евгений Константиныч, вот как перед богом, не могу! — упирался Родион Антоныч, умиленно прижимая обе руки к сердцу.

— Да вы попробуйте. Ведь прогнали же собаку Майзеля, — поощрял Лаптев, продолжая милостиво улыбаться. — На людях и смерть красна... Притом мы здесь совершенно одни, дам нет.

Стоявшие почтительно в сторонке лесообъездчики начали пересмеиваться, дескать, влопался наш Родька, как он полезет на петлю. Общее внимание и градом сыпавшиеся со всех сторон просьбы повергли Ришелье в окончательное смущение, так что он готов был замолчать самым глупым образом и из-за какой-нибудь дурацкой гимнастики разом потерять все внимание, какое успел заслужить в глазах набоба. Оставалось только лезть на трапецию, чтобы сверзиться оттуда мешком для общей потехи; но в это мгновение Родиона Антоныча осенила счастливая мысль, и он проговорил:

— Ей-богу, Евгений Константиныч, не могу насчет трапеции! А ежели вот на палке тянуться или по-татарски бороться...

— Как это по-татарски?

— А так-с, лежа, нога за ногу, а потом кто кого на голову поставит...

Эта идея очень понравилась набобу, и Прейн первый решился вступить с Ришелье в оригинальное ратоборство. Они легли рядом на траву ногами к голове и потом зацепили друг друга ногой в ногу; секрет борьбы заключался в том, чтобы давить скрюченной ногой ногу противника до тех пор, пока тот не встанет на голову. Получалась очень комичная сцена, и набоб хохотал от души, когда Прейн и Родион Антоныч надувались и краснели, стараясь осилить друг друга. Наконец, к общему удовольствию, Прейн кубарем полетел через голову, и ловкость Родиона Антоныча покрылась общими аплодисментами. Лесообъездчики рты разинули от удивления, как ловко Родька обтяпал барина. Ай да Родивон Антоныч, придумал штуку, почище господской петли.

— Это очень интересно! — восклицал Евгений Константиныч, крайне довольный новой забавой. — Ну-ка, Родион Антоныч, со мной...

Это предложение заставило Родиона Антоныча в первое мгновение оторопеть. Он даже потер себе глаза: но нет, это была не галлюцинация, и Лаптев уже растянулся на траве и поднял ногу.

— Евгений Константиныч... ей-богу, не могу-с! не смею... — залепетал Родион Антоныч.

— Ничего, вздор! — решил Прейн, прихрамывая и щупая затылок. — Прямо меня на голову поставил...

Родиона Антоныча насильно уложили рядом с Лаптевым и заставили зацепить ногой барскую ногу. Бедный Ришелье только сотворил про себя молитву и даже закрыл глаза со страху. Лаптев был сильнее в ногах Прейна, но как ни старался и ни надувался, — в конце концов оказался побежденным, хотя Родион Антоныч и не поставил его на голову.

— Молодец!... — хвалил Евгений Константиныч, поднимаясь с земли. — Право, я не подозревал, что так можно бороться. Как жаль, что здесь нет Летучего, а то его следовало бы поставить на голову раз пять... Ха-ха! Вы, Родион Антоныч, может быть, еще что-нибудь умеете?

— Нет-с, Евгений Константиныч, больше ничего не умею... Разве вот на палке тянуться, а то ведь я все по письменной части.

Новый успех Родиона Антоныча покоробил Майзеля, и он процедил сквозь зубы:

— Дурацкая штука... глупость!..

Генерал тоже был недоволен детским легкомыслием набоба и только пожимал плечами. Что это такое в самом деле? Владелец заводов — и подобные сцены... Нужно быть безнадежным идиотом, чтобы находить удовольствие в этом дурацком катанье по траве. Между тем время летит, дорогое время, каждый час которого является прорехой в интересах русского горного дела. Завтра нужно ехать на заводы, а эти господа утешаются бог знает чем!

— Генерал, вы что так насупились? — спрашивал Лаптев, заметив недовольную мину. — Не сердитесь, голубчик... Завтра ранним утром отправляемся в Куржак, и там можете делать со мной, что хотите. Не правда ли, Прейн?

Погода была великолепная, точно сама природа благоприятствовала успехам прогрессировавшего русского горного дела. Вот уже третью ночь все общество проводило в горах, и какую ночь — хоть картину пиши! Вечером солнце село по всем правилам искусства: оно точно утонуло золотым шаром в пылавшем море крови,

разливая по небу столбы колебавшихся розовых теней. Опять звездная бездна над головой, опять душистая прохлада северной ночи; кругом опять призраки и узорчатые тени по горам, а в самой выси, где небо раздавалось и круглилось куполом, легли широкие воздушные полосы набежавших откуда-то облачков, точно кто мазнул по небу исполинской кистью. Эти облачка сильно беспокоили Майзеля. Еще предстояло взять дупелиное болото, потом проведать медведя — и вдруг дождь, самый обыкновенный, глупейший дождь, который может зарядить дня на два! Что может быть обиднее? Родион Антоныч думал то же, расположившись на ночь около огонька. Он пережил столько в последние сутки, что долго не мог успокоиться и все щупал свою ногу, которая удостоилась прикасаться к ноге Евгения Константиныча... Ведь вот, поди ж ты, кто бы, кажется, мог придумать такую штуку!.. Да, боролся с самим Евгением Константинычем и был замечен, назло всем окружавшим Родиона Антоныча врагам. Если разобрать, что он такое в этой компании: червь, моль, былинка, колеблемая ветром! Он не умел рассказывать пикантных анекдотов, не умел придумывать новых кушаний — и вдруг: собака Майзеля и татарская борьба сразу подняли его на небывалую высоту! Зато теперь все грызут на него зубы — и Вершинин, и Дымцевич, и Майзель, и Сарматов. Особенно Майзель, который с чисто немецкой аккуратностью не умел прощать обид. Но что они все значили, даже взятые вместе, перед вниманием Евгения Константиныча, который изволил собственной ногой зацепить его рабью лапу? Вот-то обрадуется Раиса Павловна, когда узнает! А Прейн, шельма этакая, только улыбается, а того не подумает, каково было ему, Родиону Антонычу, единоборствовать с Евгением Константинычем. И во сне Ришелье несколько раз осторожно и с благоговением приподнимал осчастливленную ногу, точно эта нога составляла уже не часть его тела, а сам он составлял всем своим существом только ничтожный придаток к этой ноге.

К утру вспрыснул легкий дождь, напугав всех, но этот страх был совершенно напрасен. Дождь только освежил траву и лес, и солнце взошло с небывалой

пышностью. Предрассветная туманная полоса, пеленавшая восток, точно дала широкую трещину, от которой все небо раскололось на мириады сквозивших розовым золотом щелей. Неудержимый поток света залил все небо, заставив спавшую землю встрепенуться малейшей фиброй, точно кругом завертелись мириады невидимых колес, валов и шестерней, заставлявших подниматься кверху ночной туман, сушивших росу на траве и передававших рядом таинственных процессов свое движение всему, что кругом зеленело, пищало и стрекотало в траве и разливалось в лесу тысячами музыкальных мелодий. Нужно было такому чуду свершаться исправно каждый день, чтобы люди смотрели на него, ковыряя пальцем в носу, как смотрел набоб и его приспешники, которым утро напоминало только о новой еде и новом питье.

Для охотничьего утра набоб проснулся очень поздно, потому что вчера целый день слишком много пил и ел; Прейну стоило большого труда растолкать его, причем оба ругались на трех языках. М-г Чарльз ожидал пробуждения своего повелителя с целым арсеналом принадлежностей туалета и холодным, презрительным взглядом смотрел на суетившуюся толпу управителей. Оседланные лошади нетерпеливо грызли удила, фыркали и взрывали землю копытами. Генерал с сигарой в зубах шагал по росистой траве, заложив руки за спину; он тоже поднялся не в духе, потому что в его профессорском теле сказалась чисто профессорская болезнь. В сторонке от главной стоянки распоряжался Майзель, отдавая приказания лесообъездчикам; он был великолепен всей своей петушиной, надутой фигурой, заученными солдатскими жестами и вообще всей той выправкой, какая бросается в глаза на плохих гравюрах из военной жизни. Из лесообъездчиков Майзель хотел выбить какой-то эскадрон, точно готовился сейчас лететь в атаку.

— Генерал сердится... — объяснил Прейн, когда набоб снова бессильно опустил поднятую голову на подушку. — Наконец, будет жарко, и охота пропадет. Теперь самый раз отправляться...

— Я сейчас... — бормотал набоб, натягивая на себя одеяло. — А на генерала мне наплевать... Вот еще мило: каторжный какой дался вам!

Прошел еще час, пока Евгений Константиныч при помощи Чарльза пришел в надлежащий порядок и показался из своей избушки в охотничьей куртке, в серой шляпе с ястребиным пером и в лакированных ботфортах. Генерал поздоровался с ним очень сухо и только показал глазами на стоявшее высоко солнце; Майзель тоже морщился и передергивал плечами, как человек, привыкший больше говорить и даже думать одними жестами.

— Извините, господа, — говорил Евгений Константиныч, усаживаясь за завтрак из холодной дичи. — Мы еще успеем... А где у меня Brunehaut?

Собаку-фаворитку привезли только накануне, и она с радостным визгом принялась прыгать около хозяина, вертела хвостом и умильно заглядывала набобу прямо в рот. Другие собаки взвизгивали на сворах у егерей, подтянутых и вычищенных, как картинки. Сегодня была приготовлена настоящая парадная охота, и серебряный охотничий рог уже трубил два раза сбор.

— Замечательная собака! — говорил Лаптев, лаская своего пойнтера. — Какую стойку делает! Раз выдержала дупеля час с четвертью. Таких собак только две по всей России: у меня и у барона N.

— А сколько она стоит? — любопытствовал кто-то.

— Вздор... Тысячи две, кажется.

— Ровно две тысячи, — подтвердил Прейн.

Наконец, и завтрак был кончен. Серебряный рог протрубил сбор в третий раз, и Майзель скомандовал на коня. До Куржака было верст двадцать, но приходилось ехать верхами. Генерал тоже взмостился в седло и неловко держал поводья обеими руками, точно посаженная на лошадь монахиня; Родион Антоныч оказался верхом на мохноногом горбоносом киргизе. Около него вертелся и прыгал его сеттер Зарез, который до настоящей минуты находился на строгом попечении лесообъездчиков. Вся охотничья кавалькада длинным хвостом потянулась по западному склону горы, спускаясь по извилистой горной тропинке.

Когда съехали с Рассыпного Камня, тропинка расширилась, так что можно было ехать двоим в ряд. Генерал воспользовался этим случаем и, выровняв своего скакуна с английской охотничьей лошадью набоба, принялся отчитывать ему по части тех проклятых экономических вопросов, которые никогда не выходили из генеральской головы. Набоб слушал молча и наблюдал за движением ушей своей лошади, которая чутко прислушивалась к каждому шороху, вздрагивала и напряженно взмахивала своим куцым энглизированным хвостом. Увлекшись своей речью, генерал не хотел замечать, что Евгений Константиныч думает совсем о другом и только делает вид, что внимательно слушает его.

— Теперь важно на самом деле проверить наши теоретические построения, — ораторствовал генерал, неловко повторяя своим телом тяжелый прыжок лошади через ямы. — Увидев заводы, фабрики и фабричных рабочих, я многое уяснил себе, что раньше являлось только отвлеченным понятием, логической выкладкой... На заводы нужно смотреть, как на одну громадную машину, где главной двигающей силой, к сожалению, остаются рабочие руки. Это варварство, с одной стороны, а с другой — слабое место всякой промышленности. Именно эта живая сила составляет основание всех недоразумений, а потому задача всех крупных предпринимателей — как возможно шире применить механические двигатели: воду, пар, электричество, наконец. Я не хочу этим сказать, что нужно сокращать количество рабочих: нет, до этого мы не доживем, слава богу, потому что наша фабричная промышленность, собственно, еще в зародыше. Но важно предупредить печальное недоразумение, то есть перевес предложения рабочих рук над спросом. Россия в этом случае стоит, по сравнению с Западной Европой, в самых выгодных условиях, и для нее рабочий вопрос, в обширном смысле этого слова, только вопрос отдаленного будущего. Печальный пример более цивилизованных государств должен нам служить указанием не повторять чужих заблуждений, хотя Наполеон Первый и сказал, что чужие ошибки не делают нас умнее.

— Да, да... — соглашался машинально набоб, думая совсем о другом.

Он почему-то теперь вспомнил о Луше и рассердился на Прейна, который не умел удержать дам в горах. Что они ссорятся и интригуют между собой, так это слишком старая история, чтобы обращать на нее внимание или не уметь помирить враждующие стороны. Собственно, набоб даже не знал, в чем дело, и не интересовался знать, но сердился на Прейна, который обязан был предвидеть и предупредить отъезд Луши. Пикантная это девочка и что-то в ней есть такое, чего нет в других. Трудно сказать — что, но именно вот этого теперь и недостает Евгению Константинычу. Притом, что этот генерал пристает к нему с рассуждениями, точно впереди мало времени... Воображение набоба рисовало смелый и типичный образ девушки, которая не выходила у него из головы и точно дразнила его своей улыбкой.

— Евгений Константиныч, сейчас будет болото, — отрапортовал Майзель, подъезжая на рыжем иноходце.

— Ага!

— Нужно спешиться, Евгений Константиныч, а то мы распугаем птицу.

Егеря и лесообъездчики уже спешились и, выстроившись в две шеренги, с вытянутыми лицами ожидали дальнейших приказаний. Лошади фыркали и отмахивались хвостами от овода, собаки обнюхивали траву и сильно натягивали своры. Устроился импровизированный охотничий привал, хотя огня и не раскладывали из опасения испугать дичь.

Передав лошадей егерям, охотники, под предводительством Майзеля, побрели по болоту, которое светилось через жидкий перелесок. Под ногами сосала и чмокала вода; болотные кочки торчали травянистыми вихрами. Редкий болотистый ельник скоро расступился и открыл довольно широкое болото, очевидно образовавшееся из лесного озера; почва зыбко качалась под тяжестью проходивших людей, а самая средина была затянута высокой желтоватой травой, над которой пискливо звенели комары. У опушки леса все остановились и осмотрели ружья. Евгений Константиныч был с

легкой бельгийской двустволкой, которая блестела на солнце своими полированными стволами с насечкой. Brunehaut, вздрагивая всем телом и виляя хвостом, ожидала приказания.

— Cherche! [1] — тихо послал собаку набоб и сам пошел за ней в болото.

Уткнув нос в землю и вытянув хвост палкой, красавица Brunehaut шла впереди с той грацией, с какой ходят только кровные пойнтеры; она едва касалась земли своими тонкими и сильными ногами, вынюхивая каждую кочку. Только истинные охотники поймут торжественность наступившего момента, и даже набоб испытывал приятное волнение, наблюдая каждое движение искавшей собаки. Вот она припала носом к одному месту и слабо вильнула хвостом — значит, напала на след дупеля; вот сделала несколько шагов вперед, приподняла переднюю ногу, вытянулась и точно застыла в живописной позе. Раздалось: пиль! — дупель мягко вспорхнул из-под самого носа собаки и, жалко кувыркнувшись в воздухе, так же мягко упал в траву. Дым и гром выстрела вспугнули еще двух дупелей, которые перелетели в другой конец болота. Охота началась счастливым выстрелом, и набоб положил в свой ягдташ теплую птицу, пестренькие красивые перышки которой были запачканы розовыми пятнами свежей крови.

Скоро лес огласился громким хлопаньем выстрелов: дупеля оторопели, перепархивали с места на место, собаки делали стойки, и скоро у всех участников охоты ягдташи наполнились дичью. Родион Антоныч тоже стрелял, и его Зарез работал на славу; в результате оказалось, что он убил больше всех, потому что стрелял в лет без промаха.

— Ого, да вы настоящий охотник! — похвалил его Прейн, усаживаясь на кочку.

— Какой уж я охотник! — скромничал Ришелье, польщенный этой похвалой. — Вот Евгений Константиныч уж точно: дохнуть не дадут.

---

[1] Ищи! *(франц.)*

После часовой охоты все присели отдохнуть. Началась проверка добычи и оценка достоинств стрелков. Сарматов убил меньше всех, но божился, что в молодости убивал в лет ласточек пулей. Майзель расхвалил Brunehaut, которая так и просилась снова в болото; генерал рассматривал с сожалением убитых красивых птичек и удивлялся про себя, что люди могут находить приятного в этом избиении беззащитной и жалкой в своем бессилии пернатой твари.

— У меня была собака, — рассказывал Сарматов, размахивая руками, — пойнтер розовой масти... Уверяю вас: настоящей розовой. Это крайне редкий случай. И что же! Это собака раз выдержала трехчасовую стойку... Нынче уж таких собак нет.

— Моя Brunehaut выдержит час, — заметил Лаптев, лаская собаку.

— Нет, не выдержит! — посомневался кто-то. — Она теперь устала и разгорячилась.

— Выдержит.

Набоб поднялся и послал собаку снова в болото; через несколько минут Brunehaut сделала стойку. Майзель достал часы и заметил время. Воцарилась напряженная тишина, которая нарушалась только сдержанным шепотом. Оставив собаку, Евгений Константиныч развалился на траве с самоуверенной улыбкой. Но не прошло двадцати минут, как Brunehaut не выдержала и спугнула дупеля. Раздался смех, и взбешенный набоб пустил вдогонку сконфуженной Brunehaut заряд бекасинника, который заставил ее дико взвыть и кубарем покатиться по траве. Ошеломленная болью собака визжала самым неистовым образом и отчаянно трясла своими шелковыми ушами, в которые впился бекасинник.

— Послушайте, Евгений Константиныч, это, наконец, варварство! — вспылил генерал, побледнев как полотно. — Можно делать, что угодно, но этому... этому я не приберу даже подходящего названия!

Взбешенный набоб тоже побледнел и, взглянув на генерала удивленными, широко раскрытыми глазами, что-то коротко сказал Прейну по-английски; но генерал не слышал его слов, потому что прямо через болото от-

правился на дымок привала. Brunehaut продолжала оглашать воздух отчаянными воплями.

— Это невозможно! — по-английски же ответил Прейн набобу, укоризненно качая головой.

— А если я не желаю ехать дальше? Могу же я позволить себе хоть одно желание?

— Да, в другое время, а не теперь, — настаивал Прейн. — Вы расстроите своим капризом весь план нашей поездки.

— Ни шагу дальше, и сейчас же домой! — капризно повторял набоб. — Вы с генералом делаете из меня какого-то несчастного дупеля...

— Да ведь это ребячество! Продержать генерала в горах трое суток, обещать ехать по всем заводам и вернуться ни с чем... Вы не правы уже потому, что откладываете поездку из-за пустяков. Погорячились, изуродовали собаку, а потом капризничаете, что генерал сказал вам правду в глаза.

— Я уже слишком много слышал правды от генерала. Но что вы хотите, наконец, от меня? Собственно, он меня оскорбил, а не я его... Я, впрочем, могу извиниться перед генералом, но дальше не поеду, хоть зарежьте.

Как ни уговаривал Прейн, как ни убеждал, как ни настаивал, как ни ругался — все было напрасно, и набоб с упрямством балованного ребенка стоял на своем. Это был один из тех припадков, какие перешли к Евгению Константиновичу по наследству от его ближайших предков, отличавшихся большой эксцентричностью. Рассерженный и покрасневший Прейн несколько мгновений пристально смотрел на обрюзгшее, апатичное лицо набоба, уже погрузившегося в обычное полусонное состояние, и только сердито плюнул в сторону.

XXVI

Поездка в горы перепутала окончательно все ходы, так что друзья и противники перестали понимать друг друга. Сначала, без сомнения, все было на стороне партии Тетюева: во-первых, Раиса Павловна оставалась

дома, потом ряд блестящих гастрономических побед, удачная охота на оленя... Но в момент, когда «мой Майзель» был на верху торжества, все здание, возведенное с таким трудом, пошатнулось в самом основании: сначала подвел Родион Антоныч с собакой, потом Прозоров угостил Нину Леонтьевну, далее татарская борьба того же Родиона Антоныча и, наконец, заряд бекасинника по Brunehaut, произведший резкую размолвку между генералом и набобом. Обиднее всего было то, что безголовый Прейн рассказал набобу эпизод с Прозоровым, и набоб хохотал над Ниной Леонтьевной. Таким образом надежды и упования партии Тетюева значительно побледнели и потеряли прежнее обаяние, а известно, как много значит в каждом деле вера в собственные силы. Если генерал не удержится на прежней высоте, тогда трудно будет предвидеть будущее.

Генерал вернулся из-под Рассыпного Камня один, а за ним следом приехал и Евгений Константиныч в сопровождении всей свиты. Заводы остались неосмотренными, да об этом теперь никто и не заботился, даже сам генерал, который, кажется, махнул на все рукой. Добитая лесообъездчиками Brunehaut явилась камнем преткновения, через которое русское горное дело никак не могло переползти. Однако Прейн не дремал. Этот человек не переносил скандалов и резких выходок и поэтому скоро довел набоба до того, что тот высказал желание не только примириться с генералом, но и извиниться. С другой стороны, генерал, обсудив хладнокровно свою выходку, совершенно безупречную в нравственном смысле, нашел, что резкий тон этой выходки был подготовлен в нем неприятным отъездом Нины Леонтьевны, следовательно, он был несправедлив к набобу, который поступил так же, как делают другие охотники. Губить русское горное дело из-за таких пустяков во всяком случае не стоило, тем более что столько уже было сделано и оставалось только подвести итоги.

— Извините, генерал... — добродушно проговорил набоб, являясь в генеральский флигель в сопровожде-

нии Прейна. — Мне самому жаль бедной Brunehaut. Погорячился...

Эта искренность растрогала генерала, и он с чувством пожал протянутую руку набоба.

— Оставимте это, Евгений Константиныч, — отвечал он. — Говоря откровенно, и я не совсем был прав, хотя и не виноват... Одним словом, пустяки и вздор, о котором не хочется вспоминать; а чтоб загладить неприятное впечатление этих пустяков, займемтесь делом серьезно. Времени уже много потеряно...

— О да, да! Непременно займемтесь! — с живостью подтвердил Евгений Константиныч. — Я буду рад... Главное, все разом покончить, не откладывая в долгий ящик.

— Постараемся покончить, — соглашался генерал.

Примирение набоба с генералом разрешило все сомнения и опять придало храбрости унывавшим «тетюевцам», как их называл Прозоров. Но это была только одна сторона медали. За визитом к генералу последовал визит набоба к Раисе Павловне. Конечно, все отлично понимали, зачем Евгений Константиныч сделал этот второй визит — уж, конечно, не для самой Раисы Павловны, а для Луши. Эта игра была слишком очевидна даже для непосвященных; поэтому ей и не придали особенно важного значения. Действительно, набоб встретил у Раисы Павловны Лушу и заметно обрадовался этой встрече.

— Как ваше здоровье, Раиса Павловна? — осведомился Евгений Константиныч с небывалой вежливостью. — Право, оно меня начинает сильно беспокоить...

— Ах, отстаньте, пожалуйста! Охота вам обращать внимание на нас, старух, — довольно фамильярно ответила Раиса Павловна, насквозь видевшая набоба. — Старые бабы, как худые горшки, вечно дребезжат. Вы лучше расскажите о своей поездке. Я так жалею, так жалею, что не могла принять в ней участие. Все говорят, как вы отлично стреляли...

Луша сидела на стуле рядом с Раисой Павловной и при последних словах едва заметно улыбнулась. Она точно выросла и возмужала за последнее время и

держалась с самой непринужденной простотой, какая дается другим только путем мучительной дрессировки. Набоб заметил улыбку Луши и тоже улыбнулся: они понимали друг друга без слов.

— Эта поездка для меня лично явилась рядом неудач, — ответил набоб, бросая в глаз, неизвестно для чего, монокль. — Единственным объяснением этих неудач является, Раиса Павловна, только ваше отсутствие.

— Ах! как это трогательно, Евгений Константиныч!

— Уверяю вас. Дело кончилось тем, что мы чуть не разодрались с генералом, вернее, чуть он меня не поколотил...

— И следовало бы поколотить: зачем стреляли в собаку, — заметила Луша с серьезным видом. — Вот чего никогда, никогда не пойму... Убить беззащитное животное — что может быть хуже этого?..

Подняв плечи, Луша вызывающе посмотрела на набоба злыми глазами. Эта смелость испугала Раису Павловну, но набоб только улыбнулся и с ленивой улыбкой, играя своим стеклышком, проговорил:

— Скажите, вы не будете на меня в претензии, если я вас буду называть так же, как Раиса Павловна? А то ваше имя такое длинное и мудреное, что язык вывихнешь... Вы позволяете, Раиса Павловна? Я хотел сказать, что вы, mademoiselle Луша, были причиной смерти бедной Brunehaut. Если бы вы так внезапно не уехали, собака была бы жива... Представьте себе, Раиса Павловна, наше положение: вдруг все дамы бросают нас в лесу на произвол судьбы. С горя мы пили целую ночь, потом дурачились, а конец вам известен. Говоря по справедливости, нас и обвинять нельзя, а меня в особенности. Я слишком был огорчен, чтобы давать себе отчет в собственных поступках.

Набоб был любезен, как никогда, шутил, смеялся, говорил комплименты и вообще держал себя совсем своим человеком, так что от такого счастья у Раисы Павловны закружилась голова. Даже эта опытная и испытанная женщина немного чувствовала себя не в своей тарелке с глазу на глаз с набобом и могла только удивляться самообладанию Луши, которая положи-

тельно превосходила ее самые смелые ожидания: эта девчонка положительно забрала в руки набоба.

Они сидели в небольшой голубой гостиной, из которой стеклянная дверь вела на садовую веранду. Обитая голубым атласом с желтыми шнурами мягкая мебель, маленький диван с стеганой спинкой, вроде раковины, шелковые тяжелые драпировки, несколько экзотических растений по углам, мраморные группы у одной стены — все это так приятно гармонировало с летним задумчивым вечером, который вносил в открытую дверь пахучую струю садовых цветов. Сильно пахло левкоями, которые Раиса Павловна особенно любила. Лучи закатывавшегося солнца лениво бродили по паркетному полу рассеянной золотой пылью, которая ярко вспыхивала на бронзовых бра, на ручках дверей и тонких золотых багетах. Набоб сидел на стуле, заложив ногу за ногу, и легонько раскачивался, когда начинал смеяться; летняя пара из шелковой материи, цвета смуглой южной кожи, обрисовывала его сильное, но уже начавшее брюзгнуть тело. Из-под раструба панталон выставлялись шелковые пестрые чулки, потому что набоб дома всегда носил мягкие башмаки. Луша была в своем единственном нарядном платье из чечунчи; сначала она сидела рядом с Раисой Павловной, а потом перешла на диван.

Раиса Павловна с материнской нежностью следила за всеми перипетиями развертывавшейся на ее глазах истории и совершенно незаметно оставила молодых людей одних, предоставляя руководить ими лучшего из учителей — природу. Когда платье Раисы Павловны, цвета античной бронзы, скрылось в дверях, набоб, откинув нетерпеливо свои белокурые волнистые волосы назад, придвинул свой стул ближе к дивану и проговорил:

— Mademoiselle Луша, а вы мне еще не дали ответа на тот вопрос, который я предложил вам там... в горах?

— Ах, да... Но ведь это был такой серьезный вопрос, что я до сих пор еще не решалась даже приступить к его обсуждению, — отшучивалась Луша, улыбаясь своими потемневшими от удовольствия глазами. — Притом, я думала, что вы уже успели забыть...

— Это несправедливо!..

— Пожалуй... Но вы забываете, что я уже дала слово доктору?

— Что же мне делать? Вызвать доктора на дуэль?

— Я думаю, что это будет самое лучшее... Вы, отлично стреляете бекасинником.

— Злая!

В полузакрытых глазах набоба вспыхнул чувственный огонек, и он посмотрел долгим и пристальным взглядом на свою собеседницу, точно стараясь припомнить что-то. Эта девчонка положительно раздражала его своим самоуверенным тоном, который делал ее такой пикантной, как те редкие растения, которые являются каким-то исключением в среде прочей зеленой братии.

— Скажите откровенно, зачем вы так неожиданно уехали с горы? — спрашивал Евгений Константиныч, припоминая неприятное чувство, когда он ехал на дупелиную охоту по дороге в Куржак.

— Вы не поймете, — ответила Луша спокойно.

— Позвольте! В таком случае, значит, вы меня считаете просто за осла. Я могу обидеться, наконец!

— Можете, но и я могу желать не отвечать вам... Впрочем, вам лучше спросить объяснения у Прейна.

Луша так и сказала, совсем фамильярно: «у Прейна», и даже не думала поправиться, что опять задело набоба за живое. Он подумал сначала, что m-lle Луша не умеет себя держать и сама не понимает, что сказала, но, взглянув на ее лицо, убедился, что если кто не понимает ничего, так это он.

Раиса Павловна осталась очень довольна поездкой набоба в горы, раз — потому, что Прозоров ловко смазал болванку, а затем — потому, что отношения между Лушей и набобом пережили самый двусмысленный и нерешительный период. С Лушей у Раисы Павловны по этому поводу не было никаких интимных объяснений, но по сосредоточенному, немножко усталому взгляду карих глаз своей любимицы опытная женщина заключила вполне основательно, что случилось именно то, чего она желала: набоб объяснился с Лушей. Поведение набоба доказывало это неопровержимейшим образом, потому что он держал себя с Лу-

шей с утонченной вежливостью и, кажется, не знал, чем угодить этой взбалмошной девчонке, которая ничего не хотела замечать. В голове Раисы Павловны бродили тысячи дум, планов и соображений, так что она даже забывала о самой себе. Очевидно, набоб высказывает самые серьезные намерения относительно Луши, и теперь дело за согласием Луши... Конечно, это будет неравный брак, но разве мало таких mésalliance[1] устраивают русские набобы. Пока Раиса Павловна ничего не говорила Луше о своей мечте, предоставляя все дело его естественному течению. Ее теперь больше всего беспокоило то, как взглянет на mésalliance Прейн: этот старый грешник больше всего, кажется, заботится о себе и делает вид, что ничего не видит и не замечает. От зоркого глаза Раисы Павловны не ускользнуло то влияние, каким пользовался Прейн над Лушей, но, как многие умные женщины, она была убеждена, что ей только стоит объяснить Луше, что за птица Прейн — и умная девочка поймет все. Слишком занятая интимными отношениями, Раиса Павловна с замиранием сердца следила, как раскрывалась страница любви в жизни ее фаворитки, забывая о своих собственных делах.

А между тем дело принимало такой серьезный оборот, что это понял, наконец, и сам Платон Васильич. Этот странный человек сопровождал набоба в горы, принимал участие в обедах и завтраках, говорил, когда его спрашивали, но без Раисы Павловны всегда оставался совершенно незаметным, так что о нем, при всем желании, трудно было сказать что-нибудь. Бывают такие люди, и господь их знает, как они живут, если не попадут в руки какой-нибудь умной и энергичной женщины. Платон Васильич вечно был занят своей фабрикой и машинами и только о них и мог постоянно думать, — все остальное для него проходило точно в тумане, а особенно таким туманом был покрыт приезд набоба. Как это ни странно сказать, но главный управляющий Кукарскими заводами знал меньше всех, что делалось кругом. Самый маленький заводский служа-

---

[1] неравных браков *(франц.)*.

щий, который бегал с пером за ухом, и тот знал малейшие подробности приезда набоба, отношения враждовавших партий и все эпизоды поездки в горы. Платон Васильич ел и вершининскую уху и маринованную губу, а о столкновении Нины Леонтьевны с Прозоровым узнал уже по возвращении в Кукарский завод, где служащие рассказали ему и о ссоре генерала с набобом.

— Но я ведь сам был на дупелиной охоте, — задумчиво говорил Платон Васильич. — Видел, как убили собаку, а потом все поехали обратно. Кажется, больше ничего особенного не случилось...

Раиса Павловна просто потешалась над этой наивностью мужа и нарочно морочила его разными небылицами, а когда он надоедал ей своими глупыми вопросами, — выгоняла из своей комнаты. Уйти на фабрику для Платона Васильича было единственным спасением; другим спасением являлись разговоры с генералом о нуждах русского горного дела.

Раз, довольно рано утром, когда Платон Васильич вышел пройтись по саду, на одном повороте аллеи он встретился с Прейном и Лушей, которые шли рядом. Заметив его, Прейн отодвинулся от своей спутницы и выругался по-английски, назвав Горемыкина филином.

— Ах, это ты, Луша! — удивился Платон Васильич, здороваясь с Прейном.

— Да, а это — вы... — грубо ответила девушка. — Вы ничего не потеряли здесь?

— Нет, кажется, ничего. А что?

— Да у вас такой вид, точно вы что-нибудь ищете.

— Да, да... Ты шутишь? — догадался, наконец, Горемыкин и потом с самым глупым видом прибавил, обращаясь к Прейну: — Не правда ли, какая сегодня отличная погода?

— Да, ничего... скверная, — отвечал Прейн, стараясь попасть в тон Луши. — Скажите, пожалуйста, мне показалось давеча, что я встретил вас в обществе mademoiselle Эммы, вон в той аллее, направо, и мне показалось, что вы гуляли с ней под руку и разговаривали о чем-то очень тихо. Конечно, это не мое дело, но мне показалось немного подозрительно: и время такое ран-

нее для уединенных прогулок, и говорили вы тихо, и mademoiselle Эмма все оглядывалась по сторонам...

— Что вы хотите сказать этим? — недоумевал Платон Васильич. — Я иногда гуляю в саду, но только один... Не понимаю, как вы могли меня видеть с mademoiselle Эммой.

— В таком случае нужно будет спросить у Раисы Павловны, что значит такие ранние tête-à-tête [1], — смеялся Прейн. — Вам направо?

— Нет, налево.

— Ну, так нам с вами не по пути... До свидания.

Платон Васильич в раздумье несколько минут постоял на месте, посмотрел вслед быстро удалявшейся парочке и пошел своей дорогой: «Не понимаю! ничего не понимаю!..»

А утро было славное, хотя и холодное после вчерашнего дождя. Песок кое-где был смыт с утоптанных дорожек, в ямах стояли лужи мутной воды, следы ног ясно отпечатывались на мокром грунте; дувший с пруда ветерок колебал верхушки берез и тополей, блестевших теперь самой яркой зеленью. Около купальни и набережной с шумом разбивались пенившиеся волны. По небу ползли разорванными клочьями остатки рассеявшихся туч, точно грязные лоскутья серых лохмотьев, сквозь которые ярко. сквозило чистое голубое небо и вырывались снопы солнечных лучей. Садовник с ножницами ходил около помятых вчерашним ветром кустов сирени и отрезывал сломанные ветви; около куртин, ползая по мокрой траве, копались два мальчика в ситцевых рубашках, подвязывавшие подмятые цветы к новым палочкам. На песке виднелся отпечаток двухколесной тележки, прокатившейся здесь ранним утром с разным мусором; тут же тянулись следы босых ног с резким отпечатком пальцев.

— Зачем ты смеялась над этим филином? — говорил Прейн, предлагая Луше руку.

— А ты зачем делал то же?

— Я смеялся, глядя на тебя...

---

[1] свидания, *(франц.)*

— А я смеялась потому, что эта глупая рожа мне надоела. Скажите на милость, что этому Платону Васильичу понадобилось в саду в такое время? Еще разболтает чего-нибудь сглупа. Мне все равно, а все-таки меньше разговоров — лучше... Скоро ли вы прогоните этого дурака, Прейн?

— Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь...

— Обманываешь?

— На днях комиссия начнет свои работы, и тогда конец Горемыкину.

— Ах, как я желала бы, чтобы эта накрахмаленная и намазанная Раиса Павловна полетела к черту, вместе с своим глухонемым мужем. Нельзя ли начать какой-нибудь процесс против Раисы Павловны, чтобы разорить ее совсем, до последней нитки... Пусть пойдет по миру и испытает, каково жить в бедности.

— Нет, это невозможно.

— Ах, как я ненавижу эту Раису Павловну, если бы ты знал! Ведь она теперь мечтает... ха-ха!.. ни больше, ни меньше, как о том, чтобы выдать меня за Лаптева, а я разыгрываю пред ним наивную провинциалочку. Глупо, досадно и опять глупо...

— Погоди, мы все устроим, — ласковым шепотом проговорил Прейн, осторожно привлекая к себе девушку за талию. — У нас все будет, мы поживем в свою долю...

— Да, все это так... я не сомневаюсь. Но чем ты мне заплатишь вот за эту гнилую жизнь, какой я жила в этой яме до сих пор? Меня всегда будут мучить эти позорнейшие воспоминания о пережитых унижениях и нашей бедности. Ах, если бы ты только мог приблизительно представить себе, что я чувствую! Ничего нет и не может быть хуже бедности, которая сама есть величайший порок и источник всех других пороков. И этой бедностью я обязана была Раисе Павловне! Пусть же она хоть раз в жизни испытает прелести нищеты!

Прейн был почти у цели. Есть люди, которые родятся в сорочке, и к таким людям, конечно, принадлежал этот философ-бонвиван. Сердце Луши принадлежало ему безраздельно, и он распоряжался в нем, как неограниченный монарх, хотя этому владычеству и

были приданы неуловимые формы. Прейн действовал с той ласковой настойчивостью и мягкой самоуверенностью, какие неотразимо действуют на женщин. Луша поверяла ему свои задушевные мысли и чувства, как лучшему другу, и сама удивлялась, что могла снизойти до таких нежностей. В ее глазах старый грешник являлся совершенством человеческой природы, каким-то чародеем, который читал у ней в душе и который пересоздал ее в несколько дней, открыв пред ее глазами новый волшебный мир. Что так старательно развивалось и подготовлялось Раисой Павловной в течение нескольких лет, Прейном было кончено разом: одним ударом Луша потеряла чувство действительности и жила в каком-то сказочном мире, к которому обыденные понятия и мерки были совершенно неприложимы, а прошлое являлось каким-то жалким, нищенским отребьем, которое Луша сменяла на новое, роскошное платье. Все будет новое; по одному мановению руки Прейна вырастут из земли всевозможные чудеса, которые он положит к ее ногам. У Луши кружилась голова, и она ходила, как в тумане. Все то, что слышала она от отца и доктора о какой-то честной жизни, о новых людях, о заветных идеалах — все это не пустой ли бред, который на каждом шагу разбивается действительностью? Взять хоть того же отца, Раису Павловну, других — все говорят одно, а делают другое, обманывают сами себя и в конце концов портят себе жизнь. Прейн по крайней мере не притворяется, называет вещи их настоящими именами и обещает только то, что действительно в состоянии исполнить. Под влиянием Прейна Луша переродилась с такой же быстротой, с какой северные цветы в две-три недели из зеленой почки развертываются всеми своими красками в пышное растение.

— Как все это случилось — я сама не могу дать себе отчета, — говорила иногда в минуты раздумья Луша, ласкаясь к Прейну. — Ведь ты — старый, выдохшийся жуир, я тебя ненавидела и боялась сначала и теперь иногда ненавижу... Но меня что-то тянет к тебе, мне хорошо и легко в твоем присутствии, а когда ты уходишь, меня гложет тоска. Зачем? Почему? Ничего не знаю и ничего знать не хочу... Мне просто хорошо; хорошо

теперь, вот сейчас, когда я смотрю на тебя и когда не думаю о будущем. Я недавно читала историю Мазепы. Этого старика тоже любила одна молоденькая хохлушечка, Матрена Кочубей. По-русски «Матрена» нехорошо звучит, а по-хохлацки русская Матрена превращается в Мо́треньку... Мазепа был старше тебя, но гораздо лучше. Какие письма писал он своей Мо́треньке! Ах, Прейн, я иногда сама не знаю, что говорю и что делаю. То мне хочется петь и танцевать, иногда плакать, иногда убежать, иногда умереть...

Луша хваталась за голову и начинала истерически хохотать. Сам все испытавший Прейн пугался такого разлива страсти, но его неудержимо тянули к Луше даже дикие вспышки гнева и нелепые капризы, разрешавшиеся припадками ревности или самым нежным настроением. Вдвоем они вволю смеялись над набобом, над генералом с его болванкой, надо всеми остальными; но когда речь заходила о Раисе Павловне, Луша бледнела и точно вся уходила в себя: она ревновала Прейна со всем неистовством первой любви.

— Ты ее любил... да? — спрашивала Луша тысячу раз. — Не отпирайся, я знаю...

— О нет же, тысячу раз нет! — с спокойной улыбкой отвечал каждый раз Прейн. — Я знаю, что все так думают и говорят, но все жестоко ошибаются. Дело в том, что люди не могут себе представить близких отношений между мужчиной и женщиной иначе, как только в одной форме, а между тем я действительно и теперь люблю Раису Павловну, как замечательно умную женщину, с совершенно особенным темпераментом. Мы с ней были даже на «ты», но между нами ничего не могло быть такого, в чем бы я мог упрекнуть себя...

— Ах, верю... и все-таки не могу поверить: это выше моих сил. В сущности я не особенно забочусь о будущем, потому что знаю только одно, что я хочу быть всегда свободной... всегда!.. Даже тогда, когда ты обманешь меня. Ведь ты целую жизнь обманывал женщин, и одной больше — одной меньше для тебя ничего не значит. К чему все это говорю я тебе?.. Да... Какая я была глупая раньше, еще так недавно!.. Мечтала, что буду богатой-богатой, у меня будет своя коляска, брил-

лианты, поклонники, ложа в театре. А теперь... Мне все это надоело, прежде чем я испытала удовольствие обладания настоящим богатством. Ведь тебе ничего не стоит выбросить пятьдесят тысяч, чтобы устроить мне настоящее гнездышко... да? Конечно, я никогда не унижу себя... Ах, я так хорошо представляю себе свое будущее! Пройдет полгода, потом тебе надоест, и ты с своей обычной ловкостью постараешься сбыть меня какому-нибудь другому жуиру, чтобы сейчас же перейти к новому счастью.

— Луша! ты забываешь золотое правило: всякий человек имеет право быть глупым, но не следует злоупотреблять этим правом...

— Нет, уж позвольте, Альфред Иосифович... Я всегда жила больше в области фантазии, а теперь в особенности. Благодаря Раисе Павловне я знаю слишком много для моего возраста и поэтому не обманываю себя относительно будущего, а хочу только все видеть, все испытать, все пережить, но в большом размере, а не на гроши и копейки. Разве стоит жить так, как живут все другие?

Оставаться в своем флигельке для Луши теперь составляло адскую муку, которая увеличилась еще тем, что Виталий Кузьмич жестоко разрешил после поездки в горы и теперь почти не выходил из своей комнаты, где постоянно разговаривал вслух, кричал, хохотал и плакал. Луше делалось просто страшно, когда она оставалась одна с отцом; его постоянный крик и смех болезненно раздражали ее напряженные нервы, и она по целым часам, против воли, прислушивалась к бессвязной болтовне отца, которая вертелась главным образом около текущих событий. Это была самая беспощадная философия отчаяния в лицах, пересыпанная меткими сравнениями, остроумными замечаниями и просто красными словечками. Конечным выводом этой философии получалось заключение, что все люди поголовно мерзавцы, только в разной степени, а так называемые порядочные и честные люди — или идиоты, или жертвы известных общественных законов. Везде зло, мелкие животные инстинкты и всеобщее непонимание; истинные союзники враждуют, враги идут под ручку, противопо-

ложности сходятся. Получается болезненно-яркая путаница всяких понятий об «истине, добре и красоте». Свои взгляды и убеждения Прозоров иллюстрировал, причем доставалось всем — и набобу, и Прейну, и генералу, и Тетюеву.

К довершению всех бед, под предлогом помощи Прозорову, в гнилой флигелек повадился ходить Яша Кормилицын, который испытывал мучительную жажду видеть Лушу хотя издали, что вполне объяснялось психологическими, антропологическими и социальными причинами.

Все в природе строго законно, и не пропадает напрасно самое малейшее движение, следовательно, и посещения Яшей Кормилицыным прозоровского флигелька в общей экономии природы и в ряду социальных явлений должны были иметь высшее научное объяснение.

— Яшка! — кричал Прозоров, размахивая руками. — Зачем ты меня обманываешь? Но ты напрасно являешься волком в овечьей шкуре... Все, брат, потеряно для тебя, то есть потеряно в данном случае. Ха-ха! Но ты, братику, не унывай, поелику вся сия канитель есть только иллюзия! Мы, как дети, утешаемся карточными домиками, а природа нас хлоп да хлоп по носу.

Доктор садился в уголок, на груду пыльных книг, и, схватив обеими руками свою нечесаную, лохматую голову, просиживал в таком положении целые часы, пока Прозоров выкрикивал над ним свои сумасшедшие тирады, хохотал и бегал по комнате совсем сумасшедшим шагом.

XXVII

Нина Леонтьевна поклялась, что столкновение ее с Прозоровым дорого обойдется Раисе Павловне. Официально она оставалась попрежнему больна, но это не мешало ей заправлять и руководить всем заговором.

Первой заботой ее было доставить обещанную аудиенцию у набоба Тетюеву, и такая аудиенция, наконец, состоялась. Часа в два пополудни, когда набоб от-

дыхал в своем кабинете после кофе, Прейн ввел туда Тетюева. Земский боец был во фраке, в белом галстуке и в белых перчатках, как концертный певец; подмышкой он держал портфель, как маленький министр.

— Очень рад... Много слышал о вас, — встретил Тетюева набоб, точно пережевывая эти стереотипные фразы. — Не угодно ли вам садиться... Вероятно, Прейн передал вам о предполагаемой консультации?

— Да, да... Мне это тем более приятно, что я буду иметь возможность ясно и категорически высказать те интересы Ельниковского земства, которые доверены мне его представителями, — отцедил Тетюев, закладывая свободную руку за борт сюртука. — Лично против заводов, а тем более против вас, Евгений Константиныч, я ничего не имел и не имею, но я умру у своего знамени, как рядовой солдат.

— Садитесь, пожалуйста! — предложил еще раз Лаптев, рассматривая коренастую фигуру человека, приготовившегося умирать у знамени. — Ваши слова могут сделать большую честь каждому общественному деятелю...

Поклонившись в ответ на комплимент набоба, Тетюев с напускной развязностью занял стул около письменного стола; Прейн, закурив сигару, следил за этой сценой своими бесцветными глазами и думал о том, как ему утишить ненависть Луши к Раисе Павловне.

— Я полагаю, Евгений Константиныч, что кукарское заводоуправление в своих отношениях к Ельниковскому земству действовало на свой страх, — продолжал Тетюев, выцеживая свое profession de foi [1] с прежним апломбом. — Я хочу этим сказать, что слишком высоко ценю лично ваши просвещенные и высокогуманные взгляды на идею земства и льщу себя надеждой, что именно ваше содействие устранит все недоумения. Например, гора Куржак приносит земству всего два рубля семнадцать копеек дохода!

— Скажите... целая гора?

— Да, гора Куржак, которая заключает в себе тридцать миллиардов лучшей в свете железной руды.

[1] убеждение *(франц.)*.

Для набоба оба известия были настоящим открытием, и он даже посмотрел с недоумением на Прейна, который равнодушно пускал в пространство синие круги дыма. Польщенный вниманием и изумлением набоба, Тетюев обрушился на его голову целым потоком статистических данных и даже вытащил из портфеля объемистую тетрадь, испещренную целыми столбцами бесконечных цифр. Но эта тетрадь была совсем лишнею: Евгений Константиныч уже истощил весь запас своего удивления и посмотрел на Прейна беспокойным взглядом, точно искал у него защиты. Однако Тетюев, увлекшись, ничего не хотел замечать и осыпал набоба такой массой новых открытий, что тот окончательно потерялся и даже зевнул в руку. Кстати, в этот критический момент Евгений Константиныч вспомнил о генерале, который должен все это знать и все устроить.

— Хорошо, хорошо... Мы постараемся все это устроить общими силами, — заговорил Лаптев, поднимаясь с места и протягивая руку Тетюеву.

— Я...

— Вы подробно изложите свои взгляды на консультации...

— Я, Евгений Константиныч...

— А занятия консультации должны быть кончены в самом непродолжительном времени.

— Я, Евгений Константиныч, буду всегда высоко держать знамя земского обновления, — торжественно провозгласил Тетюев, откланиваясь.

В консультацию, кроме генерала, Прейна и Тетюева, вошли Вершинин и «мой Майзель». Платон Васильич тоже должен был занять место в этом совете бессмертных, но захворал, и на его место был назначен представителем Родион Антоныч. Конечно, такое назначение клеврета Раисы Павловны было встречено партией Тетюева с скрежетом зубовным, но, очевидно, Родиону Антонычу покровительствовал сам Прейн, а с этим приходилось мириться поневоле. Ришелье заявился в собрание «князей и владык мира сего» с самым смиренным видом; он всем кланялся, улыбался заискивающей улыбкой: но все отлично знали пущенную в курятник лису и держали ухо востро. Тетюев морщился и делал

вид, что не замечает своего заклятого врага; Майзель не отвечал на поклоны Родиона Антоныча и даже несколько раз толкнул его локтем в бок, конечно, не намеренно. Ввиду такого враждебного настроения Родион Антоныч сначала испытывал большое «угнетение чувств», но, как человек, попавший из темноты прямо на большой свет и ослепленный им, мало-помалу огляделся и самым благочестивым образом занял свое место.

— Смотрите, Родион Антоныч, я вам все доверила, — говорила Раиса Павловна, когда отправляла своего Ришелье на консультацию, — я уверена, что мы выиграем и что вы постоите за себя, но только не трусьте. Ведь они умные только за обедами да за завтраками, а тут нужно будет дело делать. Тетюев болтун, и на него не обращайте внимания. Генерал... Ах, Родион Антоныч, Родион Антоныч! Это — самый жалкий и бессильный человек, каких я только видела; из него можно все сделать, поэтому вы не бойтесь его ни на волос... Есть одна пьеса — «Свадьба Фигаро», так там горничная говорит: «Ах, как умные люди иногда бывают глупы!..» Вот именно такой человек генерал.

— А Нина Леонтьевна? — спрашивал смущенный Ришелье.

— Нина Леонтьевна... да от нее и сыр-бор загорелся; в ней, конечно, вся сила, но ведь она не будет принимать участие в консультации, следовательно, о ней и говорить нечего.

Но как ни уговаривала Раиса Павловна своего Ришелье, как ни старалась поднять в нем упадавший дух мужества, он все-таки трусил генерала и крепко трусил. Даже сердце у него екнуло, когда он опять увидал этого генерала с деловой нахмуренной физиономией. Ведь настоящий генерал, ученая голова, профессор, что там Раиса Павловна ни говори...

Заседания консультации происходили в длинной комнате, где помещалась богатая старинная библиотека, собранная Лаптевыми в их путешествиях по Европе. Большинство книг было на иностранных языках. Библиотекой, кроме Прозорова, никто не пользовался, и все эти дорогие издания в роскошных переплетах

стояли в шкафах без всякой пользы. Теперь посредине комнаты был поставлен длинный стол, покрытый зеленым сукном; кругом стола были расставлены мягкие кресла, и только одному Родиону Антонычу был предложен простой деревянный стул. Против каждого сиденья была положена пачка чистой бумаги и карандаш; центр стола занимали две стопки разных юридических книг, нужных для справок: горный устав, сборник узаконений о крестьянах, земское положение и т. д. Вообще вся эта торжественная обстановка придавала консультации такой вид, точно в библиотеке готовились заседания какого-нибудь европейского конгресса. Генерал занял председательское кресло, около него поместились Тетюев и Майзель; Вершинин и Родион Антоныч сидели дальше, через стол. На открытие первого заседания явился и сам Евгений Константиныч в сопровождении Прейна и Перекрестова; генерал хотел уступить свое место набобу, но тот великодушно отказался от этой чести. Перекрестов с нахальной улыбкой окинул глазами шкафы книг, зеленый стол, сидевших консультантов и, вытащив свою записную книжечку, поместился с ней в дальнем конце стола, где в столичных ученых обществах сидят «представители прессы».

— Господа! — заговорил генерал официальным сухим тоном, поднимаясь с места. — Мы собрались здесь для очень важного дела, и я считаю своей обязанностью выяснить главные цели нашей консультации. Русская промышленность прогрессирует с каждым годом, и с каждым годом ее интересы захватывают все большую и большую область, соприкасаясь с областями других отраслей производительной деятельности нашей страны. Понятно, что при таком близком соприкосновении разных заинтересованных учреждений, отраслей и лиц происходят неизбежные недоразумения, препирательства и крупные столкновения. Нам приходится иметь дело в настоящем случае с интересами и задачами собственно уральской горной промышленности, в частности — с специально заводскими интересами Кукарского заводского округа, поскольку они связаны с интересами заводского населения, земства и внутренней администрации. Я обращаю особенное ваше внимание, господа, на

приведенные сейчас рубрики; мы начнем именно с них, чтобы разрешением этих вопросов расчистить почву для более широких начинаний уже в области русской промышленности вообще, где пред нами встанут другие вопросы и другие задачи. В настоящем случае важно то, что мы будем обсуждать поставленные вопросы с разных точек зрения, для чего в состав консультации вошли лица различных профессий и различных сфер деятельности. По-моему, именно от такого разнообразного состава зависит вполне беспристрастное решение нашей задачи, и я надеюсь, что всякий из нас внесет свою лепту в общий труд, чтобы сказать вместе с баснописцем:

И моего тут капля меду есть...

Генерал перевел дух, посмотрел через очки на слушателей и, облокотившись рукой на кучку лежавших перед ним деловых бумаг, обратился к набобу:

— Евгений Константиныч! скажу еще несколько слов собственно вам. Помните, Евгений Константиныч, евангельскую притчу о рабе, который получил десять талантов, приумножил их новыми десятью талантами и возвратил своему господину уже не десять талантов, а вдвое больше. Вы именно так поступаете, как этот евангельский раб, собрав нас сюда для работы, которая может иметь значение государственной важности. Время безучастного отношения заводовладельцев к своему специальному делу давно миновало: кому дано много, с того и взыщется много. Вы хорошо поняли это и теперь принимаете участие в нашем общем труде, как наш собрат. Эта готовность послужить общему благу является лучшим залогом успеха. Говорю это как человек науки, который может только пожелать, чтобы и другие заводовладельцы отнеслись к своему делу с такой же энергией и, что особенно важно, с такой же теплотой и искренним участием.

Набоб поклонился и сказал на это приветствие несколько казенных фраз, какие говорятся в таких торжественных случаях. Родион Антоныч сидел все время как на угольях и чувствовал себя таким маленьким, точно генерал ему хотел сказать: «А ты зачем сюда, братец,

затесался?» Майзель, Вершинин и Тетюев держали себя с достоинством, как люди бывалые, хотя немного и косились на записную книжку Перекрестова.

— Чтобы не терять напрасно времени, мы прямо приступим к тому вопросу, который отчасти и вызвал поездку Евгения Константиныча на заводы, — вновь начал генерал, перебирая бумаги около себя. — Я хочу сказать о недоразумениях, которые возникли между кукарским заводоуправлением — с одной стороны, и крестьянским обществом — с другой. Кстати, мне пришлось хорошо познакомиться с этим вопросом из первых рук: я имел случай несколько раз говорить с представителями крестьянского общества, а кроме того, я получил довольно обстоятельный доклад, собственно, от кукарского заводоуправления специально по этому делу.

«Вот оно когда началось-то...» — подумал Родион Антоныч, чувствуя, как его вперед прошибло холодным потом.

А генерал уже достал из портфеля объемистую тетрадку и положил ее перед собой; в этой тетрадке Родион Антоныч узнал свою докладную записку, отмеченную на полях красным карандашом генерала, — и вздохнул свободнее. Рядом с этой рукописью легла мужицкая бумага, тоже размеченная и подчеркнутая. Началось длинное чтение, которое в первые же десять минут нагнало тоску на Евгения Константиныча, так что ему стоило большого труда, чтобы удержаться и не заснуть. Прейн поймал эту мальчишескую выходку и едва заметно покачал головой. Чтение докладной записки и мужицкой бумаги продолжалось битый час, а за чтением генерал сказал свое короткое резюме и открыл прения. Майзель и Тетюев нападали на несправедливость действия кукарского заводоуправления по отношению к крестьянскому обществу в том смысле, что заводоуправление то допускало напрасные послабления, то устраивало бесполезные прижимки; Вершинин отмалчивался, ожидая, что скажет сам генерал.

— Я решительно и во всем обвиняю заводоуправление, — резал Майзель, обрадовавшись случаю сорвать злость. — Отсутствие выдержки, неумение поставить

себя авторитетно, наконец профанация власти — все это, взятое вместе, и создало упомянутые недоразумения.

— Не угодно ли будет вам, господин Сахаров, высказаться по этому вопросу? — предложил генерал, когда стороны были выслушаны.

Родион Антоныч не смутился и пункт за пунктом принялся разбивать обвинения своих противников, причем воодушевился настолько, что удивил всех своей смелостью и отчетливым знанием дела.

— Да это — тот самый, который, помнишь, прогнал собаку Майзеля, а потом боролся со мной по-татарски? — спрашивал набоб Прейна.

— Да, секретарь Горемыкина. Делец... — коротко аттестовал Прейн, с удовольствием слушая ораторствовавшего Родиона Антоныча.

Завязались прения, причем Родиону Антонычу приходилось отъедаться разом от троих. Особенно доставалось бедному Ришелье от Вершинина, который умел диспутировать с апломбом и находчивостью. Эта неравная борьба продолжалась битых часа полтора, пока стороны не пришли в окончательный азарт и открыли уже настоящую перепалку.

— Господа, я полагаю, лучше будет выслушать самих крестьян, а потом уже продолжать дебаты, — предложил Прейн, желая спасти Родиона Антоныча от разгромления.

Все шумно поднялись с своих мест и продолжали спорить уже стоя, наступая все ближе и ближе на Родиона Антоныча, который, весь красный и потный, только отмахивался обеими руками. «А Прейн еще предлагает привести сюда мужиков...» — думал с тоской бедный Ришелье, чувствуя, как почва начинает колебаться у него под ногами.

— До завтра, господа! — кричал генерал, стараясь заглушить споривших. — А завтра мы выслушаем крестьянских ходоков... Это будет лучше.

Прямо с консультации Тетюев, Майзель и Вершинин отправились в генеральский флигелек, к Нине Леонтьевне, а Родион Антоныч побрел к Раисе Павловне, где и встретил Прейна, хохотавшего, как сумасшедший.

Раиса Павловна тоже смеялась и встретила своего Ришелье с необыкновенной любезностью.

— Устали вы, Родион Антоныч? — спрашивала она, усаживая его в кресло. — Кофе подать вам или закусить? Слышала, все слышала... Настоящую вам баню задали — ну, что делать, нужно потерпеть!

— Уж потерпим, пока терпится, — согласился уныло Родион Антоныч, вытирая платком лицо и шею.

— Все отлично идет! — хвалил Прейн, потирая руки. — Как на заказ!

— А с мужиками вы зачем назвались, Альфред Осипыч? — корил Родион Антоныч. — Нечего сказать, отлично... Да они всю душу вымотают, а толку все равно не будет никакого.

— С мужиками еще лучше будет, — весело отвечал Прейн. — А вы держите свою линию — и только. Им ничего не взять... Вот увидите.

— Генерал-то молчит что-то.

— И пусть молчит... А Евгению Константинычу очень понравился ваш доклад. Он узнал вас.

Конечно, все это было приятно и утешительно, но перспектива новых битв пугала Родиона Антоныча, потому что один в поле не воин. Ох, грехи, грехи!

На следующий день действительно были приглашены на консультацию волостные старички с Кожиным, Семенычем и Вачагиным во главе. Повторилась приблизительно та же сцена: ходоки заговаривались, не понимали и часто падали в ноги присутствовавшему в заседании барину. Эта сцена произвела неприятное впечатление на Евгения Константиныча, и он скоро ушел к себе в кабинет, чтобы отдохнуть.

— Чего они хотят от меня? — спрашивал он Прейна. — Удивляюсь... И к чему это унижение, эти поклоны! Ведь теперь не крепостное право, все одинаково свободные люди.

— Это верно, но и к свободе нужно привыкнуть, — объяснял Прейн. — Эти земные поклоны еще остатки крепостного права, когда заводских мастеровых держали в ежовых рукавицах.

— Зачем же эти униженные просьбы, — я все-таки не пойму. Если дело мастеровых правое, тогда они

стали бы требовать, а не просить... Разве мой Чарльз будет кланяться кому-нибудь в ноги?..

Родион Антоныч не ошибся в своих расчетах: присутствие мужиков окончательно перепутало весь ход работ консультации. Эти живые документы разных заводских неправд, фабрикованных ловкими руками Родиона Антоныча, производили известное впечатление на генерала, не привыкшего обращаться с живыми людьми. «Какие разговоры с мужичьем, — думал Родион Антоныч про себя, — в шею их, подлецов. Нет, в три шеи, да еще отпороть на прибавку, чтобы пустяками не занимались. Ох, времена!» Но главным неудобством в положении Родиона Антоныча была его совершенно фальшивая роль в этом деле: он насквозь видел всех, видел все ходы и выходы и должен был отмалчиваться. Тот же Тетюев и Майзель толкуют за мужиков, а сами из-за мужицкой спины добивают Раису Павловну. Дай-ка им в руки этих мужиков, да они бы из них лучины нащепали. А генерал всякому ихнему слову верит, потому что они по-образованному умеют говорить, ученые слова разговаривают. Тоже если взять и заводское дело: плетут из пятого в десятое, а настоящей сути все-таки нет. Разве такие порядки должны быть? Вон Прейн, даром что немец, а всех видит... Ох, тонкий, оборотистый человек, только не провел бы он нас с Раисой Павловной. Даже крестьянские ходоки — и те перестали ломать шапку перед Родионом Антонычем, а краснобай Семеныч, встретив его на улице, с необыкновенной развязностью спросил:

— А што, Родивон Антоныч, бают, у тебя супротив енарала-то неустойка выходит? Ты вот нам прижимку сделал, а енарал по душе все хочет разобрать...

Это уж было слишком. Все кругом рушилось, и дни Раисы Павловны были сочтены. Тетюев одолевал генерала с земством, а в сущности Раису Павловну подсиживал. И умен только, пес, уродился, такие углы загибает генералу, что успевай слушать! Дальше Вершинин начал сильно гадить — тоже мужик не в угол рожей, пожалуй, еще почище будет Авдея Никитича. Одним словом, чем дольше шли работы консультации, тем положение Ришелье делалось невыносимее, и он уже

потерял всякую веру даже в Прейна, у которого вечно семь пятниц на неделе. К Раисе Павловне Сахаров редко заглядывал, ссылаясь на работу. Ввиду всех этих грозных признаков, омрачавших горизонт, бедный кукарский Ришелье находил единственное утешение в своем курятнике, где и отдыхал душой в свободные часы. Известно, что все великие исторические люди питали маленькие слабости к разным животным, может быть выплачивая этим необходимую дань природе, потратившей на них слишком много ума.

А партия Тетюева торжествовала совсем открыто, собираясь у Нины Леонтьевны, где об изгнании Раисы Павловны все говорили, как о деле решенном. Параллельно с этим торжеством начинались новые происки и интриги, причем недавние союзники начинали играть уже «всяк в свои козыри», потому что каждому хотелось занять место Горемыкина. Конечно, это место всего легче было добыть через посредство Нины Леонтьевны, курсы которой поднялись необыкновенно высоко. И в самом деле, она не только привезла набоба на Урал, но и руководит каждым шагом генерала. Кроме общих совещаний, каждый из тетюевцев старался выслужиться перед Ниной Леонтьевной частными визитами, причем происходили забавные встречи, неожиданности и недоразумения. Тетюев подозревал Вершинина, Майзель — Тетюева, Вершинин — Тетюева и Майзеля; одним словом, заварилась настоящая дипломатическая каша, в которой больше всех выигрывала Нина Леонтьевна.

Перекрестов, бывший всегда там, где везло счастье, находился в числе непременных гостей Нины Леонтьевны и расточал перед ней самые лестные речи.

— Без вас, Нина Леонтьевна, никому и ничего не сделать бы, — говорил представитель русской прессы, приятно осклабляясь. — Хотите, я напишу о вас целый фельетон?

Вперемежку с этой неисчерпаемой ложью Перекрестов искал блох у Коко или сплетничал про все и про вся. Нина Леонтьевна очень ценила этого литературного человека и в ответ на его любезности предложила ему небольшую работу.

— Знаете что, — сообщила она, — я говорила о вас с Мироном, и мы решили передать вам один заказ... Именно, вы будете писать историю фамилии заводовладельцев Лаптевых.

— Я с удовольствием... — соглашался Перекрестов, целуя у Нины Леонтьевны ручку.

— Условия работы такие: пока будете работать — три тысячи в год, за работу пять тысяч, а если ваша работа понравится Евгению Константинычу, тогда он, без сомнения, наградит вас по-царски.

— Благодарю, благодарю вас, Нина Леонтьевна. Чем я могу заплатить вам за внимание к моим слабым силам?

— Угадайте, чем можете заплатить? Ха-ха... Как это наивно, чтобы не сказать больше! Вы можете сослужить большую службу русскому горному делу своим пером... Догадались?

— Помилуйте, Нина Леонтьевна, да зачем же я сюда и ехал?.. О, я всей душой и всегда был предан интересам горной русской промышленности, о которой думал в степях Северной Америки, в Индийском океане, на Ниле: это моя idée fixe [1]. Ведь мы живем с вами в железный век; железо — это душа нашего времени, мы чуть не дышим железом...

— Я понимаю вас, Перекрестов, — сентиментально проговорила Нина Леонтьевна, тронутая этим патетическим монологом.

— И я отлично вас понимаю, Нина Леонтьевна! — воскликнул Перекрестов. — Мне было достаточно увидать вас... И уж никогда я не сравню вас с другими женщинами! Знаете, Нина Леонтьевна, Раиса Павловна считает себя самой умной женщиной и не подозревает, как вы ей салазки смажете... Ха-ха! Вы сослужите русскому горному делу золотую службу, Нина Леонтьевна!

Заручившись симпатиями Нины Леонтьевны, а также выгодной работой по части жизнеописания Лаптевых, Перекрестов тоже возмечтал. Ведь в самом деле, мыкался, мыкался он по всем континентам, продавал

---

[1] навязчивая мысль *(франц.)*.

все и всех, заискивал, льстил, унижался и все-таки гол как сокол! Надо же когда-нибудь и остепениться! В бесшабашной голове Перекрестова мелькнула счастливая мысль: а что, если бы ему, Перекрестову, занять место Горемыкина... а?.. На эту интересную тему Перекрестов продумал целую ночь, набросал даже в своей книжечке на всякий случай план реформ, какие он произведет в Кукарских заводах, и весь следующий день ходил с самым таинственным видом, точно какой-нибудь заговорщик.

— Что это с тобой сделалось? — с участием спрашивал его Летучий. — Уж не болит ли у тебя живот?

XXVIII

Пока шла ожесточенная борьба партий, беззаботная половина человеческого рода веселилась напропалую, изобретая каждый день новое удовольствие. Под предлогом развлечения Евгения Константиныча устраивались гулянья в саду, семейные вечера, катанья по пруду на лодках, пикники и т. д. Молодежь находила тысячи средств веселиться, пока люди зрелого возраста рыли друг другу волчьи ямы, злословили и преисполнялись самыми ожесточенными мыслями и чувствами. Аннинька и m-lle Эмма проводили время в обществе Братковского, Перекрестова и Летучего самым веселым образом и находили, что лучшего ничего и желать невозможно. Особенно так думала Аннинька, формально объяснившаяся Братковскому в любви.

— Я тоже вас люблю... — лениво ответил поляк. — Только обещать вам ничего не могу, потому что...

— Ах, боже мой! Да разве я что-нибудь требую от вас? — задыхающимся шепотом говорила Аннинька, блестя своими темными глазками. — Ведь вы скоро уедете... времени остается так мало.

В ответ на это Братковский целовал Анниньку и шепотом говорил тот любовный вздор, который непереводим ни на какой язык, хотя отлично понимается всеми, как музыка без слов. Как все влюбленные девушки, Аннинька таскала за собой Братковского по разным тени-

стым уголкам в саду, одолевала его массой записочек и ревновала даже к Нине Леонтьевне. Конечно, каждый вечер m-lle Эмма должна была выслушать бесконечную болтовню Анниньки, которая изнывала от душившей ее потребности рассказать кому-нибудь о своем счастье. M-lle Эмма любила, раздевшись и улегшись в постель, долго жевать что-нибудь сладкое: сосала леденцы, грызла орехи, доедала припасенное заранее мороженое и конфеты, причем погружалась в сладкое созерцательное настроение, как жующая жвачку овечка. Аннинька пользовалась этим моментом душевного расслабления своей подруги, забиралась к ней с ногами на кровать и принималась без конца рассказывать о своей любви, как те глупые птички, которые щебечут в саду на заре от избытка преисполняющей их жизни. Таким образом m-lle Эмма имела удовольствие узнать все достоинства пана Братковского, который был совершенством человеческой природы и, наверное, происходил из какой-нибудь старинной королевской фамилии.

— Отлично, все отлично, — лениво соглашалась m-lle Эмма, рассматривая свои упругие круглые руки. — А этот переодетый принц не рассказывал тебе, сколько он таких дур, как ты, надул на своем веку? Спроси как-нибудь.

— Да мне-то какое дело? Конечно, надувал и еще сто дур надует, а все-таки я его люблю. Если бы ты, Эминька, знала, как я этого красивого мерзавца люблю! Право, я съела бы его или задушила бы, если бы могла... Глаза у него какие, Эминька!

— Дурища ты безголовая, Анька, вот что я тебе скажу! — полушутя, полунаставительно говорила m-lle Эмма.

— Что же, Эминька, разве я не знаю, что я глупенькая... Галка, как Прозоров говорит. Все равно пропадать, так хоть месяц поживу в свое удовольствие!

В припадке нежности и отчаяния Аннинька и плакала, и хохотала, и сто раз принималась целовать m-lle Эмму — в лицо, шею, даже ее голые точеные руки.

— Ты смотри, как Лушка устроилась, — говорила m-lle Эмма, напрасно стараясь отбиться от поцелуев

Анниньки. — Не бойсь, не по-нашему с тобой... Мне, ей-богу, она начинает нравиться: умная! Вон как Прейна забрала, а уж, кажется, он весь свет оплетет. И сама себя бережет, лишнего ничего не позволит. Так и следует поступать умной девушке, а то поцеловались два раза — и кончено! точно разварная рыба, хоть ты ее с хреном ешь, хоть с горчицей. Лушка и Раису Павловну проведет... Та ее за Лаптева прочит... Ха-ха! Ей-богу, я начинаю любить эту Лушку!

В минуту отдыха, раздевшись и прикрыв свое круглое белое тело одеялом, m-lle Эмма любила пофилософствовать на разные житейские темы, причем все у ней выходило как-то необыкновенно спокойно и чуть-чуть было приправлено тонкой и умной насмешкой. В этом сколоченном на заказ организме, работавшем, как машина, для философии отчаяния не оставалось ни одного свободного уголка, потому что m-lle Эмма служила живым воплощением самого завидного душевного равновесия. Даже такие критические обстоятельства, которые теперь заставляли весь кукарский господский дом, со всеми флигелями и пристройками, переживать самые тревожные минуты, не беспокоили особенно m-lle Эмму, хотя она, после падения Раисы Павловны, буквально должна была идти на улицу, не имея куда приклонить голову. Сама Раиса Павловна в минуты отчаяния посылала за m-lle Эммой, и одно присутствие этой жирной, как семга, немки успокаивало ее расходившиеся нервы. К передрягам и интригам большого и малого двора m-lle Эмма относилась совсем индифферентно, как к делу для нее постороннему, а пока с удовольствием танцевала, ела за четверых и не без удовольствия слушала болтовню Перекрестова, который имел на нее свои виды, потому что вообще питал большую слабость к женщинам здоровой комплекции, с круглыми руками и ногами.

Слушая болтовню Анниньки, m-lle Эмма припоминала свой последний разговор с Перекрестовым, который сделал ей довольно откровенное предложение, имея в виду открывавшуюся вакансию главного управляющего Кукарскими заводами.

— Мы люди умные и отлично поймем друг друга, — говорил гнусавым голосом Перекрестов, дергая себя за бороденку. — Я надеюсь, что разные охи и вздохи для нас совсем лишние церемонии, и мы могли бы приступить к делу прямо, без предисловий. Нынче и книги без предисловий печатаются: открывай первую страницу и читай.

— Что вы хотите сказать этим? — сердито спрашивала m-lle Эмма, чувствовавшая, что тут дело идет совсем не об ее уме.

— Вы меня отлично понимаете, mademoiselle Эмма; к чему притворяться? Мы устроились бы в Петербурге отлично. У меня есть работа, известное обеспечение; наконец, очень солидные виды на будущее, которым вы остались бы довольны...

Бессовестно льстя уму и прочим добродетелям m-lle Эммы, Перекрестов высказал самое откровенное желание поближе познакомиться с ее круглой талией, но получил в ответ такой здоровый удар кулаком в бок, что даже смутился. Смутился Перекрестов, проделывавший то же самое во всех широтах и долготах, — это что-нибудь значило! Но m-lle Эмма не думала разыгрывать из себя угнетенную невинность и оскорбляться, а проговорила совершенно спокойно:

— Нет, батенька, это дело нужно оставить: у вас ничего нет, и у меня ничего нет — толку выйдет мало. Я давно знаю эти умные разговоры, а также и то, к чему они ведут... Одним словом, поищите дуры попроще, а я еще хочу пожить в свою долю. Надеюсь, что мы отлично поняли друг друга.

В последнее время Братковский имел меньше времени для свиданий с Анninькой, потому что в качестве секретаря генерала должен был присутствовать на консультации, где вел журнал заседаний и докладывал протоколы генерала, а потом получил роль в новой пьесе, которую Сарматов ставил на домашней сцене. С секретарскими работами Анninька мирилась, но чтобы ее «предмет» в качестве jeune premier[1] при всех

[1] первого любовника (*франц.*).

на сцене целовал Наташу Шестеркину, — это было выше ее сил.

— Я этой Наташке все глаза выцарапаю, — уверяла Аннинька в порыве справедливого негодования. — Вот увидишь, Эминька, как кошка, так и вцеплюсь. Пусть тогда Братковский целуется с ней.

— Нашла кого ревновать, — презрительно замечала m-lle Эмма. — Да я на такого прощелыгу и смотреть-то не стала бы... Терпеть не могу мужчин, которые заняты собой и воображают бог знает что. «Красавец!», «Восторг!», «Очаровал!». Тьфу! А Братковский таращит глаза и важничает. Ему и шевелиться-то лень, лупоглазому... Теленок теленком... Вот уж на твоем месте никогда и не взглянула бы!

Аннинька зажимала рот m-lle Эмме рукой и продолжала свое, как ее ни уговаривала рассудительная подруга, не любившая в жизни никакой суеты, даже в любви... Но уговорить Анниньку было не так-то легко: она скрежетала зубами, рвала на себе волосы и вообще страшно неистовствовала. Иногда она старалась не думать о готовившемся спектакле, но ее точно подталкивал какой-то бес и шептал на ухо: «Вот теперь Братковский идет на репетицию... вот он в уборной у Наташи и помогает ей гримироваться... вот он улыбается и смотрит так ласково своими голубыми глазами». Бедная галка ходила, как помешанная, и, не имея сил преодолеть чувства ревности, решилась накрыть Братковского на самом месте преступления, то есть подкараулить на одной из репетиций.

Сарматов, так милостиво отмеченный набобом, хотел удивить мир злодейством, как сам характеризовал свою театральную затею. Он не щадил ни себя, ни других, чтобы удивить набоба блестящей постановкой пьесы. Нужно было выбрать такую пьесу, где можно было бы показать всех кукарских красавиц разом. После долгих колебаний Сарматов остановился на одной из комедий Потехина. В число исполнителей были завербованы все наличные силы и, между прочим, Луша Прозорова. Последним Сарматов подкупил всесильного Прейна, который молча и многознаменательно пожал руку театральному директору.

— Старый артиллерист все видит и умеет молчать, как рыба, Альфред Осипыч, — ответил на это пожатие Сарматов.

— Благодарю, благодарю... А какой костюм нужно будет сделать для Прозоровой?

— Костюм? Можно белый, как эмблему невинности, но, по-моему, лучше розовый. Да, розовый — цвет любви, цвет молодости, цвет радостей жизни!.. — говорил старый интриган, следя за выражением лица Прейна. — А впрочем, лучше всего будет спросить у самой Гликерии Виталиевны... У этой девушки бездна вкуса!

Прейн улыбнулся и фамильярно потрепал старого солдата по плечу.

Луша с удовольствием согласилась принять участие в спектакле, потому что сидеть в своем флигельке и слушать пьяный бред отца ей было хуже смерти. Она еще никогда не играла на сцене и с любопытством новичка увлекалась даже неприглядной изнанкой театра. Ей нравилась эта длинная мрачная казарма, служившая временным помещением для театра. Сколоченные на живую руку подмостки едва освещались двумя-тремя дрянными лампами, и эта убогая любительская сцена, загроможденная кулисами и декорациями, терялась в окружавшем мраке громадного здания мутным пятном. Подойдя к рампе, Луша подолгу всматривалась в черную глубину партера, с едва обрисовавшимися рядами кресел и стульев, населяя это пространство сотнями живых лиц, которые будут, как один человек, смотреть на нее, ловить каждое ее слово, малейшее движение. Перспектива сценической деятельности как-то вдруг досказала Луше то, чего ей недоставало: вот где ее место... Девушке нравилось здесь все — и затхлый, застоявшийся воздух, пропитанный запахом свежей краски от декораций, керосином и еще какой-то гнилой дрянью, и беспорядочность закулисной обстановки, и общая бестолковая суматоха, точно она попала в трюм какого-то громадного корабля, который уносил ее в счастливую даль. Что-то фантастическое чувствовалось кругом, точно какая детская сказка без начала и конца... А главное, вся эта театральная обстановка как нельзя больше отвечала душевному

настроению Луши. Ведь вся эта нескладная театральная суматоха и всеобщая путаница являлась только живым сколком и продолжением того, что считалось за действительность в господском доме; те же декорации и кулисы, тот же оптический обман на каждом шагу и только меньше фальши и лжи, хотя актеры и актрисы должны были изображать совсем других людей.

Даже неистовство Сарматова нравилось Луше, потому что он неистовствовал от чистого сердца, не скрывая своего желания выслужиться. В пылу усердия он кричал на всех каким-то неестественно тонким голосом, как поют молодые петухи, ходил по сцене театрально-непринужденным шагом, говорил всем дерзости и тысячью других приемов старался вдохнуть в своих сотрудников по сцене одолевший его артистический жар. Особенно доставалось Наташе Шестеркиной и Канунниковой, которые не раз плакали от выходок Сарматова и все-таки продолжали приносить непосильные жертвы на алтарь искусства.

— Наталья Ефимовна! актриса должна себя держать совсем непринужденно на сцене!.. — кричал Сарматов на конфузившуюся Шестеркину. — А вы не знаете, куда деваться с руками... Наталья Ефимовна! ради всего святого уберите ваши коленки! Ах, боже мой! Извините! коленки вы убрали, а зачем, с позволения сказать, начинаете выпячивать живот и переваливаетесь, как гусыня. А вы, mademoiselle Канунникова, вы держите голову с таким трудом, точно она набита у вас свинцовой дробью. Держитесь свободно, не стесняйтесь! Вон посмотрите на Братковского: этот гусь точно родился на сцене, а между тем я чувствую, что он-то и провалит меня, без ножа зарежет... Признайтесь, Гуго Альбертович, ведь вы до сих пор своей роли ни в зуб толкнуть и будете удить рыбу из суфлерской будки?..

Братковский только улыбался и даже не давал себе труда отшучиваться.

На репетициях, кроме официально назначенных актеров, толпились в качестве добровольцев Перекрестов с Летучим. Эти «почти молодые люди» постоянно заглядывали в дамскую уборную и старались заслужить внимание любительниц разными мелкими услугами: пере-

ставляли стулья, носили переписанные роли и даже пришивали пуговицы, когда это требовалось. Перекрестов толкался на сцене из любви к искусству и отчасти движимый желанием поволочиться за хорошенькими женщинами при той сближающей обстановке, какую создают любительские спектакли. Что касается Летучего, то этот прогоревший сановник, выдохшийся даже по части анекдотов из «детской жизни», спился окончательно и приходил в театр с бутылкой водки в кармане, выпивал ее через горлышко где-нибудь в темном уголке, а потом забирался в самый дальний конец партера, ложился между стульями и мирно почивал.

— Театр — это цивилизующая сила, — ораторствовал Перекрестов, забравшись в дамскую уборную. — Она вносит в темную массу несравненно больше, чем все наши университеты и школы. Притом сцена именно есть та сфера, где женщина может показать все силы своей души: это ее стихия, как представительницы чувства по преимуществу.

Театральная суматоха была нарушена трагико-комическим эпизодом, который направлен был рукой какого-то шутника против Сарматова. Именно, во время одной репетиции, когда все актеры были в сборе, на сцене неожиданно появилась Прасковья Семеновна, украшенная розовыми бантиками.

— Мне нужно видеть директора театра, — спрашивала она совершенно серьезным тоном, отыскивая глазами Сарматова.

— К вашим услугам, сударыня, — с комической вежливостью расшаркивался Сарматов, напрасно придумывая какую-нибудь остроумную шуточку над полусумасшедшей девушкой. — Чем могу служить вам?

— Я получила приглашение от вас играть роль первой любовницы, — с прежним спокойствием проговорила Прасковья Семеновна, не замечая насмешливых улыбок. — Вот я и пришла...

— Это недоразумение, Прасковья Семеновна... — смутился Сарматов от такой неожиданности. — У нас уже есть первая любовница.

Этот ответ исказил добродушно-сосредоточенное лицо Прасковьи Семеновны; глаза у ней сверкнули

чисто сумасшедшим гневом, и она обрушилась на директора театра целым градом упреков и ругательств, а потом бросилась на него прямо с кулаками. Ее схватили и пытались успокоить, но все было напрасно: Прасковья Семеновна отбивалась и долго оглашала театр своим криком, пока пароксизм бешенства не разрешился слезами.

— Меня все обманывают, — шептала несчастная девушка, глотая слезы. — И теперь мое место занято, как всегда. Директор лжет, он сам приглашал меня... Я буду жаловаться!.. О, я все знаю, решительно все! Но меня не провести! Да, еще немножко подождите... Ведь уж он приехал и все знает.

Нашлись такие любители скандалов, которые хотели потешиться над заговаривавшейся девушкой, но какая-то добрая рука увела ее со сцены под одним из тех предлогов, при помощи которых заставляют уходить из комнаты детей. На Лушу этот маленький эпизод подействовал крайне тяжело, и она просидела все время в уборной, пока Прасковья Семеновна кричала и плакала на сцене. Но после репетиции, когда Луша проходила по узкому коридорчику между кулисами, кто-то в темноте схватил ее за руку точно железными клещами, так что она даже вскрикнула от испуга и боли.

— А, попалась... Ха-ха!.. — кричал хриплый голос, по которому Луша едва узнала Прасковью Семеновну. — Ты отбила мое место, но я тебе устрою штуку. Ты будешь меня помнить... Ха-ха!..

Луша чувствовала на себе пристальный взгляд сумасшедшей и не смела шевельнуться; к ее лицу наклонялось страшное и искаженное злобой лицо; она чувствовала порывистое тяжелое дыхание своего врага, чувствовала, как ей передается нервная дрожь чужого бешенства. Подоспевший на выручку Братковский помог освободиться Луше от этого объяснения, и она едва добрела до уборной, где и упала в обморок. Поднялась новая суматоха, послали за доктором, но Луша пришла в себя сейчас же, как ее вспрыснули холодной водой. Она долго сидела на грязном диванчике в уборной, плохо понимая, что делается кругом, точно все это был какой-то сон, тяжелый и мучительный. Только когда в

дверях уборной показалась длинная фигура доктора Кормилицына, Луша точно проснулась.

— Не нужно, ничего не нужно... — проговорила она, жестом прося доктора не входить. — Мне лучше... Это пустяки. Не говорите ничего отцу.

— Что такое случилось? что с вами, мой ангел? — кричал Прейн, врываясь в уборную: его тоже успел кто-то предупредить. — Ах, как я испугался...

— Напрасно... Может быть, лучше было бы умереть, — проговорила Луша, начиная сердиться. — Уходите, пожалуйста... «мой ангел»!

В последнее время все стали замечать, что Прасковья Семеновна сильно изменилась: начала рядиться в какие-то бантики, пряталась от всех, писала какие-то таинственные записочки и вообще держала себя самым странным образом. Раиса Павловна давно заметила эту перемену в сумасшедшей и боялась, как бы она не выкинула какой-нибудь дикой штуки в присутствии набоба; но выселить ее из господского дома не решалась.

Аннинька, желая накрыть Братковского на самом месте преступления, несколько раз совершенно незаметно пробиралась на сцену и, спрятавшись где-нибудь в темном уголке или за кулисами, по целым часам караулила свой «предмет». Эта засада, однако, не приводила ни к каким положительным результатам, потому что Братковский держал себя, как и все другие мужчины. Впрочем, с прозорливостью влюбленной Аннинька поймала несколько таких взглядов Наташи Шестеркиной на «предмет», что сомнения не оставалось. Наташа любила его. Сделанное открытие стоило Анниньке больших слез и еще большей злобы против счастливой соперницы; оставалось только выследить их вдвоем и накрыть.

Всем влюбленным случай, как известно, является покорнейшим слугою; он же помог и Анниньке довершить предпринятый подвиг. Репетиция была назначена вечером; Аннинька с утра притворилась больной, а когда m-lle Эмма ушла к Раисе Павловне, она, как ящерица, улизнула в театр и пробралась на свой наблюдательный пост. На этот раз Братковский нетерпеливо шагал

по сцене, заложив руки за спину. Не оставалось никакого сомнения, что он ждал ее. Было еще рано, и актеры только что начинали собираться и шушукались отдельными кучками. Братковский несколько раз посмотрел на часы и все поправлял свои русые волосы нетерпеливым жестом. Но вот мимо Анниньки скользнула знакомая женская фигура, закутанная в большой платок: это была Наташа Шестеркина. Она прошла к тому углу сцены, где были свалены старые декорации, и сделала знак Братковскому, чтобы он шел за ней. Аннинька должна была придерживать грудь рукой, чтобы сдержать колотившееся сердце, а потом она, как кошка, начала подкрадываться к уединившейся парочке. Ей пришлось сделать порядочный крюк, чтобы подойти к вороху кулис совершенно незамеченной. Вот уж близко, всего несколько шагов... Можно рассмотреть, как Братковский крепко обнял Наташу одной рукой и, наклонив голову, что-то внимательно слушал. Потом до ушей Анниньки донесся сдержанный счастливый смех ее разлучницы. Вся кровь прилила к голове Анниньки, сердце замерло, в глазах пошли красные круги; еще несколько шагов — и она у цели. Счастливая парочка так близко от нее, что можно доскочить одним прыжком; и Аннинька почти чувствует под своими ногтями белую кожу Наташи Шестеркиной. Но нужно немного перевести дух...

— Что же она? — спрашивал Братковский.

— Она?.. Ха-ха... Аннинька такая глупая, что ее обмануть ничего не стоит. Ведь она караулила тебя здесь все время, а ты и не подозревал?

— Этого еще недоставало!.. Ничего нет скучнее этих кисейных барышень, которые ничего не понимают... Ведь сама видит, что надоела, а уйти толку недостает.

— А тебе неужели не жаль Анниньки?

— Я могу женщину любить только до тех пор, пока она не потеряла ума, а как только начались охи, да вздохи, да еще слезы...

Братковский сделал выразительный жест рукой, а Шестеркина засмеялась. Аннинька слишком хорошо изучила ее манеру говорить и смеяться и вся дрожала, как в лихорадке. Послышался долгий поцелуй.

— А все-таки необходимо поскорее отделаться от этой дуры, — заговорила опять Шестеркина, прижимаясь к своему кавалеру, — а то она еще, пожалуй, устроит такой скандал, что и не расхлебаешь.

— Вздор!..

— Нет, я ее отлично знаю...

Анниныка не могла больше выносить и, как тигренок, бросилась на свою жертву, стараясь вцепиться ей прямо в лицо. Неожиданность нападения совсем обескуражила Братковского, он стоял неподвижно и глупо смотрел на двух отчаянно боровшихся женщин, которые скоро упали на пол и здесь уже продолжали свою борьбу.

— Анька... дура! Да ты, кажется, совсем с ума сошла? — послышался голос защищавшейся.

У Анниньки упали руки при звуках этого знакомого голоса — это была не Наташа Шестеркина, а m-lle Эмма, которая смешно барахталась своими круглыми руками и ногами, напрасно стараясь оттолкнуть нападавшую Анниньку.

— Право, настоящая дура! — уже сердито проговорила m-lle Эмма, поднимаясь с пола. — Ну, к чему было лицо ногтями царапать?..

Бедная, уничтоженная Аннинька сидела на полу в самом отчаянном виде и решительно не могла понять, во сне она или наяву.

XXIX

Занятия консультации были в полном разгаре, хотя сам Евгений Константиныч теперь редко посещал ее заседания. Дело Родиона Антоныча было совсем дрянь, и он, махнув на все рукой, плыл туда, куда его уносил стремительный поток событий. Да и что он мог сделать один против четверых? Выходила полная неустойка, как говорил Семеныч. Тетюевцы разнесли по щепам всю внутреннюю политику Раисы Павловны, и беспристрастный генерал, находившийся под сильным давлением Нины Леонтьевны, заметно начал склоняться на сторону тетюевцев. В чаше испытаний, какую приходилось

испить Родиону Антонычу, мужицкие ходоки являлись последней каплей, потому что генерал хотя и был поклонником капитализма и смотрел на рабочих, как на олицетворение пудо-футов, но склонялся незаметно на сторону мужиков, потому что его подкупал тон убежденной мужицкой речи.

— Твое желание исполнилось, — говорил Прейн, отыскав Лушу в театре, — Платона Васильевича мы покончили совсем...

— А ты не обманываешь меня?..

— Если не веришь мне, так завтра сама можешь узнать от Раисы Павловны, — ответил Прейн обиженным тоном порядочного человека.

Луша торжествовала: ее заветное желание исполнилось. Сегодня идти к Раисе Павловне было поздно, но зато завтра она воочию убедится в случившемся. Ей страстно хотелось видеть, как Раиса Павловна примет известие о своем поражении и как она отнесется к Прейну, на которого надеялась, как на каменную стену. Вот будет комедия!..

Луша долго не могла заснуть в эту ночь. Вслед за картиной поражения Раисы Павловны перед ней встала другая, более широкая — это торжество партии Тетюева, с Ниной Леонтьевной во главе. Вот самодовольная, надутая фигура «моего Майзеля», вот хитро улыбающееся бородатое лицо Вершинина, вот делец Тетюев с своим «я», вот сама чугунная болванка, расплывшаяся и безобразная... Луша одинаково ненавидела эту торжествующую шайку дельцов, ненавидела той отраженной ненавистью, какая созрела в ней в последнюю поездку в горы, когда все начинали смотреть на нее, как на кандидатку в куртизанки. Особенно ненавидела Луша заводских аристократов, которые так жалко пресмыкались перед Ниной Леонтьевной... Чем Раиса Павловна хуже безобразной болванки? Дальше Луша думала о том, кто займет место Горемыкина, и старалась представить себе картину разрушения старого режима, сложившегося около Раисы Павловны. Кто потеряет и кто выиграет в этой новой суматохе? Прейн несколько раз говорил, что всего больше шансов на стороне Тетюева... Итак, вместо Раисы Павловны будет царить

Авдей Никитич Тетюев. Глупо. Когда ненавистная Раиса Павловна была побеждена, и в душе Луши проснулось к этой женщине какое-то неясное, но теплое чувство. Ведь если разобрать справедливо, так Раиса Павловна ничем не хуже других, а только умнее во сто раз. И Лушу она любила по-своему, особенно в последнее время. Да, любила; любила немного по-кошачьи, но все-таки любила.

Перед Лушей протянулся длинный ряд воспоминаний, как Раиса Павловна готовила ее к балу, как с замиравшим сердцем следила за ее первыми успехами, как старалась выдвинуть ее на первый план, с тактикой настоящей великосветской женщины, и как, наконец, создала то, чем теперь Луша пользуется. Одной красоты и молодости мало для женщины, а нужна еще выдержка, такт, известная оригинальная складка, что и было разработано в Луше той же Раисой Павловной.

«Но ведь Раиса Павловна погубила отца... — думала Луша, движимая старым наболевшим чувством.— Она и меня преследовала, когда я была маленькой замарашкой».

Раньше Луша относилась к отцу почти индифферентно или с сдержанным чувством холодного презрения, а теперь начинала бояться его. Что он скажет, когда узнает все? Никакая тайна не останется тайной. Этот погибший человек отвернется от нее, как от содержанки Прейна. Он бросит в нее первый камень. Жалкий отец только один и вставал между нею и Прейном. Луша видела его презрительную улыбку и чувствовала всем телом его злой, насмешливый взгляд. Но из-за страха перед отцом в душе Луши выступило более сильное чувство: она жалела этого жалкого, потерянного человека и только теперь поняла, как его всегда любила. Ведь это была недюжинная голова, человек с искрой в душе, который при других обстоятельствах мог быть университетской знаменитостью или выдающимся представителем в области литературы. Мысли об отце были единственной тайной Луши от Прейна, и она берегла эту последнюю святыню, как берегут иногда детские игрушки, которые напоминают о счастливом и невинном детстве. И все-таки отца погубила оконча-

тельно Раиса Павловна... Это решение созрело еще в голове Луши в самом раннем детстве и в таком виде сберегалось до последнего времени, как не требующая доказательств аксиома. Но первое проснувшееся чувство расширило душевный горизонт Луши, и она теперь старалась проверить детскую аксиому, принимая меркой свой личный опыт. Кто из них прав и кто виноват: Раиса Павловна или отец?.. В сущности она судила только по догадкам и только отчасти по двум-трем письмам, доставшимся ей после матери. История была самая темная. Да и как ей судить их? Просветленная собственным чувством, Луша долго думала о самой себе и своих отношениях к Прейну. Эта неожиданная встреча тоже носила в себе что-то роковое, как и встреча отца с Раисой Павловной. Луша действительно любила Прейна, любила человека умного и сильного, — всего вернее последнее. Именно сила Прейна производила на нее обаятельное действие: это был всемогущий человек, создавший свое положение одним своим умом. Конечно, он стар и некрасив, но все-таки во сто раз лучше тех молодых и красивых, которых встречала Луша до настоящего времени, не говоря уже об Яшке Кормилицыне. Девушка поклонялась силе, потому что в самой себе чувствовала эту силу, а жить, как живут все другие люди — день за днем, не стоило труда.

Долго не спала Луша в эту ночь, ворочаясь на своей постели. Ночь была темная и дождливая; деревья в саду шумели, точно говор далекой толпы, волновавшейся, как море. Крупные капли дождя хлестали в стекла с сухим треском, как горох, а рамы вздрагивали и тихо дребезжали под напором метавшегося ветра. Где-то выла собака, сильно сконфуженная происходившими в природе беспорядками. А потом глухо гукнул отдаленный раскат грома, точно вестовая пушка. Шум начал стихать, и дождь хлынул ровной полосой, как из открытой души, но потом все стихло, и редкие капли дождя падали на мокрую листву деревьев, на размякший песок дорожек и на осклизнувшую крышу с таким звуком, точно кто-то бросал дробь в воду горстями. Но это было временное затишье, как бывает перед надвигающейся грозой. Вот режущим блеском вспыхнула

первая молния, и резким грохотом рассыпался первый удар, точно с неба обрушилась на землю целая гора, раскатившаяся по камешку. Опять затишье, и новая молния, и вслед за ней уже без всякого перерыва покатились страшные громовые раскаты, точно какая-то сильная рука в клочья рвала все небо с оглушающим треском. Луша не боялась грозы и с замирающим сердцем любовалась вспыхивающей ночной темью, пока громовые раскаты стали делаться слабее и реже, постепенно превращаясь в отдаленный глухой рокот, точно по какой-то необыкновенной мостовой катился необыкновенно громадный экипаж.

Поздно утром, когда Луша проснулась, около ее кровати сидела Раиса Павловна. По блесткам дождевых капель в волосах и по темным пятнам от таких же капель на платье и на большой темной шали, в которую она куталась до самого подбородка, было видно, что Раиса Павловна только что пришла. Она сидела с опущенной головой, в задумчивой позе, и не замечала, что Луша давно уже смотрела на нее. Бледное, обрюзгшее лицо было бы совсем безобразно, если бы не освещалось какой-то глубокой думой, которая заставляла Раису Павловну забывать и промокшие насквозь прюнелевые башмаки, и недоконченный туалет, и место, где она сидела.

— Ах, ты уж проснулась? — проговорила Раиса Павловна, выведенная из своего забытья движением Лушиной головы.

— Да... Что случилось, Раиса Павловна? — сухо спросила девушка, напрасно стараясь замаскировать овладевшее ею чувство радости при виде разбитого врага.

— Ничего особенного...

Раиса Павловна нервно улыбнулась и опустила глаза; ее душило, и слезы стояли в горле.

— Я пришла проститься с тобой, Луша, — заговорила Раиса Павловна душевным, простым тоном, с нечеловеческими усилиями подавляя бушевавшие в ней горькие мысли.

— Что такое? Как проститься? — ответила Луша, не давая себе труда даже притвориться хорошенько. —

Я, кажется, еще покуда не уезжаю, Раиса Павловна.

— Зачем ты обманываешь меня, голубчик? Я не за этим пришла... Мне хочется на прощанье много тебе высказать, потому что... вероятно, больше нам уже не придется встретиться, хотя и я — как ты, конечно, знаешь — тоже уезжаю.

«Скатертью дорога», — про себя подумала Луша, пока Раиса Павловна с трудом переводила дух.

— Я знаю твой выбор, — тихо заговорила Раиса Павловна, глядя прямо в лицо Луши. — И знала его гораздо раньше, чем ты думаешь. Но дело не в этом. Я пришла поговорить с тобой... ну, как это тебе сказать? — поговорить, как мать с дочерью.

— Раиса Павловна, пожалуйста, оставьте это святое слово в покое... Как-то вам нейдет говорить: мать!

При виде смирения Раисы Павловны в Луше поднялась вся старая накипевшая злость, и она совсем позабыла о том, что думала еще вечером о той же Раисе Павловне. Духа примирения не осталось и следа, а его сменило желание наплевать в размалеванное лицо этой старухе, которая пришла сюда с новой ложью в голове и на языке. Луша не верила ни одному слову Раисы Павловны, потому что мозг этой старой интриганки был насквозь пропитан той ложью, которая начинает верить сама себе. Что ей нужно? зачем она пришла сюда?

— Ты права, Луша... — ответила Раиса Павловна бледнея, — я беру свое слово назад. Но ты все-таки позволишь мне высказать тебе все, что у меня лежит на душе?

— Говорите... если вам это доставляет удовольствие, — с прежним бессердечием заметила Луша, пожимая плечами. — Только я думаю, что между нами всякие разговоры — совершенно лишняя роскошь. Надеюсь, что мы и без слов понимаем друг друга.

Луша сухо засмеялась, хрустнув пальцами. В запыленные, давно непротертые окна пробивался в комнату тот особенно яркий свет, какой льется с неба по утрам только после грозы, — все кругом точно умылось и блестит детской, улыбающейся свежестью. Мохнатые лапки отцветших акаций едва заметно вздрагивали под легкой

волной набегавшего ветерка и точно сознательно стряхивали с себя последние капли ночного дождя; несколько таких веточек с любопытством заглядывали в самые окна.

— Можно открыть окно? — спросила Раиса Павловна, задыхаясь от бросившейся в голову крови.

— Будьте так любезны... А вы мне позволите одеться сначала?

— Позволяю...

Через четверть часа Луша была готова, и Раиса Павловна распахнула окно, в которое широкой волной хлынула еще не успевшая улетучиться ночная свежесть. Пахнуло цветочным ароматом, и вместе с струей свежего воздуха ворвался в комнату неясный гул работавшей фабрики. Что-то бодрое и сильное ликовало там сейчас, за пределами прозоровского флигелька, где зелеными кружевами поднимались шпалеры акаций и сиреней, круглились зелеными шапками липы и сквозили на солнце прорезными вершинами мохнатые стройные ели. Сколько покоя, сколько мира чувствовалось под этим открытым голубым небом, того мира, которого недостает бессильному, слабому человеку, придавленному к земле своей бесконечной злобой. В ожидании разговора Луша села на свой прорванный диванчик, а Раиса Павловна тяжело ходила по комнате, заложив руки за спину.

— В последнее время, Луша, я не спала несколько ночей, думая о тебе, — заговорила Раиса Павловна, с трудом переводя дух. — Ты сделала рискованный шаг, слишком смелый для твоего возраста и неопытности. С этой дороги возврата нет. Но я пришла не для того, чтобы читать тебе наставления, а просто хочется поговорить по душе. Ты только начинаешь свою жизнь, а я ее кончаю; поэтому не лишнее будет заметить тебе коечто из моего житейского опыта. Сначала я испугалась ожидающей тебя участи, но потом передумала: порядочной, честной женщиной, как это принято понимать, не стоит жить, потому что все против нас... Если мужчина, на стороне которого все права и преимущества, может эксплуатировать женщин в свою пользу, не заслуживая ничьего порицания, то почему же женщина

не может распорядиться точно так же единственным своим преимуществом? Посмотри на меня: что я такое? Жалкая старуха — и больше ничего. В настоящую минуту у меня ничего нет — ни общественного положения, ни молодости, ни друзей, даже нет того, что остается после всех крушений и неудач — сознания, что я действительно сделала все, что могла. Нет, мне не осталось даже и этого утешения, хотя я была когда-то красива, не глупа и целую жизнь работала — конечно, работала по-своему... Вот в этой-то работе ты и можешь видеть то проклятие, которое тяготеет над женщиной. Мы всегда остаемся в жизни каким-то придатком мужчины, и возможная для нас деятельность совершается только из-за его спины. Самой умной женщине пробить себе дорогу только одной своей головой — дело почти невозможное; она всегда остается на полудетском положении, и ее труд ценится наравне с детским. Получается самое проклятое положение, тем более что требуют от женщины неизмеримо больше, чем от мужчины. Малейшая ошибка, малейший неверный шаг — все против нее, и больше всех сами же женщины. Про свою жизнь не буду тебе рассказывать — слишком много глупостей, или, вернее, одна сплошная глупость, хотя я всегда слыла за особу, которая умеет обделывать свои дела и ни перед чем не остановится.

Луша слушала эту плохо вязавшуюся тираду с скучающим видом человека, который знает вперед все от слова до слова. Несколько раз она нетерпеливо откидывала свою красивую голову на спинку дивана и поправляла волосы, собранные на затылке широким узлом; дешевенькое ситцевое платье красивыми складками ложилось около ног, открывая широким вырезом белую шею с круглой ямочкой в том месте, где срастались ключицы.

— Мне целую жизнь приходилось барахтаться в самой некрасивой обстановке, — продолжала Раиса Павловна, — интриговать, обманывать, лгать на каждом шагу и вечно действовать через третьи руки. Единственным утешением оставалось сознание, что окружавшие меня люди, с которыми мне приходилось иметь дело, ничем не лучше, за исключением разве того, что они в

большинстве случаев были непроходимо глупы. И что же? Конец ты сама знаешь... Но уже когда жизнь прошла, я пришла к тому убеждению, что нужно было жить совсем иначе. Видишь, в чем дело. Я подразделяю людей на две категории: на человеческое мясо, которое мясом родится, мясом живет и мясом умирает, и на собственно людей — настоящую человеческую аристократию, выдвинувшуюся из остальной безличной массы или умом, или характером, или красотой, или талантом. Я говорю об этой второй категории и, собственно, об ее женском отделе. Таким женщинам нужна широкая деятельность, не обставленная выдохшимися привычками, обычаями и правилами, и такая деятельность доступна только вполне свободной женщине. Последнее время открыло несколько таких профессий и полуобщественных положений, где женщина может найти приложение своим силам и взять от жизни все, что та может дать. Конечно, общественные предрассудки высказываются против такой деятельности, пробивающей брешь в старых порядках; но что же делать, если нам не остается прямого выхода, нет дороги...

— Я это уже слыхала, Раиса Павловна, и не могу понять, при чем я-то тут? — спрашивала Луша.

— Вот о тебе и речь, Луша... Ты молода, красива, по-своему умна и обладаешь счастливым характером. Словом, в твоих руках все данные, чтобы устроить свою жизнь настоящим образом. Я буду счастлива уже тем, если когда-нибудь услышу, что ты хорошо устроилась, в чем я не сомневаюсь. Ты начинаешь с того, с чего когда-то следовало начать и мне, но я пропустила лет тридцать, а родиться во второй раз для повторения опыта не приведется. Прейн из мужчин его круга недурной человек и сумеет обставить тебя совершенно независимо; только нужно помнить одно, что в твоем новом положении будет граница, через которую никогда не следует переступать, — именно: не нужно... как бы это сказать... не нужно вставать на одну доску с продажными женщинами.

— Вы ошибаетесь, Раиса Павловна, принимая меня за одну из таких тварей...

— Нет, совсем не то; я хочу только сказать тебе, что нужно беречь себя и серьезно работать. У тебя будет в руках масса дела и людей, и ты можешь ими пользоваться по своему усмотрению. А главное...

Раиса Павловна на мгновение остановилась и закрыла даже глаза, точно собираясь с силами произнести роковое слово.

— Что «главное»? — спросила Луша, довольная этим патетическим движением, которому не верила.

— Главное, Луша... — глухо ответила Раиса Павловна, опуская глаза, — главное, никогда не повторяй той ошибки, которая погубила меня и твоего отца... Нас трудно судить, да и невозможно. Имей в виду этот пример, Луша... всегда имей, потому что женщину губит один такой шаг, губит для самой себя. Беги, как огня, тех людей, то есть мужчин, которые тебе нравятся только как мужчины.

— Благодарю за хороший совет; но опять прошу вас, Раиса Павловна, не повторять имени отца; иначе я попрошу вас удалиться отсюда.

— Ты меня гонишь? Ах, да, ведь не ты одна — все меня гонят... Но ты забываешь только одно, что я тебе желаю добра и даже забываю, что ты ненавидишь меня.

— Это уж мое дело, Раиса Павловна... Надеюсь, вы кончили?

— Да, почти. Все равно, я сейчас ухожу.

Раиса Павловна накинула на голову шаль, но медлила уходить, точно ожидая, что Луша ее остановит. Она, кажется, никогда еще не любила так эту девочку, как в эту минуту, когда она отвертывалась от нее совсем открыто, не давая себе труда хотя сколько-нибудь замаскировать свою ненависть.

— Прощай, Луша! — проговорила с трудом Раиса Павловна, не решаясь подойти к не трогавшейся с места девушке. — Мне хотелось тебя поцеловать в последний раз, но ведь ты не любишь нежностей...

Луша молчала; ей тоже хотелось протянуть руку Раисе Павловне, но от этого движения ее удерживала какая-то непреодолимая сила, точно ей приходилось коснуться холодной гадины. А Раиса Павловна все

стояла посредине комнаты и ждала ответа. Потом вдруг, точно ужаленная, выбежала в переднюю, чтобы скрыть хлынувшие из глаз слезы. Луша быстро поднялась с дивана и сделала несколько шагов, чтобы вернуть Раису Павловну и хоть пожать ей руку на прощанье, но ее опять удержала прежняя сила.

— К чему? — проговорила она вслух, прислушиваясь к звукам собственного голоса. — Зачем она приходила? Ах, да... Все это одна сплошная ложь, последняя ложь!

Луша даже засмеялась, хотя на душе у ней было тяжело, точно там лежал какой камень. Итак, Раиса Павловна уничтожена. Она сама сейчас говорила это вот здесь. Куда она теперь денется с своим Платоном Васильичем, который глуп, как семьдесят баранов? Тетюев торжествует, и пусть торжествует: его счастье. То-то теперь все переполошились и начнут наперерыв заискивать перед новым временщиком, чтобы удержать за собой насиженные местечки, а может быть, и получить новые получше. И Нина Леонтьевна тоже торжествует и будет уверена, что это она столкнула Раису Павловну. Вот и еще размалеванная дура!

«А между тем мне стоит сказать одно слово, — и все торжество этих мерзавцев разлетится прахом», — думала Луша с удовольствием, взвешивая свое влияние на Прейна.

Ее подмывало детское желание разрушить всю городьбу Нины Леонтьевны и Тетюева, но она удержалась. Пускай события идут своим естественным путем, как им следует идти. Ее личные счеты с Раисой Павловной кончены навсегда, а мертвых с кладбища не носят.

В тот же день вечером, когда все улеглось в господском доме на покой, Евгений Константиныч раньше обыкновенного простился с Прейном, ссылаясь на усталость. Когда шаги Прейна затихли, набоб торопливо накинул на себя плед, надел шотландскую шапочку и осторожно вышел из комнаты; он миновал парадную приемную, потом столовую и очутился на садовой террасе. Ночь была мягкая, хотя и сырая после вечернего

дождя; только что родившийся молодой месяц причудливо освещал колебавшиеся широкими полосами купы деревьев, зеленые стены акаций и разбитые веером цветочные клумбы. Берег был окутан клубами тихо шевелившегося тумана; выметывавшее из доменных печей пламя отражалось легкими вспышками, а от фабрики тянулся неясный сдержанный гул, точно какое громадное животное ворчало во сне. Спустившись с террасы, набоб пошел налево, в дальний угол сада; его охватила ночная сырость, которая заставляла неприятно вздрагивать. Вот и туманная полоса берега, вот те две ели и маленькая зеленая скамейка под ними.

«Здесь...» — подумал набоб, еще раз прочитывая в уме полученную вечером записку.

Эта записка была от женщины, и набоб испытывал то приятное волнение, какое овладевает человеком в неизвестном ожидании. Кто писал эту записку? — набоб терялся в догадках, хотя желал думать, что она была написана Лушей. Сколько сотен таких записок получал Евгений Константиныч на своем веку, как все они были похожи одна на другую и вместе с тем каждая имела свою особенность. Были записки серьезные, умоляющие, сердитые, нежные, угрожающие, были записки с упреками и оскорблениями, с чувством собственного достоинства или уязвленного самолюбия, остроумные, милые и грациозные, как улыбка просыпающегося ребенка, и просто взбалмошные, капризные, шаловливые, с неуловимой игрой слов и смыслом между строк, — это было целое море любви, в котором набоб не утонул только потому, что всегда плыл по течению, куда его несла волна. Маленькие атласные конверты служили гнездышком раздушенным розовым листочкам, точно это были лепестки какой-то нобыкновенной розы. Но полученная набобом записка сегодня была таинственна, как сфинкс, и он долго ломал над ней голову.

«Приходи на берег пруда, где стоят две ели, — гласила записка, — там узнаешь одну страшную тайну, которую ношу в своем сердце много-много дней... Люди бессильны помешать нашему счастью. — Твой добрый гений».

Закутавшись в плед, набоб терпеливо шагал по мокрому песку, ожидая появления таинственной незнакомки. Минуты шли за минутами, но добрый гений не показывался. «Уж не подшутил ли кто надо мной?» — подумал набоб и сделал два шага назад, но в это время издали заметил закутанную женскую фигуру и пошел к ней навстречу. По фигуре это была Луша, и сердце набоба дрогнуло.

— Ты не узнал меня? — спросил его добрый гений, когда они пошли по песчаной дорожке рядом.

— Нет... не догадываюсь.

Незнакомка сильно куталась в большой платок, так что ее лица нельзя было рассмотреть; но голос был изменен; очевидно, добрый гений хотел поинтриговать предварительно.

— Я знаю, что ты меня любишь, — продолжал гений прежним измененным голосом, — но злые люди нас постоянно разделяли. Везде интриги и коварство. Но я тебя тоже люблю и вот пришла сюда сама сказать это...

— Открой лицо, — просил набоб, начиная сомневаться в подлинности гения.

— Поклянись, что ты меня всегда будешь любить?

— Я уже клялся тебе раз... там, в горах.

— О нет... Это был обман.

Чтобы покончить эту комедию, набоб, под предлогом раскурить сигару, зажег восковую спичку и сам открыл платок гения. И попятился даже назад от охватившего его чувства ужаса: пред ним стояла Прасковья Семеновна и смотрела на него своим сумасшедшим взглядом.

— Узнал?.. — шептала она, протягивая к нему руки с улыбкой.

Но набоб уже не слыхал этого шепота, потому что обратился в самое постыдное бегство, точно за ним по пятам гнался целый ад; Прасковья Семеновна стояла на прежнем месте и грозила кулаком ему вслед, а потом дико захохотала на весь сад.

Пробежав несколько аллей, набоб едва не задохся и должен был остановиться, чтобы перевести дух. Он был взбешен, хотя не на ком было сорвать своей злости.

Хорошо еще, что Прейн не видал ничего, а то проходу бы не дал своими остротами. Набоб еще раз ошибся: Прейн и не думал спать, а сейчас же за набобом тоже отправился в сад, где его ждала Луша. Эта счастливая парочка сделалась невольной свидетельницей позорного бегства набоба, притаившись в одной из ниш.

— Это целая оперетка! — заливался Прейн, когда Прасковья Семеновна прошагала мимо них. — Луша! что же ты молчишь? Ха-ха!..

Но Луша была задумчива, почти грустна и не отвечала на шумную радость Прейна той же монетой. Она только что рассказала перед этим об утреннем визите Раисы Павловны и напрасно старалась разгадать впечатление, произведенное ее рассказом.

— Что же, тебе нисколько не жаль Раисы Павловны? — спросила она, наконец.

— Что же я могу сделать для нее? — ответил Прейн тоже вопросом.

— Как что? Ты можешь все... если захочешь.

— Ну, теперь уж поздно: все кончено.

Равнодушный тон Прейна обидел Лушу, и ей сделалось вдруг жаль Раисы Павловны, насчет которой теперь ликовала вся партия Тетюева.

— Послушай, а если я хочу, чтобы Раиса Павловна осталась? — капризно проговорила девушка, ежась от холода.

— Слишком поздно... Что хочешь проси, только не это:

На волнах морских построю зàмок
И зубами с неба притащу луну...

но спасти Раису Павловну я не в силах. Еще раз повторяю: все кончено...

— В таком случае я требую, чтобы Раиса Павловна осталась! Понимаешь: требую! А иначе, не кажись мне на глаза!

Произошла очень горячая сцена, и стороны разошлись самым неприятным образом, обвиняя друг друга.

XXX

Прейн опять торжествовал. Благодаря своей политике он сумел заставить Лушу просить его о том, чего хотел сам и что подготовлял в течение месяца в интересах Раисы Павловны. Это была двойная победа. Он был уверен именно в таком обороте дела и соглашался с требованиями Луши, чтобы этим путем добиться своей цели. Это была единственная система, при помощи которой он мог вполне управлять капризной и взбалмошной девчонкой, хотевшей испытать на нем силу своего влияния.

— Отлично, и еще раз отлично! — повторял он несколько раз, потирая руки от удовольствия.

Разрушить всю городьбу, которую в течение месяца с таким усердием городили Тетюев с Ниной Леонтьевной, Прейну ничего не стоило, как он уверял с самого начала Раису Павловну. Дело было настолько подготовлено, что оставалось только нанести последний удар. Удаление Горемыкина в принципе было решено, и набоб вполне был согласен с таким решением. Работы консультации вывели на свежую воду многое, что не должно было видеть света. Недостатки горемыкинского режима сделались ясны, как день, даже для непосвященных, а генерал положительно был возмущен, что и высказывал Прейну несколько раз с своей обычной откровенностью.

— Теперь нужно доставить Тетюеву вторую аудиенцию, — предлагал Прейн генералу, — до настоящего времени вся ваша работа носила только отрицательный характер; пусть Тетюев представит Евгению Константинычу положительную программу, в духе которой он мог бы действовать, если бы, например, Евгений Константиныч предложил ему занять место Горемыкина... Конечно, я говорю только к примеру, генерал.

— Понимаю, — соглашался генерал. — А отчего же и в самом деле не предложить бы Тетюеву этого места? Это такой развитой, интеллигентный человек — настоящая находка для заводов! Тем более что отец Авдея Никитича столько лет занимал пост главного управляющего.

— Я не могу обещать вам решительно, генерал, но употреблю с своей стороны все, что будет зависеть от меня, а за остальное не ручаюсь... Хотя, кажется, можно утвердительно сказать, что все шансы теперь на стороне Тетюева.

— И Нина Леонтьевна говорит то же самое относительно Тетюева; так что мы все трое думаем одинаково.

— Да, да... Очень приятно, очень приятно! А вы предупредите Тетюева, чтобы он основательно подготовился к приему и изложил перед Евгением Константинычем свое profession de foi. А прежде всего, я думаю, вам нужно представить Евгению Константинычу подробный доклад занятий нашей консультации, чем вы, так сказать, расчистите почву Тетюеву. Положительные данные будут виднее на отрицательном фоне... Горемыкина нам щадить нечего, потому что он нам и без того стоит стольких хлопот.

— Да, если бы не эта консультация, мы могли много бы сделать для заводов в эту поездку! — согласился генерал.

После своего неудачного свидания с «добрым гением» набоб чувствовал себя очень скверно. Он никому не говорил ни слова, но каждую минуту боялся, что вот-вот эта сумасшедшая разболтает всем о своем подвиге, и тогда все пропало. Показаться смешным для набоба было величайшим наказанием. Вот в это тяжелое время генерал и принялся расчищать почву для Тетюева, явившись к набобу с своим объемистым докладом.

— А не лучше ли было бы рассмотреть этот доклад после, в Петербурге? — протестовал Евгений Константиныч при виде целой дести исписанной бумаги. — Мы на досуге отлично разобрали бы все дело...

Но генерал был неумолим и на этот раз поставил на своем, заставив набоба проглотить доклад целиком. Чтение продолжалось с небольшими перерывами битых часов пять. Конечно, Евгений Константиныч не дослушал и первой части этого феноменального труда с надлежащим вниманием, а все остальное время сумрачно шагал по кабинету, заложив руки за спину, как

приговоренный к смерти. Генерал слишком увлекся своей ролью, чтобы замечать истинный ход мыслей и чувств своей жертвы.

— Благодарю вас, генерал, от души благодарю! — с облегченным сердцем говорил набоб, когда чтение кончилось. — Я во всем согласен с вами и очень рад, что нашел, наконец, человека, котсрому могу вполне довериться. Вот и Прейн то же говорит...

Но этим испытание не кончилось. Вслед за генералом с его бесконечным докладом в кабинет явился Прейн и объявил, что необходимо дать Тетюеву вторую аудиенцию.

— Нет, это уже слишком! — горячо возразил Евгений Константиныч, делая сердитое лицо. — Вы все, кажется, сговорились довести меня этими проклятыми делами до чахотки.

— Нельзя, Евгений Константиныч! — мягко настаивал Прейн. — Если бы была какая-нибудь возможность обойтись без вас, тогда другое дело... Тетюев для нас чистый клад!

— Убирайтесь к черту с вашим кладом!

— Я вам говорю, что нельзя. Вы — заводовладелец, и в таком важном деле необходимо ваше личное вмешательство. Наша роль с генералом кончилась.

Набоб задумался и, поддаваясь настояниям Прейна, изъявил, наконец, согласие выслушать Тетюева.

— Только в последний раз! — капризно говорил набоб.

— В самый последний... Неужели у вас не найдется свободных пяти часов для такого важного дела?

— Пять часов! Да ты, Прейн, с ума, кажется, сошел...

— Нисколько... Если вы хотите показаться смешным в глазах всех служащих, тогда не слушайте меня и делайте по-своему. Что же мне-то за интерес надоедать вам?..

Набоб замолчал.

— Ваше последнее слово, Евгений Константиныч? — продолжал настаивать Прейн.

— Хорошо, я согласен.

— Отлично. Я передам это генералу.

Прежде чем явиться к набобу, Тетюев получил подробные инструкции от самой Нины Леонтьевны, которая вперед поздравляла его с полным успехом. Со стороны можно было подумать, что Тетюева аккредитовали послом к самому Бисмарку или по меньшей мере поручали министерский портфель. Вероятно, настоящие министерские кризисы происходят при менее торжественной обстановке. Майзель, Вершинин и другие тетюевцы тоже переживали самые тревожные минуты в ожидании решительного момента, причем повторялась избитая психологическая истина, что общее волнение возрастало вместе с уверенностью в успехе.

Наконец, Тетюев был совсем готов и в назначенный день и час явился во фраке и белом галстуке со своим портфелем в приемную господского дома. Было как раз одиннадцать часов утра. Из внутренних комнат выглянул m-r Чарльз и величественно скрылся, не удостоив своим вниманием вопросительный жест ожидавшего в приемной Тетюева. Поймав какого-то лакея, Тетюев просил его доложить о себе.

— Барин еще почивают, — отвечал лакей.

— Не может быть! он назначил мне прием именно в одиннадцать часов.

— Не могу знать-с.

— Ну, так доложи Альфреду Осипычу. Он, наверно, уже встал.

Лакей сонно взглянул заспанными глазами на Тетюева и нехотя понес его карточку на половину Прейна.

Вместо ожидаемого лакея выбежал сам Прейн. Он был в туфлях и в шелковой фуфайке, в чем и поспешил извиниться с истинно французской вежливостью.

— Извините, Авдей Никитич. Вам придется подождать несколько минут, — говорил Прейн, подхватывая министра под руку. — Пойдемте пока в мою комнату.

Комната Прейна, служившая ему и кабинетом и спальней, отличалась отчаянным беспорядком неисправимого холостяка. Усадив гостя на кресло к письменному столу, на котором ничто не напоминало о

письменных занятиях, Прейн скрылся за маленькую ширмочку доканчивать свой утренний туалет.

— Отодвиньте ящик в правой тумбочке, там есть красный альбом, — предлагал Прейн, выделывая за ширмой какие-то странные антраша на одной ноге, точно он садился на лошадь. — Тут есть кое-что интересное из детской жизни, как говорит Летучий... А другой, синий альбом, собственно, память сердца. Впрочем, и его можете смотреть, свои люди.

Красный альбом не представлял ничего особенного, потому что состоял из самых обыкновенных фотографий во вкусе старых холостяков: женское тело фигурировало здесь в самой откровенной форме. В синем альбоме были помещены карточки всевозможных женщин, собранных сюда со всего света.

— Вы слыхали о галерее польского короля Станислава-Августа, которая хранится теперь в Дрездене? — спрашивал Прейн, выставляя голову из-за ширмы.

— Право, не помню что-то, Альфред Осипыч...

— Гм... Ну, одним словом, этот синий альбом заменяет мне королевскую галерею.

Прейн объяснил более откровенным образом значение синего альбома, и Тетюев погрузился в рассматривание длинного ряда красивых женских лиц, принадлежавших всем национальностям. Кого-кого только тут не было, начиная с гризеток Латинского квартала, цариц Мабиля и кафе-шантанов, представительниц demi-monde'а самых модных курортов и первых звезд европейских цирков и балетов и кончая теми метеорами, которых выдвинула из общей массы шальная мода, ослепительная красота или просто дикая прихоть пресыщенной кучки набобов всего света. На страницах альбома, который перелистывал Тетюев, нашли себе, может быть, последний приют самые блестящие полуимена, какие создавали за последние двадцать пять лет такие центры европейской цивилизации, как Париж, Вена, Берлин, Лондон и Петербург. Это была интимная история в лицах той жизни, которая доступна только избранным и баловням слепой фортуны. Если бы перевести на «язык простых копеек», чего стоили эти красавицы Европы, то в результате получилась бы

сумма, далеко превышающая стоимость громадной войны каких-нибудь очень цивилизованных держав. Эти красивые лица были живой иллюстрацией капитальных политических переворотов, страшных экономических кризисов, банковых крахов, миллионных хищений и просто воровства, воровства без числа и меры. Обыкновенные разорения, самоубийства, убийства и разные другие causes cèlèbres[1] не должны идти в счет, как слишком нормальные явления. Тетюев слыхал об этом исключительном интернациональном мирке из пятого в десятое, поэтому перелистывал альбом без особенного внимания, как человек непосвященный, и только заметил последнюю страницу, где было оставлено свободное место для новой карточки: это место было назначено Луше Прозоровой.

— Однако Евгений Константиныч заставляет нас ждать! — проговорил Прейн, появляясь, наконец, из-за ширмы. — Двенадцать часов скоро...

Он позвонил и велел явившемуся на звонок лакею узнать, может ли принять Евгений Константиныч. Лакей через пять минут явился с длинным конвертом на серебряном подносе. Прейн разорвал конверт и несколько раз торопливо перечитал маленький листок английской почтовой бумаги цвета морской воды.

— Не понимаю... — проговорил он, наконец, вопросительно глядя на Тетюева и проводя рукой по лбу. — Вероятно, какая-нибудь ошибка. Извините, Авдей Никитич, я вас оставлю всего на одну минуту... Не понимаю, решительно не понимаю! — повторил он несколько раз, выбегая из комнаты.

Лакей остался в дверях и сонно смотрел на Тетюева с тупым нахальством настоящего лакея, что опять покоробило будущего министра. «Черт знает, что такое получается? Уж не хочет ли Прейн расстроить аудиенцию разными махинациями?» — мелькнуло в голове Тетюева, но в этот момент появился Прейн. Ударив себя по лбу кулаком, он проговорил:

— Решительно ничего не понимаю, Авдей Никитич. Вот не угодно ли вам прочесть самим это письмо.

---

[1] громкие судебные дела *(франц.)*.

Прейн передал полученное письмо Тетюеву, и тот прочитал:

«Дорогой Прейн! Одно очень серьезное дело заставило меня уехать, не простившись ни с кем... Передай генералу, что я во всем полагаюсь на него и на тебя и вперед изъявляю свое полное согласие на все, что вы сделаете для заводов.

Твой *Евгений Лаптев».*

— Не понимаю, не понимаю, не понимаю! — кричал Прейн, схватившись за голову. — Какое дело? куда уехал?..

— Я тоже, кажется, ничего не понимаю... — в раздумье проговорил опешивший Тетюев. — По моему мнению... я... В самом деле, Альфред Осипыч, как же я-то: был назначен прием, я готовился, и вдруг...

Неожиданный отъезд набоба походил скорее на бегство. Он укатил в своей коляске только с одним m-r Чарльзом, величественно сидевшим рядом с кучером. Вся свита, в лице Прейна, генерала, Нины Леонтьевны, Перекрестова с Летучим и прочими остались в Кукарском заводе, вместе с лаптевской конюшней, охотой, гардеробом и целым обозом. Известие о сбежавшем набобе еще раз переполошило весь Кукарский завод, причем все накинулись на Прейна, как сумасшедшие. Произошел целый ряд неприятных сцен и недоразумений; все рушилось кругом, точно случилось по меньшей мере смешение языков. В общей суматохе первым опомнился шустрый представитель русской прессы Перекрестов: он в то же утро, в сопровождении Летучего, бросился нагонять набоба каким-то проселком, чтобы перехватить его по крайней мере на пароходе. В пустой голове Перекрестова все еще болталась мысль о месте главного управляющего, хотя он и потерпел полное фиаско у круглых ног m-lle Эммы.

Общему изумлению не было границ и меры: все было устроено, приготовлено, даже сделано наполовину — и вдруг...

— Как же это так?.. — вдруг спрашивали все друг у друга.

Бедный Сарматов ворвался в кабинет Прейна бледный как полотно и едва мог выговорить:

— Альфред Осипыч! а как же спектакль? Ведь уж все было приготовлено, я из кожи лез, и вдруг... Наташе Шестеркиной нарочно такой костюм заказали, чтобы плечи были как на ладони. Ей-богу!.. Да что же это такое в самом деле?..

Вслед за Сарматовым явился «мой Майзель» и с своей обычной важностью отцедил:

— Куда же я с медведем, которого приготовил под Куржаком для Евгения Константиныча?

— Я уж, право, не знаю, господа, как быть с вами, — вертелся Прейн, как береста на огне. — Пожалуй, медведя мы можем убить и без Евгения Константиныча... Да?.. А вы, Сарматов, не унывайте: спектакль все-таки не пропадет. Все, вероятно, с удовольствием посмотрят на ваши успехи...

— Ну, уж слуга покорный! — огрызнулся Сарматов. — И медведя и спектакль — жирно будет.

— Вы начинаете говорить дерзости, Сарматов!

— Виноват... простите! Но, ради всего святого, войдите в мое положение, Альфред Осипыч!

— И в мое тоже, — прибавил Майзель, точно бросил пудовую гирю.

— А кто же в мое положение войдет, господа? — спрашивал Прейн, делая трагический жест.

— Действительно, замысловатая вышла штука, — проговорил Сарматов, приходя немного в себя. — Это выходит совсем новая пьеса, в которой все остались с носом... ха-ха!.. А жаль, признаться сказать, я рассчитывал на кое-что, потому что, согласитесь сами, ведь плечи у этой бестии Шестеркиной — мрамор, нет — слоновая кость... Право, всем нам теперь остается только тараканов морозить!

В кабинете Прейна собрались почти все действующие лица расстроенной пьесы, даже приплелся, неизвестно зачем, Яша Кормилицын. Генерал был возмущен и сконфужен и тоже изъявил непременное желание сейчас же уехать из Кукарского завода.

— Нет, это невозможно, генерал, — доказывал Прейн, — теперь вся ответственность ложится на нас

с вами, и мы не имеем права бежать с нашего поста. Чужие глупости еще не дают нам права делать своих. Притом нам остается только увенчать уже возведенное здание.

— Вы правы, Прейн, — согласился прямодушный генерал. — Я погорячился. А все-таки жаль, что Тетюев лишился возможности высказать Евгению Константинычу свою программу. Это замечательная административная и финансовая голова.

На половину Раисы Павловны, где уже начинала воцаряться библейская мерзость запустения, пикантную новость принес воспрянувший духом Родион Антоныч. Даже изощренная во всевозможных внутренних переворотах Раиса Павловна не хотела верить всему случившемуся. Такую штуку, конечно, мог устроить только один Прейн, этот гениальнейший из рожденных женами.

— Ну, то есть так они ловко укололи эту самую штуку, так ловко! — умиленно шептал Родион Антоныч, качая своей жирной головой. — Ведь уж все дело было на мази, а тут вдруг... Уж истинно сказать, что из огня выхватил нас Альфред-то Осипыч.

Вечером, отделавшись от своих взволнованных гостей, Прейн сидел в будуаре Раисы Павловны, которая опять угощала его кофе из собственных рук. Собеседники болтали самым беззаботным образом, и Раиса Павловна опять блестела пикантным остроумием, а Прейн, как школьник, болтал ногами и хохотал, как сумасшедший. Между прочим, он рассказал об эпизоде с добрым гением, причем хохотала уже Раиса Павловна.

— Что же мы теперь будем делать? — спрашивала Раиса Павловна, успокоившись после первых восторгов. — Какой-то умный человек сказал, что не так трудно выиграть сражение, как разумно воспользоваться его плодами.

— Да, да... Но теперь уже все от вас зависит: я свое дело сделал.

— Постойте, зачем же вы из меня душу-то тянули столько времени, бессовестный человек?

— Я?.. Нет, я с самого начала объявил вам, что̀ буду делать?

— А потом?.. Что стоило вам предупредить меня... а я тут бог знает что передумала и даже несколько раз проклинала вас, как изменника. Вы мне много крови испортили...

— Напротив, я хотел подарить вам маленький сюрприз, а что касается до ваших сомнений, то в них, во-первых, больше всего виноваты вы же сами, а во-вторых, чем была бы наша жизнь без маленьких волнений!

— Да, да, хорошо вам разводить философию, а каково было мне...

Растроганная и умиленная неожиданным успехом, Раиса Павловна на мгновение даже сделалась красивой женщиной, всего на одно мгновение лицо покрылось румянцем, глаза блестели, в движениях сказалось кокетство женщины, привыкшей быть красивой. Но эта красота была похожа на тот солнечный луч, который в серый осенний день на мгновение прокрадывается из-за бесконечных туч, чтобы в последний раз поцеловать холодеющую землю.

— Мы еще поживем! — проговорил Прейн, весело целуя руку Раисы Павловны. — Не правда ли?

— Да, вы еще поживете, — печально согласилась Раиса Павловна, чувствуя, как румянец сбегает у ней с лица и глаза холодеют. — Извините, Прейн, я не желала вас обидеть, но так как-то само сказалось...

На другой день утром, когда Раиса Павловна едва еще успела проснуться, Родион Антоныч уже ожидал ее. Такой ранний визит, конечно, был неспроста, и Раиса Павловна поторопилась выйти к своему Ришелье.

— Что новенького, Родион Антоныч? — спрашивала она, еще позевывая после сна.

— Да новенького-то ничего нет, а я пришел так... — начал Родион Антоныч по своему обыкновению издалека. — Вот у вас был вчера Альфред Осипыч, так, может, у вас что-нибудь есть новенькое.

— Ах, да... Ну, нового ничего особенно нет, а старое вы сами знаете.

— Так-с... Очень хорошо.

По лицу Ришелье Раиса Павловна видела, что он что-то хочет сказать и не решается.

— Да не тяните вы из меня жилы! говорите прямо, зачем пришли? — договорила Раиса Павловна, усаживаясь в кресло. — Ну?.. Ах, какой человек!

— Ей-богу, ничего, Раиса Павловна... Я так зашел. Был в управлении, а потом и думаю: дай, думаю, зайду проведать Раису Павловну. Только и всего.

— Ну, теперь видели, что Раиса Павловна в добром здоровье, и убирайтесь, а мне нужно еще одеваться да притираться. Чего стоите?..

— Вот что, Раиса Павловна, — заговорил нерешительно Родион Антоныч, делая самую благочестивую рожу. — Как вы насчет Авдея Никитича?

— То есть, как это «насчет»? Просто, всех их к черту — и конец делу! А Тетюева в особенности...

Родион Антоныч тяжело вздохнул, сморщился и не уходил, переминаясь с ноги на ногу.

— А я вам, Раиса Павловна, прямо скажу, — заговорил он после длинной паузы, — напрасно вы, даже весьма напрасно, то есть относительно Авдея Никитича...

— Что же мне делать с вашим Авдеем Никитичем? Расцеловать его, что ли? Предоставляю это Нине Леонтьевне и другим дамам...

— Все-таки напрасно, Раиса Павловна... Конечно, теперь вы можете сделать большую неприятность Тетюеву, но ведь он отдохнет да опять за старое. Вот какую оперу устроил!.. Ведь меня-то заклевали на консультации и совсем бы съели, ежели бы не Альфред Осипыч. Ну, нынче хорошо, а час на час не приходит... Тетюев непременно опять будет нас подсиживать и уж свое возьмет. Большие неприятности может сделать... А между тем все просто, проще пареной репы. Рассудите так: неужели теперь у Евгения Константиныча для Тетюева места не найдется в Петербурге, когда он такую ораву совсем несообразных людей кормит и поит? Да ежели бы Авдею-то Никитичу пять тысяч дать в Петербурге, местечко этакое особенное устроить ему, да ведь он... Ах, господи!.. Как это вы, Раиса Павловна, Авдея Никитича понимать не хотите; ведь живой он человек, жить хочет! А кабы его в Петербурге к Евгению Константинычу пристроить, да еще он

почувствовал бы, что не через Нину Леонтьевну свое счастье получил, а через вас, да тогда вы тут катайтесь, как сыр в масле! Ей-богу, ведь голова-то какая: все может на свете оборудовать. А у нас бы в Питере-то рука была не чета Прохору Сазонычу Загнеткину. Право, Раиса Павловна, даже очень вы напрасно так Авдея Никитича трактуете. Теперь самый случай его на точку поставить, а он уж за добро наше заплатит. Ведь человек-то вон какой!

Это предложение сначала озадачило Раису Павловну; потом она усумнилась в искренности Родиона Антоныча, который мог ее продать тому же Тетюеву, и, наконец, проговорила:

— Хорошо, я подумаю, хотя определенного ничего и не могу обещать.

— Подумайте, Раиса Павловна... Ведь человек-то... А-ах, боже мой!

XXXI

Кукарский завод походил теперь на улей, из которого улетела матка и все пчелы бродят как потерянные. Более подходящим сравнением, пожалуй, будет картина игроков, которые чинно уселись за зеленый стол, роздали карты, произвели ряд выкладок карточной математики, сделали первые ходы, обозначавшие масть и намерение партнеров, — и вдруг какая-то шальная рука перемешала все карты... Прибавьте к этому, что на карту были поставлены самые жгучие интересы, связывавшие главарей с десятками других, второстепенных игроков, которые должны были ограничиваться только наблюдением за ходом всей игры. Отъезд набоба довел расходившиеся страсти до последней степени напряжения, и две женщины, стоявшие во главе партий, питали друг к другу то же ожесточение, как две матки в одном улье. Собственно, за игорным столом сидели теперь Раиса Павловна, Нина Леонтьевна, Тетюев и Прейн. Чтобы общее недоразумение не перешло в рукопашную, нужно было придумать какой-нибудь такой компромисс, который примирил бы интересы всех. Таким компромиссом и являлась придуманная

Родионом Антонычем комбинация, заставившая Раису Павловну сильно задуматься, прежде чем она решилась передать свой разговор Прейну.

— Что же! отличная это штука, Раиса Павловна! — обрадовался никогда не унывавший Прейн. — Мы так и сделаем... Тетюев действительно неглупый человек и может быть нам очень полезен.

По сдержанному выражению лица Раисы Павловны Прейн понял с своей обычной проницательностью, что ее смущает: ей хотелось окончательно уничтожить Нину Леонтьевну, а назначение Тетюева в Петербург будет принято болванкой за дело ее рук.

— Послушайте, Раиса Павловна, я устрою так, что Тетюев сам придет к вам с повинной! — объявил Прейн, радуясь новой выдумке. — Честное слово. Только мне нужно предварительно войти в соглашение с генералом: пожалуй, еще заартачится. Пусть Нина Леонтьевна полюбуется на своего протеже. Право, отличная мысль пришла в голову этому Родиону Антонычу!.. Поистине, и волки будут сыты, и овцы целы...

Как Раиса Павловна ни презирала Тетюева, но все-таки сомневалась, что он пойдет на такую сделку, что и высказала Прейну, который только захохотал в ответ.

Прейн на этот раз не отложил дела в долгий ящик, а сейчас же пригласил генерала к себе для необходимых совещаний. Прежде всего ему нужно было уломать генерала, а Тетюев пусть себе едет в Петербург, — там видно будет, что с ним делать: дать ему ход или затереть на каком-нибудь другом месте.

— Генерал, нам необходимо кончить это дело как можно скорее, — говорил Прейн, встречая генерала в дверях.

— Я ничего не имею против этого...

— Отлично... Садитесь, пожалуйста, и поговоримте откровенно. Тетюева я давно знал как умного человека, но познакомиться с ним ближе мне как-то не удавалось до сих пор. Для нас такой человек находка. Да?.. Хорошо. Но согласитесь, что Россия вообще страдает недостатком в умных и талантливых людях, и

похоронить такого человека на заводах было бы просто грешно. Ведь заводское дело в своей сущности крайне просто, то есть я говорю об административной его части, какая находится в ведении главного управляющего. Даже те недостатки управления Горемыкина, которые так блистательно раскрыты работами нашей консультации, обязаны своим происхождением переходному времени. Не будь уставной грамоты, все дело шло бы отлично. Заметьте, что Платон Васильич замечательно честный человек, и не мне объяснять вам, какое это неоцененное достоинство в наше время крахов, растрат и хищений. Но все это к слову; главное, я против того, чтобы Тетюева оставлять на заводах: такую голову мы возьмем поближе к себе.

— Что вы хотите сказать этим? — спрашивал недоумевавший генерал.

Прейн начал издалека. Сначала он подробно изложил намерения генерала и его idée fixe о создании в России капиталистического производства под крылышком покровительственной системы, благодаря чему русские промышленники постепенно дорастут до конкуренции с заграничными производителями и даже, может быть, в недалеком будущем займут на всемирном рынке главенствующую роль.

— Это наша общая цель, генерал, и мы будем работать в этом направлении, — ораторствовал Прейн, шагая по кабинету с заложенными за спину руками. — Нам нужно дорожить каждым хорошим человеком в таком громадном деле, и я беру на себя смелость обратить ваше особенное внимание, что нам прежде всего важно привлечь к этой работе освежающие элементы.

— Да, да...

— Все столичные дельцы на одну колодку, генерал, они слишком шаблонны, слишком обезличены окружающей обстановкой, а провинция всегда вливает новые силы.

— Да, да... это подтверждается всей историей: Греция, Рим, современный Париж...

— Мы отлично понимаем друг друга, и я предложил бы перевести Тетюева в Петербург на службу к Евгению Константиныча. Места, конечно, все заняты,

но можно создать для него что-нибудь новое... Ну, пусть будет юрисконсультом, тем более что Тетюев получил солидное юридическое образование.

— Что ж! это будет отлично! — соглашался генерал. — Теперь именно нужно действовать исключительно на юридических основаниях, как, например, создала свое промышленное благосостояние Англия...

— Именно, именно, я только что хотел сказать то же самое. Ведь нам приходится воспитывать конкурентов английским промышленникам, и мы будем разбивать их на их же почве и их же оружием.

Генерал был в восторге от этого разговора и, только вспомнив про Горемыкина, сморщился и проговорил:

— Да, все это хорошо, а как мы с Горемыкиным сделаемся?

— С Горемыкиным?.. Ничего нет легче, генерал. Пусть он пока останется на том же месте, а мы тем временем успеем приискать подходящего преемника.

— Да, но ведь это выйдет неловко, Альфред Осипыч, — заметил генерал, отлично представляя себе неистовую ярость Нины Леонтьевны. — Все было против него, и вдруг он останется! Это просто дискредитирует в глазах общества всякое влияние нашей консультации, которая, как синица, нахвастала, а моря не зажгла...

— Да ведь я сказал, генерал, что мы оставим Горемыкина только пока... Заметьте: *пока*. А там без сомнения устраним его...

Это «пока» совсем успокоило генерала, который не подозревал, что это маленькое словечко в русской жизни имеет всеобъемлющее значение и что Прейн постоянно им пользовался в критических случаях. Наука, с которой имел дело генерал, все явления подводит под известные законы и не хочет знать никаких «пока». Между тем это «пока» имеет самое широкое применение, особенно в мелочах повседневной жизни. Известно, что битая посуда два века живет, и постройки, воздвигаемые на время, в ожидании капитальных сооружений, пользуются особенной долговечностью. Все архитекторы и подрядчики отлично знают, что стоит только поставить на время какую-нибудь деревянную решетку

вместо железной или дощатую переборку вместо капитальной стены — и деревянная решетка и дощатая переборка переживут и хозяина и даже самый дом. Прейн давно практиковал в этом направлении и теперь пустил в ход заветное словечко, которое сразу обезоружило генерала.

Покончив с генералом, Прейн пригласил к себе Тетюева и с шутливой откровенностью высказал ему свои намерения.

— Надеюсь, что мы сойдемся с вами, Авдей Никитич, — закончил свои переговоры Прейн, — хотя, конечно, за будущее трудно ручаться... Вы будете нашим юрисконсультом и поработаете на пользу русской промышленности, поскольку она соприкасается с юридическими вопросами. Ну, взять хоть эту же уставную грамоту, отношения к земству, тарифные вопросы и так далее.

— Я, Альфред Осипыч, буду всегда... — смущенно бормотал Тетюев, растроганный свалившимся с неба на его голову счастьем. — Одним словом, вы не раскаетесь в сделанном выборе, если мне не изменят мои слабые силы...

— Отлично, очень хорошо... Но это все еще в будущем, а теперь поговоримте о настоящем: у меня на первый раз есть для вас маленькая дипломатическая миссия. Так, пустяки... Кстати, я говорил уже о вас генералу, и он согласен. Да... Так вот какое дело, Авдей Никитич... Собственно, это пустяки, но из пустяков складывается целая жизнь. Я буду с вами откровенен... Надеюсь, что вы не откажете мне?

— Помилуйте, я для вас готов в огонь и в воду, только скажите!

— Я уже сказал, что пустяки: нужно помирить Раису Павловну с Ниной Леонтьевной. Ведь, собственно говоря, батенька, вы и кашу-то всю заварили, так вам ее и расхлебывать.

Как ни велика была готовность Тетюева идти за Альфреда Осипыча в огонь и в воду, но эта «маленькая дипломатическая миссия» повергла его сразу в уныние, потому что он отлично понимал невозможность примирения двух враждовавших женщин. В ответ на предло-

жение Прейна Тетюев только пробормотал что-то совсем бессвязное.

— Да вы не смущайтесь, Авдей Никитич, — успокаивал Прейн. — В таких делах помните раз и навсегда, что женщины всегда и везде женщины: для них своя собственная логика и свои законы... Другими словами: из них можно все сделать, только умеючи.

— Но ведь здесь с одной стороны Раиса Павловна, а с другой — Нина Леонтьевна... — с унынием повторял Тетюев. — Нет, это невозможно! Что хотите, но только не это, Альфред Осипыч!

— Э, пустяки! Я вас научу, батенька... Вы будировали против Раисы Павловны много лет. Да? И всю эту поездку устроили тоже сюрпризом для нее... так? Потом с Ниной Леонтьевной работали все лето против Раисы Павловны... так? А теперь вам нужно сделать следующее: отправляйтесь сегодня же с визитом к Раисе Павловне и держите себя так, как будто ничего особенного не случилось... Ведь этакие вещи приходится проделывать постоянно.

— А если меня Раиса Павловна не примет?

— Нет, за это я вам поручусь... Позвольте еще одну маленькую откровенность: пожалуйста, когда будете у Раисы Павловны и у Нины Леонтьевны, держите себя так, как бы вы попали к самым молоденьким и красивым женщинам... Да, это первое условие, а то всю свою миссию погубите. Ведь женщина всегда останется женщиной!

— А как же Нина Леонтьевна? Ведь она все узнает, и тогда... нелепая история может произойти.

— Ах, да... Мне следовало предупредить вас с самого начала. Позволю еще маленькую откровенность. Ведь вы, Авдей Никитич, в душе уверены, что обязаны своим юрисконсульством Нине Леонтьевне? Да?

— Да, я считаю себя много обязанным Нине Леонтьевне...

— Хорошо. Так и запишем... Вы считаете себя много обязанным Нине Леонтьевне, а между тем вы обязаны всем исключительно одной Раисе Павловне, которая просила меня за вас чуть не на коленях. Да... Даю вам честное слово порядочного человека, что это так. Если

бы не Раиса Павловна, вам не видать бы юрисконсульства, как своих ушей. Это, собственно, ее идея...

Это известие окончательно ошеломило Тетюева, точно он слушал какую-нибудь сказку: Раиса Павловна хлопотала за него, когда все было для него с отъездом Лаптева проиграно! Нет, это что-то совсем непонятное и хоть кого сведет с ума.

— А когда вы сделаете визит Раисе Павловне, — продолжал Прейн, — мы сейчас же устроим обед и на обеде сведем Раису Павловну с Ниной Леонтьевной... Да! Тут уж им не примириться невозможно!

Выполняя маленькую дипломатическую миссию, Тетюев немедленно отправился с визитом к Раисе Павловне, которая встретила его с той непроницаемой великосветской любезностью, которая так ловко заравнивает все житейские шероховатости, колдобины и целые пропасти.

— Очень рада поближе познакомиться с вами, Авдей Никитич, — говорила Раиса Павловна. — Мы, кажется, встречались с вами иногда... на улице?

— Да.

В гостиной Раисы Павловны к своему изумлению Тетюев встретил Амалию Карловну и m-me Дымцевич. Эти милые дамы болтали самым непринужденным образом, хотя в душе страшно ненавидели друг друга: Амалия Карловна была уверена, что она первая сделает визит Раисе Павловне и предупредит других, и m-me Дымцевич думала то же самое, но эти проницательные дамы встретились носом к носу на подъезде квартиры главного управляющего и должны были войти в гостиную Раисы Павловны чуть не под ручку. Появление Тетюева усилило эффект до последней степени: Амалия Карловна презирала ренегатство и подлое заискивание m-me Дымцевич и Тетюева, m-me Дымцевич то же самое презирала в Амалии Карловне и Тетюеве, а Тетюев презирал обеих дам по тому же адресу. Моралист в этой глупой комбинации нашел бы новое доказательство человеческой испорченности, но погодите бросать камнем в это почтенное трио, ибо невозможно обвинять перелетную птицу за то только, что она летит туда, где теплее. И для человеческой глупости есть

свои законы, хотя они еще не раскрыты наукой с той отчетливостью и непреложностью, как какое-нибудь учение об отрицательных величинах или теории вероятностей. Отрицательные величины в мире умственных и нравственных явлений имеют такое же законное право на существование, как и в области математики.

Раиса Павловна держала себя, как все женщины высшей школы, торжествуя свою победу между строк и заставляя улыбаться побежденных. Нужно ли добавлять, что в гостиной Раисы Павловны скоро появились Майзель, Вершинин, Сарматов — одним словом, все заговорщики, кроме Яши Кормилицына, который в качестве блаженненького не мог осилить того, что на его месте сделал бы всякий другой порядочный человек.

— Я так рада вас видеть у себя, господа, — повторяла несколько раз Раиса Павловна, занимая милых гостей.

Повторились сцены, разговоры и пикировки парадных завтраков, за исключением того, что все галки отсутствовали, ибо — увы! — они были за произведенную в театре драчишку навсегда изгнаны из рая, уготованного избранным. Чтобы довершить эффект, Раиса Павловна послала доктору записку: «Яша, я должна была бы выцарапать тебе глаза за твое коварство, но я тебе прощаю... Приезжай сейчас же, если желаешь застать меня в живых... Горемыкина». Когда в гостиной появился доктор и с детским недоумением посмотрел на всех, как оглушенный теленок, все сдержанно замолчали и даже сделали вид, что не замечают его.

— Ага, вот и сам Мазепа явился! — заметил вполголоса Сарматов, глядя на доктора прищуренными глазами. — Ну, Яшенька, сознавайся: кто заварил кашу? — спросил он уже громко. — Раиса Павловна, рекомендую вашему вниманию этого молодого человека. Не правда ли, хорош?

Но Раиса Павловна встретила и Яшу Кормилицына с той же любезностью и даже поцеловала его в порыве чувства, проговорив вполголоса:

— Ну, Яшенька, как видишь, я совсем здорова: чем ушибся — тем и лечись... Чего тебе: чаю или кофе?

Эй, Афанасья, кофе доктору, да покрепче, чтобы привести его в чувство... Ха-ха!..

Мы избавим читателя от описания того, как заблудшие, но возвращенные овцы ели, пили, льстили Раисе Павловне и наперебой рассказывали самые смешные анекдоты про набоба и генерала с его болванкой и про его свиту. Проделывалось то же самое, что проделывается всеми и, к сожалению, слишком часто.

— Я, Раиса Павловна, могу про себя сказать только одно, — откровенничал Сарматов, целуя руку у Раисы Павловны, — именно, что один раскаявшийся грешник приятнее десяти никогда не согрешивших праведников...

— Совершенно верно, — соглашалась Раиса Павловна. — А что ваш спектакль?..

— Гм!.. спектакль. А вы про который изволите спрашивать?..

— Конечно, про настоящий...

— Ну, я теперь сижу, как Сципион Африканский на развалинах Трои!..

— Да ведь Сципион Африканский никогда не сидел на развалинах Трои!

— Это все равно, Раиса Павловна.

В этом общем торжестве не принимал участия только один Платон Васильич, который еще не выходил из своего кабинета. Он лежал на широкой кушетке и бредил без конца новыми машинами, которые стучали и вертелись у него в голове всеми своими колесами, валами и шестернями. Доктор часто навещал его, но до сих пор никак не мог определить болезни: и хворал Платон Васильич так же бесцветно и неколоритно, как жил. Вообще странный был человек, ставивший в тупик даже Яшу Кормилицына, который выбивался из сил, измеряя температуру, считая пульс и напрасно перебирая в уме все болезни, какие знал, и все системы лечения, какие известны в науке. Платон Васильич оставался какой-то патологической загадкой, которая неожиданно разрешилась сама собой, то есть Платон Васильич открыл глаза и почувствовал себя на положении выздоравливающего человека.

Генерал, покончив все дела в Кукарском заводе, давал прощальный обед, на котором, по плану Прейна, должно было состояться примирение враждовавших сторон в окончательной форме. Но как заманить на этот обед и Нину Леонтьевну и Раису Павловну, притом заманить так, чтобы это было незаметно обеим и чтобы они встретились поневоле? Выполнением этого плана занялись все. Прейн с своей стороны обещал за Раису Павловну, но никто не брал на себя ответственности за Нину Леонтьевну, которая теперь в качестве потерпевшей могла наделать неприятностей всем. О визите Тетюева и других единомышленников она, конечно, знала и пылала справедливым негодованием к этой общей измене. В самом деле, сколько она хлопотала, старалась, интриговала — и вот награда! Бедный генерал переживал самую критическую минуту.

— Благодаря вашему ротозейству вы и Евгения Константиныча прозевали, — корила его Нина Леонтьевна. — Я уж не говорю о себе... А теперь вы затеваете парадный обед, чтобы устроить мне публичный скандал.

— Нина, пойми же, ради бога, что я делаю обед не для собственного удовольствия, — пробовал уговаривать генерал. — Ведь это официальный прощальный обед, который я обязан дать заводскому обществу...

— Ну, и прекрасно: давайте ваш обед, а я уеду одна.

После долгих и напрасных просьб и увещаний Нина Леонтьевна предложила генералу компромисс: она будет на обеде, но за это генерал должен так замарать формулярный список Прозорова, чтобы ему никуда носу нельзя было показать. Условие было слишком жестокое, но Нина Леонтьевна была неумолима, как судьба, и обещала совсем бросить генерала, если он не исполнит ее требования. Все это было высказано настолько категорически, что добрый генерал в конце концов не устоял и, желая спасти самого себя, погубил своего университетского товарища... В формулярном списке Прозорова собственной рукой генерала было прописано несколько таких замечаний, которыми

дальнейшая карьера Виталия Кузьмича в каком бы то ни было ведомстве сделалась невозможной.

— Это будет всегда на моей совести... — проговорил генерал, бросая перо. — Нина, что ты наделала?

— Ничего, самая простая вещь: око за око — не больше того. А что касается твоей совести, так можешь быть совершенно спокоен: на твоем месте всякий порядочный человек поступил бы точно так же...

Все это было устроено совершенно келейно, так что на этот раз Нина Леонтьевна перехитрила решительно всех.

Обед имел быть устроен в парадной половине господского дома, в которой останавливался Евгений Константиныч. Кухня набоба оставалась еще в Кукарском заводе, и поэтому обед предполагался на славу. Тетюев несколько раз съездил к Нине Леонтьевне с повинной, но она сделала вид, что не только не огорчена его поведением, но вполне его одобряет, потому что интересы русской горной промышленности должны стоять выше всяких личных счетов.

Идея примирения двух враждовавших женщин сделалась настоящей злобой кукарского дня, причем предположениям, надеждам и сомнениям не было конца. Женщины, кровно заинтересованные в этом чисто женском деле, ходили как в тумане, внося в общую сумятицу новые усложняющие соображения. Когда все собрались в обеденную залу, в которой принимал гостей генерал, общее напряжение достигло последних границ. В числе гостей были приглашены и дамы. В комнатах господского дома гудела и переливалась пестрая и говорливая волна кружев, улыбок, цветов, восторженных взглядов, блонд и самых бессодержательных фраз; более положительная и тяжеловесная половина человеческого рода глупо хлопала глазами и напрасно старалась попасть в тон салонного женского разговора. Да мужчинам было, собственно говоря, и не до дам, потому что все ожидали с нетерпением близившейся развязки. Ведь этот последний обед, на котором собрался весь малый двор и обломки большого, имел решающее значение, потому что им должно было увенчаться все здание. Все недоразумения, пререкания, сомнения —

все должно было исчезнуть, и даже навсегда готовилась быть засыпанной та пропасть, которая до сих пор разделяла малый и большой дворы.

Публике было известно, что Нина Леонтьевна явится в сопровождении Тетюева и Братковского, а Раиса Павловна в сопровождении Прейна и Родиона Антоныча. Две женщины превращались в миртовые ветки, делаясь символом общего мира. Прошло полчаса общего томительного ожидания, а главные действующие лица все не появлялись на горизонте. Генерал несколько раз тревожно посмотрел на часы и поморщил лоб. Но вот растворились двери, и в них вошли Прейн и Тетюев одни, а за ними плелись Братковский с Родионом Антонычем. По толпе гостей пробежал трепет, как порыв ветра, который перед грозой шелестит в траве.

— Нина Леонтьевна больна... — объявил Тетюев, принимая министерскую позу.

— Раиса Павловна тоже больна... — отозвался Прейн.

Наступило гробовое молчание, точно в ожидании вердикта присяжных. Приходилось садиться обедать одним, причем генерал испытывал крайне угнетенное состояние духа. Прейн тоже ругался на пяти языках, хотя по его беззаботному виду и невозможно было разгадать эту лингвистическую внутреннюю бурю.

Таким образом, торжественный обед начался при самых неблагоприятных предзнаменованиях, хотя все записные специалисты по части официальных обедов лезли из кожи, чтобы оживить это мертворожденное дитя. В надлежащем месте обеда сказано было несколько спичей, сначала Вершининым и Тетюевым, причем они, подогретые невольным соперничеством, превзошли самих себя. Когда было подано шампанское, генерал поднял бокал и заговорил:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Мне приходится начать свое дело с одной старой басни, которую две тысячи лет тому назад рассказывал своим согражданам старик Менений Агриппа. Всякий из нас еще в детстве, конечно, слыхал эту басню, но есть много таких старых истин, которые вечно останутся новыми.

Итак, Менений Агриппа рассказывал, что однажды все члены человеческого тела восстали против желудка...

— Отлично, генерал!.. — раздалось среди общей тишины.

В дверях стоял пьяный Прозоров и, пошатываясь, слезившимися глазами нахально смотрел на обедавших...

— Отлично... ха-ха!.. Менений Агриппа... прекрррасно!.. — продолжал он, поправляя волосы неверным жестом. — А Менений Агриппа не рассказал вам, Мирон Геннадьич, о будущей Ирландии, которую вы насаждаете на Урале с самым похвальным усердием? Менений Агриппа!.. О великие ловцы пред господом, вы действительно являетесь великим российским желудком... Ха-ха!.. А я вам прочитаю лучше вот что, господа:

Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута — урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты,
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина все нету... барин все не едет!

— Ради бога, уведите его! — шептал генерал, причем нижняя губа тряслась у него от бешенства.

— Менений Агриппа и Тетюев... ха-ха! — хохотал Прозоров, когда его выводили в переднюю два лакея, а Родион Антоныч осторожно подталкивал сзади. — Иуда, и ты здесь? Ну, нам с тобой и бог велел быть подлецами! Видел Тетюева, будущего юрисконсульта? Ха-ха! Продал Тетюев за чечевичную похлебку свое земское первородство и посему далеко пойдет: нынче крупным подлецам везде скатертью дорога... Родька! наплюй за меня в рожу Тетюеву, он сам меня просил об этом! Менений Агриппа — и Мирон Геннадьич Блинов! поистине, от великого до смешного один шаг. Насаждаем российский капитализм и вступаем в конкуренцию с Западными Европами чисто желудочными средствами... Ха-ха! Тетюев и генерал, генерал и Тетюев! — черт с младенцем и дважды два стеариновая свечка!

— Виталий Кузьмич, ради истинного Христа, удержите вы свой язык! — умолял Родион Антоныч, помогая Прозорову найти дверь в передней.

— А... это ты, Иуда! — бормотал Прозоров, выделывая вензеля ногами. — Знаешь, что я тебе скажу: я тебя люблю... да, люблю за чистоту типа, как самородок подлости. Ха-ха!

Парадный обед, задуманный на таких широких основаниях, закончился благодаря Прозорову полнейшим фиаско.

Вечером этого многознаменательного дня Прозоров сидел в будуаре Раисы Павловны, которая сама пригласила его к себе. Дело шло о погибшем формуляре, о чем Раиса Павловна только что успела узнать от своего Ришелье.

— Куда вы теперь, Виталий Кузьмич? — спрашивала Раиса Павловна своего друга.

— А сам не знаю, царица Раиса... Нужно будет приискивать род занятий; может, волостным писарем пристроюсь где-нибудь.

Подумав немного, Прозоров улыбнулся пьяной улыбкой и прибавил:

— Давеча, царица Раиса, генерал Мирон рассказывал басню Менения Агриппы... Я часто думаю о ней и все не нахожу себе места в числе членов человеческого тела, а теперь нашел... Ха-ха!..

— Именно?

— То есть, собственно, это не часть тела, а только одна из его необходимых принадлежностей: я — больной зуб, царица Раиса! Собственно, и не зуб, а гнилой корень, который ноет, а вытащить нечего.

— Если дело пошло на сравнения, так вы можете сравнить себя вернее с чирьем... Ну, да дело не в сравнениях, а я пригласила вас по серьезному делу. Именно: поговорить о судьбе Луши, которая дальше не может оставаться при вас, как это, вероятно, вы и сами понимаете...

— О, понимаю, царица Раиса, слишком хорошо понимаю!.. Только позвольте мне еще одно сказать: на генерала Мирона я не сержусь, видит бог — не сержусь!

— И прекрасно... Ваше положение теперь совсем неопределенное, и необходимо серьезно подумать о Луше... Если вы не будете ничего иметь против, я возьму Лушу на свое попечение, то есть помогу ей уехать в Петербург, где она, надеюсь, скорее устроится, чем здесь. Не пропадать же ей за каким-нибудь Яшкой Кормилицыным...

— Да, да... Лукреция уже, кажется, и без того на хорошей дороге! Впрочем, я это говорю так... Нынче выгоднее жить ногами, чем головой, Раиса Павловна.

Раису Павловну удивило безучастное отношение Прозорова к дочери, хотя он, повидимому, и подозревал печальную истину.

— Послушайте, царица Раиса, я пьяница, а кое-что еще в состоянии понимать, — бормотал Прозоров, моргая глазами. — Везде жертвы... да! Это то же самое, что побочные продукты в промышленности. Лукреция совершеннолетняя, и сама понимает, что делает, а я молчу... Не мне и не вам ее учить... Оставимте ее в покое!.. Боже, боже мой!

Прозоров вдруг заплакал, закрыв лицо руками.

— Перестаньте, что вы, Виталий Кузьмич! — проговорила Раиса Павловна, трогая своего друга за плечи.

— Вы думаете, царица Раиса, я плачу о том, что Лукреция будет фигурировать в роли еще одной жертвы русского горного дела — о нет! Это в воздухе; понимаете, мы дышим этим... Проституцией заражена наука, проституция — в искусстве, в нарядах, в мысли, а что же можно сказать против одного факта, который является ничтожной составной частью общего «прогресса». Не об этом плачу, царица Раиса, а о том, что Виталий Прозоров, пьяница и потерянный человек во всех отношениях, является единственным честным человеком, последним римлянином... ха-ха!.. Вот она где настоящая-то античная трагедия, царица Раиса! Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость! Тетюев с Родькой теперь совсем подтянут мужиков, а генерал будет конопатить их подлости своей проституированной ученостью... Я вчера шел по мосту: там сидит здоровенный мужик с выжженными глазами... Ему на заводской работе в горе

порохом выжгло глаза, и он сидит пятнадцатый год нищим на глазах у всех, и кукарское заводоуправление пальца не разогнет для него. Да это что! ничтожная пылинка, одна капля в море... Это только иллюстрация тому, что мы должны были сделать и не сделали. В Кукарских заводах нет даже богадельни для престарелых, нет пенсий изработавшимся и увечным, нет приюта для сирот... Конечно, все это филантропия, но и филантропия лучше той мутной воды, какую разводит генерал Мирон! Посмотрите, какой разврат царит на заводах, какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью, а мы... Наука, святая наука, и та пошла в кабалу к золотому тельцу! И вашему царству, царица Раиса, не будет конца... Будьте спокойны за свое будущее — оно ваше. Ваш день и ваша песня...

Подождите! Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца:
Что постыдным сегодня считается,
Удостоится завтра венца...

— Царица Раиса, дайте вашу ручку! — лепетал Прозоров, падая на колени. — И слабая женщина нашла, наконец, свое место на пиру жизни... Да. Теперь честной женщине нечего делать. Я понимаю вас! А вот мы, пьяненькие да несчастненькие, будем стоять у кабацкой стоечки и любоваться вами... ха-ха!..

На другой день после парадного обеда генерал Блинов уехал из Кукарского завода, а за ним потянулась длинным хвостом нахлынувшая с Лаптевым на Урал челядь. Так после веселого ужина или бала прислуга выметает разный сор из комнаты! Этот человеческий хлам выметал сам себя из зала недавнего пиршества.

Прейн уехал последним. Луша отправилась в Петербург вместе с Раисой Павловной, которая чувствовала потребность немного освежиться.

Результаты приезда барина на заводы обнаружились скоро: вопрос об уставной грамоте решен в том смысле, что заводским мастеровым земельный надел совсем не нужен, даже вреден; благодаря трудам генерала Блинова была воссоздана целая система сокраще-

ний и сбережений на урезках заработной рабочей платы, на жалованье мелким служащим и на тех крохах благотворительности, которые признаны наукой вредными паллиативами; управители, поверенные и доверенные получили соответствующие увеличения своих окладов.

Тетюев занял свой новый пост юрисконсульта, а Родион Антоныч единогласно был избран председателем Ельниковской земской управы, причем в первый же год своей земской деятельности поставил дело так, что знаменитая гора Куржак, обложенная двумя рублями семнадцатью копейками земских налогов, была освобождена от этой непосильной тяготы, как освобождены на Урале от земского обложения все золотые прииски.

ДИКОЕ СЧАСТЬЕ

Роман

I

— Господи Исусе Христе, помилуй нас...

— Аминь! Кто там крещеной? Никак ты, Михалко?

— Он самый... Отворяй ворота скорей, дядя. Насквозь изняло дождем, — во как зарядил!

— Откедова бог несет?

— В Полдневскую гонял... Дельце маленькое вышло.

Дядя Зотушка ничего не ответил и молча принялся отодвигать тяжелый деревянный запор, которым были крепко заперты шатровые крашеные ворота. Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка принужден был навалиться на него всей чахоточной грудью, чтобы выдвинуть его из крепких железных скоб. «Ишь ведь взяло его...» — ворчал Зотушка, когда конец мокрого запора, наконец, поддался его усилиям и выдвинулся настолько, что можно было отворить маленькие ворота. В глубине темного двора, как бешеная, металась пестрая собака Соболько; заслышав хозяина, она радостно взвизгнула и еще неистовее принялась греметь своей железной цепью.

— Ну, едва тебя бог простил с запором-то... — проговорил Михалко, въезжая в ворота верхом.

— Ты востер больно... Ишь закипело комариное-то сало!

Дядя Зотей еще раз навалился на упрямый запор и зашлепал по дощатому мокрому полу босыми ногами. Михалко, не торопясь, спустился с тяжело дышавшей

лошади, забрызганной липкой осенней грязью по самые уши.

— Ладно, как пересобачил лошадь-ту, — говорил дядя Зотей, оглядывая лошадь, покрытую сплошным слоем грязи.

— За долгами отец посылал, — коротко ответил Михалко, расправляя на себе смятый кожан, насквозь пропитанный холодной дождевой водой. — В два-то конца все сорок верст сделал. А ты, дядя, выводи лошадь-то, больно заморилась...

— Знамо дело, не так же ее бросить... Не нашли с отцом-то другого времени, окромя распутицы, — ворчал добродушно Зотушка, щупая лошадь под потником. — Эх, как пересобачил... Ну, я ее тут вывожу, а ты ступай скорей в избу, там чай пьют, надо полагать. В самый раз попал.

— Так ты уж тово, Зотушка... Сперва выводи, а потом к столбу привяжи гнедка. Пусть хорошенько выстоится.

— Ладно, ладно... Без тебя знаем. Ступай. Ученого учить — только портить.

Зотушка посмотрел на широкую спину уходившего Михалка и, потянув лошадь за осклизлый повод, опять зашлепал по двору своими босыми ногами. Сутулая, коренастая фигура Михалки направилась к дому и быстро исчезла в темных дверях сеней. Можно было расслышать, как он вытирал грязные ноги о рогожу, а затем грузно начал подниматься по ступенькам лестницы.

«Этакой медведь, этот Михалко! — думал Зотушка, таская за собой тяжело шагавшую лошадь. — Нет, штобы дать дяде пятачок... А-ах, штоб тебя расстреляло!»

Голова Зотушки, с липкими жиденькими прядями волос, большим лбом, большими ушами, жиденькой бородкой, длинным носом и узенькими черными глазками, трещала со вчерашнего похмелья по всем швам. Ныла каждая косточка, каждая жилка, и так воротило с нутра, что Зотушка несколько раз начинал сердито отплевываться, приговаривая: «А-ах, боже мой... помилуй нас грешных! Ведь всего один пятачок. Попра-

вился бы, и шабаш. Ни-ни... Просил даве у старухи червячка заморить — в шею выгнала... Нюша дала бы, да у самой денег нет. Эх, жисть!..» В душе Зотушки родилась слабая надежда, что авось, если выводит лошадь, ему вышлют стаканчик. А славный стаканчик есть у старухи, еще дедовский, граненый, с плоским донышком. Не чета нынешним, из которых щенка не напоишь! А дождь продолжал частить, мерно осыпая железную крышу дробившимися каплями; с потолка глухо бежала вода, хлюпая в старой деревянной кадочке. Осенний темный вечер наступил незаметно и затянул все кругом беспросветной мглой, — угол навеса, под которым стояли поленницы дров, амбары, конюшни, флигелек, где у старухи Татьяны Власьевны был устроен приют для старух и где в отдельной каморке ютился Зотушка. Из мрака выделялся темной глыбой только большой старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошел Михалко, потому что старуха ушла на свою половину. «Сам», то есть Гордей Евстратыч, сидел еще за столом, слушая болтовню черноволосой Нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную посуду, взмахивая концом полотенца: сегодня ее очередь чаем всех поить.

— Нет, видно, не вышлют... — решил Зотушка, когда Михалко, не торопясь, выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. — Вот тебе и утка с квасом!..

Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки; он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалко, видимо, отсчитывался ему в своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам он встряхивал своими подстриженными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потертый бумажник и вынул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей тридцать будет», — подумал Зотушка про себя и еще раз усомнился: вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по-человечеству-то разобрать, так

он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода, — всего промочило до нитки.

На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выводив лошадь, привязал ее к столбу выстаиваться, а сам ушел в свою конуру, где сейчас же и завалился спать.

К ужину в небольшой проходной комнате, выходившей окнами на двор, собралась вся семья: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалко с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосая бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать, Татьяна Власьевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада; она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завзятого поклонника патриархальных нравов, особенно когда все члены ее собирались за столом. Обеды и ужины проходили в торжественном молчании, точно совершалось таинство. Разговаривать могли только «сам» и «сама», а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение, и они могли иногда ввернуть свое словечко, хотя «сама» и подбирала строго каждый раз свои сухие, бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины другую. Татьяна Власьевна была одета в свой неизменный косоклинный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху; темный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой, как носят старухи кержанки. Невестки и Нюша в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты, как сестры; строгая Татьяна Власьевна не хотела никого обижать, показывая костюмом, что для нее все равны. Только бабьи повязки невесток выделяли их положение в семье; непокрытая голова Нюши с черной длинной косой говорила о ее непокрытой девичьей вольной волюшке.

Обеденный стол был накрыт синей пестрядевой скатертью; все ели из одной чашки деревянными ложками.

День был постный, и стряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синем сарафане, подала на стол только постные щи с поземиной да гречневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось, а Татьяна Власьевна для постного дня даже к поземине не прикоснулась, потому что это все-таки рыба, хотя и сушеная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нем четвертый десяток; такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго.

Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалко привез ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего еще полгода была замужем; красивая, свежая, с русым волосом и ленивыми карими глазами, она только рдела и стыдливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими черными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой.

— Будет вам лясы-то точить, — строго заметила Татьяна Власьевна, останавливая эту сцену. — Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч. Тебе бы других удержать от лишнего слова, а ты сам первый затейщик....

— Ну, не буду, мамынька, — оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. — Пошутил, и кончено...

— Уж бабушка всегда у нас такая... — прибавила Нюша.

— Какая такая? — сердито заговорила Татьяна Власьевна. — Ну, говори, верченая!..

— Да такая... слово сказать нельзя.

— Ох, ты-то — не витое сено!.. У тебя и на уме-то все одни хи-хи да смехи. Погоди, вот...

Татьяна Власьевна не досказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать: «Погоди, вот выйдешь замуж-то, так не до смеху будет... Востра больно!» Это была стереотипная угроза, которая слишком часто повторялась, чтобы испугать бойкую и

неугомонную Нюшу. На ворчанье бабушки у нее был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя: «Нашла чем пугать... У меня жених давно приготовлен, только дорогу перейти — тут и жених. А зовут его Алешкой Пазухиным!..» Невестки хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренно были против нее, потому что Нюша все-таки была «отецкая», баловная дочка, и Татьяна Власьевна ворчала на нее только для видимости. Существование Алешки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова: парень был подходящий, хорошей «природы», как говорила про себя степенная Татьяна Власьевна.

После ужина все, по старинному прадедовскому обычаю, прощались с бабушкой, то есть кланялись ей в землю, приговаривая: «Прости и благослови, бабушка...» Степенная, важеватая старуха отвечала поясным поклоном и приговаривала: «Господь тебя простит, милушка». Гордею Евстратычу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся в землю своей мамыньке. В старинных раскольничьих семьях еще не вывелся этот обычай, заимствованный из скитских «метаний».

Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалко проговорил:

— А у меня, тятенька, до тебя дельце есть небольшое...

Он замялся и почесал у себя в затылке

— Пойдем ко мне в горницу, — проговорил Гордей Евстратыч, удивленный «дельцем» Михалки.

Дом, хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат: в двух жила Татьяна Власьевна с Нюшей; Михалко с женой и Архип с Дуней спали в темных чуланчиках; сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, березовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приемными при разных торжественных случаях. Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год, чтобы два или три раза в год принять гостей

по-настоящему, как принимали все другие. Эти «другие», «как у других» — являлось железным законом.

— Ну что, Миша?.. — спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь.

— Да вот, тятенька... я тебе привез гостинец от старателя Маркушки, — неторопливо проговорил Михалко, добывая из кармана штанов что-то завернутое в смятую серую бумагу.

— Это из Полдневской?

— Да. От Маркушки... Он сильно скудается здоровьем-то. «Вот, говорит, увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит, а ежели, говорит, ему поглянется, — пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер». У Маркушки водянка, сказывают. Весь распух, точно восковой.

Гордей Евстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из нее угловатый кусок белого кварца с желтыми прожилками. В его трещинах и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкрапленное в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два золотых усика, в другом несколько широких блесток были точно приклеены к гладкому камню. Повертывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где желтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб; один край самородка был точно обгрызен. Да, это было золото, настоящее, червонное золото. Один самородок весил не меньшеползолотника... Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе.

— Жилка... — в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. — Видишь, Миша?

Михалко хотел взять в руки кусок кварца, но Гордей Евстратыч отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнем. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча.

— Так Маркушка-то зачем послал с тобой жилку-то? — спрашивал Гордей Евстратыч, приходя в себя. — За долг?

— Нет, про долг он ничего не говорил, а только наказывал, чтобы ты приехал в Полдневскую. «Надо, говорит, мне с Гордеем Евстратычем переговорить...» Крепко наказывал.

— А про жилку-то что он тебе говорил или нет?

— Только всего и сказал: «Покажи, говорит, тятеньке скварец, ежели поглянется, пусть приезжает скорее...» А когда стал жилку в бумагу завертывать, прибавил еще: «Ох, хороша штучка!»

— Так он, Маркушка-то, сильно, говоришь, болен? — спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом.

— Да, совсем в худых душах... [1] Того гляди, душу богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то, да только легче все нет.

Гордей Евстратыч не слыхал последних слов, а схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завертывая кварц в бумагу:

— Все это вздор, Миша... Ступай, спи с богом. Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своем веку.

II

К девяти часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власьевна всех поднимает на ноги чем свет, и только одной Арише позволяет понежиться в своей каморке лишний часок, потому что Ариша ночью возится с своим двухмесячным Степушкой.

Две комнаты, в которых жила Татьяна Власьевна, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешевыми обоями стены; выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен; большой иконостас в углу с неугасимой лампадой; несколько окованных мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду, — вот и все. На полу были постланы чистые половики, тканые из

[1] То есть при смерти. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

пестрой ветошки, на окнах белели кисейные занавески; около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, желтыми восковыми свечами, которые хранились в длинном деревянном ящике под иконостасом, и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг в кожаных переплетах, с медными застежками и с закапанными воском, точно вылощенными страницами. До старинных книг Татьяна Власьевна была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой; она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать ее наедине. Из этих книг составилась у ней маленькая библиотека, которая и хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власьевна питала почти болезненную слабость, все равно, в каких бы формах ни проявлялась эта старина: она хранила, как зеницу ока, все сарафаны, полученные ею в приданое, старинные меха, шубы, крытые излежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпье.

После ужина Татьяна Власьевна молилась бесконечной старинной молитвой с лестовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власьевну с детства раскольничьи «исправницы». Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину: в переднем углу, накрывшись большим темным шелковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все кержанки, бабушка молится целые часы напролет, откладываются широкие кресты, а по лестовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее желтое лицо бабушки, с строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится? Неужели у ней уж так много грехов, что и замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда та принималась ворчать на нее, но когда бабушка вставала на молитву — это была совсем другая женщина, вроде тех

подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. Конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дождаться и засыпала сладким сном под мерный шепот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться.

— А ты, баушка, на меня не сердишься? — спрашивала Нюша впросонье.

— Отстань, — с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счете поклонов.

— В то воскресенье мы к Пятовым пойдем, баушка... Пойдем?.. Фене новое платье сшили, называется бордо, то есть это краска называется, баушка, бордо, а не материя и не мода. Понимаешь?

— Отстань!..

— Феня такая счастливая... — с подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стеганым одеялом. — У ней столько одних шелковых платьев, и все по-модному... Только у нас у одних в Белоглинском заводе и остались сарафаны. Ходим, как чучелы гороховые.

— Ты у меня помели еще, безголовая! О господи! согрешила я, грешная, с этой девкой... Ох, ужо́ повесят тебя на том свете прямо за язык!

Молчание. Опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая кругом колеблющийся неверный свет. Желтые полосы света бродят по выбеленному потолку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользнув по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света, глаза у ней слипаются, начинает клонить ко сну, но она еще борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку.

— Баушка, Вукол-то Логиныч, сказывал даве Архип, зонтик себе в городе купил, — начинает Нюша, сладко позевывая. — А знаешь, сколько он за него заплатил?

— Отстань...

— Шелковый зонтик-то, баушка! А ручка точеная из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно.

— Тьфу!.. тьфу!.. — отплевывалась старуха... — Провались ты с своим Вуколом Логинычем... Нашла важное кушанье!.. Срамник он, Вукол-то Логиныч... Тьфу!..

— Баушка, да ведь он за зонтик-то заплатил семьдесят целковых... Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа.

— Как семьдесят?

— Право, баушка, семьдесят целковых за один зонтик...

— Ох, дурак, дурак этот Вукол... Никого у них в природе-то таких дураков не было. Ведь Шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были, особливо дедушка-то, Логин. Богатые были, а чтобы таких глупостев... семьдесят целковых! Это на ассигнации-то считать, так чуть не триста рублевиков... Ох-хо-хо!.. Уж правду сказать, что дикая-то копеечка не улежит на месте.

Взволнованная семидесятирублевым зонтиком, Татьяна Власьевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. Вон какой народ-то, все как наподбор! Таких с огнем поискать и не в Белоглинском заводе. Крепкий народ, по всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот оно что значит природа-то... Теперь взять хоть Настю Шабалину — вышла за сарапульского купца; Груня Пятова в Москву вышла; у Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом да умерла, сердечная, третий годок пойдет с зимнего Николы. А Вукол Логиныч што? Он только свою природу срамит... Семьдесят рублей зонтик! Да и другие-то, глядя на него, особливо которые помоложе — пошаливают. Вон у Пятовых сынок-то в Ирбитской что настряпал! Легкое место сказать... А всему заводчик Вукол, чтобы ему ни дна ни покрышки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так, дурачили промежду себя, только чтобы зонтиков покупать в семьдесят целковых — нет, этого не бывало.

Последние фразы Татьяна Власьевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким

сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власьевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власьевна осмотрела, заперты ли окошки на болты, надела на себя пестрядевый пониток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок, притворила осторожно сени и заглянула на двор. Дождь перестал, по небу мутной грядой ползли низкие облака, в двух шагах трудно было что-нибудь отличить; под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха впотьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власьевна еще раз благословила спавший крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь; ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках. Но старуха продолжала идти вперед; Старая-Кедровская улица была ей знакома, как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила в этой улице пятьдесят лет. Вот через дорогу дом Пазухиных; у них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники — как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до Гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь в переулок — тут тебе сейчас домик о. Крискента. Славный домик, с палисадником и железной крышей; в третьем годе, когда у о. Крискента родился мертвенький младенец, дом опалубили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власьевна по Гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела, выступавшая углами, вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискось, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы постройки. Где-то брехнула собака. Редкие капли

дождя еще падали с неба, точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя.

— Слава тебе, господи! — прошептала Татьяна Власьевна, когда переступила за черту постройки.

Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича, до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку шесть кирпичей, Татьяна Власьевна надела ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было попрежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже третью неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску.

— Господи, Исусе Христе, сыне божий... — шептала Татьяна Власьевна, поднимаясь по сходням кверху.

Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним; прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались с своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе с своей тридцатифунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное обещание поработать богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели семьдесят лет, точно семьдесят тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пережито, и суровая старуха, сгибаясь под ношей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления и в сотый раз терзает себя мыслью, что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то. «Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!» — шептала Татьяна Власьевна от сознания своей человеческой немощи. Но вот первая ноша поднята, вот и карниз стены, который выводят каменщики; старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными

тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна, точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно проношенной, так что сквозь образовавшиеся редины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темносинюю — сверкнула звездочка, пахнуло ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власьевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей, голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не чувствовала ни холодного ветра, глухо гудевшего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода, вон Старая-Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика... Выглянувший из-за туч месяц ярко осветил всю картину спавшего завода, — ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик о. Крискента, хоромины Шабалиных. Все это были немые свидетели долгой-долгой жизни, свидетели, которые не могли обличить словом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неугомонная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было, и Татьяна Власьевна переживает свою жизнь во второй раз, переживает вот здесь, на верху постройки, откуда до неба, кажется, всего один шаг... Но именно этот шаг и пугает ее; она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик: «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей!»

Но нужно носить кирпичи; до утра осталось часа три; Татьяна Власьевна спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, — именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее... Татьяна Власьевна видит себя пятнадцатилетней девушкой, — она такая высокая,

рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ох-хо-хо!.. Никем-то никого не осталось из бывших молодцев, точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых, только она одна, чтобы замаливать свои и чужие грехи. На шестнадцатом году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагина; до венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помирилась с своей судьбой, благо вышла в достаточную семью на свое хозяйство, не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки... Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власьевна, что так она и век свой изживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей, но уж кому какое счастье на роду написано. Венец — суд божий, не нам его пересуживать. Так думала Татьяна Власьевна, да не так вышло. Уж прожила она замужем лет десять, своих детей растила, а тут и подвернись случай... И какой случай!.. Господи, прости меня, окаянную... Да, были и раньше случаи, засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы, женатые и холостые, красивые были, только никому ничего не досталось: вздохнет Татьяна Власьевна, опустит глаза в землю — и только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил... Прости и его согрешения, господи... А горе пришло нежданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власьевна совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управитель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, познакомился со всеми, стал бывать. И из себя-то человек — глядеть не на кого: тощий, больной, все кашлял, да еще женатый, и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власьевны так, что и водой не разольешь: полюбились они друг другу. На именинах, по праздникам друг к дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятова была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власьевны. Вот однажды приехал Пятов на масленице в гости к Брагиным, хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама

Татьяна Власьевна. Посидели, поговорили. А Пятов нет-нет да и взглянет на нее, таково ласково да приветливо взглянет; веселый он был человек часом, когда в компании...

— Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семеныч? — спросила Татьяна Власьевна. — Точно сказать что-то хочешь...

— Хочу сказать, Татьяна Власьевна, давно хочу... — ответил Пятов и как будто из себя немного замешался.

— Ну, так говори...

— А вот что я скажу тебе, Татьяна Власьевна: погубила ты меня, иссушила!.. Господь тебе судья!..

Тихо таково вымолвил последнее слово, а сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власьевны от этих слов мороз по коже пошел, она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался, а у самого так слезы и сыплются по лицу.

— Гоните меня, Татьяна Власьевна... — тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. — Гоните...

От этих слов у Татьяны Власьевны точно что оборвалось в груди: и жаль ей стало Поликарпа Семеныча и как-то страшно, точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее... Красивая она была тогда да молодая, — кровь с молоком бабенка! А в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилось в глазах Пятова от этой красавицы, от ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди, — бросился он к Татьяне Власьевне и обнял ее, а сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. Онемела Татьяна Власьевна, жаром и холодом ее обдало, и сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеныча, всего один раз поцеловала, а сама стоит пред ним, как виноватая.

— Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семеныч, — заговорила она, когда немного пришла в себя. — Опозорил мою головушку... Как я теперь на мужа буду глядеть?

— Голубушка, Татьяна Власьевна... Мой грех — мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед

людьми, и перед богом, только не дай погибнуть христианской душе... Прогонишь меня — один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница... Прости меня, Татьяна Власьевна, да прикажи мне уйти, а своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать.

— Уходи, Поликарп Семеныч... Бог тебе судья!..

Побелел он от этих слов, затрясся.

— Прощай, чужая жена — моя погибелюшка, — проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям.

Опять сделалось страшно Татьяне Власьевне, страшнее давешнего, а он идет к дверям и не оглядывается... Подкосились резвые ноги у красавицы-погибелюшки, и язык сам сказал:

— Поликарп Семеныч!.. воротись!

Ох, вышел грех, большой грех... — пожалела Татьяна Власьевна грешного человека, Поликарпа Семеныча, и погубила свою голову, навсегда погубила. Сделалось с нею страшное, небывалое... Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеныча, без его грешной ласки, точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою спобедную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда.

Так они и зажили, а на мужа точно слепота какая нашла: души не чает в Поликарпе Семеныче; а Поликарп Семеныч, когда Татьяна Власьевна растужится да расплачется, все одно приговаривает: «Милушка моя, не согрешишь — не спасешься, а было бы после в чем каяться!» Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию, Татьяна Власьевна теперь отдалась новому чувству со всем жаром проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесятерила прелесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, нисколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену.

Муж Татьяны Власьевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей «панским», то есть ситцами,

сукном и т. д. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом, как вода. А тут старший сын начал подрастать и отцу в помощь пошел: все же кошку в лавку не посадишь или не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в тринадцать лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников, но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом: сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власьевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову, как божеское наказание за ее грехи. Постылый старый муж, который умер с спокойной совестью за свое семейное счастье, теперь встал пред ней немым неотступным укором. После девятин Татьяна Власьевна пригласила к себе в дом Поликарпа Семеныча и сказала ему, опустив глаза:

— Ну, Поликарп Семеныч, теперь уже прощай... Будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной.

— Как же это, Таня...

— Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власьевна. Так и знай. Мое слово будет свято, а ты как знаешь... Надо грех замаливать, Поликарп Семеныч. Прощай, голубчик... не поминай лихом...

Голос у Татьяны Власьевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддалась на «прелестные речи» Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки.

— А я буду молиться за тебя богу, — уже спокойно ответила Татьяна Власьевна, точно она замерла на одной мысли.

Этим все и кончилось.

Татьяна Власьевна как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому, «честной матерной вдовой», крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще тридцать лет, и она, как одна из первых красавиц, могла выйти замуж во второй раз; но мысли Тятьяны Власьевны тяготели к другому

идеалу — ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро, дети выросли. Старший, Гордей, был вылитый отец — строгий, обстоятельный, деляга; второй, Зотей, являлся полной противоположностью, и как Татьяна Власьевна ни строжила его, ни началила — из Зотея ничего не вышло, а под конец он начал крепко «зашибать водкой», так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власьевна должна была примириться с этим, как с божеским наказанием за свой грех, и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власьевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано и ей пришлось самой воспитывать внучат.

Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власьевны, когда она семидесятилетней старухой таскала кирпичи на строившуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власьевна думала в течение последних сорока лет, это — путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая, того гляди, выскочит замуж, — благо и женишок есть на примете.

«Вот бы только Нюшу пристроить, — думала Татьяна Власьевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. — Алексей у Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская по здешним местам не последняя. Отец-то, Сила Андроныч, вон какой парень, под стать как раз нашему-то Гордею Евстратычу».

Старуха проработала до четырех часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она набожно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветленная духом. Кругом было все темно, но в избах уже мелькали яркие огоньки: это топились печки у заботливых хозяев. Вон у о. Крискента тоже искры сыплются из трубы, — значит, стряпка Аксинья рано управляется. У Пазухиных темно: у них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власьевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь.

«Уж не болен ли? — подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. — Куда ему эку рань подниматься?.. Может, надо малиной или мятой его напоить».

Гордей Евстратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезенной Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но все было напрасно — сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно-сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его и зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка богатейшая... Может быть, Маркушка нашел эту жилку и хочет продать ему... Все может быть, только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев. Эти старатели все знают, а Маркушка совсем прожженный.

Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в сенях.

— Ты што это, Гордей? — спрашивала Татьяна Власьевна, появляясь в дверях его комнаты. — Уж не попритчилась ли какая немочь?

— Нет, мамынька... Так, не поспалось што-то, клопы, надо полагать. Скажи-ка стряпке насчет самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую.

— Да ведь Михалко вчера в Полдневскую гонял?

— Гонял, да без толку... Самому надо съездить.

III

Напившись чаю, Гордей Евстратыч сам сходил во двор посмотреть, отдохнула ли лошадь после вчерашней езды, и велел Зотушке седлать ее.

— Я сам поеду, — прибавил Гордей Евстратыч, похлопывая гнедка по шее.

Последнее настолько удивило Зотушку, что он даже раскрыл рот от удивления. Гордей Евстратыч так редко выезжал из дома — раз или два в год, что составляло целое событие, а тут вдруг точно с печи упал: «Седлай, сам поеду...» Верхом Гордей Евстратыч не ездил лет

десять, а тут вдруг в этакую распутицу, да еще на изморенной лошади, которая еще со вчерашнего не успела отдышаться. Действительно, Гордей Евстратыч был замечательный домосед, и ехать куда-нибудь для него было истинным наказанием, притом он ездил только зимой по удобному санному пути — в Ирбит на ярмарку и в Верхотурье, в гости к сестре Алене. Сборов на такую поездку хватало на целую неделю, а тут, накося, свернулся в час места... Все эти мысли промелькнули в маленькой головке Зотушки во мгновение ока, и он перебирал их все время, пока седлал гнедка. Куда мог ехать Гордей Евстратыч в такую непогодь?

— Значит, какое-нибудь дело завелось, — решил, наконец, Зотушка с глубокомысленным видом, когда лошадь была готова.

Татьяна Власьевна была удивлена этой поездкой не менее Зотушки и ждала, что Гордей Евстратыч сам ей скажет, зачем едет в Полдневскую, но он ничего не говорил.

— Зачем в Полдневскую-то наклался? — спросила старуха, когда Гордей Евстратыч начал прощаться.

— Дельце есть маленькое... После, мамынька, все обскажу. Благослови в добрый час съездить.

— Ну, бог тебя благословит, милушка. А послал бы ты лучше Архипа, чем самому трястись по этакой грязище.

— Нельзя, мамынька. Стороной можно проехать... Михалко сегодня в лавке будет сидеть, а Архипа пошли к Пятовым, должок там за ними был. Надо бы книгу еще подсчитать...

— Подождите с книгой-то, Гордей Евстратыч. У нас теперь своя работа стоит. Нюше к зиме шубку ношобную справляем...

— Обождем, ничего. Да пошли еще, мамынька, Зотушку к Шабалиным.

— Ох, нельзя, милушка! Ведь только он едва успел выправиться, а как попадет к Шабалиным, — непременно Вукол Логиныч его водкой поить станет. Уж это сколько разов бывало, и не пересчитаешь!.. Лучше я Архипа спосылаю... По пути и забежит, от Пятовых-то.

— Как знаешь.

Гордей Евстратыч сел в мягкое пастушье седло и, перекрестившись, выехал за ворота. Утро было светлое; в воздухе чувствовалась осенняя крепкая свежесть, которая заставляет барина застегиваться на все пуговицы, а мужика — туже подпоясываться. Гордей Евстратыч поверх толстого драпового пальто надел татарский азям, перехваченный гарусной опояской, и теперь сидел в седле молодцом. Выглянувшая в окно Нюша невольно полюбовалась, как тятенька ехал по улице.

Нужно было ехать по Старой-Кедровской улице, но Гордей Евстратыч повернул лошадь за угол и поехал по Стекольной. Он не хотел, чтобы Пазухины видели его. Точно так же объехал он рынок, чтобы не встретиться с кем-нибудь из своих торговцев. Только на плотине он попал, как кур во щи: прямо к нему навстречу катился в лакированных дрожках сам Вукол Логиныч.

«Ох, нелегкая бы тебя взяла!» — подумал про себя Гордей Евстратыч, приподнимая свою суконную фуражку с захватанным козырьком.

Серая, в яблоках, громадная лошадь, с невероятно выгнутой шеей и с хвостом трубкой, торжественно подкатила Шабалина, который сидел на дрожках настоящим чертом: в мохнатом дипломате, в какой-то шапочке, сдвинутой на затылок, и с семидесятирублевым зонтиком в руках. Скуластое, красное лицо Вукола Логиныча, с узкими хитрыми глазами и с мясистым носом, все лоснилось от жира, а когда он улыбнулся, из-за толстых губ показались два ряда гнилых зубов.

— Куда бог несет, Гордей Евстратыч? — издали кричал Шабалин, высоко поднимая свою круглую шапочку. — Я не знал, что ты таким молодцом умеешь верхом ездить... Уж не на охоту ли собрался?

— Какая у нас охота, Вукол Логиныч... — ответил Брагин недовольным тоном: он обиделся глупым вопросом Шабалина, который всегда смелет что-нибудь самое несуразное.

Эта встреча очень не понравилась Гордею Евстратычу, и он, поднимаясь с плотины в гору, на которой красовалась пятиглавая православная церковь, даже подумал, уж не воротиться ли назад. Оглянувшись,

Брагин с сожалением посмотрел «за реку», то есть по ту сторону пруда, где тянулась Старая-Кедровская улица. С горки отлично можно было рассмотреть старый брагинский дом, который стоял на углу; из одной трубы винтом поднимался синий дым, значит, старуха затеяла какую-нибудь стряпню. «На охоту поехал... — припомнил Брагин со злостью слова Шабалина. — Тьфу ты, греховодник... Нашел охотника!..» С другой стороны, Брагину показалось, что действительно у него сегодня такой глупый вид, точно он «ангела потерял», как говорила Татьяна Власьевна про ротозеев. Приосанившись в седле и подтянув поводья, Брагин пустил своего гнедка ходой, чтобы скорее выехать за «жило». Ему пришлось проехать мимо шабалинского дома, и он невольно полюбовался на него. Дом стоял на горе, над прудом, и ярко белел своими пятью колоннами. Эти колонны особенно нравились Брагину, потому что придавали дому настоящий городской вид, как рисуют на картинках. Зеркальные стекла в окнах, золоченая решетка у балкона между колоннами, мраморные вазы на воротах, усыпанный мелким песочком двор — все было хорошо, форменно, как говорил Зотушка про шабалинский дом.

«А все золото поднимает... — подумал невольно Брагин, щупая лежавшую за пазухой жилку. — Вуколу-то Логинычу красная цена расколотый грош, да и того напросишься, а вон какую хоромину наладил! Кабы этакое богачество да к настоящим рукам... Сказывают, в одно нонешнее лето заробил он на золоте-то тысяч семьдесят... Вот лошадь-то какая — зверь-зверем».

Белоглинский завод, совсем затерявшийся в глуши Уральских гор, принадлежал к самым старинным уральским поселениям, что можно было даже заметить по его наружному виду, то есть по почерневшим старинным домам с высокими коньками и особенно по старой заводской фабрике, поставленной еще в 1736 году. Место под завод было выбрано самое глухое, настоящий медвежий угол: горы, болота, леса; до официального основания заводского действия здесь, с разным лесным зверьем, хоронились одни раскольники, уходившие в уральскую глушь от петровских новшеств. Между

прочим, свили они себе гнездо и на берегу глухой горной речонки Белой Глинки, пока их не отыскали подьячие и заводские приказчики. Река была перехвачена плотиной, разлился пруд, и задымилась фабрика. Около пруда рассажались заводские домики, вытянувшись «по планту» в широкие правильные улицы. Теперь Белоглинский завод представлял собой такую картину: во-первых, «заречная» низкая сторона, где, собственно, находилось первоначальное раскольничье поселенье и где теперь проходила Старая-Кедровская улица; дома здесь старинные, и люди в них старинные — отчасти раскольники, отчасти единоверцы; во-вторых, «нагорная» сторона, где красовалась православная церковь и хоромины Шабалина. В нагорной жили большею частью православные, позднейшее этнографическое население. Это деление на «нагорную» и «заречную» стороны продолжалось и ниже заводской фабрики, где Белая Глинка разливалась в низких глинистых берегах. В этой части завода стоял деревянный господский дом с железной крышей, в котором жили Пятовы, и несколько домиков «на городскую руку», выстроенных заводскими служащими. В заречной находилась единственная заводская площадь, в одном конце которой сбились в кучу деревянные лавки, а в другом строилась единоверческая церковь. Старинные семьи, вроде Колобовых, Савиных, Пазухиных и др., все жили в заречной, в крепких старинных домах, в которых на вышках еще сохранились рамы со слюдой вместо стекол. Шабалины жили тоже там, пока Вукол Логиныч не облюбовал себе местечко на нагорной стороне. Это ренегатство очень огорчило всех блюстителей старины, вроде Татьяны Власьевны, но Вукол Логиныч был отпетая башка, — и взять с него было нечего.

В солнечный день вид на завод представлял собой довольно пеструю картину и, пожалуй, красивую, если бы не теснившийся со всех сторон лес и подымавшиеся кругом лесистые горы, придававшие всей картине неприветливый траурный характер. Впрочем, так казалось только посторонним людям, а белоглинцы, конечно, не могли даже себе представить чего-нибудь лучше и красивее Белоглинского завода. К таким людям принадле-

жал и Гордей Брагин, бывавший не только в Ирбите и в Верхотурье, но и в Нижнем.

Дорога в Полдневскую походила на те прямоезжие дороги, о которых поется в былинах: горы, болота, гати и зыбуны точно были нарочно нагромождены, чтобы отбить у всякого охоту проехаться по этой дороге во второй раз, особенно осенью, когда лошадь заступает в грязь по колено, вымогаясь из последних сил. Верхом на лошади эти двадцать верст едва можно было проехать в четыре часа. С непривычки к верховой езде Гордей Евстратыч на половине пути почувствовал, как у него отнимается поясница и ноги в стременах начинают деревенеть. А впереди косогор за косогором, гора за горой... Лес стоит кругом темный, настоящий дремучий ельник, которому, кажется, не было конца-краю. Около самой дороги, где лес был немного прочищен, лепились кусты жимолости и малины да молоденькие березки, точно заблудившиеся в этой лесной трущобе; теперь листья уже давно пожелтели и шелестели мертвым шепотом, когда по ним пробегал осенний порывистый ветер. Земля была покрыта шуршавшей под ногой лиственной шелухой, и только кое-где из-под нее пробивались зеленые кустики сохранившейся еще травы, да на опушке леса ярко блестела горькая осина, точно обрызганная золотом и кровью.

Верст не полагалось, и версты отсчитывались по разным приметам: от Белоглинского до Пугиной горы — восемь верст, две версты подался — ключик из косогора бежит, значит — половина дороги, а там через пять верст гарь на левой руке. Брагин почти все время ехал шагом, раздумывая бесконечную дорожную думу, которая блуждала по своим горам и косогорам, тонула в грязи и пробиралась по узким тропинкам. То он видел пред собой Шабалина в его круглой шапочке и начинал ему завидовать; то припоминал разные случаи быстрого обогащения «через это самое золото», как говорил Зотушка; то принимался «сумлеваться», зачем он тащится такую даль; то строил те воздушные замки, без которых не обходятся даже самые прозаические натуры. Что он такое теперь, ежели разобрать? Купец, который торгует панским товаром, — и только. Сыт, одет, ну, копеечки

про черный день отложены, а чтобы супротив других из купечества, как в Ирбите, например, собираются, ему, Брагину, далеко не вплоть. А между тем чем он хуже других? Недалеко ходить, хоть взять того же Вукола Логиныча... А с чего человек жить пошел? От пустяков. От такой же жилки, какую он сейчас везет у себя за пазухой. Да... В воображении Брагина уже рисовалась глубокая шахта, из которой бадьями поднимают золотоносный кварц, толкут его и промывают. В результате получилось чистое золото, которое превращается в громадный дом с колоннами, в серых, с яблоками, лошадей, в лакированные дрожки, в дорогое платье и сладкое привольное житье. Первым делом он, конечно, пожертвует в церковь, тайно пожертвует... То-то удивится о. Крискент, когда из кружки добудет несколько радужных. Потом старухе на бедных да на увечных, потом... Все будут ухаживать за Гордеем Евстратычем, как теперь ухаживают за Шабалиным или за другими богатыми золотопромышленниками.

«Прежде гремели на Панютинских заводах золотопромышленники Сиговы да Кутневы», — раздумывал Гордей Евстратыч, припоминая историю уральских богачей.

Сиговым принес жилку один вогул, а Кутневы сами нашли золото, хотя и не совсем чисто. Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного старателя, который не поживился ничем от своей находки, кроме того разве, что высидел в остроге полгода за свои жалобы на разбогатевших Кутневых. Да, много неправды с этим золотом... Вон про Шабалина рассказывают какие штуки: народ морит работой на своих приисках, не рассчитывает, а попробуй судиться с ним, кому угодно рот заткнет. Мировой судья Липачек ему первый друг и приятель, становой Плинтусов даже спит с ним на одной постели... От этого богатства просто один грех, точно люди всякого «ума решаются». Но ведь это другие, а уж он, Гордей Евстратыч, никогда бы так не сделал. Да... Вон Нюша на возрасте — ее надо пристраивать за хорошего человека, вон сыновей надо отделять, пока не разорились. Теперь, конечно, все

есть, всего в меру, а если разделиться — и пойдут кругом недостатки.

Приободрившаяся лошадь дала знать, что скоро и Полдневская. В течение четырехчасового пути Брагин не встретил ни одной живой души и теперь рад был добраться до места, где бы можно было хоть чаю напиться. Поднявшись на последний косогор, он с удовольствием взглянул на Полдневскую, совсем почти спрятавшуюся на самом дне глубокой горной котловины. Издали едва можно было рассмотреть несколько крыш да две-три избушки, торчавшие особняком, точно они отползли от деревни.

«Настоящее воронье гнездо эта Полдневская», — невольно подумал Брагин, привставая в стременах.

Полдневская пользовалась действительно не особенно завидной репутацией, как притон приисковых рабочих. Не проходило года, чтобы в Полдневской не случилось какой-нибудь оказии: то мертвое тело объявится, то крупное воровство, то сбыт краденого золота, то беглые начнут пошаливать. Становой Плинтусов говорил прямо, что Полдневская для него, как сухая мозоль, — шагу не дает ступить спокойно. Чем существовали обитатели этой деревушки — трудно сказать, и единственным мотивом, могшим несколько оправдать их существование, служили разбросанные около Полдневской прииски, но дело в том, что полдневские не любили работать, предпочитая всему на свете свою свободу. А между тем полдневские мужики не только существовали, но исправно каждое воскресенье являлись в Белоглинский завод, где менялись лошадьми, пьянствовали по кабакам и даже кое-что покупали на рынке, конечно, большею частью в долг. К таким птицам небесным принадлежал и старатель Маркушка, давнишний должник Брагина.

Спустившись по глинистому косогору, Гордей Евстратыч вброд переехал мутную речонку Полуденку и, проехав с полверсты мелким осинником, очутился в центре Полдневской, которая состояла всего-навсего из какого-нибудь десятка покосившихся и гнилых изб, поставленных на небольшой поляне в самом живописном беспорядке. Навстречу Брагину выбежало

несколько пестрых собак с стоячими ушами, которые набросились на него с таким оглушительным лаем, точно стерегли какие несметные сокровища. В одном окошке мелькнуло женское испитое лицо и быстро скрылось.

— В которой избе живет Маркушка старатель? — спросил Гордей Евстратыч, постукивая черенком нагайки в окно ближайшей избы.

В окне показалась бородатая голова в шапке; два тусклых глаза безучастно взглянули на Брагина и остановились. Не выпуская изо рта дымившейся трубки с медной цепочкой, голова безмолвно показала глазами направо, где стояла совсем вросшая в землю избенка, точно старый гриб, на который наступили ногой.

— Ну, народец!.. — проворчал Гордей Евстратыч, слезая с лошади у Маркушкиной избы.

Архитектурной особенностью полдневских изб было то, что они совсем обходились без ворот, дворов и надворных построек. Ход в избу шел прямо с улицы. Только в виде роскоши кое-где лепились сколоченные на живую нитку крылечки. Где держали полдневцы лошадей, — составляло загадку, как и то, чем они кормили этих лошадей и чем они топили свои избы. Гордей Евстратыч окинул строгим хозяйским взглядом всю деревню и нигде не нашел ничего похожего на конюшни или поленницу дров. У некоторых изб валялось по бревну, от которых бабы по утрам отгрызали на подтопку дров, — вот и все. «Ну, народец! — еще раз подумал Брагин. — В лесу живут, и ни одного полена не отрубят мужики...»

— Господи Исусе Христе... — помолитвовался Гордей Евстратыч, отворяя низкую дверь, которая вела куда-то в яму.

— Аминь... — отдал из комнаты чей-то хриплый голос. — Это ты, Гордей Евстратыч?

— Я, Маркушко...

Послышалось тяжелое хрипенье, затем удушливый кашель. Гордей Евстратыч кое-как огляделся кругом: было темно, как в трубе, потому что изба у Маркушки была черная, то есть без трубы, с одной каменкой вместо печи. Вернее такую избу назвать балаганом, какие иногда ставятся охотниками в глухих лесных местах на

всякий случай. На каменке тлело суковатое полено, наполнявшее избу удушливым едким дымом. Сам хозяин лежал у стены, на деревянных подмостках, прикрытый сверху лоскутами овчин, когда-то составлявших тулуп или полушубок. На гостя из-под кучи этой рвани глядело восковое отекшее лицо с мутным остановившимся взглядом, в котором едва теплилась последняя искра сознания. Мочального цвета бороденка, рыжие щетинистые усы и прилипшие к широкому лбу русые волосы дополняли портрет старателя Маркушки.

— Ну что, плохо тебе? — спрашивал Брагин, напрасно отыскивая глазами что-нибудь, на что можно было бы сесть. Куча тряпья зашевелилась, раздался тот же кашель.

— Надо... надо... больно мне тебя надо, Гордей Евстратыч, — отозвалась голова Маркушки. — Думал, не доживу... спасибо после скажешь Маркушке... Ох, смерть моя пришла, Гордей Евстратыч!

— Надо за попом послать?

— Где уж... нет... вот ужо я тебе все обскажу...

Гордей Евстратыч подкатил к дымившейся каменке какой-то чурбан и приготовился выслушать предсмертную исповедь старателя Маркушки, самого отчаянного из всех обывателей Полдневской.

— Видел жилку-то? — глухо спросил Маркушка, удерживая душивший его кашель.

— Видел...

— Ведь пятнадцать лет ее берег, Гордей Евстратыч... да... пуще глазу своего берег... Ну, да что об этом толковать!.. Вот што я тебе скажу... Человека я порешил... штегеря, давно это было... Вот он, штегерь-то, и стоит теперь над моей душой... да... думал отмолить, а тут смерть пришла... ну, я тебя и вспомнил... Видел жилку? но богачество... озолочу тебя, только по гроб своей жизни отмаливай мой грех... и старуху свою заставь... в скиты посылай...

Опять приступ отчаянного кашля, точно Маркушка откашливал всю душу вместе с своими грехами.

— Так ты поклянешься мне, Гордей Евстратыч, и я тебе жилку укажу и научу, што с ней делать... Мне только и надо, штобы мою душу отмолить.

— А ежели ты обманешь, Маркушка?

— Нет, Гордей Евстратыч... Ох, тошнехонько!.. нет, не обману... Не для тебя соблюдал местечко, а для себя... Ну, так поклянешься?

Брагин на минуту задумался. Его брало сомнение, притом он не ожидал именно такого оборота дела. С другой стороны, в этой клятве ничего худого нет.

— Ладно, поклянусь...

— Исусовой молитвой поклянись!

— Нет, Исусовой молитвой не буду, а так поклянусь... Мы за всех обязаны молиться, а если ты мне добро сделаешь, — так о тебе особая и молитва.

— Думал я про Шабалина... — заговорил Маркушка после тяжелой паузы. — Он бы икону снял со стены... да я-то ему, кровопивцу, не поверю... тоже вот и другим... А тебя я давно знаю, Гордей Евстратыч... особливо твою мамыньку, Татьяну Власьевну... ее-то молитва доходнее к богу... да. Так ты не хочешь Исусовой молитвой себя обязать?

— Нет, Маркушка, это грешно... Хоть у кого спроси.

Больной недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потому что все его богословские познания ограничились одной Исусовой молитвой, запавшей в эту грешную душу, как падает зерно на каменную почву. После некоторых препирательств Маркушка согласился на простую клятву и жадными глазами смотрел на Гордея Евстратыча, который, подняв кверху два пальца, «обещевался» перед богом отмаливать все грехи раба божия Марка вплоть до своей кончины и далее, если у него останутся в живых дети. Восковое лицо покрылось пятнами пота от напряженного внимания, и он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем получил возможность говорить.

— Ну, слушай, Гордей Евстратыч... Робили мы, пятнадцать годов тому назад, у купцов Девяткиных... шахту били... много они денег просадили на нее... я ходил у них за штегеря... на восемнадцатом аршине напали на жилку... а я сказал, што дальше незачем рыть... От всех скрыл... ну, поверили, шахту и бросили... Из нее я тебе жилку с Михалком послал...

— Отчего же ты сам не разрабатывал эту шахту, ведь Девяткины давно вымерли?

— Нельзя было... по малости ковырял, а штобы настоящим делом — сила не брала, Гордей Евстратыч. Нашему брату несподручное дело с такой жилкой возиться... надо капитал... с начальством надо ладить... А кто мне поверит? Продать не хотелось: я по малости все-таки выковыривал из-под нее, а что мне дали бы... пустяк... Шабалин обещал двадцать целковых.

— Да ведь и мне настоящую жилку не дадут разрабатывать? — заметил Брагин, слушавший эту исповедь с побледневшим лицом.

— Не надо объявлять настоящей жилки, Гордей Евстратыч... а как Шабалин делает... россыпью объяви... а в кварце, мол, золото попадается только гнездами... это можно... на это и закона нет... уж я это знаю... ну, надо замазать рты левизорам да инженерам... под Шабалина подражай...

— Хорошо, там увидим... Ты расскажи, где жилку-то искать?

— А вот как ее искать... Ступай по нашей Полуденке кверху... верстах в пяти в нее падает речка Смородинка... по Смородинке подашься тоже кверху, а в самой верхотине стоит гора Заразная... от Смородинки возьми на Заразную... тут пойдет увал... два кедра увидишь... тут тебе и жилка...

Гордей Евстратыч был бледен как полотно; он смотрел на отекшее лицо Маркушки страшными, дикими глазами, выжидая, не вырвется ли еще какое-нибудь признание из этих посиневших и растрескавшихся губ. Но Маркушка умолк и лежал с закрытыми глазами, как мертвый, только тряпье на подмостках продолжало с хрипом подниматься неровными взмахами, точно под ним судорожно билась ослабевшими крыльями смертельно раненная птица.

— Все? — спрашивал Брагин, наклоняясь к самому изголовью больного.

— Все... ах, еще вот что, Гордей Евстратыч... угости, ради Христа, водочкой наших-то... пусть погуляют...

Через полчаса в яме Маркушки собралось почти все население Полдневской, состоявшее из трех мужиков, двух баб и нескольких ребятишек. Знакомый уже нам мужик в шапке, потом высокий рыжий детина с оловянными глазами, потом кривой на левый глаз и хромой на правую ногу низенький мужичонко; остальные представители мужского населения находились в отсутствии. Две женщины, одетые в полинялые ситцевые сарафаны, походили на те монеты, которые вследствие долгого употребления утратили всякие следы своего чекана. Испитые, желтые, с одичавшим взглядом, физиономии были украшены одними синяками; у одной такой синяк сидел под глазом, у другой на виске. Очевидно, эти украшения были сделаны опытной рукой, не знавшей промаха. Вообще физиономии обеих женщин были покрыты массой белых царапин и шрамами самой причудливой формы, точно они были татуированы или расписаны какими-то неразгаданными еще наукой иероглифами.

— Славные ребята... — умилился Маркушка, любуясь собравшейся компанией. — Ты, Гордей Евстратыч, когда угости их водочкой... пусть не поминают лихом Маркушку... Так ведь, Окся?

Окся застенчиво посмотрела на свои громадные красные руки и хрипло проговорила:

— Тебе бы выпить самому-то, Маркушка... Может, облегчит...

Маркушка болезненно мотнул головой на эту ласку... Ведь эга шельма Окся всегда была настоящим яблоком раздора для полдневских старателей, и из-за нее происходили самые ожесточенные побоища: Маркушку тузил за Оксю и рыжий детина с оловянными глазами, и молчаливый мужик в шапке, и хромой мужичонко, точно так же, как и он, Маркушка, тузил их всех при удобном случае, а все они колотили Оксю за ее изменчивое сердце и неискоренимую страсть к красным платкам и козловым ботинкам. Эта коварная женщина была замечательно непостоянное существо и как-то всегда была на стороне того, кому везло счастье. Теперь она от души жалела умиравшего Маркушку, потому что он уносил с собой в могилу не одни ботинки...

— Как же это вы живете здесь, — удивлялся Брагин, угощая собравшуюся компанию, — хлеба у вас нет, дров нет, а водка всегда есть...

— Нам невозможно без водки... — отрезал кривой мужичонко. — Так ведь, Кайло? Вот и Пестерь то же самое скажет...

Кайло — рыжий детина с оловянными глазами, и Пестерь — мужик в шапке — в знак своего согласия только поникли своими головами. Окся поощрительно улыбнулась оратору и толкнула локтем другую женщину, которая была известна на приисках под именем Лапухи, сокращенное от Олимпиады; они очень любили друг друга, за исключением тех случаев, когда козловые ботинки и кумачные платки настолько быстро охлаждали эту дружбу, что бедным женщинам ничего не оставалось, как только вцепиться друг в друга и зубами и ногтями и с визгом кататься по земле до тех пор, пока чья-нибудь благодетельная рука не отрезвляла их обеих хорошим подзатыльником или артистической встряской за волосы. Около Лапухи жалось странное существо: на вид это была девочка лет двенадцати, еще с несложившимися, детскими формами, с угловатой спиной и тонкими босыми ногами, но желтое усталое лицо с карими глазами смотрело не по-детски откровенно, как смотрят только отведавшие от древа познания добра и зла.

— На, пей, Домашка... — говорила Лапуха, передавая Домашке недопитый стакан водки.

— Зачем ты ее поишь? — спросил Гордей Евстратыч.

— Да ведь Домашка-то мне, поди, дочь! — удивленно ответила в свою очередь чадолюбивая Лапуха.

— Домашка у нас молодец... — отозвался с своего ложа Маркушка. — Налей и ей стаканчик, Гордей Евстратыч... ей тоже без водки-то невозможно...

Пестерь и Кайло покосились на разнежившегося Маркушку, но промолчали, потому что водка была Гордея Евстратыча, а право собственности в этой жидкой форме для них было всегда священным. Домашка выпила налитый стаканчик и кокетливо вытерла свои детские губы худой голой рукой с грязным локтем,

выглядывавшим в прореху заношенной ситцевой рубахи. Роспитая четверть водки скоро заметно оживила все общество, особенно баб, которые сидели с осоловелыми глазами и заметно были расположены затянуть какую-нибудь бесшабашную приисковую песню. Домашка хихикала без всякой видимой причины и тут же закрывала свое лицо порванным рукавом рубахи. Кайло и кривой мужичонко, которого звали Потапычем, тоже повеселели и все упрашивали благодетеля Маркушку, в качестве всеисцеляющего средства, выпить хоть стаканчик; но груда тряпья, изображавшая теперь знаменитого питуха, только отрицательно вздрагивала всеми своими лоскутьями. Один Пестерь делался все мрачнее и мрачнее, а когда бабы не вытерпели и заголосили какую-то безобразную пьяную песню, он, не выпуская изо рта своей трубки с медной цепочкой, процедил только одно слово: «У... язвы!..» Кто бы мог подумать, что этот свирепый субъект являлся самым живым источником козловых ботинок и кумачных платков, в чем убедилась личным опытом даже Домашка, всего третьего дня получившая от Пестеря зеленые стеклянные бусы.

— Так уж ты тово... не забывай их... — хрипел Маркушка, показывая глазами на пьяных старателей, когда Брагин начал прощаться.

О себе Маркушка не заботился: ему больше ничего было не нужно, кроме «доходной к богу» молитвы Татьяны Власьевны.

IV

Вернувшись домой, Гордей Евстратыч, после обычного в таких случаях чаепития, позвал Татьяну Власьевну за собой в горницу. Старуха по лицу сына заметила, что случилось что-то важное, но что именно — она никак не могла разгадать.

— Ты спрашивала меня, мамынька, зачем я поехал в Полдневскую, — заговорил Гордей Евстратыч, припирая за собой дверь. — Вот, погляди, какую игрушку добыл...

С последними словами он подал матери кусок кварца, который привез еще Михалко. Старуха нереши-

тельно взяла в руку «игрушку» и, отнеся далеко от глаз, долго и внимательно рассматривала к свету.

— Никак золото... — недовольным голосом заметила она, осторожно передавая кусок кварца обратно.

— Да, мамынька... настоящее червонное золото, — уже шепотом проговорил Гордей Евстратыч, оглядываясь кругом. — Бог его нам послал... видно, за родительские молитвы.

— Что-то невдомек мне будет, милушка.

Гордей Евстратыч рассказал всю историю лежавшего на столе «кварца»: как его привез Михалко, как он не давал спать целую ночь Гордею Евстратычу, и Гордей Евстратыч гонял в Полдневскую и что там видел.

— Вот поклялся-то напрасно, милушка... — строго проговорила старуха, подбирая губы. — Этакое дело начинать бы да не с клятья, а с молитвы.

— Ах, мамычка, мамычка! Ну, ежели бы я не поклялся Маркушке, — тогда что бы вышло? Умер бы он с своей жилкой или рассказал о ней кому-нибудь другому... Вон Вукол-то Логиныч уже прослышал о ней и подсылал к Маркушке, да только Маркушка не захотел ему продавать.

— Ишь ведь какой дошлый, этот Вуколо! — со злостью заговорила Татьяна Власьевна, припоминая семидесятирублевый зонтик Шабалина. — Уж успел пронюхать... Да ты верно знаешь, милушка, что Маркушка ничего не говорил Вуколу?

— Вернее смерти, потому — Маркушка сам мне говорил...

— А вот ты сам-то небось не догадался заставить Маркушку тоже клятву на себя наложить? Как он вдруг да кому-нибудь другому перепродаст жилку... тому же Вуколу.

— Нет, мамынька... Маркушка-то в лежку лежит, того гляди, богу душу отдаст. Надо только скорее заявку сделать на эту самую жилку, и кончено...

— Как же это так вдруг, милушка... — опять нерешительно заговорила Татьяна Власьевна. — Как будто даже страшно: все торговали, как другие, а тут золото

искать... Сколько на этом золоте народишку разорилось, хоть тех же Кутневых взять.

— А у Вукола вон какой домина схлопан, — небось не от бедности! Я ехал мимо-то, так загляденье, а не дом. Чем мы хуже других, мамынька, ежели нам господь за родительские молитвы счастье посылает... Тоже и насчет Маркушки мы все справим по-настоящему, неугасимую в скиты закажем, сорокоусты по единоверческим церквам, милостыню нищей братии, ну, и ты кануны будешь говорить. Грешный человек, а душа-то в нем христианская. Вот и будем замаливать его грехи...

— Уж это што говорить, милушка... Вукол-то не стал бы молиться за него. Только все-таки страшно... И молитва там, и милостыня, и сорокоуст — все бы ничего, а как подумаю об золоте, точно што у меня оборвется. Вдруг-то страшно очень...

— Ну, тогда пусть Вуколу достается наша жилка, — с сдержанной обидой в голосе заговорил Гордей Евстратыч, начиная ходить по своей горнице неровными шагами. — Ему небось ничего не страшно... Все слопает. Вон лошадь у него какая: зверина, а не лошадь. Ну, ему и наша жилка к рукам подойдет.

— Да разве я говорю, что жилку Вуколу отдать? — тоже с раздражением в голосе заговорила старуха, выпрямляясь. — Надо подумать, посоветоваться.

— С кем же это, мамынька, советоваться-то будем? Сами не маленькие, славу богу, не двух по третьему...

— С отцом Крискентом надо поговорить, потом с Савиными, с Колобовыми.

— Ну уж, мамынька, этого не будет, чтобы я с Савиными да с Колобовыми стал советоваться в таком деле. С отцом Крискентом можно побеседовать, только он по этой части не ходок...

Старшая невестка Ариша была колобовской «природы», а младшая Дуня — савиновской, поэтому Татьяну Власьевну немного задело за живое то пренебрежение, с каким Гордей Евстратыч отнесся к своей богоданной родне, точно он боялся, что Колобовы и Савины отнимут у него проклятую жилку. Взаимное раздражение мешало сторонам понимать друг друга, и ка-

ждый думал только о том, что он прав. «Старик-то Колобов, Самойло-то Микеич вон какой голова, — рассуждала про себя Татьяна Власьевна. — Недаром два раза в волостных старшинах сидел... Тоже и Кондрат Гаврилыч Савин уважительный человек, а про старуху Матрену Ильинишну и говорить нечего: с преосвященным владыкой в третьем годе как пошла отчитывать по писанию, только нà, слушай. Чем не родня». Гордей Евстратыч ходил из угла в угол по горнице с недовольным, надутым лицом; ему не нравилось, что старуха отнеслась как будто с недоверием к его жилке, хотя, с другой стороны, ему было бы так же неприятно, если бы она сразу согласилась с ним, не обсудив дела со всех сторон. Одним словом, в результате получалось какое-то тяжелое недоразумение, благодаря которому Гордей Евстратыч ни за что ни про что обидел своих сватовьев, Савиных и Колобовых, и теперь сердился еще больше, потому что сам был виноват кругом. Татьяна Власьевна пришла в себя скорее сына и, взглянув на него пытливо, решительно проговорила:

— А я вот что тебе скажу, милушка... Жили мы, благодарение господу, в достатке, все у нас есть, люди нас не обегают: чего еще нам нужно? Вот ты еще только успел привезти эту жилку в дом, как сейчас и начал вздорить... Разве это порядок? Мать я тебе али нет? Какие ты слова с матерью начал разговаривать? А все это от твоей жилки... Погляди-ко, ты острребенился на сватьев-то... Я своим умом так разумею, что твой Маркушка колдун, и больше ничего. Осиновым колом его надо отмаливать, а не сорокоустом...

— Мамынька, ради Христа, прости меня дурака... — взмолился опомнившийся Гордей Евстратыч, кланяясь старухе в ноги. — Это я так... дурость нашла.

— Надо повременить, Гордей Евстратыч.

— Как знаешь, мамынька. И Маркушка про тебя говорил, что на твою молитву надеется...

— Ну, это уж он напрасно: какие наши молитвы. Сами по колено бродим в своих-то грехах.

Обдумывая все случившееся наедине, Татьяна Власьевна то решала про себя бросить эту треклятую жилку, то опять жалела ее, представляя себе Шабалина

с семидесятирублевым зонтиком в руках. В ее старой, крепкой душе боролись самые противоположные чувства и мысли, которые утомляли ее больше, чем ночная работа с кирпичами, потому что от них не было блаженного отдыха, не было того покоя, какой она испытывала после ночного подвига. Вечером Татьяна Власьевна напрасно молилась в своей комнате с особенным усердием, чтобы отогнать от себя тревожное настроение. Она чувствовала только, что с ней самой творится что-то странное, точно она сама не своя сделалась и теряла всякую волю над собой. Такое состояние продолжалось дня два, так что, удрученная нежданно свалившейся на ее плечи заботой, Татьяна Власьевна чуть не заболела, пока не догадалась сходить к о. Крискенту, к своему главному советнику во всех особенно трудных случаях жизни. В качестве духовника о. Крискент пользовался неограниченною доверенностью Татьяны Власьевны, у которой от него не было тайн.

Славный домик был у о. Крискента. Он выходил в Гнилой переулок, как мы уже знаем из предыдущего, и от брагинского дома до него было рукой подать. Наружный вид поповского дома невольно манил к себе своей патриархальной простотой; его небольшие окна глядели на Гнилой переулок с таким добродушным видом, точно приглашали всякого непременно зайти к милому старичку о. Крискенту, у которого всегда были в запасе такие отличные наливки. Калитка вела на маленький двор с деревянным полом и уютно поставленными службами; выкрашенное зеленой краской крыльцо вело в сени, где всегда были настланы чистые половики. В маленькой передней уже обдавало тем специально благочестивым запахом, какой священники уносят с собой из церкви в складках платья; пахло смешанным запахом ладана и воска, и, может быть, к этому примешивался аромат княженичной наливки, которою о. Крискент гордился в особенности.

— А... дорогая гостья! сколько лет, сколько зим не видались, — приветствовал радостно о. Крискент, встречая гостью в уютной чистенькой гостиной, походившей на приемную какой-нибудь настоятельницы монастыря.

Стены были выкрашены зеленым купоросом; с потолка спускалась бронзовая люстра с гранеными стеклышками. На полу лежали мягкие тропинки. Венские стулья, два ломберных стола, несколько благочестивых гравюр на стенах и китайский розан в зеленой кадушке дополняли картину. Сам. о. Крискент — низенький, юркий старичок, с жиденькими косицами и тоненьким разбитым тенорком — принадлежал к симпатичнейшим представителям того типа батюшек, который специально выработался на уральских горных заводах, где священники обеспечены известным жалованьем, а потом вращаются в более развитой среде, чем простые деревенские попы. Ходил о. Крискент маленькими торопливыми шажками, неожиданно повертывался на каблуках и имел странную привычку постоянно расстегивать и застегивать пуговицы своего подрясника, отчего петли обнашивались вдвое скорее, чем бы это следовало. Маленькая головка о. Крискента, украшенная редкими волосиками с проседью и таковой же бородкой, глядела кругом проницательными темными глазками, которые постоянно улыбались, — особенно когда из гортани о. Крискента вырывался короткий неопределенный смешок. Сам по себе батюшка был ни толст, ни тонок, а так себе — середка на половине. Жил он в своем домике старым бездетным вдовцом, каких немало попадается среди нашего духовенства. Тот запас семейных инстинктов, которыми природа снабдила о. Крискента, он всецело посвятил своей пастве, ее семейным делам, разным напастям и невзгодам интимного характера. Благочестивые старушки, вроде Татьяны Власьевны, очень любили иногда завернуть к о. Крискенту и покалякать со стариком от свободности о разных сомнительных предметах, тем более что о. Крискент в совершенстве владел даром разговаривать с женщинами. Он никогда не употреблял резких выражений, как это иногда делают слишком горячие ревнители священники, когда дело коснется большого греха, но вместе с тем он и не умалял проступка; затем он всегда умел во-время согласиться — это тоже немаловажное достоинство. Наконец, вообще в о. Крискенте привлекал неотразимо к себе тот дух общего

примирения и незлобия, какой так обаятельно действует на женщин: они уходили из его домика успокоенные и довольные, хотя, собственно, о. Крискент никогда ничего не говорил нового, а только соглашался и успокаивал уже одним своим видом. Роль этого добродушного человека в сущности сводилась к тому, что он, как некоторые механические приспособления, собственной особой устранял и смягчал разные неизбежные житейские столкновения, углы и диссонансы.

— Садитесь, Татьяна Власьевна... Ну, как вы поживаете? — говорил о. Крискент, усаживая свою гостью на маленький диванчик, обитый зеленым репсом. — Все к вам собираюсь, да как-то руки не доходят... Гордея-то Евстратыча частенько вижу в церкви.

— А я пришла к вам по делу, отец Крискент... — заговорила Татьяна Власьевна, поправляя около ног свой кубовый сарафан. — И такое дело, такое дело вышло — дня два сама не своя ходила. Просто места не могу себе найти нигде.

— Так, так... Конечно, бывают случаи, Татьяна Власьевна, — мягко соглашался о. Крискент, расправляя свою бородку веером. — Человек предполагает — бог располагает. Это уж не от нас, а свыше. Мы с своей стороны должны претерпевать и претерпевать... Как сказал апостол: «Претерпевый до конца, той спасен будет...» Именно!

Поместившись в другом углу дивана, о. Крискент внимательно выслушал все, что ему рассказала Татьяна Власьевна, выкладывавшая свои сомнения в этой маленькой комнатке всегда с особенной охотой, испытывая приятное чувство облегчения, как человек, который сбрасывает с плеч тяжелую ношу.

— Чего же вы хотите, то есть, собственно, что вас смущает? — спрашивал о. Крискент, когда Татьяна Власьевна рассказала все, что сама знала о жилке и о своем последнем разговоре с сыном.

— Я боюсь, отец Крискент... Сама не знаю, чего боюсь, а так страшно сделается, так страшно. Как-то оно вдруг все вышло...

— Так, так... Конечно, богатство — источник многих злоключений... особенно при наших слабостях, но, с дру-

гой стороны, Татьяна Власьевна, на богатство можно смотреть с евангельской точки зрения. Припомните евангельскую притчу о рабе, получившем десять талантов и приумножившем оные? Не так ли мы должны поступать? Если даже человек, который «зле приобретох, но добре расточих», примет свою часть в царствии небесном, тем паче войдут в него добре потрудившиеся на ниве господней... Я лично смотрю на богатство, как на испытание.

Добрый старик говорил битый час на эту благодарную тему, причем опровергал несколько раз свои же доводы, повторялся, объяснял и снова запутывался в благочестивых дебрях красноречия. Такие душеспасительные разговоры, уснащенные текстами священного писания, производили на слушательниц о. Крискента необыкновенно успокаивающее действие, объясняя им непонятное и точно преисполняя их той благодатью, носителем которой являлся в их глазах о. Крискент.

— А зачем Гордей-то Евстратыч так остребенился на меня, как только мы заговорили об этой жилке? — спрашивала Татьяна Власьевна, по своей женской слабости постоянно возвращавшаяся от самых возвышенных умозрений к заботам и мелочам моря житейского. — Это от одного разговору, отец Крискент! а что будет, ежели и в самом-то деле эта жилка богатая окажется... Сумлеваюсь я очень насчет этих полдневских и насчет Маркушки особливо сумлеваюсь. Самый был потерянный человек и вдруг накинул на себя этакое благочестие... Может, на жилке-то заклятье какое наложено, отец Крискент?..

— Ах, уж это вы даже совсем напрасно, Татьяна Власьевна: на золоте не может быть никакого заклятья, потому что это плод земли, а бог велел ей служить человеку на пользу... Вот она и служит, Татьяна Власьевна! Только каждому своя часть, и всякий должен быть доволен своей частью... Да!..

Специально в денежных делах о. Крискент отличался особенной мягкостью и податливостью, а тут выпадало такое редкое, единственное в своем роде счастье. Рядом с теоретическими построениями в голове о. Крискента вырастали самые практические соображения:

разбогатеет Гордей Евстратыч, тогда его можно будет выбрать церковным старостой, и он, конечно, от щедрот своих и послужит. Вот кончат стены в новой церкви, нужно будет иконостас заводить, ризницу подновлять — да мало ли расходов найдется!.. Эти мысли подкрепляли о. Крискента все больше и больше, и он возвысился до настоящего красноречия, когда принялся доказывать Татьяне Власьевне, что она даже не вправе отказываться от посылаемого самим богом богатства.

— Пути божии неисповедимы, Татьяна Власьевна.

— Мне опять то в голову приходит, отец Крискент, — говорила в раздумье Татьяна Власьевна, — если это богатство действительно посылает бог, то неужели не нашлось людей лучше нас?.. Мало ли бедных, милостивцев, отшельников...

— Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна... Так нельзя рассуждать. Разве мы можем своим слабым умом проникать в планы и намерения божии? Что такое человек? — персть, прах... Да. Еще раз повторяю: нужно покоряться и претерпевать, а не мудрствовать и возвышаться прегордым умом.

Впрочем, на прощанье, когда о. Крискент провожал Татьяну Власьевну в переднюю, он переменил тон и заговорил о тленности всего земного и человеческой гордости, об искушениях врага человеческого рода и слабости человека.

— Так, по-вашему, отец Крискент, лучше отказаться от жилки? — переводила на свой язык Татьяна Власьевна высокоумствования батюшки.

— О нет, я этого не сказал, как не сказал и того, что нужно брать жилку...

— Что же нам теперь делать?

Отец Крискент только развел руками, что можно было истолковать как угодно. Но именно последние-то тирады батюшки, которые как будто клонились к тому, чтобы отказаться от жилки, собственно, и убедили Татьяну Власьевну в необходимости «покориться неисповедимым судьбам промысла», то есть в данном случае взять на себя Маркушкину жилку, пока Вукол Логиныч или кто другой не перехватил ее.

— Заметьте, Татьяна Власьевна, я не говорил: берите жилку, и не говорил — откажитесь... — ораторствовал батюшка, в последний раз с необыкновенной быстротой расстегивая и застегивая аметистовые пуговицы своего камлотового подрясника. — Ужо как-нибудь пошлите ко мне Гордея-то Евстратыча, так мы покалякаем с ним по-малости. Ну, а как ваша молодайка, Дуня?

— Слава богу, отец Крискент, слава богу... Скромная да тихая, воды не замутит, только, кажется, ленивенькая, Христос с ней, богородица... Ну, да обойдется помаленьку. Ариша, та уж очень бойка была, а тоже уходилась, как Степушку бог послал.

— Слава богу, слава богу... — повторял о. Крискент, как эхо.

Но Гордей Евстратыч не пошел к о. Крискенту, как его ни упрашивала об этом Татьяна Власьевна. Для окончательного решения вопроса о жилке был составлен небольшой семейный совет, в котором пригласили принять участие и Зотушку. В исключительных случаях это всегда делалось, потому что такой порядок был заведен исстари. Зотушка являлся в «горницы» с смиренным видом, садился в уголок и смиренно выслушивал, как набольшие умные речи разговаривают. Настоящий совет состоял из трех лиц: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч и Зотей Евстратыч. Зотушка хотя и был пьяница, но и у него ум-то не телята отжевали, притом своя кровь.

— Так вот, Зотей, какое дело-то выходит, — говорил Гордей Евстратыч, рассказав все обстоятельства по порядку. — Как ты думаешь, брать жилку или не брать?

Зотушка разгладил свои косицы на макушке, вытянул шею и ответил:

— А по моему глупому разуму, Гордей Евстратыч, неладное вы затеяли... Вот что!.. Жили, слава богу, и без жилки, проживем и теперь... От этого золота один грех...

Никто не ожидал такого протеста со стороны Зотушки, и большаки совсем онемели от изумления. Как, какой-нибудь пропоец Зотушка и вдруг начинает выговаривать поперечные слова... Этот совет закончился

позорным изгнанием Зотушки, потому что он решительно ничего не понимал в важных делах, и решение состоялось без него. Татьяна Власьевна больше не сумлевалась, потому что о. Крискент прямо сказал и т. д.

— Только поскорее... — торопила теперь старуха. — Как бы Вукол-то не заграбастал нашу жилку...

V

На Урале завод Белоглинский славился как один из самых старинных заводов, на котором еще уцелели такие фамилии, как Колобовы, Савины, Шабалины и т. д. Это были крепкие семьи старинного покроя; они могли сохраниться в полной неприкосновенности только в такой уральской глуши, куда был заброшен Белоглинский завод. Раскол здесь свил себе теплое гнездо, и австрийские архиереи особенно любили Белую Глинку, где всегда находили самый радушный прием и могли скрываться от «ревности» полиции и православных миссионеров. Отсюда вышли все эти Кутневы, Сиговы и Девяткины, которые прославились своим богатством и широкой жизнью; отсюда же брали невест, чтобы освежить вырождавшиеся семьи столичных купеческих фирм. Слава белоглинских красавиц-староверок гремела далеко и гремела недаром: невесты были наподбор — высокие, белые, толстые, глазастые, как те племенные телки, которые «идут только на охотника». У Колобовых были две дочери, кроме Ариши, и обе вышли за купцов в Нижний; у Савиных, кроме Дуни, была дочь за рыбинским купцом-миллионером; Груня Пятова в Москву вышла, Настя Шабалина в Сарапуль... У этих Шабалиных был настоящий куст из невест, да из каких невест — все купечество о них говорило на Ирбитской, в Нижнем, в Крестах. Все разошлись по рукам, а дома не осталось никого даже на поглядочку. Савины да Колобовы, те догадались — по одной дочке оставили на своих глазах, то есть выдали за брагинских ребят. Брагинская семья тоже была настоящая семья, хотя и не из богатых. Но важно было то, что хоть одна дочь на глазах, не ровен час, попритчилось что старикам, так

есть кому глаза закрыть. Ни Михалке Брагину, ни Архипу в жисть свою не видать бы, как своих ушей, таких красавиц-жен, ежели бы не был такой стариковский расчет да не пользовалась бы Татьяна Власьевна всеобщим почетом за свою чисто иноческую жизнь.

— Мы этих на племя оставили, — шутили старики Колобовы и Савины, — а то ростим-ростим девок, глядишь, всех и расхватали в разные стороны... Этак, пожалуй, всю нашу белоглинскую природу переведут до конца!

Теперь из завидных белоглинских невест оставались только Феня Пятова, да Нюша Брагина, да еще у Шабалиных, у брата Вукола Логиныча, подрастала разная детвора, так как там начинали выравниваться три девчонки.

Таков был Белоглинский завод, и недаром гордились им белоглинцы, крепко держась за свои стародавние уставы и житейские «свычаи». Жили крепко, по-старинному, до новшеств было мало охотников, а на таких отщепенцев, как Вукол Логиныч, смотрели, как на людей совсем пропащих. Были и такие примеры: завертится человек, глядишь — и пропал. Хоть взять тех же Кутневых и Девяткиных — весь род пошел на перевод, потому что захотели жить по-новому, по-модному. Белоглинцы были глубоко предубеждены против «прелестей» новой модной жизни, которая уже поглотила многих.

Мы уже сказали, что семья Брагиных была не из богатых, потому что торговля «панским товаром» особенно больших выгод не могла доставить, сравнительно с другими отраслями торговли. Слабое место заключалось в известной моде на известные товары, которая проникла и в Белоглинский завод. Белоглинские бабы разбирали нарасхват то кумачи, то кубовые ситцы, то какой-то «немецкий узор» и ни за что не хотели покупать никаких других; являлись остатки и целые штуки, вышедшие совсем из моды, которые и гнили на верхних полках, терпеливо ожидая моды на себя или неприхотливых покупателей. Впрочем, и на эту «браковку» был сбыт, хотя довольно рискованный, именно, этот завалявшийся товар пускали в долг по деревням, где

влияние моды чувствовалось не в такой степени, как в Белоглинском заводе. Такими покупателями, между прочим, являлись все приисковые и в том числе, конечно, обитатели Полдневской на первом плане.

— Уж брошу же я эти панские товары! — в сотый раз говорил Гордей Евстратыч, когда в конце торгового года с Нюшей «сводил книгу», то есть подсчитывал общий ход своих торговых операций. — Просто житья не стало... Эти проклятые бабенки точно белены объедятся: подавай им желтого, да еще не желтого, а «ранжевого». А куда я с другим товаром денусь? Ведь за него не щепки, а деньги давали. Ничего не сообразишь с этими бабами. То ли дело хлебом или железом торговать: всегда одна мода, и остатков да обрезков не полагается. Вот ужо брошу эту панскую торговлю да займусь хлебом... Вон Пазухины живут себе, как у Христа за пазухой, не принимают от баб муки-мученической.

— Тоже и с хлебом всяко бывает, — степенно заметит Татьяна Власьевна, — один год мучка-то ржаная стоит полтина за пуд, а в другой и полтора целковых отдашь... Не вдруг приноровишься. Пазухины-то в том году купили этак же дорогого хлеба, а цена-то и спала... Четыреста рубликов из кармана.

— А все-таки, мамынька, я брошу этот панский товар.

Но все в брагинском доме отлично знали, что Гордею Евстратычу не расстаться с панской торговлей, потому что эта торговля батюшком Евстратом Евстратычем ставилась, а против батюшки Гордей Евстратыч не мог ни в чем идти. «Батюшко говорил», «батюшко велел», «батюшко наказывал» — это было своего рода законом для всего брагинского дома, а Гордей Евстратыч резюмировал все это одной фразой: «Поколь жив, из батюшкиной воли не выйду». И действительно, все в брагинском доме творилось в том самом виде, как было при батюшке Евстрате Евстратыче. Покрой платья, кушанья, взаимные отношения, семейные праздники, торговля, привычки, поверья — все оставалось в том виде, в каком осталось от батюшки. Это был целый культ предкам в лице одного батюшки. Так, посредине дома стояла громадная «батюшкина печь» величиною с це-

лую комнату; ее топили особенными полутoрааршинными дровами, причем она страшно накаливалась и грозила в одно прекрасное утро пустить на ветер весь батюшков дом. Все уговаривали Гордея Евстратыча переделать эту печь и поставить на ее место обыкновенную кухонную, а затем другую «голанку» — и места бы много очистилось, да и дров пошло бы вдвое меньше.

— В самом деле, Гордей Евстратыч, — уговаривал упрямого старика даже о. Крискент, — вот у меня на целый дом всего две маленьких печи — и тепло, как в бане. Вот бы вам...

— Это батюшкову-то печь ломать? — изумлялся каждый раз Гордей Евстратыч. — Что вы, что вы, отец Крискент... Нет, этому не бывать, потому это какая печь — батюшка-то сам ее ставил. Теперь мне пятьдесят три года, а я еще ни одного кирпича в ней не поправлял. Разве нынче умеют такие кирпичи делать? Вон, у вас на церковь делают кирпичи: весу в нем четыре фунта, а пальцем до него дотронулся — он сам и крошится, как сухарь. А батюшкины кирпичи по двенадцати фунтиков каждый и точно вылитые из чугуна... Нет, я батюшкиной печи не потрону, отец Крискент. Вот умру, тогда дети, ежели захотят умнее отца быть, пусть ломают батюшкову печь...

— Да, оно, конечно... пожалуй... нынешние кирпичи ничего не стоят, — соглашался о. Крискент.

Сам Гордей Евстратыч походил на двенадцатифунтовый кирпич из батюшковой печи: он так же крепко выдерживал все житейские передряги, соблазны и напасти. Это был замечательно выдержанный, ровный и сосредоточенный характер, умевший делать уступки только для других, а не для себя. Все, что ни делал Гордей Евстратыч, он делал с тем особенным достоинством, с каким делали свои дела старинные люди. Повидимому, самые ничтожные действия домашнего обихода для него были преисполнены великого внутреннего смысла. Например, чего проще напиться чаю? А между тем у Гордея Евстратыча из этого заурядного проявления вседневной жизни составлялась настоящая церемония: во-первых, девка Маланья была обязана подавать самовар из секунды в секунду в известное время —

утром в шесть часов и вечером в пять; во-вторых, все члены семьи должны были собираться за чайным столом; в-третьих, каждый пил из своей чашки, а Гордей Евстратыч из батюшкова стакана; в-четвертых, порядок разливания чая, количество выпитых чашек смотря по временам года и по значениям постных или скоромных дней, крепость и температура чая — все было раз и навсегда установлено, и никто не смел выходить из батюшкова устава. В будни это чаевание имело деловой сосредоточенный характер, а в праздники, особенно в разговенья, превращалось в настоящее торжество. Пить чай Гордей Евстратыч любил до страсти и выпивал прямо из-под крана десять стаканов самого крепкого чая, иначе не садился за стол, даже в гостях, потому что не любил не доканчивать начатого дела. «Чай разбивает кровь», — говорил Гордей Евстратыч, вытирая катившийся с лица пот особым полотенцем. Обеды и ужины проходили еще торжественнее чаеванья, как и вообще весь домашний распорядок. Больше всего ненавидел в людях Гордей Евстратыч торопливость, потому что, кто торопится, тот, по его мнению, всегда плохо делает свое дело и потом непременно обманет. Каким путем вязалось последнее заключение с торопливостью — оставим на совести самого Гордея Евстратыча, который всегда говорил, что торопливого от плута не различить. По всей вероятности, это наблюдение было унаследовано от батюшкиных заветов.

Как семьянин, Гордей Евстратыч был безупречный человек; он ко всем относился одинаково ровно, судил только после основательного рассмотрения проступка, не любил дрязг и ссор и во всем прежде всего домогался спокойного порядка. Овдовев рано, он не женился во второй раз для детей, которых и воспитывал по батюшкиным строгим заветам, не давая потачки в важном и не притесняя напрасно в мелочах. Крику и шуму он не выносил вообще, а все делал с повадкой, степенно, почему и недолюбливал нынешних модных людей, которые суются в делах, как угорелые. Но зато с старинными людьми Гордей Евстратыч обращался так важевато, что удивлял даже самых древних стариков. Особенно хорош бывал Гордей Евстратыч по праздникам,

когда являлся в свою единоверческую церковь, степенно клал установленный «начал» с подрушником в руках, потом раскланивался на обе стороны, выдерживал всю длинную службу по ниточке и часто поправлял дьячков, когда те что-нибудь хотели пропустить или просто забалтывались. В двунадесятые праздники он становился на клирос и пел свежим тенором по крюкам, которые постиг в совершенстве еще под батюшковым руководством. Так же себя держали Колобовы, Савины и Пазухины, перешедшие в единоверие, когда австрийские архиереи были переловлены и рассажены по православным монастырям, а без них в раскольничьем мире, имевшем во главе старцев и стариц, начались бесконечные междоусобия, свары и распри. Только Шабалины продолжали упорно держаться древнего благочестия, несмотря на всевозможные внешние и внутренние запинания, хотя и не избегали благословенных церковников, как они называли единоверцев.

Но как строго ни соблюдал себя и свою жизнь Гордей Евстратыч, — он являлся только выразителем ее внешней стороны, а самый дух в доме поддерживался Татьяной Власьевной, которая являлась значительной величиной в своем кругу. Никто лучше не знал распорядков, свычаев и обычаев старинного житья-бытья, которое изобрело тысячи церемоний на всякий житейский случай, не говоря уже о таких важных событиях, как свадьбы, похороны, родины, разные семейные несчастия и радости. К Татьяне Власьевне шли за советом и указанием по всякому поводу, и она никому не умела отказать, даже самому Вуколу Логинычу, если бы он пришел к ней. Кроме этого, она славилась, как известная постница, богомолка и начетчица, а затем как тайная благодетельница. Конечно, под началом такого человека жизнь в брагинском доме текла самым образцовым порядком, на поученье всем остальным. Несмотря на свои малые достатки, Татьяна Власьевна всегда ухитрялась прокармливать у себя во флигельке пять-шесть бесприютных старушек. Вообще это была типичная представительница раскольничьей старухи, направлявшей всем домом, как улитка своей раковиной. Быть в меру строгой и в меру милостивой, уметь болеть

чужими напастями и не выдавать своих, выдерживать характер даже в микроскопических пустяках, вообще задавать твердый и решительный тон не только своему дому, но и другим — это великая наука, которая вырабатывалась в раскольничьих семьях веками.

К снохам Татьяна Власьевна относилась, как к родным дочерям, и они походили под ее началом на двух сестер, потому что всегда одевались одинаково, чем приводили в глубокое умиление истинных почитателей старины. Белокурая красавица Ариша и высокая полная Дуня, когда шли в церковь в одинаковых шелковых платочках и в таких же сарафанах с настоящим золотым позументом, действительно представляли умилительное зрелище. И мужья у них были славные. Конечно, Михалко немного был тяжел характером, лишку не разговорится, но парень основательный и всем делом мог один заправлять; Архипу всего еще минуло девятнадцать лет, и он, хотя был женатый человек, но в своей семье находился на положении подростка. С него большой работы и не спрашивалось; лишь бы присматривался около отца да около старшего брата, а там в годы войдет, так и сам других поучит. Только вот характером Архип издался ни в мать, ни в отца, ни в бабушку, а как-то был сам по себе: все ему нипочем, везде по колено море. Чтобы малый не избаловался, Татьяна Власьевна нарочно и женила его раньше, да и жену ему выбрала тихую, чтобы мужа удерживала. Снохи втягивались в порядки брагинского дома исподволь и незаметно делались его неотъемлемой составной частью, как члены одного живого организма.

Вообще невестками своими, как и внуками, Татьяна Власьевна была очень довольна и в случае каких недоразумений всегда говорила: «Ну, милушка, час терпеть, а век жить...» Но она не могла того же сказать о невитом сене, Нюше, характер которой вообще сильно беспокоил Татьяну Власьевну, потому что напоминал собой нелюбимую дочь-модницу, Алену Евстратовну. Конечно, последнего осторожная старуха никому не высказывала, но тем сильнее мучилась внутренно, хотя Нюша сама по себе была девка шелк-шелком, и из нее подчас можно было веревки вить.

— Ох, мудреная ты моя головушка, — иногда говорила Татьяна Власьевна, когда Нюша с чем-нибудь приставала к ней. — Как-то ты жить-то на белом свете будешь?

— А так и буду... Если бранить будешь, в скиты уйду к Шабалиным.

— Ах, ну тебя совсем... Вот ужо услышит отец-то, так он тебя за косу.

Вообще брагинская семья была самой образцовой, как полная чаша, и даже модница Алена Евстратовна и пьяница Зотушка не ставились в укор Татьяне Власьевне, потому что в семье не без урода.

Судьба Зотушки, любимого сына Татьяны Власьевны, повторяла собой судьбу многих других любимых детей — он погиб именно потому, что мать не могла выдержать с ним характера и часто строжила без пути, а еще чаще миловала. Способный, живой ребенок скоро понял мать, а потом забрал и свою волю, которая и привела его к роковой первой рюмочке. Приспособляли Зотушку к разным занятиям, но из этого ничего не вышло, и Зотушка остался просто «при домашности», говоря про себя, что без него, как без поганого ведра, тоже не обойдешься... Вместо настоящего дела Зотушка научился разным художествам: отлично стряпал пряники, еще лучше умел гонять голубей, знал секреты разных мазей, имел вообще «легкую руку на скота», почему и заведовал всей домашней скотиной, когда был «в себе», обладал искусством ругаться с стряпкой Маланьей по целым дням и т. д., и т. д.

VI

С угла на угол от брагинского дома стоял пятистенный дом Пазухиных, семья которых состояла всего из трех членов — самого хозяина Силы Андроныча, его жены Пелагеи Миневны и сына Алексея. В их же доме проживала старая родственница с мужней стороны, девица Марфа Петровна; эта особа давно потеряла всякую надежду на личное счастье, поэтому занималась исключительно чужими делами и в этом достигла

замечательного искусства, так что попасть на ее острый язычок считалось в Белоглинском заводе большим несчастием, вроде того, если бы кого продернули в газетах.

— А у Брагиных-то не того... — заметила однажды Марфа Петровна, когда они вместе с Пелагеей Миневной перекладывали на погребе приготовленные в засол огурцы вишневым и смородинным листом.

— А что, Марфа Петровна? — осведомилась Пелагея Миневна, шустрая старушка с бойкими черными глазами.

— Да так!.. неладно, — нарочно тянула Марфа Петровна, опрокидываясь в большую кадочку своим полным корпусом по пояс; в противоположность общепринятому типу высохшей, поблекшей и изможденной неудовлетворенными мечтаниями девственницы, Марфа Петровна цвела в сорок лет, как маков цвет, и походила по своим полным жизни формам скорее на счастливую мать семейства, чем на бесплодную смоковницу.

— Уж не болен ли кто? — сделала догадку Пелагея Миневна, осторожно опуская на пол решетку с вымытыми в двух водах и вытертыми насухо кунгурскими огурцами.

В Белоглинском заводе климат был настолько суров, что огурцы росли только в тепличках и парниках, как это было у Пятовых и Шабалиных, а все остальные должны были покупать привозный товар. Обыкновенно огурцы привозили из Кунгурского уезда, как арбузы из Оренбургской губернии, а яблоки из Перми.

Пробойная и дошлая на все руки Марфа Петровна, кажется, знала из своего уголка решительно все на свете и, как какой-нибудь астроном или метеоролог, делала ежедневно самые тщательные наблюдения над состоянием белоглинского небосклона и заносила в свою памятную книжку малейшие изменения в общем положении отдельных созвездий, в состоянии барометра и колебаниях магнитной стрелки. На своем наблюдательном посту Марфа Петровна изобрела замечательно точные методы исследования, так что, как другие великие астрономы, могла предугадывать события и даже предчувствовать, чего астрономы еще не могут добиться.

Так и в данном случае для Марфы Петровны было совершенно достаточно заметить, что в брагинском доме явились некоторые тревожные признаки, как она сейчас же решила, что там неладно. Опытный пчеловод по гуденью пчел узнает состояние улья. Эти признаки были следующие: в горнице Гордея Евстратыча по ночам горит огонь до второго и до третьего часу, невестки о чем-то перешептываются и перебегают по комнатам без всякой видимой причины, наконец сама Татьяна Власьевна ходила к о. Крискенту, что Марфа Петровна видела собственными глазами. Кажется, достаточно...

— В самом деле, не прихворнул ли у них кто? — спрашивала во второй раз Пелагея Миневна, напрасно стараясь замаскировать свое неукротимое бабье любопытство равнодушным тоном.

— Нет, все здоровы, а только что-то неладно... Вон в горнице-то у Гордея Евстратыча до которой поры по ночам огонь светится. Потом сама-то старуха к отцу Крискенту ходила третьева дни...

— Неужели?.. Как же это я-то ничего не заметила, Марфа Петровна?..

В уме обе женщины сейчас же перебрали все подходящие мотивы, но ничего не объяснялось ими. Уж не сватают ли Нюшу, или, может, письмо откуда получили... Вообще это неожиданное открытие встревожило обеих женщин, и Марфа Петровна сейчас же после обеда, закинув какое-то заделье, отправилась сначала к Савиным, а потом к Колобовым. Эта наблюдательная и в сущности очень добрая особа работала на Пазухиных, как мельничное колесо, но, когда на горизонте всплывало тревожившее ее облако, она бросала всякую работу, надевала на голову черную шерстяную шаль и отправлялась по гостям, где ей всегда были рады. Известный запас новостей мучил Марфу Петровну, как мучит картежника каждый свободный рубль или как мучит нас самая маленькая песчинка, попавшая в глаз; эта девица не могла успокоиться и войти в свою рабочую колею до тех пор, пока не выбалтывала где-нибудь у Савиных или Колобовых решительно все, что у нее лежало на душе.

«Пошла наша кума со сплетней, как курица с яйцом», — подумала Пелагея Миневна про Марфу Петровну, но сказать это вслух, конечно, побоялась.

А Марфа Петровна, торопливо переходя дорогу, думала о том, что авось она что-нибудь узнает у Савиных или Колобовых, а если от них ничего не выведает, тогда можно будет завернуть к Пятовым и даже к Шабалиным. Давно она у них не бывала и даже немножко сердилась, потому что ее не пригласили на капустник к Шабалиным. Ну, да уж как быть, на всякий чох не наздравствуешься.

Савины жили в самом рынке, в каменном двухэтажном доме; второй этаж у них всегда стоял пустой, в качестве парадной половины «на случай гостей». Сами старики с женатым сыном жили в нижнем этаже, где летом было сыро, а зимой холодно. Крытый наглухо, по-раскольничьи, широкий двор и всегда запертые на щеколду ворота савинского дома точно говорили о том, что в нем живут очень плотно. Старик Кондрат Гаврилыч немножко «скудался глазами» и редко куда выходил; всей торговлей заправлял женатый сын. Собственно, из этой семьи славилась сама Савиха, или Матрена Ильинична, высокая дородная старуха, всегда щеголявшая в расшитой шелками и канителью кичке. Красавица была в свое время и великая щеголиха, а теперь пользовалась большой популярностью, как говоруха. Сама Марфа Петровна побаивалась бойкой на язык Савихи и выучилась у ней многим ораторским приемам.

— Ах, кумушка, наконец-то завернула к нам, — ласково встретила Матрена Ильинична гостью. — А мы тут совсем мохом обросли без тебя...

— То-то, поди, соскучились? — отшучивалась Марфа Петровна, стараясь попасть в спокойно-добродушный тон важной старухи. — Авдотья-то Кондратьевна давненько у вас была?

— На той неделе забегала под вечерок. Рубахи приходила кроить своему мужику. Дело-то непривычное, ну, и посумлевалась, как бы ошибочку не сделать, а то Татьяна-то Власьевна, пожалуй, осудит... А что?

— Да я так сказала... живем из окна в окно, а я что-то давно не видала Авдотьи-то Кондратьевны. Цветет она у вас, как мак, и Гордей-то Евстратыч не насмотрится на нее.

Марфа Петровна побоялась развязать язык перед Матреной Ильиничной, потому что старуха была нравная, с характером, да и милую дочку Дунюшку недавно еще выдала в брагинский дом, пожалуй, неровен час, обидится чем-нибудь.

— А как Кондрат Гаврилыч? — тараторила Марфа Петровна, заминая разговор.

— Чего ему делается... — нехотя ответила Матрена Ильинична. — Работа у него больно невелика: с печи на полати да с полатей на печь... А ты вот что, Лиса Патрикеевна, не заметай хвостом следов-то!

— Я ничего, Матрена Ильинична... ей-богу... Я так сказала...

— Не заговаривай зубов-то, матушка, я немножко пораньше тебя родилась...

Делать нечего, Марфа Петровна рассказала все, что сама знала, и даже испугалась, потому что совсем перетревожила старуху, которая во всем этом «неладно» видела только одну свою ненаглядную Дунюшку, как бы ей чего не сделали в чужом дому, при чужом роде-племени.

— А я еще зайду к Колобовым, может, у них не узнаю ли што, — успокаивала Марфа Петровна, — а от них, если ничего не узнаю, дойду до Пятовых... Там уж наверно все знают. Феня-то Пятова с Нюшей Брагиной — водой не разлить...

— Ох, боюсь я за Дуняшку-то свою, — стонала Матрена Ильинична. — Внове ее дело, долго ли до какой напасти...

— Так уж я зайду к вам, Матрена Ильинична, как пойду обратно, и все выложу, как на духу.

— Ну, ступай, ступай, таранта.

Марфа Петровна полетела в колобовский дом, который стоял на берегу реки, недалеко от господского дома, в котором жили Пятовы. По своей архитектуре он принадлежал к тем старинным деревянным постройкам, с светелками и переходами, какие сохранились

только в лесистой северной полосе России и только отчасти на Урале. В колобовском доме могло поместиться свободно целых пять семейств, и, кроме того, в подвале была устроена довольно просторная моленная. Старики Колобовы были только наполовину единоверцами и при случае принимали австрийских попов, хотя и скрывали это от непосвященных. Самойло Михеич вел довольно большую железную торговлю; это был крепкий седой старик с большой лысой головой и серыми, светлыми улыбавшимися глазами, — Ариша унаследовала от отца его глаза. Жена Самойла Михеича была как раз ему под стать, и старики жили, как два голубя; Агнея Герасимовна славилась как большая затейница на все руки, особенно когда случалось праздничное дело, — она и стряпать первая, и гостей принимать, и первая хоровод заведет с молодыми, и даже скакала сорокой с малыми ребятишками, хотя самой было под шестьдесят лет. Вообще веселая была старушка, гостеприимная, ласковая. В большом колобовском доме с старинной вычурной мебелью и какими-то невероятными картинами в золоченых облупившихся рамах все чувствовали себя как-то особенно свободно, точно у себя дома. Марфа Петровна особенно любила завернуть к Агнее Герасимовне и покалякать с ней от души; добрая, хлебосольная старушка не прочь была и посплетничать, хотя и сознавала, что это нехорошо. Да и как удержаться, когда подвернется такая сорока, как Марфа Петровна.

— Милости прошу, Марфа Петровна, давненько не видались, — встретила свою гостью Агнея Герасимовна. — Новенького чего нет ли? Больше нашего людей-то видите, — продолжала хозяйка, вперед знавшая, что недаром гостья тащилась такую даль.

Марфа Петровна вылила свои наблюдения о брагинском доме, прибавив для красного словца самую чуточку. В оправдание последнего Марфа Петровна могла сказать то, что сама первая верила своим прибавкам. Принесенное ею известие заставило задуматься Агнею Герасимовну, которая долго припоминала что-то и, наконец, проговорила:

— Чуть-чуть не захлестнуло... И ведь какая штука вышла! На неделе как-то наша пестрянка две ночи заночевала в лесу, ну, Самойло Михеич и послал кучера искать ее. Только кучер целый день проездил на вершной, а потом и приехал с пустыми руками. Стала я его расспрашивать, где и как он искал, — грешный человек, подумала еще, что где-нибудь в кабаке он просидел! — ну, кучер мне и говорит, што будто встретил он на дороге в Полдневскую Гордея Евстратыча. Я еще посмеялась про себя, думаю, и соврать-то не умеет мужик... А оно выходит, пожалуй, и правда!..

Это открытие дало неистощимый материал для новых предположений и догадок. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что действительно в брагинском доме что-то неладно. Куда ездил Гордей Евстратыч? Кроме Полдневской — некуда. Зачем? Если бы он ездил собирать долги с полдневских мужиков, так, во-первых, Михалко недавно туда ездил, как знала Агнея Герасимовна от своей Ариши, а во-вторых, зачем тогда Татьяне Власьевне было ходить к о. Крискенту. И т. д., и т. д.

Одним словом, Марфа Петровна возвратилась домой с богатым запасом новостей, который еще увеличился дорогой, как катившийся под гору ком снега. Пелагея Миневна так и ахнула, когда услыхала, что Гордей Евстратыч сам гонял в Полдневскую. Теперь дело было уже яснее дня! Брагины хотят заняться приисками... Да! И, главное, потихоньку от других. Хороши, нечего сказать, а еще суседи. Если бы не Марфа Петровна, да тут бог знает что вышло бы. Пелагея Миневна и Марфа Петровна так разгорячились от этих разговоров, что открыто начали завидовать несметным богатствам Брагиных, позабыв совсем, что эти богатства пока еще существовали только в их воображении.

— И вот попомните мое слово, Пелагая Миневна, — выкрикивала Марфа Петровна, страшно размахивая руками, — непременно все они возгордятся и нас за соседей не будут считать. Уж это верно! Потому, как мы крестьянским товаром торгуем, а они золотом, — компанию будут водить только с становым да с мировым...

— Ну, про молодых не знаю, а что до Татьяны Власьевны, так она не такая старуха.

— Ох, не говорите, Пелагея Миневна: враг горами качает, а на золото он и падок... Я давеча ничего не сказала Агнее Герасимовне и Матрене Ильиничне, — ну, родня, свои люди, — а вам скажу. Вот сами увидите... Гордей Евстратыч и так вон как себя держит высоко; а с тысячами-то его и не достанешь. Дом новый выстроят, платья всякого нашьют...

Обе женщины пожалели вместе, что вот им не достался же до сих пор никакой прииск.

Кроме этого, Пелагея Миневна лелеяла в душе заветную мысль породниться с Брагиными, а теперь это проклятое золото могло разрушить одним ударом все ее надежды. Старушка знала, что Алешке нравится Нюша Брагина, а также то, что и он ей нравится.

«Уж как бы хорошо-то было, — думала Пелагея Миневна. — Еще когда Алеша да Нюша ребятками маленькими были и на улице играли постоянно вместе, так я еще тогда держала на уме. И лучше бы не надо...»

Действительно, между Алексеем Пазухиным и Нюшей незаметно образовались те хорошие и дружеские отношения, под которыми тлела настоящая любовь. Собственно, стороны не давали отчета в своих чувствах, а пока довольствовались тем, что им было хорошо вместе. Детская дружба принимала форму более сильного чувства, и только недоставало у Алеши смелости, чтобы взять свое. Он был скромный и совестливый парень, а Нюша такая бойкая и красивая. В ее присутствии он каждый раз сильно робел и беспрекословно переносил всевозможные шалости, когда Нюша, улучив свободную минутку, встречалась с своим обожателем где-нибудь у ворот. Эти свидания происходили в сумерки. Нюша, накинув на плечи заячью шубейку, выскакивала за ворота и, по странной случайности, как-то всегда попадала на Алешу, который только и жил сумерками.

— Вот чему не потеряться-то... — смеялась Нюша, кутаясь в шубейку. — Носу нельзя показать без тебя, Алеша. Ты никак в сторожа нанялся в нашу Старую-Кедровскую?

— У вас, Анна Гордеевна, всегда такие слова... как ножом по сердцу режете...

— Какая я тебе Анна Гордеевна?.. Придумал тоже... А я так про себя всегда тебя Алешкой навеличиваю: Алешка Пазухин — и вся тут. Вместе в снежки, бывало, играли, на салазках катались... Позабыл, видно?

— Мало ли что прежде было... И теперь можно бы когда вечерком по улице на саночках прокатиться... Эх, лихо бы я вас прокатил, Анна Гордеевна!

— А бабушка-то?.. Да она тебе все глаза выцарапает, а меня на поклоны поставит. Вот тебе и на саночках прокатиться... Уж и жисть только наша! Вот Феня Пятова хоть на ярмарку съездила в Ирбит, а мы все сиди да посиди... Только ведь нашему брату и погулять, что в девках; а тут вот погуляй, как цепная собака. Хоть бы ты меня увез, Алешка, что ли... Ей-богу! Устроили бы свадьбу-самокрутку, и вся тут. В Шабалинских скитах старики кого угодно сводом свенчают.

Иногда Нюше доставляло громадное удовольствие хорошенько помучить своего обожателя, особенно в святки, где-нибудь на вечеринке. У Алешки был соперник в лице Володьки Пятова, избалованного барчука, который учился в гимназии до третьего класса и успел отведать всяких благ городской цивилизации. С белоглинскими девицами, в качестве управительского сынка, он обращался совсем свободно и открыто ухаживал за Нюшей, которая дурачилась с ним напропалую, чтобы побесить Алешку. На то и святки, чтобы дурачиться. По старинному обычаю, на белоглинских вечерах молодые люди открыто целовались между собой бесчисленное количество раз, как того требовала игра или песня. Даже сама строгая Татьяна Власьевна раз, когда Нюша ни за что не хотела целоваться с каким-то не понравившимся ей кавалером, заставила ее исполнить все по правилу и прибавила наставительно: «Этого, матушка, нельзя, чтобы не по правилу — из игры да из песни слова не выкинешь... За углом с парнями целоваться нехорошо, а по игре на глазах у отца с матерью и бог простит!»

Увертливый, смелый, научившийся всяким художествам около арфисток и других городских девиц,

Володька Пятов являлся для застенчивого Алеши Пазухина истинным наказанием и вечным предметом зависти. В обществе этого сорванца Нюша делалась совсем другой девушкой и точно сама удивлялась, как она могла по вечерам выбегать за ворота для этого пустоголового Алешки, который был просто смешон где-нибудь на вечеринках или вообще в компании.

— Неужели он тебе нравится, этот чурбан Алешка? — иногда спрашивала Нюшу бойкая Феня Пятова. — Он и слова-то по-человечески не может сказать, я думаю... К этакому-то чуду ты и выбегаешь за ворота? Ха-ха...

— А что же мне делать, если никого другого нет... Хоть доколе в девках-то сиди. Ты вон небось и на ярмарке была и в другие заводы ездишь, а я все сиди да посиди. Рад будешь и Алешке, когда от тоски сама себя съесть готова... Притом меня непременно выдадут за Алешку замуж. Это уж решено. Хоть поиграю да потешусь над ним, а то после он же будет величаться надо мной да колотить.

— Уж и нашли же вы сокровище... Где у ваших-то глаза, если так? Да я бы удавилась, а не пошла за твоего Алешку...

— Это все бабушка, Феня... А у ней известная песня: «Пазухинская природа хорошая; выйдешь за единственного сына, значит, сама большая в доме — сама и маленькая... Ни тебе золовок, ни других снох да деверьев!» Потолкуй с ней, ступай... А, да мне все равно! Выйду за Алешку, так он у меня козырем заходит.

— Вот если бы он в отца, в Силу Андроныча, уродился, тогда бы другое дело...

Сила Андронович Пазухин был знаменитый человек в своем роде, хотя и не из богатых; красавец, силач, краснобай — он был мастер на все руки и был не последним человеком в среде белоглинского купечества, даром что торговал только крестьянским товаром. В свое время об Силе Андроныче сохнули да вздыхали все белоглинские красавицы, и даже сама Матрена Ильинична, как говорила молва, была неравнодушна к нему. В Николин день, девятого мая, когда в Белоглин-

ском заводе праздновали престольный праздник и со всех сторон набирались гости, на площади устраивалась старинная русская потеха — борьба. Это была настоящая церемония, в которой из года в год заводы соперничали между собой своими борцами. Приезжали из завода Курмыша, из Вязловского, из Плотицынского; со всех сторон набирался разный народ. И каждый раз в течение двадцати лет Сила Пазухин «уносил круг», то есть оставался победителем. В сорок лет Пазухин кончил эту молодецкую забаву и только под веселую руку иногда любил тянуться на палке, причем обыкновенно перетягивал всех. Теперь Силе Андронычу было под шестьдесят лет. Это был приземистый толстый старик с обрюзгшим лицом и кудрявыми волосами; прежняя красота заплыла жиром, а сила износилась. Не имея возможности тешиться прежними молодецкими забавами, как борьба и кулачный бой, Сила Андронович пристрастился к лошадям и выкармливал замечательных бегунов киргизской крови. Купеческих лошадей с выгнутыми, как триумфальная арка, шеями он просто ненавидел. К недостаткам этого старика принадлежала, между прочим, его необыкновенная «скорость на руку», за что он платился сам первый. Семейных своих он не шевелил пальцем, впрочем, не из каких-нибудь гуманных побуждений, а просто из боязни порешить одним ударом. Зато прислуге, особенно подручным по лавке и кучерам, крепко доставалось от его скорости; поэтому у него кучера славились, как самый отпетый народ, особенно один, по прозванию Ворон, любимец Силы Андроныча. Их сближение произошло довольно оригинально. Купил Сила Андроныч с оренбургской линии гнеденького иноходчика и стал его выезжать, а потом заметил, что иноходчик с тела спадает. Отыскав какую-то ссадину на лопатке, несомненное доказательство жестокого обращения Ворона, — Сила Андроныч захотел немножко поучить последнего, а наука короткая: положил нагайку в карман и — в конюшню к Ворону. Ворон что-то прибирал в конюшне, когда хозяин вошел к нему. Это был мрачный субъект, черный, как цыган, и с одним глазом. Сила Андроныч, прочитав приличное наставление своему любимцу на тему, что «блажен иже

и скоты милует», для большей убедительности своих слов принялся опытной рукой полировать Ворона. Но Ворон не потерялся, а, схватив запорку от конюшни, быстро из оборонительного положения перешел в наступательное: загнал хозяина в угол и в свою очередь так его поучил, что тот едва уплел ноги в горницу.

— Молодец, если умел Сила Пазухина поучить...— говорил на другой день Сила Андроныч, подавая Ворону стакан водки из собственных рук.— Есть сноровка... молодец!.. Только под ребро никогда не бей: порешишь грешным делом... Я-то ничего, а другому, пожиже, и не дохнуть. Вон у тебя какие безмены...

Ворон и теперь жил у Пазухиных и пользовался неизменным расположением хозяина все время, хотя сам оставался туча-тучей.

Сын Алексей нисколько не походил на отца ни наружностью, ни характером, потому что уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Это был видный парень, с румяным лицом и добрыми глазами. Сила Андроныч не считал его и за человека и всегда называл девкой. Но Татьяна Власьевна думала иначе — ей всегда нравился этот тихий мальчик, как раз отвечавший ее идеалу мужа для ненаглядной Нюши.

— И хорошо, что не в отца пошел,— говорила она,— с таким бойцом жить — без ребрышка ходить... А нам не дорога его-то разгулка, а дорога домашняя потребность.

VII

В брагинском доме было тихо, но это была самая напряженная, неестественная тишина. Сам ходил по дому, как ночь темная; ни от кого приступу к нему не было, кроме Татьяны Власьевны. Они запирались в горнице Гордея Евстратыча и подолгу беседовали о чем-то. Потом Гордей Евстратыч ездил в Полдневскую один, а как оттуда вернулся, взял с собой Михалка, несколько лопат и кайл и опять уехал. Это были первые разведки жилки.

Стояла глубокая осень; по ночам земля крепко промерзала. Лист на деревьях опал; стояли холодные

ветры, постоянно дувшие из «гнилого угла», как зовут крестьяне северо-восток. Солнце не показывалось по неделям. Все в природе точно съежилось, предчувствуя наступление холодной зимы. Вот в один из таких дней Гордей Евстратыч с Михалком подъезжали верхами к Полдневской, но, не доезжая деревни, они взяли влево и лесистым увалом, по какой-то безыменной тропинке, начали подниматься вверх по реке. Гордей Евстратыч не хотел, чтобы его видели в Полдневской, где он недавно был — проведать Маркушку, который все тянулся изо дня в день, сам тяготясь своим существованием. Другие старатели, кажется, начинали догадываться, зачем ездил Брагин к ним, и теперь он решил не показываться полднякам до поры до времени, когда все дело будет сделано.

— Я бы теперь же сделал заявку жилки, мамынька, — говорил Гордей Евстратыч перед отъездом, — да все еще сумлеваюсь насчет Маркушки... Не надул ли он меня? Объявишь жилку, насмешишь весь мир, а там, может, ничего и нет.

— А ты бы съездил посмотреть шахту-то.

— Так и сделаем. Один-то я был около нее, да одному ничего нельзя поделать. Надо Михалку прихватить. Потому, первое, в шахту спущаться надо; а один-то залезешь в нее, да, пожалуй, и не вылезешь.

Проехав верст пять по реке Полуденке, путники переехали вброд горную речонку Смородинку и по ней стали подниматься к самой верхотине. Место было дикое — косогор на косогоре. Приходилось продираться через дремучую еловую заросль, где и пешему пройти в добрый час, а не то что верхом, на лошади. Даже не было никакой тропы, какую выбивают дикие лесные козлы. Осенью этот лес особенно был мрачен и глухо шумел, раскачиваясь мохнатыми вершинами. Трава давно поблекла, прибрежные кусты смородины и тальника жалко топорщились своими оголенными ветвями. Гордей Евстратыч ехал вперед, низко наклоняясь под навесом еловых ветвей, загораживавших дорогу, как длинные корявые руки. Вот и верхотина Смородинки, где эта речонка сочится из горы Заразной небольшим ключиком. Вот и увал, который идет от Заразной на

полдень, а вот и те два кедра, о которых говорил Маркушка. Место дикое, кругом лес, глухо, точно в каком склепе.

— Здесь... — говорит Евстратыч, подъезжая к кедрам.

Они спешились. В нескольких шагах от кедров, на небольшой поляне, затянутой молодым ельником, едва можно рассмотреть следы чьей-то работы, именно два поросших кустарником бугра, а между ними заваленное кустарником отверстие шахты. Издали его можно даже совсем не заметить, и только опытный глаз старателя сразу видел, в чем дело.

Они осмотрели шахту, а затем очистили вход в нее. Собственно, это была не шахта, а просто «дудка», как называют неправильные шахты без срубов. Такие дудки могут пробиваться только в твердом грунте, потому что иначе стенки дудки будут обваливаться.

— Ну, теперь нужно будет лезть туда, — проговорил Гордей Евстратыч, вынимая из переметной сумы приготовленную стремянку, то есть веревочную лестницу. — Одним концом захватим за кедры, а другой в яму спустим... Маркушка сказывал — шахта всего восемнадцать аршин идет в землю.

— Как бы, тятенька, не оборваться, — заметил Михалко, помогая привязывать конец стремянки к дереву. — Я полегче вас буду, — давайте, я и спущусь...

— Нет, я сам...

На случай был захвачен фонарь с выпуклым стеклом, известный под именем коровьего глаза. Предварительно на длинной веревке спущены были в дудку лопата и кирка. Перекрестившись, Гордей Евстратыч начал по стремянке спускаться вниз, где его сразу охватило затхлым, застоявшимся воздухом, точно он спускался в погреб. Пахло глиной и гнилым деревом. Раскинув руками, он свободно упирался в стенки дудки. В одном месте сорвался камень и глухо шлепнулся на самое дно, где стояла вода. Верхнее отверстие шахты с каждым шагом вниз делалось все меньше, пока не превратилось в небольшое окно неправильной формы. Наконец, Гордей Евстратыч стал на самое дно шахты, где стояла лужа грязноватой воды. Он зажег свой ко-

ровий глаз, перекрестился и взялся за кирку. При ярком освещении можно было рассмотреть следы недавней работы и самую жилку, то есть тот кварцевый прожилок, который проходил по дну шахты углом. Куски кварца были перемешаны с глиной и охрой; преобладающую породу составлял отвердевший глинистый сланец с следами талька, железного колчедана и красика, то есть ярко окрашенной красной глины. Маркушка, добывая золото, сделал небольшой забой, то есть боковую шахту; но, очевидно, работа здесь шла только между прочим, тайком от других старателей, с одним кайлом в руках, как мыши выгрызают в погребах ковриги хлеба. Гордей Евстратыч внимательно осмотрел все дно шахты и забой, набрал руды целый мешок и, зацепив его за веревку, свистнул, — это был условный знак Михалке поднимать руду. Таким образом мешок спустился и поднялся раз пять, а Гордей Евстратыч продолжал работать кайлом, обливаясь потом. Его огорчало то обстоятельство, что нигде не попадаются такие куски «скварца», какой ему дал Маркушка, хотя он видел крупинки золота, вкрапленные в охристый красноватый и бурый кварц. Но все-таки это была настоящая жилка, в чем Гордей Евстратыч убеждался воочию; оставалось только воспользоваться ею. Он уже чувствовал себя хозяином в этой золотой яме, которая должна его обогатить. В порыве чувства, Гордей Евстратыч пал на колени и горячо начал благодарить бога за ниспосланное ему сокровище.

«Эх, не вылез бы отсюда», — думал он, в последний раз оглядывая свои сокровища ревнивым хозяйским глазом.

Но нужно было уехать засветло домой, и Гордей Евстратыч выбрался наверх, где его дожидался молчаливый Михалко.

Итак, жилка оказалась форменной, как следует быть жилке. Оставалось только заявить ее где следует — и дело с концом. Но вот тут и представлялось первое затруднение. Именно, по горному уставу, во-первых, прежде чем разыскивать золото, требуется предварительное дозволение на разведки в такой-то местности, при таком-то составе разведочной партии;

во-вторых, требуется заявка найденной россыпи по известной форме с записью в книги при полиции, и, наконец, самое главное — позволяется частной золотопромышленности производить разведки и эксплуатацию только золота в россыпях, а не жильного. Конечно, при покупке заявленных приисков первые два правила не имеют значения, но ведь Маркушкина дудка не была нигде заявлена, следовательно, как же мог Гордей Евстратыч узнать о содержавшемся в ней золоте.

— А если возьму свидетельство на разведки золота да потом и заявлю эту шахту? — говорил Гордей Евстратыч, когда был в последний раз у Маркушки.

— Нет... невозможно, — хрипел Маркушка, не поворачивая головы. — Уж тут пронюхают, Гордей Евстратыч, все пронюхают... Только деньги да время задарма изведешь... прожженой народ наши приисковые... чистые варнаки... Сейчас разыщут, чья была шахта допрежь того; выищутся наследники, по судам затаскают... нет, это не годится. Напрасно не затевай разведок, а лучше прямо объявись...

— Да ведь мне не дадут работать жильное золото?

— Ах, какой же ты, право, непонятный... Знамо дело, што не дадут. Я уж тебе говорил, што надо под Шабалина подражать... он тоже на жилке робит, а списывает золото россыпным... Есть тут один анжинер, — тебе уж к нему в правую ногу придется...

— Да кто такой?

— А Лапшин, Порфир Порфирыч... ты не гляди на него, что в десять-то лет трезвым часу не бывал, — он все оборудует левой ногой... уж я знаю эту канитель... Эх, как бы я здоров-то был, Гордей Евстратыч, я бы тебя везде провел. Ну, да и без меня пройдешь с золотом-то... только одно помни: ни в чем не перечь этим самым анжинерам, а то как лягушку раздавят...

— Не люблю я этих чиновников, Маркушка... Нож они мне вострый!

— Кто их любит, Гордей Евстратыч? Да ежели без них невозможно...

— А я этого Порфира Порфирыча даже очень хорошо знаю. Не один раз у меня в лавке бывал... Все платки кумачные покупал...

— Пьяный?

— Навеселе...

— Ну, обнаковенно. У него зараза: платки девкам в хоровод бросать... Прокурат он, Порфир-то Порфирыч, любит покуражиться; а так — добреющая душа, — хоть выспись на нем... Он помощником левизора считается, а от него все идет по этим приискам... Недаром Шабалин-то льнет к нему... Так уж ты прямо к Порфиру Порфирычу, объявишь, што и как; а он тебя уж научит всему...

Крепко не хотелось Гордею Евстратычу связываться с крапивным семем, но выбирать было не из чего. Надо было ковать железо, пока оно горячо; а бог знает, что еще впереди. Бывая в Полдневской, Гордей Евстратыч несколько раз предлагал Маркушке перевести его в Белоглинский завод к себе в дом; но Маркушка ни за что не хотел оставлять своего логовища и не мог даже себе представить, как он умрет не в Полдневской. Делать нечего, пришлось устраивать Маркушку в его теперешнем помещении, что было очень трудно сделать. Балаган Маркушки промерзал со всех четырех углов, в пазы везде дуло, дым ел глаза, и при всем том не было никакой возможности его поправить хотя сколько-нибудь. Для первого раза Гордей Евстратыч устроил Маркушке постель, послал теплое меховое одеяло, белье, разного харчу, сальных свеч и т. д.

— Я тебе доктора пошлю, он тебя вылечит, — несколько раз предлагал Брагин.

— Нет... какой уж тут доктор, — с безнадежной улыбкой говорил Маркушка, делая напрасное усилие улыбнуться. — Ваши доктора только уморят... я у старух пользуюсь...

— Да чем они тебя лечат, старухи-то?

— Средствие такое есть... пью настой из черных тараканов...

Маркушка был фаталист и философ, вероятно, потому, что жизнь его являлась чем-то вроде философского опыта на тему, что выйдет из того, если человека поставить в самые невозможные условия существования. С двенадцати лет Маркушка пил водку и курил табак: каторжная приисковая работа чередовалась с

каторжным бездельем. Середины ни в чем не было, и, вероятно, на этом основании Маркушка создал себе ее искусственно в форме водки. Благодаря этому радикальному средству печень Маркушки весила тридцать фунтов, а он чувствовал, что у него в боку лежит точно целый жернов.

— Это от болоней, — объяснил Маркушка со слов пользовавших его старух. — Все ничего, а как болонь в человеке повреждена — тут уж шабаш... Наши полдневские все от болоней умирают.

Гордею Евстратычу приходилось отыскивать инженера Лапшина, который официально жил в Сосногорском заводе, около которого по преимуществу были разбросаны золотые прииски. От Белоглинского завода до Сосногорского считалось верст двести, но «для милого дружка и семь верст не околица». Нечего делать, кое-как управив свои торговые делишки и перехватив на всякий случай деньжонок, Гордей Евстратыч тронулся в путь-дорогу. Осенняя распутица была в самом разгаре, точно природа производила опыты над человеческим терпением: то все подмерзнет денька на два и даже снежком запорошит, то опять такую грязь разведет, что не глядели бы глаза. Уральские дороги вообще не отличаются удобствами, но в распутицу они превращаются в пытку, и преступников вместо каторги можно бы наказывать тем, что заставлять их путешествовать в осеннюю и весеннюю распутицу по Уралу. В Сосногорский завод Брагин приехал на седьмой день, хотя ехал день и ночь; но на его несчастье Лапшин только что уехал под Верхотурье ревизовать Перемытые прииски. Передохнул Брагин денек в Сосногорске; дальше проживаться даром было нечего, а домой возвращаться с пустыми руками было совестно, — он решил ехать вслед за Лапшиным, чтобы перехватить его где-нибудь на дороге, благо к Верхотурью было ехать в свою же сторону, хотя и другими дорогами. До Перемытых приисков было верст сто с небольшим; но там Брагин опять не застал Лапшина, который только что укатил обратно, в Сосногорск. Приходилось опять тащиться назад. Терпение Гордея Евстратыча подверг-

лось настоящему испытанию, но он решился добиться своего и поймать Лапшина во что бы то ни стало.

На этот раз Порфир Порфирыч был дома. Он жил в одноэтажном деревянном домишке, который и снаружи и внутри отличался величайшим убожеством, как богадельня или солдатская казарма. В передней денщик чистил сапоги и на вопрос Гордея Евстратыча, можно ли будет видеть барина, молча указал сапожной щеткой на открытую дверь в следующую комнату. Сотворив про себя приличную случаю молитву, Гордей Евстратыч перешагнул порог и очутился в совершенно пустой комнате, в которой, кроме дивана да ломберного стола, решительно ничего не было. На диване в одной рубахе и форменных штанах с голубой прошвой лежал низенького роста господин с одутловатым и прыщеватым лицом, воспаленными слезившимися глазами и великолепным сизым носом. Это и был сам Порфир Порфирыч.

— Порфиру Порфирычу-с... — нерешительно заговорил Брагин, отвешивая купеческий поклон.

— Тэк-с... Порфиру Порфирычу сорок одно с кисточкой, пятиалтынный с дырочкой... Так? Из белоглинских? Так... Помню. Платки еще девкам покупал...

— Точно так-с, Порфир Порфирыч.

— Садись, — чего стоять-то? Ноги еще, может, пригодятся... Сенька!

— Сичас, вашескородие... — послышалось из передней.

— Давай стул, че-орт!..

— Сичас, вашескородие...

— Ну, садись не то ко мне на диван, пока там что...

— Ничего-с, постоим-с...

— Да ты садись: знаешь мой характер?

Гордей Евстратыч осторожно присел на самый кончик дивана, в самых ногах у Порфира Порфирыча, от которого так и разило перегорелой водкой. Порфир Порфирыч набил глиняную трубку с длиннейшим чубуком Жуковым и исчез на время в клубах дыма.

— Ну что, золото нашел? — заговорил Порфир Порфирыч после небольшой паузы.

— Точно так-с... Есть такой грех.

— Все грешны, да божьи, и девать нас некуда. Богатое?

— Еще не знаю, Порфир Порфирыч...

— Ой, врешь, по роже твоей вижу, что врешь... Ведь ты обмануть меня хочешь? А потом хвастаться будешь: левизора, дескать, облапошил... Ну, голубчик, распоясывайся, что и как. Я человек простой, рубаха-парень. Семен!

— Сичас, вашескородие...

— Дурак!.. Ну-с, так, как это у вас все случилось, расскажите. А предварительно мы для разговору по единой пропустим. У меня уж такое правило, и ты не думай кочевряжиться. Сенька двухголовый!!. Подать нам графин водки и закусить балычка, или икорки, или рыжичков солененьких...

Семен на этот раз не заставил себя ждать, и на ломберном столе скоро появилась водка в сопровождении куска балыка. Выпили по первой, потом по другой. Гордей Евстратыч рассказал свое дело; Порфир Порфирыч выслушал его и с улыбкой спросил:

— Все?

— Точно так-с, Порфир Порфирыч.

— Своим умом дошел или добрые люди научили всю подноготную выложить?

— Был такой грех, Порфир Порфирыч...

— То-то, был грех. Знаю я вас всех, насквозь знаю! — загремел Порфир Порфирыч, вскакивая с дивана и принимаясь неистово бегать по комнате. — Все вы боитесь меня, как огня, потому что я честный человек и взяток не беру... Да!!. Десять лет выслужил, у другого сундуки ломились бы от денег, а у меня, кроме сизого носа да затвердения печенки, ничего нет... А отчего?.. Вот ты и подумай.

— Уж не оставьте, Порфир Порфирыч. На вас вся надежда, как, значит, вы все можете...

— Женат?

— Вдов.

— Дети есть?

— Два сына женатых, дочь...

— Замужем?
— Нет.
— Молоденькая?
— Заневестилась недавно.
— Хорошенькая?
— Не знаю уж, как кому покажется...
— Ну, отлично. Я люблю молоденьких, которые поласковее... Знаешь по себе, что всякая живая душа калачика хочет!.. Ты хотя и вдовец, а все-таки живой человек...
— Я уж старик, Порфир Порфирыч, у меня и мысли не такие в голове.
— Опять врешь... Знаешь пословицу: стар, да петух, молод, да протух. Вот посмотри на меня... Э! я еще ничего... Хе-хе-хе!.. Да ты вот что, кажется, не пьешь? Не-ет, это дудки... Золота захотел, так сначала учись пить.
— Увольте, Порфир Порфирыч. Ей-богу, больше натура не принимает.
— Враки... Пей!.. Вон Вуколко ваш, так тот сам напрашивается. Ну, так жилку нашел порядочную, Гордей Евстратыч? Отлично... Мы устроим тебя с твоей жилкой в лучшем виде, копай себе на здоровье, если лишние деньги есть.
— Уж как господь пошлет...
Эта деловая беседа кончилась тем, что после четырех графинчиков Порфир Порфирыч захрапел мертвую на своем диване, а Гордей Евстратыч едва нашел дверь в переднюю, откуда вышел на улицу уже при помощи Семена. Мысли в голове будущего золотопромышленника путались, и он почти не помнил, как добрался до постоялого двора, где всех удивил своим отчаянным видом.
— Ну, я приеду к вам в Белоглинский, — говорил на другой день Лапшин, — тогда все твое дело устрою; а ты, смотри, хорошенько угощай...
На прощанье Порфир Порфирыч опять напоил Гордея Евстратыча до положения риз, так что на этот раз его замертво снесли в экипаж и в таком виде повезли обратно в Белоглинский завод.

VIII

Порфир Порфирыч не заставил себя ждать и по первопутке прикатил в Белоглинский завод. Он, как всегда, остановился у Шабалина и сейчас же послал за Брагиным. Гордей Евстратыч приоделся в свой длиннополый сюртук, повязал шею атласной косынкой, надел новенькие козловые сапоги «со скрипом» и в этом старинном костюме отправился в гости, хотя у самого кошки скребли на душе. Он еще не успел забыть своей первой встречи с Порфиром Порфирычем, после которой он домой приехал совсем больной. Татьяна Власьевна видела по лицу сына, что что-то не ладно, но что — он ей не говорил; провожая его теперь в шабалинский дом, она пытливо заглядывала ему в глаза.

— Устрой, господи, все на пользу!.. — молилась она про себя, высматривая в окно, как повез отца Архип.

Кучера Брагины не держали, потому что в доме с Зотушкой было четверо мужиков, а езда была не велика: до лавки доехать да иногда в гости. В новом шабалинском доме Гордей Евстратыч еще не бывал и теперь невольно удивлялся необыкновенной роскоши, с которой все было отделано в доме. По мраморной великолепной лестнице, устланной дорогим мягким ковром, он поднялся во второй этаж; у подъезда и в передней двери были дубовые с тонкой резьбой и ярко горевшими бронзовыми ручками. В передней швейцар, из отставных солдат, помог Гордею Евстратычу снять шубу. Пахло какими-то духами и сигарами; из гостиной доносились громкие голоса и чей-то неистовый хохот. Гордей Евстратыч еще раз приостановился, расправил бороду и вошел в пустой громадный зал, который просто ошеломил его своей обстановкой: зеркала во всю стену, ореховая дорогая мебель с синей бархатной обивкой, такие же драпировки, малахитовые вазы перед окнами, рояль у одной стены, громадная картина в резной черной массивной раме, синие бархатные обои с золотыми разводами, навощенный паркет — все так и запрыгало в глазах у Гордея Евстратыча. Он тяжело перевел дух, прежде чем вошел в красную гостиную, где на диване и около стола разместилась в самых непринужденных

позах веселая компания, состоявшая из Порфира Порфирыча, мирового Липачка, станового Плинтусова и самого Вукола Логиныча, одетого в синюю шелковую пару. Центром общества служила любовница Шабалина, экс-арфистка Варвара Тихоновна; это была красивая девушка с смелым лицом и неприятным выражением широкого чувственного рта и выпуклых темных глаз. Только когда она смеялась, показывая два ряда белых зубов, лицо делалось весьма добродушным и необыкновенно симпатичным!

— Наконец-то!.. — закричал Шабалин, поднимаясь навстречу остановившемуся в дверях гостю. — Ну, Гордей Евстратыч, признаюсь, выкинул ты отчаянную штуку... Вот от кого не ожидал-то! Господа, рекомендую: будущий наш золотопромышленник, Гордей Евстратыч Брагин.

Скуластое красное лицо Шабалина совсем расплылось от улыбки; обхватив гостя за талию, он потащил его к столу. Липачек и Плинтусов загремели стульями, Варвара Тихоновна уставилась на гостя прищуренными глазами, Порфир Порфирыч соскочил с дивана, обнял и даже облобызал его. Все это случилось так вдруг, неожиданно, что Гордей Евстратыч растерялся и совсем не знал, что ему говорить и делать.

— Садись, Гордей Евстратыч, — усаживал гостя Шабалин. — Народ все знакомый, свой... А ты ловко нас всех поддел, ежели разобрать. А? Думал-думал, да и надумал... Ну, теперь, брат, признавайся во всех своих прегрешениях! Хорошо, что я не догадался раньше, а то не видать бы тебе твоей жилки, как своих ушей.

Порфир Порфирыч был так же хорош, как всегда, и только моргал своими слезившимися глазами; сегодня он был в форменном мундире горного ведомства, но весь мундир был в пуху и покрыт жирными пятнами. Из-за расстегнутого сюртука выглядывала грязная смятая сорочка с золотой запонкой. Липачек, толстый опухший субъект с сонным взглядом, и Плинтусов, высокий вихлястый армеец, с вздернутым носом и какими-то необыкновенными сорочьими глазами, служили естественным продолжением Порфира Порфирыча. Гордей Евстратыч поздоровался со всеми и с Варварой

Тихоновной, которая в качестве блудницы и наложницы Шабалина пользовалась в Белоглинском заводе самой незавидной репутацией, но как с ней не поздороваться, когда уж такая компания подошла!

— Вот мы его сейчас же и вспрыснем, господа... — предложил Шабалин, трогая пуговку электрического звонка. — Полдюжины холодненького, — коротко приказал он оторопело вбежавшему лакею во фраке и в белых перчатках.

— Чтобы не рассохся... — прибавил Липачек хриплым, перепитым басом. — Так ведь, Варвара Тихоновна?

— У вас только и на уме, что вино, — жеманно отозвалась Варвара Тихоновна, искоса взглядывая на бережно садившегося на бархатный стул Брагина.

На десертном столе, около которого сидела компания, стояли пустые стаканы из-под пунша и какие-то необыкновенные рюмки — точно блюдечки на тонкой высокой ножке, каких Гордей Евстратыч отродясь не видывал. В серебряной корзинке горкой был наложен виноград и дюшесы, в хрустальных вазочках свежая пастила и шоколадные конфеты.

— Вот, господа, человеку счастье прямо с неба свалилось, — докладывал Порфир Порфирыч, указывая дрожавшей от перепоя рукой на Брагина. — Такую россыпь облюбовал, такую...

— Антик с гвоздикой или английский с мылом? — добавил Плинтусов и захохотал каким-то скрипучим смехом, точно кто скреб глиняным черепком у вас в ухе.

— Именно — и с мылом и с гвоздикой!..

— Вот мы сейчас вспрыснем... — провозгласил Шабалин, направляя лакея с подносом к гостю. — Гордей Евстратыч, пожалуйста.

— Время-то, Вукол Логиныч, как будто не совсем подходящее для выпивки... — нерешительно говорил Брагин, принимая стакан с шампанским. — Не за этим я шел, признаться сказать.

— В чужой монастырь с своим уставом не ходят, — обрезала Варвара Тихоновна. — Я здесь за игуменью иду, а это братия...

— Што же, дело хорошее... — согласился Гордей Евстратыч, откладывая широкий единоверческий крест, прежде чем выпить бокал.

— Невинно вино, а укоризненно пьянство, Гордей Евстратыч, — заметил Плинтусов и опять захохотал.

«Ну и канпания, — думал Гордей Евстратыч, вытирая губы платком, — только бы пособил господь подобру-поздорову отсюда выбраться...»

Но выбраться подобру-поздорову из шабалинского дома Гордею Евстратычу не удалось. Сначала все пили шампанское, потом сели играть в стуколку, потом обедали, потом Варвара Тихоновна с гитарой в руках пела цыганские песни, а Липачек и Порфир Порфирыч плясали вприсядку. Все это в голове Брагина под влиянием выпитого вина перемешалось в какой-то один безобразный сон; он видел, как в тумане, яркозеленое платье Варвары Тихоновны, сизый нос Порфира Порфирыча и широкую, как подушка, спину плясавшего Липачка. Потом пели песни все, потом играли опять в карты... Гордей Евстратыч тоже пел, и ему делалось очень весело в этой чиновной компании, потому что люди оказались самые простые.

— Уж я тебя произведу... — кричал Порфир Порфирыч, подставляя свой сизый нос к самому лицу Гордея Евстратыча. — Только ты мне никогда не смей перечить ни в чем... Ведь я бы тебя в шею по первому разу прогнал, ежели бы ты, шельма этакая, не рассказал мне всего по чистой совести... Вот за это за самое я тебя и произведу! Будешь помнить Порфира Порфирыча Лапшина, у которого, кроме рубахи да портков, никогда ничего не было... А взятки я брать не беру!.. Натурой еще кое-что принимаю... вон Варвара Тихоновна иногда меня целует, когда Вукола дома нет. Так, Варенька?

— Стала я целовать тебя, — выкрикивала Варвара Тихоновна, мотая осовевшей головой. — Велико кушанье!

— А мы сейчас, господа, поедем кататься, — говорил Шабалин, который держался на ногах крепче всех. — А потом завернем погреться к Гордею Евстратычу... Так, Гордей Евстратыч?

— Обнаковенно, — пролепетал Брагин, плохо понимая, о чем его спрашивали.

К подъезду были поданы две тройки, и вся пьяная компания отправилась на них в брагинский дом. Гордей Евстратыч ехал на своих пошевенках; на свежем воздухе он еще сильнее опьянел и точно весь распустился. Архип никогда еще не видал отца в таком виде и легонько поддерживал его одной рукой.

— Ты... што это меня держишь? — закричал Гордей Евстратыч, едва удерживаясь на месте. — Ра-азе я... пья-ан... а?..

— Я, тятенька, ничево, — оправдывался Архип.

— Ты обманывать меня... а??. смеяться... а?.. над отцом смеяться... я тебе п-покажу-у!..

Гордей Евстратыч, не помня себя от ярости, ударил Архипа со всего размаха прямо по лицу, так что тот даже вскрикнул от боли и схватился за разбитый нос. Сквозь пальцы закапала кровь, но это еще сильнее рассердило пьяного отца, и он, сбив шапку, принялся таскать Архипа за волосы, сбил его с сиденья и топтал ногами все время, пока испуганная криком и возней лошадь не ударилась запрягом в ворота брагинского дома. Выскочившая на шум Татьяна Власьевна едва отняла облитого кровью Архипа от расходившегося Гордея Евстратыча; старуха вся тряслась, как в лихорадке.

— А ты мне что за указ? — кричал почти не стоявший на ногах Гордей Евстратыч, приступая к матери. — Кто здесь хозяин... а?.. Всех расшибу...

— Гордей Евстратыч... голубчик... Христос с тобой, опомнись! — умоляла Татьяна Власьевна. — Вон соседи-то все смотрят на нас... Ведь отродясь такого сраму не видывали...

— А мне плевать на всех соседей... к нам сейчас гости едут... Понимаешь: гости!..

Перепуганные невестки смотрели в окно на происходившую во дворе сцену; Дуня тихо плакала. Нюша выскочила было на двор, но Татьяна Власьевна велела ей сидеть на своей половине. На беду и Михалка не было даже: он сидел сегодня в лавке. Окровавленный, сконфуженный Архип стоял посредине двора и вытирал кровь на лице полой своего полушубка.

— Пойдемте, братец, в горницы, — хлопотал около Гордея Евстратыча выскочивший из флигелька Зотушка, — право, пойдемте...

В этот момент, заливаясь колокольчиками, въехали две тройки с гостями.

— А, спасенная душенька, Татьяна Власьевна, — орал пьяный Шабалин, размахивая своей собольей шапкой. — Принимай гостей, спасенная душа!

— Милости просим, дорогие гости! — низко кланялась Татьяна Власьевна с приветливой улыбкой. — Прошу пожаловать в горницы...

Татьяна Власьевна забежала вперед и спрятала всех женщин на своей половине, а затем встретила гостей с низкими поклонами в сенях. Гости для нее были священны, хотя в душе теперь у нее было совсем не до них; она узнала и Липачка, и Плинтуса, и Порфира Порфирыча, которых встречала иногда у Пятовых.

— Вон мы какие, — лепетал Порфир Порфирыч, бросая шубу во дворе. — Матушка, Татьяна Власьевна, поцелуемся... Голубушка ты моя! Все спасаться к тебе приехали...

— Пожалуйте, Порфир Порфирыч, в горницы-то, — упрашивала Татьяна Власьевна. — Еще грешным делом простудитесь без шубы-то... Милости просим, дорогие гости! Вукол Логиныч, пожалуйте...

— Лезем, лезем, спасенная душа.

Горницы брагинского дома огласились пьяными криками, смехом и неприличными восклицаниями. Татьяна Власьевна хлопотала в кухне с закусками. Нюша совалась с бутылками неоткупоренного вина. Зотушка накрывал в горнице столы и вместе с Маланьей уставлял их снедями и брашно; Дуня вынимала из стеклянного шкафа праздничную чайную посуду. Словом, всем работы было по горло, и брагинский дом теперь походил на муравьиную кучу, которую разворачивают палкой.

— Так вот ты где поживаешь, Гордей Евстратыч! — заплетавшимся языком говорил Порфир Порфирыч. — Ничего, славный домик... Лучше, чем у меня в Сосногорском. Только вот печка очень велика...

— Батюшкова печка, Порфир Порфирыч...

Брагин, взглянув на батюшкову печку, точно пришел в себя и с изумлением посмотрел кругом, на своих гостей, на суетившегося Зотушку, на строго-приветливое лицо маменьки... Что такое? зачем? Правая рука у него ныла до самого плеча, а в голове стояла такая дрянь... Он теперь же припомнил, как он давеча бил Архипа. Ему сделалось гадко и совестно, хотелось выгнать всю эту пьяную ораву из своего дома; но ведь здесь был Порфир Порфирыч, а не уважить Порфира Порфирыча — значит, прощай и жилка. Вот и мамынька ходит с таким покорным убитым лицом... Ведь он давеча обидел ее во дворе, когда кричал на нее и даже топал ногами. У Гордея Евстратыча заскребло на душе от своего собственного безобразия, и он готов был провалиться от стыда; но гости созваны, надо их угощать.

— А где же остальные? — спрашивал Порфир Порфирыч хозяйку.

— Какие остальные? — удивилась Татьяна Власьевна.

— Ну, ведь есть у вас в доме кто-нибудь помоложе тебя, бабушка?..

— Как не быть, ваше высокоблагородие, да только не случилось на этот раз: внучка зубами скудается, а невестки ушли в гости к своим.

— Так, так...

— А у ней все прехорошенькие, — поощрял Шабалин, толкая Порфира Порфирыча локтем. — Особенно внучка Нюша...

— Нюша? Славное имя... Анна Гордеевна, значит, — соображал вслух Лапшин, раскачиваясь из стороны в сторону. — А я побеседовал бы с этой Нюшей, если бы не зубы... Да я, пожалуй, и средство отличное от зубов знаю, бабушка, а?

— Она спит теперь, Порфир Порфирыч, — отделывалась Татьяна Власьевна от хорошего средства. — Вы бы выкушали лучше, Порфир Порфирыч, чем о пустяках-то разговаривать.. Вот тут смородинная наливочка, а там на сорока травах...

— Отлично... Только, бабушка, я один не пью.

— Ох, милушка, я ни одна, ни с другими не пью...

И прежде была не мастерица, а под старость оно совсем не пригоже. Вон хозяин с тобой выпьет. А меня уволь, Порфир Порфирыч.

— Ага, испугалась, спасенная душа!.. — потешался довольный Лапшин. — А как, бабушка, ты думаешь, попадет из нас кто-нибудь в царствие небесное?.. А я тебе прямо скажу: всех нас на одно лыко свяжут да в самое пекло. Вуколку первого, а потом Липачка, Плинтусова... Компания!.. Ох, бабушка, бабушка, бить-то нас некому, по правде сказать!

Началась попойка. Все пили и заставляли пить хозяина. Шабалин специально занялся тем, что спаивал Зотушку, который улыбался блаженной улыбкой и дико вскрикивал:

— В-вокул Л-лог-гиныч... ведь мы с тобой кругом шестнадцать!!. Б-благодет-тель...

— То-то, Зотушка... Мы с тобой заодно. Что ко мне в гости-то не ходишь?

— Старуха не велит... Она тебя крепко не любит, Вукол Логиныч, — шепотом сообщал Зотушка.

— Знаю, знаю... Да я-то не больно ее испугался... Вот мы ее сегодня утешим, — будет нас долго помнить! Ха-ха... Мы сегодня второй напой делаем. Вон Гордей-то Евстратыч скоро рога в землю...

— Братец не могут много принимать этого самого вина, Вукол Логиныч. Они так самую малость церковного иногда испивают, а чтобы настоящим манером — ни боже мой!..

— Нет, это дудки, Зотушка: сказался груздем — полезай в кузов. Захотел золото искать, так уж тут тебе одна дорога... Вона какая нас-то артель: угодники!

Зотушка только покачал своей птичьей головкой от умиления, — он был совсем пьян и точно плыл в каком-то блаженном тумане. Везде было по колено море. Теперь он не боялся больше ни грозной старухи, ни братца. «Наплевать... на все наплевать, — шептал он, делая такое движение руками, точно хотел вспорхнуть со стула. — Золото, жилка... плевать!.. Кругом шестнадцать вышло, вот тебе и жилка... Ха-ха!.. А старуха-то, старуха-то как похаживает!» Закрыв рот ладонью, Зотушка хихикал с злорадством идиота.

Татьяна Власьевна угощала незваных и нежданных гостей, а у самой в горле стояли слезы, точно она потеряла или разбила что-то дорогое, что нельзя было воротить. Этот кутеж походил на поминки, которые справляли о погибшем прошлом. Вон Липачек и Плинтусов орут какую-то безобразную песню, вон Гордей Евстратыч смотрит на них какими-то остановившимися глазами и хлопает одну рюмку за другой. «Господи, да что же это такое?» — думает со страхом Татьяна Власьевна. И у них бывали гости и кучивали напропалую, особенно на Аришиной свадьбе; но такого безобразия не бывало... Вон Липачек снял с себя сюртук и жилет и лег головой на стол, Вуколко щелкает его по носу. А вина, вина сколько вытрескали и еще просят...

— Ты что же это, Гордей Евстратыч, кошачьими-то слезами нас угощаешь? — смеется Шабалин, приглядывая пустые бутылки к свету.

— Мам-мынька... ищо... — мычит Гордей Евстратыч, напрасно стараясь подняться со стула.

Старуха послала Архипа за вином к Савиным, а сама все смотрит за своими гостями, и чего-то так боится ее старое семидесятилетнее сердце. Вон и сумерки наступили, и Татьяна Власьевна рада темноте, покрывшей их безобразие от чужих людей. Вон у Пазухиных давеча все к окнам и бросились, как отец-то пригнал от Шабалина... Ох, господи, господи! Все видели, решительно все: и как отец Архипа ругал, и как к ней подступал, и как гости на тройках подъехали, и как они в пошевнях головами мотали, точно чумные телята. У старухи сжимается сердце при мысли, что о них другие-то скажут, особливо Савины да Колобовы.

Эти горькие размышления Татьяны Власьевны были прерваны каким-то подозрительным шумом, который донесся из ее половины. Она быстро побежала туда и нашла спрятавшихся женщин в страшном смятении, потому что Порфир Порфирыч, воспользовавшись общей суматохой, незаметно прокрался на женскую половину и начал рекомендоваться дамам с изысканной любезностью. Именно в этот трагический момент он и был накрыт Татьяной Власьевной.

— Ах, матушки вы мои... голубушки... — умильно лепетал Порфир Порфирыч, нетвердой походкой направляясь к Нюше. — У кого зубки болят? У меня есть хорошенькое словечко на запасе... А-ах, красавицы, что это вы от меня горохом рассыпались?

— Порфир Порфирыч, ваше высокоблагородие, — говорила Татьяна Власьевна, схватывая его благородие в тот самый момент, когда он только что хотел обнять Нюшу за талию. — Так нельзя, ваше высокоблагородие... У нас не такие порядки, чтобы чужим мужчинам на девичью половину ходить...

Порфира Порфирыча кое-как выдворили из комнаты, и женщины затворились в ней на ключ. Этот эпизод окончательно расстроил Татьяну Власьевну, и она, забравшись в темный чуланчик, где спал Михалко с женой, горько заплакала. В этом старинном доме не осталось ни одного неприкосновенного уголка, даже ее половина подверглась нашествию пьяного ревизора, у которого бог знает что было на уме. Все снохи еще молодые бабенки, и Нюша еще девчонка-девчонкой; а люди разве пожалеют их? О всех наговорят бог знает что, только слушай.

«И все это из-за жилки», — думала Татьяна Власьевна, хватаясь за голову.

Безобразный кутеж в брагинском доме продолжался вплоть до утра, так что Татьяна Власьевна до самого утра не смыкала глаз и все время караулила спавших в ее комнатке трех молодых женщин, которые сначала испугались, а потом точно привыкли к доносившимся из горницы крикам и даже, к немалому удивлению Татьяны Власьевны, пересмеивались между собой.

— А ты, баушка, зачем Порфира Порфирыча прогнала от нас? — приставала Нюша. — Ведь он не съел бы нас, баушка?

— Ежели бы съел — один конец, милушка; а то хуже бывает...

Старуха была так огорчена сегодняшним днем, что даже не могла сердиться на болтовню Нюши, которая забавлялась, как котенок около затопленной печки. Михалко и Архип продежурили всю ночь на кухне, в

ожидании тятенькиных приказаний. Пьяный Зотушка распевал, приложивши руку к щеке, раскольничий стих:

И-идет ста-арец пооо дорооо-ооге...
Чер-норизец пооо ши-роокооой...
О чем, ста-арче, горько плаа-чешь,
Черно-ризец, возры-дааа-ешь?..

Утром, когда прогудел свисток на работу, Шабалин и Плинтусов уехали домой, а Порфир Порфирыч и Липачек остались распростертыми в горницах брагинского домика. Одна нога Липачка покоилась на животе Порфира Порфирыча, а голова последнего упиралась в батюшкову печь. Сам хозяин лежал на полу у себя в горнице и тяжело храпел с налитым опухшим лицом, раскинув руки с напружившимися жилами. Татьяна Власьевна осторожно прокралась в горницы, чтобы посмотреть на гостей, а затем прошла в горницу к «самому» и долго смотрела на спавшего Гордея Евстратыча, а потом подложила ему под голову подушку. В комнатах все было перевернуто вверх дном, валялись пробки, окурки сигар, объедки балыка и т. п.

— Хорошо, мамынька?.. Хи-хи-хи!.. Кругом шестнадцать!

Татьяна Власьевна вздрогнула. Она только теперь заметила скорчившегося в углу Зотушку, который хихикал с каким-то детским всхлипываньем.

— А ты чему обрадовался, дурак? — грозно спросила Татьяна Власьевна, взбешенная этой выходкой.

— Я? Хи-хи-хи!.. Вот она жилка-то, мамынька!.. Хи-хи-хи!..

— Тьфу, дурак!.. — отплевывалась Татьяна Власьевна.

— Золота захотела... денег... Хи-хи-хи!.. Богатые будем, милый сын Гордей Евстратыч... Мамынька, рюмочку!..

IX

Дело разработки найденного золота, под крылышком Порфира Порфирыча, быстро пошло в ход. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы отложить открытие прииска до весны. Как только были

исполнены необходимые формальности и получены нужные документы, Гордей Евстратыч приступил сейчас же к подготовительным работам. Прииск был назван по речке Смородинским, или просто Смородинкой. Ставили начерно приисковую контору и теплый корпус для промывки золота; тут же устраивалась дробильная машина с конным приводом, и золотая дудка превращалась в настоящую шахту. Стенки прежней дудки значительно были расширены и выровнены, а потом был спущен листвяный сруб; пустую землю и руду поднимали наверх в громадных бадьях, приводимых в движение конным воротом. Человек пятьдесят рабочих «робили на жилке» короткий зимний день весь напролет, а Кайло, Лапоть и Потапыч в качестве привилегированных рабочих «налаживали» шахту. Окся, Лапуха и Домашка тоже готовились принять самое деятельное участие в этой работе, когда поспеет теплый корпус, где будут на станках промывать превращенный в дробильне кварц в песок. Полдневские держались наособицу и задавали некоторый тон, потому что, как-никак, а жилку открыл ихний же Маркушка и на ихней земле.

Одно было нехорошо на новом прииске: речка Смородинка была очень невелика и притом сильно промерзала, так что в воде предвиделось большое затруднение.

— А ты налаживай прудок скорее, — поучал Маркушка, когда Гордей Евстратыч завертывал к нему. — Ночью-то вода даром уходит, а тут она вся у тебя в прудке, как в чашке... А потом эти все конные приводы беспременно брось, Гордей Евстратыч, а налаживай паровую машину: она тебе и воду будет откачивать из шахты, и руду поднимать, и толочь скварец... не слугу себе поставишь, а угодницу.

Маркушка точно ожил с открытием прииска на Смородинке. Кашель меньше мучил его по ночам, и даже отек начинал сходить, а на лице он почти совсем опал, оставив мешки сухой лоснившейся кожи. Только одно продолжало мучить Маркушку: он никак не мог подняться с своей постели, потому что сейчас же начиналась ломота в пояснице и в ногах. Болезнь крепко держала его на одном месте.

— Кабы мне ноги господь дал, да я бы на четвереньках на Смородинку уполз, — часто говорил Маркушка, и его тусклые глаза начинали теплиться загоравшимся огнем. — Я и по ночам вижу эту жилку... как срубы спущают, как Кайло с Пестерем забой делают... Ох, хоть бы одним глазком привел господь взглянуть на Смородинку!..

Мысли и заботы обыденной жизни, а особенно хлопоты с приисковой работой как-то странно были переплетены в голове Маркушки с твердой уверенностью, что он уж больше не жилец. Можно было удивляться тому напряженному вниманию, с которым Маркушка следил за всеми подробностями работы на Смородинском прииске, точно от этого зависела вся его участь. Пестерь и Кайло приходили в лачугу Маркушки каждый день по вечерам и, потягивая свои трубочки перед горевшим на каменке огоньком, рассказывали обо всем, что было сделано на прииске за день, то есть, собственно, говорил один Кайло, а Пестерь только сосал свою трубочку. Этим путем Маркушка знал размеры опускаемого в шахту сруба, место, где ставили теплый корпус, план дробилки, устройство конных приводов и т. д. Эти разговоры точно подливали масла в потухавшую лампу Маркушки и в последний раз освещали ярким лучом его холодевшую душу. Он еще жил, хотя жил слабой, отраженной жизнью, если можно так выразиться — жизнью из вторых рук.

— Ох, дотянуть бы мне только до весны, — иногда говорил Маркушка с странным дрожанием голоса. — Доживу я, Кайло? Как ты думаешь?..

— Может, доживешь, а может, нет, — отвечал Кайло с спокойствием и непроницаемой дальновидностью истинного философа.

— Нет, помрешь, Маркушка, — отрезывал грубо Пестерь.

— Помру?..

— Уж это верно: вчера собака выла ночью, значит, чует покойника.

Маркушка задумывался и тяжело вздыхал. Ему хотелось жить, как живут другие, то есть «робить» в шахте, пить, драться с Пестерем, дарить козловые бо-

тинки Лапухе или Оксе, смотря по расположению духа. Приисковые бабы часто проведовали Маркушку и каждый раз успевали у него что-нибудь выпросить, потому что в лачуге Маркушки теперь было всего вдоволь — и одежи всякой, и харчу, даже стояла бутылка с вином. Все это, конечно, привезено было Брагиным, который старался обставить Маркушку со всем возможным комфортом. Когда установился санный путь, в Полдневскую приехала сама Татьяна Власьевна, чтобы окончательно устроить больного Маркушку. Женские руки доделали то, чего не умел устроить Гордей Евстратыч, при всем желании угодить больному; женский глаз увидел десятки таких мелочей, какие совсем ускользают от мужчины. На полу была постлана серая кошма, у постели поставлен столик с выдвижным ящиком, в переднем углу, где чернел совсем покрытый сажей образ, затеплилась лампадка, появился самовар и т. д. Маркушка сначала ужасно стеснялся производимыми переменами в его логовище, но потом примирился с ними, потому что так хотела Татьяна Власьевна, а ее слово для больного было законом.

— Только вот эта твоя печь — нож мне вострый, — говорила Татьяна Власьевна, протирая глаза от дыма.

— Это каменка-то?.. Отличная печь, Татьяна Власьевна...

— А копоть?.. И прибирать по-настоящему ничего у тебя нельзя, потому сейчас копоть насядет — и все тут. Вон рубашка на тебе какая грязная, одеяло...

— Ох, голубушка ты моя!..

Сначала Маркушка сильно побаивался строгой старухи, которая двигалась по его лачужке с какой-то необыкновенной важностью и уж совсем не так, как суются по избе оглашенные приисковые бабы. Даже запах росного ладана и восковых свеч, который сопровождал Татьяну Власьевну, — даже этот запах как-то пугал Маркушку, напоминая ему о чем-то великом и неизвестном, что теперь так грозно и неотразимо приближалось к нему. Мысль о будущем начинала точить и грызть Маркушку, как червь.

Татьяна Власьевна заметила на себе болезненно-пристальный взгляд Маркушки и спросила:

— Ты чего это глядишь на меня больно востро?

— Так, родимая моя, так гляжу... Много на моей душе грехов, голубушка...

— Все грешные люди, один господь без греха.

— Вот умру скоро, Татьяна Власьевна... Тяжело... давит... А ты еще, святая душенька, ухаживаешь за мной...

— Что ты, Христос с тобой?!. Какие ты слова выговариваешь?

— Душу я загубил... душу человеческую... *Он* ведь надо мной постоянно стоит. Это *он* моей души дожидается...

— Перестань болтать-то пустое!.. Не согрешишь — не спасешься!..

Татьяна Власьевна заговорила о силе покаяния и молитвы, которые спасают закоснелых в грехе грешников. Это было чисто раскольничье богословие, исходной точкой которого являлся тезис: «Большой грех прощается скорее малого, потому что человек скорее покается». А потом, что один раскаявшийся грешник всегда милее господу десятка никогда не согрешивших праведников. Против такой богословской теории был бессилен даже авторитет о. Крискента, который не переваривал крайностей даже в вопросах о спасении души. Этот благочестивый человек видел рай слишком в богословски-отвлеченных формах, тогда как паства тяготела к самым жестоким представлениям, которые были для нее понятнее. Маркушка был слишком реалист, чтобы усвоить себе отвлеченные богословские понятия; между тем он считал себя очень грешным человеком, значит, там, вверху, в надзвездном мире ожидала его карающая беспощадная рука, которая воздает сторицей за все земные неправды. Степенная, душевная речь Татьяны Власьевны затронула в душе этого отчаянного человека неизвестные даже ему самому струны. Ведь с ним никто и никогда не говорил, да он и не в состоянии был слушать такие благочестивые разговоры, потому что представлял собой один сплошной грех. Теперь другое дело, теперь он жадно ловил каждое слово богобоязливой старухи, как умирающий от жажды глотает капли падающего дождя, и под ласковым сочувствую-

щим взглядом другого человека эта ледяная глыба греха подалась... У Маркушки в глазах стояли слезы, когда Татьяна Власьевна кончила ему свое первое утешительное и напутственное слово; он сам не знал, о чем он плакал, но на душе у него точно просветлело. Мрак и сомнения уступили место радостно-светлому чувству.

— А Кайло и Пестерь, если покаются, тоже могут войти в царство небесное? — спрашивал Маркушка, чувствовавший себя отделенным от своих друзей целой пропастью.

— И они войдут, если покаются.

Маркушка усомнился, но, взглянув на строгое лицо Татьяны Власьевны, не мог не поверить ей.

— А Лапуха с Оксей?

— Все люди — все человеки...

Душевное просветление Маркушки не в силах было переступить через эту грань: еще допустить в царство небесное Кайло и Пестеря, пожалуй, можно, но чтобы впустить туда Оксю с Лапухой... Нет, этого не могло быть! В Маркушке протестовало какое-то физическое чувство против такого применения христианского принципа всепрощения. Он готов был поручиться чем угодно, что Окся и Лапуха не попадут в селения праведных...

После этого первого визита к Маркушке прошло не больше недели, как Татьяна Власьевна отправилась в Полдневскую во второй раз. Обстановка Маркушкиной лачужки не показалась ей теперь такой жалкой, как в первый раз, как и сам больной, который смотрел так спокойно и довольно. Даже дым от Маркушкиной каменки не так ел глаза, как раньше. Татьяна Власьевна с удовольствием видела, что Маркушка заглядывает ей в лицо и ловит каждый ее взгляд. Очевидно, Маркушка был на пути к спасению.

— Лучше тебе? — спрашивала Татьяна Власьевна.

— Лучше, голубушка...

— Вот что, Марк, — заговорила серьезно Татьяна Власьевна, — все я думаю, отчего ты отказал свою жилку Гордею Евстратычу, а не кому другому?.. Разве мало стало народу хоть у нас на Белоглинском заводе или в других прочих местах? Все меня сумление берет... Только ты уж по совести расскажи...

— А что я сказывал Гордею Евстратычу, то и тебе скажу... Больше ничего не знаю. Плохо тогда мне пришлось, больно плохо; а тут Михалко в Полдневскую приехал, ну, ко мне зашел... Думал, думал, чем пропадать жилке задарма — пусть уж ей владеет хоть хороший человек.

— Отчего же ты раньше Гордею Евстратычу о жилке не объявился? Ведь пятнадцать лет, как нашел ее...

— Ах, Татьяна Власьевна, голубушка... ах, какая ты, право! ну, уж и слово сказала... а? Ведь в этом золоте настоящий бес сидит, ей-богу, особливо для бедного человека... Так и я: так думал и этак думал. Даже от этих самых мыслей совсем было уже решился, да еще господь спас... Смешно и вспомнить... Перво-наперво страх на меня напал, потом стал я ото всех прятаться... мучит ведь оно, золото-то! Думал потом продать жилку кому-нибудь! Кутневы были живы еще, суды завели бы... А когда умерли Кутневы, зачал я ходить по богатым мужикам, которые золотом занимаются: кто десять рублей посулит, кто двадцать, кто просто в шею выгонит... всячины было, родная... Жаль было этакое богачество за четвертной билет губить: ведь тут тыщи... Одно слово — богатство!... А самому заняться тоже невозможно: первое, нечем мне взяться за работу, а второе... Ох, да што тут говорить, Татьяна Власьевна! Сама, голубушка, знаешь: только пикни бы Маркушка с своей жилкой, его сейчас бы и под лапу сгребли... Маленький человек, еще в остроге бы досыта насиделся! Тот же Порфир Порфирыч али Плинтусов с Шабалиным... Не я первой! Вот я и подыскивал все подходящего человека... Ну, которые получше, не верили мне, а другие просто за страм считали говорить с Маркушкой... Да... Известные ведь мы люди на всю округу!.. Так год за год и тянулось дело, а я поковыривал свою жилку, што-нешто, пока не доковырялся вот до чего... Мудреное это дело, Татьяна Власьевна, золото! Тоже оно к рукам идет, руку знает... Вот я и порешил, штобы оно досталось Гордею Евстратычу да тебе, штобы вы грех мой замаливали...

Глаза Маркушки горели лихорадочным огнем, точно он переживал во второй раз свою золотую лихорадку, которая его мучила целых пятнадцать лет. Татьяна Власьевна молчала, потому что ей передавалось взволнованное состояние больного Маркушки: она тоже боялась, с одной стороны, этой жилки, а с другой — не могла оторваться от нее. Теперь уж жилка начинала владеть ее мыслями и желаниями, и с каждым часом эта власть делалась сильнее.

Захватывающее влияние золота уже успело отразиться на всей брагинской семье. Первое появление Порфира Порфирыча с компанией в этом доме было для всех истинным наказанием; а когда Гордей Евстратыч проспался на другой день, — он не знал, как глаза показать. Второе нашествие Порфира Порфирыча уже не показалось никому таким диким, и Татьяна Власьевна первая нашла, что он, хотя пьяница и любит покуражиться, но в душе добрый человек. В сущности это последнее заключение двоилось, потому что Татьяна Власьевна как-то инстинктивно боялась Порфира Порфирыча, в чем не хотела сознаться даже самой себе.

— Велико кушанье... — говорила она даже вслух. — Уж Липачка и Плинтусовых не боюсь, а Порфира Порфирыча и подавно... Ну, не даст золото мыть — проживем и без золота, как раньше жили.

Но этот страх пред ревизором был каплей, которая тонула в море других ощущений, мыслей и чувств. Пока в брагинской семье переживалось напряженное состояние, было промыто официальное первое золото. Жилка оказалась чрезвычайно богатой, потому что на сто пудов падало целых тридцать золотников, тогда как считается выгодным разрабатывать коренное золото при пятидесяти — шестидесяти долях, а в Америке находят возможным эксплуатировать даже 5-долевое содержание. Одним словом, результат получился блестящий, точно награда за все пережитые брагинской семьей треволнения.

— Теперь Михалка и Архипа посадим на прииск, мамынька, — решил Гордей Евстратыч, пересыпая в бумажке золотой песочек.

— А в лавке кто будет сидеть?

— Пусть Ариша с Дуней сидят...

— Молоды они, Гордей Евстратыч. Пожалуй, не управятся...

— Тогда лавку закроем... А мне без ребят одному на прииске не разорваться. Надо смотреть за всеми: того гляди, золото-то рабочие растащат...

Все это было, конечно, справедливо... но закрыть батюшкову торговлю панским товаром Гордей Евстратыч никогда не решился бы, а говорил все это только для того, чтобы заставить мамыньку убедиться в невозможности другого образа действия. А Татьяне Власьевне крепко не по душе это пришлось, потому что от нужды отчего же и женщин не посадить в лавке, особливо, когда несчастный случай какой подвернется в семье; а теперь дело совсем другое: раньше не богато жили, да снохи дома сидели, а теперь с богатой жилкой вдруг снох посадить в лавку... Это было противоречие, с которым Татьяна Власьевна никак не могла примириться теоретически, хотя практически видела его полную неизбежность.

— Можно бы приказчика в лавку посадить, Гордей Евстратыч, — пробовала она замолвить словечко, хотя сейчас же убедилась в его полной несостоятельности.

— Нет, уж этому не бывать, мамынька! — решительно заявил Гордей Евстратыч, — потому как нам приказчик совсем не подходящее дело; день он в лавке, а ночью куда мы его денем? То-то вот и есть... Мужики все на прииске, а дома снохи молодые, дочь на возрасте.

— Штой-то уж! Гордей Евстратыч, какие ты речи говоришь... А я-то на што?..

— А я не к тому речь веду, что опасаюсь сам, — нет, разговоров, мамынька, много лишних пойдет. Теперь и без того все про нас в трубу трубят, а тут и не оберешься разговору...

Перед рождеством Гордей Евстратыч сдал первое золото в Екатеринбурге и получил за него около шести тысяч, — это был целый капитал, хотя, собственно, первоначальные расходы на прииске были вдвое

больше. Но ведь это был только первый месяц, а затем пойдет чистый доход. Чтобы начать дело, Гордею Евстратычу пришлось затратить не только весь свой наличный капитал, но и перехватить деньжонок у Пятова, Нила Поликарпыча. К своим родным, Савиным и Колобовым, Гордей Евстратыч ни за что не хотел обращаться, несмотря на советы Татьяны Власьевны; вообще им овладел какой-то бес гордости по отношению к родным. Раньше не хотел посоветоваться с ними насчет жилки, а теперь пошел за деньгами к Пятову. Вместе с тем Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч ужасно стал рассчитывать каждую копейку, чего раньше не было за ним, особенно когда расходы шли в дом.

— Мне паровую машину ставить надо к весне, — говорил он, оправдываясь. — Да и Ирбитская ярмарка на носу, надо товар добыть, а деньги все в прииск усажены.

Конечно, это были только временные стеснения, которые пройдут в течение первых же месяцев.

Первые дикие деньги породили в брагинской семье и первую семейную ссору, хотя она и была самая небольшая. Когда Гордей Евстратыч ездил сдавать золото, он привез обеим снохам по подарку. Обыкновенно такие подарки делались всегда одинаковые, а тут Гордея Евстратыча точно бес толкнул под руку купить разные, — Арише серьги, Дуне брошку. Вот эта-то брошка и послужила яблоком раздора, потому что Арише показалось, что свекор больше любит Дуню и привез ей лучше подарок. Сначала Ариша надулась и замолчала, а потом принялась плакать в своей каморке, пока это горе не перешло в открытую ссору с Дуней. Невестки перессорились между собой, перессорили мужей и довели дело до Гордея Евстратыча. Суд и решение были самого короткого свойства.

— Не умели носить моих подарков, так пусть они у меня полежат, пока вы будете умнее, — решил Гордей Евстратыч, запирая и брошку и серьги к себе в шкатулку.

Невестки жили раньше душа в душу, но тут даже суровое решение Гордея Евстратыча и все увещания

Татьяны Власьевны не могли их примирить. Если бы еще дело было важное, тогда примирение не замедлило бы, вероятно, состояться, но известно, что пустяков люди не забывают и не прощают друг другу...

X

Отец Крискент был «удивлен»... Именно, когда он распечатал братскую кружку, там оказалась туго сложенная и завязанная сторублевая бумажка, в других кружках тоже, а в той, которая специально служила для сборов на построение храма, лежало целых пять сложенных бумажек. Одним словом, в течение всего «прохождения церковной службы» о. Крискентом — это был первый пример такой щедрости доброхотного дателя, пожелавшего остаться неизвестным. Ясное дело, что о. Крискенту стоило только кое-что припомнить, чтобы узнать сейчас неизвестного дателя, которым, конечно, был не кто иной, как Гордей Евстратыч.

— Доброе дело, доброе дело... — говорил о. Крискент и сейчас же прибавил: — Воздадите божие богови, а кесарево кесарю. Непременно нужно будет Брагина в церковные старосты выбрать, а то Нилу Поликарпычу трудно справляться.

Об этих крупных пожертвованиях вечером же знал весь Белоглинский завод, и все хвалили «благое начинание и ревность» Гордея Евстратыча. А к этому присоединились другие известия: одной старушке ночью в окно чья-то рука подала десять рублей, трем бедным семьям та же рука дала по пяти, и т. д. Милостыня была вполне тайная, хотя никакая тайна не остается тайной. Скоро молва разнесла самые точные подробности о положении дел у Брагиных, причем количество золота росло по часам, а вместе с ним росли и брагинские «тысячи».

Нужно ли говорить о том, что эти слухи и самые верные известия, вместе с количеством добытого Брагиным золота, поднимали и зависть к их неожиданному богатству. Последнее чувство росло и увеличивалось, как катившийся под гору ком снега, так что люди са-

мые близкие к этой семье начали теперь относиться к ней как-то подозрительно, хотя к этому не было подано ни малейшего повода. Савины и Колобовы были обижены тем, что Гордей Евстратыч возгордился и не только не хотел посоветоваться с ними о таком важном деле, а даже за деньгами пошел к Пятову. Уж кому бы ближе, как не им, покучиться с деньгами, ведь не чужие, слава богу...

— Ну, ежели он не хочет, так бог с ним, — говорил старик Колобов, когда сидел у Пятовых. — Погордиться захотел перед роденькой-то.

Ссора брагинских невесток подлила масла в огонь: теперь Колобовы и Савины не только надулись на всю брагинскую семью, но разошлись и между собой. Брагинское золото достало и их... Даже потайная милостыня была выставлена в самом непривлекательном свете, как ловкая штука Татьяны Власьевны. Без сомнения, Гордей Евстратыч действовал по ее наущению во всем: вот тебе и спасенная душа!.. Против Брагиных из прежних знакомых не были восстановлены только Пятовы и Пазухины, но, может быть, это была простая случайность, как многое другое на свете: стоило бросить малейший повод, и Пазухины и Пятовы точно так же восстали бы против Брагиных.

А золото шло все богаче и богаче... Жилка дала побочную веточку, на которой заложили другую шахту. Особенно богато золото шло в тех местах, где «жилка выклинивалась», то есть сходилось в один узел несколько ветвей. Теперь на Смородинке работало больше ста человек. Гордей Евстратыч во второй раз свез добытое золото и привез с собой больше десяти тысяч. Работы были приостановлены только наступившими праздниками, а затем снова были открыты на третий день рождества. Несмотря на самое блестящее положение дел, святки в брагинском доме прошли скучнее обыкновенного, потому что Савины и Колобовы даже не заглянули к Брагиным. Невестки ходили с опухшими красными глазами. Татьяна Власьевна тяжело вздохнула, и даже беззаботная Нюша приуныла; один Гордей Евстратыч точно ничего не видел и не слышал, что

делалось кругом: он точно прирос к своему прииску и ни о чем больше не мог думать.

— Ну, и пусть дуются, — говорил он матери, — я им ничего не сделал...

— Я тебе говорила тогда, милушка... — пробовала уговаривать Татьяна Власьевна. — Вон они и обиделись!

— Мне наплевать на них!.. И без них проживем.

— Ох, не гордись, не гордись, милушка. Гордым господь противится...

— Что же, по-твоему, мне самому идти да кланяться им?.. Жирно будет, — пожалуй, подавятся.

Дело было дрянь, как его ни поверни, и Татьяна Власьевна напрасно ломала свою голову, чтобы выйти из затруднения, то есть помириться с родней, не умаляя своей чести. «Ведь вины-то нет никакой, — раздумывала она про себя. — Гордей-то и прав выходит; на духу покаяться не в чем. Что мы им сделали? Взять хоть Савиных, хоть Колобовых...» Нужно в этом отдать полную справедливость гению Марфы Петровны, которая с необыкновенным искусством умела «подпустить беска» везде и теперь «переплескивала» самые невероятные известия от Брагиных к Колобовым и Савиным, и наоборот. Ослепление сторон дошло до того, что они, зная много лет Марфу Петровну, как завзятую сплетницу, сделали ее теперь своей поверенной. В результате получилось такое положение дел, что о примирении не могло быть и речи. Марфа Петровна торжествовала, сама не отдавая себе отчета в своих поступках. Особенно ловко она сумела поссорить между собой старуху Савиху с безобидной Агнеей Герасимовной Колобовой. Старухи жили душа в душу целый век, а тут чуть не разодрались из-за пустяков, — это было настоящее похмелье в чужом пиру. Даже Татьяна Власьевна поддалась хитросплетенным наветам Марфы Петровны и, наконец, убедилась, что Савины и Колобовы виноваты во всем.

— А старухи-то, старухи — настоящие злыгни, так и шипят! — подсказывала Марфа Петровна. — Вишь, им поперек горла стало ваше-то золото... Зависть одолела!

— Штой-то, Марфушка, и люди за такие ноне пошли? — с тоской спрашивала Татьяна Власьевна.

— Ох, и не говори, Татьяна Власьевна... Не кормя, не поя, ворога не наживешь, голубушка!..

— А ведь ты верно сказала, Марфуша. Жили мы, никому не мешали и теперь не мешаем, а тут накося, какая притча стряслась! С чужими-то завсегда легче жить, чем со своими.

— Так, Татьяна Власьевна... С чужими делить нечего — вот и мир, да гладь, да божья благодать.

Всех чаще теперь бывали в брагинском доме Пятовы, то есть Нил Поликарпыч и Феня. Сам Пятов, высокий, тощий брюнет с лысой головой, отличался своей молчаливостью и необыкновенным пристрастием к разным домашним средствам: он всегда считал себя чем-нибудь больным и вечно лечился разными настоями и необыкновенно мудреными мазями. Все это составлялось по самым таинственным рецептам, и каждое средство помогало по крайней мере сотне людей, хотя Нилу Поликарповичу не делалось легче, и он с новым терпением изыскивал что-нибудь неиспробованное. Овдовев в молодых годах, он теперь находился на полном попечении дочери, которая не чувствовала никакого расположения к лекарствам и лечению. Единственная дочь, избалованная с детства, Феня не знала запрета ни в чем и делала все, что хотела. Бойкая и красивая, с светлорусой головкой и могучей грудью, эта девушка изнывала под напором жизненных сил, она дурачилась и бесилась, как говорила Татьяна Власьевна, не зная устали, хотя сердце у ней было доброе и отходчивое. У Пятова был еще сын Володька, но тот сбился давно с панталыку и теперь жил где-то на приисках, подальше от родительских глаз. Феня и Нюша росли вместе и были почти погодки; они подходили и по характеру друг к другу и по тому, что выросли без матери. Феня рассказывала бесконечную историю о своих женихах, которые являлись с самыми фантастическими достоинствами, как мифологические божества.

— Уж не стала бы я по-твоему возиться с каким-нибудь Алешкой Пазухиным! — не раз говорила Феня,

встряхивая своей желтой косой. — Нечего сказать, не нашла хуже-то!..

— Он славный, Феня...

— Славный, славный... Нечего сказать, нашла славного, шагу не умеет ступить.

— Да мне с ним не танцевать.

— Танцевать не танцевать, а в люди показаться совестно. Такие у попов страшные бывают... Славный!.. Я ему вот когда-нибудь так в шею накладу, — вот тебе и славный!

— Я и сама так думала, только мне его жаль, Феня, так жаль... Я тебе не умею сказать, как жаль! Недавно они у нас все в гостях были... Ну, сидели, чай пили, а когда пошли домой, Алешка и говорит мне: «Прощайте, Анна Гордеевна...» А сам так на меня смотрит, жалостливо смотрит. «Что, говорю я ему, умирать, что ли, собрался?» — «Нет, говорит, а около того... Теперь, говорит, вы стали богатые; а пеший конному не товарищ». Вот этим он меня и зарезал... Стою я да смотрю на него, как дура какая, а потом как поцелую его... Так и сказала прямо, что либо за него, либо ни за кого!

— Ого!.. Так вы вот как?!. Ну, это все пустяки. Я первая тебя не отдам за Алешку — и все тут... Выдумала! Мало ли этаких пестерей на белом свете найдется, всех не пережалеешь... Погоди, вот ужо налетит ясный сокол и прогонит твою мокрую ворону.

— Нет, Феня... я уже сказала и от своего слова не отопрусь.

— Ну, ну... Девичья память короткая: до порога!

Эти речи сильно смущали Нюшу, но она скоро одумывалась, когда Феня уходила. Именно теперь, когда возможность разлуки с Алешкой являлась более чем вероятной, она почувствовала со всей силой, как любила этого простого, хорошего парня, который в ней души не чаял. Она ничего лучшего не желала и была счастлива своим решением.

В общей сумятице, поднятой брагинской жилкой, чистой от всяких расчетов и соображений корыстного характера оставалась пока одна Нюша, что и проявлялось в ее отношениях к Алеше. Девушка любила нетро-

нутым молодым чувством, без всякой задней мысли, и новая обстановка, ломавшая старые батюшкины устои, еще не коснулась ее. Пелагея Миневна наблюдала Нюшу и с радостью замечала, что эта девушка остается прежней Нюшей, только бы господь пособил пристроить ее за Алешку. Расчетливая старушка хорошо понимала, что такого важного дела отнюдь не следует откладывать в долгий ящик: обстоятельства быстро менялись, а с ними могли измениться и намерения большаков Брагиных относительно судьбы Нюши. Пелагея Миневна и Марфа Петровна были уверены, что Брагины отдадут Нюшу за Алешу, потому что она одна у них, пожалеют отдать куда-нибудь далеко, а тут рукой подать, всего через дорогу перейти. Притом Алеша парень смиренный, работящий, и семья у них маленькая; ну, и достатков хватит на их-то век. Сама Татьяна Власьевна давала понять несколько раз, что она с удовольствием отдаст Нюшу за Алешу; а если Татьяна Власьевна этого хотела, то Гордей Евстратыч и подавно.

Пелагея Миневна целые святки все выбирала удобный случай, чтобы еще поговорить по душе с Татьяной Власьевной; а там, заведенным порядком, и сватов можно было заслать. Но время для такого разговора все как-то не выдавалось: то гости у Брагиных, то што. Только этак накануне нового года Пелагея Миневна собралась-таки к Брагиным. Надела старинный шелковый сарафан, по зеленому полю с алой травкой, подпоясалась старинным плетеным шелковым поясом, на голову надела расшитую золотом сороку, и в таком виде, положив установленный начал перед дедовским образом, отправилась в брагинский дом.

— У них теперь никого и дома-то нет, кроме старухи, — говорила провожавшая ее Марфа Петровна. — Мужики на Смородинке, Дуня в лавке, Нюша у Пятовых, надо полагать... В добрый час, Пелагея Миневна!.. Господи, благослови!..

Торжественный вид, с которым вошла Пелагея Миневна на половину Татьяны Власьевны, даже немного испугал последнюю: она по глазам видела, зачем пришла Пелагея Миневна. Усадив гостью и заказав

Маланье самовар, Татьяна Власьевна принялась беседовать о том и о сем, точно не понимала, зачем явилась гостья. Покалякали бабьим делом, посудачили, поперемывали косточки, кто подвернулся под руку, а сами все ни с места. Пелагея Миневна выпила две чашки чаю, похвалила стряпню Маланьи и вообще довольно тонко польстила хозяйке.

— Какая наша стряпня, Пелагея Миневна,— скромничала довольная Татьяна Власьевна.— Маланья стара стала да упряма, все поперек хочет делать.

— Што вы это говорите, Татьяна Власьевна?.. У вас теперь и замениться есть кем: две снохи в доме... Мастерицы бабочки, не откуда-нибудь взяты! Особенно Ариша-то... Ведь Агнея Герасимовна первая у нас затейница по всему Белоглинскому, ежели разобрать. Против нее разе только у вас состряпают, а в других прочих домах далеко не вплоть.

Татьяна Власьевна промолчала. Гостья задела неловко наболевшее место о недавней ссоре с Савиными и Колобовыми.

— Ах, голубушка, Татьяна Власьевна, а вот мне так и замениться-то некем...— перешла в минорный тон Пелагея Миневна, делая то, что в периодах называется понижением.— Плоха я стала, Татьяна Власьевна, здоровьем сильно скудаюсь, особливо к погоде... Поясницу так ломит другой раз — страсти!.. А дочерей не догадалась наростить, вот теперь и майся на старости лет...

Это в диалектическом отношении был очень ловкий приступ, и Татьяне Власьевне стоило только сказать, что, мол, «Пелагея Миневна, вашему горю и помочь можно — сын на возрасте, жените и заменушку в дом приведете...» Но важеватая старуха, конечно, ничего подобного не высказала, потому что это было неприлично, — с какой стати она сама стала бы навязываться Пазухиным?..

— А Марфа Петровна? — уклончиво спросила Татьяна Власьевна.— Кабы у меня были такие золотые руки, да я бы, кажется, еще сто лет прожила...

— Это вы справедливо, Татьяна Власьевна... Точно, что наша Марфа Петровна целый дом ведет,

только ведь все-таки она чужой человек, ежели разобрать. Уж ей не укажи ни в чем, а боже упаси, ежели поперешное слово сказать. Склалась, только ее и видел. К тем же Шабалиным уйдет, ей везде дорога.

— Што говорить, што говорить!.. — покачивая головой, согласилась Татьяна Власьевна. — Тоже вот и язычок у Марфы-то Петровны...

— Ох, и не говорите, Татьяна Власьевна! Стыдно сказать, а грех утаить: плачу я от ее языка, слезно плачу... Конечно, про себя перенесешь — и молчок, не в люди же нести свою сухоту. Донимает она меня этим своим язычком, так донимает... А я сама-то стара становлюсь, ну и терпишь.

Гостья так расчувствовалась, что даже вытерла глаза уголком своего кисейного передника, подвязанного, конечно, под самые мышки. Старушки еще побеседовали, а потом Пелагея Миневна начала прощаться.

— Заболталась я у вас, Татьяна Власьевна... Извините уж на нашей простоте! К нам-то когда вы пожалуете?

— А вот соберемся как-нибудь... Спасибо, что нас грешных не забываете, Пелагея Миневна. Нынче как-то и не применишься к людям... Гордость всех одолела...

Пелагея Миневна, накидывая в передней платок на голову, с соболезнованием покачала только головой: очевидно, Татьяна Власьевна намекала на недоразумения с Савиными и Колобовыми. Накидывая на плечи свою беличью шубейку, Пелагея Миневна чувствовала, как все у нее внутри точно похолодело — наступил самый критический момент... Скажет что-нибудь Татьяна Власьевна или не скажет? Когда гостья уже направилась к порогу, Татьяна Власьевна остановила ее вопросом:

— А где у вас Алексей-то Силыч? Што-то ровно его не видать...

— Да при лавке больше, Татьяна Власьевна. Он ведь домосед у нас, сами знаете, не любит больно-то расхаживать.

— Смиренный парень, што говорить... Надо вам за него бога молить, Пелагея Миневна. Этаких-то

кротких да послушных по нынешним временам надо с огнем поискать!..

Этого было совершенно достаточно... Татьяна Власьевна сама вызывала на сватовство последним отзывом, и Пелагея Миневна вышла в сени в радостном волнении, от которого у ней кружилась голова. «Устрой, господи, все на пользу!» — шептала она про себя, спускаясь по лесенке во двор. Пелагея Миневна в своем радужном настроении дошла до самых ворот и только хотела взяться за кольцо калитки, как она растворилась сама, а в калитке показалась женская высокая фигура в двух шубах с наглухо завернутой головой в несколько шалей.

— Алена Евстратьевна!.. — проговорила Пелагея Миневна, пристально вглядываясь в стоявшую неподвижно женскую фигуру. — Откуда бог несет?

— Из Верхотурья приехала, — как-то нехотя ответила Алена Евстратьевна, оглядывая Пелагею Миневну с ног до головы.

— Аль не узнали меня-то?

— Што-то как будто запамятовала...

— Пазухиных-то, может, еще не забыла, Алена Евстратьевна? Суседи в прежнее время были с вами...

— Да, да... помню.

Алена Евстратьевна даже не подала руки Пелагее Миневне, а только сухо ей поклонилась, как настоящая заправская барыня. Эта встреча разом разбила розовое настроение Пелагеи Миневны, у которой точно что оборвалось внутри... Гордячка была эта Алена Евстратьевна, и никто ее не любил, даже Татьяна Власьевна. Теперь Пелагея Миневна постояла-постояла, посмотрела, как въезжали во двор лошади, на которых приехала Алена Евстратьевна, а потом уныло поплелась домой.

«И принесло же ее ни раньше, ни после... — сердито думала Пазухина, подходя к своему дому. — Пожалуй, все наше дело испортит. Придется погодить, видно, как она в свое Верхотурье уберется...»

Марфа Петровна видела, как приехала Алена Евстратьевна, и все поняла без объяснений: случай

вышел не в руку; ну, да все под богом ходим, не век же будет жить в Белоглинском эта гордячка.

Появление Алены Евстратьевны произвело в брагинском доме настоящий переворот, хотя там ее никто особенно не жаловал. Раньше она редко приезжала в гости и оставалась всего дня на два, на три; но на этот раз по всем признакам готовилась прогостить вплоть до последнего санного пути.

— На наше золото прилетели, Алена Евстратьевна? — язвительно спрашивал Зотушка, кутивший все праздники.

— Какое золото? — удивилась Алена Евстратьевна.

— Отец-от разве не описывал тебе ничего? — спрашивала Татьяна Власьевна: она называла Гордея отцом, как большака в семье.

— Ничего мы не получали. А я прихворнула перед рождеством-то, а то бы раньше приехала...

«Врет, все врет наша Аленушка... — думал пьяный Зотушка, улыбаясь хитрой улыбкой. — На жилку ворона прилетела, только не даром ли крыльями, милая, махала?..»

Алене Евстратьевне было за сорок; это была полная, высокая женщина, с красивым лицом, на котором тенью лежало что-то фальшивое и хитрое. Серые большие глаза Алены Евстратьевны смотрели прямо и нахально, особенно когда она улыбалась. Одевалась она всегда по моде, то есть носила платья, шляпки, воротнички, корсет и т. д. Муж Алены Евстратьевны хотя и занимался подрядами и числился во второй гильдии, но, попав в земские гласные, перевел себя совсем на господскую руку, то есть он в этом случае, как миллионы других мужей, только плясал под дудку своей жены, которая всегда была записной модницей.

Алена Евстратьевна до страсти любила распоряжаться и совать свой нос решительно везде; потому, едва успев переодеться с дороги, она начала производить строгую ревизию по всему дому, причем находила все не так, как тому следовало бы быть. Особенно досталось от нее невесткам; Алена Евстратьевна умела

подносить самые горькие пилюли с ласковой улыбкой. Нюша попробовала было вступить с тетушкой зуб за зуб, но была разбита и уничтожена. В каких-нибудь три дня гостья овладела всем домом и распоряжалась в нем, как победитель в завоеванной провинции. Даже сам Гордей Евстратыч, недолюбливавший сестричку за ее характер, теперь как-то совсем поддался ей и даже заметно ухаживал за ней. Татьяна Власьевна удивлялась такой перемене и в то же время сама начала относиться к нелюбимой дочери с большим уважением и даже раза два советовалась с ней.

— Как это вы живете, Гордей Евстратыч? — говорила Алена Евстратьевна. — Разве это порядок в доме? Точно какие-нибудь прасолы... Всякий, как в комнаты зашел, сейчас и видит вашу необразованность!

— Ладно нам, Алена Евстратьевна... Куда уж нам за богатыми гоняться! — ответил Гордей Евстратыч. — Век прожили не хуже других...

— Вам-то хорошо так говорить, а дети как? Тоже в необразованности хотите оставить, на посмеяние всем... Или взять Нюшу теперь... Девушка невеста, а порядочному жениху стыдно в дом приехать... Это какая-то лачуга, а не дом. Вон Вукол Логиныч устроил себе домик, так хоть кого не стыдно в нем принять. Взять эти ваши сарафаны... Кроме Белоглинского завода, во всем свете больше не увидишь, чтобы девушки или молодые женщины в сарафанах ходили... Взять хоть наше Верхотурье... Нет, братец, по вашим теперешним достаткам так жить невозможно! Уж вы как там хотите с маменькой, а только это не порядок в доме... Спросите у кого угодно, как по другим-прочим местам богатые люди живут.

Гордей Евстратыч для видимости противоречил, но внутренно был совершенно согласен с сестрой: так жить дальше было невозможно, совестно, взять хоть супротив того же Вукола Логиныча. У того вон как все устроено в дому, вроде как в церкви.

— Вон у вас какая печка безобразная стоит, Гордей Евстратыч, — не унималась Алена Евстратьевна. — Весь дом портит...

— Ну, уж это ты напрасно... Печку не уберу! Лучше другой дом выстрою. Дай срок, вот золота летом намоем, тогда такую музыку заведем...

— В том-то и дело, Гордей Евстратыч, чтобы от других не отстать... А то совестно к вам приехать!.. И компания у вас тоже самая неподходящая: какие-то Пазухины... Вы должны себя теперь очень соблюдать, чтобы перед другими было не совестно. Хорошему человеку к вам и в гости прийти неловко... Изволь тут разговаривать с какой-то Пелагеей Миневной да Марфой Петровной. Это не порядок в доме...

— А я печку не буду ломать, — продолжал Гордей Евстратыч, отвечая самому себе, — вот полы перестлать или потолки раскрасить — это можно. Там из небели что поправить, насчет ковров — это все сделаем не хуже других... А по осени можно будет и дом заложить по всей форме.

Одним словом, Алена Евстратьевна пошла кутить и мутить, точно ее бес подмывал. Большаки слушали ее потому, что боялись, как бы не отстать от других; молодые хоть и недолюбливали ее, но тоже слушали, потому что Алена Евстратьевна была записная модница и всегда ходила в платьях и шляпках.

А на Смородинке золото так и лезло из земли — что неделя, то и два да три фунта. После крещенья Гордей Евстратыч еще сгонял в город и еще сдал золота. А Алена Евстратьевна живет себе да поживает у милого братца и, видимо, желания никакого не имеет убраться в свое Верхотурье. Двенадцатого января Татьяна Власьевна была именинница. Этот день праздновался в брагинском доме очень скромно и по старинному: накануне о. Крискент служил всенощную, утром женщины шли в церковь к обедне, потом к чаю собирались кой-кто из знакомых старушек, съедали именинный пирог, и тем все дело кончалось. И на этот раз все устроилось так же. Только после обедни не пришли ни от Савиных, ни от Колобовых, что очень огорчило Татьяну Власьевну; из посторонних были только Пелагея Миневна с Марфой Петровной да еще стрекоза Феня. Мужчины хотели приехать с прииска только к вечеру, потому работа не ждала. Прибрел еще

о. Крискент в своей фиолетовой ряске. За чаем сидели и калякали о разных разностях, главным образом, за всех говорила модная Алена Евстратьевна, которая распространялась все насчет настоящих порядков в доме. О. Крискент благочестиво соглашался, склонял головку набок и шептал: «Да, да!»

— Баушка, ведь это к нам! — крикнула Нюша, бросаясь к окну.

К воротам брагинского дома лихо подкатили лакированные сани станового, заложенные парой наотлет; в них с Плинтусовым сидел мировой Липачек.

— Видно, к Гордею Евстратычу, — сообразила Татьяна Власьевна.

Все женщины поспешили перебраться из парадных комнат на половину Татьяны Власьевны; остались на своих местах только о. Крискент да Алена Евстратьевна.

— Милости просим, милости просим. Только вот Гордея Евстратыча нет дома: еще не приехал с прииска...

— А мы не к нему, а к вам, Татьяна Власьевна, — говорил Плинтусов, щелкая каблуками. — Нарочно приехали поздравить вас с днем вашего тезоименитства.

Плинтусов фатовато прищурил свои сорочьи глаза и еще раз щелкнул каблуками; Липачек повторил то же самое. Татьяна Власьевна была приятно изумлена этой неожиданностью и не знала, как и чем ей принять дорогих гостей. На этот раз Алена Евстратьевна выручила ее, потому что сумела занять гостей образованным разговором, пока готовилась закуска и раскупоривались бутылки.

«И меня, старуху, вспомнили», — думала Татьяна Власьевна, польщенная этим вниманием.

— Мы еще третьего дня сговорились ехать к вам вместе, — докладывал Плинтусов, выплескивая в свою пасть первую рюмку.

— Как же это вы так надумали?.. Напрасно только себя беспокоили, — точно оправдывалась Татьяна Власьевна. — Мы маленькие люди...

— Ах, маменька, какие вы, право, — жеманно возражала Алена Евстратьевна, совсем сконфуженная не-

знанием Татьяны Власьевны светских приличий. — Это везде так принято в порядочном обществе...

Плинтусов и Липачек не успели выпить по второй рюмке, как подкатил на своем сером Шабалин, а вслед за ним Пятов. Словом, гостей набрался полон дом.

— Вот мы и поздравим старушку соборне, — кричал Вукол Логиныч, хлопая Татьяну Власьевну по плечу. — Так ведь, отец Крискент?.. Я хоть и не вашей веры, а выпить вместе не прочь...

Все наперерыв старались выразить свое уважение не только Татьяне Власьевне, но и Алене Евстратьевне. Даже неразговорчивый Липачек, и тот повторял каждое слово Плинтусова.

— Ведь их надо будет оставить обедать, — соображала Татьяна Власьевна, считая гостей по пальцам. — Ох, горе мое, а у нас и стряпни никакой не заведено!..

Но Алена Евстратьевна успокоила маменьку, объяснив, что принято только поздравить за закуской и убираться восвояси. Пирог будет — и довольно. Так и сделали. Когда приехал с прииска Гордей Евстратыч с сыновьями, все уже были навеселе порядком, даже Нил Поликарпыч Пятов, беседовавший с о. Крискентом о спасении души. Одним словом, именины Татьяны Власьевны отпраздновались самым торжественным образом, и только конец этого пиршества был омрачен ссорой Нила Поликарпыча с о. Крискентом.

Дело вышло из-за церковного староства. О. Крискент политично завел разговор на тему, что Нил Поликарпыч уже поработал в свою долю на дом божий и имеет полное право теперь отдохнуть.

— Надо и другим в свою долю поработать, Нил Поликарпыч, — пояснил свою мысль о. Крискент с вкрадчивой улыбкой.

— Не пойму я вас что-то, отец Крискент.

— А очень просто... Мы выберем в старосты Гордея Евстратыча, — пусть его постарается для бога.

— А... так вы вот как, отец Крискент!.. значит, вам не служба дорога, а деньги.

И пошел, и пошел. Старик не на шутку разгорячился и даже покраснел. Бедный о. Крискент весь съежился и лепетал что-то такое несообразное в свое оправдание.

Даже Липачек и Плинтусов не могли унять расходившегося старика...

— Правду, видно, старинные люди сказывали, — кричал Нил Поликарпыч, горячась и размахивая руками, — что, мол, прежде сосуды по церквам были деревянные, да попы золотые, а нынче сосуды стали золотые, так попы деревянные.

Отец Крискент обиделся в свою очередь на такое оскорбление. Гордей Евстратыч хотел помирить своих гостей; но это вмешательство окончательно взбесило Нила Поликарпыча.

— Нет, Гордей Евстратыч, видно, нам не приходится водить с вами компанию... — заявил Пятов, хватаясь за шапку. — Вы богатые стали, лучше нас найдете.

— Что вы, Нил Поликарпыч, батюшка... — заголосила Татьяна Власьевна, удерживая Нила Поликарпыча за руку. — Отец Крискент!.. Нил Поликарпыч!..

— Мамынька, оставь!.. — грозно приказал Гордей Евстратыч.

Из старых друзей остались только о. Крискент да Пазухины... Вот тебе и «бабушкины именины», — нечего сказать, отпраздновали!..

XI

Наступала весна. Дорога почернела; с крыш капала вода, а по ночам стоки и капельники обрастали ледяными сталактитами. Солнце разъедало снег, который чернел от пропитывавшей его воды и садился все ниже и ниже, покрываясь сверху мусорным налетом. Горные речонки начали набухать и пожелтели от выступивших наледей; сочившаяся из почвы весенняя вода точила дряблый лед, образуя черневшие промоины и широкие полыньи. По взлобочкам и прикрутостям, по увалам и горовым местам выглянули первые проталинки с всклоченной, бурой прошлогодней травой; рыжие пятна таких проталин покрывали белый саван точно грязными заплатами, которые все увеличивались и росли с каждым днем, превращаясь в громадные прорехи, каких

не в состоянии были починить самые холодные весенние утренники, коробившие лед и заставлявшие трещать бревна. В воздухе наливалась и росла та сила, которая, точно сознательно, уничтожала шаг за шагом остатки суровой северной зимы. Даже холод, достигавший по ночам значительной силы, не имел уже прежней всесокрушающей власти: земля сама давала ему отпор накопившимся за день теплом, и солнечные лучи смывали последние следы этой борьбы. Несколько раз принимался идти мягкий пушистый снег, и народ называет его «сыном, который пришел за матерью», то есть за зимой.

Только в лесу еще лежал глубокий снег, особенно по логам и дремучим лесным гущам. Здесь солнце не в силах его достать и может только растопить лежавший на ветвях белый пушистый слой, превратив его в ледяные сосульки, которыми мохнатые зеленые лапы елей и сосен были изувешены, как брильянтовыми подвесками и поднизями. Стройные ели и пихты, опушенные утренним инеем, стояли осыпанные брильянтами, как невесты; этот подвенечный наряд таял и снова нарастал каждую ночь, как постоянно возобновлявшаяся красота. Темная зелень хвои сливалась в необыкновенную гармонию с искрившейся белизной снежных покровов, создавая неувядавшую гармонию красок и тонов, особенно рядом с мертвыми остовами осин, берез и черемух, которые так жалко таращили свои набухавшие голые ветви. Самые дикие лесные уголки дышали великой и могучей поэзией, разливавшейся в тысячах отдельных деталей, где все было оригинально, все полно силы и какой-то сказочной прелести, особенно по сравнению с жалкими усилиями человека создать красками или словом что-нибудь подобное. Вторжение человека в жизнь природы с целью воспроизвести ее красоты, тем или другим путем, каждый раз разбивается самым беспощадным образом, как галлюцинации сумасшедшего. Воровство, сшитое на живую нитку, трещит и рвется по всем швам, обнажая наше самоуверенное и самодовольное невежество. Достаточно указать на тот факт, что наш вкус находит дисгармонию в сочетаниях зеленого и голубого цветов, а природа

опровергает наши художественные настроения на каждом шагу, сочетая синеву неба с зеленью леса и травы почти в музыкальную мелодию, особенно на севере, где природа так бедна красками.

С наступлением весны работа на Смородинке закипела. Заканчивали маленькую плотинку, которою речка Смородинка запруживалась; ставили паровую машину, били третью шахту и т. д. Картина нового прииска представляла самый оживленный лесной уголок: лесная гуща точно расступилась, образовав неправильную площадь, поднимавшуюся от Смородинки на увал; только что срубленные и сложенные в костры деревья образовали по краям что-то вроде той засеки, какая устраивалась в прежние времена на усторожливых местечках на случай нечаянного неприятельского нападения; новенькая контора точно грелась на самом угоре; рядом с ней выросли амбары и людская, где жили кучера и прислуга. Отвалы из промытых песков и просто земли, добытой из шахты, образовали несколько отдельных гряд, точно валы какой-то земляной крепости. Деревянный сарай над жилкой, дробильная машина и главный корпус, где совершалась промывка золота, дополняли картину прииска, на котором теперь работало до трехсот человек.

Гордей Евстратыч живмя-жил на прииске и выезжал домой очень редко. Михалко и Архип были неотлучно при нем, заменяя приисковых служащих. Михалко наблюдал за рабочими, рассчитывал их по субботам, а по праздникам ездил в Белоглинский завод производить необходимые покупки из харчей, одежды и всякого другого припаса, который требовался на прииске; Архип занимался больше письменной частью и старательно вел приисковые книги. Работы всем было по горло, и Гордей Евстратыч заметно похудел за это время, а на лбу у него появилось несколько морщин. По целым часам он высиживал в своей конторе со счетами в руках, делая сметы и необходимые соображения. Золото шло богатое, но чем больше получалась дневная выручка, тем задумчивее и суровее становился Гордей Евстратыч: ему все было мало, и на головы Михалка и Архипа сыпалось бесконечное ворчанье.

— Ничего вы не смотрите, дармоеды! — ругался Гордей Евстратыч, шагая по конторке. — Ну, какой у нас порядок? По миру скоро все пойдем... Вот Шабалин не по-нашему поворачивается с приисками!..

Михалко и Архип больше отмалчивались в этих случаях и в душе проклинали жилку, которая душила их бесконечной работой. Ими еще не овладел тот бес наживы, который мучил Гордея Евстратыча, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Брагину все было мало; его жадность росла вместе с приливавшим богатством. К пасхе он положил в банк двадцать тысяч и не испытывал никакой радости, потому что можно было бы заработать в зиму в два раза двадцать. Ведь наживается же Шабалин и другие, а чем он, Брагин, грешнее этих других? Кроме этого, Гордей Евстратыч сделался крайне подозрительным и недоверчивым человеком, потому что везде видел обман и подвохи: даже родным детям он не доверял теперь и постоянно их поверял. Рабочие являлись в его глазах скопищем воров и разбойников, которые тащат на сторону его золото...

Даже те расходы, которые производились на больного Маркушку, заметно тяготили Гордея Евстратыча, и он в душе желал ему поскорее отправиться на тот свет. Собственно расходы были самые небольшие — рублей пятнадцать в месяц, но и пятнадцать рублей — деньги, на полу их не подымешь. Татьяне Власьевне приходилось выхлопатывать каждый грош для Маркушки или помогать из своих средств.

— Штой-то, милушка, какой ты скупой стал! — мягко упрекала сына Татьяна Власьевна. — Ведь Маркушка не чужой нам, можно его успокоить... Да и недолго он натянет: доживет — не доживет до полой воды!

— Ну, мамынька, он еще нас переживет, Маркушка-то... Чего ему не жить: харч готовый, все готовое. Ты к нему каждую неделю ездишь — это тоже денег стоит, потому лошади лишних полпуда овса могут стравить. Так я говорю, мамынька? На нашей шее немало дармоедов сидит... Хоть взять Зотея: ну, что он за человек таков? Ест наш хлеб, и все тут, а пользы никакой. Теперь бы вот на прииски его поставить, а разве ему можно довериться? Только попади денежки в

руки — и пошел чертить. Вот оно, мамынька, и подумаешь с подушечкой... Всем подай, обо всех позаботься, а карман один.

— Как же раньше-то, Гордей Евстратыч, ты ничего не говорил про Зотушку? — удивлялась Татьяна Власьевна. — Уж не объест же он нас... Чужим людям подаем, а своего не гнать же.

— Мало ли чего прежде-то было, мамынька... Дураками мы жили, вот что! Надо за ум взяться... Ты вот за снохами-то присматривай: товару в лавке много, пожалуй, между рук не ушел бы!

— Што ты, што ты, милушка! Христос с тобой... Да разве они воровки какие?

— Я не говорю, мамынька, что воровки, а говорю: «мамынька, смотрите в оба...». После смерти не покаешься.

Сначала такие непутевые речи Гордея Евстратыча удивляли и огорчали Татьяну Власьевну, потом она как-то привыкла к ним, а в конце концов и сама стала соглашаться с сыном, потому что и в самом деле не век же жить дураками, как прежде. Всех не накормишь и не пригреешь. Этот старческий холодный эгоизм закрадывался к ней в душу так же незаметно, шаг за шагом, как одно время года сменяется другим. Это была медленная отрава, которая покрывала живого человека мертвящей ржавчиной.

— И в самом-то деле, што это мы больно раскошелились?.. — удивлялась Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от какого-то долгого сна. — Ведь Шабалины не кормят всяких пропойцев, да не хуже других живут...

— Верно, мамынька, — подтверждал Гордей Евстратыч. — Ты рассуди только то, что открой Маркушка кому другому жилку, да разве ему какая бы польза от этого была?.. Ну, а мы свое дело сделали...

— А клятва-то, милушка?

— Клятва — другое, мамынька... Мы за него вечно будем богу молиться, это уж верно. А насчет харчу и всякого у нас и клятвы никакой не было... Так я говорю, мамынька?

— Так, милушка... Только как будто страшно: ведь ежели разобрать, так жилка-то все-таки от Маркушки нам досталась.

— Ах, мамынька, мамынька! Да разве Маркушка сам жилку нашел? Ведь он ее вроде как украл у Кутневых; ну, а господь его не допустил до золота... Вот и все!.. Ежели бы Маркушка сам отыскал жилку, ну, тогда еще другое дело. По-настоящему, ежели и помочь кому, так следовало помочь тем же Кутневым... Натурально, ежели бы они в живности были, мамынька.

— Все перемерли, все!.. — с какой-то радостью подхватила старуха и после короткого раздумья прибавила: — А ведь ты верно, милушка, насчет Маркушки-то все обсказал...

— Уж я тебе говорю, мамынька: вернее смерти.

А виновник этих забот и разговоров, кажется, не подозревал совсем той перемены, какая произошла в Брагиных по отношению к нему. В лихорадочно работавшем мозгу Маркушки назревала отчаянная идея, о которой он пока еще никому не говорил. Она обдумывалась в течение полугода, в бессонные зимние ночи, когда Маркушка оставался в своем балагане один-одинешенек. Тянулись бесконечные мучительные часы, дни, недели, месяцы, а Маркушка все обдумывал одно и то же, не имея сил сдвинуться в которую-нибудь сторону. Идея Маркушки росла и крепла в его душе так же, как вырастает растение из маленького зернышка, пуская корни и разветвления все глубже и глубже. В конце этого психологического процесса Маркушка настолько сросся с своей идеей, что существовал только ею и для нее. Он это сам сознавал, хотя никому не говорил ни слова. Удивление окружавших, что Маркушка так долго тянет, иногда даже смешило и забавляло его, и он смотрел на всех, как на детей, которые не в состоянии никогда понять его.

— Вот вода тронется с гор, тогда и ты помрешь, — утешал кривой Потапыч больного. — Уж это завсегда так бывает...

Кайло и Пестерь были того же мнения и мрачно покуривали свои носогрейки. Эти благочестивые люди

в последнее время находились особенно в мрачном настроении, потому что «язвы», то есть Окся, Лапуха и Домашка, окончательно бросили Полдневскую, переселившись на Смородинку, где нашли десятки новых обожателей. Полное одиночество нагоняло на Кайло и Пестеря философские мысли о суете сует этого грешного мира. Только когда они напивались, сейчас брели на Смородинку и затевали отчаянную драку с своими счастливыми соперниками, причем были биты много и очень долго. «Язвы» щеголяли напропалую в новых кумачных сарафанах и с новыми синяками по всему телу, точно последним путем им выделывали кожу для какого-то особенного употребления. Маркушка еще раз мог убедиться, что Окся и Лапуха никогда этим путем не достигнут селения праведных.

— Ну што, били? — иногда спрашивал он своих благоприятелей.

— Погоди, еще не уйдут от наших рук, — мрачно отвечал Кайло.

— Надо их хорошенько отлупить... — советовал Маркушка, вздыхая. — И Домашку, и ту надо взлупить.

— И Домашку взлупим, Маркушка. Мы ей ноги выдергаем...

Маркушка от этих разговоров испытывал неприятное волнение и страшно завидовал Пестерю и Кайло, которые могли получить удовлетворение оскорбленной чести; а он должен был оставаться безучастным зрителем этой драмы. Курсы полдневских женщин действительно поднялись на небывалую высоту в силу того экономического закона, по которому превышение спроса увеличивает цену предметов потребления. Но Маркушка, как Пестерь и Кайло, совсем были незнакомы с основными аксиомами политической экономии и одинаково были далеки как от христианского смирения, так и от безропотного повиновения железным законам природы.

— Вы их заманите обманом... — советовал несколько раз Маркушка.

— Нейдут, шельмы!.. Пестерь обещал Домашке новый сарафан, да нейдет.

Маркушка опять волновался. Его воображение мучили самые ревнивые картины, перед которыми отступала на мгновение даже мысль о смерти. А смерть стояла за плечами... Маркушка чувствовал ее приближение своим немевшим разбитым телом. Наступление весны убеждало его в этом еще более. Когда и в его лачугу заползал солнечный луч, долго игравший на грязном полу, Маркушка чувствовал, что никакому солнцу уже не согреть его, как чувствовал то, что последний запас жизненной силы уйдет от него вместе с вешней водой. Эта вешняя вода и пугала и радовала его. Лежа с закрытыми глазами, Маркушка часто испытывал совершенно особенное чувство: его именно подхватывала эта вешняя вода и с увеличивающейся быстротой начинала нести вперед, как несет пловца быстрая река. Кругом Маркушки неслось все, и он просыпался с глухим стоном и, как утопающий, с радостью коснеющими руками хватался за впечатления действительности. С наступлением весны эти мучительные сны стали повторяться чаще, стоило только Маркушке закрыть глаза. Вода журчала на полу его лачуги, пенистые валы разбивались о стены, на улице бушевал бурный клокочущий потоп и беспощадная стихийная сила подступала все ближе и ближе, подмывая существование Маркушки. Даже открыв глаза, он долго не мог освободиться от страшных звуков: вода продолжала у него журчать в ушах и точно переливалась в самом мозгу.

С другой стороны, Маркушка страстно желал, чтобы вода скорее тронулась с гор: дотянуть до этого момента было его заветной мечтой. Только бы стаял снег и высыпала первая травка по проталинкам. Маркушка чувствовал обновляющуюся природу, как чувствовал и то, что сам он не может принять участия в этом обновлении, и каждую минуту готов был отлететь в сторону, отвалившись мертвым куском от общей живой массы, совершившей установленный круговорот. Какая-то страшная сила выталкивала его за черту органического существования, в темное безграничное пространство, ужасавшее его своим бессознательным существованием.

«Только бы до травы...» — думал Маркушка, заглядывая в слепое окошко своей лачуги.

А там, за стенами Маркушкиной избушки, уже гудела в воздухе закипавшая жизнь. На прогнившей крыше этой избушки часто садились прилетевшие скворцы, и их свист заставлял Маркушку вздрагивать. Больной слышал трудовую возню воробьев, которые теребили мох из его избушки и радостно щебетали и чирикали, словно сумасшедшие. Солнечные лучи все глубже и глубже заглядывали в избушку, точно они выщупывали в ней своими сверкавшими пальцами; они подолгу оставались на закоптелых стенах, делая их еще чернее. В отворенную дверь тянуло свежей струей воздуха, которая раздражала Маркушку; в воздухе пахло водой... Когда северная весна пошла вперед быстрыми шагами, Маркушка уже еле дышал. Кашель усилился. Его душила скоплявшаяся внутри мокрота, будто на его груди была положена тяжелая чугунная доска.

Раз в светлый теплый весенний денек Маркушка пригласил к себе своих приятелей, Пестеря и Кайло, и предложил им нечто от «воды веселия и забвения». Эта порция водки была им куплена давно и хранилась под кроватью. Пестерь и Кайло пили стакан за стаканом и удивлялись щедрой проницательности Маркушки; именно в этот день они умирали от жажды, и Маркушка их спас... Совсем расчувствовавшийся Пестерь долго смотрел в упор на Маркушку и, наконец, проговорил:

— Што ты, шайтан, долго не помираешь?.. И вода с гор прошла, а ты все еще кочетыржишься!

— Вот что, братцы... — заговорил Маркушка, собираясь с силами. — Не ходите вы завтра робить на Смородинку...

— И не пойдем, — согласился Кайло, чуявший какую-то новую поживу. — Ноне этот Гордей Евстратыч совсем изварначился...

— А што?

— Рабочих поедом съел... Все ему не ладно, все не так... Ругается... Намедни нас с Пестерем обыскивал... Ей-богу!..

Маркушка давно слышал о перемене в характере Брагина, на которого все рабочие начали громко жаловаться, но всегда отмалчивался.

— Да разве мы... ах, милосливый господи!.. — ожесточенно выкрикивал Кайло, ударяя себя в грудь кулаком. — Маркушка... да ужли уж мы... Вот спроси Пестеря... а-ах!..

— Обнаковенно... ежели бы мы захотели украсть, так не попались бы, — согласился угрюмо Пестерь, мотая головой. — Комар носу бы не подточил... А то обыскивать!

— А, поди, крепко воруете? — спрашивал Маркушка, косвенно защищая Брагина.

— Маркушка... Да разве нам можно не воровать... а?.. Человек не камень, другой раз выпить захочет, ну... А-ах, милосливый господи! Точно, мы кое-што бирали, да только так, самую малость... ну, золотник али два... А он обыскивать... а?!. Ведь как он нас обидел тогда... неужли на нас уж креста нет?

— Вот што, братцы, вы завтра робить не ходите... — говорил Маркушка, — я хочу беспременно поглядеть на Смородинку... так вы меня туда и снесите.

— Представим, Маркушка.

— Я вам заплачу, братцы...

— И так снесем. Все равно помрешь... Потапыча прихватим на всякий случай!..

Старатели пьянствовали в лачуге всю ночь напролет... Пестерь, умиленный выпитой водкой, долго горланил песню, которую когда-то в Полдневской пели «язвы»:

Я без пряничка не сяду,
Без орешка не ступлю;
Я без милого не лягу,
Без надежи не усну...

Песня была веселая, и Кайло грузно отплясывал под пение Пестеря, шлепая своими грязными лаптями. Маркушка хрипел и задыхался и слышал в этой дикой песне последний вал поднимавшейся воды, которая каждую минуту готова была захлестнуть его. В ужасе он хватался рукой за стену и бессмысленно смотрел

на приседавшего Кайло. И Кайло, и Пестерь, и Окся с Лапухой, и Брагин — все это были пенившиеся валы бесконечной, широкой реки...

Утром на другой день Кайло смастерил из двух палок и пихтовой хвои носилки. На этих носилках старатели и потащили Маркушку на Смородинку. День был солнечный, ясный; воздух был пропитан смолистыми испарениями. По голубому небу торопливо бежали гряды белоснежных облаков; где-то заливались безыменные лесные птички. Приисковая дорога, проведенная из Полдневской на Смородинку, походила на корыто, по которому сбегала красноватая вода. Пестерь и Кайло сосредоточенно шлепали своими лаптями по лужам и несколько раз садились отдыхать где-нибудь в сторонке. Ноша была не легкая, особенно при такой дороге. Маркушка лежал неподвижно, как труп; он был страшен на свежем воздухе, и только открытые глаза оставались еще живыми.

— Эй ты, шайтан, умер, што ли? — несколько раз окликал свою ношу Кайло.

Вместо ответа Маркушка только кашлял и глухо хрипел. Сколько тысяч раз он прошел по этим местам, а дорогу к Заразной горе он прошел бы с завязанными глазами: все горы в окрестностях на пятьдесят верст кругом были исхожены его лаптями, а теперь Маркушка, недвижимый и распростертый, как пласт, только мог повторять своим обессиленным телом каждый толчок от своих неуклюжих носильщиков. Иногда он стонал, когда Кайло и Пестерь перепрыгивали через рытвины; но больше крепился, закрывая глаза от слепившего его солнца. Носильщики все время пути жаловались на Брагина, притеснявшего старателей, ругались самыми живописными сравнениями, сквернословили и несколько раз принимались корить Маркушку, зачем он «просолил жилку» Брагину.

— Тебе хорошо, черту... Умрешь, и вся тут, а мы как? — соображал Кайло, раздражаясь все больше и больше. — Шайтан ты, я тебе скажу... Не нашел никого хуже-то, окаянная душа! Он тебя и отблагодарил, нечего сказать... От этакого богачества мог бы тебе хошь десять рублев в месяц давать, а то...

Молчание Маркушки еще сильнее раздражало его приятелей, которые теперь от души жалели, что Маркушка не может головы поднять; а то они здорово бы полудили ему бока... Особенно свирепствовал Пестерь, оглашая лес самой неистовой руганью.

Но вот и Заразная, до самого верха обросшая дремучим ельником; вот и последний увал, вот и знакомый гул, доносившийся от нового прииска. Где-то в лесу звонко рубил топор сырое смолевое дерево; пахнуло дымом и смешанным гулом самых разнородных звуков, точно в лесу варился громадный котел. Кайло и Пестерь остановились наверху увала, откуда отлично можно было рассмотреть весь прииск. Маркушка приподнял голову и помутившимися глазами жадно смотрел под гору, где стояла конторка, дробилка, промывальная машина и десятки старательских вашгердов. Он не узнал своей жилки, хотя сердце у него забилось от радости при виде с детства знакомой картины.

— Ну, шайтан, гляди, это твоя работа... — корили Маркушку приятели. — Теперь Брагин будет раздуваться, как пузырь, нашим-то золотом.

— Пусть его... — прохрипел Маркушка. — На его душе грех...

Заветная идея Маркушки осуществилась наконец: он увидел свою жилку, которую хоронил и вынашивал в своей душе целых пятнадцать лет.

На другой день вечером Маркушка умер.

XII

Брагины загремели на целую «округу». Слава об их богатстве, окрыленная тысячью самых фантастических добавлений, облетела сотни верст, везде возбуждая зависть к этим счастливцам. Вместо старых знакомых нашлись десятки новых. В Белоглинский завод приезжали издалека разные проходимцы и искатели приключений, жаждавшие приклеиться всеми правдами и неправдами к брагинской жилке. Так, приезжал какой-то смышленый немец, предлагавший Гордею Евстратычу открыть

в Белоглинском заводе заведение искусственных минеральных вод; потом пришел пешком изобретатель новых огнегасителей, суливший золотые горы; затем явилась некоторая дама заграничного типа с проектом открыть ссудную кассу и т. д., и т. д. В брагинском доме от новых знакомых отбоя не было: все спешили принести сюда посильную дань уважения добродетелям редкой семьи. Горные инженеры, техники, доктора, купцы, адвокаты — всех одинаково тянуло к всесильному магниту, не говоря уже о бедности, которая поползла к брагинскому дому со всех углов, снося сюда в одну кучу свои беды, напасти и огорчения... Горькая нужда в тысячах разновидностей точно тронулась и нарочно обнажила свои язвы. Вдовы, сироты, калеки, несчастные всех видов молили о помощи и готовы были по крохам разнести брагинские богатства. Почти каждый день приносили на имя Гордея Евстратыча десятки писем, в которых неизвестные лица, превзошедшие своими несчастиями даже Иова, просили, молили, требовали немедленной помощи. Все это делалось даже страшным, потому что для покрытия вопиющей нужды не достало бы золотых гор.

— Мамынька, да што же это такое? — спрашивал Гордей Евстратыч, отчаянно боровшийся с своей скупостью.

— Ничего, милушка, потерпи, — отвечала Татьяна Власьевна. — В самом-то деле, ведь у нас не золотые горы, — где взять-то для всех?.. По своей силе помогаем, а всех не ублаготворишь. Царь богаче нас, да и тот всем не поможет...

Брагины теперь походили на тех счастливцев, которые среди открытого океана спасались сами на обломках разбитого корабля. Кругом них мелькали в воде утопающие, к ним тянулись руки с мольбой о помощи, их звал последний крик отчаяния; но они думали только о собственном спасении и отталкивали цеплявшиеся за них руки, чтобы не утонуть самим в бездонной глубине. Эта картина скоро притупила их нервы настолько, что они отнеслись даже к смерти благодетеля Маркушки совсем безучастно. Кайло и Пестерь похоронили «шайтана» на свои гроши, а Гордей Евстратыч прогнал их с

работы, как свидетелей собственной несправедливости, которые мозолили ему глаза.

— Деньги — вода, — объяснял Гордей Евстратыч сыновьям, — пришла — ушла, только ее и видел... А ты копейку не досмотрел, она у тебя рубль из карману долой.

Михалко и Архип были слишком оглушены всем происходившим на их глазах и плохо понимали отца. Они понимали богатство по-своему и потихоньку роптали на старика, который превратился в какого-то кощея. Нет того, чтобы устроить их, как живут другие... Эти другие, то есть сыновья богатых золотопромышленников, о которых молва рассказывала чудеса, очень беспокоили молодых людей.

Работы и заботы всем было по горло в брагинском доме: мужики колотились на прииске, снохи попеременно торговали в лавке, а «сама» с Нюшей с ног сбилась с гостями. А тут еще Дуня затяжелела, за ней глаз был нужен; у Ариши Степушка все прихварывал зимой; Зотушка чаще обыкновенного начал зашибаться водкой. Алена Евстратьевна толкалась всю зиму-зимскую. Все нужно было досмотреть, везде поспеть. А тут еще Гордей Евстратыч затевал старый дом перестраивать: крыша деревянная ему помешала — загорелось налаживать непременно железную, потом палубить снаружи да красить внутри. Все это подбивала Гордея Евстратыча милая сестричка Алена Евстратьевна, которая совсем угорела от чужого золота. Татьяна Власьевна частенько про себя жалела о Колобовых и Савиных. Новые заботы иногда делались ей не под силу, и она нуждалась в постороннем совете, а к кому теперь пойдешь, кроме о. Крискента. Особенно ее беспокоила судьба Нюши. Пазухины пропустили рождественский мясоед и не заслали сватов, потому что Пелагея Миневна боялась модницы Алены Евстратьевны; а после пасхи уже наверно подошлет кого-нибудь. Дело не шуточное, и посудить да порядить об нем не с кем, кроме о. Крискента, который со всеми всегда соглашается. Тоже вот и невестки кручинятся по своим-то, сильно кручинятся, а чем им поможешь? Марфа Петровна прямо говорит, что эти Колобовы да

Савины все ногти себе обгрызли от зависти и постоянно судачат на них, то есть на Брагиных.

— Старухи-то еще что говорят, — прибавляла уж от себя словоохотливая Марфа Петровна, — легкое-то богатство, говорят, по воде уплывет... Ей-богу, Татьяна Власьевна, не вру! Дивушку я далась, с чего это старухи такую оказию придумали!..

Татьяна Власьевна строго подбирала губы и ничего не отвечала. Этот отзыв кровно ее обижал, потому что попадал в самое больное место: она сама иногда боялась своего легкого богатства. А тут еще эти старухи принялись каркать... Именно, зависть их одолела, точно от брагинского несчастья им легче будет. Снохи Татьяны Власьевны попрежнему дулись одна на другую, и Татьяна Власьевна подозревала, что и это недаром делается, а родимые матушки надувают в уши дочкам. Уж это верно, потому где бы молоденьким бабенкам сердце выдержать на целых полгода: не вытерпели бы и помирились. Это все старухи расстраивают бабенок: хотят не мытьем, так катаньем взять. Этот ряд мыслей окончательно утвердился в голове Татьяны Власьевны, и она с особенным вниманием выслушивала сплетни Марфы Петровны.

Только одна Нюша оставалась прежней Нюшей, — развей горе веревочкой, — хотя и приставала к бабушке с разговорами о платьях. Несмотря на размолвки отцов, Нюша и Феня остались неразлучны попрежнему и частили одна к другой, благо свободного времени не занимать стать. Эти молодые особы смотрели на совершившееся около них с своей точки зрения и решительно не понимали поведения стариков, которые расползлись в разные стороны, как окормленные бурой тараканы.

— Просто спятили с ума на старости лет, — говорила откровенная Феня. — Нашли чего делить... Жили-жили, дружили-дружили, а тут вдруг тесно показалось. И мой-то тятенька тоже хорош: все стонал да жаловался на свое староство, а тут, поди ты, как поднялся. С ними и сама с ума сойдешь, Нюша, только послушай.

— А баушку так и узнать нельзя стало, — жаловалась Нюша. — Все считает что-то да бормочет про себя... Мне даже страшно иногда делается, особенно ночью. Либо молится, либо считает... И скупая какая стала — страсть! Прежде из последнего старух во флигеле кормила, а теперь не знает, как их скачать с рук.

— А Гордей Евстратыч?

— И не говори... К нему и подойти теперь боязно. На снох дуется, Михалку с Архипом заморил на прииске, на Зотушку ворчит, со мной тоже не много разговаривает. Скучища у нас теперь...

— Гостей зато много бывает.

— Да и гости такие, что нам носу нельзя показать, и баушка запирает нас всех на ключ в свою комнату. Вот тебе и гости... Недавно Порфир Порфирыч был с каким-то горным инженером, ну, пили, конечно, а потом как инженер-то принялся по всем комнатам на руках ходить!.. Чистой театр... Ей-богу! Потом какого-то адвоката привозили из городу, тоже Порфир Порфирыч, так тово уж прямо на руках вынесли из повозки, да и после добудиться не могли: так сонного и уволокли опять в повозку.

Все подобные рассуждения доказывали только полную непрактичность болтавших девушек, которые не в состоянии были понять многого, что творилось на их глазах. Они еще не покрылись той житейской ржавчиной, которая живых людей превращает в ходячие трупы. Зеленая юность тем и счастлива, что не знает, не хочет знать этих разъедающих ум и душу расчетов, которые опутывают остальных людей непроницаемой сетью. Произведенные Маркушкиной жилкой превращения для Нюши и Фени были глупой и смешной загадкой; скрывавшийся под ними старческий эгоизм, корыстные расчеты и расшевеленное самолюбие были далеки от этих юных душ, еще не тронутых житейской горечью.

Ожидаемое сватовство Нюши, наконец, состоялось. Сватами явились купец Сорокин, дядя Алеши Пазухина по матери, и заводский надзиратель Потемкин. Люди были почтенные, обычливые и заявились в брагинский дом по всем правилам сватовского искусства, памятуя золотое правило, что свату первая чарка и

первая палка. Конечно, завели они речь издалека, что послал их князь поискать жар-птицы, что ходили они, гуляли по зеленым садам, напали на след, и след привел их прямо к брагинскому двору и т. д. Сваты были опытные и наговаривали в голос, только слушай. Даже Татьяна Власьевна осталась довольна их разговором и ответила им в том же тоне.

— Какой же вы след видели, добрые люди? — спрашивала Татьяна Власьевна.

— А тот след, Татьяна Власьевна, — отвечал осанистый старик Сорокин, разглаживая свою русую бороду, — летела жар-птица из зеленого сада, да ронила золотое перо около вашего двора — вот тебе и первый след...

Гордей Евстратыч был дома и принял сватов довольно сухо, предоставив Татьяне Власьевне вести все дело. Сваты посидели, поболтали и пошли ни с чем, потому что первых сватов засылают только на разведки, почему их и называют пустосватами. В случае отказа сватам, на юге кладут в экипаж тыкву, а на севере привязывают к экипажу шест. Приехать с шестом для свата, конечно, большое бесчестье. Татьяна Власьевна не сказала своим сватам ни да, ни нет, потому что нужно было еще посоветоваться с отцом. Такой совет состоялся, как и по поводу Маркушкиной жилки, из Гордея Евстратыча, Татьяны Власьевны и Зотушки.

— Ну, так как ты думаешь, Гордей Евстратыч? — спрашивала Татьяна Власьевна, когда они чинно уселись по местам.

— Что тут думать-то, мамынька? Конечно, худой жених доброму путь кажет. Спасибо за честь, а только родниться нам с Пазухиными не рука.

— Пошто же не рука, Гордей Евстратыч? Люди хорошие, обстоятельные, и семья — один сын на руках. Да и то сказать, какие женихи по нашим местам; а отдать девку на чужую-то сторону жаль будет. Не ошибиться бы, Гордей Евстратыч. Я давно уже об этом думала...

— А я, мамынька, другое на уме держу! Пазухиных хаять не хочу; а для Нюши почище жениха сыщем. Не оборыши, слава богу, какие и не браковку замуж

отдаем... Не по себе дерево Пазухины выбрали, мамынька, прямо сказать.

— Ох, Гордей Евстратыч, Гордей Евстратыч... Всякий лучше выбирает, да только не всякому счастки выпадают. Может, и мы не по себе дерево ищем...

Последняя фраза задела Гордея Евстратыча за живое, и он сердито замолчал. Зотушка, сгорбившись, сидел в уголке и смиренно ждал, когда его спросят. Глазки у него так и светились; очевидно, ему что-то хотелось сказать.

— Ну, а ты, Зотушка, как думаешь? — спросила Татьяна Власьевна, чтобы перевести разговор.

— Я, мамынька, думаю заодно с тобой... За большим погонишься, пожалуй, и малого не увидишь.

— Опять дурак!.. — загремел Гордей Евстратыч, накидываясь на брата; он рад был хоть на нем сорвать сердце. — Ни уха, ни рыла не понимаешь, а туда же...

— Вы, братец, напрасно такие слова выговариваете, — со смирением возражал Зотушка. — Я дурак про себя, а не про других. Вы вот себя умным считаете, а такую ошибочку делаете...

— Ты меня учить... а?!. Вон, пьяница и дурак!.. Из дома моего вон... И чтобы духу твоего не было!.. Слышал?..

— Гордей Евстратыч... — пробовала было заступиться Татьяна Власьевна за своего любимца. — Милушка, што это ты говоришь?

— Мамынька, оставь нас... Я долго терпел, а больше не могу. Он живет дармоедом, да еще мне же поперечные слова говорит... Я спустил в прошлый раз, а больше не могу.

— И я, братец, тоже! больше не могу... — с прежним смирением заявил Зотушка, поднимаясь с места. — Вы думаете, братец, что стали богаты, так вас и лучше нет... Эх, братец, братец! Жили вы раньше, а не корили меня такими словами. Ну, господь вам судья... Я и так уйду, сам... А только одно еще скажу вам, братец! не губите вы себя и других через это самое золото!.. Поглядите-ка кругом-то: всех разогнали, ни одного старого знакомого не осталось. Теперь последних Пазухиных лишитесь.

— Ладно, ладно, разговаривай... Лучше найдем.

— Я ведь не о себе, братец... Польстились вы на золото, — как бы старых пожитков не растерять. И вы, мамынька, тоже... Послушайте меня, дурака.

— Зотушка... Гордей Евстратыч... — плакалась Татьяна Власьевна, бросаясь между братьями. — Побойтесь вы бога-то!!.

— Я грешный человек, мамынька, да про себя... — смиренно продолжал Зотушка, помаленьку отступая к дверям. — Других не обижаю; а братец разогнал всех старых знакомых, теперь меня гонит, а будет время — и вас, мамынька, выгонит... Я-то не пропаду: нам доброго не изжить еще, а вот вы-то как?..

Гордей Евстратыч ринулся было на брата с кулаками, но Татьяна Власьевна опять удержала его, и он заскрежетал зубами от бессильного гнева. Когда Зотушка вышел, Татьяна Власьевна тихо заплакала, а Гордей Евстратыч долго бегал по своей горнице и кричал на мать:

— Это все от тебя, мамынька! Да... Разве это порядок в дому... а? Правду сестра-то Алена говорит, что мы дураками живем... Кто здесь хозяин?

— Гордей Евстратыч... да ведь Зотей-то тебе не чужой. Чего с него взять-то, ежели его господь обидел?..

— Он мне хуже в десять раз чужого, мамынька... Я десять человек чужих буду кормить, так по край мере от них доброе слово услышу. Зотей твой потвор всегда был, ну, ты ему и потачишь...

Эти слова точно укололи старуху. Она поднялась с своего места, выпрямилась во весь рост и грозно проговорила:

— Гордей Евстратыч!.. ты и в самом деле, видно, хочешь меня из родительского гнезда выжить?..

— Ах, мамынька, мамынька!.. — застонал Гордей Евстратыч, хватаясь в отчаянии за голову. — Ведь это что же такое будет... а? Мамынька, прости на скором слове!..

Гордей Евстратыч повалился в ноги к мамыньке, а та рукой наклоняла его голову к самому полу и приговаривала:

— Ниже, ниже, милушка, кланяйся матери-то... Кабы покойник отец был жив, да он бы тебя за такие скорые речи в живых не оставил. Ну, ин, бог простит...

Поднявшись с земли, Гордей Евстратыч какими-то дикими глазами посмотрел на мать, а потом, махнув рукой, ничего не сказав, вышел из комнаты. Татьяна Власьевна долго смотрела кругом, точно припоминая, где она; а потом, пошатываясь, побрела на свою половину. В ее ушах еще стояли пророческие слова Зотушки, и она теперь боялась их, припоминая страшное лицо Гордея Евстратыча, когда он поднялся с земли. Маркушкино золото точно распаяло те швы, которыми так крепко была связана брагинская семья: все поползли врозь, то есть пока большаки, а за ними, конечно, поползут и остальные. Сознание происходившего ошеломило Татьяну Власьевну, как человека, который, неожиданно взглянув вниз, увидал под ногами бездонную пропасть. Еще один шаг — и общая гибель неизбежна.

— Господи, помилуй! — крестилась старуха, хватаясь за косяк двери: ее даже качнуло в сторону, как пьяную. — Зотушка... милушка...

Это была тяжелая минута. Татьяна Власьевна на мгновение увидела разверзавшуюся бездну в собственной душе, потому что там происходило такое же разделение и смута, как и между ее детьми. «Аще разделится дом на ся — погибнуть дому сему», — вот те роковые слова, которые жгли ее возбужденный мозг, как ударившая в сухое дерево молния. Она уже не была прежней богомолкой и спасенной душой, а вся преисполнилась земными мыслями, которые теперь начинали давить ее мертвым гнетом. Именно теперь припоминала Татьяна Власьевна и свою скупость, и то, как ей было всего мало, и смерть брошенного на произвол судьбы Маркушки, и ссору с Колобовыми, Савиными и Пятовым. Последним звеном в этой роковой цепи являлся выгнанный на улицу Зотушка, а затем естественный разрыв с Пазухиными, которые, конечно, будут обижены неудачным своим сватовством. Чем дальше думала Татьяна Власьевна, тем делалось ей тяжелее, точно ее душу охватывала какая-то кромешная тьма.

Она прибегла к своему единственному средству утешения, то есть к молитве, и простояла на поклонах до третьих петухов. Нюше тоже не спалось. Она знала, зачем приезжали Сорокин с Потемкиным, но боялась спросить бабушку о результатах их совещания. Зачем выгнал отец Зотушку? зачем он кричал на бабушку? зачем бабушка так усердно откладывает поклоны перед своим иконостасом? Нюшино сердце чуяло что-то недоброе, и она потихоньку всплакнула в свою подушку.

— Баушка... а баушка, — нерешительно спросила она молившуюся старуху.

— Ты разве не спишь, милушка? — удивилась Татьяна Власьевна.

— Нет, баушка...

Старуха подошла к Нюше, села на ее постель и долго гладила своей морщинистой рукой, с тонкой старой кожей, ее темноволосую красивую голову, пытливо глядевшую на нее темными блестевшими глазами. Эта немая сцена сказала обеим женщинам больше слов; они на время слились в одну мысль, в одно желание и так же молча встали на молитву. Татьяна Власьевна раскрыла книгу, зажгла несколько новых свеч пред образами и мерным ровным голосом начала «говорить канун». Нюша стояла рядом с ней и со слезами молилась, отбивая по лестовке бесконечные поклоны. Минуту назад им было так тяжело, а теперь они, умиленные, растроганные, далеко оставили там, где-то внизу, все беды-напасти, точно их окрылила какая-то высшая сила.

— Баушка, как же... что давеча-то тятенька сказал? — спрашивала Нюша, когда молитва была кончена.

— Ох, милушка, милушка... Не судьба тебе, милушка, видно, за Алешей Пазухиным быть. Отец и слышать не хочет... Молись богу, голубушка.

Нюша уткнулась головой в подушку и горько зарыдала. Это было первое горе, которое разразилось над ее головой.

Зотушка, когда вышел из братцевой горницы, побрел к себе в флигелек, собрал маленькую котомочку, положил в нее медный складень — матушкино благо-

словение, и с этой ношей, помолившись в последний раз в батюшкином дому, вышел на улицу. Дело было под вечер. Навстречу Зотушке попалось несколько знакомых мастеровых, потом о. Крискент, отправлявшийся на своей пегой лошадке «давать молитву младенцу».

— Куда, Зотей Евстратыч? — окликнул его о. Крискент. — Садись, подвезу.

— Спасибо на добром слове, отец Крискент... А я иду куда глаза глядят. Братец меня выгнал из дому.

Отец Крискент так был поражен этим, что даже не мог сразу подыскать подходящего к случаю словоназидания.

— Как же ты думаешь, Зотей Евстратыч, устроиться?

— А что мне думать, отец Крискент? Свет не клином сошелся... Нам добра не изжить, а уголок-то и мне найдется. Мы, как соловецкие угодники, в немощах силу обретаем...

— А ведь это точно... да! — согласился о. Крискент и, приподняв брови, глубокомысленно прибавил: — Может, это даже тебе на пользу господь посылает испытание, Зотей Евстратыч... Судьбы божии неисповедимы.

Сидя в своем теплом домике, о. Крискент всегда любил распространяться на тему о благости провидения и о промысле божием, тем более что ему, то есть о. Крискенту, было всегда так тепло и уютно и он глубоко верил в благость и промысел. И теперь, глядя на смиренную фигуру Зотушки, он испытывал настоящее умиление и даже прослезился, благословляя Зотушку, как «взыскующаго града». Простившись с о. Крискентом, Зотушка тихонько побрел вперед, не зная хорошенько, к кому ему сначала зайти — к Колобовым или к Савиным. У Пятовых, Шабалиных ему тоже были бы рады, потому что Зотушка был великий «источник на всякие художества»: он и пряники стряпать, и шубы шить, и птах ребятишкам ловить в тайники да в западни, и по упокойничке канун говорить, и сказку сказать... А главное, что носил с собою Зотушка, как величайшее сокровище, — это была полная незлобивость и какое-то просветленное смирение, которым он так резко отличался от всех других мирских людей. Именно эта душевная

особенность Зотушки делала его своим человеком везде, точно он вносил с собой струю «мирови мира», которая заразительно действовала на всех, облегчая одолевавшие их злобы.

— Ежели пойти к Савиным или к Колобовым — нехорошо будет, — рассуждал про себя Зотушка. — Сейчас подумают, что я пришел к ним жаловаться на братца Гордея Евстратыча, чтобы ему досадить. У Шабалиных, ежели наткнусь на Вукола Логиныча, — от винного беса не уйти... Пойду-ка я к Нилу Поликарпычу, у него и работишка для меня найдется.

Зотушка так и сделал. Прошел рынок, обошел фабрику и тихим незлобивым шагом направился к высокому господскому дому, откуда ему навстречу, виляя хвостом, выбежал мохнатый пестрый Султан, совсем зажиревший на господских хлебах, так что из пяти чувств сохранил только зрение и вкус. Обойдя «паратьнее крыльцо», Зотушка через кухню пробрался на половину к барышне Фене и предстал перед ней, как лист перед травой.

— А я к вам, Федосья Ниловна, — заговорил Зотушка. — Нил-то Поликарпыч дома? Нету... Ну, еще успеем увидаться, моя касаточка. Ах, я и не успел тебе захватить поклончика от Нюши...

Через четверть часа Феня уже знала всю подноготную и в порыве чувства даже расцеловала божьего человека. «Источник» переминался с ноги на ногу, моргал своими глазами и с блаженной улыбкой говорил:

— Касаточка ты моя... Сейчас говорил отцу Крискенту: «Нам, отец Крискент, доброго не изжить». Ты что это орудуешь, Федосья Ниловна?

— Да так... Крою белье разное.

В комнате Фени действительно весь пол был обложен полосами разного полотна, а она сама ползала по нему на коленях с выкройкой в одной руке и с ножницами в другой. Зотушка полюбовался на молодую хозяйку, положил свою котомку в уголок, снял сапоги и тоже примостился к разложенному полотну.

— А ты меня, касаточка, спроси, как все это дело устроить... Когда Савины дочь выдавали, так я все приданое своими руками кроил невесте. Уж извини, каса-

точка: и рубашки и кофточки — все кроил... И шить я прежде источник был, не знаю, как нынче.

— Я тебя на машинке научу шить, Зотушка, — обрадовалась Феня. — Сначала только чаю напьешься...

Через час, когда чаи были кончены и Зотушка даже пропустил для храбрости маленькую, он ползал по полотну вместе с барышней Феней, с мотком ниток на шее и с выкройкой в зубах. Когда засветили огонь, Зотушка сидел посреди пола с работой в руках и тихо мурлыкал свой «стих»:

И-идет ста-арец по-о-о доро-оге-е...

XIII

Лето для брагинской семьи промелькнуло, как золотой сон. Смородинка работала превосходно; в неделю иногда намывали до шести фунтов. Паровая машина была поставлена, но одной было мало: вода одолевала, нужно было к осени вторую. В конце каждого месяца Гордей Евстратыч исправно отправлялся в город Екатеринбург, где скоро сошелся с другими золотопромышленниками, с богатыми комиссионерами, скупавшими ассигновки у мелких золотопромышленников, и с разными другими дельцами и темными личностями, ютившимися около золотого козла. Народ был юркий, проворный, и Гордей Евстратыч окончательно убедился, что жил до сих пор в своем Белоглинском заводе дурак-дураком.

— Надо, брат, эту темноту-то свою белоглинскую снимать с себя, — говорил Вукол Шабалин, хлопая Гордея Евстратыча по плечу. — По-настоящему надо жить, как прочие живут... Первое, одеться надо, как следует. Я тебе порекомендую своего портного в Петербурге... Потом надо компанию водить настоящую, а не с какими-нибудь Пазухиными да Колпаковыми. Тут, брат, всему выучат.

— А я с белоглинскими-то тово, Вукол Логиныч...

— Знаю, знаю, Варя рассказывала... И хорошо делаешь, потому нам себя тоже надо строго соблюдать, чтобы не совестно было перед настоящими людьми.

Своего единоверческого платья Гордей Евстратыч не переменил, но компанию водить с настоящими людьми не отказался, а даже был очень доволен поближе сойтись с ними. У этой настоящей компании были облюбованы свои теплые местечки, где и катилось разливное море: в одном месте ели, в другом играли в карты, в третьем слушали арфисток, и везде пили и пили без конца. В карты Гордей Евстратыч не играл, а пил вместе с другими, потому что нельзя же в самом-то деле такую компанию своим упрямством расстраивать... Ведь люди-то, люди-то какие: все наподбор, особенно адвокаты и разные инженеры. Наговорят с три короба, а в руки взять нечего... А впрочем, народ обходительный, и даже одетыми в единоверческое платье не гнушаются, что очень льстило Гордею Евстратычу, сильно стеснявшемуся на первых порах своим длиннополым кафтаном и русской рубашкой.

— Мы здесь живем, как братья, Гордей Евстратыч, — говорил Брагину юркий адвокат из восточных человеков. — Все равно, как одна семья.

Действительно, все эти невьянские, и кушвинские, и миасские, и троицкие золотопромышленники, попадая в Екатеринбург, сливались в одну золотую массу, которую адвокаты и другие дельцы обхаживали особенно усердно. Особняком держались от этой компании только самые крупные тузы, которые проживали по столицам, являясь на Урал только на несколько дней. Гордей Евстратыч присматривался, прислушивался и сам старался быть, как все, а то один Шабалин засрамит. Это легкое привольное житье затягивало незаметно, и Гордей Евстратыч ездил в город с особенным удовольствием, хотя мог бы обойтись без таких поездок, — стоило только заручиться надежным комиссионером, как у других золотопромышленников. Брагину хотелось прежде всего самому немного отшлифоваться в настоящей компании.

Приезжая из города домой, Брагин всем привозил подарки, особенно Нюше, которая ходила все лето, как в воду опущенная. Девушка тосковала об Алешке Пазухине; отец это видел и старался утешить ее по-своему.

— Ну, Нюша, будет дурить, — говорил ей Гордей

Евстратыч под веселую руку. — Хочу тебя уважить: как поеду в город — заказывай себе шелковое платье с хвостом... Как дамы носят.

— Не надо, тятенька...

— Вздор мелешь!.. Какое хочешь: зеленое или красное?

— Не надо, тятенька...

— И выходишь дура, если перечишь отцу. Я к тебе с добром, а ты ко мне... Погоди, вот в Нижний с Вуколом поедем, такой тебе оттуда гостинец привезу, что глаза у всех разбегутся.

Эта замена Алешки Пазухина шелковым платьем не удалась, и Нюша попрежнему тосковала и плакала. Она заметно похудела и сделалась еще краше, хотя прежнего смеха и болтовни не было и в помине. Впрочем, иногда, когда приезжала Феня, Нюша оживлялась и начинала дурачиться и хохотать, но под этим напускным весельем стояли те же слезы. Даже сорви-головушка Феня не могла развеселить Нюши и часто принималась бранить:

— Дурища ты, Нютка... Ей-богу!.. Вот еще моду затеяла... Эка беда, подумаешь, не стало ихнего брата, женихов-то... И по любви замуж выходят, да горе мыкают... Ей-богу, я этому Алешке в затылок накладу.

Чтобы окончательно вылечить свою подругу, Феня однажды рассказала ей целую историю о том, как Алешка таращил глаза на дочь заводского бухгалтера, и ссылалась на десятки свидетелей. Но Нюша только улыбалась печальной улыбкой и недоверчиво покачивала головой. Теперь Феня была желанной гостьей в брагинском доме, и Татьяна Власьевна сильно ухаживала за ней, тем более что Зотушка все лето прожил в господском доме под крылышком у Федосьи Ниловны.

— Гляжу я на тебя и ума не могу приложить: в кого ты издалась такая удалая, — говорила иногда Татьяна Власьевна, любуясь красавицей Феней. — Уж можно сказать, что во всем не как наша Анна Гордеевна.

— А я так ума не приложу, что с вами со всеми делается, — отвечала бойкая на язык Феня. — Взять тебя, баушка Татьяна, так и сказать-то ровно неловко.

— А что, милушка?

— Да так... На себя не походишь, баушка. Скупая стала да привередливая.

— Ох, нельзя, милушка, нельзя, голубушка... Вон у нас какой отец-то строгий да расчетливый. С меня все взыскивает, чуть что.

— Вот тоже ребят на прииске заморили... Снохи скучают, поди, об них неделю-то...

— Ну, это опять другой разговор, Фенюшка. Нельзя по нашему делу на чужих людей полагаться, а на прииске глаз да глаз нужен.

— Ежели бы я вашей снохой была, я ушла бы на второй месяц...

— Пшш... Што ты, милушка, какие ты слова разговариваешь... Ежели все бабы от мужей побегут, тогда уж распоследнее дело... Мы невесток, слава богу, не обижаем, как сыр в масле катаются.

— Масло-то ваше больно горькое, баушка Татьяна!... Вон Нютка, лица на ней нет... Мы с Зотушкой все ее жалеем.

Татьяна Власьевна только тяжело вздыхала и с соболезнованием покачивала головой.

Сыновья Брагина выезжали домой только по воскресеньям и праздникам, когда работа на жилке останавливалась. Сначала они скучали своей новой обстановкой, а потом мало-помалу привыкли к ней и даже совсем в нее втянулись. Особенно летом на приисках было весело, потому что работа кипела на открытом воздухе и походила на какой-то праздник или помочь. Притом на Смородинку постоянно завертывали разные гости: то Порфир Порфирыч с Плинтусовым, то Шабалин с Липачком, то кто-нибудь из знакомых золотопромышленников. Конечно, пребывание таких гостей на прииске ознаменовывалось прежде всего кромешным пьянством, а затем чисто приисковыми удовольствиями. Для Порфира Порфирыча, например, постоянно устраивался около конторы хоровод из приисковых красавиц, недостатка в которых не было и в числе которых фигурировали Окся и Лапуха с Домашкой. Бабы «играли песни», а Порфир Порфирыч тешился тем, что бросал в хоровод платки и пряники. Это было его лю-

бимым удовольствием, и, нагрузившись, он любил даже поплясать с бабами, особенно когда был налицо мировой Липачек. Гордей Евстратыч смотрел на эти праздники сквозь пальцы, потому что раз — нельзя же перечить такому начальству, как Порфир Порфирыч, Плинтусов и Липачек, а затем — и потому, что как-то неловко было отставать от других.

— На всех приисках одна музыка-то... — хохотал пьяный Шабалин, поучая молодых Брагиных. — А вы смотрите на нас, стариков, да и набирайтесь уму-разуму. Нам у золота да не пожить — грех будет... Так, Архип? Чего красной девкой глядишь... Постой, вот я тебе покажу, где раки зимуют. А еще женатый человек... Ха-ха! Отец не пускает к Дуне, так мы десять их найдем. А ты, Михалко?.. Да вот что, братцы, что вы ко мне в Белоглинском не заглянете?.. С Варей вас познакомлю, так она вас арифметике выучит.

Эти уроки пошли молодым Брагиным «в наук». Михалко потихоньку начал попивать вино с разными приисковыми служащими, конечно, в хорошей компании и потихоньку от тятеньки, а Архип начал пропадать по ночам. Братья знали художества друг друга и покрывали один другого перед грозным тятенькой, который ничего не подозревал, слишком занятый своими собственными соображениями. Правда, Татьяна Власьевна проведала стороной о похождениях внуков, но прямо все объяснить отцу побоялась.

— Ты бы присматривал за ребятами-то, — несколько раз говорила она Гордею Евстратычу, когда тот отправлялся на прииск. — У вас там на жилке всякого народу пропасть, пожалуй, научат уму-разуму. Ребята еще молодые, долго ли свихнуться.

— На людях живем, мамынька, — успокаивал Гордей Евстратыч, — ежели бы што — слухом земля полнится. Хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит.

— А ты, милушка, все-таки посматривай...

— Ладно, ладно... Ты вот за Нюшей-то смотри, чего-то больно она у тебя хмурится, да и за невестками тоже. Мужик если и согрешит, так грех на улице оставит, а баба все домой принесет. На той неделе мне

сказывали, что Володька Пятов повадился в нашу лавку ходить, когда Ариша торгует... Может, зря болтают только, — бабенки молоденькие. А я за ребятами в два глаза смотрю, они у меня и воды не замутят.

— Вот гости-то ваши меня беспокоят, милушка... Ведь вон какие статуи, один другого лучше. Сумлеваюсь я насчет их... Хоть кого на грех наведут.

Когда Гордей Евстратыч уезжал с золотом в город, брагинским ребятам на прииске была полная воля. Нашлись такие люди, которые научили, как нужно свою линию выводить, то есть откладывать там и сям денежки про черный день. Расчеты по прииску были большие, и достать деньги этим путем ничего не стоило, тем более что все дело велось семейным образом, с полным доверием, так что и подсчитать не было никакой возможности. Гордей Евстратыч боялся чужих людей, как огня, и все старался сделать своими руками. Володька Пятов, прокутившись до нитки где-то на приисках, явился с повинной к отцу и теперь проживал в Белоглинском. При Гордее Евстратыче он, конечно, не смел и носу показать на Смородинку, но без него он являлся сюда, как домой, и быстро просветил брагинских ребят, как следует жить по-настоящему.

— Чего вам смотреть на старика-то, — говорил Пятов своим новым приятелям, — он в город закатится, — там твори, чего хочешь, а вы здесь киснете на прииске, как старые девки... Я вам такую про него штуку скажу, что только ахнете: любовницу себе завел... Вот сейчас провалиться — правда!.. Мне Варька шабалинская сама сказывала. Я ведь к ней постоянно хожу, когда Вукола дома нет...

Ребята разинули рот от удивления и долго не могли поверить Володьке Пятову, который врал за четверых.

— Эх вы, телята!.. — хохотал Володька. — Да где у вас глаза-то? Что за беда, если старик и потешится немного... Человек еще в поре. Не такие старики грешат: седина в бороду, а бес в ребро.

— Да ты врешь, Володька... Смотри!..

— Чего смотри?.. Я знаю, как и зовут любовницу Гордея Евстратыча. Она из немок, из настоящих, а называется Сашей. В арфистках раньше была, потом с

Шабалиным жила до Варьки. Шабалин ее и сосватал тятеньке-то вашему... Мне сама Варька сказывала, — потому Шабалин пьяный все ей рассказывает.

Володька Пятов, коренастый кудрявый парень, несмотря на кутежи и запретные удовольствия, был кровь с молоком, недаром родным братцем Фени считался. Такой же русый волос, такой же румянец, такие же светлые ласковые глаза, только ума у Володьки Пятова не было ни на грош: весь промотан в городе. Щеголял он всегда в модных визитках и крахмальных рубашках, носил пуховую черную шляпу и постоянно хвастался золотыми кольцами. У женщин известного разбора Володька Пятов пользовался большим успехом и от нечего делать приволакивался за Аришей Брагиной, о чем, конечно, не рассказывал Михалке.

— Погодите, батька смотрит-смотрит, да еще жениться вздумает, — посмеивался Володька Пятов. — Что, испугались? То-то... Смотрите в оба, а то как раз наследников новых наживете.

Приисковые рабочие очень любили Володьку Пятова, потому что он последнюю копейку умел поставить ребром и обходился со всеми запанибрата. Только пьяный он начинал крепко безобразничать и успокаивался не иначе, как связанный веревками по рукам и ногам. Михалко и Архип завидовали пиджакам Володьки, его прокрахмаленным сорочкам и особенно его свободному разговору и смелости, с какой он держал себя везде. Особенно Архип увлекался им и старался во всем копировать своего приятеля, даже в походке.

Слухи о баловстве брагинских ребят, конечно, скоро разошлись везде и разными досужими людьми были переданы, между прочим, Колобовым и Савиным, с приличными добавлениями и прикрасами. Конечно, обе семьи поднялись на ноги, особенно старухи, и пошла писать история. Общая беда теперь помирила их. Агнея Герасимовна разливалась рекой, оплакивая свою Аришу, как мертвую; Матрена Ильинична тоже крепко убивалась о своей Дуне, которая вдобавок уже давно ходила тяжелая и была совсем «на тех порах», так что ей и сказать ничего было нельзя. В лавке сидела теперь большею частью одна Ариша, которую иногда

сменяла только Нюша; дело было летнее, тихое в торговле, и Ариша справлялась со всей торговлей. Она иногда брала с собой в лавку своего Степушку, и время летело незаметно, как за всякой работой. Волокитство Володьки Пятова сначала напугало Аришу, а когда он пропал из Белоглинского завода, — молодая женщина совсем успокоилась. Вот именно в этот момент и зачастила в лавку сама Агнея Герасимовна, по своей доброте не умевшая даже прикрыться каким-нибудь задельем.

— Как у вас там, дома-то? — спрашивала старушка, жалостливо глядя на свою ненаглядную доченьку.

— Штой-то, маменька, как ты и спрашиваешь... — удивлялась Ариша.

— Да я так, Ариша, к слову пришлось... Муж-то как у тебя?

— Муж... да чего ему сделается, маменька?.. Будто редко теперь дома бывает, а так ничего.

— Ну, а Татьяна Власьевна?

— И Татьяна Власьевна ничего...

Эти разговоры с мамынькой кончились тем, что ничего не подозревавшая Ариша, наконец, заплакала горькими слезами, почуя что-то недоброе. Агнея Герасимовна тоже досыта наревелась с ней, хотя и догадалась бо̀льшую половину утаить от дочери.

— Только, ради истинного Христа, Аришенька, ничего не говори Дуняше, — упрашивала Агнея Герасимовна, утирая лицо платочком, — бабочка на сносях, пожалуй, еще попритчится что... Мы с Матреной Ильиничной досыта наревелись об вас. Может, и зря люди болтают, а все страшно как-то... Ты, Аришенька, не сумлевайся очень-то: как-нибудь про себя износим. Главное — не доведи до поры до времени до большаков-то, тебе же и достанется.

Ариша ходила всю неделю с опухшими красными глазами, а когда в субботу вечером с прииска приехал Михалко, — она лежала в своей каморке совсем больная. Татьяна Власьевна видела, что что-то неладное творится в дому, пробовала спрашивать Аришу, но та ничего не сказала, а допытываться настрого Татьяна

Власьевна не хотела: «может, и в самом деле нездоровится», — решила про себя старуха и напоила Аришу на ночь мятой. Глядя на Аришу, закручинилась и Дуня. А ночью Татьяна Власьевна слышала в каморке какой-то подозрительный шум, а затем плач: это была первая семейная сцена между молодыми. Ариша сначала молчала, а потом начала упрекать мужа; Михалко оправдывался, ворчал и кончил тем, что поколотил жену. Ариша в одной рубашке, простоволосая, с плачем ворвалась в комнату Татьяны Власьевны и подняла весь дом на ноги. Старухе стоило больших трудов успокоить невестку и уговорить, чтобы она не доводила дело до Гордея Евстратыча, который на счастье не был в эту ночь дома.

Утром завернула к Брагиным Марфа Петровна, и все дело объяснилось. Хотя Пазухины были и не в ладах с Брагиными из-за своего неудачного сватовства, но Марфа Петровна потихоньку забегала покалякать к Татьяне Власьевне. Через пять минут старуха узнала, наконец, что̀ такое сделалось с Аришей и откуда дул ветер. Марфа Петровна в таком виде рассказала все, что даже Татьяна Власьевна озлобилась на свою родню.

— И ведь что говорят-то, — задыхаясь, рассказывала Марфа Петровна, — Михалку пропойцом называют, а про Архипа... ну, одним словом, славят про него, что он путается с приисковыми девками. И шлюху-то его называют... Ах, дай бог память... Домашкой ее зовут, из полдневских она. Так и девчонка-то бросовая, разговору не стоит, а старухи-то тростят страсть как... Будто Архип-то и ночей не спит в казарме, когда Гордея Евстратыча не бывает в казарме. Ведь чего только и наговорят, Татьяна Власьевна... Статошное ли дело, чтобы от такой молодой да красивой жены, как ваша Дуня, да муж побежал к какой-то шлюхе Домашке. Кто этому поверит? Тоже вот про Володьку Пятова разное болтают. Да уж я вам всего-то рассказывать не стану, Татьяна Власьевна; пустяки это все, я так думаю.

— Нет уж, Марфа Петровна, начала, так все выкладывай, — настаивала Татьяна Власьевна, почерневшая

от горя. — Мы тут сидим в своих четырех стенах и ничем-ничего не знаем, что люди-то добрые про нас говорят. Тоже ведь не чужие нам будут — взять хоть Агнею Герасимовну... Немножко будто мы разошлись с ними, только это особь статья.

— Вот Агнея-то Герасимовна все и ходила в лавку к Арише, да и надувала ей в уши... Да. Только всего она Арише не сказала, чего промеждy себя дома-то разговаривают. О чем бишь я хотела вам рассказывать-то?..

— О Володьке Пятове...

— Да, да... так. Третьего дня вечерком завернула я к Савиным, а там Агнея Герасимовна сидит. Меня чай оставили пить. Ну, старухи-то и пошли костить про Володьку, как он ваших ребят сомущает на всякие художества: Михалку — насчет водки и к картам приучает, а Архипа — по женской части... А потом про Шабалина начали говорить да про Порфира Порфирыча, какие они поступки поступают на Смородинке: дым коромыслом... А ребята-то молодые — им это и повадно. Да еще Шабалин-то учит ваших ребят всяким пакостям... А Володька Пятов опять затащил Архипа как-то к Варьке шабалинской. Ей-богу, не вру... Ну, а Варька-то заодно с Володькой обманывает Вукола-то Логиныча. А как вы думаете: на вино, да на карты, да на разные поступки с этими шлюхами ведь деньги надо?..

— Вот я это-то и думаю, Марфа Петровна: ведь у Михалки с Архипом и денег сроду своих не бывало, отец их не потачит деньгами-то. А что приисковые-то расчеты, так ведь сам отец их подсчитывает, через его руки всякая копеечка проходит.

— Позвольте, Татьяна Власьевна... Я то же старухам говорю, а они на Володьку на Пятова все валят: он и с ключом-то своим в чужой сундук сходит, и отца поучит обманывать в расчетах, и на всякие художества подымается из-за этих самых денег. Он отца родного сколько раз обкрадывал, а чужих людей подавно. Агнея-то Герасимовна как заговорит про Володьку, так у ней глаза и заходят, потому как его она и считает заводчиком всяких пакостей. Я про себя, Татьяна

Власьевна, так думаю, голубушка... Чужие-то дела куды ловко судить: и то не так, и это не так, а к своим ума не приложишь... Теперь взять хоть Агнею Герасимовну или Матрену Ильиничну: старухи, кажется, степенные, умницами слывут, а тут давай-ка мутить на весь Белоглинский завод. По-моему, им бы молчать да молчать, а не то, что самим рассказывать... Так ведь, Татьяна Власьевна?

— Истинная правда, Марфа Петровна. Вот этого и я в разум никак не возьму! Зачем чужим-то людям про свою беду рассказывать до время? А тут еще в своей-то семье расстраивают...

— Вот, вот, Татьяна Власьевна... Вместо того чтобы прийти к вам или вас к себе позвать, да все и обсудить заодно, они все стороной ладят обойти, да еще невесток-то ваших расстраивают. А вы то подумайте, разве ваши-то ребята бросовые какие? Ежели бы и в самом деле грех какой вышел, ну, по глупости там или по малодушию, так Агнее-то Герасимовне с Матреной Ильиничной не кричать бы на весь Белоглинский завод, а покрыть бы слухи да с вами бы беду и поправить.

— Так, так, Марфа Петровна. Справедливые слова ты говоришь... Будь бы еще чужие — ну, на всякий роток не накинешь платок, а то ведь свои — вот что обидно.

— По-моему, Татьяна Власьевна, всему этому делу настоящие заводчики эти самые Савины и Колобовы и есть... Ей-богу!..

— Да ведь свои они нам, как ни поверни, Марфа Петровна... Что им за нужда на своих-то детей беду накликать?

— Ах, Татьяна Власьевна, Татьяна Власьевна... А если они все в ослеплении свои поступки поступают? Можно сказать, из зависти к вашему богатству все и дело-то вышло... Вот и рады случаю придраться к вам!..

Результатом таких разговоров было то, что Татьяна Власьевна совсем отшатнулась от своей родни и стала даже защищать внуков, которых «обнесли напраслиной». Она теперь взглянула на дело именно с своей личной точки зрения, как обиженная сторона, и горой

встала за фамильную честь. Так как скрывать долее было нельзя от Гордея Евстратыча, то Татьяна Власьевна и рассказала ему все дело, как понимала его сама. Против ожидания, Гордей Евстратыч не вспылил даже, а отнесся к рассказу жаловавшейся мамыньки почти безучастно и только прибавил:

— Ну, пусть их, мамынька... Почешут-почешут языки, да и отстанут. Всего не переслушаешь. Занялся бы я этими вашими сплетками, да, вишь, мне не до них: в Нижний собираться пора.

— А с кем ты поедешь-то, милушка?

— Не знаю еще... Может, Вукол поедет, так с ним угадаю.

— Ох, милушка, милушка... Вукол-то этот... сумлеваюсь я...

— Пустое, мамынька... Тоже, мамынька, и про Вукола много зря болтают, как и про нас с тобой. Человек как человек.

— Ну, как знаешь, милушка... А только ты поговорил бы с Аришей-то, больно она убивается. Расстраивают ее, ну, она и скружилась...

— Хорошо, мамынька, поговорю...

Гордей Евстратыч всегда очень любил свою старшую невестку, для которой у него никогда и ни в чем не было отказа. Только в последний год он как будто переменился к ней, так по крайней мере думала сама Ариша, особенно после случая с серьгами и брошкой. Ей казалось, что Гордей Евстратыч все сердится за что-то на нее, не шутит, как бывало прежде, и часто придирается, особенно по торговле. Придет в лавку и начнет пропекать, то есть не то чтобы он бранился или кричал, а просто, по всему было видно, что он недоволен. Ариша даже стала немного бояться своего свекра, особенно когда он был навеселе и делался такой румяный — даром, что старик. И глаза у него как-то особенно блестели, и Арише казалось, что Гордей Евстратыч все смотрит на нее. Раза два в таком виде он заходил к ней в лавку и совсем ее напугал: смеется как-то так нехорошо и говорит что-то такое совсем несообразное. Потом Ариша заметила, что Гордей Евстратыч никогда не заходит в лавку, когда там сидит

Дуня, и что вообще дома, при других, он держит себя с ней совсем иначе, чем с глазу на глаз. Поэтому, когда Татьяна Власьевна послала Аришу на другой день после разговора с сыном в его горницу, та из лица выступила: Гордей Евстратыч только что приехал от Шабалина и был особенно розовый сегодня. Дуня лежала больная в своей каморке, Нюша была в лавке, — вообще дом был почти совсем пустой.

— Ступай, ступай, с тобой поговорить хочет отец-то... — посылала Татьяна Власьевна невестку. — Да говори прямо, все, что сама знаешь, как родимому отцу.

Ариша набросила свой ситцевый сарафан, накинула шаль на голову и со страхом переступила порог горницы Гордея Евстратыча. В своем смущении, с тревожно смотревшими большими глазами, она особенно была хороша сегодня. Высокий рост и красивое здоровое сложение делали ее настоящей красавицей. Гордей Евстратыч ждал ее, ходя по комнате с заложенными за спину руками.

— Вы, тятенька, меня звали на что-то...

— Да, звал, Ариша. Садись вот сюда, потолкуем ладком... Что больно приунищилась?.. Не бойсь, не укушу. Для вас же стараюсь...

Гордей Евстратыч придвинул свой стул к стулу Ариши и совсем близко наклонился к ней, так что на нее пахнуло разившим от него вином; она хотела немного отодвинуться от свекра, но побоялась и только опустила вспыхнувшее лицо. Гордей Евстратыч тоже заметно покраснел, а глаза у него сегодня совсем были подернуты маслом.

— Ну, Ариша, так вот в чем дело-то, — заговорил Гордей Евстратыч, тяжело переводя дух. — Мамынька мне все рассказала, что у нас делается в дому. Ежели бы раньше не таили ничего, тогда бы ничего и не было... Так ведь? Вот я с тобой и хочу поговорить, потому как я тебя всегда любил... Да-а. Одно тебе скажу: никого ты не слушай, окромя меня, и все будет лучше писаного. А что там про мужа болтают — все это вздор... Напрасно только расстраивают.

— Я ведь, тятенька, ничего...

— Хорошо... Ну, что муж тебя опростоволосил, так это опять — на всякий чох не наздравствуешься... Ты бы мне обсказала все, так Михалко-то пикнуть бы не смел... Ты всегда мне говори все... Вот я в Нижний поеду и привезу тебе оттуда такой гостинец... Будешь меня слушаться?

— Я, тятенька, из вашей воли никогда не выходила...

— И отлично... А вперед еще больше старайся. На мужа-то не больно смотри: щенок еще он... Ну, ступай с богом...

Ариша, по заведенному обычаю, в благодарность за науку, повалилась в ноги тятеньке, а Гордей Евстратыч сам поднял ее, обнял и как-то особенно крепко поцеловал прямо в губы, так что Ариша заалелась вся, как маков цвет, и даже закрыла лицо рукой.

— Видно, горько старого целовать? — спрашивал Гордей Евстратыч, отнимая руку Ариши. — Ты ведь у меня умница... Только ничего никому не рассказывай, — поняла? Всем по гостинцу привезу, а тебе наособицу... А ежели муж будет обижать, ты мне скажи только слово...

— Нет, мне, как другим, тятенька... Я не хочу наособицу...

— Ах ты, глупая... А если я хочу? Понимаешь: *я этого хочу!*

«Видно, отец-то поначалил крепко...» — подумала Татьяна Власьевна, взглянув на красное лицо выходившей из горницы Ариши.

Через неделю Гордей Евстратыч укатил вместе с Шабалиным на ярмарку в Нижний.

XIV

Из Нижнего Гордей Евстратыч действительно привез всем по гостинцу: бабушке — парчи на сарафан и настоящего золотого позумента, сыновьям — разного платья и невесткам — тоже. Самые лучшие гостинцы достались Нюше и Арише; первой — бархатная шубка на собольем меху, а второй — весь золотой «прибор»,

то есть серьги, брошь и браслет. Такая щедрость удивила Татьяну Власьевну, так что она заметила Гордею Евстратычу:

— Как я погляжу, милушка, балуешь ты Аришу...

— А ежели я так хочу, мамынька? — упрямо заявил Гордей Евстратыч. — Может, она мне лучше всех угодила, ну и дарю...

— Дуне опять завидно, милушка...

— Ну, Дуня пусть еще постарается в свою долю, тогда и ее пожалуем.

— Ох, только бы не избаловать, милушка. Дело-то еще больно молодое, хоть и Аришу взять... Возмечтает, пожалуй, и старших не будет уважать. Нынче вон какой безголовый народ пошел, не к нам будь сказано! А ты, милушка, никак бороду-то себе подкорнал на ярмарке?

— Немножко, мамынька... Нельзя же супротив других чертом ходить. Лучше нас есть, мамынька, да тоже бороды себе подправляют, ну и я маненько подправил, так, самую малость...

Последнее обстоятельство очень конфузило Гордея Евстратыча перед домашними, хотя он и бодрился. Вообще Татьяна Власьевна скоро заметила, что милушка, кроме подстриженной бороды, привез из ярмарки много других новостей и точно сделался совсем другой человек, как она к нему ни приглядывалась. Больше всего старухе не нравилось в сыне то, что он начал «форсить» в том же роде, как форсил Вукол Шабалин. И платья себе навез из ярманки форсистого, и сапоги лаковые со скрипом, и маслом деревянным перестал мазаться — вообще крепко начал молодиться, и даже точно лицо у него совсем другое сделалось. Впрочем, новое платье Гордей Евстратыч долго не решался надеть, даже очень сумлевался, пока по первопутку не съездил в город сдавать золото, откуда приехал уже совсем форсуном: в длинном сюртуке, в крахмальной сорочке, брюки навыпуск — одним словом, «оделся патретом», как говорил Зотушка. «Темноту-то нашу белоглинскую пора, мамынька, нам оставлять, — коротко объяснил Гордей Евстратыч собственное превращение, — а то в добрые люди нос показать

совестно...» Но провести разными словами Татьяну Власьевну было довольно трудно, она видела, что тут что-то кроется, и притом кроется очень определенное: с женским инстинктом старуха почуяла чье-то невидимое женское влияние и не ошиблась. Завернувшая на секундочку Марфа Петровна очень подробно и красноречиво отрапортовала, зачем повадился Гордей Евстратыч по городам ездить: немку себе завел... Она с ним и в Нижний ездила, она и переодела его, и бороду подстричь заставила, — одним словом, завертела мужика. А эту немку подсунула Гордею Евстратычу шабалинская Варя, — это уж ее рук дело.

— И денег он на эту немку травит, страсть... Квартиру ей завел в городу и всякое прочее, — объясняла Марфа Петровна, — у Колобовых да у Савиных в голос все кричат про нее.

— А я так думаю, Марфа Петровна, что пустое это болтают, — обрезала Татьяна Власьевна, — как тогда про ребят наших наврали тоже. Как Гордей-то Евстратыч был в Нижнем, я сама нарочно сгоняла на Смородинку, ночью туда приехала и все в исправности там нашла... Так и теперь, пустое плетут на Гордея Евстратыча...

Такой ответ и удивил и обидел Марфу Петровну: значит, и она тоже плетет напраслину вместе с другими. Полное лицо Марфы Петровны покрылось багровыми пятнами, но она во-время спохватилась, что Татьяна Власьевна просто глаза отводит и говорит только для одной видимости.

— Я ведь и сама то же самое думаю, — заговорила Марфа Петровна, переходя в другой тон. — И раньше я вам говорила... Все это Савины да Колобовы придумывают.

К зиме работа заметно убавилась, и половина старателей была рассчитана начисто, но Михалко и Архип попрежнему оставались на прииске. Гордей Евстратыч и слышать ничего не хотел о том, чтобы дать ребятам отдохнуть. «Молоды еще отдыхать-то, — говорил он на все доводы Татьяны Власьевны, — пусть в свою долю поработают, а там увидим». Татьяна Власьевна решительно не знала, чем объяснить себе такое упрямство.

А Гордей Евстратыч что-то держал на уме, потому что совсем забросил прииск, куда заглядывал какой-нибудь раз в неделю; он теперь редко бывал дома, а все водил компанию с разными приезжими господами, которым Татьяна Власьевна давно и счет потеряла. Какие-то, господь их знает, шерамыжники не шерамыжники, а в том же роде, хотя Гордей Евстратыч и говорит, что это и есть самая настоящая компания и все эти господа все нужный народ. Для чего они были нужны — Татьяна Власьевна не могла дать ума, потому что этаковой-то бросовый народ какие-такие дела мог делать... А тут еще приехала из своего Верхотурья модница Алена Евстратьевна и опять пошла все крутить да мутить: так братцем и поворачивает, как хорошим болваном. Конечно, насчет моды Алена Евстратьевна, можно сказать, все произошла и могла поставить брагинский дом на настоящую точку, как в других богатых домах все делается, но, с другой стороны, Татьяна Власьевна не могла никак простить дочери, что по ее милости расстроилась свадьба Нюши и произошло изгнание Зотушки.

— Вот теперь и полюбуйся... — корила свою модницу Татьяна Власьевна, — на кого стала наша-то Нюша похожа? Бродит по дому, как омморошная... Отец-то шубку вон какую привез из Нижнего, а она и поглядеть-то на нее не хочет. Тоже вот Зотушка... Хорошо это нам глядеть на него, как он из милости по чужим людям проживается? Стыдобушка нашей головушке, а чья это работа? все твоя, Аленушка...

— Ничего, мамочка. Все дело поправим. Что за беда, что девка задумываться стала! Жениха просит, и только. Найдем, не беспокойся. Не чета Алешке-то Пазухину... У меня есть уж один на примете. А что относительно Зотушки, так это даже лучше, что он догадался уйти от вас. В прежней-то темноте будет жить, мамынька, а в богатом дому как показать этакое чучело?.. Вам, обнаковенно, Зотушка сын, а другим-то он дурак не дурак, а сроду так. Только один срам от него и выходит братцу Гордею Евстратычу.

— Нехорошие ты слова, Аленушка, выговариваешь, чтобы после не покаяться... Все под богом ходим.

Может, Зотушка-то еще лучше нас проживет за свою простоту да за кротость. Вот ужо господь-то смирит вас с братцем-то Гордеем за вашу гордость.

— Ах, мамаша, ничего вы не понимаете!.. — заканчивала обыкновенно модница такие разговоры. — Нельзя же попрежнему жить без всякого понятия...

Татьяна Власьевна заметила, что в последнее время между Гордеем Евстратычем и Аленой Евстратьевной завелись какие-то особенные дела. Они часто о чем-то разговаривали между собой потихоньку и сейчас умолкали, когда в комнату входила Татьяна Власьевна. Это задело старуху, потому что чего им было скрываться от родной матери. Не чужая ведь, не мачеха какая-нибудь. Несколько раз Татьяна Власьевна пробовала было попытать модницу, но та была догадлива и все увертывалась.

«Ох, недаром наша Алена Евстратьевна вертится, как береста на огне», — думала про себя старуха.

И Гордей Евстратыч все ходит как-то сам не свой, такой вдумчивый да пасмурный. Вообще после Нижегородской он сильно изменился и все делал как-то беспокойно и торопливо, точно чего боялся. И лицо у Гордея Евстратыча стало совсем другое: в нем не было прежнего спокойствия, а в глазах светилась какая-то недосказанная тревога. Часто в разговоре он даже заговаривался, то есть отвечал невпопад или спрашивал что-нибудь непутевое, совсем не к месту. «Ужо надо с отцом Крискентом посоветоваться, — решила Татьяна Власьевна, — больно неладно с отцом-то у нас... Может, это он от этих новых знакомых, а может, оттого, что водки начал принимать в себя даже очень предовольно». Отец Крискент с своей обычной благожелательностью и благовниманием выслушал все сомнения Татьяны Власьевны и глубокомысленно ответил:

— Да, да... Помните, я говорил вам тогда, Татьяна Власьевна: богатство — это испытание. Оно испытание и выходит...

— Уж я, право, отец Крискент, даже не рада этой нашей жилке; все у нас от нее навыворот пошло...

Со всеми рассорились, не знаю, за что, в дому сумление.

— Я вам говорил... да, говорил, — сочувственно повторял о. Крискент, покачивая своей головкой. — Нужно претерпевать, Татьяна Власьевна.

В вящее подтверждение своих слов, о. Крискент с необыкновенной быстротой расстегнул и застегнул все пуговицы своего подрясника.

— Легкое место вымолвить, отец Крискент, как от нас все старые-то знакомые отшатились! Савины, Колобовы, Пятов, Пазухины... И чего, кажется, делить? Будто Гордей-то Евстратыч действительно немножко погордился перед сватовьями, ну, с этого и пошло... А теперь сваты-то слышать об нас не хотят.

— Да, да... — лепетал о. Крискент, разыгрывая мелодию на своих пуговицах. — А меня-то вы забыли, Татьяна Власьевна? Помните, как Нил-то Поликарпыч тогда восстал на меня... Ведь я ему духовный отец, а он как отвесит мне про деревянных попов. А ежели разобрать, так из-за кого я такое поношение должен был претерпеть? Да... Я говорю, что богатство — испытание. Ваше-то золото и меня достало, а я претерпел и вперед всегда готов претерпеть.

— Ох, верно, отец Крискент... Вам все это зачтется, все зачтется...

— А я о себе никогда не забочусь, Татьяна Власьевна, много ли мне нужно? А вот когда дело коснется о благопопечении над своими духовными чадами — я тогда неутомим, я... Теперь взять хотя ваше дело. Я часто думаю о вашей семье и сердечно сокрушаюсь вашими невзгодами. Теперь вот вас беспокоит душевное состояние вашего сына, который подпал под влияние некоторых несоответствующих людей и, между прочим, под влияние Алены Евстратьевны.

— Задумывается он все, отец Крискент... А о чем ему думать? Слава богу, всего, кажется, вдоволь, и только жить да радоваться нужно... Конечно, обнесли напраслиной внучков моих, про Гордея Евстратыча болтают разное, совсем неподобное...

— Неподобное?

— Да... Даже рассказывать совестно.

— Ах, да, слышал, слышал... Сие все отрыгнуто завистью и человеконенавистничеством, Татьяна Власьевна.

Руки о. Крискента усиленно забегали по пуговицам, и его маленькое лицо озарилось торжествующей улыбкой: ему пришла великолепная мысль.

— Знаете что, Татьяна Власьевна? — заговорил о. Крискент с подобающей торжественностью. — Не отчаивайтесь. У меня блеснула благая мысль. Ведь Гордея Евстратыча смущает теперь враг рода человеческого своими тайными внушениями. От этого и его беспокойство, и страх, и тревожное состояние души. Мы сделаем так, чтобы он отогнал от себя злого духа работой на бога... Да? Помните, как я тогда предполагал сделать Гордея Евстратыча старостой? Вот мы сие и докончим... Нужно нам церковь достраивать, а делателя нет. Гордей Евстратыч достаточно выказал ревности к божию домостроительству и не откажется продолжать начатое. А когда будет стараться для бога, враг человеческий и отступится от него. Конечно, многие восстанут на меня, но я готов претерпеть всегда.

— Непременно восстанут, отец Крискент: и Савины, и Пазухины, и Колобовы...

— Я сие предвижу и не устрашаюсь, поелику этим самым устроим два благих дела: достроим церковь и спасем Гордея Евстратыча от злого духа... Первым делом я отправлюсь к Нилу Поликарпычу и объясню ему все. Трехлетие как раз кончается, и по уставу нам приходится выбирать нового старосту — вот и случай отменный. Конечно, Колобов у нас числится кандидатом в старосты, но он уже в преклонных летах и, вероятно, уступит.

Мысль была великолепная и совпадала с планами о. Крискента. Он очень подробно развил ее перед Татьяной Власьевной, стараясь показать, что им отнюдь не руководят какие-нибудь корыстные побуждения.

— Гордей Евстратыч собирается себе дом строить,— рассказывала Татьяна Власьевна, — да все еще ждет, как жилка пойдет. Сначала-то он старый-то, в котором теперь живем, хотел поправлять, только подумал-

подумал и оставил. Не поправить его по-настоящему, отец Крискент. Да и то сказать, ведь сыновья женатые, детки у них, того и гляди, тесно покажется — вот он и думает новый домик поставить.

— И отлично... Это даже превосходно, Татьяна Власьевна: одной рукой будет ревновать для господа, другой для себя. А что у вас Нюша?

— Ох, и не спрашивайте... Высохла девка совсем: не знаем, что с ней и делать. И тоже Алена Евстратьевна все дело испортила...

— Гм... И нельзя поправить?

— Трудно, отец Крискент. Осердились Пазухины-то на нас, очень осердились. Конечно, Нюша еще молода, износит и не такую беду, только все-таки оно жаль, жаль смотреть-то на нее.

Отец Крискент крепко ухватился за свою благую мысль и принялся очень деятельно проводить кандидатуру Брагина в церковные старосты, причем не щадил себя, только бы прилепить Гордея Евстратыча к домостроительству божию. Он прежде всего переговорил с влиятельными прихожанами и старичками, которые в единоверческих церквах имеют большую силу над всеми церковными делами. Впрочем, эти хлопоты значительно облегчались тем, что общий голос был за Гордея Евстратыча, как великого тысячника, которому будет в охотку поработать господеви, да и сам по себе Гордей Евстратыч был такой обстоятельный человек, известный всему приходу. Не было забыто ничего: как ревностно посещает всегда Гордей Евстратыч храм божий, как он умилительно поет на клиросе по двунадесятым праздникам, как истово знает все четье-петье, и о. Крискент очень политично намекнул кое-кому о тех пожертвованиях от неизвестного, которые появляются в церковных кружках и которые принадлежат не кому другому, конечно, как тому же Гордею Евстратычу. Вообще дело быстро катилось вперед, к своему естественному концу, и о. Крискенту оставалось только переговорить с Колобовыми, Савиными, Пазухиными и самим Нилом Поликарпычем Пятовым. Это была самая щекотливая часть взятой на себя о. Крискентом миссии, хотя он и готов был претерпевать. Даже улегшись на

своем жестком монашеском ложе, о. Крискент долго под одеялом то как будто расстегивал, то застегивал тысячи пуговиц, которыми было покрыто все его тело. Собственно, о. Крискент побаивался трех личностей: у Колобовых — самого Самойла Михеича, нравного и крутого на язык старика, у Савиных — самой, то есть Матрены Ильиничны, начетчицы и большой исправщицы, а у Пазухиных — злоязычной Марфы Петровны. Обойти эти дома без внимания не было возможности, потому что народ все был крепкий, кондовый, приверженный благочестию, хотя Колобовы потихоньку и прикержачивали.

Помолившись и еще раз вспомнив о великой «разделительной силе златого бисера», о. Крискент отправился прежде всего к Савиным, где Матрена Ильинична встретила его с гордой холодностью, — она уже наслышалась о подходцах, хотя и удивилась, когда о. Крискент после необходимых вступительных благоразмышлений приступил к самой сущности.

— Значит, Нила-то Поликарпыча по шеям? — обрезала Матрена Ильинична медоточивого оратора.

— Нет, я не говорю этого, Матрена Ильинична, а только делаю уповательное рассуждение...

— Ну, а Самойла Михеича куда денешь? Он ведь кандидатом числится у нас в старосты...

— А может быть, Самойло Михеич сам откажется от прохождения службы в чине церковного старосты?

— А я тебе вот что скажу, отец Крискент... Все у нас было ладно, а ты заводишь смуту и свары... Для брагинского-то золота ты всех нас разгонишь из новой церкви... Да! А помнишь, что апостол-то сказал: «Вся же благообразна и по чину вам да бывают». Значит, ежели есть староста и кандидат в старосты, так нечего свои-то узоры придумывать. Так и знай, отец Крискент.

Отец Крискент только склонил свою головку, ибо чувствовал себя в этом деле, то есть относительно Самойла Михеича, правым вдвойне: во-первых, он был только кандидат, а затем — Самойло Михеич прикержачивал. Конечно, этих мыслей о. Крискент не высказал Матрене Ильиничне, а, приняв на свою главу еще

несколько ядовитых словес, с смирением потек к Колобовым. Там было не лучше. Самойло Михеич сначала прикинулся, что ничего не понимает, а потом наговорил о. Крискенту кучу мужицких грубостей, вроде того, что нынче попы сидя обедни служат, а приход будет лежа богу молиться. Это стоило «деревянных» попов Нила Поликарпыча. У Пазухина о. Крискента в свою долю отполировала Марфа Петровна. Вообще, испытание оказалось тяжелее, чем предполагал о. Крискент; он не ожидал проявления такого духа строптивости от своего словесного стада. Раньше он решил испить чашу до дна за один прием, то есть разом побывать у всех, но теперь он почувствовал себя слишком разбитым, чтобы идти еще к Нилу Поликарпычу, своему явному недоброжелателю. Удрученный самыми невеселыми мыслями, о. Крискент забрел в брагинский дом, чтобы подкрепить себя душеспасительной беседой с Татьяной Власьевной и поведать ей вынесенные сегодня поношения. У Брагиных дома были только одни женщины, и Татьяна Власьевна приняла о. Крискента с надлежащим почетом, как самого дорогого гостя.

— А я только хотела идти к вам, отец Крискент, — заговорила Татьяна Власьевна, когда они остались с глазу на глаз.

— Что такое случилось?

— Уж я вот все по порядку, отец Крискент, обскажу... Тогда я пришла от вас и к слову молвила Гордею Евстратычу про старосту-то. Думаю, как бы он чего еще не вздумал артачиться, тоже ведь как на это взглянет. Ну, сказала я это ему, а он ничего, стал расспрашивать, что и как, а потом сам и говорит: «Мамынька, надо будет помириться с Пятовым-то... Напрасно он обидел меня тогда, ну, да господь с ним...» Я даже сперва-то ушам своим не поверила, а он опять: «Мы, говорит, мамынька, Алену Евстратьевну зашлем сперва к Нилу-то Поликарпычу, она насчет разговору-то у нас простовата. Пусть там поразведает».

Это известие приятно изумило о. Крискента, у которого точно гора свалилась с плеч от слов Татьяны Власьевны, хотя он, собственно, не мог сразу проникнуть всего значения такого неожиданного оборота дела.

— Это будет настоящий христианский подвиг, Татьяна Власьевна, — проговорил он, собираясь с мыслями. — Видите, только вы сказали еще одно слово, а дух разделения уже оставил Гордея Евстратыча.

— Верно, верно, отец Крискент... И ведь как это преотлично вышло! А я сначала-то даже не поверила... Только потом, когда раздумалась и вспомнила ваши-то слова о злом духе...

— Не любит он, Татьяна Власьевна, благочестивых подвигов...

— Да, да... А Гордея-то Евстратыча, может, и то еще смутило, что Зотушка-то теперь у Пятовых живет... Приютили они его, а Гордею-то Евстратычу совестно против них, вот он и хочет выправиться за один раз... Да и Алена-то Евстратьевна тут же подвернулась...

— Оно уж одно к одному... Бог даст, и совсем искореним разделительную силу злата. Довольно с вас испытаний.

— Ох, довольно, отец Крискент! А мне, старухе, в другой раз так, пожалуй, и совсем не под силу приходится... Даже роптала сколько раз!

Действительно, модница Алена Евстратьевна на другой же день отправилась в пятовский дом и вернулась оттуда с самыми утешительными вестями. Нил Поликарпыч очень рад помириться и готовится испросить прощения у обиженного им напрасно о. Крискента. Татьяна Власьевна даже прослезилась от умиления и не знала, как ей благодарить о. Крискента за его благую мысль.

— Только бы с Пятовыми помириться, — соображала про себя Татьяна Власьевна, — а там помаленьку и с другими, со всеми помиримся. Только бы отогнать злого-то духа разделителя от милушки!.. Устрой, господи, все на пользу.

Свидание недавних «противителей» было назначено в пятовском доме, почему хлопот Фене и Зотушке был полон рот. Нужно было все прибрать, да убрать, да приготовить. Ведь сама Татьяна Власьевна пожалует, а у ней глазок-смотрок, только взглянет и всякую неполадку насквозь увидит. Господский дом был старинной

постройки, с низкими потолками, узкими окнами и толстыми кирпичными стенами, каких нынче уже не строят, за исключением, может быть, крепостей и монастырей. В комнатах все было устроено тоже по-старинному: пузатая мебель красного дерева, кисейные занавески на окнах, тюменские ковры на полу, орган «с ошибочкой в дудках», портреты генералов и архиереев на стенах, клетка с канарейками и т. д. Феня была большая охотница до цветов, и все окна были уставлены цветочными горшками, но и цветки были тоже все старинные: герани, кактусы (эти кактусы сильно походили на шишковатые зеленые косы, которые вылезали прямо из земли), петухи, жасмин, олеандры, гортензии и т. д. Модные цветы в Белоглинском заводе были только в шабалинском доме, но Феня не понимала экзотической декоративной зелени, которая всегда оставалась мертвой и не расцветала ни одним алым цветком. Все эти пальмы, филодендры, драцены, фикусы, агавы и папирусы наводили на нее тоску.

— Пошевеливайся, Зотушка! — покрикивала Феня на своего помощника. — Надо поспеть убраться до вечера, а то, пожалуй, скажут про нас с тобою неладно что-нибудь... Алена Евстратьевна бедовая у вас. Да что ты сегодня точно мертвый?

Зотушка действительно что-то крепко призадумался и все вопросительно поглядывал на барышню Фенюшку. Теперь он задумчиво почесал у себя в затылке и проговорил:

— Тяжело у меня на сердце, Федосья Ниловна.

— Что так?

— Да уж так: чует оно что-то неладное... Уж это завсегда у меня так. Чуть что — и засосет...

— Перестань врать-то... Чего тебе чуять-то? Слава богу, что так все устроилось, будет старикам-то вздорить. Мне отца Крискента страсть как жалко тогда было, когда тятенька его обидел...

— Хорошо-то оно хорошо, это точно, а все-таки оно не совсем... Ох, недаром эта модница, наша Аленушка, прилетала! С добром она не ходит, не нам будь сказано.

— Да что она может сделать?

— Эх, барышня, барышня... Чужая душа потемки, барышня, а только неспроста сестричка прилетала. Грешный человек — не люблю ее: вот тебя люблю, а ее нет. Душа не лежит к человеку, голубушка Фенюшка...

Феня серьезно побаивалась гостей, то есть, собственно, Татьяны Власьевны и Алены Евстратьевны, которые своим женским всевидящим взглядом увидят каждую соринку, каждый хозяйственный промах. Девушка целых два дня хлопотала по всему дому, чтобы все было, как следует, как у других. Она перебрала посуду, столовое серебро, скатерти, двадцать раз сбегала вниз к кухарке Анисье, чтобы самой за всем досмотреть и все приготовить. В порыве усердия она даже подстригла и перемыла все цветы, точно зоркий глаз бабушки Татьяны мог заметить каждый засохший листочек. В назначенный день, когда вечером должны были собраться гости, Феня испытывала лихорадочное волнение и с четырех часов перебегала от окна к окну, выглядывая — не покажутся ли знакомые крашеные пошевни, в которых обыкновенно приезжала Нюша. В своем шерстяном платье, цвета бордо, плотно охватывавшем ее статную фигуру, девушка была очень красива, а тревога и беспокойство придавали ее лицу такое хорошее выражение. Нил Поликарпович тоже чувствовал себя не совсем спокойно и все старался прикрыть свою лысину остатками волос, сохранившимися на висках. Для воодушевления он несколько раз пробовал было затянуть: «Твоя победительная десница», но ничего не выходило, и он неровно начинал шагать по зале, поправляя ногами ковры и пробуя произвести некоторую симметрию в цветочных горшках. Это был тихий и молчаливый человек с очень развитыми семейными наклонностями; Феню любил он до безумия, хотя и не умел проявить своего чувства громкими внешними формами, как делают другие отцы. Но Феня сердцем чувствовала эту любовь и ценила своего молчаливого, немножко странного отца.

Первыми приехали бабушка Татьяна с Аленой Евстратьевной.

— А где Нюша? — спрашивала Феня, выскакивая встречать гостей на крыльцо.

— Дома осталась, дома... Что-то головой скудается, — ответила бабушка Татьяна, целуясь с Феней. — Отец-то дома?

— Дома, дома... Здравствуйте, Алена Евстратьевна!..

— Гордей Евстратыч сейчас приедет, он заехал только за отцом Крискентом, — ответила бабушка Татьяна на немой вопрос Фени.

Нил Поликарпыч встретил гостей в передней и с молчаливой улыбкой провел их в гостиную, куда Анисья уже тащила большущий поднос с чашками. Модница Алена Евстратьевна разоделась в шелковое зеленое платье со шлейфом и в кружевную наколку; она была в зеленых перчатках и золотых серьгах с малиновыми шерлами. Женщины, конечно, зорко оглядели комнаты и, похвалив молодую хозяйку за образцовый порядок, уселись вокруг стола. В это время подкатили сани с Гордеем Евстратычем и о. Крискентом; Нил Поликарпыч выбежал встречать их на крыльцо, а затем провел в гостиную, где и состоялась трогательная сцена примирения. Гордей Евстратыч и Нил Поликарпыч облобызались и обнялись, а затем Нил Поликарпыч отвесил земной поклон о. Крискенту и со смирением проговорил:

— Прости и благослови, отче, меня, окаянного.

— Бог тебя простит, Нил Поликарпович, а я давно простил, поелику сие было только разделительное недоразумение отъинуда. Жили мы с тобой до старости, не ссорились, а теперь и подавно не следует нам ссориться. Мир дому сему, и паки мирови мир...

Чай прошел в самой непринужденной дружеской беседе, причем все старались только об одном, чтобы как можно угодить друг другу. Отец Крискент торжествовал и умиленно поглядывал на Татьяну Власьевну, выглядывавшую в своем шелковом темносинем сарафане настоящей боярыней. Гордей Евстратыч в новом городском платье старался держаться непринужденно и весело шутил. Когда подана была закуска, общее настроение достигло последних границ

умиления, и Нил Поликарпович еще раз облобызался с Гордеем Евстратычем.

— Испытание, испытание... — лепетал о. Крискент, вознесенный даже до третьего блаженства. — Нужно все претерпевать. Да!

За закуской мужчины долго толковали о своих делах, то есть о постройке новой церкви, о должности церковного старосты и т. д. Гордей Евстратыч говорил, что он рад потрудиться для божьего дела и чувствует себя еще в силах; потом начал рассказывать о доме, который затевал строить. Место уже было подсмотрено, только Гордей Евстратыч выжидал еще одного случая, а какого случая — он не досказал. Татьяна Власьевна вслушивалась в этот разговор, и ей не нравился тот тон, каким говорил Гордей Евстратыч о своем новом доме и о том, что он еще в силах, точно он хвастался перед Нилом Поликарпычем; потом старухе не понравилось, как себя держала модница Алена Евстратьевна с молодой хозяйкой, точно она делала ей какой экзамен. Феня краснела и смущалась, а Алена Евстратьевна с какой-то загадочной улыбкой величественно кивала головой и время от времени все взглядывала на братца Гордея Евстратыча, который почему-то смущался и начинал кусать свою подстриженную бороду.

В восемь часов был подан ужин, потому что в Белоглинском заводе все ложатся очень рано. Стряпня была своя домашняя, не заморская, но гости находили все отличным и говорили нехитрые комплименты молодой хозяйке, которая так мило конфузилась и вспыхивала ярким румянцем до самой шеи. Гордей Евстратыч особенно ласково поглядывал сегодня на Феню и несколько раз принимался расхваливать ее в глаза, что уж было совсем не в его характере.

— Я и не знал, что твоя Феня такая хозяйка, — говорил он Нилу Поликарпычу, поглаживая бороду. — Вон у меня их трое молодых-то в дому, а толку, пожалуй, супротив одной не будет.

Алена Евстратьевна подхватывала похвальные слова братца и еще сильнее заставляла краснеть смущенную Феню, которая в другой раз не полезла бы за словом в карман и отделала бы модницу на все корки;

но общее внимание и непривычная роль настоящей хозяйки совсем спутывали ее. Отец Крискент хотел закончить этот знаменательный день примирением Гордея Евстратыча с Зотушкой, но когда хватились последнего — его и след простыл. Это маленькое обстоятельство одно и опечалило о. Крискента и Татьяну Власьевну.

— Ну, уважила ты нас всех, Феня, — говорил на прощанье Гордей Евстратыч, — пожалуй, я этак часто поважусь к вам в гости ездить...

— Штой-то, милушка, пристали вы сегодня к девке, — останавливала Татьяна Власьевна. — Проходу не даете...

— Да ведь я так... Мне, старику, можно поболтать пустяки с молоденькими. Ведь я старик, Феня? Уж дедушка давно!

— Какой вы старик, — наивно ответила Феня. — Вот тятенька действительно старик, а вы еще...

— Что еще-то?

Феня окончательно смутилась и не знала, что ей ответить.

— Я еще у тебя, Феня, в долгу, — говорил Гордей Евстратыч, удерживая на прощанье в своей руке руку Фени. — Знаешь, за что? Если ты не знаешь, так я знаю... Погоди, живы будем, в долгу у тебя не останемся. Добрая у тебя душа, вот за что я тебя и люблю. Заглядывай к нам-то чаще, а то моя Нюша совсем крылышки опустила.

XV

Примирение с Пятовыми точно внесло какую благодать в брагинскую семью; все члены ее теперь вздохнули как-то свободнее. Гордей Евстратыч «стишал» и начал походить на прежнего Гордея Евстратыча, за исключением своего нового костюма, с которым ни за что не хотел расстаться. Михалко и Архип выезжали теперь с прииска раза три в неделю, и невестки вздохнули свободнее. Точно к довершению общего благополучия, у Дуни родилась прехорошенькая девочка.

— Мне мальчишек больше не надо, — говорит счастливый Гордей Евстратыч. — Девочка не в пример лучше...

Татьяна Власьевна поняла последние слова, как утешение Дуне, которой хотелось иметь первенцем сына; но Гордей Евстратыч говорил совершенно серьезно и пестовал маленькую Таню даже больше, чем своего внука Степушку. Когда Татьяна Власьевна предложила в кумовья Нила Поликарпыча, Гордей Евстратыч точно испугался и сказал, что у него уже есть кум, знакомый золотопромышленник, а кумой будет сестрица Алена Евстратьевна. Теперь Пятовы часто бывали у Брагиных и Брагины у Пятовых. Вообще все шло как по маслу, и только в общем довольстве не принимал никакого участия один Зотушка, который в самый момент примирения Гордея Евстратыча с Нилом Поликарпычем перебрался совсем из пятовского дома под крылышко Агнеи Герасимовны, где и проживал все время. Как ни старались залучить Зотушку, чтобы помирить с братцем Гордеем Евстратычем, — все было напрасно. Феня нарочно ездила к Колобовым, чтобы выпытать у Зотушки, почему он не хочет мириться, но ничего не могла добиться. Зотушка плакал от радости, когда видел свою барышню, но на все расспросы говорил самые непонятные слова: «Так уж лучше будет, моя барышня...», «Погоди, вот ужо соберусь...» и т. д.

— Ведь это грешно, наконец, Зотушка, — увещевала упрямого божьего человека Феня. — Бабушка Татьяна много слез из-за тебя пролила...

— Я сам, барышня Фенюшка, плачу обо всех, часто плачу... А бабушке Татьяне скажи от меня, что ее слезы еще впереди, большие слезы.

— Что ты, Зотушка, господь с тобой! какие ты слова говоришь?..

— А ты думаешь, мне легко их говорить? И тебе, барышня моя распрекрасная, тоже слезы будут... Да.

— Ну, уж я-то не заплачу, ты это напрасно говоришь...

— Вот и заплачешь, вместе с бабушкой Татьяной заплачешь... Покудова сестрица Алена Евстратьевна

будет гостить — Зотушка не придет. Так и бабушке Татьяне скажи, Феня.

— Ах, какой ты несговорный, Зотушка. Ну, стоит на тетку Алену сердиться? Ты знаешь, какая она, значит, и толковать о ней нечего...

— Знаю, все знаю, чего и вы не знаете. Да... А мне тебя жаль, Феня, касаточка, вот как жаль.

Зотушка действительно несколько раз начинал плакать и со слезами целовал белые ручки барышни Фенюшки.

— Вздор мелет! — сердито отрезала Татьяна Власьевна, когда Феня передавала ей свои разговоры с Зотушкой. — Это его Колобовы да Савины настраивают... Что ему скажут, он то и мелет.

Перед самым рождеством Зотушка жестоко закутил, и его оставили в покое.

Благодаря неутомимым хлопотам о. Крискента Гордей Евстратыч был, наконец, выбран церковным старостой. Когда Савины и Колобовы узнали об этом, они наотрез отказались ходить в единоверческую церковь и старались также смутить и Пазухиных. Такие проявления человеческой злобы сильно смущали о. Крискента, но он утешал себя мыслью, что поступал совершенно справедливо, радея не для себя, а для церковного благолепия.

— Савины и Колобовы не ко мне в церковь ходят, а к богу, — говорил о. Крискент со смирением. — Всуе мятутся легковернии...

Но Савины и Колобовы думали несколько иначе и даже послали на о. Крискента два доноса — один преосвященному, а другой в консисторию, находя выборы нового старосты неправильными. Узнав об этом, о. Крискент не только не смутился, но выказал большую твердость духа и полную готовность претерпеть в борьбе с разделительными силами, волновавшими теперь его словесное стадо.

А Гордей Евстратыч уже вступил в отправление своих старостинских обязанностей, и все прихожане не могли им нахвалиться. Первым его подвигом в новой обязанности было то, что он пожертвовал в новую церковь весь иконостас, то есть заказал его на свой счет, а

затем помогал везде, где только показывалась церковная нужда: сшил церковным каморникам новые кафтаны, купил новое паникадило, сделал новые праздничные ризы и т. д. Эти пожертвования на худой конец стоили тысяч пять, и все преклонялись пред благотворительностью нового тысячника Гордея Евстратыча. Истинным любителям церковного благолепия, какие встречаются только в единоверческих церквах, больше всего нравился сам Гордей Евстратыч, когда он стоял за старостинским прилавком в своем старостинском кафтане. Это был такой осанистый, красивый старик, точно на заказ. Все, что он делал, выходило у него так торжественно и благочестиво, что даже о. Крискент любовался из алтаря новым старостой, когда он с степенной важностью ставил свечи, откладывая широкие единоверческие кресты. Последняя бабенка, ставившая копеечную желтую свечку, и та чувствовала, что ее жертва точно будет приятнее богу, если пройдет через руки Гордея Евстратыча... И Нил Поликарпыч, конечно, был отличный староста, но у него был один, очень неприятный недостаток: Нил Поликарпыч, по своей рассеянности, часто забывал, кому заказаны были свечи, и ставил их наугад. Впрочем, при особенной ревности единоверцев ставить свечи пред образами, трудно было и не перемешать, когда, например, у старосты на руках зараз являлось свеч пятнадцать или двадцать. Но Гордей Евстратыч в этом случае обладал исключительно счастливой памятью и скоро совершенно затмил своего предшественника.

— Тебе и книги в руки, Гордей Евстратыч, — сознавался сам Пятов, когда они вечерком сидели в гостиной о. Крискента за стаканом чаю. — Экая у тебя память... А меня часто-таки браковали бабенки, особенно которая позубастее. Закажет Флору и Лавру, а я мученику Митрофану поставлю.

Вообще Гордей Евстратыч оказался как раз на своем месте и отнесся к своим новым обязанностям с особенною ревностью, так что удивлял даже о. Крискента.

Благодаря новому старосте праздничная служба на рождестве отличалась особенной торжественностью. Единоверческая церковь, низенькая и тесная, переде-

ланная из старинной раскольничьей молельни с полатями и перегородкой посредине, была вычищена до последнего уголка; множество свеч, новые ризы на священнике и дьяконе, наконец сам новый староста в своем форменном кафтане— все дышало благолепием. Вся брагинская семья была в церкви. Впереди других, у левого клироса стояла в белом кисейном платье Феня Пятова; она была необыкновенно хороша, как распустившаяся роза. Гордей Евстратыч часто поглядывал на нее и, когда ходил ставить свечи к местным образам, проходил мимо нее так близко, что задевал ее локтем. Девушка опускала глаза и едва заметно улыбалась; Гордей Евстратыч чувствовал эту тихую улыбку, которая мешала ему молиться, и даже сердился на Феню и других девок, которые выпятились вперед. Недаром прежде молельня была разделена глухой деревянной перегородкой на две половины, мужскую и женскую: соблазну никакого. Даже Татьяна Власьевна заметила, что Гордей Евстратыч молится как будто не совсем истово, и сделала ему строгий выговор.

Святки для Брагиных на этот раз прошли необыкновенно весело, хотя особенных гостей и не было, кроме Порфира Порфирыча, Шабалина, Липачка и Плинтусова. Молодежи набралось столько, что устраивали святочные игры, пели песни, гадали и т. д. Порфир Порфирыч оказался самым подходящим человеком, чтобы топить олово, ходить по улицам и спрашивать у встречных, как зовут жениха, играть в жмурки и вообще исполнять бесчисленные причуды развеселившейся молодежи. Феня и Нюша одевали Порфира Порфирыча в сарафан бабушки Татьяны и в ее праздничную сорочку и в таком виде возили его по всему Белоглинскому заводу, когда ездили наряженными по знакомым домам. Даже Нюша, и та заметно «отошла» и, кажется, начинала помаленьку забывать своего Алешку. Зотушка устраивал костюмы, но сам не участвовал в общем веселье, ссылаясь на головные боли и какое-то «трясение» после недавнего пьянства. Вообще веселье лилось через край, всяк куролесил в свою долю. Ариша была мастерица заводить песни, Феня — плясать и т. д. Старики больше любовались на молодежь, прохаживались по закускам

и калякали о своих собственных делах. Раз подгулявший Гордей Евстратыч сильно тряхнул стариной, то есть прошелся с Феней русскую.

— Только для тебя, Феня, и согрешил!.. — говорил расходившийся старик, вытирая вспотевшее лицо платком. — По крайности буду знать, в чем попу каяться в великом посте... А у меня еще есть до тебя большое слово, Феня.

— Какое слово?

— А уж такое... Давно собираюсь переговорить, да все как-то время не выбирается. Не оставляй ты, Феня, моей-то Нюши...

— Что вы, Гордей Евстратыч! Да разве я... мы душа в душу с Нюшей живем. Сами знаете.

— Все вы, девки, так-то душа в душу живете, а чуть подвернулся жених — и поминай как звали. Так и твое дело, Феня: того гляди выскочишь, а мы и остались с Нюшей — горюшкой.

— Я замуж не пойду...

— Ладно, ладно... У всех у вас одна вера-то!

Гордей Евстратыч дружелюбно похлопал Феню по плечу и подумал про себя: «Экая девка уродилась, подумаешь... а?»

Конечно, от бдительности Татьяны Власьевны и о. Крискента не ускользнуло особенное внимание, с каким Гордей Евстратыч относился к Фене. Они по-своему взглянули на дело. По мнению Татьяны Власьевны, все обстоятельства так складывались, что теперь можно было бы помириться с Савиными и Колобовыми — недоставало маленького толчка, каких-нибудь пустяков, из каких складываются большие дела в жизни. Именно, она с этой точки зрения и взглянула на отношения Гордея Евстратыча к Фене.

— Он-то ее даже очень уважает, — говорила бабушка Татьяна о. Крискенту, — вот я и думаю, ежели бы Феня замолвила словечко, может, Гордей-то Евстратыч и совсем бы стишал...

— Глас девственницы имеет великую силу над мужским полом, — глубокомысленно изрек о. Крискент. — Сему есть много даже исторических примеров...

— А уж как бы хорошо-то было... Сначала бы насчет Савиных да Колобовых, а потом и насчет Пазухиных. То есть я на тот конец говорю, отец Крискент, что Нюшу-то мне больно жаль, да и Алексея. Сказывают, парень-то сам не свой ходит... Может, Гордей-то Евстратыч и стишает.

Ободренные первым успехом борьбы с разделительной силой злого духа, когда они помирили Гордея Евстратыча с Пятовым, старики порешили теперь воспользоваться «гласом девственницы». Бабушка Татьяна сама переговорила с Феней, а та с жаром ухватилась за это предложение, только просила об одном, что сначала переговорит с Гордеем Евстратычем о Нюше, а потом уж о Савиных и Колобовых.

— Ну, как знаешь, милушка, — говорила бабушка Татьяна, крестя девушку...

— Так лучше будет... Гордей-то Евстратыч сам мне намекнул маленько, да я мимо ушей пропустила тогда.

Феня рассказала, как Гордей Евстратыч говорил ей, что у него для нее есть «великое слово» и в чем оно заключается.

Бабушка Татьяна не совсем поняла объяснения Фени.

— Да ты, бабушка, не сумлевайся: он *это* и хотел сказать. Я теперь только поняла... Все выйдет как по-писаному.

— Стара я стала, милушка, загадки-то разгадывать, а сдается мне, как будто оно и не совсем так...

— Нет, уж так, бабушка Татьяна.

Они вместе выбрали и время, когда переговорить Фене с Гордеем Евстратычем — за день до крещенского сочельника, когда у Пятовых будут приглашены гости на вечер.

Действительно, к Пятовым съехалось много гостей, и в том числе был и Гордей Евстратыч. Феня выждала, когда гости подкрепятся закуской и Гордей Евстратыч совсем развеселится. Он уже закидывал к ней две-три свои жесткие шуточки и весело разглаживал свою подстриженную бороду.

— А мне с вами, Гордей Евстратыч, поговорить надо... — заговорила Феня, улучив удобную минутку.

— Вот как... Что такое случилось?

Феня немного смутилась и, ощипывая платок, который держала в руках, вопросительно подняла свое лицо на Гордея Евстратыча. Это девичье лицо с ясными чистыми глазами было чудно хорошо теперь своим колеблющимся выражением: в нем точно переливалась какая-то сила. Гордей Евстратыч улыбнулся, и Фене показалось, что он нехорошо как-то улыбнулся... Но время было дорого, и, после минутного колебания, она проговорила:

— Здесь неловко разговаривать, Гордей Евстратыч. Я вас проведу в свою комнату.

До комнаты Фени было всего несколько шагов — перейти залу и гостиную. Хозяйка указала гостю на стул около туалета красного дерева, а сама поместилась по другую его сторону.

— Ну, в чем дело, Феня? — ласково спрашивал Гордей Евстратыч, мельком оглядывая закрытую пологом односпальную кровать.

— Помните, Гордей Евстратыч, как вы мне тогда сказали про великое слово о Нюше... Вот я хочу поговорить с вами о нем. Зачем вы ее губите, Гордей Евстратыч? Посмотрите, что из нее сталось в полгода: кукла какая-то, а не живой человек... Ежели еще так полгода пройдет, так, пожалуй, к весне и совсем она ноги протянет. Я это не к тому говорю, чтобы мне самой очень нравился Алексей... Я и раньше смеялась над Нюшей, ну, оно вышло вон как. Если он ей нравится, так...

— Так и отдать ее Алешке? — докончил Гордей Евстратыч и тихо так засмеялся. — Так вот зачем ты меня завела в свою горницу... Гм... Ежели бы это кто мне другой сказал, а не ты, так я... Ну, да что об этом говорить. Может, еще что на уме держишь, так уж говори разом, и я тебе разом ответ дам.

— А не рассердитесь на меня?

— Глядя по словам, какие говорить будешь... И муха не без сердца...

Феня посмотрела на своего собеседника. Лицо у него было такое доброе сегодня, хотя он смотрел на нее как-то странно... «Э, семь бед — один ответ!» — решила

про себя девушка и храбро докончила все, что у ней лежало на душе...

— Есть и еще, Гордей Евстратыч... — заговорила она уже смелее. — Помните, как вы ссорились с тятенькой? Ну, кому от этого легче было, — никому. А помирились — и всем праздник. Вот как святки-то отгуляли...

Феня весело засмеялась и даже тряхнула своей русой головой. Гордей Евстратыч тоже засмеялся и дрогнувшей рукой схватился за край резного туалета, точно смех Фени уколол его.

— Одним словом, я на вашем месте давно бы помирилась с Савиными и Колобовыми... Ей-богу!.. А то бог знает что у вас в семье делается; невесткам-то небось весело глядеть, как вы волками друг на дружку глядите, да и бабушке Татьяне тоже. Вы бы этак же и помирились, как с тятенькой... Лихо бы закутили!.. Уж если у вас самих язык не ворочается, так я сама бы все оборудовала: поехала бы к Савиным да к Колобовым и сказала, что вы сокрушаетесь очень, а самим приехать как-то неловко, а потом то же самое сказала бы вам... Ведь только бы и всего?.. Право... А то теперь те даже в церковь перестали ходить, отцу Крискенту делают неприятности... Ох, уж эти мужчины: чистые петухи...

— Как ты сказала?

— Чистые петухи, сказала. Тесно вам, подумаешь, в Белоглинском-то заводе.

Гордей Евстратыч сначала улыбался, а потом, опустив голову, крепко о чем-то задумался. Феня с замиравшим сердцем ждала, что он ей ответит, и со страхом смотрела на эту красивую старческой сановитой красотой голову. Поправив спустившиеся на глаза волосы, Гордей Евстратыч вздохнул как-то всей своей могучей грудью и, не глядя на Феню, заговорил таким тихим голосом, точно он сам боялся теперь своей собеседницы. В первую минуту Фене показалось, что это говорит совсем не Гордей Евстратыч, а кто другой.

— Хорошее ты мне слово сказала, Феня... от сердца сказала. Чувствую я это, даже очень чувствую... И сам об этом, может, не одну сотню раз подумал. Да...

Только вот ты-то как сказала мне, так я и вижу все, как на ладонке, что и где неладно... Эх, Феня, Феня!.. Сам вижу свои-то неполадки, ну, да оно уж одно к одному все пусть... Ты вот со стороны-то глядишь на нас, да и думаешь про себя: дескать, с жиру старики-то бесятся. Так. А ты разбери-ка... Оно совсем другая статья выходит. Оно, видишь ли, и раньше в семье-то у нас сучки да задоринки выходили, тоже взять хоть этих Савиных да Колобовых. Гордо они держали себя против нас, в том роде, как благодетели какие... Ну, я это переносил, никому ни слова. А как подвернулась эта самая жилка, оно все и выплыло наверх, как масло на воде. Видишь, куда оно погнуло-то... Да!.. Это тебе раз. Об Алешке Пазухине вторая статья подошла... Тут уж, напрямки сказать, золото нас разделило, хоть Алешка парень и подходящий бы, и семья ихняя тоже. Пожалел я Нюшу отдать за него, думал жениха лучше ей найти... Так ведь? Не выродок ведь Нюшка-то моя, не недоносок какой, да и одна дочка у родимого батюшки... А из этого вон оно што выросло-то: девка на глазах моих чахнет.

После короткой паузы Гордей Евстратыч провел по лбу рукой, точно стирая какую-то постороннюю мысль, которая мешала ему вполне ясно высказаться, а потом продолжал:

— Я тебе начистоту все скажу, Феня... За то тебе скажу, что душа у тебя добрая. Люблю... Да... Так вот обзатылил я Пазухиных, Зотушку прогнал от себя. Это уж моя вина: с сердца сорвалось у меня. После-то сам гляжу я на себя и дивлюсь: зачем я это родного брата из родительского дома выгнал... А тут родная дочь на глазах зачала сохнуть. Легко мне это, по-твоему? Своя-то кровь всегда скажется... она проймет... Разве я ослеп? Нет, голубушка, все видел я и все на сердце держал, да только поделать ничего не мог... Не раз и не два думал я помириться со всеми, как вот с твоим тятенькой помирился, так поди же ты — руки не подымались! Даже слов таких у меня точно не было на языке, чтобы на мировую пойти... А тут еще новые дружки да приятели, им надо тоже большое спасибо сказать. Зачал я закруживаться совсем, и все мне тя-

желее да тяжелее, потому старые-то дружки все отшатились, а новых не нажил. Ведь новые-то благоприятели к золоту нашему льнут — видим и это... Хорошо. Только и начал я думать, пошто, да как, да зачем. Жили беднее — было лучше в дому, а с богатством пошла какая-то разнота да сумятица. Может, слышала, как Михалко-то жену свою колотил? Вот оно куда пошло... вижу — дело дрянь, и чем дальше, тем оно хуже. С богатством-то соблазн везде, грех... Водкой я начал зашибать в хорошей компании и всякое прочее. Тебе, девушке, это не гоже все знать... Так, к слову пришлось... Ну, я и надумал наконец... то есть не сам даже надумал, а вроде как осенило меня. Уж старостой я был... Стою я за своим прилавком, продаю свечи, а сам в уме держу свои-то неполадки, как и што. Даже так горько мне стало... А тут я сразу все до корня постиг.

Гордей Евстратыч тяжело перевел дух и еще раз обвел глазами комнату Фени, точно отыскивая в ее обстановке необходимое подкрепление. Девушка больше не боялась этого гордого старика, который так просто и душевно рассказывал ей все, что лежало у него на душе. Ее молодому самолюбию льстило особенно то, что этакий человек, настоящий большой человек, точно советуется с ней, как с бабушкой Татьяной.

— Ну, так я сразу всю причину и нашел, — продолжал Гордей Евстратыч, соображая что-то про себя. — Я уж тебе все до конца доскажу...

— А я знаю, какая причина.

— Какая?

— Золото...

— Нет... Тут совсем особенная статья выходит: не хватает у нас в дому чего-то, от этого и все неполадки. Раньше-то я не замечал, а тут и заметил... Все, как шальные, бродим по дому и друг дружку не понимаем, да добрых людей смешим. У меня раз пружина в часах лопнула: пошуршала-пошуршала и стала, значит, конец всему делу... Так и у нас... Не догадываешься!

— Нет...

— Ну, так я попрямее тебе скажу: жены Гордею Евстратычу недостает!.. Кабы была у него молодая жена, все шло бы как по маслу... Я и невесту себе

присмотрел, только вот с тобой все хотел переговорить. Все сумлевался, может, думаю, стар для нее покажусь... А уж как она мне по сердцу пришлась!.. Эх, на руках бы ее носил... озолотил бы... В шелку да в бархате стал бы водить.

Феня инстинктивно поднялась с места; она совсем не ожидала такого оборота разговора и почуяла что-то недоброе. Гордей Евстратыч тоже поднялся. Лицо у него было бледное, а глаза так и горели.

— Феня, выходи за меня замуж... все будет потвоему... — глухо прошептал он, делая шаг к ней.

— Гордей Евстратыч... Господь с вами... опомнитесь.

— Я?.. Нет, поздно немножко... Феня, все для тебя сделаю... и помирюсь со всеми, и Нюшу за Алешку отдам, только выходи за меня... Люба ты мне, к самому сердцу пришлась...

— Гордей Евстратыч... в уме ли вы?..

— Ласточка моя, в уме... Ты всех нас спасешь, всех до единого, а то весь дом врозь расползется. Старик я... не люб тебе, да ведь молодость да красота до время, а сердце навек.

— Не пригоже мне, Гордей Евстратыч, такие ваши речи выслушивать...

Вместо ответа Брагин схватил девушку и поднял кверху, как перышко, а потом припал к ней своей большой седевшей головой, которая вся горела, как в огне.

— Я закричу... пустите... — шептала Феня, освобождаясь из давивших ее железных объятий. — Я сейчас все бабушке Татьяне расскажу... все...

Она рванулась к дверям, но Гордей Евстратыч, ухватившись за ее платье, на коленях пополз за ней. Лицо у него было даже страшно в настоящую минуту, столько в нем стояло безысходной муки, отчаяния и мольбы:

— Ради бога... Феня.. одну минуточку...

Девушка в нерешительности остановилась, хотя у самой глаза были полны слез: она еще чувствовала на себе прикосновение его головы.

— Феня... пожалей старика, который ползает перед тобой на коленях... — молил Гордей Евстратыч страстным задыхавшимся шепотом, хватая себя за горло,

точно его что душило. — Погоди... не говори никому ни слова... Не хотел тебя обижать, Феня... прости старика!

Эта патетическая сцена была прервана шагами в соседней комнате: Алена Евстратьевна отыскивала хозяйку по всем комнатам. На правах женщины она прямо вошла в комнату Фени и застала как раз тот момент, когда Гордей Евстратыч поднимался с полу. Феня закрыла лицо руками и горько заплакала.

— Что с тобой, Феня? — с участием спрашивала Алена Евстратьевна, делая вид, что ничего не заметила.

— Ах, оставьте меня... все оставьте... — шептала девушка, глухо рыдая.

Между братом и сестрой произошла выразительная немая сцена: Гордей Евстратыч стоял с опущенной головой, а модница улыбалась двусмысленной улыбкой: дескать, что уши-то развесил, разве не видишь, что девка ломается просто для порядку.

— Не надо было больно круто наступать-то на нее для первого разу... — выговаривала Алена Евстратьевна, когда Феня убежала от них. — Этак все дело можно извести!

Гордей Евстратыч вместо ответа только бессильно махнул рукой: руки и ноги у него дрожали, а в голове точно работала целая кузница, — так стучала в жилах расходившаяся стариковская кровь.

XVI

«Глас девственницы» привел к такому результату, какого ни о. Крискент, ни Татьяна Власьевна совсем уж не ожидали. Они только теперь сообразили всю нелепость своего предприятия, а также и то, что все это могли и даже должны были предвидеть.

— Нет, я-то как затмилась... — с тоской повторяла про себя Татьяна Власьевна, когда Феня рассказала ей все начисто, ничего не утаив. — Где у меня глаза-то раньше были? И хоть бы даже раз подумала про Гордея Евстратыча, чтобы он отколол такую штуку... Вот тебе

и стишал!.. Он вон какие узоры придумал... Ах, грехи, грехи!.. У самого внучки давно, а он — жениться...

По лицу «мамыньки» Гордей Евстратыч видел, что ей известно решительно все, и даже потемнел от злости. Так он ходил дня три, а потом взял да и угнал с золотом в город. Между ним и бабушкой Татьяной не было сказано ни единого слова, точно их разделила раздавшаяся под ногами пропасть. С неожиданно налетевшего горя Татьяна Власьевна слегла в постель и крепко разнемоглась; крепка была старуха, точно сколоченная, а тут не выдержала. Она походила теперь на контуженного человека, который сгоряча не может хорошенько сообразить настоящую величину разразившейся грозы. Лечилась она, конечно, своими домашними средствами и слышать не хотела о докторе. На сцену появились разные мази, настои на травах, коренья, святая крещенская вода и т. д. Из домашних больная позволяла ухаживать за собой только одной Нюше; у невесток своей работы было довольно, а модницу Алену Евстратьевну старуха даже на глаза не пускала.

— Что это бабушка так огорчилась? — соображала про себя Нюша; она была не прочь иметь такую мачеху, как Феня.

Феня была в брагинском доме всего только раз, когда все рассказала Татьяне Власьевне, и больше не показывалась: ей было стыдно и Нюши и невесток, точно она сама была виновата во всем. Зато Алена Евстратьевна не дремала, а повела правильную осаду по всем правилам искусства настоящих записных свах. Она редкий день пропускала, чтобы не побывать у Пятовых. Приедет и рассядется с своими бесконечными разговорами. Глядя на нее, Феня часто удивлялась, какие на свете «бесстыжие» люди бывают, а модница точно не замечала внушаемого своей особой отвращения и разливалась река-рекой. Сначала она вела все посторонние речи, ни одним словом не обмолвившись о случившемся, потом принялась вздыхать и жалеть огорченную девушку, которую так напугал братец.

— Велика беда... — говорила модница в утешение Фене. — Ведь ты не связана! Силком тебя никто не выдает... Братец тогда навеселе были, ну и ты тоже завела

его к себе в спальню с разговорами, а братец хоть и старик, а еще за молодого ответит. Вон в нем как кровь-то заходила... Молодому-то еще далеко до него!.. Эти мужчины пребедовые, им только чуточку позволь... Они всегда нашей женской слабостью пользуются. Ну, о чем же ты кручинишься-то? Было да сплыло, и весь сказ...

— Совестно, Алена Евстратьевна... Зачем он тогда схватил меня на руки?.. Разве я какая-нибудь, чтобы так меня обижать...

— Ах, какая ты, Феня, непонятная... Братец совсем ума решились, а ты: «зачем схватил»... Может, он руки на себя теперь готов наложить. Тоже ведь не деревянный. А вот я тебе лучше расскажу про нашего верхотурского купца Чуктонова. Это недавно было. Видишь, был этот Чуктонов один сын у отца, богатый, молодой, красавец. Хорошо. А в Верхотурье жил один чиновник Коробкин, а у Коробкина была дочь Наталья. Одна всего дочь, как зеница в глазу. Только к этой Наташе и присватывался один богатый старик, то есть он еще не старик, человек еще в поре, ну, а в годках. Хорошо. Известно, девичье дело, Наташа даже и обиделась, как это он посмел такие мысли к ней иметь, а отец-то Коробкин даже неприятность сделал старику. Так это дело и рассохлось, а к Наташе присватался Чуктонов, она за него и выскочила. Глупый девичий разум: радуется Наташа, что нашла мужа молодого, да красивого, да развертного. Только радость-то больно недолгая была... Наша бабья красота короче воробьиного носа: на первом же ребенке Чуктонов-то и разлюбил жену. Ну, обыкновенно, детки не красят матери. Сначала-то по любви все было, а потом пошло уж другое. Муж на других молодых стал заглядывать, а жена его ревновать. И пошло, и пошло... Мало-за-мало начал Чуктонов жену колотить, да еще любовницу себе завел. Из синяков бабенка не выходит, а муж гуляет да ее же тиранит. И как он ее тиранил — истинно страсти господни!.. Возьмет, разденет донага, привяжет назади руки к ногам, а сам нагайкой ее и полосует, пока руку не вымахает... А то заложит лошадь, привяжет жену к оглобле, да на паре по всему городу и катается. Так до самой

до смерти ее затиранил... А другая-то девушка, которая вышла за старика, живет себе да как сыр в масле катается.

— Не все же такие, Алена Евстратьевна, как этот ваш Чуктонов, — возражала Феня. — Это какой-то зверь, а не человек.

— Я и не говорю, что все такие, а только к слову пришлось: всякие бывают и молодые мужья... А муж постарше совсем уж другое: он уж не надышится на жену, на руках ее носит. Оно и спокойнее, и куда лучше, хоть ты как поверни. Вон мамынька тоже за старого мужа выходила, а разве хуже других прожила? Прежде совсем не спрашивали девок, за кого замуж отдают, да жили не хуже нашего-то...

Все эти доводы и увещания были слишком избиты, чтобы убедить кого-нибудь, и Алена Евстратьевна переходила в другой тон: она начинала расхваливать братца Гордея Евстратыча, как только умела, а потом разливалась в жалобах на неполадки в брагинском дому — как рассорились снохи из-за подарков Гордея Евстратыча, как балуются ребята на прииске, хотя Татьяна Власьевна и стоит за них горой; как сохнет и тает Нюша; как все отступились от брагинской семьи. В общем модница повторяла то же, что высказал Гордей Евстратыч, но она умела все это расцветить своей специально бабьей логикой и в этой форме сделала доступным неопытному уму Фени. Мало-помалу, против собственной воли, и девушка стала вникать в смысл этих предательских слов, и ей все дело начало казаться совсем в ином свете, а главное, Гордей Евстратыч являлся совсем не тем, чем она его представляла себе раньше. Это был еще полный сил и энергии старик, который желал спасти семью от грозившего ей разрушения и помощницей себе выбрал ее, Феню. Такой брак был почти богоугодным делом, потому что от него зависела участь и счастье стольких людей. Феня душой любила всю брагинскую семью; сердце у ней было действительно доброе, хорошее, жаждавшее привязанности, а теперь ей представлялась такая возможность осчастливить десятки людей. Алена Евстратьевна слишком хорошо поняла Феню и именно с этой слабой стороны вела свою атаку после-

довательно и неутомимо, как какой-нибудь стратег, осаждающий неприступную крепость. Как Феня ни крепилась, но заметно поддавалась на «прелестные речи» своего неотступного искусителя и даже плакала по ночам от сознания своего бессилия и неопытности. Ей не с кем было посоветоваться, кругом были все чужие люди, а бабушки Татьяны она как-то начинала бояться. Эта внутренняя работа смущалась особенно тем фактом, что в среде знакомых было несколько таких неравных браков, и никто не находил в этом чего-нибудь нехорошего: про специально раскольничий мир, державшийся старозаветных уставов, и говорить нечего — там сплошь и рядом шестнадцатилетние девушки выходили за шестидесятилетних стариков.

— Бабушка Татьяна мне прямо тогда сказала, что она меня не благословляет... — пускала Феня в ход свой последний, самый сильный аргумент. — А я против ее воли не могу идти, потому что считаю бабушку Татьяну второй матерью. Она худу не научит, Алена Евстратьевна. Недаром она вон как разнемоглась с горя... Нет, нет, и не говорите лучше. Я и слышать ничего не хочу!

— Видишь, Феня, о бабушке Татьяне своя речь... Бабушке-то Татьяне на восьмой десяток перевалило, вот она и судит обо всех по-своему. Конечно, ей настоящую сноху в дом не расчет пускать. Она теперь в дому-то сама большая — сама маленькая, — как хочет, так всеми и поворачивает. Внучатные-то снохи пикнуть не смеют, а женись Гордей Евстратыч, тогда другие бы порядки пошли... Уж это верно!.. Старуха просто боится, а ты ее слушаешь. Спроси-ка у снох да у Нюши, желают они тебя мачехой своей величать? То-то вот и есть!.. Совсем другой разговор выходит. То же и про ребят скажу, про Михалка да про Архипа... Да чего лучше, спроси их сама.

— С чего это вы взяли, Алена Евстратьевна, что я стану спрашивать их о таких глупостях? — обижалась Феня.

— В том-то и дело, что не глупости, Феня... Ты теперь только то посуди, что в брагинском доме в этот год делалось, а потом-то что будет? Дальше-то и

подумать страшно... Легко тебе будет смотреть, как брагинская семья будет делиться: старики врозь, сыновья врозь, снохи врозь. Нюшу столкают с рук за первого прощелыгу. Не они первые, не они последние. Думаешь, даром Гордей-то Евстратыч за тобой на коленях ползал да слезами обливался? Я ведь все видела тогда... Не бери на свою душу греха!..

— Почему же непременно я, а не другая? Разве мало стало невест Гордею Евстратычу по другим заводам или в городу... Он теперь богатый, любая с радостью пойдет.

— Вот и проговорилась... Любая пойдет да еще с радостью, а Гордей Евстратыч никого не возьмет, потому что все эти любые-то на его золото будут льститься. А тебя-то он сызмальства знает, знает, что не за золото замуж будешь выходить... Добрая, говорит, Феня-то, как ангел, ей-богу...

В самый разгар этих переговоров приехал из города сам Гордей Евстратыч и круто повернул все дело. По совету Алены Евстратьевны он прежде всего завербовал на свою сторону податливого о. Крискента. Как он его обошел — трудно сказать, но только в одно прекрасное утро о. Крискент заявился в пятовский дом, когда не было самого Нила Поликарпыча, и повел душеспасительную речь о значении и святости брака вообще, как таинства, потом о браке, как неизбежной форме нескверного гражданского жития, и, наконец, о браке, как христианском подвиге, в котором человек меньше всего должен думать о себе, а только о своем ближнем. Против этого противника Феня защищалась еще слабее, чем против Алены Евстратьевны, потому что о. Крискент не такой был человек, чтобы болтать зря. Притом та «божественная форма», в которую он облекал свою беседу, уснащая ее текстами священного писания и примером из жития святых, совершенно обезоруживала Феню, так что она могла только плакать украдкой. Девушка получила религиозное воспитание, — увещание о. Крискента производило на нее подавляющее впечатление.

— Необходимо присовокупить еще следующее, — говорил о. Крискент, расстегивая и застегивая пуговицы своего подрясника. — Кто есть истинный раб Христов?

Неусумнительно тот, который несет крест... Все мы должны нести крест. А твой крест, дитя мое, заключается в том, чтобы спасти не только целую семью, но еще через сокровища своего будущего супруга преизбыточно делать добрые дела многим другим людям... Может быть, через тебя возрадуются десятки сирых, вдовиц и убогих. Умягчая сердце своего супруга, ты научишь его благодетельному расточению сокровищ... Это будет христианский подвиг, и он тебе зачтется там, на небеси, где — ни старых, ни молодых, ни богатых, ни убогих. Молодость быстротечна, как вся жизнь, нужно заботиться о будущем, прозирать в загробную жизнь.

— Батюшка, я боюсь... — откровенно признавалась Феня со слезами на глазах.

— Хороших дел не нужно бояться... Ты смотришь на брак с земными мыслями, забывая, что в этом мире мы временные гости, как путники в придорожной гостинице.

— А бабушка Татьяна, отец Крискент? Она меня проклянет...

— Татьяна Власьевна, конечно, весьма благомысленная и благоугодная женщина, но она все-таки человек, и каждый человек в состоянии заблуждаться, особенно когда дело слишком близко затрогивает нас... Она смотрит земными очами, как человек, который не думает о завтрашнем дне. Старушка уже в преклонном возрасте, не сегодня-завтра призовется к суду божию, тогда что будет? С своей стороны, я не осуждаю ее нисколько, даже согласен с ней, но нужно прозирать в самую глубину вещей.

Эти переговоры настолько утомили и расстроили Феню, что она побледнела и ходила с опухшими глазами от слез. В ее голове все мысли путались, как спущенные с клубка нитки; бессонные ночи и слезы привели ее в такое состояние, что она готова была согласиться на все, только оставили бы ее в покое. Даже Зотушки около нее не было; он пьянствовал опять, справляя «предпразднество», как перед рождеством справлял «предпразднество». Нил Поликарпыч точно не замечал ничего и появлялся в доме только к обеду и ужину; у него всегда было много дела и хлопот по

заводу, чтобы еще замечать, что делается дома; притом он постоянно лечился и составлял какие-то мази и декокты. Да и вообще отцы, как обманутые мужья, последними замечают то, что уже видят все другие люди. Около Фени не было любящей женской руки, которая разделила бы с ней ее тревоги и огорчения. Если бы была жива мать Фени, тогда, конечно, совсем другое дело; но Феня выросла сиротой и никогда так не чувствовала своего сиротства, как именно теперь, когда решала такой важный шаг.

Когда, таким образом, Феня оказалась достаточно подготовленной, Алена Евстратьевна приказала братцу Гордею Евстратычу объясниться с ней самому. Девушка ждала этого визита и со страхом думала о том, что она скажет Гордею Евстратычу. Он пришел к ней бледный, но спокойный и важный, как всегда. Извинившись за старое, он повел степенную и обстоятельную речь, хотя к сказанному уже Аленой Евстратьевной и о. Крискентом трудно было прибавить что-нибудь новое.

— Все для тебя сделаю, Феня, — повторял он несколько раз с особенной настойчивостью, — а без тебя пропасть мне только... Уж я знаю!.. Ты, может, думаешь, что вот, мол, у старика глаза разгорелись на твою молодость да на твою красу, — ведь думаешь? А разве бы я не нашел, окромя тебя, ежели бы захотел?.. Ты вот это и рассуди... А без тебя мне капут, как бог свят. Потому какая жисть наша, ежели разобрать: пьянство, безобразие... В том роде, как у Вукола Шабалина. Разве это порядок? Лучше уж разом покончить с собой, чем этак-то наматывать на шею смертные грехи...

Феня слушала его с опущенными глазами, строгая и бледная, как мученица. Только ее соболиные брови вздрагивали да высоко поднималась белая лебяжья грудь. Гордей Евстратыч не видал ее краше и теперь впивался глазами в каждое движение, отдававшееся в нем режущей болью. Она владела всеми его чувствами, и в этой крепкой железной натуре ходенем ходила разгоравшаяся страсть.

— Может, ты сумлеваешься насчет тятеньки? — спрашивал Гордей Евстратыч, стараясь по-своему объ-

яснить раздумье Фени. — Так он не пойдет супротив нас... Мы с ним старинные друзья-приятели... Эх, Феня, Феня!.. За одно твое словечко, всего за одно, да я бы, кажется, весь Белоглинский завод вверх ногами повернул... Ей-богу... Птичьего молока добуду, только скажи... а?.. А уж как бы я тебя баловал да миловал... Э-эх!..

— Гордей Евстратыч, ради бога, повремените немного... Дайте мне с мыслями собраться, а то я ровно ничего не понимаю...

— Значит, можно надеяться? Да?.. Скажи-ка, Феня, как это ты выразила-то?

— Нет... я ничего... — испуганно залепетала девушка. — Я сказала только, что дайте мне с мыслями собраться...

— Ну, ну... Вот это самое!.. Ах ты, касаточка... голубушка!.. А я тебе гостинца из города на всякий случай захватил. Это за старое должок...

Брагин подал закрытую коробку, но Феня обеими руками отодвинула ее от себя, точно этот подарок мог обжечь ее.

— Да ты посмотри... а?.. А то сейчас за окошко выкину: никому не доставайся!.. Для тебя припасено, — тебе и владеть.

Чтобы вывести девушку из затруднения, Брагин сам раскрыл коробку: внутри на бархатной подушечке жарко горели три изумруда, точно бобы, осыпанные настоящими брильянтами. Это был целый прибор из броши и серег. Подарок, однако, не произвел надлежащего действия, а только заставил Феню покраснеть, точно эта коробка была отнята для нее у кого-то другого.

— Дайте подумать, Гордей Евстратыч... — шептала она, не имея сил сопротивляться.

— Ну, думай, думай... Только по-хорошему думай! Да вот этот гостинец для начала прими, — с ним легче, может, будет думать-то...

— Напрасно вы, Гордей Евстратыч, беспокоились...

— Напрасно?..

Брагин порывисто схватил коробку с гостинцем и побежал к форточке.

— Гордей Евстратыч... постойте!.. — остановила его Феня, когда он занес уже руку, чтобы выкинуть гостинец на улицу.

Татьяна Власьевна все еще была больна. По лицу модницы она замечала, что опять что-то затевается, но что — она не знала хорошенько. Нюша находилась неотлучно при больной и тоже не могла ничего знать; невестки отмалчивались, хотя, вероятно, и слышали что-нибудь из пятого в десятое. Ариша знала больше всех, но молчала про себя; в душе она желала, чтобы Гордей Евстратыч женился на Фене, потому что она как-то инстинктивно начинала бояться свекра, особенно когда он так ласково смотрел на нее. Она хорошо помнила, как он обнял и поцеловал ее перед своим отъездом в ярмарку.

— Что это Феня-то не идет проведать? — несколько раз спрашивала Татьяна Власьевна. — Тоже и отец Крискент глаз не кажет... Совсем забыли старуху!

— У Фени, бабушка, горло болит... — лгала Нюша, чтобы успокоить больную, которая делала вид, что верит этому...

— Долго ли простудиться?.. Ох-хо-хо...

Однажды под вечер, когда Татьяна Власьевна в постели пила чай, а Нюша сидела около нее на низенькой скамеечке, в комнату вошел Гордей Евстратыч. Взглянув на лицо сына, старуха выпустила из рук блюдечко и облилась горячим чаем; она почувствовала разом, что «милушка» не с добром к ней пришел. И вид у него был какой-то такой совсем особенный... Во время болезни Гордей Евстратыч заходил проведать больную мать раза два, и то на минуту. Нюша догадалась, что она здесь лишняя, и вышла.

— Ну, как, мамынька, твое здоровье? — спросил неровным голосом Гордей Евстратыч, перебирая пальцами борт своего сюртука.

— Не можется все, милушка... залежалась я что-то.

— Вставать надо, мамынька...

Пауза. И сыну и матери одинаково тяжело; они стараются не смотреть друг на друга.

— Мамынька, я пришел к тебе за благословеньем: жениться хочу... — с искусственной твердостью проговорил Гордей Евстратыч.

Эта фраза точно ужалила больную. Она поднялась с подушки и быстро села на постели: от этого движения платок на голове сбился в сторону и жидкие седые волосы рассыпались по плечам. Татьяна Власьевна была просто страшна в эту минуту: искаженное морщинистое лицо все тряслось, глаза блуждали, губы перекосились.

— Как... ты сказал, Гордей?

— Жениться хочу, мамынька...

— В добрый час... На ком же это, милушка?

— На Фене...

Старуха глухо застонала и упала в подушки; с ней сделалось дурно, и глаза закрылись, как у мертвой.

— Мамынька...

— Милушка... нельзя... не могу...

— Мамынька, все уж дело слажено... Мы с Нилом Поликарпычем и по рукам ударили.

— Не мм... нет тебе моего благословения... не мм...

— Я пошлю отца Крискента к тебе. Пусть он с тобой поговорит...

— Зачем отца Крискента?

— Так... Ведь он уговаривал Феню, — ну, и тебя уговорит. Я не таюсь ни от кого, мамынька...

— Так ты вот как, милушка... не спросясь матери... Нет, это не ты придумал... нет... это та... змея подколодная устроила... Алена всех смутила... и отца Крискента она же подвела, змея...

— Это уж все равно, мамынька... Дело сделано. Я насчет твоего благословенья пришел...

— Не могу...

Гордей Евстратыч замолчал, подавляя душившую его злобу. Он боялся наговорить лишнего, надеясь уломать старуху более мирным путем. Начинать свадьбу ссорой с матерью все-таки было неудобно...

— Как знаешь, мамынька... — проговорил он, едва сдерживаясь. — Только ведь мы и так обвенчаемся, ежели ты будешь препятствовать. Так и знай... Я к тебе еще зайду.

— И на глаза лучше не показывайся...

Когда Нюша вошла в комнату, она даже вскрикнула от страха: Татьяна Власьевна лежала, как пласт, и только страшно горевшие глаза говорили о тех страшных муках, какие она переживала.

— Бабушка!.. Господи, что же это такое? — заплакала девушка, бросаясь к постели. — Бабушка... милая...

— Нюша... о! змея, змея, змея...

— Бабушка... Христос с тобой!

— Тетка Алена змея... Нюша, голубушка... сейчас же беги к Пятовым... и чтобы непременно Феня была здесь... Слышишь?.. Да чтобы сейчас же... а если... если... она не захочет... я сама к ней приползу... Слышишь?.. Нюша, ради Христа, скорее!.. Ох, Аленка, змея подколодная!.. Нюша, скорее... в чем есть, в том и беги...

Накинув свою заячью шубейку, Нюша пешком побежала в пятовский дом. Через полчаса она вернулась вместе с Феней, которая шла за ней, пошатываясь, как после тяжелой болезни.

— Ну, теперь ты оставь нас одних, — проговорила Татьяна Власьевна Нюше, когда девушки вошли в ее комнату. — Феня, голубка моя, садись вот сюда... ближе... Плохо слышу... ох, смерть моя...

Девушка опустилась на низенькую деревянную скамеечку-подножку, на которой обыкновенно сидела Нюша, и, закрыв лицо руками, тихо плакала.

— Рассказывай все... все, как было... — глухо шептала Татьяна Власьевна, делая усилие подняться на своей подушке и опять падая на нее. — Нет... не надо... я знаю все... змея Аленка... она, она, она... Ох, господи Исусе Христе! Феня, голубка, лучше я... сама тебе все расскажу... все... как на духу...

Не утаивая ничего, с рыданиями, бабушка Татьяна рассказала Фене про свой страшный грех с дедушкой Поликарпом Семенычем, а также и про Зотушку, который приходится Фене родным дядей.

— Мой грех, мой ответ... — хрипела Татьяна Власьевна, страшная в своем отчаянии. — Всю жисть его не могу замолить... нет спокою моей душеньке нигде... Уж лучше мне одной в аду мучиться, а ты-то не губи себя...

Феня, голубка, прости меня многогрешную... Нет, пред образом мне поклянись... пред образом... затепли свечку... а то собьют тебя... Аленка собьет с пути... она и отца Крискента сбила и всех...

Через минуту перед старинным образом нерукотворного Спаса теплилась свеча, и Феня тряслась всем телом и повторяла за бабушкой Татьяной слова клятвы, что никогда, даже после смерти рабы божией Татьяны, она, девица Федосья, не выйдет за раба божия Гордея.

XVII

Отказ Фени привел Гордея Евстратыча в настоящее бешенство. Хотя девушка ничего не высказала, что могло бы бросить тень на Татьяну Власьевну, но Гордей Евстратыч был убежден, что это именно мать расстроила все дело. Он несколько раз наступал на Татьяну Власьевну с угрозами и проклятьями, но старуха покорно отмалчивалась; убитый Гордей Евстратыч иногда принимался умолять ее на коленях, со слезами на глазах, но старуха оставалась попрежнему непреклонна. Раз, вернувшись пьяный от Шабалина, он бросился на мать с кулаками, и только Нюша спасла бабушку от дикого насилия. Произошла страшная сцена, заставившая оцепенеть весь дом. Татьяна Власьевна, собственно, не должна была бы вынести всех этих испытаний, которые валились на ее седую голову одно за другим, но она, наперекор всему, быстро начала поправляться, точно в это семидесятилетнее дряхлое тело была вдохнута новая жизнь и сила, которая живила и укрепляла его; наоборот, Феня слегла в постель и разнемогалась с каждым днем все сильнее. Когда бабушка, наконец, встала с постели, — это был совсем другой человек, в котором нельзя было узнать прежней Татьяны Власьевны. Гордей Евстратыч успел в это время немного опомниться и пришел к матери с повинной.

— Прости, мамынька... — умолял он, валяясь у старухи в ногах.

— Бог тебя простит, а я еще подумаю, — отвечала Татьяна Власьевна. — Ты меня хотел убить, Гордей

Евстратыч, да господь не допустил тебя. Знаю, кто тебя наущал... все знаю. И вот мой сказ тебе: чтобы Алены Евстратьевны и духу не было и чтобы напредки она носу сюда не смела показывать...

— Мамынька, как же я буду выгонять сестрицу?..

— Умел принимать, умей и выгнать... Не велико кушанье!.. А ежели не выгонишь, сию же минуту уйду из дому и прокляну вас обоих... По миру пойду на старости лет!

Вся высохшая, с побелевшим восковым лицом и страшно горевшими глазами, Татьяна Власьевна походила на одну из тех подвижниц, каких рисуют на старинных образах. Прежней мягкости и податливости в ней не было больше и следа; она смотрела гордой и неприступной. И раньше редко улыбавшиеся губы теперь сложились сурово, как у схимницы; это высохшее и изможденное лицо потеряло способность улыбаться. Даже Нюша, и та боялась грозной старухи.

— Я всех вас распустила... везде непорядки... — говорила Татьяна Власьевна сыну. — А теперь будет не так, Гордей Евстратыч...

— Мамынька, да ведь я хозяин дому, — возражал иногда Гордей Евстратыч.

— Какой ты хозяин!.. Брата выгнал и меня хотел пустить по миру... Нет, Гордей Евстратыч, хозяйка здесь я. Ты налаживай свой дом, да в нем и хозяйничай, а этот дом батюшкин... И отцу Крискенту закажи, чтобы он тоже не ходил к нам. Вы с ним меня живую бы закопали в землю... Дескать, пущай только старуха умрет, тогда мы все по-своему повернем.

Обиженная и огорченная Алена Евстратьевна принуждена была на скорую руку сложить свои модные наряды в чемоданы и отправиться в Верхотурье, обозвав братца на прощанье дураком. Старуха не хотела даже проститься с ней. Отец Крискент проникновенно понял то, что Гордей Евстратыч боялся высказать ему прямо, и, с своей обычной прозорливостью, сам не заглядывал больше в брагинский дом.

Зотушка опять вернулся к Пятовым: как только Феня слегла, так он и заявился, бледный, худой, с трясущимися руками, но с таким же кротким и любящим

сердцем и почти женской мягкостью в характере. Теперь Феня была рада ему вдвойне: это был не чужой человек, хотя Зотушка и сам этого не подозревал. Болезнь девушки, сначала неопределенного характера, вдруг резко перешла в нервную горячку: молодая натура не выдержала всех испытаний и теперь жестоко боролась с тяжелым недугом. Зотушка ходил за больной, как сиделка, и больная инстинктивно искала его руки, когда нужно было переменить место на подушке или приподнять голову; никто не умел так угодить ей, как Зотушка. Она из его рук принимала и лекарство, которое прописывал привезенный из города доктор.

«Замучили девку, замучили...» — думал Зотушка, когда сидел длинную зимнюю ночь в комнате Фени, где теперь все было пропитано запахом лекарств.

Больная не могла лежать спокойно и часто металась, придавленная нестерпимым гнетом. В горячечном бреду она все умаливала кого-то погодить, потом начинала громко молиться и повторяла обрывки произнесенной клятвы. Эта пестрая путаница недавних впечатлений проходила чрез ее воспаленный мозг с мучительной болью, заставляя с новой силой пережить тысячи раз все вынесенные испытания. Мысль работала с лихорадочной торопливостью; призраки и фантастические представления нарастали, переплетались и заканчивались страшными галлюцинациями. Главным образом девушка страдала от неотступного преследования трех людей, являвшихся ей в тысяче всевозможных превращений, — это были Гордей Евстратыч, бабушка Татьяна и дедушка Поликарп Семеныч. Они не отходили от Фениной кровати и мучили ее своим постоянным присутствием, как тяжелый кошмар. Старая, старая, страшная бабушка Татьяна особенно пугала больную. Феня даже вскрикивала каждый раз, когда грозный призрак наклонялся к ней и холодными костлявыми руками чего-то искал в ее мозгу... «Бабушка, оставь меня!» — кричала больная, открывая глаза; но перед ней вместо бабушки стоял уже Гордей Евстратыч — весь золотой — с золотым лицом, с золотыми руками, с сверкавшими золотыми глазами. Он даже дышал какой-то золотой пылью, которая наполняла всю комнату и от которой

Феня начинала задыхаться. Это золото жгло ее, давило, а Гордей Евстратыч ползал около кровати и плакал золотыми слезами. Больная видела себя уже женой этого золотого Гордея Евстратыча и сама постепенно превращалась тоже в золотую; и руки и ноги у ней были настоящие золотые и такие тяжелые, что она не могла ими пошевелить. Налитые золотом веки не поднимались; даже мысли в голове были золотые и шевелились в мозгу золотыми цепочками, кольцами, браслетами и серьгами — все это звенело и переливалось, как живая чешуя. Опять крик, опять новые грезы; но теперь бабушка Татьяна и Гордей Евстратыч сменялись худеньким дедушкой Поликарпом Семенычем, который все искал Зотушку; а Феня прятала его то у себя под подушкой, то в коробке с гостинцем Гордея Евстратыча.

Иногда к этим, вполне определенным впечатлениям, прибавлялось что-то новое, неясное и смутное, расплывавшееся, как туман; но Феня чувствовала присутствие этого неопределенного, потому что оно заставляло ее дрожать в лихорадке. Испытываемое ею ощущение можно сравнить с тем, какое переживает человек ночью в глухом лесу, когда знает, что опасность в двух шагах, но не может ее разглядеть. Сухие губы бабушки Татьяны в этих случаях шептали: «Феня, голубушка! змея, змея, вон она!» И бабушка Татьяна дрожала и протягивала руки вперед, точно хотела защищаться от настоящей живой змеи, которая вот-вот живой петлей захлеснет ее. Это была Алена Евстратьевна, которую больная не видала, но слышала ее походку и вкрадчивый голос.

— Зотушка... мне страшно... — шептала Феня, хватаясь за руку Зотушки. — Говори что-нибудь... спой. Ты никого не видишь?

— Нет, касаточка, никого не вижу... Христос с нами, ласточка...

— Ты не оставляй меня одну... Золото... везде золото...

Феня страстно прислушивалась к звукам Зотушкина голоса, стараясь на них сосредоточить все свое внимание и тем вырвать себя из фантастической области, где блуждала ее больная мысль. Она точно хваталась за

стих Зотушки, чтобы не унестись опять в безбрежное море своих галлюцинаций. Но действительность переплеталась с грезами, и ее уносила темная волна вперед, в темную бездну, где ее снова окружали ее мучители. Прислушиваясь к бреду больной, Зотушка многого не понимал, особенно когда Феня начинала заговариваться о бабушке Татьяне и Поликарпе Семеныче. Какую связь имел этот Поликарп Семеныч со всем случившимся — для Зотушки оставалось загадкой. Только раз, когда Феня особенно сильно металась и бредила, все дело разъяснилось: больная выболтала все, что сама знала о страшном грехе бабушки Татьяны и о самом Зотушке, называя его своим дядей. От этих речей Зотушку прошиб холодный пот, и пред его глазами запрыгала целая дюжина проворных бесенят, безобразно задиравших мышиные хвосты. Когда больная очнулась от своего забытья, она по лицу Зотушки угадала, что он знает тайну бабушки Татьяны; она закрыла глаза от охватившего ее ужаса.

— Что с тобой, касаточка? — спрашивал Зотушка.

— Что?.. Ты слышал?

— Слышал...

— Ну... так это правда... Все равно, я умру, Зотушка... по крайней мере не на чужих руках...

— Христос с нами, ласточка... Зачем помирать, еще поживем в свою долю.

— Нет, нет... я знаю... Зотушка, я не виновата.

Зотушка наклонился к руке Фени, и на эту горячую руку посыпались из его глаз крупные слезы... Вот почему он так любил эту барышню Феню и она тоже любила его!.. Вот почему он сердцем слышал сгущавшуюся над ее головой грозу, когда говорил, что ей вместе с бабушкой Татьяной будут большие слезы... А Феню точно облегчило невольно сделанное признание. Она дольше обыкновенного осталась в сознании и ласкала своего дядю, как ушибившегося ребенка.

— А где Нюша? Что она не придет ко мне? — спрашивала больная.

— Она заходила не один раз, да ты-то все не узнавала ее...

— И бабушка Татьяна была?

— И бабушка была...

— Зотушка, держи меня... крепче держи...

Наступивший бред был сильнее прежнего; и Зотушка одно время совсем всполошился, думая, что барышня Феня отходит. Он побежал к Нилу Поликарповичу и приволок его за руку в комнату Фени. Старик Пятов иногда сменял Зотушку, когда тот уходил в кухню «додернуть» часик на горячей печке, а большею частью ходил из угла в угол в соседней комнате; он как-то совсем потерялся и плохо понимал, что происходило кругом. Страшная мысль лишиться Фени нагоняла на него столбняк, и он только ощупывал свою плешивую голову, напрасно стараясь что-то припомнить. Иногда он принимался со слезами упрашивать доктора старичка спасти его Феню и предлагал свою домашнюю аптеку. Доктор рассеянно выслушивал этот бред наяву, записывал что-то в своей карманной книжке и повторял: «Хорошо, хорошо. Скоро наступит кризис, тогда все выяснится...» Больная редко узнавала отца и старалась скрыть от отца свои страдания. Он так всегда любил ее, и она жалела его. Кто заменит ее больному старику? Кто будет предупреждать, как это делала она, его скромные желания и угождать его привычкам? Не один раз глаза Фени наполнялись слезами, когда она смотрела на отца: ей было жаль его больше, чем себя, потому что она слишком исстрадалась, чтобы чувствовать во всем объеме опасность, в какой находилась.

Гордей Евстратыч, пока разыгрывалась в пятовском доме эта тяжелая драма, после первого порыва отчаяния бросился в разгул и не выходил из шабалинского дома, где стоял день и ночь пир горой. Вукол Логиныч посылал в город нарочно две кошевых, чтобы привезти подходящих гостей из «подходящей компании». Варвара Тихоновна угощала всех на славу, так что Липачек и Плинтусов не раз просыпались, к своему удивлению, в ее парадной спальне. Это безобразие нравилось Гордею Евстратычу, который хотел в вине утопить свое горе, и пьяный принимался несколько раз плакать.

— Ну, горе не велико... — утешала Варвара Тихоновна. — Нашел о чем сокрушаться! Не стало этого

добра... Все равно, женился бы на Фене, стала бы тебя она обманывать.

— Врешь!.. — кричал Гордей Евстратыч.

— А ты не очень кричи... Не у себя дома.

— Эх, Варвара Тихоновна, Варвара Тихоновна... разве ты можешь что-нибудь понимать?.. Ну, какое у тебя понятие? Ежели у меня сердце кровью обливается... обидели меня, а взять не с кого...

Порфир Порфирыч, конечно, был тут же и предлагал свои услуги Брагину: взять да увезти Феню и обвенчаться убегом. Этому мудреному человеку никак не могли растолковать, что Феня лежит больная, и он только хлопал глазами, как зачумленное животное. Иногда Гордея Евстратыча начинало мучить самое злое настроение, особенно когда он вспоминал, что о его неудачном сватовстве теперь галдит весь Белоглинский завод и, наверно, радуются эти Савины и Колобовы, которые не хотят его признать законным церковным старостой.

Чтобы проветрить пьяную компанию, раза два ездили в кошевых на Смородинку, где устраивалось сугубое пьянство. Работы на прииске теперь было мало, и Михалко с Архипом пропадали со скуки; ребята от нечего делать развлекались по-своему, причем в Полдневской была устроена специальная квартира, которой заведовала Лапуха. Пестерь и Кайло сначала косились на такие порядки, но потом махнули рукой, потому что примиряющим элементом являлась водка. С другой стороны, эти блюстители патриархальных нравов жестоко поплатились за свою строгость: Окся навсегда сбежала не только из Полдневской, но и со Смородинки.

Однажды, когда пьяная компания только что вернулась со Смородинки, Шабалина лакей вызвал в переднюю. Там смиренно стоял Зотушка.

— А, святая душа на костылях!.. — обрадовался Шабалин. — В самую линию попал... Иди в комнаты-то, — чего тут торчишь? Я тебя такой наливкой угощу...

— Я не принимаю теперь этого составу, Вукол Логиныч... Мне бы братца, Гордея Евстратыча, повидать.

— Ну, и пойди туда. Чего корячишься? — говорил Шабалин, подхватывая Зотушку под руку. — Вот я тебе

покажу, как не принимаешь... Такой состав у меня есть, что рога в землю с двух рюмок.

— Ну, уж ослобоните, Вукол Логиныч. Дельце есть до братца. Уж, пожалуйста, ослобоните.

— Ну, черт с тобой!..

Когда Гордей Евстратыч, пошатываясь, вышел в переднюю, Зотушка смиренно поклонился братцу и дрогнувшим голосом проговорил:

— Вам, братец, Федосья Ниловна приказали долго жить...

— Что? Как? Умерла?

— Точно так... Они просили меня сказать вам, что заочно вас прощают, и с вами, братец, тоже простились.

Гордей Евстратыч зашатался на месте, оглянулся кругом и, как был, без шапки, выбежал из шабалинского вертепа. Зотушка смиренно поплелся за ним, торопливо откладывая широкие кресты.

Смерть Фени произвела потрясающее впечатление на всех, потому что эта безвременно погибшая молодая жизнь точно являлась какой-то жертвой искупления за те недоразумения, какие были созданы брагинской жилкой. Все на мгновение позабыли о своих личных счетах около гроба мертвой красавицы, за которым шел обезумевший от горя старик отец. На похоронах Фени встретились все враждебные партии, то есть Савины, Колобовы, Пазухины и Брагины. Гордей Евстратыч плакал вместе с женщинами и не стыдился своих слез. Зотушке пришлось даже утешать братца, а также и плакавшего о. Крискента. Только двое в этой толпе оставались безучастными и неподвижными, точно они застыли на какой-то одной мысли — это были Нил Поликарпыч и Татьяна Власьевна. Нил Поликарпыч не мог плакать, потому что горе было слишком велико; а Татьяна Власьевна думала о том, что эта смерть — наказание за ее страшный грех. На свежей могиле о. Крискент сказал прочувствованное слово, пользуясь случаем, чтобы напомнить своей пастве о ничтожности и тленности всего земного, о нашей неправде и особенно о тле-

творном значении разделительной силы. Добрый старик хотел на могиле Фени примирить враждовавших овец. Овцы слушали его, в душе во всем соглашались, многие даже плакали, и все разошлись по своим домам, чтобы с новыми силами продолжать старые счеты и действовать в духе крайнего разделения.

— Это Брагины убили Феню, — говорили у Савиных и Колобовых. — Уж эта Татьяна Власьевна!.. Да и Гордей-то Евстратыч тоже хорош! Правду говорят: седина в бороду, а бес в ребро.

Последними остались на Фениной могилке Нил Поликарпыч, бабушка Татьяна и Зотушка. Они долго молились и точно боялись уйти с кладбища, оставив здесь Феню одну.

— Нил Поликарпыч, пойдемте домой... — говорил Зотушка, осторожно стараясь оттащить старика от могилы. — Еще простудитесь...

— Ах, я дурак... дурак!.. — дико вскричал Нил Поликарпыч, ударив себя по лбу кулаком. — Ведь нужно было только напоить Феню дорогою травой, жива бы осталась...

Этой мыслью разрешились, наконец, благодатные слезы! Старик заплакал в первый раз после смерти своей дочери, опустившись на снег коленями. Он был без шапки, и остатки мягких волос развевались на его голове от резкого зимнего ветра; но он не слыхал и не чувствовал ничего. Побелевшие губы шептали какую-то бессвязную чепуху о дорогой траве и других не менее верных средствах. Каждый из троих думал, что ему следовало умереть, а не Фене. Но смерть имеет свою логику и скашивает самые цветущие колосья на человеческой ниве, оставляя для чего-то массу нетронутого человеческого сора.

— Куда теперь? — спрашивал Нил Поликарпыч, дико озираясь по сторонам. — Домой... зачем?

Девушка перед смертью взяла слово с Зотушки, что он не оставит отца и заменит ему хоть отчасти ее; Зотушка поклялся и теперь окончательно переселился в пятовский дом, чтобы ухаживать за Нил Поликарпычем, который иногда крепко начинал задумываться и даже совсем заговаривался, как сумасшедший.

XVIII

Весной работы на Смородинке оживились с новой силой: ставили вторую паровую машину. Били две новых шахты, потому что в старой золото уже «пообилось» и только шло богатыми гнездами там, где отдельные жилы золотоносного кварца выклинивались, то есть сходились в одну. Зимний заработок был меньше прошлогоднего, потому что работы вообще велись через пень-колоду, благо самому хозяину было не до жилки. Но и весной, хотя Гордей Евстратыч часто бывал на Смородинке, можно было уже заметить, что у него точно не лежало сердце к прииску, и его постоянно тянуло в Белоглинский завод. Он часто жаловался, что совсем уронил батюшкину торговлю панских товаров, и предполагал поднять ее на широких основаниях, для чего думал поставить две больших каменных лавки на городской манер. Эта затея была продолжением непременного желания построить себе дом вроде шабалинского. Дело пока стояло за местом. Гордей Евстратыч все еще не решался переселиться окончательно с насиженного пепелища на православную сторону, где было подсмотрено самое подходящее местечко.

— Мы, мамынька, наладим лавки-то под домом, как в городу, — часто повторял Гордей Евстратыч.

— Нет, милушка, это не годится: с рынку уйдешь и покупателей растеряешь... Батюшка-то не глупее был нас с тобой, а сидел да сидел себе на рынке.

Последний аргумент имел неотразимую силу, и Гордей Евстратыч утешался пока тем, что хоть дом поставит по своему вкусу. Он привозил из города двух архитекторов, которые меряли несколько раз место и за рюмкой водки составляли проекты и сметы будущей постройки.

— За деньгами не постоим, а чтобы, главное, все было форменно, на господскую руку, — упрашивал Гордей Евстратыч.

— Будет форменно, — уверяли архитекторы и, забрав задатки, укатили в город.

По последнему зимнему пути Брагин начал производить заготовку материалов: лесу, бутового камня,

железа, глины, кирпичу и т. д. В версте от Белоглинского завода Брагиным строился кирпичный завод, так как готового кирпича в большом количестве в Белоглинском заводе достать было негде; подряжены были две плотничных артели, артель вятских каменщиков, пильщики, столяры и кровельщики. Гордей Евстратыч хотел поднять дом непременно в одно лето, чтобы на другое лето приступить к его внутренней отделке, то есть выштукатурить, настлать полы, выкрасить, вообще привести в форменный вид. Как тронется снег, решено было приступить к подготовительным работам: рыть канавы под фундамент, обжигать кирпич, пилить лес. Эти хлопоты отнимали все свободное время Гордея Евстратыча, и за ними он забывал о своем недавнем горе, которое миновало, как тяжелый сон. Только иногда ему становилось очень жутко, точно камнем придавит: в эти минуты Брагин или уезжал в город, или попадал в шабалинский дом, что было равносильно, потому что там и здесь Гордей Евстратыч разрешал на водку и кутил без просыпу несколько дней подряд. Вообще он за последний год порядком пристрастился к веселому житью и «принимал водку» в большом количестве, извиняя себя компанией. Только в церкви Гордей Евстратыч был исправен попрежнему и вел церковные дела так, что комар носу не подточит.

Чтобы поднять запущенную батюшкину торговлю, Гордей Евстратыч сам «сгонял» в Ирбитскую ярмарку и поворотил там целую уйму панского товара, чтобы разом затмить всех остальных белоглинских торговцев. Он теперь часто бывал в лавке и собственноручно приводил все товары в порядок, при помощи невесток и Нюши; впрочем, последняя главным образом вела торговую книгу. Случалось как-то так, что Гордей Евстратыч приходил в лавку как раз тогда, когда там сидела Ариша. Сначала сноха побаивалась этих посещений, но Гордей Евстратыч совсем не обращал на нее никакого внимания и даже покрикивал, когда находил в чем непорядки. Такое поведение успокоило молодую женщину, и она начала относиться к свекру с большим доверием.

— Ну, ну, поворачивайся, сношенька, — покрикивал на нее Гордей Евстратыч, когда Арина мешкала.

Раз Гордей Евстратыч заехал в лавку навеселе; он обедал у Шабалина. Дело было под вечер, и в лавке, кроме Ариши, ни души. Она опять почувствовала на себе ласковый взгляд старика и старалась держаться от него подальше. Но эта невинная хитрость только подлила масла в огонь. Когда Ариша нагнулась к выручке, чтобы достать портмоне с деньгами, Гордей Евстратыч крепко обнял ее за талию и долго не выпускал из рук, забавляясь, как она барахталась и выбивалась.

— Тятенька... пустите!.. Христос с вами!

— А... испугалась!.. Ну, ну, повернись еще... ишь, какая круглая стала!

— Я бабушке Татьяне скажу, тятенька!..

— Ну, ну, дура, я пошутил.

Ариша отошла в угол лавки и, поправляя сбившееся платье и платок на голове, тихонько заплакала. Гордей Евстратыч сначала улыбался, а потом подошел к невестке и сильно толкнул ее локтем в бок.

— Чего ты ревешь, корова?.. — закричал он, схватывая Аришу за руку. — Ишь, распустила нюни-то... Ласки не понимаешь, так пойми, как с вашим братом по-настоящему обращаются.

Проспавшись, Гордей Евстратыч немного одумался и, чтобы загладить свой грех, потихоньку от других пообещал Арише, что привезет ей из города такого гостинца, какого она и во сне не видывала.

— Мне, тятенька, ничего от вас не нужно... — твердо объявила Ариша, собирая всю свою храбрость.— Я ничего больше не возьму от вас, хоть меня на части режьте.

— А... так ты вот какие разговоры с отцом заводишь? — зарычал Гордей Евстратыч. — Погоди, я тебя так проучу, что ты у меня узнаешь, как грубить...

— Я Михалке все скажу...

— Говори... Я вас и с Михалком-то обоих в один узел завяжу. Слышишь?

Под первым впечатлением Ариша хотела рассказать все мужу, но Михалко был на прииске; пожаловаться бабушке Татьяне Ариша боялась, потому что

старуха в последнее время точно косилась на нее; пожалуй, ей же, Арише, и достанется за извет и клевету. Но как же опять не сказать? И стыдно ей было, да Ариша и сознавала, что такой оборот не принесет ей никакой пользы, а только лишние слезы отцу с матерью да домашние неприятности. Все равно, Гордей Евстратыч не послушает никого, а только еще пуще озлобится на беззащитную сноху. В крайнем случае Ариша придумала два выхода: убежать со Степушкой к родным, а если ее оттуда добудут через полицию, — повеситься или утопиться... Все это обдумывалось в бессонную ночь и было полито горькими слезами, которые Ариша должна была глотать про себя. Она припомнила к случаю разные истории, где свекры добывали невесток правдами и неправдами: в раскольничьих семьях таких снохачей было несколько, — все это знали, все об этом говорили, а дело оставалось шитым и крытым. Особенно врезалась ей в память история купцов Кокиных, которую она слышала еще в детстве. Старик Кокин увязался за своей снохой и, не добившись от нее ничего, зверски убил ее ребенка, девочку лет четырех: старик завел маленькую жертву в подполье и там отрезывал ей один палец за другим, а мать в это время оставалась наверху и должна была слушать отчаянные вопли четвертуемой дочери. Страшное преступление потом раскрылось, и старик Кокин был наказан плетьми, — это было еще при старых судах, — а сноха сошла с ума. Мысли, одна страшнее другой, одолевали бедную Аришу, и она то принималась безумно рыдать, уткнувшись головой в подушку, то начинала молиться, молиться не за себя, а за своего Степушку, который спал в ее каморке детски-беззаботным сном, не подозревая разыгрывавшейся около него драмы.

Успокоившись немного, Ариша решилась еще подождать, что и оказалось самым лучшим. Гордей Евстратыч оставил ее в покое, не приставал с своими ласками, но зато постоянно преследовал всевозможными придирками, ворчаньем и руганью. Ариша покорно сносила все эти невзгоды и была даже рада им: авось на них износится все горе, а Гордей Евстратыч одумается. На

ее счастье подвернулся такой случай, который перевернул в брагинском доме все вверх дном.

Городские архитекторы составили план брагинского дома и явились в Белоглинский завод, чтобы начать постройку. Материалы были все заготовлены и даже канавы под фундамент вырыты, оставалось приступить к самой закладке. Брагин пригласил о. Крискента помолебствовать, как это водится у добрых людей, чтобы все было честь-честью; как раз случился Порфир Порфирыч в Белоглинском заводе; одним словом, закладка дома совершилась при самой торжественной обстановке, в присутствии Порфира Порфирыча, Шабалина, Плинтусова, Липачка и других. После молебствия все, конечно, были приглашены в старый брагинский дом откушать хлеба-соли и вспрыснуть новую постройку, чтоб она крепче стояла.

— Без вспрысков какой же дом? — говорил Шабалин. — Вон я строил свой, так, может, не одну бочку с своими благоприятелями роспил. Зато крепко вышло.

— И мы от добрых-то людей не в угол рожей, Вукол Логиныч, — обижался Брагин. — Милости просим, господа... Только не обессудьте на нашей простоте: живем просто, можно сказать, без всякого понятия. Разве вот дом поставим, тогда уже другие-то порядки заведем... Порфир Порфирыч, пожалуйте!

В брагинском доме была приготовлена роскошная закуска, а потом настоящий богатый обед, как у «других». Татьяна Власьевна была великая мастерица по части таких торжественных «столов» и на этот раз особенно потщилась, чтобы не ударить лицом в грязь пред настоящей компанией. Правда, модных кушаний не было с французскими соусами и разными мудреными приправами, но зато были художественно состряпанные пироги, всевозможные разносолы, вареное и жареное. На закуску Гордей Евстратыч прихватил из городу салфеточной икры, омаров, страсбургских пирогов, астраханских балыков, провесной белорыбицы и всякой прочей снеди, которую ел у Шабалина и других золотопромышленников. В винах, конечно, тоже недостатка не было, потому что народ, бывший в брагинском доме,

любил «мочить губу», как говорил Зотушка. Обстановка в брагинском доме за последний год значительно изменилась, потому что из Нижнего и Ирбита Гордей Евстратыч навез домой всякой всячины: ковров, столового серебра, новой мебели, посуды и т. д. Конечно, все это в обыкновенное время было припрятано по сундукам и шкафам, а мебель стояла под чехлами; но теперь другое дело — для такого торжественного случая можно было и развернуться: чехлы с мебели были сняты, на окнах появились шелковые драпировки, по полу французские ковры, стол сервирован был гарднеровской посудой и новым столовым серебром. Камчатные дорогие скатерти и салфетки дополняли столовый убор. Вообще все было устроено форменно, дескать, и мы не левой ногой сморкаемся, хотя Гордей Евстратыч и прикидывался пред гостями Акимом-простотой, а Татьяна Власьевна с низкими поклонами приговаривала:

— Уж не обессудьте, дорогие гости, на нашем убожестве!

— А ты вот что, спасенная душенька, — говорил Шабалин своим обычным грубым тоном, — когда ко мне-то в гости соберешься?

— Собираюсь, давно собираюсь, Вукол Логиныч, да вот все как-то не могу собраться... Стара стала я, ведь на восьмой десяток. В чужой век зажилась...

— Ладно, ладно, бабушка, нас всех переживешь... А ты приходи все-таки, я тебе такую штучку покажу, не за хлебом-солью будь сказано.

— Ох, уж ты, Вукол Логиныч, всегда... разговор-то у тебя...

— Чего разговор? Разговор настоящий... хозяйственный. Век живи — век учись. Нарочно мастера себе из городу привозил, чтобы мне одну штуку наладил, понимаешь — теплую... Козет называется.

Этот «козет» особенно занимал Шабалина в последнее время, и он нарочно привозил гостей из других заводов, чтобы показать им немецкую выдумку.

— Отстань, греховодник... — отплевывалась Татьяна Власьевна, когда Шабалин подробно объяснил назначение немецкой выдумки.

— Сие действительно весьма предусмотрительно устроено, — вставил свое слово о. Крискент, большой любитель домашности.

— Вот с отцом Крискентом и приходи, бабушка, — говорил Шабалин. — Мы хоть и не одной веры, а не ссорились еще... Так, отец Крискент?

— Зачем ссориться, Вукол Логиныч?.. Бог один для всех, всех видит, и благодать его преизбыточествует над нами, поелику ни един влас с главы нашей не спадет без его воли. Да...

Около закуски гости очень скоро развеселились, так что до обеда время пробежало незаметно. Порфир Порфирыч успел нагрузиться и, как всегда, с блаженной улыбкой нес всевозможную чепуху; Шабалин пил со всеми и не пьянел; Липачек едва мигал слипавшимися глазами; а Плинтусов ходил по комнате, выпячивая грудь, как индейский петух. Архитекторы сначала стеснялись в незнакомой компании, но потом устроили разрешение вина и елея и быстро познакомились. Даже о. Крискент не избег общей участи и, пропустив рюмку какой-то заветной наливки, лихорадочно расстегивал пуговицы своего подрясника.

Когда Татьяна Власьевна начала накрывать обеденный стол, Порфир Порфирыч наступил на нее.

— Бабушка... кто же с нами обедать будет? — спрашивал он, стараясь сохранить равновесие колебавшегося тела.

— Как кто? Все будут обедать, Порфир Порфирыч: отец Крискент, Вукол Логиныч, Гордей Евстратыч...

— Ах, не то, бабушка... Понимаешь? Господь, когда сотворил всякую тварь и Адама... и когда посмотрел на эту тварь и на Адама, прямо сказал: «Не хорошо жить человеку одному... сотворим ему жену...» Так? Ну вот, я про это про самое и говорю...

— Что-то невдомек мне будет, Порфир Порфирыч... Стара я стала.

— Ну, ну... Экая ты, бабушка, упрямая! А я еще упрямее тебя... Отчего ты не покажешь нам невесток своих и внучку? Знаю, что красавицы... Вот мы с красавицами и будем обедать. Я толстеньких люблю, ба-

бушка... А Дуня у вас, как огурчик. Я с ней хороводы водил на святках... И Ариша ничего.

— Перестаньте грешить-то, Порфир Порфирыч... У нас молодым женщинам не пригоже в мужской компании одним сидеть. Ежели бы другие женщины были, тогда другое дело: вот вы бы с супругой приехали...

— Одолжила, нечего сказать: я с своей супругой... Ха-ха!.. Бабушка, да ты меня уморить хочешь. Слышишь, Вукол: мне приехать с супругой!.. Нет, бабушка, мы сегодня все-таки будем обедать с твоими красавицами... Нечего им взаперти сидеть. А что касается других дам, так вот отец Крискент у нас пойдет за даму, пожалуй, и Липачек.

Шабалин и другие гости присоединились к желанию Порфира Порфирыча и представили свои резоны.

— А ежели ты, спасенная душа, не покажешь нам своих невесток, — говорил Шабалин, — кончено — сейчас все по домам и обедать не станем.

— Так, так! — подхватили все.

— Да разве мы их съедим? — объяснил Плинтусов. — Ах, боже мой!.. За кого же вы в таком случае нас принимаете? Надеюсь, за порядочных людей... Вот и отец Крискент только что сейчас говорил мне, что не любит обедать в одной холостой компании и что это даже грешно.

— Господа, да что мы тут разговариваем попусту в самом-то деле? — заговорил Порфир Порфирыч. — Прощай, бабушка... А мы обедать к Вуколу поедем.

Дело приняло такой оборот, что Татьяне Власьевне, наконец, пришлось согласиться на все, а то этот блажной Порфир Порфирыч и в самом деле уедет обедать к Вуколу и всю компанию за собой уведет. Скрепя сердце она велела невесткам одеваться в шелковые сарафаны и расшитые золотом кокошники, а Нюше достала из сундука свою девичью повязку, унизанную жемчугами и самоцветным камнем. В этих старинных нарядах все три были красавицы на подбор, хотя Ариша сильно похудела за последние дни, что Татьяна Власьевна заметила только теперь. Нюша была вообще какая-то вялая и апатичная: после смерти Фени она окончательно изменилась, и о прежней стрекотунье Нюше,

которая распевала по всему дому, и помину не было. Лучше всех была Дуня в своем алом глазетовом сарафане и кисейной рубашке: высокая, полная, с румянцем во всю щеку и с ласково блестевшими глазами, она была настоящая русская красавица. Когда все трое вышли к столу, гости приняли их с самыми шумными проявлениями своего восторга.

— Ах ты, мой бутончик!.. пупочка... — говорил Порфир Порфирыч, целуя руки у Дуни. — Вот так красавица!.. Ну-ко, повернись-ка маленько... Ну!.. пышная бабенка, черт возьми! Аришенька, матушка, здравствуй!.. Что это ты нахохлилась, как курица перед ненастьем?

Порфир Порфирыч поместился за обеденным столом между Дуней и Аришей, а напротив себя усадил Нюшу и был, кажется, на седьмом небе.

— Вот теперь отлично... — говорил Порфир Порфирыч, стараясь обнять разом обеих дам.

— Не балуй, Порфир Порфирыч!.. — строго заметила Татьяна Власьевна. — А то я всех уведу.

— Не буду, не буду!

Обед начался самым веселым образом, хотя дамы немножко и конфузились с непривычки к компании. Сама Татьяна Власьевна не садилась за стол, наблюдая за порядком и за подававшей кушанья кривой Маланьей. Гости ели и хвалили хозяйку, Гордей Евстратыч хлопотал насчет вин. Говорили о новом доме и его отделке; высчитывали его стоимость, кричали, спорили, — одним словом, обед вышел, как все парадные обеды: все было «форменно». Отец Крискент, разрезывая на своей тарелке кусок пирога с осетриной, благочестиво говорил о домостроительстве вообще и даже привел в пример Соломона, тонко сплетая льстивые слова тароватому хозяину. Липачек провозгласил тост за здоровье хозяйки, и когда все поднялись с полными бокалами, чтобы чокнуться с ним, — Гордей Евстратыч вдруг побледнел и уронил свой бокал: он своими глазами видел, как Порфир Порфирыч, поднимаясь со стула с бокалом в одной руке, другою обнял Аришу.

— Порфир Порфирыч... ты это как же?.. — глухо спросил Гордей Евстратыч. Он был бледен как полотно,

а губы у него тряслись от внутреннего бешенства, которое он напрасно старался сдержать.

— Я?.. Я ничего... — как ни в чем не бывало ответил Порфир Порфирыч, с изумлением оглядываясь кругом.

— Ариша, ступай к себе... — приказал Гордей Евстратыч дрожавшим от бешенства голосом.

— Вот тебе и клюква! — засмеялся Порфир Порфирыч. — Как же это так, Гордей Евстратыч?.. Я, пожалуй, на один бок наелся...

Эта маленькая сцена на мгновение остановила общее веселье: гости переглядывались, о. Крискент попробовал было вступиться, но его никто не слушал.

— Да ты никак осердился на меня? — спрашивал Порфир Порфирыч хозяина. — Я, кажется, ничего не сделал...

— Ну, мне на свои-то глаза свидетелей не надо, — отрезал Гордей Евстратыч и прибавил: — Все люди, как люди, Порфир Порфирыч, только тебя, как кривое полено, в поленницу никак не укладешь...

Порфир Порфирыч ничего не ответил на это, а только повернулся и, пошатываясь, пошел к двери. Татьяна Власьевна бросилась за ним и старалась удержать за фалды сюртука, о. Крискент загородил было двери, но был безмолвно устранен. Гордей Евстратыч догнал обиженного гостя уже на дворе; он шел без шапки и верхнего пальто, как сидел за столом, и никому не отвечал ни слова.

— Голубчик, Порфир Порфирыч... прости, ради Христа, на нашем глупом слове! — умолял Брагин, хватая гостя за руки. — Хочешь, при всех на коленках стану у тебя прощенья просить!.. Порфир Порфирыч!..

Порфир Порфирыч вырвал свою руку, без шапки выбежал за ворота и нетвердой походкой пошел вдоль Старо-Кедровской улицы; за ним без шапки бежал Шабалин, стараясь догнать. Брагин постоял-постоял за воротами, посмотрел, куда пошли его гости, а потом, махнув рукой, побрел назад.

— А ведь дело-то, пожалуй, выйдет табак... — заметил Плинтусов, когда Брагин вернулся к гостям.

Гордей Евстратыч сам видел, что все дело испортил своей нетерпеливой выходкой, но теперь его трудно

было поправлять. Торжество закончилось неожиданной бедой, и конец обеда прошел самым натянутым образом, как поминки, несмотря на все усилия о. Крискента и Плинтусова оживить его. Сейчас после обеда Гордей Евстратыч бросился к Шабалину в дом, но Порфира Порфирыча и след простыл: он укатил неизвестно куда.

— Что же теперь делать? — спрашивал Гордей Евстратыч своего благоприятеля Шабалина.

— А уж и не знаю, Гордей Евстратыч, — уклончиво ответил тот. — С Порфиром Порфирычем шутки плохие, пожалуй, еще и жилку отберет...

Оно так и вышло.

Через неделю на Смородинку приехал горный чиновник, осмотрел работы и составил протокол, что разработка золота производилась неправильная: частные лица могут промывать только россыпное золото, а не жильное, которое добывается казенным иждивением. Смородинка в качестве коренного месторождения должна была поступить в казенное ведомство, а Гордей Брагин подвергался надлежащей ответственности за неправильное объявление прииска.

Работы были прекращены, контора опечатана, рабочие и служащие распущены по домам, и это как раз в самый развал летней работы, в первых числах мая. Удар был страшный, и, конечно, он был нанесен опытной рукой Порфира Порфирыча.

— Вот тебе и кривое полено... Ха-ха́!.. — заливался Шабалин, когда услышал о закрытой Смородинке. — Прощайся, Гордей Евстратыч, с своей жилкой, коли не умел ей владать...

XIX

Брагин полетел хлопотать в Екатеринбург, в надежде уладить дело помимо Порфира Порфирыча. Посоветовался кое с кем из знакомых золотопромышленников, с двумя адвокатами, с горными чиновниками — все качали только головами и советовали обратиться к главному ревизору, который как раз случился в городе.

Гордей Евстратыч отыскал квартиру главного ревизора и со страхом позвонил у подъезда маленького каменного домика в пять окон. На дверях блестела медная дощечка — «Ардалион Ефремыч Завиваев».

— Барин дома? — спрашивал Брагин выскочившую на звонок горничную.

— Дома-с.

Через минуту Гордей Евстратыч осторожно вошел в кабинет, где его встретил сам хозяин — вылитый двойник Порфира Порфирыча, так что в первую минуту Брагин даже попятился со страху.

— Что прикажете, как вас звать?

— Да вот дельце, Ардалион Ефремыч, вышло...

— Это насчет Смородинки?.. Не могу, не могу, не могу!.. — закричал Завиваев, отмахиваясь обеими руками. — Я семнадцать лет служу на Урале главным ревизором... Да!.. Это беззаконие... Я и Порфира Порфирыча отдам под суд вместе с тобой!

Хотя Завиваев и кричал на Брагина, но это был не злой человек. Он даже пошутил над умолявшим его Гордеем Евстратычем и, ласково потрепав по плечу, проговорил:

— У меня под надзором девятьсот приисков, милочка, и ежели я буду всякому золотопромышленнику уступать, так меня бог камнем убьет, да!.. Дело твое я знаю досконально и могу сказать только то, что не хлопочи понапрасну. Вот и все!.. Взяток никому не давай, — даром последние деньги издержишь, потому что пролитого не воротишь.

— Ардалион Ефремыч, спасите... не погубите!

Брагин ушел от Завиваева ни с чем, проклиная на свете все и всех. Дело было дрянь, как его ни поверни. Не доверяя совету Завиваева, Гордей Евстратыч принялся усиленно хлопотать и лез в каждую щель, чтобы только воротить Смородинку. Эти хлопоты стоили ему больших денег и ровно ни к чему не привели: жилка пропала навсегда!.. Вернуться домой с пустыми руками Гордею Евстратычу было тошнехонько, и он проживался в городе целый месяц. У него все-таки был в руках кругленький капитальчик тысяч в сто, и друзья-приятели утешали его, что горевать еще не о чем, когда

такой капитал шевелится в кармане. Его познакомили с такими дельцами, которые сулили золотые горы — только стоило пустить капитал в оборот. С горя Брагин закутил в хорошей компании, которая утешала его на все руки. Однажды он сидел в гостях у знакомого золотопромышленника, где набралось всякого народа; тут же сидел какой-то господин в золотых очках и с толстой золотой цепочкой у часов. Он все время точно присматривался к Гордею Евстратычу, а потом отвел его в сторону и таинственно проговорил:

— Эх вы, Гордей Евстратыч... Нашли о чем горевать!.. Я вам скажу, что мы еще не такое золото отыщем. Приезжайте ко мне потолковать, а вот вам моя карточка.

На карточке неизвестного Гордей Евстратыч прочитал: «Владимир Петрович Головинский, техник».

«Черт его знает, может быть, какой-нибудь жулябия... — подумал Брагин, перевертывая в руках атласную карточку. — Наслышался, что у Брагина деньги еще остались в кармане, — вот и подсыпается мелким бесом».

Прежде чем отправиться к Головинскому, Гордей Евстратыч навел о нем кое-какие справки через общих знакомых, из которых оказалось, что Головинский вообще человек хороший, хотя определенных занятий не имеет. Его видали в клубе, в театре, в концертах — вообще везде, где собиралась хорошая публика; он был знаком со всем городом и всех знал, имел пару отличных вяток, барскую квартиру и жил на холостую ногу. Самая наружность Головинского имела в себе много подкупающего: высокий, средних лет, с окладистой бородкой и выхоленным дворянским лицом, с приличными манерами, всегда безукоризненно одетый, он везде являлся заметным человеком. Особенно дамы были от него в восхищении.

— Ну, что же, не съест он меня, прах его побери...— решил Брагин, отправляясь отыскивать квартиру Головинского, который жил на главной улице.

Кабинет в квартире Головинского был устроен на деловую ногу с той специальной роскошью, какую устраивают себе люди, умеющие быть богатыми. Гор-

дей Евстратыч не ожидал ничего подобного: в самом воздухе точно пахло тысячами, не теми шальными мужицкими тысячами, как у Шабалина, например, а настоящими, господскими тысячами. И сам Головинский совсем не походил на жулябию, а держался с большим гонором. Уж совсем не походил на этих горных чинушек вроде Порфира Порфирыча или Завиваева. Принял он Брагина очень любезно, но с весом. Усадив гостя в кресло, Головинский несколько раз прошелся по комнате, поправив редевшие на голове волосы, и мягким голосом заговорил:

— Вас, уважаемый Гордей Евстратыч, вероятно, удивило мое приглашение... Да?.. Очень понятно. Конечно, вы под рукой собрали кое-какие справки обо мне... Опять-таки понятно, потому что идти толковать о деле к совершенно незнакомому человеку очень сомнительно, хоть до кого доведись. Я вам скажу, что вам другие сказали обо мне... Но это все равно: я хотя и везде здесь бываю, но меня никто не знает. Хорошо.

Головинский мягко потер свои выхоленные белые руки, подыскивая слова и мельком взглядывая на сидевшего в кресле Брагина.

— Сначала я вам скажу о себе, Гордей Евстратыч, — продолжал Головинский после короткой паузы. — Родился и вырос я в Москве, служил несколько лет на частной службе, сколотил небольшой капитальчик, а потом получил наследство после дяди... Сначала думал завести какое-нибудь дело в Москве, но с моими средствами так трудно пробить дорогу: там миллионные дела обделываются, как здесь пироги бабы стряпают, а у меня несколько тысяч. Вот я и задумал попытать счастья в провинции и приехал на Урал, года два-три назад. Место действительно богатое, и дело можно себе подыскать, да только, не спросясь броду, я не люблю соваться в воду. Жил, присматривался к людям... и подыскал одно дельце. Только нужно вам сознаться — уж извините меня за откровенность, Гордей Евстратыч! — народ здесь — не клади пальца в рот.

— Уж что говорить, самые первостатейные плуты живут... Это верно, Владимир Петрович!

— Да, на Урале люди вообще немного странные, — мягко поправил Головинский своего собеседника. — Взять хоть вот случай с вами, как у вас отняли прииск...

— Ох, верно, верно... зарезали без ножа!

— Я слышал всю эту историю и от души вас пожалел... Вижу, человек вы скромный, боитесь всякого начальства, вот они вас и крутят в бараний рог. Теперь вы остались без всякого дела, деньги у вас кое-какие еще есть; ну, долго ли попасть на какого-нибудь прощелыгу, который оберет у вас последние крохи. Ведь вам делали всевозможные предложения? Да, я слышал... Вот я и хотел, с одной стороны, предохранить вас от разных плутов, а потом предложить вам одно дельце. Вообще, кажется, мы сойдемся, по крайней мере я полюбил вас с первого раза. Я человек прямой и говорю откровенно.

— Какое же дельце-то, Владимир Петрович? Оно, конечно, мы люди простые, а тоже можем чувствовать... Взять хоть того же Порфира Порфирыча — обидел он меня, вот как обидел!..

— И главное, Шабалин работает на такой же жилке, как и ваша.

— Верно, все верно... Погорячился я немного, — а Шабалин, лукавый его задери; хоть верхом на нем катайся, даром что сам-то плут.

— В том-то и дело, Гордей Евстратыч, что люди здесь все фальшивые, ни на кого положиться нельзя. А кстати, — прибавил Головинский, вынимая из кармана золотые часы, — мы сейчас червячка заморим. Пойдемте в столовую.

Комнаты в квартире Головинского были убраны на барскую ногу, особенно столовая, где стоял резной буфет отличной работы. На накрытом столе какой-то невидимой рукой был приготовлен завтрак и кипел серебряный кофейник на спиртовой лампочке. «Не так, как у нас: как есть, так и столарню целую подымут», — думал Брагин, усаживаясь за стол. Головинский сам налил два стакана кофе и пригласил подкрепиться рюмочкой водки. Гордей Евстратыч выпил и невольно удивился: такой водки он никогда не пивал. Вытерев салфеткой губы, Брагин заговорил:

— А уж вы извините нас, Владимир Петрович, на нашей простоте... Гляжу я на вас, все у вас по форме, а одного как будто не прихватывает...

— Именно?

— Хозяйки в дому нет... Так-с?

— Вы угадали, Гордей Евстратыч, сердцем угадали, потому что сердце у вас доброе... Да, хозяйки у меня нет.

— Отчего же не женитесь? За невестами у нас, слава богу, дело не станет... Али, может, столичная на примете держится?

— Есть и такой грех, Гордей Евстратыч... Только за откровенность я вам заплачу откровенностью, именно объясню, почему я не женился до сих пор. Дело вот в чем: хочется мне сначала делишки свои привести в настоящий порядок, этак куш зашибить порядочный, а потом уж и жениться. По нынешним временам да не заработать деньгу — грешно от бога будет, перед собственными детьми после совестно будет. Я так полагаю: уж если стоит жить, так жить по-настоящему, как добрые люди живут, и для этого сначала нужно потрудиться, поработать.

— И мы в своей темноте то же думаем, только вот деньги-то добывать плохо умеем... с понятием надо жить на свете, по всей форме. А как вы насчет дельца-то, Владимир Петрович?

— Сейчас, сейчас, Гордей Евстратыч.

Головинский, не торопясь, налил рюмку водки, поднес ее к свету и, причмокнув губами, проговорил:

— Видите?

— Отличная водка...

— Да... А вот в этой самой водке богатство сидит, верное богатство, как дважды-два четыре. Не чета вашему золоту... Вот и дельце, о котором я хотел с вами поговорить.

— Это, значит, водкой заняться?

— Именно... Самое верное дело, Гордей Евстратыч. Отчего раздуваются все эти наши здешние тузы?..

Головинский назвал несколько громких имен денежных тузов и в каких-нибудь полчаса объяснил все извороты, ходы и выходы специально винной торговли.

Гордей Евстратыч слушал с разинутым ртом, заваленный красноречивыми цифрами.

— Где вы найдете другое такое дело, которое давало бы триста процентов на капитал? И не ищите... Если взять золотопромышленность, наконец, так здесь все зависит от случая, от счастья, а на водке еще никто не прогорел.

— Это-то верно, только необычное оно дело, Владимир Петрович... Даже как будто маненько претит: нечистая денежка идет.

— Э, батенька, нашли что... А вы так рассудите: чем мы грешнее других? Дело самое законное... Нажили капитал, тогда можно и водку побоку. А уж с настоящим-то капиталом можно руки расправить. Порфир Порфирыч теперь думает, что утопил вас, одним словом утопил, а тут выйдет наоборот: вы миллионером сделаетесь, а тогда... Да что тут говорить...

В течение двухчасовой беседы Головинский совсем заговорил Гордея Евстратыча и на прощание, крепко пожимая руку, прибавил:

— Об одном только попрошу вас, дорогой Гордей Евстратыч: согласитесь или не согласитесь — молчок... Ни единой душе, ни одно слово!.. Это дело наше и между нами останется... Я вас не неволю, а только предлагаю войти в компанию... Дело самое чистое, из копейки в копейку. Хотите — отлично, нет — ваше дело. У меня у одного не хватит силы на такое предприятие, и я во всяком случае не останусь без компаньона.

Брагин ушел от Головинского точно в тумане: перед ним развертывались новые, широкие перспективы, а возможность насолить Порфиру Порфирычу кружила голову. Все теперь думают, что Гордей Евстратыч пропал со своею жилкой, а Гордей Брагин вдруг в миллионы залезет... Тогда и Порфиру Порфирычу, и Ардалиону Ефремычу, и Вуколу Логинычу — всем нос утрем... Всю дорогу из города Брагин раздумывал завязанную Головинским думушку и чем больше думал, тем сильнее убеждался в справедливости всего, что слышал от этого необыкновенного человека. И ведь как говорит, шельма этакая: как по-писаному, так и режет... Ловкач, уж што и говорить. С понятием, формен-

ный человек. Небось ему надо в миллион вогнать, а не то, чтобы валандаться на тысчонках, как другие прочие. Брагин с сожалением думал о своей торговле панскими товарами: уж именно темнота, — темнота она и останется. И понятия настоящего в этой торговле нет: ублажай полдневских бабенок, раздавай в долг, гонись за модным товаром, всякому угоди... Сколько одного греха на душу наберешься!..

Домой Гордей Евстратыч вернулся в самом веселом настроении, чем удивил всех, а Татьяна Власьевна даже обиделась и сердито проговорила:

— Нашел чему радоваться, нечего сказать... Ведь прииск-то все-таки отобрали?

— Ну, отобрали, так что же?.. Пусть их, мамынька... Порфир-то Порфирыч с Шабалиным теперь думают, что по миру нас пустили... Ха-ха!..

— Милушка, над чем ты хохочешь-то?..

— Да над ними, мамынька, над Порфиром Порфирычем... Вот ужо, погоди, мы им так утрем нос, что чертям покажется тошно.

— Значит, Смородинка-то опять к тебе отойдет? — обрадовалась Татьяна Власьевна.

— Ах, мамынька, совсем не то... Скажу тебе только одно: приедет к нам один человек, тогда сама все увидишь... Уж такой человек, такой человек...

— Может, опять какой-нибудь пьяница... Все эти городские на одну колодку!..

Гордей Евстратыч не стал спорить, а только махнул рукой: дескать, погоди, мамынька, вот сама увидишь. Теперь у Гордея Евстратыча было много хлопот с постройкой дома, которая позамялась с этой передрягой; пока он хлопотал в городе, едва успели сложить фундамент, хотя и было кому смотреть за рабочими. Михалко и Архип теперь болтались дома без всякого дела. Успокоившись после своих неудачных хлопот, Брагин с особенным старанием занялся домом: ездил на кирпичный завод, наблюдал за всеми работами и живмя-жил на постройке, точно хотел всем показать, что ему все нипочем, как с гуся вода. Пусть посмотрят и Савины и Колобовы, как он испугался Порфира Порфирыча да с горя начал дом строить. В лавку Брагин

заглядывал совсем редко, потому что там сидел Михалко, надежный человек, не то что снохи. Пожалуй, Брагин прикрыл бы свою панскую торговлю, если бы не была она поставлена батюшкой, ну, да и ребятам все-таки заделье какое ни на есть, чтобы задарма на печке не сидели.

Недели через две, как был уговор, приехал и Головинский. Он остановился у Брагиных, заняв тот флигелек, где раньше жил Зотушка со старухами. Татьяна Власьевна встретила нового гостя сухо и подозрительно: дескать, вот еще Мед-Сахарыч выискался... Притом ее немало смущало то обстоятельство, что Головинский поселился у них во флигеле; человек еще не старый, а в дому целых три женщины молодых, всего наговорят. Взять хоть ту же Марфу Петровну: та-ра-ра, ты-ры-ры...

— Куда же Владимиру Петровичу деваться, ежели он ко мне по делу приехал? — успокаивал Гордей Евстратыч. — Кабы у нас в Белоглинском заводе гостиницы для приезжающих были налажены, так еще десятое дело, а то не на постоялом же дворе ему останавливаться, этакому-то человеку.

— Оно, конечно, так, милушка, да все-таки... Что уж больно его захваливаешь? Кругом, видно, обошел тебя... настоящая приворотная гривенка, этот твой Владимир Петрович, так Медом-Сахарычем и рассыпается.

— Обнаковенно, мамынька, ежели человек с настоящим понятием, так он никогда не будет кочевряжиться, как Порфир Порфирыч... А обходить меня тоже нечего: дело чистое — как на ладонке.

— Ой, смотри, милушка, чтобы не обошел хваленый-то!..

Татьяна Власьевна крепко не доверяла гостю, потому что уж очень милушка-то на него обнадежился: неладно что-то, скоро больно...

Первым делом Головинский устроил свой флигелек, хотя приехал на несколько дней. Пол и стены были устланы коврами, окна завешены драпировками, на столе, за которым работал Головинский, появились дорогие безделушки, он даже не забыл захватить с собой

складной железной кровати и дорожного погребца с серебряным самоваром. С ним приехал его камердинер, седой, благообразный старик Егор; это был слуга высшей школы — молчаливый, степенный, сосредоточенный. Насколько барин был ласков и обходителен, настолько великолепный Егор был сух и важен, точно он был заморожен. Кривая сердитая Маланья крепко невзлюбила его и называла темной копейкой, хотя и не могла не удивляться уменью Егора устроить барина по-своему.

— Уж так у них устроено, так устроено... — докладывала Маланья подозрительно слушавшей ее речи Татьяне Власьевне. — И сказать вам не умею как!.. Вроде как в церкви... Ей-богу! И дух у них с собой привезен. Своим глазом видела: каждое утро темная-то копейка возьмет какую-то штуку, надо полагать из золота, положит в нее угольков, а потом и поливает какою-то мазью. А от мази такой дух идет, точно от росного ладана. И все-то у них есть, и все дорогое... Ровно и флигелек-то не наш!..

Эти рассказы настолько возбудили любопытство Татьяны Власьевны, что она, улучив минуту, когда Головинский с Гордеем Евстратычем были на постройке, а Егор ушел на базар, нарочно сходила в флигелек и проверила восторги Маланьи. Действительность поразила старуху, особенно белье и платье гостя, разложенное и развешанное Егором в таком необыкновенном порядке, как коллекция какого-нибудь архинемецкого музея. Другим обстоятельством, сильно смутившим Татьяну Власьевну, было то, что Владимир Петрович был у них в доме всего один раз — повернулся с полчасика, поговорил, поблагодарил за все и ушел к себе. Такой обходительный человек, что старухе, наконец, сделалось совестно перед ним за свои подозрения.

— Хоть бы ты его обедать позвал... — вскользь заметила Татьяна Власьевна сыну. — Как-то неловко, все же человек живет в нашем доме, не объест нас...

— Ах, мамынька!.. Да разве это такой человек, что стал он тебе чужие обеды собирать... Это настоящий барин, с понятием, по всей форме. Не чета тем объедалам, которые раньше нас одолевали... Он вон и в

постройке-то все знает, как начал все разбирать, как начал разбирать — архитектора-то совсем в угол загнал. А я разве ослеп, сам вижу, что Владимир Петрович настоящее дело говорит. И все он знает, мамынька, о чем ни спроси... Истинно сказать, что его послал нам сам господь за нашу простоту!..

Расхваливая гостя, Гордей Евстратыч, однако, не обмолвился ни одним словом, за каким делом этот гость приехал, и не любил, когда Татьяна Власьевна стороной заводила об этом речь.

Ближайшее знакомство с Головинским произошло как-то само собой, так что Татьяна Власьевна даже испугалась, когда гость сделался в доме совсем своим человеком, точно он век у них жил. Как это случилось — никто не мог сказать, а всякий только чувствовал, что именно Владимира Петровича и недоставало в доме; у всех точно отлегло на душе, когда Владимир Петрович появлялся в горнице. А приходил он всегда кстати и уходил тоже, никому не мешал, никого не стеснял; даже невестки и Нюша как-то сразу привыкли к нему и совсем не дичились. Одним словом, свой человек — и конец всему делу! Торжеством поведения Владимира Петровича было его уменье есть и пить, чем любовался даже сам Гордей Евстратыч. В брагинском доме возобновились прежние трапезы и самые торжественные чаеванья. В стряпне Владимир Петрович знал такой толк, что даже поразил Маланью: он не пропускал без похвалы самомалейшего торжества кухонного искусства, что льстило Татьяне Власьевне, как опытной хозяйке. Он даже научил ее, как следует по-настоящему солить огурцы и готовить их впрок, именно, нужно заказать с Гордеем Евстратычем, когда он поедет в Нижний, привезти дубового листа, и огурцы будут целый год хрустеть на зубах, как свежепросольные.

— Давно я хочу, Владимир Петрович, спросить вас, да все как-то не смею... — нерешительно проговорила однажды Татьяна Власьевна. — Сдается мне, что как будто вы раньше к старой вере были привержены... Ей-богу! Уж очень вы хозяйство всякое произошли... В Москве есть такие купцы на Рогожском!.. Извините уж на простом слове...

Оказалось, что хотя Владимир Петрович и не был привержен к старой вере, но выходило как-то так, что Татьяна Власьевна осталась при своей прежней догадке.

— Нет, ты, мамынька, заметь, как он за обедом сидит или чай пьет! — удивлялся в свою очередь Гордей Евстратыч. — Сразу видно человека... Небось не набросится, как те торопыги-мученики, вроде хоть Плинтусова взять!..

Собственно, настоящее дело, за которым приехал Головинский, было давно кончено, и теперь в Зотушкином флигельке шла разработка подробностей проектируемой винной торговли. У Владимира Петровича в голове были такие узоры нарисованы, что Гордей Евстратыч каждый раз уходил от него точно в чаду. Брагина поражало особенно то, что Владимир Петрович всякого человека насквозь видит, так-таки всех до единого. Только Гордей Евстратыч заикнется, а Владимир Петрович и пошел писать, да ведь так все расскажет, что Гордей Евстратыч только глазами захлопает: у него в голове читает, как по книге, да еще прибавит от себя всегда такое, что Гордей Евстратыч диву только дается, как он сам-то раньше этого не догадался... А винную часть Владимир Петрович так произошел, что и говорить было нечего: все по копейке вперед рассчитал, на все своя смета, везде первым делом расчет, даже где и кому колеса подмазать и всякое прочее, не говоря уж о том, как приговоры от сельских обществ забрать и как с другими виноторговцами конкуренцию повести.

Головинский зорко присматривался к брагинской семье, особенно к Татьяне Власьевне, и, конечно, не мог не заметить того двоившегося впечатления, которое он производил на старуху: она хотела верить в него и не могла, а между тем она была необходима для выполнения великих планов Владимира Петровича. После долгого раздумья и самого тщательного исследования вопроса со всех его сторон и со всех точек зрения Головинский пришел к тому заключению, что теперь можно нанести последний решительный удар, чтобы «добыть старуху», как выражался про себя делец.

Однажды, когда Владимир Петрович остался с глазу на глаз с Татьяной Власьевной, они разговорились.

— Давно я хочу вам сказать одну вещь, бабушка... Можно мне так называть вас, Татьяна Власьевна?

— Зови, коли глянется...

— Я простой человек, бабушка Татьяна, и люблю других простых людей. Так вот я смотрю на вас и часто думаю, что у вас чего-то недостает в доме... Так? Не денег, не вещей, а так... поважнее этого.

— Да чего же еще-то, милушка?.. Слава Христу, не можем, кажется, пожаловаться...

— Нет, не то... Постороннему человеку, бабушка Татьяна, это виднее. Я часто думаю об этом и решился высказать вам все откровенно. Вы не обидитесь на меня? Я в этом был уверен... Видите ли, какая вещь... Гм... Одним словом, я думаю о вас, бабушка Татьяна. Ведь вам подчас очень невесело приходится, и я знаю отчего. Виноват... Сначала я скажу вам, как вы ко мне лично относитесь и что думаете теперь. Вы мне не совсем доверяете... Да? Дескать, черт его знает, что у него на уме, у этого стрекулиста, приехал из городу, поселился и хочет подмазаться к нашим денежкам...

— Что вы, Владимир Петрович, Христос с вами?!. Да я, милушка... Ах, какие вы слова выговариваете!

— Будемте начисто говорить, и я прямо вам скажу, что вижу все это, понимаю и не обижаюсь. Для вас я действительно посторонний человек, а чужая душа — потемки... Так? Да вы не стесняйтесь, бабушка Татьяна, дело житейское: я говорю только, что вы думаете. Ну, так и запишем... Вас особенно смущает то обстоятельство, что̀ мы затеваем с Гордеем Евстратычем? Да? Он не говорит никому ничего потому, что дал мне честное слово не болтать. Вот и все... Я человек осторожный и не люблю бросать слов на ветер, а тем больше хлопотать напрасно. Гордея Евстратыча я знал в городе, как хорошего человека, потому ему и доверился, а теперь вызнал вас, бабушка Татьяна, и, кажется, могу вам довериться вполне.

Головинский подробно рассказал свою встречу с Гордеем Евстратычем и свои намерения насчет винной части. Он ничего не скрыл, ничего не утаил и с свой-

ственным ему великим тактом тонко расшевелил дремавшую в душе бабушки Татьяны корыстную жилку. Заманчивая картина, с одной стороны, а с другой — самые неопровержимые цифры сделали свое дело: бабушка Татьяна пошла на удочку и окончательно убедилась, что Владимир Петрович действительно хороший человек.

— Теперь возвратимся к тому, с чего начали, то есть что я хотел давно сказать, бабушка Татьяна, — продолжал Головинский, переводя дух. — Я с первого раза заметил, что у вас есть какое-то горе, а теперь знаю его и могу вам помочь, если вы хотите. Одним словом, вас мучат, бабушка Татьяна, ваши натянутые отношения к вашим родственникам, то есть к Савиным и к Колобовым. Вы считаете себя правыми, и они тоже; они мучатся от этого за своих дочерей, а вы вдвое, потому что эти дочери у вас постоянно перед глазами. И Гордей Евстратыч давно бы помирился с ними, да только случая не выпадало. Собственно, и не ссорились, вероятно, а так, ваше золото всех смутило... Я был в этом уверен. Вот самим и не помириться никогда, а тут нужно постороннего человека, который на все взглянул бы здраво, без всякого предубеждения. Хотите, я все устрою? Помирю и вас и Гордея Евстратыча со всей вашей родней?

— Владимир Петрович, милушка, да как это тебе на ум-то все это пришло... а?.. Ведь ты бы нас всех облагодетельствовал!..

— Мне просто жаль ваших невесток, жаль Гордея Евстратыча, а главным образом — жаль вас, бабушка Татьяна... *Для вас* специально все устрою!.. Не легко это достанется, а устрою...

Старуха испытующе посмотрела на своего собеседника, покачала своей седой головой и решительно проговорила:

— Нет, милушка, ничего тебе не устроить...

— Да уж вы только мне позвольте, а там мое дело: моя голова в ответе...

— А как ты это устроишь?

— Опять мое дело...

Тронутая этим участием и прозорливостью Владимира Петровича, бабушка Татьяна рассказала ему подробно о том, как она, вкупе с о. Крискентом, хотела устроить такое примирение, воспользовавшись «гласом девственности», а вместо того только загубила Феню. При этом воспоминании Татьяна Власьевна, конечно, всплакнула и сквозь слезы, вытирая свои потухшие глаза кончиком передника, проговорила:

— Ты еще не знаешь Матрены-то Ильинишны, так и говоришь так, а попробуй-ка. И Агнея Герасимовна: она только на вид простой прикидывается. У нас тут есть одна старая девушка, Марфа Петровна, так она мне все рассказала, что говорят про нас у Колобовых-то да у Савиных.

— Ага... Так. А я вам скажу, что эта девушка Марфа Петровна, вероятно, страшная сплетница, она вас и рассорила окончательно: вам наговорит про Колобовых да про Савиных с три короба, а им про вас. Вот сыр-бор и загорелся. Да уж вы только позвольте мне...

После долгого колебания Татьяна Власьевна, наконец, изъявила свое согласие, чего Головинский только и добивался. Он на той же ноге отправился к Колобовым и Савиным, а вечером пришел к бабушке Татьяне и немного усталым голосом проговорил:

— Ну, бабушка Татьяна, говорите: слава богу! Все устроил... Завтра с Гордеем Евстратычем вместе поедем сначала к Колобовым, а потом к Савиным. Матрена Ильинишна кланяется вам и Агнея Герасимовна тоже... Старушки чуть меня не расцеловали и сейчас же к вам приедут, как мы съездим к ним с визитом.

Это известие так поразило Татьяну Власьевну, что она в немом изумлении минут пять смотрела на улыбавшегося Владимира Петровича, точно на нее нашел столбняк. Даже было мгновение, что старушка усомнилась, уж не оборотень ли пред ней... И так просто: съездил, поговорил — и все как по маслу.

— Только для вас, бабушка Татьяна! — повторял Головинский, потирая руки.

XX

Итак, двухлетнее «разделение» Брагиных с родней благодаря ловкому вмешательству Головинского закончилось миром. Старикам надоело «подсиживать» друг друга, и они с радостью схватились за протянутую руку.

— Да что он вам говорил-то, Матрена Ильинишна? — спрашивала Татьяна Власьевна, угощая в своем доме сватью Колобову и сватью Савину.

— Да почесть и разговору особенного не было, Татьяна Власьевна, — объяснили старухи, — а приехал да и обсказал все дело — только и всего. «Чего, говорит, вы ссоритесь?» И пошел и пошел: и невесток приплел, и золото, и Марфу Петровну... Ну, обнаковенно всех на свежую воду и вывел, даже совестно нам стало. И чего это мы только делили, Татьяна Власьевна? Легкое место сказать: два года... а?.. Диви бы хоть ссорились, а то только и всего было, что Марфа Петровна переплескивала из дома в дом.

— Вот-вот, это самое и есть... Марфа-то Петровна и была заводчицей всему делу!

Помирившиеся старушки были рады свалить вину на Марфу Петровну; Головинский предвидел такой оборот дела и с особенной тщательностью обработал именно этот пункт. Теперь оставалось только помириться с Пазухиными и с Зотушкой; но Зотушка явно избегал возможности сближения, а мириться с Пазухиными после проделок Марфы Петровны, в которых, несомненно, должна была принимать участие и Пелагея Миневна, нечего было и думать. Раньше бабушка Татьяна не теряла надежды уладить как-нибудь дело Нюши и Алешки Пазухина, а теперь она сама была против этого брака, благо и девка стала забывать понемногу: девичье горе да девичьи слезы, как вешний дождь, — высохнут. Разговорам старушек не было конца. Когда исчерпаны были все подробности и отдельные эпизоды недавнего разделения, они принялись рассматривать те обновы, какие завелись в брагинском доме. Татьяна Власьевна вытащила все, что «милушка» успел накупить в последнее время на ярмарках в городе. Сватьи рассматривали, ценили и ахали от

изумления, потому что все было такое дорогое, на барскую ногу: столовое и чайное серебро, мебель, ковры и т. д. Особенно восторг старушек возбудил отдел белья и платья, потом дорогие подарки Гордея Евстратыча снохам, Нюше и самой Татьяне. Соболья шубка Нюши, золотой «прибор» Ариши, парчовый сарафан бабушки, брильянтовые серьги, которые подарил Гордей Евстратыч Дуне за маленькую Таню, — все было осмотрено и облюбовано с приемами записных знатоков своего дела. Старушки с наслаждением ощупывали руками дорогие материи и не могли оторвать глаз от золота, заставлявшего их завистливо вздыхать.

— Чего говорить, богатые вы нынче стали, Татьяна Власьевна, — говорила Матрена Ильинична, испытывавшая особенное волнение. — Рукой скоро не достать... Дом вон какой начали подымать, пожалуй, еще почище шабалинского выйдет.

О всем было переговорено, все было перемыто до последней косточки, и только никто ни единым словом не обмолвился о Фене Пятовой, точно она никогда не существовала... Этого черного пятна не мог смыть с брагинского золота даже сам Владимир Петрович. В первое, за состоявшимся примирением, воскресенье собрались в церкви и Брагины, и Савины, и Колобовы, так что эта картина мира окончательно умилила о. Крискента и он попробовал сказать слово на текст: «Что добро или красно, еже жити, братие, вкупе», но не мог его докончить — слезы радости душили его, и старик, махнув рукой, удалился в алтарь. А виновник этого общего торжества, то есть Владимир Петрович, стоял тут же в церкви в великолепном пальто и небрежно крестил его лацканы своими торопливыми барскими крестиками.

— Ну, всем ты взял, Владимир Петрович, а молиться не умеешь, — началила Головинского после обедни бабушка Татьяна, — точно в балалайку играешь... А я еще думала, что ты к старой вере был привержен!..

Головинский порядочно зажился в Белоглинском заводе, подготовляя дело. Между прочим, он успел по-

бывать и у Шабалина и у Пятова, а зачем туда ездил — бог его знает. «Уж такой, видно, у него характер, — решила про себя Татьяна Власьевна, — пошел бы да поехал...» Старуха и не подозревала, что примирением с Колобовыми и Савиными Головинский сразу убил двух зайцев: во-первых, повернул на свою сторону самое Татьяну Власьевну, а во-вторых, расчистил дорогу Гордею Евстратычу, когда придется хлопотать по винному делу и брать приговоры от волостных обществ. Савины и Колобовы были люди влиятельные и много могли помочь успеху дела.

— Мы с двух сторон возьмем, — объяснил Головинский начинавшему сомневаться Гордею Евстратычу, — вы будете здесь орудовать, а я в городе. Оно, как по маслу, все и сойдет...

Нужно сказать, что ...ская губерния была по части винной забрана в сильные руки одной могучей кучки виннозаводчиков, которые вершили все дела по-своему. Пробиться в этот заколдованный круг представляло непреодолимые трудности, и целый ряд неудачных попыток в этом направлении мог бы охладить всякого, но только не Владимира Петровича. Во главе винных тузов стояла одна персона из херсонских греков, некто Жареный, который спаивал всю ...скую губернию и выплачивал казне одного акцизу несколько миллионов. Владычество его являлось государством в государстве; он был всесилен в качестве кабацкого патриарха и не допускал никого к своему золотому руну. В его руках были сосредоточены тысячи невидимых нитей, которыми было опутано все кругом, а он сидел в своей паутине и блаженствовал, как присосавшаяся пиявка. Гордей Евстратыч стороной слыхал о великой силе Жареного и впадал в невольное уныние, когда припоминал свои жалкие сто тысяч, которые он выдвигал против всесильного водочного короля, окруженного вдобавок целой голодной стаей своих компатриотов, которым он позволял пососать в свою долю.

— Сумлеваюсь я насчет этого Жареного, — не раз говорил Брагин Владимиру Петровичу. — Пожалуй, не угоняться за ним... Утопит?..

— Ничего, не утопит, — уверял Головинский, — уж я все устрою. Мы смажем салазки и Жареному. Вы только приговор от общества возьмите...

Устроив свои дела в Белоглинском заводе, Владимир Петрович укатил в город, напутствуемый общими благословениями, как добрый гений. Даже Матрена Ильинична высказалась о нем в том роде, что «истинно господь послал нам этого Владимира Петровича!» Брагин, не теряя дорогого времени, круто повел дела и сам принялся объезжать заводы и деревни, где хотел взять за себя кабаки по общественным приговорам; центром действия был, конечно, Белоглинский завод. На счастье Брагина, осенью кончались сроки приговорам, и он рассчитывал повернуть все по-своему, а для этого не скупился, где нужно было, тряхнуть мошной. Расходы были обыкновенные: ведра два водки волостным старичкам, четвертной билет в зубы писарю и по таковому же старшине со старостой, а там известная откупная сумма «обчеству», смотря по выгодности пункта. В общей сложности расходы были довольно чувствительные и быстро унесли из брагинской казны тысяч двадцать пять, — а там нужно было делать всякое кабацкое обзаведение. Головинский повел дело не менее энергично и, вооруженный широкой доверенностью Гордея Евстратыча, пролезал через десятки игольных ушей уездной и губернской администрации. Нужно было во многих местах смазать административную машину, а потому являлись часто побочные расходы — угодить «винной генеральше» и т. д. Гордей Евстратыч получил подробные отчеты его неутомимых хлопот, причем все расходы Головинский делал на свой счет, и их сумма превышала даже расходы самого Гордея Евстратыча, который даже стеснялся такой щедростью своего тароватого компаньона.

В самый горячий момент этих трогательных усилий, когда все дело было уже на мази, Гордей Евстратыч получил от Головинского лаконическую телеграмму: «Все улажено, он дает отступных вдвое против наших расходов».

— Ну, шалишь, не на тех напал!.. — соображал Брагин, торжествуя легкую победу. — Мы сами с уса-

ми, чтобы на твои отступные позариться. Нашел глупых!..

Было открыто до двенадцати кабаков, и дело пошло горячо. Водка не чета даже железной торговле или хлебной, не говоря уже о панском товаре: всегда тебе «мода» на эту водку, — только получай денежки. На железо да на хлеб цены все-таки меняются, иногда совсем бывает застой в делах, а по винной части все хорошо: урожай — народ пьет с радости, неурожай — с голоду. Про заводских да про приисковых рабочих и говорить нечего: они только водкой и держались при своем каторжном труде. Только одно было нехорошо в этой винной части — очень уж много расходов на первый раз: так в разные части и рвут, а доходы там еще собирай. Конечно, дело было верное, но все-таки как-то жаль расставаться с верными денежками. Головинский несколько раз приезжал в Белоглинский, осматривая кабаки, и все тянул деньги из Гордея Евстратыча. Дело не ждало, и отказать было неловко.

— Свои-то денежки я все ухлопал, — оправдывался Владимир Петрович, — теперь поневоле приходится тянуть вас... Потерпите, скоро барыши будем загребать. Это только сначала расходов много, а там пойдет совсем другое. Напустим мы холоду этому Жареному. Сам приезжал ко мне с отступными, и только не плачет.

Эти расходы заставляли Гордея Евстратыча крепко задумываться, и он несколько раз заводил о них речь с Татьяной Власьевной, которая всегда держала руку Владимира Петровича.

— Штой-то, милушка, уж этакой-то человек. Уж кому же после этого верить! — говорила старуха. — Вон отец Крискент, его дело сторона, а он прямо говорит: «Господь вам, Татьяна Власьевна, послал Владимира Петровича, именно за вашу простоту...» И Матрена Ильинична с Агнеей Герасимовной то же самое в голос говорят...

— Оно, конешно, мамынька; только вот денег-то больно много ухлопали мы: так и плывут...

— Потерпи, милушка. Как быть-то... Деньги дело наживное. А уж насчет Владимира Петровича ты даже

совсем напрасно сумлеваешься. Вон у него самовар даже серебряный, ковры какие, а дома-то, сказывают, сколько добра всякого... Уж ежели этакому человеку да не верить, милушка, так и жить на белом свете нельзя. На што наша Маланья, на всех фукает, как старая кошка, а и та: «Вот уж барин, так можно сказать, что взаправский барин!»

Постройка нового дома к первому снегу вчерне была кончена, хотя поставить стропила и покрыть крышу не успели. Дом вышел громадный, даже больше шабалинского, и Гордей Евстратыч думал только о том, как его достроить: против сметы везде выходили лишние расходы, так что вместо пятнадцати тысяч, как первоначально было ассигновано, впору было управляться двадцатью. А между тем на руках у Гордея Евстратыча денег оставалось все меньше и меньше, точно они валились в какую прорву. С винной частью Гордей Евстратыч опять запустил свою панскую торговлю, во всем положившись на Михалку, который постоянно сидел в лавке. Архип разъезжал вместе с отцом по волостям, где открывались новые кабаки, и вел всю счетную часть. Между тем выручка в лавке все убывала, особенно когда Гордею Евстратычу приходилось уехать куда-нибудь недели на две. Татьяна Власьевна давно сметила, в чем дело, но покрывала Михалку, чтобы не поднимать в семье нового вздору; Михалко крепко зашибал водкой, особенно без отца. Кроме того, в Белоглинском заводе снова появился Володька Пятов, и его часто видали в брагинской лавке, а это была плохая компания. Ариша ходила с заплаканными глазами, но Татьяна Власьевна уговорила ее потерпеть.

— Уж как быть-то, голубушка, такое наше женское дело, — успокаивала она невестку, — теперь вот у нас мир да благодать, а ежели поднять все сызнова — упаси владычица! Тихостью-то больше возьмешь с мужем всегда, а вздорить-то, он всегда вздор будет... подурит-подурит Михалко и одумается. С этим Володькой теперь связался — от него вся и причина выходит...

Савины и Колобовы, конечно, знали о Михалкиных

непорядках, но крепились, молчали, чтобы не расстроить только что заварившейся дружбы. Агнея Герасимовна потихоньку говорила Арише то же, что ей говорила Татьяна Власьевна, прибавляя в утешение:

— Ты еще благодари бога, что Михалко-то одной водкой зашибается, а вон Архип-то, сказывают, больно за девками бегает... Уж так мне жаль этой Дуни, так жаль, да и Матрены-то Ильинишны! Только ты никому не говори ничего, Ариша, боже тебя сохрани!

Дуня была совсем другого темперамента, чем Ариша, и точно не хотела замечать ничего: ей было лень даже шевельнуться, и она после первого ребенка сильно начала толстеть... К детям снохи относились не одинаково: Ариша не могла надышаться на своего Степушку, а Дуня иногда даже совсем забывала о существовании маленькой Тани. Гордей Евстратыч относился к невесткам ласково, но немного дулся на Аришу, потому что она всегда напоминала ему о разрыве с Порфиром Порфирычем. Ариша очень неловко чувствовала себя каждый раз в присутствии свекра, сознавая себя виноватой, хотя Гордей Евстратыч не сказал ей ни слова о том, что сам думал. Но раз, когда Гордей Евстратыч пришел откуда-то навеселе, он поймал Аришу в комнате одну и проговорил:

— Ну, Ариша, ты все еще на меня сердишься?.. А я так ни на кого не сержусь... и глаза закрыл, будто ничего не вижу. Все вы меня обманываете... Помнишь Порфира-то Порфирыча? Ничего я тебе не сказал тогда, все износил... Потом вы зачали меня с Михалкой обманывать... А разве я слеп?.. Все знаю, все вижу и молчу... Вот каков я человек есть, и ты это, Ариша, должна чувствовать. Да...

— Я вас не обманываю, тятенька... — проговорила Ариша, краснея до ушей.

— Не обманываешь? А куда Михалко выручку девает? А кто покрывает Михалку, когда он без меня домой пьяный приходит?.. Все хороши...

Гордей Евстратыч нехорошо засмеялся, и этот вызывающий смех заставил Аришу вздрогнуть. Его, покрытое розовыми пятнами, улыбавшееся лицо было ей хорошо знакомо: она не забыла последней сцены в

лавке и теперь не знала, как себя держать: уйти — значит, показать, что она подозревает Гордея Евстратыча в дурных намерениях, остаться — значит, подать ему повод сделать какую-нибудь новую глупость. Эта нерешительность и испуг Ариши забавляли Гордея Евстратыча, и он, разглаживая свою подстриженную бороду, сделал по направлению к невестке несколько нерешительных шагов и даже протянул вперед руки.

— Ну, помиримся, Ариша, — говорил он. — Да иди ко мне, не бойся: не кусаюсь... Не хочешь?.. Не любишь?.. Ха-ха... Постой, змея, ты от меня все равно не уйдешь!

Молчание Ариши еще сильнее разозлило Гордея Евстратыча, и он, схватив ее за руку, с сверкавшими глазами прошептал:

— Слышишь, что я тебе сказал?.. Я ничего не забыл... Выбирай из любых.

Бедная Ариша тряслась всем телом и ничего не отвечала, но, когда Гордей Евстратыч хотел ее притянуть к себе, она с неестественной силой вырвалась из его рук и бросилась к дверям. Старик одним прыжком догнал ее и, схватив за плечи точно железными клещами, прибавил:

— Ты у меня только пикни, я тебя задушу своими руками... Добра моего не чувствуешь, так узнай зло!

— Тятенька... побойтесь бога...

— Убирайся, дура!..

Ударом кулака Гордей Евстратыч вышвырнул невестку за дверь, а сам заходил по горнице неровным шагом.

План действий быстро созрел в голове Гордея Евстратыча: подсчитав Михалку по лавке, он взял его к себе, а в лавку опять посадил Аришу. Татьяна Власьевна боялась грозы, но Гордей Евстратыч обошелся с Михалкой очень милостиво и даже точно не хотел ничего видеть.

— Ты у меня, смотри, не дури... — коротко заметил Брагин сыну. — Не умел в лавке сидеть, так, может, у меня на глазах лучше будешь, а то мы с Архипом совсем замаялись.

Бедная Ариша, как и другие, не могла себе объяснить, зачем Гордей Евстратыч милует Михалку, и вместе с тем отлично понимала, зачем посадили ее опять в лавку. От страха она старалась не думать о будущем и со страхом ждала каждого нового дня. Но и здесь её ожидания не оправдались: Гордей Евстратыч не заглядывал совсем в лавку, точно совсем забыл о ней, хотя Ариша и не верила этому, подозревая какую-нибудь ловушку. А план Гордея Евстратыча был очень несложен. Володька Пятов болтался в Белоглинском и от нечего делать, наверно, будет шататься в лавку к Арише. Брагину этого только и нужно было, и он не ошибся в своих расчетах. Володька Пятов, воспользовавшись отсутствием своего закадычного друга Михалки, опять принялся ухаживать за Аришей, которой даже бежать от него было некуда. Она сразу очутилась между двух огней. Воспользовавшись таким удобным случаем, Гордей Евстратыч через третьи руки натравил Михалку на жену. Пьяный Михалко, застав в лавке Володьку Пятова, накинулся на жену и отколотил ее всенародно. Скандал вышел страшнейший. Ариша вернулась домой вся в синяках и даже не искала ни у кого защиты, потому что все равно ей никто не поверил бы, даже родная мать. Дело получило самый щекотливый оборот: Татьяна Власьевна держала сторону Михалки, Агнея Герасимовна только плакала, не смея защищать опозоренную дочь. Дома Михалко, подстрекаемый отцом, еще прибавил жене, не оставив у ней на теле живого местечка.

— Что, не вкусно носить мужнины-то побои? — смеялся Гордей Евстратыч над избитой невесткой. — Я тебя везде достану, змея... Теперь уж все знают, какая у тебя вера-то!.. Ха-ха... А скажи слово, — все будет по-твоему.

Ариша молчала, не желая сказать «слова». Это был вызов на отчаянную борьбу, и Гордей Евстратыч еще сильнее привязывался к неподдававшейся невестке. Чтобы окончательно доконать ее, он с дьявольской изобретательностью напустил на Аришу сладкогласного о. Крискента, который должен был обратить заблудшую душу на путь истины.

Не добившись цели одним путем, Брагин пустил в ход другую политику: он начал везде таскать за собою Михалку и свел его с такой компанией, где тот совсем закружился. Гордей Евстратыч делал вид, что ничего не замечает, и относился к сыну с небывалой нежностью, и только одна Ариша понимала истинную цену этой отцовской нежности: отец хотел погубить сына, чтобы этим путем добиться своего. Дело кончилось тем, что Михалко начал пить формальным запоем, как пил Зотушка, и в пьяном виде выкидывал всевозможные безобразия. А Гордей Евстратыч нарочно посылал его в город на целые недели с разными поручениями и не жалел денег, чтобы Михалко пожил в свою долю в настоящей компании. Скоро до Белоглинского завода дошли слухи о подвигах Михалки в городе, где он безобразничал напропалую, и только один Гордей Евстратыч не хотел ничего знать. Даже когда Татьяна Власьевна келейно передала ему эти слухи, он только улыбнулся и проговорил:

— Вздор, мамынька... Мало ли про нас что болтают с зависти! Всех не переслушаешь, мамынька.

— Вот каков у тебя муженек-то! — рассказывал Гордей Евстратыч безответной Арише о подвигах Михалки. — А мне тебя жаль, Ариша... Совсем напрасно ты бедуешь с этим дураком. Я его за делом посылаю в город, а он там от арфисток не отходит. Уж не знаю, что и делать с вами! Выкинуть на улицу, так ведь с голоду подохнете вместе и со своим щенком.

Ариша как-то тупо отмалчивалась и даже не плакала.

Наступившее рождество прошло очень невесело в брагинском доме, хотя Колобовы и Савины бывали в нем для порядку. Всем было тяжело, а всех тяжелее Арише, которая видела кругом себя общее недоверие и самые несправедливые подозрения. Конечно, Михалко пьянствовал от худой жены — вот общий приговор, который разделялся всеми. От хороших жен мужья не бегут к арфисткам... Даже приехавший Владимир Петрович, которому были все рады, точно он мог избавить брагинский дом от одолевавших его напастей, — и тот был бессилен. Впрочем, и сам Головин-

ский смотрел не совсем весело и подолгу советовался с Гордеем Евстратычем в своем флигельке. Дело было поставлено и пущено в ход, но Мойша Жареный не дремал и повел усиленную атаку против брагинских кабаков; агенты Жареного добывали какие-то приговоры, открывали кабаки напротив брагинских и отпускали водку не только дешевле, чем у Брагина, но еще в долг. Очевидно, Жареный торговал себе в убыток, чтобы только доконать непрошенных конкурентов.

— Ничего, нужно только теперь потерпеть, — утешал Головинский. — Скоро надоест Жареному понапрасну деньгами сорить... Он хочет нас запугать, а мы свою линию будем выводить.

Эти разговоры в переводе обозначали: денег нужно, милейший Гордей Евстратыч. Но Гордей Евстратыч уперся, как бык, потому что от его капитала осталось всего тысяч десять наличными да лавка с панским товаром — остальное все в несколько месяцев ушло на кабаки, точно это было какое-то чудовище, пожиравшее брагинские деньги с ненасытной прожорливостью.

— У меня больше нет денег, Владимир Петрович, — решительно заявил Брагин своему компаньону.

— Значит, мы пустим все дело ко дну...

— Уж как господь укажет... У Жареного миллионы, за ним не угоняешься.

— Можно и без денег обойтись, Гордей Евстратыч. Укажите мне хоть одно коммерческое предприятие, где все дело велось бы на наличные? Так и мы с вами сделаем: за кредитом дело не станет. Только выдайте мне специальную доверенность, а там уж я все дело устрою.

Гордей Евстратыч крепко задумался: с одной стороны — бросай все дело, с другой — залезай в долги, как другие коммерсанты. Посоветовался с мамынькой. Татьяна Власьевна успокаивала тем, что уж ежели Владимир Петрович советует, так, значит, дело верное и т. д. Самого Гордея Евстратыча сильно подмывало желание потягаться с Жареным и показать ему свою силу. После некоторого колебания Брагин выдал доверенность Головинскому, с которой тот и укатил в город.

Может быть, последнего Гордей Евстратыч и не сделал бы, если бы у него на уме не было своей заботы, которая не давала ему покоя ни днем, ни ночью, и он все время бродил точно в тумане.

XXI

Как-то после рождества, однажды вечером Татьяне Власьевне особенно долго не спалось. Старое, семидесятилетнее тело сильно «тосковало», старуха никак не могла укласть свои кости поспокойнее и все к чему-то точно прислушивалась. Ночь была ясная, месячная, морозная. Слышно было, как на улице скрипели полозья, как проезжали к фабрике углевозы и как хрипло покрикивали на лошадей полузамерзшие люди. Пропели вторые петухи, когда Татьяна Власьевна начала забываться, но этот тревожный сон был нарушен каким-то подавленным стоном. Вскочив с постели, Татьяна Власьевна бросилась к Нюше, но та спала ровным, спокойным сном, раскинув руки на подушке; старуха торопливо принялась крестить внучку, но в это время подозрительный звук повторился. Он походил на то, если бы человек усиливался крикнуть с крепко сжатым ртом. Теперь Татьяна Власьевна ясно расслушала, что этот звук донесся из каморки Ариши, где она спала одна с своим Степушкой. Первой мыслью старухи было то, что это непременно забрался к ним Володька Пятов, которого она видела третьего дня. Как была, на босу ногу, Татьяна Власьевна пошла к Аришиной каморке, захватив на всякий случай спичек; она никого не боялась и готова была вытащить Володьку за волосы. Когда она уже была в нескольких шагах от Аришиной каморки, там послышалась какая-то глухая борьба. Чиркнув наскоро спичкой о стену, Татьяна Власьевна остановилась в дверях этой каморки и с ужасом отступила назад: колеблющийся синеватый огонек разгоравшейся серянки выхватил из темноты страшную картину боровшихся двух человеческих фигур... Это была Ариша с разбитыми волосами и побагровевшим от напряжения лицом, на котором еще оставались белыми

пятнами следы от чьих-то железных пальцев. Ее за руки держал Гордей Евстратыч, весь багровый, с трясшимися губами. Увидав мать, Гордей Евстратыч бросился в дверь. По дороге он сильно толкнул мать и сейчас же заперся в своей горнице.

— Что же ты не кричала? — спрашивала Татьяна Власьевна, когда немного пришла в себя.

— Я кричала... он мне рот зажимал... — ответила Ариша.

У Ариши еще стояли в ушах страшные слова Гордея Евстратыча: «Ты у меня, змея, попомни Кокина... слышишь?» Это того Кокина, который зарезал родную внучку.

— Бабушка, он убьет Степушку... — прошептала Ариша и тихо заплакала.

Сдержанные рыдания матери заставили ребенка проснуться, и, взглянув на мать и на стоявшую в дверях с зажженной восковой свечой бабушку, ребенок тоже заплакал. Этот ребячий плач окончательно отрезвил Татьяну Власьевну, и она, держась рукой за стену, отправилась к горнице Гордея Евстратыча, который сначала не откликался на ее зов, а потом отворил ей дверь.

— Ты не глуми, мамынька... — говорил он в ответ на слезы и упреки матери. — Надо сперва еще разобрать дело-то. Может, тогда другое заговоришь. Ариша-то...

— Врешь!.. врешь!.. Побойся бога-то...

— Ей-богу, мамынька!

Старики ссорились часа два, а когда Татьяна Власьевна пошла к себе в комнаты, каморка Ариши была уже пуста: схватив своего Степушку и накинув на плечи Нюшину заячью шубейку, она в одних башмаках на босу ногу убежала из брагинского дома. Ясное дело, что она пошла к своим и там все разболтает сейчас же. Дело получит огласку и покроет позором всю брагинскую семью... А может, Ариша побежала топиться? Через пять минут Татьяна Власьевна, задыхаясь, бежала к колобовскому дому, не чувствуя тридцатиградусного холода, щипавшего ей лицо и руки. Завидев издали промигивавший сквозь ледяную мглу

морозной ночи огонек в нижнем этаже колобовского дома, Татьяна Власьевна перекрестилась: Ариша была дома. Чтобы окончательно увериться в этом, старуха добрела до самого колобовского дома и сквозь щель в ставне увидела Аришу, которая рассказывала все Самойлу Михеичу и Агнее Герасимовне. Все было кончено... Теперь уже никакими силами не остановить худой славы, которая молнией облетит вместе с зарей весь Белоглинский завод; теперь нельзя будет и носу никуда показать, все будут указывать пальцами... Что будет с Нюшей после такой славы? Что будут делать Михалко и Архип?.. Обратно Татьяна Власьевна брела целый час, разбитая, уничтоженная, огорченная; она не чувствовала своих старых слез, сыпавшихся у ней из глаз и сейчас же стывших на воротнике шубы. Срам, стыд, позор... И кто же все это наделал? Милушка, Гордей Евстратыч...

Дома Татьяна Власьевна застала всех вставшими. Дуня с маленькой Таней забралась к Нюше в комнату, и они заперлись даже на замок со страху. Ворота были отворены, в горнице Гордея Евстратыча было темно и тихо, как в могиле. Завидев бледную, посиневшую бабушку, Нюша и Дуня разревелись; они уже узнали, что Ариша убежала и отчего она убежала. Татьяна Власьевна, не раздеваясь, бессильно опустилась на первый стул и, закрыв глаза, сидела неподвижно, как статуя. Нюша боялась спросить ее, где Ариша и что с ней. Так они втроем просидели в одной комнате вплоть до свету, когда Маланья прибежала сказать, что приехал Самойло Михеич.

— Не надо... не пускай, — проговорила Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от своего раздумья.

Самойло Михеич долго стучался в ворота, грозил судом и проклинал Гордея Евстратыча на чем свет стоит. В окнах пазухинского дома мелькали любопытные лица; останавливались прохожие; двое мальчишек, перескакивая с ноги на ногу, указывали пальцами на окна брагинского дома.

— Выходи, снохач!!. Я с тобой рассчитаюсь сейчас же!.. — кричал неистово Самойло Михеич. — Эй, Гордей Евстратыч, что спрятался?..

Расходившийся старик колотил кулаками в стену брагинского дома и плевал в окна, но там все было тихо, точно все вымерли. Гордей Евстратыч лежал на своей кровати и вздрагивал при каждом вскрикивании неистовствовавшего свата. Если бы теперь попалась ему под руку Ариша, он ее задушил бы, как котенка.

Через час весь Белоглинский завод уже знал о случившемся. Марфа Петровна успела побывать у Савиных, Пятовых, Шабалиных и даже у о. Крискента и везде наслаждалась величайшим удовольствием, какое только в состоянии была испытывать: она первая сообщала огромную новость и задыхалась от волнения. Конечно, Марфа Петровна успела при этом кое-что прибавить, кое-что прикрасить, так что скандал в брагинском доме покатился по всему Белоглинскому заводу, как снежный ком, увеличиваясь от собственного движения.

— С ножом бросился на Аришу... вот сейчас провалиться!.. — уверяла у Шабалиных Марфа Петровна. — А она, Ариша-то, как вырвалась от Гордея Евстратыча, так в одной рубахе и прибежала к своим-то... Нарочно ходила к ним и своими глазами видела Аришу: как Гордей Евстратыч душил ее, как у ней и теперь все пять пальцев так и отпечатались на лице. Он и Степушку хотел зарезать, да старуха помешала... А Михалки дома нет, он в городу. И Архип тоже... А как Самойло-то Михеич их срамил утром: «снохач!» — так и ревет у ворот, а сам на стены кидается.

У Шабалиных Марфа Петровна услыхала другую, не менее интересную новость, которую ей рассказал сам Вукол Логиныч, именно, что Брагины разорились на кабаках. Шабалин только что вернулся из города, где и слышал эту новость.

— Влетел, как кур во щи! — хохотал Вукол Логиныч. — Вперед наука... Вздумал тягаться с Жареным... Ха-ха... Да тут весь наш Белоглинский завод выворотить, так всех наших потрохов не достанет. Это его Головинский отполировал...

Шабалин на этот раз не лгал. Действительно,

Гордей Евстратыч сейчас после удаления ругавшегося старика Колобова получил от Головинского такую телеграмму: «Нужно пятьдесят тысяч. Иначе мы погибли». Достать такую сумму нечего было и думать, и Гордей Евстратыч понял, что он теперь разорился в пух и прах. Он показал телеграмму матери и торопливо начал одеваться.

— Ты куда? — сурово спрашивала Татьяна Власьевна.

— В город, мамынька... — коротко ответил Гордей Евстратыч, натягивая в рукава оленью доху. — Надо... не знаю, ничего не знаю, мамынька... мы разорились... Прощай, мамынька... Береги Нюшу...

Даже не простившись с дочерью, Брагин вышел из комнаты и в сенях лицом к лицу встретился с Матреной Ильиничной, которая испуганно отшатнулась от него, как от зачумленного. Они постояли друг против друга несколько мгновений. Потом Гордей Евстратыч бросился во двор и торопливо вышел на улицу. Он пошел прямо к знакомому ямщику, велел заложить лучшую тройку и через полчаса был на дороге в город. Шел легкий снежок, мороз быстро спадал, ямщик лихо правил тройкой, которая быстро неслась по избитой ступеньками широкой дороге, обгоняя попадавшиеся обозы. Гордей Евстратыч лежал в кошевой на охапке сена и безучастно смотрел по сторонам, точно человек, который медленно и тяжело просыпался после сильного хлороформирования. За ним гнались страшные тени и призраки. Мертвая Феня, какой он видел ее в последний раз в гробу, отчаянно защищавшаяся Ариша, плакавшая в своей горенке Нюша, убитая горем мамынька с ее посиневшим страшным лицом.

В это время в брагинском доме происходила такая сцена. Матрена Ильинична сидела в комнате Татьяны Власьевны, не снимая шубы, и говорила своей сватье:

— Я пришла за Дуней, Татьяна Власьевна...

— Не пущу, — коротко ответила Татьяна Власьевна.

— Пустишь... Вы тут снох режете, а мы будем на вас глядеть. Есть и на вас суд, сватья...

— Все-таки не пущу. У Дуни есть муж, это его дело... Гордей Евстратыч уехал в город, я не могу без него.

— Силком уведу, ежели добром не отдашь.

— А суд?

— И суд будем судить... Найдем и на вас управу. Снохачей-то и на суде не похвалят. Дуняша, оболокайся...

— Дуня, не смей, а то прокляну.

— Дуня, оболокайся, пусть клянет: грех на моей душе...

Старухи повздорили и сильно разгорячились.

— Ариша напраслиной обнесла Гордея Евстратыча... — говорила Татьяна Власьевна. — Перед богом ответит.

— Ладно, ладно... Будет вам снох-то тиранить. Кто Володьку-то Пятова к Арише подвел? Кто Михалку наущал жену колотить? Кто спаивал Михалку? Это все ваших рук дело с Гордеем Евстратычем... Вишь, как забили бабенку! Разве у добрых людей глаз нет... Дуняша, оболокайся!.. А то я сейчас в волость пойду или станового приведу... Душу-то христианскую тоже не дадим губить.

Татьяна Власьевна испугалась станового и покорилась. Дуня на скорую руку оделась во что попало, закутала маленькую Таню в шубу и ушла за матерью. У ворот их дожидалась лошадь. В брагинском дому осталась теперь только Татьяна Власьевна с Нюшей да кривая Маланья, которая выла и голосила в своей кухне, как по покойнике. Нюша сидела с ногами на своей кровати и, казалось, ничего не понимала, что творилось кругом; она была свидетельницей крупного разговора споривших старух и теперь даже не могла плакать. Ей тоже хотелось бежать из этого проклятого дома, но куда?!. Девушка боялась даже бабушки, которая ходила по комнатам, как помешанная, и торопливо прибирала все в сундуки, щелкая замками.

— Нюша... где ты? — спрашивала Татьяна Власьевна, вспомнив о внучке.

— Я здесь, бабушка...

— Чего ты смотришь: прибирай скорее!.. — заворчала на нее Татьяна Власьевна, сваливая на руки Нюши ворох снятых скатертей, из которых выкатились на пол два медных подсвечника. — Да поворачивайся... Чего ты глаза-то вытаращила?

Нюша машинально подобрала валившиеся из рук скатерти и продолжала смотреть на бабушку испуганными остановившимися глазами. Татьяна Власьевна только теперь догадалась, что Нюша слышала весь разговор Матрены Ильиничны.

— Нюша, что с тобой, милушка?..

— Бабушка... родимая...

Нюша с рыданиями повалилась на свою постель, обхватив обеими руками сунутые ей бабушкой скатерти. Но это молодое горе не в состоянии было тронуть Татьяны Власьевны, и старуха уверенно проговорила:

— Не верь, милушка, никому не верь... Зря все болтают, а с Ариши взыщет господь за напраслину.

— Бабушка, да ведь недаром же Ариша-то убежала ночью?..

— Со злости убежала она, со злости, милушка... И всех нас напраслиной обнесла, за наше-то добро.

Татьяна Власьевна теперь сама верила своим словам и тому, что ей говорил Гордей Евстратыч об Арише. Конечно, она его затащила к себе в каморку, а потом нарочно закричала, чтобы показать свекра снохачом: этим и хотела покрыть свой грех с Володькой Пятовым. Хитра змея... Чем дольше думала в этом направлении сходившая с ума старуха, тем она сильнее убеждалась в правоте напрасно обнесенного сына. Статошное ли дело, чтобы Гордей Евстратыч стал заниматься такими мерзостями... Конечно, его подвела Ариша, а Аришу научили другие, те же Пазухины. Им это на руку... Гляди-ко, как поднялся даве Самойло-то Михеич, чуть зубами не грызет ворота, а сам кругом виноват — вырастил дочь-потаскушку.

Этот ряд мыслей парализовался известием о разорении. Татьяна Власьевна плохо поняла в первую минуту значение этого страшного слова, и только теперь оно представилось ей во всей своей реальной обстановке,

со всеми подробностями. Едва ли она испугалась бы в такой степени, если бы ей объявили смертный приговор, — тогда погибла бы она одна, а теперь все кругом нее рушилось, и точно даже шатались стены батюшкина дома. Кстати, Татьяна Власьевна припомнила, что на той неделе выпал кирпич из батюшкиной печи и что потом она видела сряду три дня во сне эту печь: печаль и вышла... Уж это всегда так бывает, что печь видят к печали да горю.

— Надо все прибирать... скорее прибирать! — говорила вслух Татьяна Власьевна, торопливо обходя все горницы и собирая все, что попадалось под руку, чтобы спрятать и запереть в сундуки.

Можно было подумать, что старый брагинский дом охвачен огнем и Татьяна Власьевна спасала от разливавшегося пожара последние крохи. Она заставила и Нюшу все прибирать и прятать и боязливо заглядывала в окна, точно боялась, что вот-вот наедут неизвестные враги и разнесут брагинские достатки по перышку. Нюша видела, что бабушка не в своем уме, но ничего не возражала ей и машинально делала все, что та ее заставляла.

— Гляди-ко, Нюша, ведь это у Пазухиных из-за косяка подглядывают за нами, — говорила Татьяна Власьевна. — Марфа Петровна... Этакая злыдня!.. Нюша, милушка, где у нас ложки-то серебряные?

— В шкафу, бабушка...

— Ах, грех какой! Да ведь шкаф-то стеклянный, все видно... Тащи все в сундук, а то как раз...

В открытые сундуки, как на пожаре, без всякого порядка укладывалось теперь все, что попадало под руку: столовое белье, чайная посуда, серебро и даже лампы, которые Гордей Евстратыч недавно привез из города. Скоро сундуки были полны, но Татьяна Власьевна заталкивала под отдувавшуюся крышку еще снятые с мебели чехлы и заставляла Нюшу давить крышку коленком и садиться на нее.

— Оно вернее будет, как под замком-то, — говорила Татьяна Власьевна, связывая все ключи на одну веревочку.

XXII

Приехав в город, Брагин прежде всего отправился, конечно, к Головинскому, который встретил его с распростертыми объятиями и, подхватив под руку, с соболезнованием говорил:

— Что делать, Гордей Евстратыч... что делать!

— Да ведь вы меня разорили, Владимир Петрович?!. — сдерживая бешенство, отвечал Брагин. — У меня больше расколотого гроша нет за душой... Понимаете: гроша нет!!.

Головинский поднял плечи и брови и, расставив широко ноги, внушительным полуголосом повторил несколько раз одну фразу:

— Я тоже все потерял... Понимаете: решительно все!..

— Да ведь вы обещали мне золотые горы? — уже закричал Брагин, хватаясь за голову. — Вы меня обманули!!. разорили!!. Вы меня со всей семьей пустили по миру...

Брагин тяжело упал в кресло и рванул себя за покрытые сильной проседью волосы. С бешенством расходившегося мужика он осыпал Головинского упреками и руганью, несколько раз вскакивал с места и начинал подступать к хозяину с сжатыми кулаками. Головинский, скрестив руки на груди, дал полную волю высказаться своему компаньону и только улыбался с огорченным достоинством и пожимал плечами.

— Послушайте, Гордей Евстратыч... Вы напрасно волнуетесь, — мягко заговорил Головинский. — Этим делу не поможешь... Обсудимте лучше все дело хладнокровно. Если бы я действительно был виноват, я бы не был так спокоен... Нечистая совесть всегда скажется. Я даже не сержусь на вас, потому что вы находитесь в таком состоянии, что...

— Нет, я хорошо все понимаю... это разбой!.. дневной грабеж... А ты подлец из подлецов...

Сжав побелевшие губы, Гордей Евстратыч, как разъяренный бык, кинулся на Головинского с кулаками, но тот подставил ему стул и, отделенный этим барьером, даже не пробовал защищаться, а только

показал своему врагу маленький револьвер. Брагин завизжал от бессильного гнева, как лошадь, которую дерет медведь; он готов был в клочья разорвать своего спокойного компаньона, если бы не его страшная «оборонка».

— Поговоримте спокойно... — продолжал Головинский, предлагая Гордею Евстратычу стул. — Порядочные люди всегда поймут друг друга, и я надеюсь, что мы не разойдемся врагами.

— Да ты дьявол, што ли?!. — ревел Гордей Евстратыч на это дружеское приглашение. — Жилы хочешь тянуть из живого человека?!. Ободрал, как липку, а теперь зубы заговаривать... Нет, шабаш, не на таковского напал. Будет нам дураков-то валять, тоже не левой ногой сморкаемся!!.

— Успокойтесь, уважаемый Гордей Евстратыч... Это вредно для вашего здоровья... Поговоримте спокойно...

— Я тебе покажу, подлец, спокойно... У!.. стракулист поганый!.. Думаешь, я на тебя суда не найду? Не-ет, найду!.. Последнюю рубаху просужу, а тебя добуду... Спокойно!.. Да я... А-ах, Владимир Петрович, Владимир Петрович!.. Где у тебя крест-то?.. Ведь ты всю семью по миру пустил... всех... Теперь ведь глаз нельзя никуда показать... срам!.. Старуху, и ту по миру пустил... Хуже ты разбойника и душегубца, потому что тот хоть разом живота решит и шабаш, а ты... а-ах, Владимир Петрович, Владимир Петрович!!.

Понятное дело, что подобный разговор не мог ни к чему привести, и стороны расстались самым естественным образом, то есть Головинский, при содействии Егора и кучера, вытолкал бушевавшего Гордея Евстратыча из своей квартиры в шею. Выкинутый на улицу Брагин, не помня себя от бешенства, долго неистовствовал у подъезда. Он стучал ногами и кулаками в двери, оторвал от них массивную медную ручку в русском вкусе и так ругался и орал на всю улицу, что перед квартирой Головинского собралась целая толпа любопытного городского люда: кухарки, мальчишки, кучера, чиновник, возвращавшийся со службы, какие-то «молодцы» из лавки и т. д. Все пересмеивались и указывали пальцами на бесновавшегося старика.

— Православные... ограбил, зарезал!.. — кричал Брагин. — Будьте свидетелями... Я судиться буду!.. Я покажу...

Наругавшись досыта, пока не охрип, Гордей Евстратыч сел на извозчика и отправился прямо к адвокату, чтобы не терять дорогого времени. Он вспомнил одного черномазого адвоката из восточных человеков с желтыми глазами, по фамилии Спорцевадзе. Этот Спорцевадзе страшно размахивал руками и обладал красивым голосом, который гудел, как труба. «Вот этого зверя я и напущу на кровопийцу! — с особенным удовольствием думал Гордей Евстратыч, снимая и надевая на себя соболью шапку. — «Спокойно... здоровье испортите...» Я тебе покажу...»

На счастье Брагина, Спорцевадзе оказался дома. Он жил в собственном двухэтажном доме на Соборной площади, с дубовым подъездом и зеркальными стеклами. Швейцар в передней и приличная обстановка приемной произвели успокаивающее впечатление на Гордея Евстратыча, а когда вышел сам Спорцевадзе с своими желтыми глазами — он даже улыбнулся и подумал про себя: «Вот мы этого желтоглазого и напустим на кровопийцу...» Пока Брагин, сбиваясь и путаясь, передавал сущность своего дела, адвокат небрежно чистил свои длинные розовые ногти и только изредка взглядывал на клиента, а когда тот кончил, он коротко спросил:

— Так он вас до нитки обчистил?

— В одной рубашке пустил... Вот те истинный Христос!..

Адвокат улыбнулся этой наивной выходке, а потом, не переставая чистить ногтей, проговорил:

— Да, я слышал о вас... Что делать!.. Ловко вас обчистил этот Головинский... И главное, скоро — не тянул. Раньше-то вы чем занимались?

— Торговал панским товаром, ваше благородие.

Спорцевадзе пристально посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и подумал: «Ну, с этого взять нечего: гол как сокол...»

— Знаете, что я вам посоветую, — заговорил адвокат после короткой паузы, трогая щеточкой брильян-

товый перстень на руке, — я посоветую вам совсем бросить это дело...

— Как бросить?!. — вскипел Гордей Евстратыч, опуская руки.

— Да вы садитесь и поговоримте спокойно...

Это «спокойно» резнуло Брагина по сердцу, как ножом, но он скрепился и присел к письменному столу.

— Видите ли, какая вещь... — протянул Спорцевадзе, раздвигая ноги, как это делал Владимир Петрович. — Вы дали полную доверенность Головинскому. Да?.. Вот он, на основании этой доверенности, и нажег вас, а вам с него ничего не взять: дело велось со всеми необходимыми формальностями, так что вам решительно ничего не взять с своего компаньона. Мало ли торговых дел расстраивается, и лопаются не такие компании.

— Да ведь деньги-то, деньги-то мои, ваше благородие!!. Голеньких сто тысяч просадил я...

— И еще просадили бы сто, если бы были. На ловкого человека наткнулись. Ну, да это все равно. Мне, собственно, некогда с вами теперь долго разговаривать, а я дам вам один совет: спасайте последние крохи и займитесь опять своей панской торговлей.

— Да ведь у меня весь капитал уторкан в кабаки!

Спорцевадзе задумался, опять посмотрел на Брагина своими желтыми глазами и проговорил:

— Да, да... Это верно. Знаете, что я вам посоветую? Вас, собственно, утопил не Головинский, а Жареный... Так?

— А черт их разберет!..

— Нет, это верно. Поэтому, чтобы воротить хотя часть затраченного на кабаки капитала, я советую вам обратиться прямо к Жареному.

— Это к жидовину-то?..

— Успокойтесь, Моисей Моисеич совсем не жид, а грек и притом отличный человек. Он войдет в ваше положение, и, я уверен, даже, может быть, вы с ним устроите какую-нибудь сделку.

— Ну, уж это шабаш!.. Чтобы я пошел к жидовину — ни в жисть... Вот сейчас провалиться на этом самом месте!..

— Как знаете. Наша обязанность дать совет, а там уже ваше дело. Вы напрасно так предубеждены против Моисея Моисеича, — это отличный человек, и я уверен...

«Врешь, желтоглазый! Хочешь меня еще запятить к жидовину: ни в жисть!» — думал Гордей Евстратыч, выходя от адвоката.

От Спорцевадзе Брагин отправился к другому адвокату, от другого к третьему — но везде совет был один, точно все эти шельмы сговорились: так в один голос и режут. Дело выходило самое распоследнее. «Что же вы ко мне раньше не обратились!» — говорили адвокаты, завидуя хватившему куш Головинскому. И все посылают к Жареному... Это к тому самому Жареному, который пустил Брагина по миру! Гордей Евстратыч сначала не мог даже думать о таком унижении и готов был расколоться на несколько частей, только бы не идти к распроклятому «жидовину».

Только обойдя всех адвокатов, Брагин вспомнил, что Михалко и Архип были в городе, и отправился их разыскивать. Брагины всегда останавливались в гостинице с номерами для господ проезжающих, и отыскать их Гордею Евстратычу было не трудно. Михалко был дома, но спал пьяный, а Архип оказался в больнице.

— Зачем в больнице? — спрашивал Брагин вытягивавшегося пред ним лакея с салфеткой под мышкой. — Болен?

— А так-с... не то чтобы больны, а в этом роде.

— Да говори толком, окаянная душа.

— Гм... У Архипа Гордеича такая уж болезнь, так они теперь пользуются у дохтура.

Известие о «такой болезни» Архипа переполнило чашу, и Гордей Евстратыч не знал дальше, что ему делать, предпринять, даже что думать. В голове у него все вертелось и прыгало, как в испорченной машине, которую нельзя даже остановить. Здесь, в этом грязном трактирном номере, стены которого были пропитаны запахом водки, пива и табачного дыма, он теперь сидел, как оглушенный. Где-то щелкали бильярдные шары, в соседнем номере распевал чей-то надтреснутый

женский голос бравурную шансонетку, а Гордей Евстратыч смотрел кругом — на спавшего на диване Михалку, на пестрые обои, на грязные захватанные драпировки, на торчавшего у дверей лакея с салфеткой, и думал, — нет, не думал, а снова переживал целый ворох разорванных в клочья чувств и впечатлений. Мертвая Феня, убежавшая чуть не в одной рубашке Ариша, таявшая, как свеча, Нюша, пьяный Михалко, Архип с своей болезнью, Владимир Петрович с его «успокойтесь», адвокат Спорцевадзе, а там жидовин Мойша Жареный и позор, позор, позор... Что будет с Нюшей? Теперь и Пазухины глядеть на нее не захотят, — потому как взять девку из разоренного дома?

— Не прикажете ли чего-с?.. — спрашивал лакей.

— Как ты сказал?

— Говорю, не прикажете ли насчет водки...

— А-а... Ну, давай водки, графин водки... — точно про себя повторял Брагин и, улыбнувшись горькой улыбкой, прибавил про себя: «Чем ушибся, тем и лечись».

Выпив хороший графин водки, Гордей Евстратыч уснул тут же в номере, положив голову на стол. Он проспал чуть не двенадцать часов, а когда проснулся и немного пришел в себя, опять принялся обдумывать, что ему делать. К адвокатам идти было незачем. Подкрепившись двумя рюмками очищенной, Брагин решился сходить к знакомым золотопромышленникам: авось что присоветуют. Ум хорошо, два лучше того. Был у него один знакомый старик золотопромышленник, по фамилии Колосов, из раскольников. Вот к нему Брагин и отправился за советом; кстати, у этого старика были свои дела с Жареным, — может, словечко и замолвит по старой дружбе пред жидовином. Старик раскольник, убеленный серебряной сединой, отнесся к несчастью Брагина с большим участием и долго качал головой.

— Плохо, плохо, Гордей Евстратыч, — говорил Колосов, разглаживая свою окладистую седую бороду. — Эк тебя угораздило с этими кабаками... Уж и времена только!.. С живого кожу сдерут. А только Спорцевадзе тебе правильно посоветовал. Надо будет толкнуться к

Мосею Мосеичу, не выгорит ли что-нибудь. Пожалуй, дам тебе писульку на всякий случай.

— А без жидовина невозможно?

— Нет, нельзя... Силища этот Мосей Мосеич, его не обойдешь, как суженого. Может, и смилуется. Ох, только у всех этих иноплеменцев трудно вывертываться... Ну, да уж делать нечего, попытайся.

Взял Гордей Евстратыч от Колосова его писульку и с ней отправился пытать счастья к жидовину. Но добраться до Мойши Жареного было не так-то легко, как он думал. Этот кабацкий король являлся в город только по временам, а настоящую резиденцию имел на своих винных заводах, куда Брагин и отправился, хотя конец был немалый, верст в двести, пожалуй, не укладешь.

Моисей Жареный жил настоящим королем в своем поместье Бурнаши, которое расположено было на западном склоне Урала, где берут свое начало живописные притоки реки Белой. Это край той цветущей Башкирии, которую расхитили уфимские чиновники. Жареный купил свое именье от одного из таких счастливцев, которому досталось на долю до тридцати тысяч богатейшей земли. Чиновнику, а в особенности русскому чиновнику, земля то же, что слепому грамота, поэтому уфимские чиновники размотали свои наделы за четверть цены. Бурнаши славились своим красивым местоположением и целой сетью горных речек, которые бороздили башкирский чернозем. Когда-то башкиры здесь кочевали со своими кошами, а теперь дымились винокуренные заводы и кипела самая оживленная деятельность, превратившая жалкую деревушку Бурнаши в маленький городок, кишмя-кишевший греками, армянами, евреями и тому подобным людом, ютившимся около своего патрона. Издали можно было залюбоваться на бойкую картину, какую представляли Бурнаши даже зимой. Каменные дома, заводские постройки, ряды новых крестьянских изб — все говорило о новой жизни и новых людях. Недавняя пустыня точно проснулась под влиянием новой «цивилизации». Когда Брагин подъехал на почтовой тройке к селу светлым весенним деньком, он невольно залюбовался. Снег уже осел и

спекся в рыхлую, пропитанную водой массу; дорога почернела, в воздухе пахло обновляющей вся и все силой. Лес казался зеленее, но это был не тот дремучий лес, какой рос зеленой стеной около Белоглинского завода и на Смородинке: ели были пушистее, сосны ниже и развилистее, попадались березняки и осинники целыми островами.

Глядя кругом, Гордей Евстратыч невольно вспомнил про свою Смородинку, которая теперь стояла без всякого дела: старик еще раз пережил нанесенную ему Порфиром Порфирычем обиду и тяжело вздохнул. Эх, воротить бы прииск, не поехал бы он с повинной к этому жидовину с писулькой Колосова! Но пролитого не воротишь... А вон и первые избушки бурнашевских мужиков, вон и светленькие, с иголочки новенькие деревянные домики разных приспешников Жареного, вон и каменный дом самого Мосея Мосеича. Брагин сотворил про себя молитву и велел ехать на постоялый двор.

Добраться до Мосея Мосеича в Бурнашах было еще труднее, чем в городе, потому что нужно было пролезть через живую стену из самых отчаянных искариотов, смотреть-то на которых Гордею Евстратычу было тошным-тошнехонько. И каждая шельма оглядывает с ног до головы да выспрашивает: чей? откуда? по какому делу? и т. д. А потом окажется, что он не может провести к Мосею Мосеичу, надо спросить набольшего, а у набольшего еще набольший — целая лестница... Ходил-ходил старик по служащим, — все смотрят подозрительно и косятся, точно в чужое государство приехал, лопочут по-своему, ничего не разберешь. У Гордея Евстратыча воротило на душе от этих церемоний, и не раз ему хотелось плюнуть на все, даже на самого Мосея Мосеича, а потом укатить в свой Белоглинский завод, в Старую-Кедровскую улицу, где стоит батюшкин дом. Но делать было нечего: привела Маркушкина жилка Гордея Евстратыча в чужую дальнюю сторону, надо как ни на есть выпутываться из беды, как советовали адвокаты и старый Колосов.

«Уж если так галаганятся служащие, так сам-то Мосей Мосеич что сделает со мной? — не раз думал

Брагин, почесывая в затылке. — Ах, пес их задери совсем!..»

В Бурнашах Гордей Евстратыч проболтался целых три дня, прежде чем выхлопотал себе у самого набольшего аудиенцию Мосея Мосеича. Принарядился Брагин в свое модное платье, которое привез из Нижнего, расправил подстриженную бороду и скрепя сердце отправился в гнездо к самому жидовину, Мосею Мосеичу. Аудиенция была назначена по белоглинскому времени в обед, то есть в двенадцать часов дня. К парадным дверям, швейцарам и разным антре Гордей Евстратыч уже успел порядком привыкнуть, пока шатался по городским адвокатам, поэтому даже удивился, что и передняя и приемная у Мосея Мосеича были гораздо попроще, чем у Спорцевадзе. Швейцар вызвал лакея, лакей доложил барину; провели гостя в самый кабинет к Мосею Мосеичу. Навстречу Брагину из орехового кресла поднялся шустрый красивый старик с седыми длинными усами и ласково заговорил.

— Гордей Евстратыч Брагин? Да? Слышал... Очень приятно познакомиться. Вот сюда садитесь... Или нет, пойдемте сначала кофе пить.

Брагин вспомнил, как в первый раз пил кофе у Головинского, и, набравшись смелости, проговорил:

— Уж какие нам кофеи, Мосей Мосеич... Я вот насчет дельца своего к вам. Не задержать бы вас своими пустяками... Куда уж нам, мужикам, кофеи распивать.

— У меня в доме все равны, — мягко заметил Жареный, прищуривая свои ласковые темные глаза, глядевшие «наскрозь». — Пойдемте. Знаете русскую пословицу: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят»...

Жареный был бодрый, хорошо сохранившийся старик с таким приветливым, умным лицом. Брагин чувствовал, что он теперь нисколько не боится этого жидовина Мосея Мосеича, который куда как приветливее и обходительнее своих набольших. И одет был Жареный простенько, по-домашнему, гораздо проще, чем одевался в Белоглинском какой-нибудь Вукол Шабалин. Он провел гостя через ряд парадных комнат в светлую столовую, где за накрытым столом уж сидели две

дамы, какой-то мальчик и тот самый набольший, который устроил это свидание. Жареный отрекомендовал гостя дамам и сам усадил его на стул рядом с собой. Такое внимание жидовина даже обескуражило Гордея Евстратыча, особенно по сравнению с тем приемом, какой ему делал Порфир Порфирыч или Завиваев. Пока пили кофе, Жареный говорил за четверых и все обращался к гостю, так что под конец Гордею Евстратычу сделалось совсем совестно: он и сидеть-то по-образованному не умеет, не то что разговоры водить, особенно при дамах, которые по-своему все о чем-то переговаривались.

— Я давно слышал о вас и рад с вами познакомиться, — не унимался Мосей Мосеич. — Как-то мы с вами не встречались нигде. Я, кажется, от старика Колосова слыхал о вас... Да. Отличный старик, я его очень люблю, как вообще люблю всех русских людей.

Писульку Колосова Гордей Евстратыч передал самому набольшему еще раньше. Этот самый набольший очень не по душе пришелся Брагину: черт его знает, что за человек — финтит-финтит, а толку все нет. И глаза у него какие-то мышиные, и сам точно все чего-то боится и постоянно оглядывается по сторонам. За столом самый набольший почти ничего не говорил, а только слушал Мосея Мосеича, да и слушал-то по-мышиному: насторожит уши и глядит прямо в рот к Мосеичу, точно вскочить туда хочет. Брагин думал, что после кофе они пойдут в кабинет, и он там все обскажет Жареному про свое дело, зачем приехал в Бурнаши; но вышло не так: из-за стола Жареный повел гостя не в кабинет, а в завод, куда ходил в это время каждый день. Он держал себя, как и раньше, вежливо и предупредительно, объясняя и показывая все, что попадалось интересного. Обошли целый винный завод; побывали в том отделении, где очищали водку, и даже забрались в громадный подвал с рядом совсем готовых бочек, лежавших, как стадо откормленных на убой свиней. Гордей Евстратыч в первый раз был на винном заводе и в первый раз видел все процессы, как из ржи получалось зелено вино. Чаны с заторами, перегонные

кубы, дистилляторы, бочки, — везде была эта проклятая водка, которая окончательно погубила Брагина и которая погубит еще столько людей.

— Мы зайдем еще на конюшню, Гордей Евстратыч, — предлагал Жареный. — Да вы не устали ли? Будьте откровенны. Я ведь привык к работе...

— Нет, что вы, Мосей Мосеич, какое устал!..

— Мне хочется показать вам все свое хозяйство. Знаете, слабость у меня, старика... Извините уж.

Лошади у Жареного были все на подбор: целый завод, все тысячные рысаки. Даже Гордей Евстратыч залюбовался двумя вороными жеребчиками: куда почище будут шабалинского серого.

— А теперь о деле побеседуем, — говорил Жареный, направляясь к дому. — Пока говорим, и обед поспеет.

Обхождение Мосея Мосеича, его приветливость и внимание заронили в душу Брагина луч надежды: авось и его дельце выгорит... Да просто сказать, не захочет марать рук об него этот Мосей Мосеич. Что ему эти двенадцать кабаков — плюнуть да растереть. Наверно, это все Головинский наврал про Жареного. Когда они вернулись в кабинет, Брагин подробно рассказал свое дело. Жареный слушал его внимательно и что-то чертил карандашом на листе бумаги.

— Что же вы хотите от меня, Гордей Евстратыч? — спросил Жареный, когда Брагин кончил.

— А я насчет того, Мосей Мосеич, что не будет ли вашей милости насчет моих-то кабаков... Что они вам: плюнуть, и все тут, а мне ведь чистое разоренье, по миру идти остается. Уж, пожалуйста, Мосей Мосеич...

— Не могу... — сжав плечи, проговорил Жареный. — Нет, не могу. Что угодно, а этого не могу. И не просите лучше...

Как ни бился Брагин, как ни упрашивал Жареного, даже на коленях хотел его умолять о пощаде: тот остался непреклонен и только в угоду старику Колосову соглашался взять на себя все двенадцать брагинских кабаков, то есть все обзаведение, чтобы не пропадало даром, конечно, за полцены.

— Куда же вы, Гордей Евстратыч? — удивился Жареный, когда Брагин взялся за шапку. — А обедать?..

Гордей Евстратыч как-то равнодушно посмотрел на Мосея Мосеича, махнул рукой и молча вышел из его кабинета: Жареный показался ему злее самого злого жидовина.

XXIII

Домой, в Белоглинский завод, Гордей Евстратыч вернулся почти ни с чем, исключая своей сделки с Жареным, которая могла в результате дать тысячи три-четыре. Михалко приехал вместе с отцом, а Архип остался в городе «пользоваться» от своей болезни. Об убеге Ариши рассказала Михалке сама Татьяна Власьевна с необходимыми пояснениями и прибавками, причем оказалось, что бабенку расстраивали родные, вот она и придумала штуку.

— Мы ее через полицию вытребуем, мамынька, — решил Гордей Евстратыч, — Михалко подаст заявление, и конец тому делу.

— А Дуня где? — спрашивал Михалко.

— Она погостить отпросилась к своим, да что-то прихворнула там... — лгала Татьяна Власьевна с самым благочестивым намерением. — Архип-то скоро приедет?

— Там дельце одно осталось, так он с ним позамешкался малость, — обманывал в свою очередь Гордей Евстратыч, не моргнув глазом. — Надо нам развязаться с этим треклятым городом... Ну, а мы Аришу-то подтянем, ежели она добра нашего не хочет чувствовать.

В брагинском доме теперь было особенно скучно и мертвенно, точно в доме был покойник. Всем чего-то недоставало и всех что-то давило, как кошмар. Невестки, казалось, унесли с собой последнюю каплю того довольства и спокойствия, какое остается даже в разоренных домах. Разложение шло зараз извне и изнутри, и разрушающее действие этого процесса чувствовалось одинаково всеми, хотя Гордей Евстратыч

и бодрился и сам сел торговать в батюшкину лавку. Он теперь был занят, главным образом, планом того, как добыть Аришу, и затем, как показать над ней свою родительскую власть. От погрома по винной части у Брагина еще осталось тысяч десять, о которых никто не знал, и на эти деньги он думал понемногу поправиться, а там, из-за дела, можно будет подсмотреть какую-нибудь новую штучку. Отведав легкой наживы, старик скучал своей панской торговлей, и его так и тянуло пуститься в какое-нибудь рискованное дело. Недостроенный дом тоже немало смущал Гордея Евстратыча, точно бельмо на глазу: достраивать нечем, а продать за бесценок жаль. Да и совестно было перед другими, что затеял такую хоромину, а силенки и не прохватило; недостроенный же дом точно говорил всем о разорении недавнего тысячника Брагина.

Эти мысли и планы были нарушены приездом в Белоглинский завод плешивого старичка, который оказался адвокатом Масловым. Этот Маслов отыскал Гордея Евстратыча и предъявил ему целый ворох векселей, отчасти выданных самим Брагиным, а отчасти написанных по его доверенности Головинским. Об этих векселях Гордей Евстратыч как-то даже забыл совсем, а их набралось тысяч на пятнадцать, да притом платежи были срочные — вынь да положь. О переписке векселей старичок адвокат и слышать не хотел. Положение выходило самое критическое; выбросить адвокату последние десять тысяч — значит, живьем отдать себя, потому что, черт его знает, Головинский, может быть, там еще надавал векселей невесть сколько, а если не заплатить, тогда опишут лавку и дом и объявят банкротом. Думал-думал Гордей Евстратыч и порешил сходить сначала к Шабалину, не выручит ли поручительской подписью на векселях. Но Шабалин отказался наотрез, ссылаясь на крайнее безденежье. Брагин толкнулся еще к двум-трем знакомым толстосумам — то же самое; он даже побывал у Пятова и о. Крискента, но и там тот же самый отказ. Очевидно, его торговый кредит рушился навсегда, и никто больше ему не верил.

— Когда так, то я объявляю себя несостоятельным,

а там пусть судят! — решился Гордей Евстратыч на отчаянное средство. — Пусть все описывают...

— Наверно, у вас есть припрятанные денежки про черный день, — усовещивал Маслов, — а то ведь все пойдет с молотка за бесценок...

«Ишь, плешивая собака, носом чует последние денежки и хочет их вытормошить», — думал Брагин и остался при своем решении.

Теперь Гордей Евстратыч боялся всех городских людей, как огня, и по-своему решился спасти от них последние крохи. Он начисто объяснил свое положение дел Татьяне Власьевне, а также и то, что адвокаты выжмут из него всеми правдами и неправдами последние денежки, поэтому он лучше отдаст их на сохранение ей: со старухи адвокатам нечего будет сорвать, потому какие у ней могут быть деньги.

— А ты их припрячь, мамынька, да хорошенько припрячь, — учил Гордей Евстратыч, — после пригодятся. На твое имя откроем какую-нибудь торговлишку или на Дуню. Не все же будем бедовать...

— Да страшно, милушка... У меня этаких денег и в руках отродясь не бывало!

— Ты только спрячь, мамынька, и делу конец. Никому не сказывай...

Татьяна Власьевна взяла деньги, завязала их в узелок и с молитвой запрятала их туда, куда умеют прятать только одни старушки. Но с этими деньгами она взяла на плечи такое бремя, которое окончательно придавило в ней живого человека: старухой овладел какой-то непрерывавшийся ни на минуту страх и подозрение ко всем окружающим. Она даже начала бояться Нюши, не сторожит ли та ее. Она не знала покоя ни днем, ни ночью и даже вздрагивала, когда где-нибудь стукнет. Ценные вещи, как серебро и разные наряды, в ожидании описи, Татьяна Власьевна тоже успела попрятать по разным укромным уголочкам. Она теперь походила на мышь, которую в ее собственной норе медленно начинает заливать подступающая вода. Спрятанные сокровища мучили старуху, как мучит преступника его преступление, и она сотни раз передумывала, как бы лучше скрыть от всех глаз свои деньги. Иногда в са-

мую полночь ей вдруг приходило в голову, что она совсем не так спрятала, как следовало бы, и эта мысль гнала ее на двор, где она торопливо перепрятывала заветный узелок с деньгами. Расстроенное воображение рисовало Татьяне Власьевне самые ужасные картины расхищения своих богатств, и она часто просыпалась с холодным потом на лбу. Вместе со страхом росло в старухе чувство старческой жадности. Ей начинало казаться, что она ужасно много тратит денег на себя, и в видах экономии она убавляла поленья дров, нарезывала хлеб к обеду тоненькими ломтиками и походя ворчала на кривую Маланью, подозревая ее в тайных замыслах на хозяйское добро.

— Теперь ведь не прежняя пора... — брюзжала Татьяна Власьевна, как давший трещину колокол. — Пожалуй, этак наскрозь проедимся.

— Мамынька, уж ты тово... — замечал иногда Гордей Евстратыч, когда ему надоедало ворчанье старухи. — Прежде смерти не умрем.

— Нет, милушка, так нельзя, без понятия-то. Кабы раньше за ум хватились да не погнались за большим богатством, не то бы было... Вот выгонят из батюшкина дома, тогда куды мы денемся? Не из чего прохарчиваться-то будет уж.

Последствия протеста векселей не замедлили обнаружиться. В Белоглинский завод явился судебный пристав окружного суда и произвел опечатание лавки и всего имущества в брагинском доме; хотя брагинская семья была подготовлена к этому событию, но самый акт, обставленный известными формальностями, произвел на всех самое тяжелое и удручающее впечатление. Этот чиновник в мундире являлся чем-то вроде карающей руки беспощадной судьбы и той нужды, которая в первый раз постучалась в старый батюшкин дом. Красная казенная печать точно отметила собой первые жертвы. Конечно, опечатано было только имущество самого Гордея Евстратыча, а имущество других членов семьи осталось нетронутым, но, во-первых, как было различить это имущество, а во-вторых, при патриархальном строе брагинской семьи, собственно, все принадлежало хозяину, так что на долю сыновей,

Нюши и Татьяны Власьевны осталось только одно платье да разный домашний хлам. Знакомые советовали Брагину до описи вывезти свой товар из лавки, а также что было получше в доме, как новая мебель, ковры, посуда и т. п. Но Гордей Евстратыч не захотел так делать, как делают все другие банкроты, и упрямо отвечал на такие советы одной фразой:

— Нет, этого не будет: пусть зорят...

Во время описи он сам помогал приставу и указал на вещи, которые тот хотел не заметить.

— Нет, уж, пожалуйста, все печатайте, чтобы все форменно было, — говорил Гордей Евстратыч.

Такое поведение особенно огорчало Татьяну Власьевну, хотя она и не смела открыто «перечить» милушке, потому что он, очевидно, что-то держал у себя на уме. Михалко и Нюша присутствовали при этом, тоже относились ко всему как-то безучастно, точно эта опись их совсем не касалась.

— Кажется, все? — спрашивал пристав, когда все вещи были занесены в список и занумерованы.

— Теперь все чисто... — ответил Брагин с каким-то особенным злорадством, точно он радовался описи.

Пристав, толстенький добродушный господин, от души пожалел брагинскую семью, но, конечно, от себя ничем не мог помочь. Татьяна Власьевна, сохраняя исконный завет, угостила чиновника своей стряпней и оставшимися от прежнего богатства закусками и винами; в этом случае она победила одолевавшую ее скупость и на мгновение превратилась в прежнюю тароватую хозяйку, для которой гость составляет нечто священное. Это добродушие тронуло выпившего чиновника, и он еще раз пожалел, что Гордей Евстратыч не принял некоторых мер для предупреждения описи, как это делают другие.

— Дело житейское, — объяснил он. — Можно было бы любую половину припрятать, а после пригодилось бы про черный день...

— Нет, уж зачем же, ваше благородие, — отвечал Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. — Оно уж одно к одному...

— Как одно к одному?

— А так... Чтобы форменно было, ваше благородие. Зачем добрых людей обманывать.

Чиновник только пожал плечами. Поблагодарив за угощение, он отправился в обратный путь.

Наступившее лето прошло в хлопотах по делу о банкротстве. Приезжали какие-то чиновники из города, проверяли опись, выспрашивали, вынюхивали и отправлялись восвояси. Гордей Евстратыч тоже несколько раз ездил в город, куда его вызывали повесткой из окружного суда. Дело шло быстро к своей законной развязке. В последнюю свою поездку Брагин привез из города Архипа, который только что был выпущен из больницы: от прежнего красавца-парня осталась одна тень, так что Татьяна Власьевна в первую минуту даже не узнала своего внука. Лицо у Архипа было серое, волоса на голове вылезли, нос куда-то исчез, глаза с опухшими красными веками слезились, как у старика.

— Ну, мамынька, теперь мы совсем чисты будем, — объявил Гордей Евстратыч, — укцион будет... Все по молотку продадут.

Брагин как-то странно относился ко всему происходившему, точно он радовался, что, наконец, избавится от всех этих вещей с красными печатями, точно они были запятнаны чьей-то кровью. Он жалел только об одном, что все эти передряги мешали ему расправиться настоящим образом с убежавшими невестками, которые и слышать ничего не хотели о возвращении в описанный брагинский дом. Особенно хотелось расправиться старику с Аришей.

— Вот только нам с этим укционом развязаться, — говорил Гордей Евстратыч в своей семье, — а там мы по-свойски расправимся с этими негодницами... На все закон есть, и каждый человек должен закону покориться: теперь я банкрут — ну, меня с укциону пустят; ты вышла замуж — тебя к мужу приведут. Потому везде закон, и супротив закону ничего не поделаешь. Разве это порядок от законных мужей бегать? Не-ет, мы их добудем и по-свойски разделаемся...

Наступил и день аукциона, о котором за две недели было оповещено печатными объявлениями, расклеен-

ными в волости и на рынке. Одно такое объявление Гордей Евстратыч своими руками прибил на гвоздики к воротной верее. Опять приехал толстенький пристав с своим писарем и остановился прямо в брагинском доме, в Зотушкином флигельке, где год назад квартировал Головинский. Всего какой-нибудь год, и сколько воды утекло за это время... Гордей Евстратыч совсем поседел и часто повторял про себя в каком-то раздумье одну фразу: «Да, чисто разделали вы нас, Владимир Петрович... В полгода все оборудовали!» Это была насмешка над собственной глупостью и простотой, как умеет смеяться только один русский человек, когда он попадет в безвыходное положение.

С раннего утра в день аукциона в брагинском доме со всех сторон сходился народ — одни, с деньгами в кармане, поживиться на чужой счет, другие просто поглядеть. В батюшкиных горницах теперь суетилась густая толпа, с жадным любопытством осматривавшая опечатанные вещи и делавшая им свою оценку. Одни с соболезнованием покачивали головами и жалели, что столько добра за бесценок пойдет, а большинство думало только о себе, облюбовывая что-нибудь подходящее. Народ был все знакомый: заводские служащие, свой брат торговец и прасолы, богатые мастеровые и т. д. Особенно много было женщин, накинувшихся на аукцион, как саранча. Они галдели, как на рынке, смеялись и каждую вещь непременно старались пощупать, не доверяя глазам. В этих глазах светилось столько проснувшейся жадности поживиться чужим добром, захватить в свою долю дешевого товару, — благо никому запрету нет. В числе других шумела и толкалась бойкая Марфа Петровна, успевшая рассказать по десяти раз историю, цену и достоинство каждой вещи, — недаром она столько лет была в этом доме своим человеком. Гордей Евстратыч ходил тут же, здоровался с знакомыми с деловым видом и показывал назначенные в продажу вещи. Когда явился пристав и сел за столом с молотком в руках, толпа стихла и с напряженным вниманием ловила каждое движение неторопливо распоряжавшегося чиновника.

— Ореховая мебель, новая, малоподержанная, с голубой репсовой обивкой, — читал пристав с казенной интонацией свою опись, поправляя на груди свой значок. — Оценена сорок рублей.

В толпе легкое движение. Кряжистый подрядчик с опухшей физиономией пробирается вперед и накидывает полтину. Его соперником явился заводский надзиратель. После нескольких надбавок мебель, заплаченная сто двадцать рублей, пошла за сорок два с полтиной. В отворенных дверях стояла Татьяна Власьевна и следила за всем происходившим с тупой болью в сердце; она теперь от души ненавидела и надзирателя и этого подрядчика, который купил мебель за треть цены. За мебелью пошла посуда, на которую с особенным азартом накинулись женщины, потом платье — шубы, пальто, белье. Эти вещи были проданы чуть не по настоящей цене, бабы брали с бою всякий хлам. Когда очередь дошла до экипажей, лошадей и коров, денежная часть публики опять заволновалась и придвинулась ближе к столу. Все это пошло за бесценок, как на всех аукционах. Кривая Маланья тихо хныкала в своей кухне по пестрой телочке, которую выкармливала, как родную дочь; у Гордея Евстратыча навернулись слезы, когда старый слуга Гнедко, возивший его еще так недавно на Смородинку, достался какому-то мастеровому, который будет наваливать на лошадь сколько влезет, а потом будет бить ее чем попало и в награду поставит на солому. И будет лезть из кожи старый Гнедко, особенно в гололедицу, будет дрожать на морозе где-нибудь у кабака, пока хозяин пьянствует с приятелями.

Скоро из брагинских горниц народ начал отливать, унося с собою купленные вещи. Женщины тащили узлы с платьем, посуду, разный хлам из «домашности», а мужчины более тяжелые вещи. Подрядчик мигнул знакомым мастеровым, а те весело подхватили ореховую мебель, как перышко, — двое несли диван, остальные — кресла и стулья. Гордей Евстратыч провожал их до дверей и даже поздравил подрядчика с покупочкой.

— У нас уйдет, Гордей Евстратыч, — хрипло ответил подрядчик, надевая на голову картуз. — Когда лавку-то потрошить будете?

— Да, видно, завтра придется...

Гордею Евстратычу совсем было не жаль новых вещей, купленных им во время богачества, но, когда понесли батюшкину старинную мебель и батюшкину чайную посуду, сердце у него дрогнуло. Новые вещи, как новые друзья, наживное дело, а вот старинного, батюшкина добра жаль до смерти, точно каждая щепка приросла к сердцу. Да и как было не жалеть этих старых друзей, с которыми было связано столько дорогих воспоминаний: вон на этом стуле, который волокет теперь по улице какая-то шустрая бабенка в кумачном платке, батюшка-покойник любил сидеть, а вот те две чашки, которые достались жене плотинного, были подарены покойным кумом... Друзья уходили, а в брагинских комнатах, точно после пожара, водворилась печальная пустота, а пол был покрыт сором и следами сотни ног.

На распродажу товаров в лавке народу набралась тьма, так что пробиться к прилавку, за которым стоял пристав с своим молотком, представлялись почти непреодолимые затруднения. Большинство составляли, конечно, женщины, походившие сегодня на сумасшедших, простые бабы и жены служащих в заводе были воодушевлены одними желаниями. У самого прилавка стояла толстая попадья, которую давили со всех сторон, но она стоически выдерживала это испытание и только вытирала платком вспотевшее красное лицо. Бабенки попроще немилосердно работали локтями и даже головой, продираясь вперед, и начинали бойкую ругань между собою, встречая отпор. В числе других были и Матрена Ильинична, и Агнея Герасимовна, и Пелагея Миневна с Марфой Петровной; идти на аукцион в брагинский дом они посовестились и должны были произвести покупки через Марфу Петровну, зато теперь они могли вдосталь отвести душеньку. Панской батюшков товар шел за пятую часть цены, и материю расхватывали штуками: особенно дешево сошли самые дорогие ситцы, шерстяные материи и сукна. Гордей Евстратыч присутствовал на аукционе и все время

смотрел, как обезумевшие бабенки рвали батюшкин панский товар; он видел и Матрену Ильиничну и Агнею Герасимовну, которые набирали лучшие куски. Мелькнуло в толпе знакомое лицо шабалинской Варьки, которая совсем не нуждалась в дешевом товаре, а толкалась просто из любви к искусству. Жажда легкой наживы слила всех женщин в одно громадное целое, жадно глядевшее сотнями горевших глаз и протягивавшее к прилавку сотни хватавших рук, точно это было какое мифическое животное, разрывавшее брагинскую лавку на части. Что-то было страшное и безжалостное в этой толпе, которая с наслаждением разносила чужое богатство.

«Пусть все берут... все начисто!» — думал Гордей Евстратыч, продолжая наблюдать, как из батюшкиной лавки панский товар уплывал широкой пестрой волной.

— Тащите, зорите все, — шептал Брагин и улыбался страшной озлобленной улыбкой. — Обрадовались... Ха-ха!

Домой он вернулся с аукциона все с той же улыбкой, точно он сделал какое-то неожиданное открытие, которое приятно изумило его самого. Все тлен, все пустяки и везде ложь — вот общий вывод, к которому он приходил. Что жаловаться на Головинского или Жареного, когда свои старые дружки все отвернулись от Гордея Евстратыча, как только заслышали о его разорении... А теперь вон послали баб рвать остатки!.. Развязавшись с своим имуществом, Брагин точно почувствовал самого себя лучше, по крайней мере мог видеть бездну мерзостей, которая поглотила его.

— Мамынька, чисто все!.. — объявил матери Гордей Евстратыч и опять засмеялся. — Теперь только новый дом остался один. Его, сказывают, Шабалин присматривает...

Действительно, продажа товара из лавки и домашних вещей едва покрыла только часть долга. Оставалось еще доплатить тысячи две. Чтобы достать эту сумму, объявлены были торги на недостроенный брагинский дом, который на переторжке и остался за Вуколом Шабалиным; он стоил Брагину тысяч восемь, а ушел за тысячу восемьсот рублей, причем Шабалин

еще хвастался, что этой покупкой хотел вызволить старого благоприятеля. Оставались несчастные двести рублей, для уплаты которых приходилось продавать старый брагинский дом, но уж тут даже у адвоката рука не повернулась, и он позволил Гордею Евстратычу переписать один вексель.

— Теперь чисто, мамынька, — говорил Брагин, когда все эти передряги кончились. — Надо и о себе подумать. Наживали долго, промотали скоро... А греха-то, греха-то, мамынька... Сызнова придется начинать, видно, всю музыку, торговлишку и прочее.

В Гордее Евстратыче, под давлением этих испытаний, произошла громадная перемена, точно он стряхнул с себя вместе с богатством все одолевавшие его недуги, хотя прежнего Гордея Евстратыча уже не было. Умудренный и просветленный опытом, он все-таки не мог вернуть назад прежнего спокойствия. Самые беспокойные мысли одолевали его; он часто не спал по ночам и подолгу молился в своей горнице. Собственная неправда теперь встала перед ним с болезненной режущей ясностью; но прошлого не воротить, а впереди было темно, и Гордей Евстратыч точно ждал какой-то новой беды, которая окончательно доконает его, хотя теперь и бед ждать было неоткуда. Раз Брагин позвал к себе в горницу Татьяну Власьевну и спросил ее, куда она спрятала деньги, которые он отдал ей на сохранение.

— Какие деньги, милушка? — удивилась старуха.

— Как какие? А десять тысяч, мамынька...

Татьяна Власьевна сделала удивленное лицо, пожевала своими сухими губами и, разведя руками, кротко проговорила:

— Ты обмолвился, видно, милушка. Никаких я денег от тебя не бирала, окромя как по хозяйству...

— Мамынька, Христос с тобой!.. Да ты припомни: я тебе отдал деньги спрятать, а ты их еще в узелок завязала... Десять тысяч.

— Может, ты Владимиру Петровичу их отдал, а я не упомню, милушка...

Гордей Евстратыч вскочил с места, как ужаленный, и даже пощупал свою голову, точно сомневался в своем уме. А Татьяна Власьевна стояла такая спокойная,

глазом не моргнет, и попрежнему с изумлением смотрела на сына.

— Да ты шутишь, милушка? Ежели бы у тебя были такие деньги, так не стал бы с укциону все за бесценок спущать...

— Мамынька!.. И ты, как все... О господи!.. Мамынька, очнись!..

Несмотря ни на какие уговоры и увещания Гордея Евстратыча, Татьяна Власьевна заперлась на своем и не хотела ни в чем сознаться.

«Это в ней Маркушкино золото заговорило», — подумал Брагин, не веря еще своим глазам.

Он раскрыл рот и что-то хотел сказать матери, но в этот самый момент свалился на пол и только захрипел.

Ночью Гордей Евстратыч умер.

XXIV

После смерти Гордея Евстратыча брагинский дом совсем опустел и точно замер. Татьяна Власьевна перенесла потерю сына с христианской твердостью и с христианской же твердостью делалась все скупее и скупее, ко всем придиралась, ворчала и брюзжала с утра до ночи, так что на всех нагоняла смертную тоску. Посторонние люди теперь редко заглядывали к Брагиным, да и те, кто приходил, были не рады, потому что Татьяна Власьевна всех одолевала жалобами на свою бедность. Скупость старухи доходила до смешного, так что она всю семью просто сморила голодом. Даже кривая Маланья, и та потихоньку ворчала в своей кухне, прожевывая свою корочку черного хлеба, которой ее же и попрекали. С раннего утра Татьяна Власьевна поднималась на ноги и целый день бродила по дому, как тень, точно она все чего-то искала или кого-то поджидала.

— Совсем наша старуха рехнулась, — говорила Маланья, — чего шатуном-то бродит по горницам, как зачумленная... Прости ты меня, господи!..

Теперь во флигельке опять поселился Зотушка и занялся разным мастерством: стряпал пряники, клеил какие-то коробочки, делал ребятишкам свистульки — все

это продавал и деньги сполна отдавал матери. «Источник» пригодился семье в самую трудную минуту и почти один прокармливал семью своими художествами, потому что Михалко и Архип проживались в Белоглинском без всякого дела и вдобавок пьянствовали. Пьяный Михалко каждый раз исправно отправлялся к Колобовым, требовал Аришу и производил какой-нибудь скандал, а раз даже выбил все стекла в окнах. Впрочем, последняя штука была придумана Володькой Пятовым, который тоже болтался теперь в Белоглинском заводе, по обыкновению, без всякого дела и постоянно подбивал Михалку добывать жену, как еще советовал покойный Гордей Евстратыч. Михалко несколько раз ходил в волость и требовал, чтобы привели ему жену силой. Может быть, при самом Гордее Евстратыче и можно было устроить такой «оборот», но теперь волостные только подсмеивались над ругавшимся Михалкой. Колобовы были люди сильные и влиятельные, и против них идти было трудно. Архип даже не пытался воротить жену, и скоро исчез куда-то на прииск, куда его отрекомендовал Шабалин.

Между тем по Белоглинскому заводу ходили самые упорные слухи, что Брагины обанкрутились только для видимости, а деньги скрыли и теперь только прикидываются бедными, чтобы отвести глаза. Этому верили даже такие люди, которые слыли самыми обстоятельными и рассудительными. Когда о. Крискента спрашивали об этом щекотливом обстоятельстве, он, застегивая и расстегивая пуговицы своего подрясника, выражался очень уклончиво и говорил больше о том, что Гордей Евстратыч по церкви отсчитался начисто, хотя, конечно, и т. д. Главным источником, откуда расходились эти слухи, являлся шабалинский дом. Вукол Логиныч не стеснялся и всем говорил:

— Известная вещь: деньги у старухи, вон она как пришипилась. Ежели бы я до нее имел касательство, так небось все бы отдала. Знаем мы, какая такая ихняя бедность! Побогаче нас будут... Спасенная-то душа не глупее нас с вами, хоть кого проведет. Только понапрасну она деньги сгноит, вот чего жаль.

Варвара Тихоновна вполне разделяла мысли своего сожителя и постоянно настраивала Михалку против бабушки. Этой потерянной женщине нравилось этим путем донимать спасенную душу, отплачивая с лихвой за то презрение, с каким Татьяна Власьевна всегда относилась к «шабалинской наложнице». Михалко с своим другом Володькой Пятовым часто бывали теперь в шабалинском доме, особенно когда не было налицо самого Вукола Логиныча. Варвара Тихоновна не прочь была разыграть роль настоящей хозяйки дома, и она принимала молодых людей с такой же непринужденностью, как и «настоящие дамы», хотя и неоднократно была бита за такое «мотовство» пьяным Вуколом Логинычем. Эти бурные сцены обыкновенно заканчивались примирением, и Варвара Тихоновна еще успевала выпросить себе какой-нибудь ценный подарок, а за синяками и зуботычинами она не гналась, хотя всегда и высказывала очень логично ту мысль, что ведь она не законная жена, чтобы ее полосовать, как корову.

— А ты прямо на горло наступи старухе, — учила Михалку Варвара Тихоновна. — Небось отдаст деньги, если прижать ей хвост-то. Чего смотреть ей в зубы-то. Все в голос кричат, что Татьяна Власьевна спрятала деньги. Уж это верно, как в аптеке...

В одно прекрасное утро, после очень веселой ночи в шабалинском доме, Михалко отправился в сопровождении Володьки Пятова к бабушке, чтобы наступить ей на горло. Обоим было с похмелья, а Варвара Тихоновна для пущей бодрости не дала и опохмелиться. Лицо у Михалки было красное и опухшее, глаза налиты кровью, волосы взъерошены; Володька Пятов был не лучше и только ухмылялся в ожидании предстоящего боя со старухой. У него так руки и чесались на всякий скандал, а тем более на такой скандал, в результате которого могли получиться даже деньги. Михалко шел к родительскому дому в угрюмом молчании, потому что побаивался строгой бабушки, которая чего доброго еще бок, пожалуй, наколотит. В нем говорило то чувство инстинктивного страха, которое он усвоил еще с детства к большим. Брагинская семья держалась старинных правил, и большаки не давали потачки моло-

дятнику. Молодые люди, не снимая шапок, ввалились прямо в горницы, где была одна Нюша, и немного замялись для первого разу.

— Нам бы, Анна Гордеевна, бабушку Татьяну повидать... — начал первый Володька Пятов, раскланявшись с девушкой со всяким почтением, как прилично галантерейному молодому человеку.

Нюша сразу заметила по лицам обоих друзей, что они пришли не с добром, и попробовала спасти бабушку тем, что не сказала ее дома.

— Врешь, Нютка!.. — хриплым голосом оборвал ее Михалко, пошатываясь на месте. — Ты заодно с бабушкой-то, а у нас до нее дело есть.

Нюшу из неловкого положения выручила сама бабушка Татьяна, которая в этот момент вошла в горницу. Старуха прищуренными глазами посмотрела на замявшихся при ее появлении молодых людей и сухо спросила Михалку:

— Ты што это, милушка, спозаранку шары-то налил? [1] От какой это радости пируешь?.. Мы тут без хлеба сидим, а он винище трескает...

— А ты, бабушка Татьяна, не больно тово... — вступился Володька Пятов, чтобы придать бодрости пятившемуся Михалке. — Мы ведь к тебе по делу пришли...

— Какое-такое дело у вас может быть, прохвосты вы этакие! — закричала Татьяна Власьевна. — Да я вас в три шеи отсюдова. Вот позову Маланью, да кочергой как примусь обихаживать, только щепы полетят.

— А ты, бабушка, в самом деле не больно тово... не шеперься, — заявил с своей стороны Михалко, не желая показать себя трусом пред улыбавшимся приятелем. — Мы насчет денег пришли, тятенька которые оставил... Да! Уж ты как хочешь, а деньги подавай. Верно тебе говорю...

Вместо ответа Татьяна Власьевна, собрав остатки своих дряхлых сил, не с старческой живостью вцепилась в волоса Михалки обеими руками и принялась его таскать из стороны в сторону, как бабы вытаскивают из

---

[1] Шары по уральскому говору — глаза. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

гряды куст картофеля или заматеревшую редьку. Михалко совсем оторопел от такого приема и даже не защищался, а только мотал своей головой, как пойманная на аркан лошадь.

— Бабушка... а ты все-таки подда-ай деньги-то!.. — выкрикивал Михалко, продолжая мотать головой. — Верно тебе говорю... тятенькины ведь деньги-то!..

— Вот тебе тятенькины деньги, непутевая твоя голова!.. Вот тебе тятенькины деньги-то...

Растерявшийся Володька Пятов, привыкший к настоящему галантерейному обращению, стоял, разинув рот, и даже попятился к дверям, когда Татьяна Власьевна выразила явные признаки непременного желания познакомиться и с его кудрявой шевелюрой.

— Постой, шатун, я и до тебя доберусь... — кричала расходившаяся старуха, наступая на Пятова. — Давай-ка сюды свою-то пустую башку, я тебе расчешу кудри-то...

Попытка наступить на горло старухе и добыть от нее тятенькины деньги кончилась тем, что молодые люди обратились, наконец, в постыдное бегство, так что даже Нюша хохотала над ними до слез. Через несколько дней Михалко с Пятовым повторили свою попытку, но на этот раз Татьяна Власьевна просто велела Зотушке затворить ворота на запор.

— Подавай тятенькины деньги, старая грымза!!. — ругался Михалко, стуча в ворота палкой. — Мы тебя ужо так распатроним...

Скандал вышел на всю улицу, и как в тот раз, когда в брагинские ворота ломился Самойло Михеич, опять в окнах пазухинского дома торчали любопытные лица, и Старая-Кедровская улица оглашалась пьяными криками и крупной руганью.

Татьяна Власьевна, собственно, Михалка и Пятова не боялась ни на волос, но ее беспокоило то, что все толкуют о припрятанных тятенькиных деньгах. Значит, подозревают, главным образом, ее, и поэтому будут следить сотни глаз за каждым ее шагом, а потом чего доброго еще подпустят к ней каких-нибудь воров. Старуха тряслась, как в лихорадке, при одной мысли о возможности потерять свое сокровище и сделалась еще

осторожнее и подозрительнее. С другой стороны, ведь про всех банкротов болтают всегда одно и то же, то есть о спрятанных деньгах, — значит, на такую болтовню и внимания обращать не стоит, благо никто не знал о том, как покойный милушка передавал ей деньги. В видах осторожности Татьяна Власьевна перевела Зотушку из флигелька в батюшкин дом и поместила его рядом с своими горенками; «источник» перетащил за собой все свои художества и разложил их по разным полкам и полочкам, которые умел прилаживать с величайшим искусством. Тут были и птичьи западни, и начатая вязать мережка, и коллекция пищиков и дудочек для приманки птицы, и какие-то разноцветные стеклышки, лежавшие в зеленой коробочке вместе с стальным заржавевшим пером и обломком сургуча, и та всевозможная дрянь, которой обыкновенно набиты карманы ребят. Зотушка и походил на ребенка в своей детской обстановке и по целым часам был занят обдумыванием самых остроумных комбинаций, при помощи которых из окружающей его дряни получались разные мудреные диковинки. Собственно говоря, в своей странной детской работе старик являлся не ремесленником, а настоящим художником, создававшим постоянно новые формы и переживавшим великие минуты вдохновения и разочарования — эти неизбежные полюсы всякого творчества. Вероятно, в силу своих художественных задатков Зотушка и пил иногда горькую чашу, как это делают и заправские художники.

Перемену в матери и истинные причины такой перемены Зотушка знал и видел раньше других и с тем прозорливым инстинктом, который ему открывал многое. Конечно, у матери были деньги, в этом Зотушка не сомневался, и эти деньги были не батюшкины, а именно от проклятой Маркушкиной жилки, которая всю брагинскую семью загубила. Зотушка знал, что эти деньги появились у матери еще очень недавно и что они ее мучат и денно и нощно.

«Помутила нашу старуху Маркушкина жилка, — раздумывал про себя Зотушка, выстрагивая перочинным ножичком тонкую березовую зелинку для новой клетки. — Еще будет грех с этими деньгами... Фенюшку

загубили жилкой, братец Гордей Евстратыч от нее же ушли в землю, племяши совсем замотались, как чумные телята... Ох-хо-хо!.. Ох, неладно, мамынька, ты удумала!..»

Много раз Зотушка думал поговорить с мамынькой по душе, но все откладывал, потому что все равно никакого бы толку из этого разговора не вышло, и Зотушка ограничивался только разными загадками и притчами, которые при случае загадывал старухе. Между прочим, он особенно любил петь в длинные зимние вечера стих об «убогиим Лазаре»; пусть, дескать, послушает старуха и мотает себе на ус. Но старуха и не думала слушать пение Зотушки, зато слушала его Нюша, — придет с какой-нибудь работой в Зотушкину горенку, сядет в темный уголок и не шевелится, пока Зотушка дребезжащим голосом тянет свой заунывный стих, переливавшийся чисто монашескими мелодиями.

Между Нюшей и Зотушкой быстро установились самые короткие отношения, хотя между собой они разговаривали очень мало. Это было безмолвное соглашение: стороны читали между строк и отлично понимали друг друга. Раньше такого сближения не могло произойти из-за разницы возрастов, а теперь Нюша, умудренная горем, доросла вдруг до философского воззрения Зотушки на жизнь. И по наружности она мало походила на девушку, а скорее на молодую женщину; высокая, бледная, с тонким лицом, потерявшим девичью округлость линий, с матовой, почти прозрачной кожей, она точно перенесла одну из тех мудреных болезней, которые разом перерождают человека. Особенно хороши были у Нюши глаза — темные, глубокие, блестящие, они точно сделались больше и смотрели таким просветленным тихим взглядом, как у монахини. Даже Зотушка иногда любовался на свою племянницу и от души жалел ее, зачем такая красота вянет и сохнет в разоренном дому, который женихи будут обегать, как чуму.

— Зотушка, спой тот стих, помнишь, про старца? — просила однажды Нюша работавшего дядю.

Зотушка ничего не ответил, а, поискав что-то в своих коробочках, затянул стих, который так любила еще покойная барышня — Феня:

И-идет старец по-о-о до-роооге-е!..
Черноризец до по широоокой!..
Навстречу ему сам господь бог:
«О чем ты, старче, слезно плачешь?
Да и о чем ты возрыдаешь?» —
«Как мне, старцу, жить да не плакать:
Одолели меня злые мысли...»

— Я в скиты уйду, Зотушка, — проговорила Нюша, когда стих кончился.

— Погоди, не торопись, голубка... Мало ли что бывает: может, и другие мысли в голове заведутся вместо скитских-то. Не все же нам беду бедовать...

— Нет, Зотушка, я замуж не пойду. На других глядеть тяжело, не то что самой век маяться... Вон какие ноне мужья-то пошли, взять хоть Михалку с Архипом! Везде неправда, да обман, да обида... Бабенок жаль, а ребятишек вдвое.

— Ах, голубка, голубка... Разве Михалко да Архип такие бы были, если бы не подвернулась эта Маркушкина жилка? От нее все, весь грех — все от нее. Вон бабушка-то какая ноне ходит, точно угорелая...

— Зачем ты такие слова говоришь, Зотушка?

— А потому и говорю, что надо такие слова говорить. Разе у меня глаз нет? О-ох, грехи наши, грехи тяжкие!.. Эти деньги для человека все одно, что короста или чирей: болеть не болят, а все с ума нейдут.

— У бабушки-то какие деньги? Что ты, Зотушка, Христос с тобой...

— Ну, ну, не прикидывайся... Сама давно, поди, примечаешь, да только молчишь. И я тоже молчу, а тебе скажу.

Действительно, Нюша думала именно так, как говорил Зотушка, хотя боялась в этом признаться даже самой себе и теперь невольно покраснела, как пойманная. Но Зотушка сделал вид, что ничего не замечает, и затянул своего убогого Лазаря, который, покрытый струпьями, лежал у дверей ликовавшего в своих палатах богача.

«Неужели бабушка действительно утаила тятенькины деньги?» — думала девушка, слушая Зотушкин стих.

Вообще в брагинском доме катилась самая мирная жизнь, смахивавшая на монастырскую; скоро все к ней привыкли настолько, что прошлое начало казаться каким-то тяжелым сном. Но это мирное существование скоро было нарушено появлением Алены Евстратьевны, которая перед рождеством нарочно приехала проведать родных. Она была очень больна последние полгода и поэтому не могла приехать раньше. Первым делом, конечно, Алена Евстратьевна расплакалась и растужилась о покойном братце Гордее Евстратыче и своими причитаниями навела на всех такую тоску, хоть беги вон из дому. Особенно жалилась Алена Евстратьевна над Нюшей и оплакивала ее, как мертвую.

— Что это вы, тетенька, так убиваетесь обо мне, — удивлялась Нюша, — проживем помаленьку с бабушкой.

— А когда бабушка умрет, Нюша, тогда что? Вот то-то и есть... Твое девичье дело, куда ты денешься?.. Молоденькая да хорошенькая — не в монастырь же идти. Ох, не в пору вздумал братец умирать, надо бы тебя было сначала пристроить. Уж так нехорошо, так нехорошо!.. Как услышала я о смерти братца, так у меня сердце кровью и облилось... и братца-то жаль, а тебя, горюшку, вдвое!.. С этого самого еще пуще расхворалась. Думала, уж и на ноги не встану, а вот бог еще привел свидеться. Хоть погорюем вместе, все же оно легче. Все ведь, поди, от вас теперь отвернулись? Это уж всегда так бывает: к богатым, как к меду, льнут, а от бедных бегут. А вот своя-то кровь, Нюша, и скажется... Ведь не чужие вы мне, вот я и скрутилась к вам. Дома-то растворено-не-замешано, еще еле на ногах брожу, а сама к вам. Все сердечушко изболелось, думаю, хотя погляжу на них. И такая меня тоска взяла, такая тоска.

Алена Евстратьевна навезла из Верхотурья всякого припасу: муки, рыбы, меду, соленых грибов и сушеных ягод. Все это она сейчас же передала матери и скромно заметила, что «ваше теперь сиротское дело, где уж вам взять-то, а я всего и захватила с собой на всякий случай...»

— Спасибо, спасибо, что не забываешь нас, — благодарила Татьяна Власьевна, прибирая кульки, мешочки и бураки с разным припасом. — Наше дело куды какое небогатое, хоть по миру идти, так в ту же пору...

— Что вы, мамынька!!. А я-то на что? Хоть вы на меня прогневались тогда, ну, да я все забыла! Была и моя вина... Думаю, хоть теперь старушку покоить буду.

Татьяна Власьевна была рада неожиданной помощи, но ни одному слову модницы не верила и часто смотрела на нее испытующим оком. Зотушка тоже всполошился и, наговорив моднице колкостей, перебрался в свой флигелек со всем своим мастерством.

— Уж недаром прилетела наша жар-птица, — ворчал старик про себя, приколачивая свои полочки к покосившимся стенам флигелька. — Ишь, как она глазищами-то шмыгает по всему дому... Ох, неладно, больно неладно!.. Какую-нибудь моду привезла опять с собой наша Алена Евстратьевна.

«Наверно, об деньгах наслышалась — вот и пригнала, не пронюхает ли что на свою долю, — соображала Татьяна Власьевна, наблюдая свою модницу. — Только это уж вы, Алена Евстратьевна, даже совсем напрасно беспокоились...»

Сама Алена Евстратьевна и виду не показывала, что замечает что-нибудь, и только все льнула к Нюше и так обошла своими ласковыми речами девку, что та поверила и ее горю по братце, и слезам, и жалобным словам, какие умела говорить модница. Бабушка Татьяна была стара для Нюши, притом постоянно ворчала да охала; Зотушка был какой ни на есть мужчина, а тетенька Алена Евстратьевна была женщина, и ее женское участие трогало Нюшу, потому что она могла с этой тетенькой говорить о многом, что никогда не сказала бы ни бабушке, ни Зотушке. Модница быстро вошла в роль и под рукой успела выведать, что думает Нюша об Алексее Пазухине, а также кое-что и о бабушке Татьяне и обстоятельствах смерти братца. От ее внимания не ускользнуло то важное обстоятельство, что у братца с мамынькой был какой-то крупный разговор, а потом то, что бабушка Татьяна сильно скупится.

— А я ведь к вам неспроста приехала-то, мамынька, — объявила Алена Евстратьевна, пожив в Белоглинском с неделю и успев побывать везде.

— Вижу, что неспроста...

— Вину-то свою я хорошо помню.

— Какую вину?

— Ну, как я тогда расстроила свадьбу Нюши с Алексеем.

— Да, да... Вот теперь и полюбуйся! Кабы не ты тогда, так жила бы да жила наша Нюша припеваючи, а теперь вон Пазухины-то и глядеть на нас не хотят.

— Уж это обнаковенно, мамынька. Разе я этого не чувствую? Может, сколько слез выплакала за свою-то глупость.

— Так за каким делом-то приехала? Говори уж прямо, не разводи бобов-то...

— А такое и дело, мамынька, что хочу я исправить этот самый грех пред Нюшей. Хочу ей судьбу устроить... Есть у нас в Верхотурье один человек, Павел Митрич Косяков. Он раньше в становых служил, а теперь так, своими делами занимается. Очень оборотистый человек, маменька, и домик свой имеет. Хозяйство сам ведет и прочее всякое. Ну, он и видел как-то Нюшу в церкви, когда был в Белоглинском. Очень уж она ему по вкусу пришлась... Вот он и просил меня поразведать, что и как. И ведь какой человек-то, маменька! Молодой, красивый, рослый... Наши-то невесты за ним страсть гоняются, да он и глядеть на них не хочет, потому как ему свой вкус лучше знать.

— Да чем он занимается, не пойму я что-то?..

— Своими делами, мамынька... Ах, какие вы непонятные, маменька! Ведь это прежде было так, что тот и человек, кто на службе или ремеслом каким занимается, а нынче уж не то, нынче народ куда оборотистей пошел. Посмотрите-ка на богатых господ по городам, чем они занимаются? И сами не знают, а деньги так лопатой и гребут. Это кто с понятием, конечно, живет. А Павел Митрич на все руки: у него и прииск есть, и торговлишка маленькая, и по судам дела ведет. Больше по судам... Купец какой в пьяном виде нагрезит, сейчас

к Павлу Митричу: «Выправьте, Павел Митрич!» А Павел Митрич сейчас бумагу напишет, да сотенную и получит. Это за один час... Да недалеко сказать — Вукол Логиныч ему недавно двести рублей за одну корову заплатил. И ведь как просто дело все: искал золото Вукол Логиныч около одной деревни, да шахту и не завалил, а у одного мужика корова в шахту и свались. Ну, обнаковенно, мужик к Вуколу Логинычу: «Пожалуйте пятнадцать рублей за корову, потому как по закону вы шахту должны завалить». А Вуколу-то Логинычу это слово и не поглянись, что он его законом-то хотел пристращать. «Когда, говорит, такие слова со мной говоришь, двух копеек не отдам». Ну, мужик, обнаковенно, к мировому, а Вукол Логиныч к Павлу Митричу: «Тысячи не пожалею, только мужику не отдавать бы этих пятнадцати рублей». Мировой все-таки присудил взыскать с Вукола Логиныча, а Павел Митрич в съезд мировых — съезд то же присудил, что и мировой, а Павел Митрич в сенат... Ну, Шабалин-то ему уж двести рублей заплатил, да еще двести обещает. Вот как оборотистые-то люди, маменька, живут на свете: за чужую корову четыреста рубликов получит и не поморщится.

— Да про этакого человека, Аленушка, ровно страшно и подумать... Ведь он всех тут засудит! Если бы еще он из купечества, а то господь его знает, что у него на уме. Вон как нас Головинский-то обул на обе ноги! все дочиста спустил... А уж какой легкий на слова был, пес, прости ты меня, владычица!.. Чего-то боюсь я этих ваших городских...

— Ах, маменька, маменька, какие вы слова рассуждаете?.. Не все же плуты да мошенники по городам. Живу же я, не жалуюсь.

— Твое совсем другое дело: у тебя муж купец, ну, а эти оборотистые-то.

— Да вы, маменька, то подумайте: оборотистого, хорошего человека, который живет с настоящим понятием, вы боитесь, а того не боитесь, что вы сегодня живы и здоровы, а завтра бог весть... Не к тому слово говорится, маменька, что я смерти вашей желаю, а к примеру: все под богом ходим. Вот я и моложе вас, а чуть ноне совсем ноги не протянула...

— Это ты верно говоришь, Аленушка, я и сама часто о смертном часе думаю. Тоже мои года не маленькие; на семьдесят шестой перевалило... А все-таки страшно, Аленушка! Не знаем мы этого Павла Митрича, а чужая душа — потемки.

— Да ведь я-то его знаю, маменька! Так же вот отлично знаю, как вас... Уж если это не жених, так я уж не знаю. Ведь хотели же свалить Нюшу за Алешу Пазухина, а за этакого человека боитесь!.. А вы еще так подумайте: умерли вы, а Нюша осталась одна-одинешенька. И то надо сказать, мамынька, — договорила она жалостливо, — какие теперь ваши достатки: дай бог одну голову прокормить, да вам одним-то много ли надо! А Нюша все-таки девушка молодая, то да се, все расходы да расходы... Прямо сказать, выйди бы она замуж, вы жили бы в своей половине с Маланьей, а в горницы пустили бы квартирантов, а при Нюше и квартирантов-то пустить неловко: всякий про девку худое слово скажет... Чужой человек в дому хуже колокола.

— Не знаю, как уж тебе сказать-то, — уклончиво говорила Татьяна Власьевна, — ты бы привезла его хоть показать, нельзя же позаочь...

Алене Евстратьевне только этого и нужно было: она живо укатила в Верхотурье за оборотистым женихом.

XXV

Чтобы не уронить себя как сваху, Алена Евстратьевна заставила Татьяну Власьевну подождать и привезла жениха только после рождества. Павел Митрич Косяков оказался действительно видным, рослым мужчиной с красивым бойким лицом и развязными манерами; говорил он очень свободно и обращался с дамами необыкновенно галантерейно. И одет был Косяков с иголочки: все у него было новое, а на руках перстни «с суперпками» [1]. Золотые часы с тяжелой золотой це-

---

[1] Суперпками на Урале называются крупные драгоценные камни, преимущественно тяжеловесы. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

почкой и золотыми брелоками, золотые запонки у рубашки — все свидетельствовало самым неопровержимым образом об оборотистости Павла Митрича, так что Татьяна Власьевна осталась им очень довольна. И держал себя Косяков так скромно, обходительно, даже водки капли в рот не брал, а карт и в глаза не видывал. Только одно не нравилось Татьяне Власьевне в женихе: уж больно у него глаза были «вострые», так и бегают. Пожалуй, покойному Гордею Евстратычу такой жених и не поглянулся бы, да уж теперь такое дело подошло, что выбирать нечего, а Нюшу кормить да одевать нужно.

— Больно он глазами у тебя бегает, — объяснила свои сомнения моднице Татьяна Власьевна. — Знаешь, и лошадей когда выбирают, так обходят тех, у которых глаз круглый, больно норовистые издаются.

— Всем деревни не выбрать, маменька, а Павел Митрич об нас с вами не заплачет: посмотрит невесту и уедет. Ему только рукой повести, — как галок налетит. Как знаете, я не навязываю вам жениха, а только мне Нюши-то жаль... Это от сытости да от достатков женихов разбирают. Может, у вас где-нибудь припрятаны деньги, вот вы и ломаетесь надо мной.

— Да ведь я так сказала, к слову... Этакое ты, Аленушка, купоросное масло!.. Так и вертишь языком-то, как шилом.

Зотушка тоже пришел посмотреть на жениха и остался им недоволен по всем статьям.

— Привезла нам Алена Евстратьевна какого-то ратника, — ворчал он в своем флигельке. — Он, жених-от, вон как буркалами своими ворочает и еще прикидывается: «не пью!» Знаем мы вас, как вы не пьете, а только за ухо льете.

После необходимых переговоров и церемоний показали жениху и невесту, причем, конечно, о сватовстве не было и речи, а все говорили о самых посторонних вещах. Нюше жених тоже не понравился, хотя ее об этом никто и не спрашивал. Чтобы поднять свои курсы, Алена Евстратьевна пригласила о. Крискента в качестве эксперта, которому такие дела уж должны быть известны доподлинно, потому что в год-то он сколько

свадеб свенчает. Отец Крискент нашел как раз то, что желала Алена Евстратьевна, и, побеседовав с Павлом Митричем о разных духовных предметах, выразился о нем в разговоре с Татьяной Власьевной так:

— С головой человек.

— Сама вижу, отец Крискент, что не без головы, да только ведь в него не влезешь, — сомневалась Татьяна Власьевна. — Ведь не шуточное дело затевается.

— Совершенно справедливо изволите рассуждать.

Дело заварилось не на шутку и, при содействии о. Крискента, скоро было кончено: Нюша была помолвлена за Косякова. Эта новость облетела весь Белоглинский завод и еще раз сделала брагинскую семью героем дня, причем толкам и пересудам конца не было. Одни говорили, что Косяков богач и отличный человек, другие — что он прощелыга и прохвост, третьи — что женится — переменится, и т. д. В брагинском доме теперь шла настоящая сумятица, которую производили свадебные подруги Нюши; они шили, пели и наполняли дом беззаботным смехом. Присутствие Михалки и Володьки Пятова особенно одушевляло эту компанию, хотя Татьяна Власьевна и не особенно жаловала своих недругов, но уж случай такой вышел, что сердиться не приходилось. Павел Митрич держал себя, как и следует настоящему жениху: осыпал всех подарками, постоянно целовался с невестой и угощал встречного и поперечного. Но первая роль, конечно, принадлежала моднице Алене Евстратьевне, которая всеми верховодила и распоряжалась, как у себя дома. Она поспевала везде: все видела и ничего не забывала. Только одно было нехорошо на этой свадьбе-скороспелке: невеста была круглая сирота, и поэтому пелись все такие печальные песни, которые превращали свадьбу в поминки, да и невеста была такая скучная и часто плакала.

— Вот братец не дожили до такой радости, — говорила Алена Евстратьевна, — то-то они порадовались бы. Братец-покойник веселые были в компании... Другому молодому супротив них не устоять!..

Общее веселье отчасти омрачилось еще тем обстоятельством, что Зотушка жестоко запил и даже совсем исчез из дому неизвестно куда. Его, впрочем, и не ра-

зыскивали, потому что было не до того, — у всех хлопот было полон рот.

Молодых венчал, конечно, о. Крискент в только что отстроенной церкви, на которую Татьяна Власьевна когда-то таскала кирпичи. Народу было битком набито, и бабы поголовно восхищались счастливой парочкой. В этой пестрой толпе много девушек завидовали дикому счастью Нюши, которая подцепила такого жениха, а невеста стояла такая бледная, с опухшими от слез глазами, и венчальная свеча слабо дрожала в ее руках. Вечером в брагинском доме был устроен настоящий пир, на котором мужчины и женщины напились до безобразия. Молодых поздравляли, отпускали на их счет самые сальные шуточки, так что с Нюшей под конец сделалось дурно...

Татьяна Власьевна рассчитывала так, что молодые сейчас после свадьбы уедут в Верхотурье и она устроится в своем доме по-новому и первым делом пустит квартирантов. Все-таки расстановочка будет. Но вышло иначе. Алена Евстратьевна действительно уехала, а Павел Митрич остался и на время нанял те комнаты, где жил раньше Гордей Евстратыч.

— Я только на время, бабушка, на время, — говорил он для успокоения старухи. — Дела у меня здесь есть, так нужно будет развязаться с ними.

— Твое дело, тебе лучше знать, а я не гоню, — по возможности кротко отвечала зятю Татьяна Власьевна, хотя сама и ежилась.

Скоро возникли и первые недоразумения, поводом для которых послужили хозяйственные расчеты: Павел Митрич пил и ел с женой, занимал квартиру, а о деньгах и не заикался.

Так прошел весь медовый месяц. Павел Митрич оказался человеком веселого нрава, любил ездить по гостям и к себе возил гостей. Назовет кого попало, а потом и посылает жену тормошить бабушку насчет угощенья. Сам никогда слова не скажет, а все через жену.

— Да у него у самого-то языка, что ли, нет? — ворчит бабушка на Нюшу.

— Бабушка, да ведь там сидят чужие, осудят, пожалуй... — объясняла Нюша со слезами.

Татьяну Власьевну Косяков оставлял долго в покое, но тем тяжелее доставалось бедной Нюше, с которой он начал обращаться все хуже и хуже. Эти «семейные» сцены скрыты были от всех глаз, и даже Татьяна Власьевна не знала, что делается в горницах по ночам, потому что Павел Митрич всегда плотно притворял двери и завешивал окна.

Вынужденная истязаниями и беспрерывною нравственной пыткой, Нюша обратилась к бабушке Татьяне с просьбой о деньгах, но безуспешно. Татьяна Власьевна точно окаменела и выслушивала мольбы внучки совершенно равнодушно.

— Не умеешь просить, каналья! — ругался Косяков и отпускал Нюше за неудачную просьбу двойную порцию побоев.

Но на этом Павел Митрич не остановился, потому что слишком вошел во вкус своей семейной жизни. Безответность трепетавшей перед ним жены раздражала его, и он с мучительным наслаждением придумывал новые истязания. Теперь ему было мало этих келейных наслаждений, нужно было общество.

Чтобы выучить жену пить вместе со всеми водку, Косяков дал ей всего несколько уроков в спальне. Нальет рюмку, подаст Нюше и мучит ее до тех пор, пока она не выпьет.

— А вы знаете, Павел Митрич, что ваша жена влюблена? — спросила как-то раз Косякова Варвара Тихоновна. — Да, очень влюблена... Не догадываетесь? — допытывала она, досыта намучив гостя.

— Нет...

— А Алешка Пазухин?.. Ведь он сколько лет считался женихом Анны Гордеевны. Ну, тогда свадьба расстроилась из-за Гордея Евстратыча, так они теперь из-за вас свое берут... Уж это верно!.. Чтобы жена да не водила мужа за нос, да этому я никогда не поверю... никогда!..

Домой вернулся Косяков точно в тумане: теперь старуха у него была в руках, и он ее проберет... Да, отличная штука будет. По своему обыкновению, Павел Митрич ничем не выдал себя, и даже Нюша не заметила в нем никакой перемены. Он что-то долго обдумывал, а

потом разоделся в свои суперики и отправился знакомиться с Пазухиными, которые были удивлены таким визитом любезного соседа.

— Я давно к вам собираюсь, да все дела задерживали, — объяснил Павел Митрич с обычной своей развязностью. — Живем соседями, надо же познакомиться.

Сила Андроныч был дома и с любопытством рассматривал гостя, который был известен в Белоглинском заводе под именем Пашки Косякова или просто «ратник»; старик слышал кое-что о семейной жизни Нюши и крепко недолюбливал его, но человек пришел в гости — не гнать же его в шею. Косяков посидел, поговорил, а потом на прощанье усиленно просил пожаловать в гости к себе.

Знакомство их продолжалось недолго. Павел Митрич устроил своим соседям скандал, пригласив к себе гостей и в том числе Пазухиных. Когда гости собрались, Косяков обратился ко всем с такой речью, указывая на Алексея Пазухина:

— Это мой отличный сосед. Когда меня не бывает дома, Алексей Силыч любезничает с моей женой и заводит шашни. Они ведь старые знакомые, так им не привыкать обманывать добрых людей: раньше Анна Гордеевна обманывала своего тятеньку, а теперь обманывает меня.

— Врешь! — загремел Сила Андроныч и накинулся на «ратника». Произошла страшная свалка.

— Постой, кровопийца, я тебе покажу!.. — ревел Сила Андроныч, обрабатывая кулаками хрипевшего ратника. — Ты думаешь, на тебя и суда нет, разбойник двухголовый?.. Кровь чужую пьешь... Я тебя задушу, палача.

Только прибежавшая на шум Татьяна Власьевна кое-как усмирила Силу Андроныча и стащила его с избитого зятя.

— На твоей душе грех, старуха!.. — гремел расходившийся Пазухин. — Вы вдвоем загубили Нюшу и ответите за нее перед богом.

Косяков, потерпев поражение от Силы Андроныча, считал себя теперь вправе выместить гнев на жене и на Татьяне Власьевне.

XXVI

Зотушка все это время вел самый странный образ жизни и точно не хотел ничего знать, что делается в батюшкином доме. Он совсем не ходил в горницы, чтобы не встречаться с «ратником», и как будто избегал Нюши, которую всегда очень любил. Правда, Зотушка очень редко появлялся в своем флигельке и все пропадал где-то, хотя его не видали больше ни у Савиных, ни у Колобовых. О печальной жизни Нюши Зотушка, конечно, знал давно, хотя об этом и не говорил никому. Ни одна душа не видала, как «источник» по ночам молился и плакал о своей голубке. Все время он соображал о том, как ему освободить Нюшу от «ратника», и не мог ничего придумать. Голова Зотушки была устроена совершенно особенно: его мысль вечно пробиралась какими-то закоулками и задворками и все-таки приходила к своей цели.

Раз, перебирая все обстоятельства мудреного дела, Зотушка весь просиял и даже заплакал от радости: решение было найдено, и Нюша спасена. Он долго молился своему образку, прежде чем идти на подвиг, потом приоделся, намазал обильно свою голову деревянным маслом и со своим смиренным просветленным видом отправился прямо в горницы.

— А, Зотей Евстратыч, где тебя долго не видать? — спрашивал Павел Митрич. — Загордился, совсем не хочешь нас знать...

— Какая гордость, Павел Митрич, господь с вами. Так, делишки разные были...

— Да какие у тебя дела могут быть, блаженная голова? Живешь, как комар, — какие у тебя дела...

— И у него своя забота есть, Павел Митрич...

Косяков чувствовал, что старик пришел недаром, потому что он все неспроста делал, что-нибудь да держит он на уме и уж наверное знает, куда старуха прячет свои деньги. Косяков даже удивился, как он раньше об этом не подумал: подпоить божьего человека, он все и разболтает... Эта мысль очень понравилась Косякову, и он решил привести ее в исполнение.

— Ты не бегал бы от меня, так дело-то лучше было бы, — говорил Косяков, ласково поглядывая на старика своими вострыми глазами. — Приходи покалякать когда, поболтать, да и муху можно раздавить...

Зотушка блаженно улыбнулся и, осторожно оглядевшись кругом, проговорил вполголоса:

— Старухи я боюсь, Павел Митрич... Ведь она меня сживет со свету, если узнает, что я с вами-то заодно...

— Так бы прямо и сказал... А ты не бойся: Павел Косяков никого на свете не боится. Да что тут толковать: хочешь, сейчас муху давнем?

— Уж это на што лучше, Павел Митрич.

Зотушка прищелкнул языком и хитро подмигнул глазом в сторону бабушкиных горниц, — дескать, теперь мне плевать на нее, ежели Косяков никого на свете не боится. Явилась водка, явилась закуска, и первая «муха» была раздавлена самым развеселым образом, так что захмелевший Зотушка даже спел свой стих о старце. Татьяна Власьевна просто диву далась, когда узнала, что Зотушка пирует с «ратником»: не такой был человек Зотушка, чтобы кривить душой — уж как, кажется, он падок до водки, а никогда ни одной рюмки не примет от того, кто ему пришелся не по нраву... А тут, накося, даже песню запел... Нюша сначала даже испугалась, когда услышала Зотушкин стих. И теперь где же поет Зотушка — в горницах, где его слушает «ратник»!.. А Зотушка все пел и пел, улыбался блаженной улыбкой и даже закрывал глаза, как воробей, которого после холодной морозной ночи пригрело солнышком.

— А ведь ты славный старик, — хвалил Косяков, хлопая Зотушку своей десницей по плечу. — И песни отлично поешь...

— Уж как кому поглянется, Павел Митрич.

— Так старуха-то крепко тебя обижает?

— Голодом сморила... Да и так, ежели разобрать: как пила пилит.

— Да ты выпей еще, а потом побеседуем...

Зотушка не отказался от новой «мухи» и притворился совсем захмелевшим.

— А я... пришел к тебе... не тово... недаром, — признавался Зотушка косневшим языком. — Уж больно меня... старуха-то доехала... Стра-асть доехала!.. Хоть вот сейчас ложись... и помирай! Вот я и пришел к тебе... дельце маленькое есть...

— Я ведь тоже с тобой давно хочу поговорить, Зотей Евстратыч, и, кажется, мы столкуемся... Не насчет ли капиталов Гордея Евстратыча?

— Оно самое... оно... только я старухи до смерти боюсь...

— Вот что, пойдем лучше к тебе в флигелек, побеседуем там...

— Лладно-о...

Косяков под руку довел пьяного Зотушку до его флигеля и даже помог ему сесть на стул.

— Ох, боюсь старухи, — представлялся Зотушка, раскачиваясь на стуле.

— А есть у старухи деньги?

Зотушка оглянулся боязливо по сторонам и прошептал:

— Есть...

— Зотей Евстратыч, послушай меня: скажи, куда прячет старуха деньги, тогда одна половина моя, другая твоя... А то все равно нам обоим ничего не достанется!

— Обманешь ты меня?

— Я?.. Хочешь, сейчас образ со стены сниму?

— Хорошо... я тебе укажу место... только чтобы водкой меня поить до отвалу.

— Ну, где?.. — задыхавшимся шепотом спрашивал Косяков.

— А ты не больно торопись... Не запрег, чего нукаешь?.. Сейчас я тебе ничего не скажу, а через три дня все как на ладонке объясню...

Как «ратник» ни умолял Зотушку, тот не сдался ни на какие просьбы и настоял на своем.

Три дня пролетели быстро. Зотушка куда-то исчезал, но потом явился на третий день. Косяков все это время переживал с самым лихорадочным нетерпением, а когда вечером увидал затеплившийся в флигельке Зотушки огонек — вздохнул свободнее; он сейчас же побежал к

нему, а тот сидел на лавке бледный и изможденный, точно он перенес какую болезнь в три дня.

— Что это с тобой? — осведомился Косяков.

— Ничего... пировал, — коротко ответил Зотушка, ощупывая свою голову.

— Эк тебя взяло... Нашел время, нечего сказать.

— А ты думаешь, мне легко чужие-то деньги воровать?.. А?.. Может, у меня сердце все издрожалось со страху... Страсть боюсь старухи.

— Ну, сказывай, где деньги-то...

Косяков давно наблюдал за Татьяной Власьевной, куда она прячет деньги, но все было бесполезно. Но и Зотушке стоило немалых усилий открыть секрет Татьяны Власьевны. Он провел до десятка бессонных ночей, прежде чем укараулил старуху, когда она ходила проведать свой заветный узелок. Татьяна Власьевна прятала деньги в пяти местах — на сарае в сене, в предбаннике, в конюшне, в дровах и, наконец, в ларе с овсом. Последнее место и дало возможность решить всю задачу с «ратником». Теперь Зотушка сидел на лавке, смотрел на Косякова воспаленными слезившимися глазами и все что-то шептал про себя.

— Да скажешь, что ли, дьявол!.. — приступил к нему Косяков, бледнея.

— Ладно... скажу... только мне половину... а то не скажу.

— Сказал, что отдам... Фу, черт! Чего еще жилы-то тянешь...

— Надо замок ломать... снасть-то припас?

Косяков порылся в кармане и достал оттуда плотничье долото.

— Какой угодно замок отворим этим ключом, — проговорил он, показывая свою снасть.

— Хорошо... Ступай во двор, там стоит ларь с овсом...

— Знаю...

— Ну, в этом ларе, в овсе, и ищи узелок... в правом углу... Только вот что: мне твоих денег не надо, а ты мне отдай камешек, который лежит тут же с деньгами... только и всего...

Косяков уже шагал по двору. Ночь была светлая, и Косяков боязливо оглядывался в сторону дома, точно боялся какой засады. Вот и знакомый старый ларь. Сняв осторожно замок и накладку, Косяков еще раз оглянулся кругом и по пояс опустился в глубокий ларь, где долго шарил руками в овсе, прежде чем ущупал заветный узелок. Достав узелок из ларя, Косяков вернулся с ним в Зотушкин флигелек, проверил там деньги и передал Зотушке ту самую жилку, которую когда-то привез Михалко из Полдневской от Маркушки.

— Теперь, Павел Митрич, уходи от греха, — проговорил Зотушка, пряча кусок кварцу за пазуху. — С деньгами тебе везде дорога, а если вздумаешь назад оборотиться — обоих нас в каторгу зашлют...

Косяков навсегда скрылся из Белоглинского завода, а Зотушка истолок в ступе Маркушкину жилку и той же ночью всыпал ее в церковную кружку.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГОРНОЕ ГНЕЗДО

Роман

Впервые роман «Горное гнездо» был напечатан в журнале «Отечественные записки», 1884, №№ 1—4 (январь — апрель), с подзаголовком «Из Уральской летописи. 1. Барин», за подписью: «Д. Сибиряк», и с подстрочным примечанием автора, поясняющим название романа:

«Под именем «Горного гнезда» на Урале громкой известностью пользовался во времена оны институт казенных горных инженеров; но я придаю этому термину более широкое значение, именно, подвожу под него ту всесильную кучку, которая верховодила и верховодит всеми делами на Урале».

Поставив перед собой задачу изобразить «нравы и типы воротил — управителей и заводчиков» (из черновых набросков Мамина-Сибиряка), писатель противопоставляет им в «Горном гнезде» трудовую массу заводских рабочих и крестьян и раскрывает острые социальные противоречия, определявшие жизнь уральских заводов в пореформенный период. «Горное гнездо» является одним из лучших романов Мамина-Сибиряка и занимает видное место в творчестве писателя.

Работу над «Горным гнездом» Мамин-Сибиряк закончил в начале 1884 года: в конце рукописи, хранящейся в Свердловском областном архиве, стоит дата — 20 февраля. В письме к брату от 11 декабря писатель указывал, что «Горное гнездо» он «писал с полгода» (Центральный государственный архив литературы и искусства — ЦГАЛИ).

Писанию романа предшествовала большая предварительная работа. Еще в конце 70-х начале 80-х годов Мамин-Сибиряк начал писать близкий во многих отношениях «Горному гнезду» роман «Омут», оставшийся незаконченным (рукописи хранятся в ЦГАЛИ и в Свердловском областном архиве). Некоторые действующие лица «Омута» (профессор Блинов, Прозоров и другие) писателем выведены затем в «Горном гнезде», характеры их обрисованы полнее и ярче.

Опубликованный писателем в 1881—1882 гг. в «Русских ведомостях» цикл путевых очерков «От Урала до Москвы» затрагивал большой круг тем и вопросов, многие из которых нашли потом свое художественное выражение в «Горном гнезде». Очерки эти свидетельствуют о тщательном изучении писателем истории уральских заводов, о его стремлении глубоко раскрыть социальные противоречия, характеризовавшие капиталистический Урал.

В одном из этих очерков («Екатеринбург — Тагил») писатель отмечал, что положение, создавшееся на Урале после реформы 1861 года, было во многих отношениях «хуже всякого крепостного права». «...Тагильские заводы, — писал Мамин-Сибиряк в другом очерке («Тагил»), — делаются ареной, на которую силою обстоятельств разом была выдвинута целая серия самых жгучих вопросов. Первой крупной страницей в новой жизни заводов является вопрос об уставной грамоте, которая служит яблоком раздора между заводоуправлением, с одной стороны, и населением, с другой».

В. И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России», говоря об Урале и его экономических особенностях, указывал: «...условия освобождения уральских крестьян от крепостной зависимости были сообразованы именно с отношением крестьян к горной работе; горнозаводское население делилось на мастеровых, которые, не имея земли, должны были весь год заниматься заводской работой, и на сельских работников, которые, имея надел, должны были исполнять вспомогательные работы» (Соч., т. 3, стр. 425).

В том же очерке «Тагил» Мамин-Сибиряк показал, как при проведении реформы 1861 года «все громадное население Тагильских заводов, достигающее до ста тысяч, было зачислено мастеровыми, и таким образом владелец сохранил за собою всю ту землю, которую обязан был выделить сельским работникам». Всесилие сплоченной шайки темных дельцов, интриги и мошенничества при введении уставной грамоты, направленной к массовому

обезземелению крестьян в пользу заводовладельца, — все это нашло талантливое изображение в романе «Горное гнездо».

Сохранилась записная книжка Мамина-Сибиряка (ЦГАЛИ) и ряд отдельных записей (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина — ЛБ), помогающих понять замысел романа и работу писателя над его созданием. Особенно большой интерес представляют записи, озаглавленные «Введение к «Горному гнезду» и «Результаты деятельности «Горного гнезда».

В наброске «Введение к «Горному гнезду» писатель, характеризуя уральских горнозаводчиков, напоминает о хищничестве, господствовавшем в Калифорнии во времена «золотой лихорадки». «Урал — русская Калифорния», — замечает он в этой связи. Затем он подчеркивает всесилие уральских горнозаводчиков-монополистов: «Государство в государстве — вы это чувствуете на каждом шагу; паутина из невидимых нитей дает чувствовать присутствие организованной, сплоченной корпорации. Маховое колесо — в Петербурге, а здесь работают только шестерни, валы, винты и гайки».

Писатель дает в своем наброске следующую периодизацию истории Урала, подчеркивая при этом роль народных восстаний:

«Горное гнездо», как его обыкновенно понимают: казенные инженеры, а их время миновало, доживают последние дни выбитые из гнезда птенцы-поздныши. Светлая жизнь миновала и имеет только исторический интерес.

Мы понимаем горное гнездо шире: история его — вольница новгородская (Савва Есипов); рудознатцы и розмыслы, Строгановы:

а) период частной промышленности в широком смысле — до 1632 г.;

б) казенное дело: 1632—1739 гг. *Башкирские бунты, дубинщина;*

в) поссессии и приписные крестьяне — 1739—1806 гг. *Пугачев;*

г) крепостное право: 1802—1861 гг., *картофельный бунт;*

д) смутное время — помешательство: партикулярные заводы взяли перевес, лендлордство. Вопросы: о земле — поссессия, выкуп, наделы мастеровых, отношения к земству; топливо, инженеры и самородки, положение рабочих, специально — заводская администрация; нравы и типы воротил — управителей и заводчиков. В будущем — Ирландия и пролетариат. Образование. Железные дороги. Промыслы: золото. Английский магазин в Екатеринбурге... Камни, хром, железняк».

В другой записи, озаглавленной «Результаты деятельности «Горного гнезда», писатель следующим образом характеризует состояние капиталистического Урала того времени:

«а) национальная собственность — миллион десятин в одних руках и обезземеление рабочих;

b) во имя горных заводов принесены в жертву все другие промыслы;

c) образовались такие ненормальные явления, как положение старателей, чусовских бурлаков, мраморских мастеровых;

d) образования не существует, если сравнить его с наказом Геннина и взглядами Татищева (Геннин и Татищев были при Петре I управляющими уральских горнорудных заводов и выступали за учреждение на Урале специальных технических училищ. — *Ред.*).

e) в силу ненормальных условий жизни — подавляющая масса и резкие особенности преступлений;

f) такие аномалии, как английские рельсы под Тагилом, потерянное ученое общество, английский стальной магазин в Екатеринбурге, редактор «Недели» — главный механик, прогулка хромистого железняка в Англию, покупка нами тульских железных изделий, фарфора, сукон, мыла, свеч и т. д.».

Помимо этих набросков, в записной книжке (ЛБ) писателя имеется перечень действующих лиц «Горного гнезда», а также краткие характеристики некоторых персонажей и конспективные записи отдельных сцен.

Сохранились также записи на отдельных листах (ЦГАЛИ), имеющие непосредственное отношение к «Горному гнезду». Так, на листе 23-м дается краткая характеристика Прейна: «*Прейн:* сухая нога, любит сухари с чаем, всем и все обещает. «Хорошо» на тоненьких ножках, как определил его Прозоров». На листе 36-м, среди других записей, относящихся к «Горному гнезду», кратко записана сцена прощального обеда, данного генералом Блиновым: «Пьяный Прозоров ворвался на прощальный обед и читает генералу: «Вот приедет барин. Ха-ха!.. Русское горное дело... Менений Агриппа и я — больной зуб...»

Из рукописи «Горного гнезда» видно, что название романа определилось не сразу. На первом ее листе имеются варианты: «Сам барин», «Очерки «Горного гнезда», «Светлое житье», «Страничка из уральской летописи», «Очерки из жизни «Горного гнезда».

Использованные в романе материалы писатель начал собирать

еще в период работы над «Приваловскими миллионами». В письме от 21 августа 1875 года Мамин-Сибиряк просил отца собирать «те сведения о доме Демидовых, которые лежат в казенных бумагах или ходят по рукам в виде рассказов и воспоминаний». «Особенно важно здесь, — подчеркивал писатель, — постоянно иметь в виду резкую разницу, отделяющую энергичных деятельных представителей первых основателей дома Демидовых и распущенность последних его членов. Здесь интересны два ряда фактов, характеризующих, с одной стороны, энергию первых Демидовых, и распущенность и самодурство последних» (ЛБ).

Работая над «Горным гнездом», Мамин-Сибиряк, помимо печатных источников по истории Урала и уральской горнозаводской промышленности (перечень их, составленный самим писателем, хранится в ЛБ), использовал также свои воспоминания. Из очерка «Один из анекдотических людей», который был написан в 1886 году в связи со смертью П. П. Демидова, ясно видно, что в сцене приезда Лаптева на Кукарские заводы воспроизведен действительный приезд в Висим П. П. Демидова, посетившего свои заводы в 1863 году. Магнат-горнозаводчик и сопровождавшие его «специалисты» должны были на месте удовлетворить просьбу крестьян о пересмотре уставной грамоты, определявшей земельные отношения между владельцами заводов и горнозаводским населением. В очерке, как и в романе, Мамин-Сибиряк показывает, как рушатся эти надежды горнозаводского населения. С этой темой и связаны приводимые писателем в эпиграфе к роману некрасовские строки: «Вот приедет барин — барин нас рассудит...»

Сопровождавший П. П. Демидова во время этой поездки профессор Добровольский был выведен затем писателем в «Горном гнезде» под именем генерала Блинова.

Еще до окончания работы над «Горным гнездом» Мамин-Сибиряк отправил первые его главы в «Отечественные записки», и роман был принят Салтыковым-Щедриным, стоявшим во главе редакции журнала. Письмо Салтыкова-Щедрина, извещавшее автора о принятии романа, неизвестно, но в письме к брату Владимиру от 30 октября 1883 года Мамин-Сибиряк сообщал об ответе Щедрина: «Пишет, что ему *весьма понравилась* первая часть моего большого очерка «Горное гнездо» и что он ждет с нетерпением продолжения... Статья велика — до 15 печ. листов, в этом году не упечатается, а потому предлагает начать печатание ее с января 84 года» (ЦГАЛИ). Мамин-Сибиряк указывал далее, что конец «Горного гнезда» отослан в журнал 20 октября.

Мамин-Сибиряк, называвший Щедрина «громадным писателем» и горячо стремившийся напечатать свой роман в передовом демократическом журнале, был особенно удовлетворен тем, что «Горное гнездо» (как и ранее очерки «Золотуха» и «Бойцы») получило высокую оценку Щедрина, который на этот раз настолько заинтересовался писателем, что просил его раскрыть псевдоним и рассказать о себе подробнее.

Закрытие «Отечественных записок» за «антиправительственное направление», последовавшее вскоре после выхода апрельского номера журнала, помешало Мамину-Сибиряку осуществить свой первоначальный замысел, по которому роман должен был иметь продолжение. Как указывает Мамин-Сибиряк в своей автобиографической заметке (1886), «Горное гнездо» «служит в настоящем своем виде только введением к другому роману, действие которого должно было разыграться в столице, но последнему намерению не суждено было осуществиться, так как журнал, где напечатано было «Горное гнездо», прекратил свое существование, а печатать продолжение в другом журнале автор нашел неудобным». Вскоре Мамин-Сибиряк начал писать роман «На улице» (переименованный им впоследствии в «Бурный поток»), не удовлетворивший писателя, поскольку в нем, по словам Мамина-Сибиряка, тема, связанная с «Горным гнездом», осталась незаконченной, а новая тема, связанная с жизнью столичной «улицы», только затронута.

Написанный и опубликованный в годы жестокой реакции, наступившей после событий 1881 года, роман «Горное гнездо» явился большим литературным событием. В то время как правительство Александра III, подавляя малейшие оппозиционные настроения, свирепо расправлялось с революционным движением и осуществляло так называемые «контрреформы», имевшие целью свести на нет слишком либеральную, по мнению правительства, реформу 1861 года, Мамин-Сибиряк выступил с резкой критикой этой реформы, указав на наличие остатков крепостничества, которые пагубно отражались на дальнейшем развитии страны, давая возможность помещикам и заводчикам попрежнему держать народ в кабале. «Горное гнездо» создавалось несомненно под творческим влиянием Салтыкова-Щедрина и Некрасова. Эту связь Мамин-Сибиряк подчеркивает эпиграфом к роману и приводимыми в тексте стихами Некрасова.

Ярко выраженная антикрепостническая направленность и художественные достоинства романа не могли не привлечь

внимание демократической общественности; появление в печати «Горного гнезда» вызвало сочувственные отзывы. В письме к матери, написанном 7 апреля 1886 года, Мамин-Сибиряк, сообщая об обеде, на котором присутствовало много литераторов и ученых, отмечал, что поэт А. Н. Плещеев, многолетний секретарь «Отечественных записок», «все хвалил «Горное гнездо», от которого все в восторге» (ЛБ). По свидетельству П. Быкова, автора критико-биографического очерка о Мамине-Сибиряке, «Горное гнездо» после появления в печати «заставило говорить о себе» (Д. Н. Мамин-Сибиряк, Полн. собр. соч., т. I, 1915, стр. XVI).

Однако печатные отзывы, содержавшие не только краткие упоминания о романе, но и дававшие развернутую критическую оценку его, появились лишь после выхода в свет в 1890 году первого отдельного издания «Горного гнезда». В либеральном журнале «Русская мысль» (1890, № 6) критик писал: «В романе «Горное гнездо» мы видим представителей всех слоев уральского горнозаводского дела». Рецензия эта появилась в то время, когда в «Русской мысли» печатался роман Мамина-Сибиряка «Три конца», тематически связанный с «Горным гнездом». В связи с этим рецензент отмечал, что «Горное гнездо» читается с большим интересом, хотя представляет собою менее широкую картину уральской горнозаводской жизни», нежели роман «Три конца»... «Оба эти романа не имеют между собою никакой внешней связи, тем не менее, — отмечал критик, — по существу они дополняют друг друга и, прочитанные последовательно, оставляют впечатление цельной картины, охватывающей все стороны горнозаводской уральской жизни».

В 1896 году в «Новом слове» — журнале либерально-народнического направления — появилась большая статья А. Скабичевского «Дмитрий Наркисович Мамин», посвященная творчеству писателя. В этой статье критик называл «Горное гнездо» «лучшим украшением нашей литературы» и утверждал, что Лаптева «смело можно поставить» в один ряд с Обломовым, Иудушкой Головлевым и другими «вековечными типами», созданными русской и западноевропейской литературой.

В 1900 году в либеральном журнале «Мир божий» (№№ 1—2) была опубликована статья В. Альбова «Капиталистический процесс в изображении Мамина-Сибиряка».

В этой статье критик стремился показать, что в своем романе Мамин-Сибиряк развертывает «оригинальную страничку из исто-

рии первоначального накопления, осложняя свой неподражаемый... рассказ разными другими побочными обстоятельствами, рисующими поступательный ход капитализма». При этом Альбов, однако, ошибочно считал, что Мамин-Сибиряк показывает бессилие человека перед мощью капитала.

Известный металлург академик Павлов, вспоминая старый капиталистический Урал, писал: «...Мамин-Сибиряк написал роман «Горное гнездо», где описывается Тагильский округ. Там хорошо изображены обычаи и нравы горного мира, изображены (под вымышленными именами) все персонажи, участвующие в заводской жизни, начиная от владельца (Демидова) и кончая мелкими служащими. Тот, кто хочет иметь представление о старой уральской жизни, должен прочесть «Горное гнездо». Я еще застал в живых некоторых лиц, описанных Маминым-Сибиряком» (М. А. Павлов, «Воспоминания металлурга», 1943, стр. 156).

В 1912 году большевистская «Правда» в статье, посвященной творчеству Мамина-Сибиряка, указывала: «Кто хочет познать историю существующих отношений на Урале двух классов — горнозаводского рабочего населения и хищников Урала, поссессионеров и иных, — тот найдет в сочинениях Мамина-Сибиряка яркую иллюстрацию к сухим страницам истории» («Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», 1937, стр. 166).

Одной из таких ярких иллюстраций к страницам истории Урала и является роман «Горное гнездо».

Первое отдельное издание «Горного гнезда» вышло в 1890 году в издании И. А. Пономарева, второе — в 1893 году в издании М. В. Клюкина, третье — в 1900 году в том же издании и четвертое — в 1912 году в издании М. В. Аверьянова.

При подготовке первого издания «Горного гнезда» Мамин-Сибиряк заново отредактировал роман, исключил из него отдельные малозначительные эпизоды, снял примечание и подзаголовок В настоящем собрании сочинений текст романа печатается по изданию 1900 года, вновь просмотренному и исправленному автором. Опечатки, допущенные в этом издании, исправлены по предшествующим публикациям.

Стр. 7. *«Вот приедет барин...»* — Из стихотворения Некрасова «Забытая деревня» (1855).

Стр. 15. *«...подозрение да не коснется жены Цезаря».* — Фраза, приписываемая римскому императору Юлию Цезарю (100—44 гг. до н. э.).

Стр. 18. *Мефистофель.* — Здесь имеется в виду действующее лицо из оперы французского композитора Гуно (1818—1893) «Фауст».

Стр. 19. *«Ты помнишь чудное мгновенье...»* — Из стихотворения Пушкина «К ***» (1825). У Пушкина: «Я помню чудное мгновенье».

Стр. 20. *«Тихо запер я двери...»* — Из стихотворения Пушкина «Из Barry Cornwall» (1830). У Пушкина:

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один, без гостей,
Пью за здравие Мери.

«Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!» — Слова Фамусова из I действия комедии Грибоедова «Горе от ума».

Стр. 41. *«Много красавиц в аулах у нас...»* — Начальные слова песни из романа Лермонтова «Герой нашего времени», повесть «Бэла» (1839).

«И погибнет священная Троя...» — Из 4-й песни «Илиады» Гомера. В переводе Гнедича:

Будет некогда день, как погибнет высокая Троя,
Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама.

Стр. 42. *«На щечках, как в жаркое лето...»* — Из стихотворения Гейне, «Книга песен», «Лирическое интермеццо», № 48 (1823).

Стр. 45. *Тамерлан* — Тимур Ланг (1336—1405), известный средневековый полководец и завоеватель (см. прим., т. 2 наст. собр. соч.).

Стр. 48. *Фребель* Фридрих (1782—1852) — известный немецкий педагог.

Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — знаменитый швейцарский педагог.

Стр. 52. *...с эмансипацией* — то есть с освобождением крестьян от крепостной зависимости по реформе 1861 года.

Стр. 66. *Ришелье* Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — кардинал, известный государственный деятель французского абсолютизма. *Мазарини* Джулио (1602—1661) — кардинал, французский государственный деятель, продолжатель внешней и внутренней политики Ришелье.

Стр. 68. *Даровой надел* — крайне незначительный участок земли, который крестьяне получали в личную собственность от

некоторых помещиков по реформе 1861 года без выкупа (см. прим., т. 2 наст. собр. соч.).

Поссессионное право — введено указом Петра I от 18 января 1721 г., в силу которого владельцам фабрик и заводов недворянского сословия разрешалось приобретать крестьян для работы на предприятиях. В силу этого указа образован был особый разряд крепостных фабричных крестьян, приписанных навсегда к промышленным предприятиям (см. прим., т. 1 наст. собр. соч.).

Стр. 91. *«Прекрасная Елена»* — комическая опера французского композитора Оффенбаха (1819—1880).

Стр. 119. *Дон-Карлос, Старший* (1788—1855) — претендент на испанский престол под именем Карла V, глава реакционной феодальной партии карлистов. Потерпев поражение в конце первой Карлистской войны (1833—1840), бежал во Францию.

Стр. 145. *Кэри* Генри Чарльз (1793—1879) — американский экономист, апологет капитализма, проповедник теории «гармонии классовых интересов». Маркс неоднократно разоблачал реакционную сущность его учения.

Стр. 197. *«Свадьба Кречинского»* — комедия А. В. Сухово-Кобылина (1817—1903).

Стр. 198. *«Русская свадьба»* — комедия П. П. Сухонина (1821—1884): «Русская свадьба в исходе XVI в.», имела в свое время большой успех.

Стр. 228. *Даву* Луи (1770—1823) — французский маршал, участник военных походов Наполеона I. В Бородинском сражении войска, которыми командовал Даву, потерпели жестокое поражение.

Стр. 275. *«И моего тут капля меду есть...»* — Из басни Крылова «Орел и Пчела». У Крылова: «...и моего хоть капля меду есть».

Стр. 286. *Потехин* Алексей Антипович (1829—1908) — либеральный беллетрист и драматург.

Стр. 326. *Сципион Африканский, Младший* — римский полководец; закончил 3-ю Пуническую войну в 146 г. до н. э. взятием и разрушением Карфагена.

Стр. 329. *Менений Агриппа* — римский консул. Когда плебеи, требуя равноправия с патрициями, удалились из Рима на Священный холм (494 г. до н. э.), Менений Агриппа уговорил их возвратиться, рассказав им притчу о человеческом теле, в котором желудок и руки не могут существовать друг без друга. Маркс называл эту притчу пошлой басней, «которая изображает

человека в виде части его собственного тела» — эксплуататоров в виде желудка, рабочих в виде отдельных членов («Капитал», 1953, т. I, стр. 368). «Агриппе, однако, не удалось доказать, — писал Маркс в брошюре «Заработная плата, цена и прибыль», — что можно питать члены одного человека, наполняя желудок другого» (Маркс и Энгельс, Избранные произведения, т. I, 1952, стр. 360).

Стр. 330. *«Умерла Ненила...»* — Из стихотворения Некрасова «Забытая деревня» (1855).

Стр. 333. *«Подождите! Прогресс подвигается...»* — Из поэмы Некрасова «Современники» (1875). 3-я строка у Некрасова читается так: «Что сегодня постыдным считается...»

ДИКОЕ СЧАСТЬЕ

Роман

Впервые роман «Дикое счастье» был напечатан в журнале «Вестник Европы», 1884, №№ 1—4 (январь—апрель), под названием «Жилка», с подзаголовком «Из рассказов о золоте», за подписью: «Д. Мамин».

Авторская пометa на рукописи, хранящейся в Свердловском областном архиве, указывает, что роман был начат 6 ноября 1883 года и окончен 17 декабря того же года. В действительности работа над романом началась несколько раньше, о чем свидетельствует письмо Мамина-Сибиряка к брату Владимиру от 30 октября 1883 года. В нем писатель сообщал: «Теперь пишу большой рассказ для «Вестника Европы» под названием «Жилка», то есть «Самородок» (ЦГАЛИ).

В конце той же рукописи рукой писателя поставлена еще одна дата: «5 февраля 84 г., Екатеринбург», показывающая, что работа над романом продолжалась и в 1884 году. По-видимому, во время печатания романа в журнале Мамин-Сибиряк существенно сократил конец «Жилки», так как печатный текст значительно отличается от рукописи. В рукописи романа содержится ряд не вошедших в печатный текст страниц, носящих характер авторских отступлений. В них Мамин-Сибиряк касается истории заселения Урала, отражения в уральском фольклоре старинного русского быта, важного для изучения народного прошлого.

Не вошла в печатный текст целая глава, посвященная описанию свадьбы Нюши; не вошли также сцены, в которых изображался душевный перелом Брагина, его желание возвратиться к прежней жизни «по батюшковым заветам». Более подробно была рассказана история отношений Нюши и Алексея Пазухина после разорения Брагиных, и жизнь ее с Косяковым. Изменено в печатном тексте и окончание романа — в рукописной редакции Зотушка с Нюшей уходят в раскольничьи скиты. Исключая эти эпизоды, писатель устранил религиозно-моралистические тенденции, сквозившие в первоначальной редакции романа.

Роман создавался в том же году, в котором были закончены писателем такие его выдающиеся произведения, как «Горное гнездо», «Башка», «Золотая ночь» и др. Такую творческую интенсивность писатель объяснял впоследствии (автобиографическая заметка, 1886) «необыкновенным богатством материалов, которые давала жизнь Урала и ...необходимостью осветить сейчас же некоторые «злобы дня» и свои уральские проклятые вопросы».

К числу этих «проклятых» вопросов относилась и «золотая горячка», вызванная бурным развитием капитализма, а также открытием ряда новых месторождений золота. По словам писателя, в «Диком счастье» он хотел показать, как в далеком уральском захолустье «дикое богатство погубило не одну хорошую семью, крепкую старинными устоями» (автобиографическая заметка, 1886).

Жизнь отдаленных районов Урала издавна привлекала внимание писателя. Он неоднократно путешествовал по золотым приискам, глубоко изучал жизнь старателей, интересовался патриархальным бытом старообрядцев. В 1875 году, будучи студентом, в письме к отцу от 21 августа Мамин-Сибиряк, касаясь своих широких творческих замыслов, просил отца припомнить и сообщить интересные события и факты, «которые обрисовали бы как прошлое, так и настоящее раскольников на Урале» (ЛБ).

Еще до окончания работы над романом Мамин-Сибиряк отправил первые главы в «Вестник Европы», о чем сообщал брату Владимиру в письме от 11 декабря 1883 года: «...я послал в «Вестник Европы» начало... статьи «Жилка» и получил от Стасюлевича телеграмму, в которой он спрашивает, что значит римская цифра два и где начало. Дело в том, что Никола (брат писателя. — *Ред.*), тщась выводить римские цифры, единицу изображает таким образом: II. Вот эту единицу Стасюлевич и принял за два. Для меня эта телеграмма имеет то значение, что, значит, моя

статья пошла в счет... Окончание этой статьи мы вышлем в конце этой недели, а если Стасюлевич оную напечатает, то будем иметь листов 18—20 печатных» (ЦГАЛИ).

17 декабря 1883 года писатель сообщал брату Владимиру об окончании работы над романом: «Сегодня кончаем с Николаем статью, чтобы послать ее завтра в «Вестник Европы» (ЦГАЛИ).

О принятии романа в «Вестник Европы» писатель узнал, когда первая книжка журнала уже вышла в свет. 11 января 1884 года он писал брату: «Сегодняшний день для меня — день торжества и ликования, именно сегодня я получил первый номер «Нового времени» за 84-й год и в отделе объявлений узрел объявление вышедшей январской книжки «Вестник Европы», в которой, между прочим, напечатана и моя «Жилка»...» (ЦГАЛИ).

Первый критический отзыв о романе появился в либерально-народническом журнале «Неделя» (№ 3 от 15 января и № 14 от 1 апреля), когда роман еще не был напечатан полностью. Не сумев оценить действительного значения романа, рецензент «Недели» рассматривал его как произведение, представляющее в большей степени этнографический, нежели художественный интерес. Обещание критика дать по окончании печатания романа полную оценку его, обосновывающую высказанные им критические суждения, осталось, однако, неисполненным.

Развернутый положительный отзыв о романе появился в либеральной «Русской мысли» (1884, № 10) в статье «Обзор журналов». Признав талантливость Мамина-Сибиряка и прекрасное знание изображаемой им среды, критик считал, что роман представляет собой «лучшее беллетристическое произведение» из появившихся в 1884 году. Отметив вместе с тем некоторые недостатки, критик подчеркивает, что особенно удались автору женские образы.

Положительно оценивая роман «Дикое счастье», буржуазная критика все же не могла раскрыть его подлинное идейное содержание.

В 1912 году большевистская «Правда» писала, что в произведениях Мамина-Сибиряка ярко показано, «как вокруг золота совершается вакханалия; идет ломка старых патриархальных отношений, и при этом не щадится ни человеческая жизнь, ни простые человеческие отношения, ни знания, ни культура» («Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», М. 1937, стр. 166). В романе «Дикое счасгье» дана картина «ломки ста-

рых патриархальных отношений», старой патриархальной семьи под воздействием бурно развивающегося капитализма.

Первое отдельное издание романа вышло в 1896 году в издании журнала «Звезда», второе — в 1897 году в издании М. Ефимова и М. Клюкина, третье — в 1902 году в издании М. Клюкина и четвертое — в 1912 году в издании «Вятского книгоиздательского товарищества».

При подготовке первого отдельного издания Мамин-Сибиряк изменил заглавие романа, снял подзаголовок и сделал небольшие сокращения.

В настоящем собрании сочинений текст романа печатается по изданию 1902 года, вновь просмотренному и исправленному автором. Опечатки, допущенные в этом издании, исправлены по предшествующим публикациям.

Стр. 345. *Единоверцы* — старообрядцы, соединившиеся с православной церковью, но совершавшие богослужение по старопечатным церковным книгам и придерживавшиеся старинных религиозных обрядов.

Лестовка — кожаные четки у раскольников.

Стр. 380. *Австрийские архиереи* — старообрядческие архиереи из Белой Криницы (Буковина), входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи. Здесь в 40-х годах XIX века обосновалась высшая старообрядческая духовная власть, так как старообрядческое священство было запрещено в России.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *А. Романов*

Оформление
художника *Б. Никифорова*

Худож. редактор *К. Буров*

Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректоры *В. Брагина* и *Л. Бунчукова*

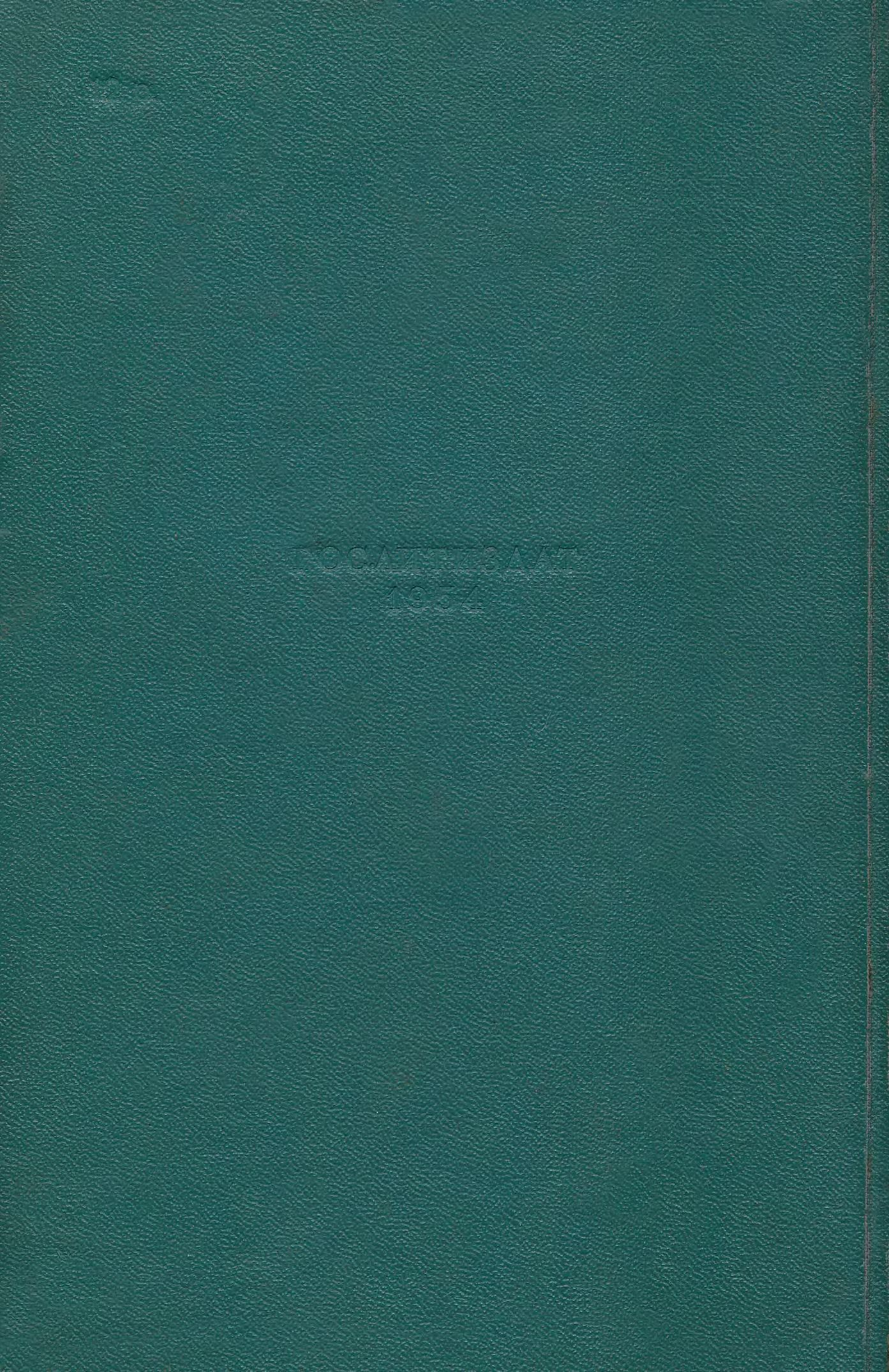
*

Сдано в набор 13/II 1954 г.
Подписано к печати 26/V 1954 г. А-04637.
Бумага 84 × 108 $^{1}/_{32}$ — 39,5 печ. л. = 32,39 усл.
печ. л. 30,72 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 1083. Цена 12 р.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19.

*

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Союзполиграфпрома
Главиздата Министерства культуры СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.


ГОСЛИТИЗДАТ
1954